

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
СЛАВИСТОВ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛАВИСТОВ

Российское славяноведение
в начале XXI века:
задачи и перспективы развития

Материалы Всероссийского совещания славистов
(23—24 октября 2003 г.)

Москва
2005

Редколлегия:

В. К. Волков (ответственный редактор),

Л. Н. Будагова,

Л. А. Софронова,

Б. Н. Флоря,

В. А. Хорев

Сборник материалов Всероссийского совещания славистов «Российское славяноведение в начале XXI века: задачи и перспективы развития», которое состоялось в Институте славяноведения РАН 23—24 октября 2003 г.

В совещании приняли участие 179 ученых, преподавателей вузов, работников библиотек и культурных центров из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Кемерово, Костромы, Кургана, Нижнего Новгорода, Перми, Петрозаводска, Самары, Саратова, Уфы, Тюмени, Томска, Череповца, Ярославля, а также коллеги из Минска, Гродно и Львова.

Современное состояние отечественного славяноведения и стоящие перед ним задачи были проанализированы в докладах пленарного заседания и в пяти секциях: славянские народы в современном мире, история славянских народов, славянское языкознание, культура и фольклор славянских народов, история славянских литератур.

Славянская идея и русское национальное самосознание

В русской общественной мысли и национальном самосознании существуют три проблемы, вокруг которых вот уже более полутора веков не стихают страсти. Каждая из них выражена дихотомией. Это — «Россия и Запад», «Россия и Восток», «Россия и славянский мир». Возникая в разное время и получая различные толкования, ныне названные проблемы составляют своего рода треугольник, где пульсирует вечно живая мысль.

Обращение к ним еще в первый половине XIX в. было связано преимущественно с общественными течениями, сторонники которых остались в истории как славянофилы и западники. Они представляли собой два направления русской общественной мысли. Споры между ними велись о перспективах общественного, экономического и политического развития России, т. е. по проблемам историко-философской интерпретации национально-государственных интересов страны. Воспринимавшееся первоначально как шутовское, прозвище «славянофилы» проистекало из критики сторонниками этого направления петровских преобразований, идеализации допетровской Руси, а особенно — превознесение достоинств сельской крестьянской общины, которая якобы поможет стране избежать участи «гнилого Запада». Последнюю иллюзию разделяли, впрочем, также Герцен и другие западники, а позднее народники и революционеры-демократы. Ранние славянофилы (И. Киреевский, А. Хомяков и др.) были мыслителями скорее консервативного и определенно религиозного толка. Отсюда их внимание к зарубежным православным народам, к южным славянам и грекам.

То, что вошло в историю под названием «славянская идея», уходит корнями в далекое прошлое. Осознание общности славянских народов прослеживается на протяжении всего периода их письменной истории, подтверждается древними памятниками, например «Повестью временных лет» на Руси. Сам же термин «славянская общность», «славянское единство» и другие сходные выражения получили распространение уже в Средние века, особенно в XVI и XVII столетиях, в среде южных и западных славян, более конкретно — у чехов и хорватов. Наиболее известной фигурой того времени следует признать Юрия Крижанича. Дальнейшее же развитие общности и единства идей и связанной с ними терминологии наблю-

далось в Новое время, в период национального возрождения славянских народов. Именно тогда славянская идея стала составной частью их национального самосознания, а терминология пополнилась понятиями «славянская взаимность», «славянская солидарность» и др. Данные словосочетания (и соответствующие им идейные течения) зародились в чешской и словацкой среде и быстро «прижились» в научной и публицистической литературе других славянских народов, в том числе и в России.

Надо особо оговорить: вся эта терминология отличалась расплывчатостью, неопределенностью, что создавало условия для самых различных толкований и порождало многочисленные недоразумения. Их политическая интерпретация приводила к спорам даже среди единомышленников. У противников же этих идей появились возможности для недобросовестных спекуляций и попыток их дискредитации. Во второй половине XIX в. основным противником славянских движений, стремившихся к национальному возрождению своих народов и их равноправному положению, стал радикальный немецкий национализм пангерманского толка. Именно в среде пангерманцев родился спекулятивный термин «панславизм», вобравший в себя враждебность к славянским народам и откровенную русофобию. Изначально спекулятивный и одиозный, термин превратился в боевой лозунг антирусской и антиславянской политики германского империализма, вошедшей в историю под названием политики «Дранг нах Остен». Особое распространение он получил после объединения Германии в 1871 г. в результате победоносной франко-прусской войны. Со временем панславизм все более и более приобретал характер пропагандистского стереотипа для обозначения русской угрозы Европе. Накануне и в годы Первой мировой войны его раздули до невероятных размеров и придали ему формулировку «Панславизм — мировая угроза».

По вопросам развития идей «славянской взаимности», национальных программ славянских народов, их общественных и политических движений написаны горы книг на разных языках. Однако в условиях второй половины XIX — первой трети XX в. особое значение имела литература на немецком языке, который играл тогда в мировой науке примерно такую же роль, как в наши дни английский. Усилиями пангерманцев термин «панславизм» прижился в науке и стал синонимом самых реакционных и экспансионистских планов России по отношению к Европе и другим славянским народам. Был он воспринят и в дореволюционной русской науке, не сумевшей раскрыть его подлинное предназначенье. Широкое употребление этого термина Марксом и Энгельсом для дискредитации

царизма, в котором они видели «жандарма Европы», предопределило его последующее использование и в советском обществоведении.

После поражения в Крымской войне и в условиях общественного брожения, вызванного отменой крепостного права, часть русского общественного мнения восприняла точку зрения о вечной вражде Европы по отношению к России. Наиболее ярким выражением такого мнения стала книга Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», появившаяся вначале в журнальном варианте (1869 г.). Причину европейской враждебности автор усмотрел в различии «культурно-исторических типов» германо-романского мира и мира славянского. Рассуждения о возможности и даже неизбежности столкновения двух цивилизаций приводили его к выводу о целесообразности образования славянскими народами общего федеративного государства с Россией во главе и Константинополем в виде столицы. Любопытно заметить, что сходное по теоретическим основам видение развития человечества в близком будущем как столкновения цивилизаций уже в наши дни, в середине 1990-х годов, развил американский ученый С. Хантингтон с той разницей, что его схема носит глобальный характер.

Несмотря на вспыхнувшую полемику вокруг книги Данилевского и его идей, последние не стали основой для каких-либо практических шагов. Правящие круги относились к ним с подозрением, демократические слои не восприняли их. Славянская же идея развивалась в других формах. Возникшие тогда в России славянские комитеты, в которых объединялись лица различной ориентации, но преимущественно правой половины политического спектра, особенно наглядно проявили себя в период Восточного кризиса 1875—1878 гг. и сыграли заметную роль во вступлении России в войну с Турцией, приведшую к освобождению Болгарии от османского ига, а также к изменениям международного статуса и места в системе международных отношений Сербии, Черногории, Румынии и Греции.

Позднее, уже в начале XX в., чувства славянской взаимности способствовали вступлению России в Первую мировую войну, хотя мнение, будто Россия сделала этот шаг ради защиты Сербии, односторонне и явно недостаточно.

Славянская идея становилась все больше составной частью национально-государственных интересов России и других славянских народов. К тому времени она окончательно сформировалась как система взглядов на желательное взаимодействие и сотрудничество славянских народов в различных областях — в политической, экономической, культурной, науч-

ной сферах и т. д. Естественно, что различные общественные слои и политические силы трактовали такие возможности по-разному. Это придавало национальным идеологиям отдельных народов свое индивидуальное лицо.

Славяне никогда не были особенно дружной семьей. Еще Пушкин писал об «извечном споре славян между собою», имея в виду прежде всего русско-польские отношения. Высоко оценивая всегда культурное сотрудничество, они серьезно расходились в политических проблемах. Только общая угроза побуждала их к взаимодействию. Такой угрозой в начале XX в. они ощущали германскую экспансию на Востоке и Юго-Востоке Европы. Ее чувствовали чехи и поляки, сербы и хорваты, словаки и словенцы. Она будила тревогу в России. В этих условиях родилось неославистское движение, признававшее равенство в славянском мире православия и католицизма, призывавшее к общности и единству перед лицом общего врага и стоявшее на позициях самостоятельного развития каждого славянского народа, а также тех соседних народов, которые захотели бы присоединиться к «славянскому миру». Однако обострение международной обстановки (аннексия Боснии и Герцеговины, политические кризисы в Европе) и старые противоречия (особенно польско-русские) привели к распаду неославизма, успевшего заявить о себе, проведя несколько международных съездов.

Если обратиться к событиям XX в., то начало Первой мировой войны вызвало в России патриотический подъем и взрыв славянских чувств. Но постепенно затяжка войны, неудачи на фронтах, особенно в течение 1915 г., большие потери в живой силе и экономические трудности стали вызывать усталость в стране.

Дальнейшие внутренние потрясения — свержение царизма, слабость Временного правительства и последовавшая «красная смута» привели к Октябрьскому перевороту и гражданской войне. В антивоенной риторике большевиков не было места славянским мотивам. Теория и практика классовой борьбы подминали под себя национальные чувства. В нашу задачу не входит изложение хода событий. Однако следует констатировать, что Октябрьская революция и установление коммунистического режима положили начало более чем 70-летнему периоду, когда вся страна стала полем социальных и национальных экспериментов. Так называемая ленинская национальная политика пресекала развитие идей славянской взаимности. Эти идеи долгие годы преследовались как проявление идеологии, чуждой коммунистической. Больше того: большевики совершили национальное расчленение России, в первую очередь ее славянского ядра. Применяв-

шиеся ими методы до сих пор не осознаны и плохо изучены, либо представлены в кривом зеркале официальной идеологии. Сам этноним «русские», на протяжении долгих веков использовавшийся всеми ветвями восточнославянского этноса — и великорусами, и белорусами, и малорусами (украинцами) — как самоназвание, в советскую эпоху стал применяться только по отношению к первым. Политика социального геноцида последовательно проводилась против тех слоев населения, которые были или могли быть носителями российской государственности и славянских идей. Понесенные тогда и позже утраты не восполнены и по сей день.

Все это не помешало сталинскому руководству использовать национальную и славянскую символику, когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз. Инстинкт самосохранения коммунистического режима сработал безотказно. Люди старших возрастов помнят появившуюся тогда песню «Священная война» на музыку Александрова. Слова песни были напечатаны в центральных газетах в первые дни войны. Под ними стояла подпись Василия Лебедева-Кумача. На деле же они принадлежали Александру Адольфовичу Боду, гимназическому учителю города Рыбинска Ярославской губернии, горячему русскому патриоту, носившему фамилию своих предков, выходцев из Франции, который написал их еще в 1916 г. Появление песни в начале Отечественной войны перебрасывало символический мост между Первой и Второй мировыми войнами. И так же, как Лебедев-Кумач украл чужие стихи, сталинское руководство украло чуждые ему идеи славянского единства в борьбе против германского фашизма. Проведение Всеславянских митингов, создание Всеславянского комитета в Москве, его широкая пропагандистская деятельность нашли свой отклик среди русского и других славянских народов. Они инстинктом почувствовали германскую угрозу. Она была реальна. Сохранились документы о нацистских планах «нового порядка» в Европе. Уже в годы войны нацисты приступили к их реализации. Широко известна гитлеровская политика уничтожения евреев, так называемый холокост. Менее известен так называемый «Генеральный план “Ост”», предусматривавший очищение от славянских народов Восточной Европы для «жизненного пространства» германской расе господ. Созданный нацистами чудовищный механизм массового уничтожения людей показал, что они готовы были осуществить планы другого, «славянского холокоста», многократно превосходившего первый. Только полный разгром гитлеровской Германии, в который наибольший вклад внесли именно славянские народы, особенно русские, украинцы и белорусы, спас их от готовившейся участи.

Послевоенный период составил особый этап в развитии славянских народов. Все они без исключения вошли в «социалистический лагерь». Это обстоятельство побудило коммунистические партии славянских стран использовать популярное тогда «новое славянское движение» для укрепления своей власти и упрочения коммунистических режимов. В декабре 1946 г. в Белграде состоялся Славянский конгресс, подтвердивший эти намерения. Однако инструментальный характер идей славянской солидарности для коммунистических режимов высветился под влиянием разрыва отношений между Советским Союзом и Югославией в 1948 г. В основе советско-югославского конфликта лежало столкновение двух «культов личности» — Сталина и Тито. Сразу же вслед за разрывом деятельность Общеславянского комитета была заморожена, работа национальных комитетов свернута, а лозунг пролетарского интернационализма привычно выдвинут на передний план.

Теперь известно, когда и как завершился крахом крупнейший в человеческой истории социальный эксперимент, именуемый «социализм». Это самым непосредственным образом сказалось на судьбах всех славянских и других стран «социалистического содружества». Все они вошли в посткоммунистический мир с тяжелыми родовыми травмами, особенно в области национальной психологии, разбежались по национальным квартирам. Распались многонациональные государства — Советский Союз и СФРЮ. Рожденные коммунистическим режимом этнократические кланы разорвали их по швам, прошитым самими режимами. Распад Югославии привел на ее территории к этногражданской войне. Трагедия югославских народов — открытая рана на теле славянства. Создание Содружества Независимых Государств, несмотря на все его несовершенство, позволило народам, входившим в Советский Союз, избежать развития событий по югославскому сценарию. Произошел, наконец, бракоразводный процесс чехов и словаков. Распалось связывавшее славянские страны и народы сотрудничество в рамках «социалистического содружества», причем на смену старым, отжившим его формам, ничего нового не пришло. Отсюда разрыв налаженных связей в области экономики, культуры, науки, что болезненно отразилось на многих сторонах жизни рассматриваемых народов и стран. Это явление получило название энтропии славянского мира — тяжелой болезни посткоммунистической эпохи. Термин «энтропия» позаимствован из астрономического лексикона и обозначает разбегание звезд, рассеяние энергии. Разбегание славянских наций, дезинтеграция славянского мира представляют собой полную противоположность и разительный контраст в

сравнении с интеграционными процессами в Западной Европе, с тенденциями мирового развития. Последнее обстоятельство свидетельствует о временном характере данного явления, но насколько длительным по времени оно будет?

Наиболее отрицательные последствия вызывают очаги вражды, возникшие в славянском мире. Драматическую картину дает югославский кризис. Повсеместно наблюдаются вспышки агрессивного национализма. Новым в этом процессе является широкое распространение русофобии в самой славянской среде. Помимо старых очагов на Западе оживились такие настроения в Польше и, к сожалению, даже в Болгарии. Носителями русофобии выступают националистические элементы на Украине и в Белоруссии. Сюда же примыкают и русофобские страсти в новых странах Балтии. В значительной степени это националистическая реакция на коммунистическое наследие. Однако по теории фрустрации она направлена на ложный объект — русский народ, который сам стал основной жертвой коммунистических экспериментов.

Невольно возникает вопрос: исчерпана ли идея славянской взаимности, зародившаяся почти два века тому назад? Она знала приливы и отливы, в целом она сыграла позитивную роль в истории славянских народов, хотя нередко подвергалась политической эксплуатации. Очевидно, ответ на поставленный вопрос будет отличаться у отдельных народов, и каждая страна будет подходить к нему с разных сторон.

В России, а точнее — в Российской Федерации, славянская идея имеет особое значение. Для нее она напрямую связана с национальным самосознанием, а ныне — с кризисом самосознания, о котором вкривь и вкось толкует наша публицистика и зарубежные «доброхоты». Но кризис действительно есть и имеет различные проявления, в известной мере вялотекущего характера. Так, распад Советского Союза был воспринят многими в России как одновременное крушение российской государственности — второй раз за XX столетие. Однако реакция на свершившееся протекала как бы под общим наркозом. То, что теперь является Российской Федерацией — это даже меньше огрызка, оставшегося от России по Брестскому миру. Тогда сам Ленин назвал его «похабным». Но наша российская интеллигенция, на которой лежит обязанность осознания и формулирования национально-государственных интересов, таких оценок нынешнему положению не дает. Почему? Ответ надо искать в национал-нигилистских установках российской интеллигенции, в парадоксальном понимании ею патриотизма как безоглядной критики и хулы своей родины.

Есть, впрочем, показательный способ определения степени патриотизма. Согласно Максиму Веберу, его уровень можно измерить откликом населения и отдельных его слоев на призыв в армию. Как обстоит у нас дело с этим показателем? Как в целом по стране, так и среди интеллигенции в частности? Думаю, каждый может дать ответ самостоятельно.

Не научившись сама защищать свои интересы, а потому не научив этому и народ, наша интеллигенция не смогла сформулировать приемлемой концепции национально-государственных интересов и отстаивать ее. В результате и она сама, и широкие слои населения часто не могут распознать суть предлагаемых стране подчас лукавых предложений. Одним из искусов является побуждение к великорусскому изоляционизму. Указывая на огромные природные богатства Российской Федерации и апеллируя к потребительским чувствам людей, сторонники этого взгляда нашептывают: зачем нам кормить других? Не лучше ли отгородиться от них? Тогда мы все получим себе. И прежде всего это относится к славянским странам СНГ. В наших газетах, где между строк, а где и прямо можно прочесть такие вопросы: что нам дает союз с бедной ресурсами Беларуссией? Зачем нам вешать на шею украинский хомут в виде Донбасса? Своих горняков хватает... Список вопросов можно продолжить, хотя экономисты давно подсчитали, что более половины потерь российская экономика несет от разрыва экономических связей со странами СНГ, и в первую очередь с Украиной и Беларуссией. У них положение аналогичное. Вина же лежит на всех сторонах.

Думаю, что подобные взгляды — не просто продукт скудоумия, а вывернутый наизнанку призыв к великорусскому сепаратизму. Все дело в том, что национальное самосознание великорусов складывалось в едином российском государстве и имеет общероссийский характер. Таким же общероссийским характером отмечено то, что мы называем русской культурой. Наряду с определяющим участием в ее создании великорусов, белорусов и малорусов (украинцев), не говоря уже об общем для них культурном наследии Древней Руси, значительный вклад в нее внесли также поляки, немцы, евреи, татары и представители других народов, населявших Россию.

Общность культурного наследия восточных славян сказалась и в истории формирования их литературных языков, в частности русского литературного языка, в развитие которого, особенно на первом этапе, чрезвычайно велик был вклад выходцев из белорусских и малорусских земель. Достаточно вспомнить хотя бы имена Симеона Полоцкого и Феофана Прокоповича, да не забыть реформу патриарха Никона с опорой на книжни-

ков Киево-могилянской академии. Поэтому для великорусов (русских) славянская идея всегда содержала в качестве ее составной части восточнославянский компонент. И этот компонент имеет особый характер, поскольку в нем заключено сознание общности всех ветвей восточного славянства, уходящей корнями в эпоху древней Руси. Именно поэтому великорусы (русские) ощущают свое неразрывное этническое родство с белорусами и малорусами (украинцами), признавая их своими во всех регионах Российской Федерации и во всех областях жизни.

В свою очередь многие белорусы и украинцы также чувствуют свою связь с общерусской культурой, многие считают русский литературный язык своим родным. Эта многослойность их национального самосознания — обычная вещь для всех исторических эпох — вызывает бурную негативную реакцию украинских и белорусских националистов. Подобная реакция находит отклик среди большинства представителей политической элиты Украины, но в гораздо меньшей степени — в Белоруссии. Для борьбы с такими чувствами и подавления их на Украине даже выработано понятие «империалистическая реваншистская Россия». К сожалению, это определение и образ врага перенесены ныне на страницы школьных учебников. Подозрения же в злых умыслах России пронизывают всю политику официальной Украины. Как видно, славянская идея и ее восточнославянский компонент по-разному проявляется в Российской Федерации, Белоруссии и на Украине.

Вторая сторона славянской идеи в российском национальном самосознании связана со всем славянским миром в целом. Здесь мы наблюдаем более дифференцированную картину отношений к различным ветвям славянства и разным народам. Часть общественного мнения (смею думать, небольшая часть), продолжая традиции славянофилов XIX в., развивает мысли о духовной близости православных славянских народов. Правда, склонность делить славянские народы по религиозному признаку на православных и католиков исторически показала свою малую продуктивность. От нее отказались уже неослависты начала XX в. Другая часть видит неиспользованный потенциал в идеях евразийцев. Однако в отличие от отцов евразийства 1920-х годов, действовавших в эмиграции и рассматривавших евразийство прежде всего как культурно-историческое явление, их современные последователи больше обращаются к геополитической стороне вопроса, а она для классиков была второстепенной.

Более перспективными представляются течения, которые задумываются о будущем славянского мира. Где место славянских народов в мощно

развивающихся глобальных интеграционных процессах? Общемировая цивилизация пока остается утопией. Напротив, конкретные цивилизации (культурно-исторические типы) и этнокультурные общности существовали всегда. Специфической чертой последнего времени является их самосознание, структурирование, превращение в субъекты глобального развития. Показательно, например, складывание мира исламских государств, несмотря на существующие между отдельными его странами серьезные противоречия. А японский опыт свидетельствует: наиболее успешно процессы модернизации протекали там, где они опирались на национальные традиции, а не на слепое заимствование.

Вопрос модернизации актуален для всех без исключения славянских народов. Но технико-экономические преобразования заставляют по-новому поставить проблемы их духовного и культурного обеспечения и поддержки. Пока же славянские страны сосредоточили внимание на обеспечении краткосрочных интересов. Во многих преобладают настроения «возвращения в Европу». Значительная часть этих стран озабочена вступлением в Европейский Союз, многие стремятся стать членами НАТО, что осложняет их отношения с Россией. При этом бросается в глаза отсутствие духовной перспективы. Что будет с их национальными культурами в условиях агрессивного наступления американизированной поп-культуры? Не будет ли она сведена до этнографического уровня? Такая угроза тем реальнее, чем меньше народ. А большинство славянских народов, особенно после распада многонациональных государств, немногочисленны.

Западная модель отнюдь не универсальна. Если вести речь о широком круге европейской христианской цивилизации, то к ней, естественно, относится и славянский мир, являющийся ее субрегионом, но сохраняющий внутри нее известную самостоятельность, обладающий, так сказать, определенной «культурно-этнической» автономией. Россия также стремится к сотрудничеству с Западноевропейским Союзом на определенных условиях, иногда даже сбиваясь на иллюзии «общеевропейского дома».

В таких условиях следует признать: сотрудничество славянских народов в культурной области окажется выгодно для всех них, особенно же для малых. Все это говорит о том, что преждевременно списывать со счета идеи славянской взаимности, относить их к романтическому периоду развития этих народов. Славянская взаимность в наше время — скорее осознанная необходимость. В основе нее лежат стимулы, побуждающие к созданию любого «Клуба по интересам». Для современности таким стимулом является стремление пройти эпоху модернизации без потери «национального

лица». А подобная угроза существует. Кризис национальной самобытности, или, как сейчас принято говорить, идентичности, свойственен многим из них. Достаточно вспомнить прошедшую не так давно дискуссию в Словении, в Любляне, на тему, являются ли словенцы славянами. Открещиваются от принадлежности к южнославянским народам (к Балканам) ряд политических течений в Хорватии. Аналогичные настроения, хотя и не проявившиеся столь ярко, существуют и в других местах. Однако суровая реальность вносит кардинальные коррективы. Сейчас повсеместно признается ошибочность бездумного разрыва экономических отношений. На очереди — признание утрат в области культурного сотрудничества. В этих условиях идеи славянской взаимности рано сдавать в архив. Можно прогнозировать ее возрождение, конечно, в новых формах. Такой же вывод надо сделать и относительно славянской идеи в России. Она продолжает оставаться составной частью национально-государственных интересов Российской Федерации.

Вышеприведенные выводы дают повод для умеренного оптимизма и беспочвенных надежд.

XIII Международный съезд славистов

В середине 2003 г. в Любляне (Словения) состоялся XIII Международный съезд славистов — самый крупный научный форум, на котором один раз в пять лет встречаются ведущие слависты мира с целью обсуждения актуальных, прежде всего междисциплинарных проблем, обмена информацией и установления научных контактов. Проводятся съезды под патронатом Международного комитета славистов (МКС), в состав которого входят председатели национальных комитетов славистов; в течение пяти лет между съездами МКС возглавляет представитель страны, организующей проведение следующего съезда.

На съезде в Любляне, по данным оргкомитета, присутствовало 618 участников из 37 стран, в том числе 550 докладчиков. На этом фоне заметно выделялась делегация из России — более 70 ученых. Количественно съезд был в два раза меньше, чем предыдущие съезды, в частности, в Братиславе и Кракове число участников достигало 1 200.

Такое уменьшение численности участников съезда имеет, безусловно, позитивную сторону: чем меньше квота участников от разных стран, тем выше качество избранных докладов; ограничение числа докладов позволяет избежать чрезмерного дробления на секции, которое приводит к разобщению участников съезда и тем самым к профанации его замысла. Кажется, веселое время «мегасъездов» уходит, и можно было бы, наверное, не горевать о нем, если бы не опасение, тревожащее многих, что эта статистика отражает неутешительные тенденции, которые наблюдаются в последнее десятилетие во всем мире и отрицательно сказываются на положении славистической науки. Участники съезда выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в области славистических исследований в США, Швеции, Великобритании, Италии, Франции, Канаде, Израиле, отчасти Германии, Финляндии, но в немалой степени это относится и к самой Словении, в которой славистика стремительно вытесняется словенистикой. В связи с этим нужно высоко оценить самоотверженную деятельность Национального комитета славистов Словении, Оргкомитета по проведению XIII съезда славистов и особенно председателя Международного комитета славистов проф. А. Шивиц-Дулар и ответственного секретаря Оргкомитета С. Торкара, обеспечивших успешное проведение съезда.

Политические условия, в которых сегодня приходится существовать славистам, все чаще становятся объектом их научной рефлексии. Поиски

славистикой своей идентичности связаны с глубоким обновлением Европы. После исчезновения биполярного мира последняя еще не выработала нового общепонятного языка. Славистика стоит на распутье и вынуждена искать и отстаивать свои позиции и обосновывать свою практическую необходимость.

На пленарном заседании первым было выступление профессора Ф. Берника (бывшего президента Словенской академии наук и искусств) «Культурная идентичность в период глобализации». Докладчик говорил о нивелирующем воздействии глобальной культуры, которое в Словении наложило на проблему внутренней неоднородности культурного пространства (диалектная раздробленность, тяготение отдельных регионов к итальянскому, венгерскому, австрийскому и другим векторам культуры). По мнению Ф. Берника, в период глобализации национальная культура, взаимодействуя с культурами других народов, несет ответственность за сохранение национальной идентичности.

Актуальные для современных обществ и государств вопросы были фоном и для двух других пленарных докладов: Г. Невекловского (Австрия) «Традиция и перемены в современных южнославянских языках» и Д. Броджи-Беркоф (Италия) «Русь, Украина, Галиция, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Москва, Россия, Центрально-Восточная Европа: о культурной многослойности и полифункциональности». Пленарный доклад О. Н. Трубачева «Опыт Этимологического словаря славянских языков: к 30-летию с начала публикации (1974—2003)» был представлен российской делегацией в печатном виде.

Тематика съезда распределилась по двум традиционным разделам — «языкознание» (1.0) и «история литературы, культурология, фольклористика» (2.0). В области славянского языкознания были выделены следующие аспекты, обсуждавшиеся на соответствующих секциях: *1.1. Лингвогенетический и этногенетический аспекты и историко-филологические аспекты* (Генезис славянских языков в контексте праславянской диалектологии — с акцентом на южнославянских языках. Славянская этимология в словообразовательном и семантическом аспектах. Палеославистика. Текстология и издание памятников); *1.2. Ареальные аспекты* (Ареальное изучение славянских языков (балтистика, карпатистика, германославика, австрославика, угрославика, дакославика, балканистика). Диалекты славянских языков: возникновение, развитие, современное состояние. Интердисциплинарность в диалектологических исследованиях. Перспективы, методы и техника лингвистической географии); *1.3. Структурные типологические и срав-*

нительные аспекты (на всех уровнях) (Актуальные проблемы научного исследования современных славянских языков (на всех языковых уровнях). Динамика и типология изменений в процессе развития славянских языков. Типологическая форма славянского предложения в метаязыковом сравнительном плане. Лексикологические и фразеологические неологизмы в славянских языках на рубеже тысячелетий. Процессы развития в области терминологии и связи между славянскими языками. Структурная типология славянского именного фонда); *1.4. Социолингвистические и прагматические аспекты* (Языковая теория стилей. Языковые контакты (славянский — славянский, славянский — неславянский). Роль национального языка в процессах формирования национальной культуры. Языковое планирование и языковая политика в странах с одним из славянских языков в качестве официального. Положение славянских языков в мире современной коммуникации и технологии в связи с вопросом о многоязычии. Социолингвистические аспекты и периодизация славянских литературных языков. Критерии литературности в славянских языках. Изменения, произошедшие в последние десятилетия в южнославянских литературных языках. Сосуществование литературного языка и некоторых других языковых форм (вариантов) в славянских языках. Славянские языки и процессы европейской интеграции и глобализации); *1.5. Теоретические и методологические аспекты в изучении славянских языков* (Использование новых технологий на материале славянских языков. Корпус текстов на славянских языках. Когнитивный подход в языкознании).

Раздел истории литературы, культуры и фольклористики включал секции: *2.1. Особые темы* (с подразделением 2.1.1. Адам Мицкевич, Александр Пушкин, Франце Прешерн в славянском и европейском контексте. 2.1.2. Проблематика творческой деятельности в эмиграции); *2.2. Теоретические аспекты* (Современные направления литературоведения в славянском мире. Функции литературы в славянском мире. Общее сравнительное литературоведение и славянские литературы. Тематология на распутье между литературоведением, культурологией и лингвистикой (тема, интертекстуальность, модель мира)); *2.3. Историко-литературные аспекты* (Типология возникновения славянских литератур. Эволюционная типология жанров в славянских литературах. Континуитет и дисконтинуитет литературного процесса с периода Средневековья до постмодернизма (с акцентом на проблеме литературности). Связи между славянскими литературами в аспекте соотношения тематической и образной структуры. Фантастика в славянских литературах. Литература сопротивления. Регионализм и диалект-

ность в литературах славянских народов. Славянские литературы национальных меньшинств и диаспоры. Славянские литературы на фоне или в окружении неславянских литератур). 2.4. *Культурологические аспекты* (Изменения в литературной жизни на переломе тысячелетия (влияние социально-политических изменений и новейших средств массовой информации). Обретение национальной независимости и реинтерпретация прошлого (литература, язык, культура и история). Глобализация, культурное самосознание и мультикультурализм как проблемы славянского мира. Восприятие славянской драматургии на неславянской почве. Литература и философско-религиозная мысль. Массовая культура). 2.5. *Фольклористика* (Фольклорный текст в культурном контексте. Тексты современного славянского фольклора. Понятие традиции в истории литературы и в фольклористике. Соотношение между устной и письменной формами литературы (с акцентом на изменении границ между ними). Современные тенденции в истории литературы и в фольклористике).

В качестве отдельного раздела 3.0. была выделена «История славистики» с юбилейной темой «*Йозеф Добровский (1753—1829) в контексте европейского просвещения и общественных наук*» (Роль Йозефа Добровского в формировании славянских национальных филологий. Взгляды Йозефа Добровского и Е. Копитара на старославянский язык и культурологические и языковые аспекты славянской письменности в Карантании, Паннонии и на Балканах. Й. Добровский, Е. Копитар и славянская фольклористика).

Кроме того, на съезде было организовано 19 тематических блоков: «Распределение семантического анализа в статьях этимологического словаря»; «Критическое издание древнейшего славянского текста библейских книг и его альтернативы»; «Хорватский язык во взаимодействии с европейскими языками»; «Интернационализация в современных славянских языках»; «Inter-Slavica»; «Сравнительный синтаксис славянских языков второй половины XX в.»; «Лингвистический корпус по славянским языкам»; «Топика славянских литератур»; «Библейские цитаты в славянской литературе»; «Динамика насилия: Виды постсоветской популярной литературы и детектива»; «Перевод художественных текстов — коммуникация народов, языков, культур»; «Gender-Block»; «Роль религии в формировании национального самосознания и национальной культуры у славянских народов»; «Древнеславянская литургическая поэзия»; «Этнокультурное взаимодействие восточных славян в XVII—XVIII вв.»; «Славянские языки и литературы в образовании»; «Фольклор и фольклористика на рубеже тысячелетий»;

«Пища; продукты питания и культурно-семантические аспекты»; «Дунайские славяне в VII—IX вв.».

Содержание докладов не вполне совпадало с установленной тематикой съезда, во всяком случае доклады далеко не равномерно наполняли ее разделы. Это отчасти говорит о недостаточной репрезентативности утвержденной Международным комитетом тематики (многие направления, в том числе активно развивающиеся, оказались не представленными на съезде), о недостаточно критическом отборе докладов, отчасти о несовершенстве съездовских правил: Оргкомитет не имел возможности корректировать тематику, приводя ее в соответствие с поступившими заявками, даже если в ней обнаруживались явные промахи. Например, важнейшая для съездов славистов тема «история славянских литературных языков» в перечне тем оказалась пропущена, и при формировании программы поступившие по этой теме доклады были помещены в конец секции 1.2. Ареальные аспекты (с. 81) и в секцию 1.4. Эта последняя, а также секция 1.5. оставляют впечатление сформированных случайным образом. Впрочем, несомненным достоинством осуществленной группировки докладов является то, что не было излишнего дробления секций по тематике.

Охватить вниманием все разнообразие прозвучавших на съезде докладов было, конечно, невозможно (хотя в силу сокращения масштаба съезда, наиболее интересные из докладов оказались относительно доступными). И хотя предлагаемые заметки опираются не только на мои личные впечатления, программные материалы съезда и резюме докладов, но и в значительной мере на информацию, полученную от коллег — С. М. Толстой, Ж. Ж. Варбот, Е. Л. Березович, Т. И. Вендиной, Г. П. Клепиковой, В. А. Хорева, Л. Н. Будаговой, Л. Е. Горизонтова, А. А. Плотниковой, Е. Е. Левкиевской, Н. Н. Стариковой, Ю. А. Созиной, Л. И. Сазоновой, Е. Г. Водолазкина и Т. Г. Руди, А. И. Чагина, Т. Б. Диановой, Л. Н. Виноградовой, О. В. Беловой и др. (за которую я приношу им свою глубокую благодарность), составить здесь сколько-нибудь полную картину происшедшего на съезде было заведомо нереально, приходится ограничиваться частичной.

По единодушному мнению участников съезда, наиболее успешно работала секция 1.1., которая объединила специалистов по этногенезу, этимологии и этнолингвистике и по истории славянской письменности. В этой секции, насыщенной интересными докладами, собрались такие ученые, как В. А. Дыбо, А. А. Зализняк, В. В. Седов, Г. Шустер-Шевц, Х. Поповска-Таборска, Л. Мошинский, И. Дуриданов, Ж. Ж. Варбот, С. М. Толстая,

А. А. Алексеев, Х. Кайперт, Е. Хелимский, Й. Райнхарт и др., возможность услышать их выступления в дискуссии привлекала других участников.

В. В. Седов представил доклад «Славяне в римское время», в котором новейшие интерпретации археологических данных сопоставляются со свидетельствами истории и лингвистики. Удачным соединением лингвистических и исторических данных отличался и доклад А. Ломы «Евразийский степной пояс как фактор языкового и культурного прошлого славян».

Доклад В. А. Дыбо «Балто-славянская акцентологическая реконструкция и индоевропейская акцентология» был важен обоснованием значения славянских данных для реконструкции индоевропейской акцентологии.

Е. А. Хелимский обобщил в своем докладе ряд наблюдений и аргументов, изложенных в его публикациях последних лет и позволяющих предполагать, что одним из основных языков аварского этнического конгломерата и, вероятно, родным языком правителей Аварского каганата в эпоху его сложения (VI в.) был язык тунгусо-маньчжурской группы.

В этимологической проблематике, которая была весьма представительной в названной секции, преобладал интерес к лексической семантике. Специально этот аспект обсуждался в рамках тематического блока по проблемам подачи семантической информации в этимологических словарях. В докладе Я. Влаич-Попович и М. Белетич о первом выпуске «Этимологического словаря сербского языка» на примере конкретных статей была наглядно обобщена не только его практика, но и других этимологических словарей славянских языков; при этом обнаруживались их сильные и слабые (проблема семантических универсалий) стороны. Глубокий анализ перспектив этимологической разработки региональной лексики с обсуждением проблем праславянских архаизмов, внутриславянских изоглосс, диалектного членения праславянского был представлен в докладе В. Борыся и Х. Поповской-Таборской о значении «малых» языков (в частности кашубского и чакавского) для праславянской этимологии. Как отмечает Ж. Ж. Варбот, методологически существенным является установление в словаре нижней границы этимологического анализа: не глубже праславянского.

Ж. Ж. Варбот представила на съезде свое исследование о народной этимологии как одном из важнейших факторов исторического изменения лексики.

Интересные сведения о многоязычных источниках румынских лексем были сообщены в докладе Д. Гамулеску «Славянские этимологии в Румынском этимологическом словаре».

Плодотворность привлечения этнолингвистического материала при исследовании семантических параллелей в славянских языках была продемонстрирована в докладе С. М. Толстой («Семантическая реконструкция и проблема синонимии в праславянской лексике» на основе изучения корней **kras/kvet*).

На секции обсуждались и другие доклады, посвященные реконструкции древнейшей славянской культуры и картины мира. В этом направлении были ориентированы доклады А. Ф. Журавлева «Диалектный словарь и культурные реконструкции», Л. В. Куркиной («Система пространственных представлений древних славян»), И. Янышковой («Отношение древних славян к деревьям с точки зрения их названий»), М. Рачевой (о семантических проблемах цветообозначений), И. А. Седаковой («Судьба сакральных слов в славянских языках (между язычеством и христианством)»); тематически к ним примыкает доклад А. Петровой («“Страх” в балканских языках: культурные вариации и сходства»), прочитанный на секции 1.2., и др.

Съезд еще раз показал, что взаимное сближение этимологии и этнолингвистики, занимающейся отражением культуры народа в языке и фольклоре, позволяет обеспечить большую достоверность семантического анализа и реконструкции культуры. Важным событием явилось создание на съезде международной комиссии при МКС по этнолингвистике во главе с известным польским ученым Ежи Бартминским. До настоящего времени этнолингвистическая проблематика была «рассыпана» по разным секциям, что затрудняло и научное общение, и плодотворные дискуссии. Теперь у языковедов, фольклористов, этнологов, культурологов появилась возможность непосредственно обмениваться результатами своих исследований.

Несколько докладов по-новому освещали проблемы исторической фонетики, основываясь на неизвестных ранее материалах или более тщательном анализе старого. В частности, в докладе Г. Шустера-Шевца о метатезе плавных и дифференциации славянских языков традиционная реконструкция процесса «метатезы» была дополнена важными наблюдениями над вариантами рефлексов в разных областях славянского мира (в частности в полабском) и высказаны гипотезы о причинах такой вариантности (движение полабов-поморян на север с юга — что объясняет тождество рефлексов с южнославянскими языками), о первичности разделения славянских диалектов по рефлексам **orT*, о более ранней хронологии метатезы (до V в.). В докладе И. Рейзека о хронологии появления начального славянского *x*- достаточно убедительно были разделены процессы изменения

$s > x$ после i, u, r, k (VII–V вв. до н. э.) и $s > x$ в начале слова (ок. IV в. н. э.). В докладе Ф. Минлоса «Рефлексы слав. **Ce/C* в восточнославянских языках» была обнаружена ранее не замечавшаяся закономерность рефлексации этого сочетания в [*CeloC*₂], если *C*₂ — губной или заднеязычный согласный и [*CeleC*₂], если *C*₂ — зубной согласный.

На материале древнеславянской письменности с учетом доступных диалектных данных были сделаны доклады по проблемам грамматики: Й. Райнхарт «Морфологические инновации старославянского языка», А. Шивиц-Дулар «Эволюция адъективного склонения в историческом и ареальном аспекте», О. Ф. Жолобов «Морфосинтаксис древнеславянских числительных».

В докладе В. Б. Крысько «Русско-церковнославянские рукописи XI–XIV вв. как источник по истории старославянского и древнерусского языков: новые данные» был рассмотрен новый материал рукописей, расширяющий наши знания о древнейших диалектных грамматических особенностях древнерусского языка и его лексике.

Традиционная филология, изучение старославянских и церковнославянских памятников письменности были представлены рядом серьезных докладов палеославистов: Л. Мошинский («Вопрос о литургии архиепископа Мефодия»), М. Мак-Роберт («К вопросу об отождествлении “Преславской редакции” Псалтири»), С. Богданова («Среднеболгарский перевод “Пандект” Никона Черногорца»), Э. Благова («Языковые схождения старославянского паримейника с другими старославянскими библейскими текстами»), Е. М. Верещагин («Текстология древнейших славяно-русских переводных памятников»), М. Таубе («Виленская Псалтирь № 262: еврейский перевод»), С. Шварцбанд («Лексико-семантическая атрибуция церковнославянских текстов (реальные и мнимые гебраизмы)'), Л. Тасева («Триодные синаксари у южных славян в XIV в.») и др. Более подробно эта тематика рассматривалась в рамках тематических блоков «Древнеславянская литургическая поэзия», «Критическое издание древнейшего славянского текста библейских книг и его альтернативы» и «Библейские цитаты в славянской литературе».

Крупным событием на съезде было выступление А. А. Зализняка о новгородском восковом кодексе первой четверти XI в. и, в особенности, о содержащихся в нем скрытых текстах, так называемой тетралогии «От язычества к Христу».

Общее положительное качество многих перечисленных докладов состоит в том, что они, с одной стороны, опираются на большую научную традицию, а с другой, основаны на новых источниках и материалах, ко-

торые были введены в научный оборот в последние годы. Учет неизвестного ранее материала если и не приводит к новым решениям, то обнаруживает большую глубину проблем, позволяет увидеть несовершенство прежних классификаций и оценок.

Проблематика ареального изучения славянских языков на этом съезде переместилась в программе на второе место (в Кракове аналогичная секция была четвертой), что соответствует современному уровню развития славянской диалектологии. К бесспорным достижениям славянского языкознания последних десятилетий в области лингвогеографических исследований относятся «Общеславянский лингвистический атлас» (ОЛА), «Общекарпатский диалектологический атлас» (ОКДА, работа в ближайшее время завершается изданием 7-го выпуска), «Малый диалектологический атлас балканских языков» (МДАБЯ, опубликован пробный выпуск и описания ряда говоров, входящих в сетку исследования), а также «Восточнославянские изоглоссы» и др. Все эти работы осуществлялись как международные проекты и постоянно обсуждались на съездах. Теперь они становятся базой для осмысления языковых параметров отдельных выявленных ареалов, их сопоставительного изучения и интерпретации, что было успешно продемонстрировано в докладах Т. И. Вендиной («Лексика и семантика на картах ОЛА»), Я. Сятковского (Иноязычные заимствования в ОЛА), А. Ференчиковой («Сельскохозяйственная лексика в ОЛА») и Л. Э. Калнынь («Фонетическая программа слова как инструмент типологической классификации славянских диалектов»). На лексическом материале ОКДА основано исследование Г. П. Клепиковой («Карпатологический аспект славянской лингвогеографии»), в котором приводятся новые аргументы в пользу существования карпатской (карпато-балканской) общности; этот материал дополнило выступление В. В. Нимчука («Проблема карпатоукраинско-южнославянских лексических параллелей»). Материал МДАБЯ использован в докладе А. Н. Соболева («Южнославянские языки в балканском ареале»). При обсуждении последнего в связи с докладом Е. Русека («Словарь балканизмов в южнославянских языках») обнаружилась сложность в понимании термина «балканизм»: являются ли балканизмы только результатом заимствования или влияния соседних неславянских языков или под ними можно подразумевать и собственные новообразования? С изданием фундаментальных диалектных атласов появилась необходимость совершенствования диахронического истолкования их данных.

В ареальном аспекте рассматривалась этнокультурная лексика в докладе А. А. Плотниковой, наблюдения которой во многом согласуются с выводами А. Н. Соболева и, вместе с тем, позволяют устанавливать черты «культурных диалектов» в южной Славии.

Как отмечает Г. П. Клепикова, численность и качество представленных на этой секции докладов российской делегации (при том, что некоторые из докладчиков не смогли приехать) свидетельствуют: центр разработки славянской ареальной проблематики находится сейчас в России.

В разной степени ареальная проблематика затрагивалась в докладах В. Астрэйка («Балто-восточнославянское зональное взаимодействие»), М. Флэйера («О редкой инновации в восточнославянском глаголе. Пример белорусской диалектной формы *идом* 'идем'»), С. Неверкла («Заимствование германизмов через чешское посредство в польский и словацкий языки»), Ю. Накаджима («Опыт прагматического анализа местоименных форм в македонском языке»), И. Шаллерта, Р. Коссутты и др.

Вопреки съездовским установкам на обсуждение межславянских или общеславянских проблем, часть прочитанных на секции 1.2. докладов была посвящена сугубо частным вопросам единичных диалектов; таких докладов в программе было заявлено больше, но, по счастью, их авторы не приняли участия в работе съезда.

В последнее время актуальной стала проблематика диалектных контактов, функционирования диалектов в иноязычной среде или в зонах языкового пограничья, которая требует применения сравнительно новой для диалектологии социолингвистической методики. Эта методика обсуждалась в ряде докладов на секции 1.2. (доклады Л. Бартко, Н. Дзендзелевской, Ш. Липтака «Словацкие диалекты на Закарпатской Украине в свете языковых контактов»; Л. Л. Касаткина и Р. Ф. Касаткиной «Прародина орегонских старообрядцев-турчан по данным их говоров», В. Ващенко «О типологической классификации народных говоров (на примере говоров русских старообрядцев Европы)»; И. Стоянова, Э. Стояновой «Пути развития устной и письменной форм болгарского языка на Украине»), а также в секции 1.3. (доклады Б. Вимер, А. Зелинской «Об объединении диалектологических и социолингвистических методов в исследовании языковых контактов и социолингвистических методов в исследовании языковых контактов (на примере балто-славянского пограничья)»; А. Зелинской «О соединении социолингвистических и диалектологических методов в исследовании польского языка в Литве и Белоруссии»; М. Краузе, Х. Саппока, В. Люблинской и др. «Ментальные карты диалектов и образ диалектов в России» и др.).

С этой тематикой был связан и доклад Е. А. Земской о языке русских эмигрантов, подготовленный совместно с О. П. Ермаковой и З. Рудник-Карват.

Ономастическая тематика на съезде была представлена всего девятью докладами, причем большинство из них было посвящено частным фактам и явлениям, а методика исследования не учитывала нового в лингвистической теории. Исключение составил интересный доклад Е. Л. Березович об этнолингвистическом аспекте топонимических исследований. Такая ситуация в ономастике, по мнению докладчицы, отчасти связана с ее методологической изоляцией от работ в смежных областях. Поэтому было бы целесообразно не стремиться выделить эту тематику в отдельную секцию, а, напротив, «растворить» ее в других секциях, чтобы обеспечить взаимообмен идеями между «апеллятивными» и «проприальными» докладами.

Характеризуя работу секций 1.3. (с подразделением на 1.3/1. и 1.3/2.) и 1.4., нужно отметить, что, как всегда, приковывали внимание участников съезда выступления наших видных ученых Т. М. Николаевой («Пространство славянских партикул: дистрибуция и функции»), А. В. Бондарко («Теоретические проблемы функциональной грамматики») и Г. А. Золотовой («Дискуссионные проблемы современной грамматики») — специалистов в области грамматики, за которыми стоят целые научные направления.

Симптоматичным был доклад К. Гутшмидта (Дрезден) о положении и перспективах славянских литературных языков в условиях европейской интеграции и глобализации. Докладчик отметил, что славянские языки по численности говорящих на них находятся на первом месте в Европе, тем не менее результаты научных исследований и достижений не только в технических, но все больше и в гуманитарных областях публикуются сегодня на иностранных языках. Преодолеть эту тенденцию едва ли возможно, но в целях сохранения гармоничной европейской культуры необходимо бороться за сохранение славянских языков. О влиянии политических изменений на социолингвистическую ситуацию и состояние славянских языков говорилось в докладах А. Грыбошевой, М. Баловского, Б. Станковича и др.

Значительная часть докладов на секции 1.4. была посвящена проблемам стандартизации языка в постиндустриальную эпоху (о необходимости отказаться от термина «литературный язык» применительно к языку современной эпохи говорилось в докладе М. Вингендер «К развитию теории стандартного языка»). Интересным был доклад Д. Данна (Глазго) о кри-

тических явлениях в славянских постлитературных языках: всем современным европейским языкам присуща значительная свобода языковой нормы (под влиянием процессов глобализации, регионализации, терпимости к сленгу и другим ранее невозможным формам, а также возросшей роли языковой игры), но в наибольшей степени это явление заметно в славянских языках. Термин «постлитературные языки» отражает происходящую, по мнению Д. Данна, замену единого литературного языка совокупностью в разной степени стандартизованных идиомов, обслуживающих различные субкультуры и слои общества.

Из разнообразных докладов, обсуждавшихся на этих секциях, отметим доклады Ингрид Майер «Переводы западноевропейских газет в московском Посольском приказе (1660—1670 гг.)», Я. Дорули «Первый полный перевод Библии на словенский язык (в сравнении с чешским и польским переводом)», Н. Запольской «Книжная справа в культурно-языковых пространствах *Slavia Orthodoxa* и *Slavia Latina* (XVI—XVII вв.)», В. Московича «Русский язык в Израиле», Г. Цыхуна «Межславянское языковое взаимодействие», Х. Томмола «К лексико-семантической типологии славянских языков», А. Я. Шайкевича «Сеть семантических текстуальных связей в поэзии Пушкина и Мицкевича», А. Дерганц «Некоторые различия в образовании перфективного презенса в словенском и русском», А. Мустайоки «Функциональный синтаксис как основа сопоставления языков» и др.

Если секции 1.1. и 1.2. выделяли на вполне отчетливых тематических и проблемных основаниях, и секции 1.3. и 1.4. также демонстрировали некоторое единство тематики (хотя и уровень докладов был более неровным, и велик разброс проблем); то секция 1.5, которая заседала всего полтора дня, так что ее существование не всеми было замечено, могла бы быть названа «разное». Вопреки названию секции, собственно теоретические и методологические аспекты здесь почти не обсуждались; напротив, в большей степени говорилось о практическом применении новейших компьютерных технологий в славистике.

Несмотря на то что во многих докладах сравнительно-исторический подход (и даже сравнительность) отсутствовал, некоторое количество «монологических» докладов (которых не удастся избежать на всех съездах) не дает основания для опасения, что «славистика постепенно превращается в простую сумму русистики, полонистики, украинистики и т. п.» (Е. Л. Березович). Съезд продемонстрировал, что в центре внимания славистов по-прежнему остается анализ источников, критика текста, сравнительная

славянская филология, соединение литературоведческой проблематики с лингвистической и культурологической. При этом, по наблюдению С. М. Толстой, продолжается движение в сторону «внешней лингвистики» (социальные и культурные функции языка, языковые контакты, этно- и глоттогенез) и содержательной стороны языка (слова, текста); вопросы же структуры языка — фонологии, морфологии (за исключением, пожалуй, аспектологии), словообразования, формального синтаксиса — отошли на второй план. Г. П. Клепикова также отмечает, что интерес к ареалогическим и социолингвистическим аспектам славянской диалектологии может свидетельствовать о стремлении изучать действие не только собственно лингвистических («внутрилингвистических») факторов («законов»), но и факторов «внешнелингвистических», а также «экстралингвистических».

Доклады по литературоведению, культурологии и фольклористике на съезде отразили существенные изменения ориентиров в этих областях филологии. При этом, по общему впечатлению В. А. Хорева, идеологическое раскрепощение гуманитарных наук и более активное приобщение литературоведческой славистики к достижениям европейской теоретической мысли не привело ее пока к новым теоретико-методологическим или концептуальным построениям. Заметно преобладали на съезде доклады историко-литературного содержания, посвященные анализу частных, порой второстепенных вопросов.

Весьма остро изменения в положении литературоведческой славистики в современном мире и понимании ею своих методологических задач обсуждались в докладах чешских ученых. В докладе М. Зеленки «Традиции и перспективы литературоведческой славистики» говорилось о кризисе, переживаемом этой наукой, и необходимости реагировать на меняющийся мир поисками новых проблем и нетрадиционных решений. Специально этой проблеме на съезде был посвящен круглый стол «Литературоведческая славистика в период глобализации» (руководитель И. Поспишил). Выступавший на нем польский ученый Л. Суханек предложил в качестве возможного выхода из создавшейся глобализационной ситуации интердисциплинарный подход к славистике, например, комплексное изучение особенностей отдельного славянского региона путем комбинации таких дисциплин, как страноведение, география, этнография, философия, культура, литература, язык и т. д. (так называемые *area studies*). В качестве примера он привел опыт Краковского университета, где уже введена специализация «россиеведение», и откуда выходят «россиеведы» (специалисты по России). Реали-

зация такого подхода, наверное, полезна для представления отдельных языков и стран, но для славистики губительна уходом от научной методологии.

В докладе об актуальной проблематике изучения славянских литератур Л. Н. Будагова обобщила опыт создания в руководимом ею Центре истории славянских литератур трехтомной «Истории литератур западных и южных славян». По ее мнению, насущной задачей является ликвидация тех белых пятен в изучении славянских литератур (исторических эпох, национального литературного процесса, художественных течений, писательского творчества), которые возникли по идеологическим или цензурным причинам, а то и просто из-за недостатка знаний. Требуется изучения и возвращения в историю литературы творчество писателей-эмигрантов, диссидентов, писателей, подвергавшихся репрессиям или просто замалчивавшимся по политическим причинам. Нуждаются в переоценке нетрадиционные литературные направления (декаданс, модернизм, авангардные течения, религиозная литература).

Примером комплексного обсуждения литературоведческих проблем в их связи с современной жизнью был доклад польского ученого Л. Суханека «Эмиграция как травма». Применяя понятия «культурная травма» и «антропологическая травма» к жизни российской писательской эмиграции третьей волны, он выделил две модели их преодоления: адаптация к новой среде и ее системе ценностей (И. Бродский, Ю. Дружников) и резкая критика Запада при полном отрицании коммунизма (А. Солженицын) или сохранении положительного к нему отношения (Э. Лимонов).

В этом русле был организован тематический блок «Динамика насилия: виды постсоветской популярной литературы и детектива».

Интересными теоретическими поисками отличались доклады и дискуссии на секции, посвященной сопоставительному исследованию творчества словенского поэта Ф. Прешерна (доклады В. А. Хорева «Романтические поэмы А. Мицкевича и Ф. Прешерна», Н. Н. Стариковой и Ю. А. Созиной «Франце Прешерн в кругу славянских поэтов-современников и изучение его творчества в России», Н. Ежи «Валленродизм и чертомирство», Г. Коцияна «Характерные особенности баллад Прешерна, Пушкина, Мицкевича, их различие и сходство» и др.). Обсуждалось соотношение двух типов литературной близости: контактных связей (влияние, заимствование, реминисценции, филиации и т. п.) и типологических сходжений.

Темы докладов по литературоведению, как отмечают участники других литературоведческих секций (Л. Н. Будагова, Е. Г. Водолазкин, Т. Г. Руди)

были чрезмерно разнообразны — от размышлений о судьбах славяноведения до толкований конкретных литературоведческих понятий (М. Юван «Стиль и идентификация литературного текста»); от текстологического анализа отдельных произведений (Л. Мокроброродова «Цитата как гипотекст: роман М. Бутова “Свобода” (1999)», У. Шольц «Литература и мифология: образ черта в “Борисе Годунове” А. С. Пушкина») до концепций национального литературного процесса в общеевропейском контексте (М. Наэнко «Дискурс современного литературоведения 90-х годов XX в.»; Н. Радический «Направления связи македонского культурного пространства с другими южнославянскими народами») и типологии литератур различных славянских народов (Л. И. Сазонова «Кросс-культурные процессы в Европе: на материале книг кириллической печати второй половины XVI в.»; М. Якимовска-Тошик «Типология развития жанров в средневековых славянских литературах»; И. И. Калиганов «Регионализм в древних литературах ареала *Slavia Orthodoxa*, Светлозар Игов. Теоцентризм, этноцентризм и антропоцентризм. Европейский Ренессанс и славянское национальное возрождение» и др.).

Активную разработку получили на съезде проблемы литературных жанров Средневековья. Они были представлены как в общеметодологическом освещении (М. Якимовска-Тошик), так и в углубленных исследованиях конкретных жанровых форм (М. В. Рождественская «Библейские апокрифы в литературе и книжности Древней Руси: апокриф как литературный текст»; Е. Г. Водолазкин «О жанровых особенностях древнерусских хронографов»; И. Шпадиер «Гимнографический жанр и богослужбена практика — Феодосиевы каноны святому Симеону и святому Савве»; А. Милтенова «Литература в форме вопросов и ответов в славянском Средневековье — типология жанра»). Вопросы типологии литературных текстов привлекли внимание ученых также и в отношении других аспектов исследования средневековой поэтики (Т. Р. Руди «Средневековая агиографическая топика: принцип *imitatio* и проблемы типологии»; Р. Кунчева «Поэзия болгарских католиков (XVIII в.) — стих и поэтика. Типологические параллели с южнославянским и западнославянским католическим миром в аспекте формирования лирического»).

Аморфной оказалась секция 2.4. Культурологические аспекты. Здесь не было недостатка в интересных докладах, однако заметно было отсутствие объединяющей их методологической основы. Вследствие этого, как отмечает А. И. Чагин, в докладе, например, украинского ученого С. Вид-

нянского «Влияние процессов глобализации и европейской интеграции на национально-культурную жизнь славянского мира» говорилось о современных процессах дезинтеграции славянского мира, контрастирующих с тенденцией неславянских европейских стран к объединению, о расцвете национализма и «этнонарциссизма», приводящих к культурной изоляции славянских народов. А в выступлении его коллеги А. Скрипник, обращенном к близкому кругу вопросов, подобные этнические трансформации характеризовались позитивно — говорилось о национальной и гражданской идентификации крупных групп населения, о влиянии происходящих изменений на повышение уровня и улучшения качества жизни и т. п.

Впрочем, в большой части представленных на секции докладов подобная проблематика рассматривалась или в сопоставлении двух национальных культур, или путем включения опыта одной культуры в широкий славянский контекст. Основной темой обсуждения было взаимодействие славянских культур, общности или близости их традиций и исторических судеб (доклады И. Суецкой и Р. Детрэ, построенные на сопоставлении культурных традиций Болгарии и Македонии, выступление И. Вирккула, посвященное выбору имен для детей в Загребе и Софии как выражению национальной идентичности и др.).

Плодотворным было обращение ряда участников работы секции к вопросам национального самосознания в мультикультурном обществе, проблеме диаспоры (доклады болгарских ученых К. Михайловой об особенностях восприятия понятия *родина*, *отечество* среди поляков, постоянно проживающих в Болгарии, и болгар, постоянно проживающих в Польше, и В. Пенчева — о двойственной идентичности (на примере болгар в Чехии и Словакии и чехов и словаков в Болгарии); М. Черного — о литературе чешской Вены, Л. Хладкого — о чехах в Югославии в XIX и первой половине XX в., И. Паская — об изучении взаимоотношений языка и фольклора на материале «русской культурной зоны». К этому кругу вопросов примыкает доклад А. И. Чагина «О целостности русской литературы XX в.», посвященный судьбам разделенной после 1917 г. русской литературы.

По сравнению с предыдущими съездами значительно сократилось количество докладчиков по фольклорной проблематике: прежде их бывало по 60—70, а на этом съезде было всего 30 докладов. Из-за финансовых трудностей от участия в съезде отказались болгарские фольклористы, уменьшились украинская и белорусская делегации (по три докладчика). Слабо оказалась представлена польская и словацкая фольклористика

(по два доклада); никто не приехал из Чехии. Наиболее значительной и здесь была российская делегация: 9 фольклористов. Без преувеличения можно сказать, что доклады наших ученых — О. В. Беловой, В. А. Бахтиной, А. Л. Топоркова, В. М. Гацака, Т. Б. Диановой, А. В. Кулагиной, Л. Н. Виноградовой — вызвали наибольший интерес (это было заметно и по числу слушателей, появившихся в моменты выступления российских фольклористов, и по высокой активности дискуссий). Они отличались постановкой крупномасштабных научных проблем, методологической основательностью и широким охватом общеславянского материала, что было особенно важно при обсуждении вопроса об этно-определяющей и национально-государственной функции «своего» собственного фольклора, значения фольклористики для государственного самоутверждения, базирующегося на концепции «приостановки этнической разгерметизации» нации (доклад Л. Вахниной и Л. Мушкетика).

Оживленную дискуссию вызвали доклады тематического блока под названием «Фольклор и фольклористика на переломе тысячелетия».

Качество состоявшихся на съезде тематических блоков было неравным — некоторые из них были удачны, другие нет. К сожалению, организаторам не удалось соотнести по времени проведение блоков с работой секций, близких им по тематике. Особенное затруднение состояло в том, что заседания блоков проходили в другом здании. Вообще относительно блоков участниками съезда высказано больше всего отрицательных оценок: право подбора докладчиков того или иного блока отдано председателю блока, что создавало льготные условия для слабых докладов. Часть докладов, относящихся к тематике блока, остается за его пределами на секции (так было, в частности, с докладами по библейским цитатам и литургической поэзии) и т. д. В целом список блоков оставляет ощущение случайности, нет критериев их выделения. Вероятно, одним из основных критериев образования блока на съезде должна быть интердисциплинарность в решении славистических задач, что позволило бы привлечь к участию в съезде историков, археологов, специалистов в области материальной культуры и др. При этом блоки должны работать внутри ближайших по тематике секций, формируя их проблематику и используя их время — тогда более ответственно можно будет решать, какие из них нужны, какие нет.

Помимо круглого стола «Литературоведческая славистика в период глобализации», на съезде были проведены круглые столы по темам: «Славянские языки в эволюционной перспективе: функционирование, кон-

такты, языковая политика» и «Университетская славистика в славянских и неславянских странах».

В ходе съезда также состоялись заседания всех комиссий при МКС, были приняты правила их формирования и деятельности и проведены выборы новых руководителей. Количество комиссий уменьшилось с 29 до 25: некоторые комиссии по разным причинам перестали действовать, но появились и новые.

По традиции на съезде была развернута выставка славистической литературы, в которой, как всегда, значительное место занимали публикации российских ученых.

В целом, можно сказать, что съезд прошел успешно и выполнил свою задачу.

Следующий съезд славистов планируется провести в 2008 г. в Македонии.

І СЕКЦИЯ

Т. В. Волокитина

Сталинизм в Восточной Европе в 40-е годы XX века: к проблеме изучения (Дискуссионные аспекты)

В процессе изучения сталинизма отечественными обществоведами можно выделить несколько важных временных вех. Точкой отсчета стал доклад Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС в 1956 г., затем следует анти-сталинская кампания начала 1960-х годов и, наконец, развернувшаяся в 1980-е широким фронтом исследовательская работа, которая поначалу велась, главным образом, силами философов и политологов. На том этапе по объективным причинам историки находились в стороне, поскольку лишены были своего главного оружия — надежных источников. При всем уважении к проделанной коллегами-обществоведами работе приходится признать, что воспринимаемый ими принцип «абстрактно-общего», хотя и способствовал осмыслению социально-политических процессов, все же не позволял с необходимой полнотой воссоздать картину конкретно-исторического развития.

Час историков пробил в первой половине 1990-х годов, когда в России началась «архивная революция», и исследователи получили возможность обратиться к ранее недоступным документальным материалам. Введение их в научный оборот сразу резко повысило информационную ценность исторических работ, вызвав одновременно бурные дискуссии как в России, так и за рубежом.

За прошедшее десятилетие в изучении феномена сталинизма сделано немало. Пожалуй, самым важным достижением является создание новой источниковой базы, открывшей возможность не только для критического переосмысления прошлого, но и для принципиального изменения всей парадигмы исторических исследований.

Естественно, что в центре внимания авторов находится личность Сталина, интерес к которой продолжает возрастать. Достаточно сказать в подтверждение: после смерти советского лидера в 1953 г. и до настоящего времени написано более 100 его биографий. Диапазон оценок деятельности и роли Сталина в истории советского государства и международной

политике весьма широк, и акценты при изучении этой личности расставляются по-разному. Для одних он — лжец и обманщик, который разыгрывал спектакли среди своего окружения, говорил одно, а делал другое, для других — жестокий деспот, не гнушавшийся никакими средствами, руководивший советским блоком как «воровской малиной», для третьих — политический реалист, «гениальный дозировщик» (оценка, данная Сталину Н. И. Бухариным), обладавший, как писал о нем посол США в Москве Д. Кеннан, «дьявольским искусством тактика», способностями настоящего шахматного гроссмейстера. «Я не сомневался, — отмечал Кеннан в своих воспоминаниях, относящихся к 1945—1946 гг., — что передо мной один из самых удивительных людей в мире, что он жесток, беспощаден, циничен, коварен, чрезвычайно опасен, и вместе с тем — один из подлинно великих людей своего века»¹.

Попытки отказаться от однопланового освещения столь крупной политической фигуры наблюдаются и в отечественной историографии. «Сталин был не только вождем, диктатором и тираном. За внешней оболочкой культа личности жестокого деспота существовал и обычный человек, думающий, размышлявший, имевший огромную волю, большое трудолюбие и немалый интеллект. Он был также несомненным патриотом исторической российской государственности», — пишут братья Ж. А. и Р. А. Медведевы. Именно эта столь очевидная многомерность феномена Сталина делает советского лидера и сегодня, по их мнению, по сути дела, все еще «неизвестным»².

Объективному изучению личности Сталина и различных сторон его деятельности, с нашей точки зрения, крайне вредит применяемая отдельными исследователями жесткая ценностная шкала при полном игнорировании исторического контекста, а подчас и проявляющийся откровенно низкий уровень конкретного знания. В результате в научных (!) изданиях появляются, например, и сегодня констатации такого рода: «советской державой с момента возникновения управляли матерые уголовники»³. Вообще, легкость, с которой иногда исследователи предпочитают обращаться с прошлым страны, охотное использование ими, вероятно, для «оживляжа» своих опусов, уголовно-криминального лексикона при характеристике советского политического режима, поражают. Особенно прискорбно, когда к этому прибегают профессиональные историки⁴. Лишь незнанием или, еще хуже, сознательным игнорированием конкретного исторического материала можно объяснить и довольно распространенное мнение о том, что «генофонд» коммунистического движения в целом отличался интеллектуальной

посредственностью⁵. Сведения, подтверждающие невысокий профессионально-образовательный уровень коммунистической элиты, действительно, многочисленны. Но объективной оценки требуют и иные факты: учеба в университетах Франции и Бельгии албанского коммуниста Э. Ходжи, яркая юридическая карьера румынского коммуниста Л. Пэтрэшкану, успешно защищавшего своих соратников по партии на политических судебных процессах в межвоенный период, или свободное владение 9 (!) иностранными языками болгарского коммуниста Тр. Костова... Примеры могут быть продолжены.

Многие явления, наблюдаемые при изучении феномена сталинизма российскими учеными, типичны и для историографии стран бывшего советского блока, где на рубеже 1980—1990-х годов произошли под антикоммунистическими лозунгами перемены в характере власти. В ходе научной полемики вокруг оценок «социалистического прошлого» и роли в нем советского политического руководства и лично Сталина развернулся сложный, во многом противоречивый процесс восстановления исторической правды. Но, развенчивая старые мифы, исследователи зачастую попадали в наезженную колею, ведущую к новому мифотворчеству.

Историографические дискуссии по вопросам послевоенной истории стран Восточной Европы выявили острую потребность в новой источниковой базе исследований. При этом первостепенную важность введения в научный оборот документов российских архивов признавали и отечественные ученые, и их коллеги за рубежом. Один из крупнейших американских историков Дж. Гэддис заметил, что без знания этих документов трудно что-либо понять в послевоенной истории восточноевропейского региона, разобраться в мотивации действий советских руководителей⁶.

Для создания адекватной нуждам исследователей новой источниковой базы, выявления, публикации и научной интерпретации документов более десяти лет назад в структуре Института славяноведения РАН был сформирован Центр по истории сталинизма в Восточной Европе*. За прошедшее время его сотрудникам удалось выявить в основных федеральных архивах

* В начале 1990-х годов в Варшаве, Праге, Бухаресте и Будапеште также были созданы специальные научные учреждения с целью изучения послевоенной истории стран Восточной Европы на принципиально новой документальной основе. Формировались и приступали к активной деятельности аналогичные научные подразделения и в России, например в структурах РАН — Центр по изучению холодной войны в Институте всеобщей истории, Центр по истории внешней политики и международных отношений в Институте российской истории и др.

России и опубликовать более 1 000 документов высокого уровня, в том числе из фондов Политбюро ЦК ВКП (б), И. В. Сталина, международного коммунистического движения и др.⁷ Научную интерпретацию опубликованных документов, свое понимание сущности и характера политических процессов в Восточной Европе после Второй мировой войны, роли Москвы в них сотрудники Центра представили в монографиях, сосредоточившись на слабо- или вообще не изученных вопросах политической истории стран региона⁸.

В современной историографии, посвященной послевоенной Восточной Европе, немало дискуссионных, преимущественно мифологизированных проблем, споры вокруг которых ведутся не один год. Едва ли не главная среди них — проблема становления восточного (советского) блока и ее важнейшая составляющая — вопрос о «советизации» Восточной Европы.

Изучение значительного корпуса архивных документов дало нам возможность сформулировать свою концепцию проблемы «советизации». Она имеет как своих сторонников, так и оппонентов, что, впрочем, естественно, если позитивно оценивать плюрализм мнений в науке и неизбежность актуализации вопроса об интерпретации новых источников.

Проблема будущего Восточной Европы в рамках общей концепции послевоенного мира начала рассматриваться союзниками по антигитлеровской коалиции задолго до того момента, когда сражения Второй мировой войны перешли в решающую фазу и обозначили будущих победителей самого гигантского и драматичного военного противостояния в истории человечества⁹. Будучи политиком-реалистом, Сталин признавал перспективу возникновения после войны двухполюсного мира и вряд ли верил в бесконфликтное существование «полюсов». Вместе с тем он не отбрасывал и возможность урегулирования отношений между ведущими державами, а также игру на противоречиях, существовавших в империалистическом лагере. Тегеранско-Ялтинская схема устройства мира становилась в тех условиях полем для больших компромиссов обеих сторон и до определенного времени устраивала их.

В целом Москва, как показывают документы, исходила в геополитике из концепции сфер или зон влияния. Восточная Европа была отнесена к сфере особых интересов СССР. Геополитическое положение региона — между СССР и Германией, роль Советского Союза в разгроме фашизма определили уже на Ялтинской конференции союзников (1945 г.) признание западными партнерами по коалиции приоритета СССР в этой части Европы. Москвой данный регион рассматривался в первую очередь как *пояс*

безопасности государства по западному и балканскому периметру советских границ, причем проблема безопасности приобрела фактически аксиоматический характер и явилась основой стратегического внешнеполитического курса СССР.

Это подтверждает и ознакомление с некоторыми документами, готовившимися в аппарате наркомата иностранных дел СССР на завершающем этапе войны. Предназначенные для внутреннего пользования, а посему лишённые идеологического обрамления, они важны прежде всего потому, что дают возможность представить, как советское руководство понимало на том этапе национально-государственные интересы СССР.

В историографии эти документы оцениваются по-разному, причем в дискуссию вовлечены не только российские, но и зарубежные исследователи, а острота споров среди отечественных ученых, выражающаяся в том числе в резкости «обвинительных» формулировок, на наш взгляд, даже возрастает.

Так, наиболее активный участник дискуссии Л. Я. Гибианский неоднократно поднимал вопрос о допуске нами «неоправданном отождествлении» рабочих документов НКВД СССР с планами советского руководства, упрекал в некорректности и, следовательно, неправомерности такого подхода¹⁰. Упреки Гибианского относились в первую очередь к нашим оценкам документов так называемой Комиссии М. М. Литвинова, в частности, широко известной и неоднократно публиковавшейся записки И. М. Майского от 10 января 1944 г. Этот документ прогнозировал европейский и мировой послевоенный порядок и формулировал внешнеполитические задачи Москвы. Последние были конкретизированы в разделах записки о послевоенных границах и положении отдельных европейских стран.

Заметим: Гибианский проигнорировал тот факт, что в записке Майского были в значительной мере продублированы те соображения о послевоенном мире и реорганизации европейских границ, которые Сталин лично излагал прибывшему в середине января 1941 г. в Москву с визитом министру иностранных дел Великобритании А. Идену. Более того, изложенная Сталиным схема была конкретизирована в предложенном тогда же советской стороной англичанам проекте Дополнительного секретного протокола. Вероятно, есть резон считать очевидную «преемственность» материалов 1941 г. и записки Майского не менее важным фактом при оценке характера конкретных материалов Комиссии Литвинова, чем отсутствие «прямых ориентировок» от руководства СССР относительно внешнеполитических намерений последнего, о чем пишет уважаемый оппонент¹¹.

Заметим, что преемственность эту подтвердил и сам А. Иден, позднее в мемуарах отмечавший в связи с переговорами в декабре 1941 г.: «Цель русских была уже твердо определена. Она лишь незначительно изменилась в последующие три года и заключалась в том, чтобы обеспечить максимальные границы будущей безопасности России»¹². Кстати, в одной из последних работ Гибианский все же счел необходимым оговориться. «Конечно, не исключено, — подчеркивает он, — что кто-то из составителей данных материалов (записки Майского и ей подобных. — Т. В.), в частности из числа высокопоставленных дипломатических чиновников, мог в той или иной мере быть осведомлен о некоторых более долгосрочных внешнеполитических устремлениях высшего советского руководства и учитывать это при подготовке подаваемых наверх документов. [...] *В любом случае материалы, готовившиеся в комиссиях [Наркоминдела] не были планами советского руководства* (курсив здесь и далее мой. — Т. В.), которое тем или иным образом использовало такие материалы, но исходило в своих замыслах, расчетах и решениях из собственных представлений и намерений»¹³. Столь виртуозная формулировка оставляет в тени весьма существенную деталь: сотрудники Комиссии Литвинова действовали отнюдь не в каком-то вакууме, абстрагируясь от настроений высшего руководства и не реагируя на них. В иное трудно поверить, имея даже далеко не полную информацию о советском механизме осуществления власти и принятия политических решений «наверху». Показательно, что в очередной работе, вышедшей годом позже, оппонент, повторяя прежние доводы, уже более осторожно формулирует свою позицию, констатируя, что «в исследованной документации *пока сплошь и рядом нет сведений*, как реагировало советское руководство на те или иные представляемые материалы, насколько и каким образом учитывало их в своих долгосрочных расчетах, в частности, по поводу Восточной Европы»¹⁴. Опять-таки, исходя из особенностей функционирования властного механизма, странно было бы ожидать обнаружения таких «сведений» (визы или резолюции?) в каждом интересующем нас случае. Ответ, скорее, надо искать в конкретной политике, проводившейся советской стороной.

Опираясь на документы и анализируя реальные политические шаги Сталина в Восточной Европе, мы настаиваем на том, что к концу войны главная задача Москвы в регионе определялась в соответствии с национально-государственными интересами СССР и, в первую очередь, с обеспечением безопасности, недопущением новой, прежде всего германской, агрессии. Решение проблемы виделось при обязательном условии сохра-

нения сотрудничества с Западом. С учетом этого идеологическая составляющая внешнеполитических планов (вопрос о характере режимов) для советского руководства имела в тот момент явно подчиненный и отнюдь не первостепенный характер.

По окончании Второй мировой войны, благодаря своему военному присутствию в Восточной Европе, Советский Союз получил возможность прямого воздействия на развитие внутривосточных процессов в регионе. Это был зеркальный вариант признававшегося советской стороной непосредственного англо-американского воздействия на динамику внутривосточного развития западной части Европы*. Москва располагала широким диапазоном средств: в большинстве стран Восточной Европы (кроме Албании, Югославии, а с декабря 1945 г. и Чехословакии) находились воинские формирования Красной Армии, функционировали советские военные комендантуры, советские дипломатические миссии, представительства и посольства, являвшиеся центром формирующейся системы политических, экономических и военных советников. В странах-участницах «оси» — Болгарии, Венгрии и Румынии в соответствии с международными договоренностями действовали Союзные контрольные комиссии, в которых решающую роль играли советские представители. К «регулированию» общественной жизни ряда стран привлекались оперативные группы НКВД СССР, наделенные достаточно широкими полномочиями.

Вместе с тем, как показывают документы первых послевоенных лет, Москва видела смысл советского военно-политического присутствия в Восточной Европе отнюдь не в установлении классического оккупационного режима или немедленного осуществления «советизации» с помощью вооруженной силы. Политика советской стороны вовсе не сводилась к примитивному политическому диктату. Коммунистические лидеры стран региона являлись единомышленниками Москвы, а не бессловесными статистами. Для Сталина определяющими были интересы создания пояса безопасности из дружественных или союзных государств и укрепление позиций коммунистов в советской сфере влияния.

* Показательна в связи с этим рабочая записка В. М. Молотова по вопросу о Польше, датированная началом января 1945 г.: «Польша — большое дело! Но как организовать [ывали] правительств [а] в Бельгии, Франции, Греции и т. д., мы не знаем. Нас не спрашивали, хотя мы не говорим, что нам нравится то или другое из этих правительств. Мы не вмешивались, т. к. это зона действий англо-американских войск» (Восточная Европа в документах российских архивов. 1944—1953. Т. I. 1944—1948. Москва—Новосибирск, 1997. С. 118—119).

В странах Восточной Европы наблюдалась пестрая палитра политических сил и ориентаций, в том числе внешнеполитических, и советской стороне нужно было найти такую равнодействующую, которая позволила бы, сохраняя сотрудничество с западными державами в Европе на антигерманской основе и объединяя во имя решения общенациональных задач (переход к демократии, восстановление экономики, урегулирование национально-территориальных проблем, стабилизация международного положения и пр.) эти разнородные политические силы, переориентировать их на СССР. Понимание необходимости сохранить баланс социальных компромиссов и внешнеполитических ориентаций в регионе диктовало Москве необходимость поддержки коалиционных режимов. При этом обязательным считалось участие в коалициях коммунистов, которые еще совсем недавно находились на периферии общественной жизни. Теперь они выступали гарантами проведения советского влияния.

С полным основанием можно констатировать, что, реализуя внешнеполитическую линию по отношению к странам региона, советская сторона экстраполировала апробированные принципы сотрудничества в рамках антигитлеровской коалиции как на внешнюю, так и на внутреннюю политику правящих коалиций в Восточной Европе. В результате Советскому Союзу удалось не осложнять отношений с Западом, а малым странам региона — избежать однонаправленной ориентации их политики — только на СССР. Не случайно в 1944—1945 гг. в беседах с восточноевропейскими политиками Сталин неоднократно подчеркивал необходимость для малых стран иметь дружественные отношения как с Востоком, так и с Западом.

Вследствие такой позиции Москвы малые страны региона получали возможность реализовать идею социально-политического компромисса внутренних сил, не допустить острых, разрешаемых только силой внутриполитических конфликтов, подчинить действия разнородных политических сил решению наиболее назревших и актуальных общенациональных задач. Эта идея воплотилась в концепцию «национального пути» к новому общественному строю и стала реализовываться в 1944—1946 гг. в разных странах региона как модель переходного общества, функционировавшего на основе принципа «демократии по соглашению». В историю она вошла под названием «народная демократия».

Размышляя о функционировании демократических коалиций в Восточной Европе, Сталин не мог не задумываться и о ключевых фигурах данных объединений. Симптоматично, что таковыми ему представлялись тогда вовсе не коммунисты, а деятели из лагеря либеральной демократии. При этом,

несомненно, учитывалась демонстрировавшаяся последними готовность к сотрудничеству с СССР, понимание важности для Москвы решения тех или иных стратегических задач в собственных интересах для достижения стабильности и безопасности в мире. Такого лидера, могущего стать гарантом надежности компромисса и его долговременности, связующим звеном между сторонниками западной и восточной ориентации в обществе, Сталин нашел в лице президента Чехословацкой республики Э. Бенеша. Советской стороне, безусловно, импонировал тот факт, что начиная с 1939 г. Бенеш неоднократно подчеркивал необходимость общей границы Чехословакии и СССР, включения в связи с этим в состав Советского Союза Закарпатской Украины. В Москве встречали понимание и поддержку взгляды Бенеша на послевоенное развитие европейских стран как на «эпоху решительной борьбы за новую социальную и экономическую структуру... [эпоху] перехода от буржуазной демократии к демократии народной», которая «будет означать прогресс» и при которой дальнейшее развитие «пойдет в каждой стране своим путем».

Демонстрируя в беседе с представителями агентства «Франс пресс» в Праге в декабре 1945 г. понимание необходимости социалистических преобразований, Бенеш вместе с тем подчеркивал: «...Социалистические мероприятия следует осуществлять мирным путем без диктатуры пролетариата, без применения определенных теорий марксизма-ленинизма. Я думаю, что в развитии человечества мы достигли уже такого периода, когда это стало возможным»¹⁵.

Эта позиция, получившая в ЦК ВКП(б) название «формула Бенеша», стимулировала, как нам представляется, поиски советской стороной в либерально-демократических кругах Восточной Европы фигур аналогичного масштаба. Внимание Москвы и лично Сталина в это время привлекали О. Ланге в Польше, З. Тильди в Венгрии, Ю. К. Паасикиви в Финляндии, Г. Тэтэреску в Румынии. Последний, будучи одним из лидеров Национально-либеральной партии, в январе 1945 г. открыто заявлял о собственной внешнеполитической переориентации: «Продолжать ориентироваться на Запад — это значит вести страну по заведомо неверному пути»; ориентация на СССР — «основа моей политики». Планы Тэтэреску по созданию военного союза Румынии и СССР, не расходившиеся с советскими намерениями, также вызывали интерес Москвы¹⁶.

Правомерно, с нашей точки зрения, предположение, что на том этапе Сталин был готов допустить свободу малых стран во внутренних делах при

сохранении советского влияния на их внешнеполитический курс по примеру Финляндии или Австрии. Один из авторитетных польских политических лидеров Ст. Миколайчик свою программу основывал именно на таком подходе, получившем название «финляндизация».

Принципиально важно, на наш взгляд, то обстоятельство, что в послевоенном мире не существовало страха перед социалистической перспективой. Симптоматично, что даже президент США Ф. Д. Рузвельт считал, что «мир идет к тому, чтобы быть после войны гораздо более социалистичным...»¹⁷

Судя по архивным документам, Москва восприняла идею «национального пути» к социализму как руководство к действию на завершающем этапе войны в связи с прогнозированием развития событий в освобождаемых от фашизма странах. Об этом свидетельствовала краткая запись в одном из рабочих блокнотов секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Жданова, относящаяся приблизительно к лету 1944 г.¹⁸ В данное понятие советское руководство поначалу вкладывало тактику демократического блока в виде основной, открывавшей возможность социально-политического компромисса с широким спектром демократических сил, прежде всего со средними слоями. Одновременно формулировались и такие задачи коммунистов, как овладение «определенными командными постами», проникновение в госаппарат, постепенное приобретение навыков в управлении государством.

Доминанция идеи блока демократических сил в советской внешней политике в отношении стран Восточной Европы объясняет, почему Москва в тот период не могла согласиться с планами немедленной «советизации» региона, которые выдвигались леворадикальными силами прежде всего в компартиях Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии. Более того, имевшие место в названных странах «выбросы» «коммунистической революционности» встречали резко критическое отношение советской стороны и решительно блокировались ею: Москва считала их несвоевременными и не состыковывавшимися с концепцией мирного, парламентского пути к социализму и тактикой блока. Тем более, что они входили в противоречие и с международными целями советской внешней политики.

Надо признать, что сегодня вопрос о том, была ли такая ориентация советского руководства только тактическим маневром, обусловленным некими промежуточными целями, или за ней стоял долгосрочный стратегический план, не утратил дискуссионности. Но, независимо от ответа на поставленный вопрос, нельзя не признать, что концепция мирного, а

значит длительного, перехода к социализму по «национальному пути» имела сторонников среди прагматически настроенных членов руководства компартий в регионе. В их числе В. Гомулка, К. Готвальд, Г. Димитров, Й. Реваи, Л. Пэтрэшкану и др. Для них концепция существовала как пролонгированная на длительное послевоенное время стратегическая установка, объективно базировавшаяся на том факте, что ни в 1945, ни в 1946, ни даже в середине 1947 г. ни одна из политических сил в регионе не имела возможности парламентским путем полностью сосредоточить власть в своих руках, партийно-политический компромисс все еще был реален. Это учитывалось советской стороной: идея участия компартий в демократических блоках с тенденцией их постепенного утверждения в качестве доминирующей силы продолжала рассматриваться как актуальная и отвечающая интересам СССР. На протяжении 1946 г. Сталин неоднократно подчеркивал предпочтение мирного пути к социализму перед диктатурой, возможность отказа от основных, наиболее одиозных постулатов коммунистической доктрины. Прямые подтверждения того, что советская сторона связывала с концепцией «национального пути» проведение, как пишет Л. Я. Гибианский, «растянутой» советизации¹⁹, отсутствуют.

Ситуация резко изменилась на рубеже 1946—1947 гг. в результате ухудшения отношений между союзниками по антигитлеровской коалиции. Нарушение совместных договоренностей великих держав по Германии, постепенное включение ее в формировавшиеся союзные отношения в Западной Европе, воспринимавшиеся в Москве весьма болезненно, показали, что коалиция на антигерманской основе стремительно уходит в прошлое, исчезает и образ общего врага в лице Германии. Ялтинская стратегия мало-помалу эволюционирует к политике «сдерживания коммунизма», а впоследствии и к наиболее жестким схемам блокового противостояния. В Западной Европе и США все прочнее утверждается образ нового врага — СССР, с которым отождествляется угроза продвижения коммунизма в глубь Европы.

План Маршалла и связанная с ним перспектива модернизации Западной Европы на принципах буржуазной демократии положили конец леворадикальным настроениям в этой части континента. Ответ Москвы в собственной сфере влияния мог быть только один: укрепление восточного блока и «строительство социализма» как экстенсивный способ модернизации, ускорения по советскому типу.

В этих условиях Москва переходит в Восточной Европе к иному стратегическому курсу, основой которого стал отказ от прежней тенденции

национально-государственного единства и утверждение новой — социально-политической конфронтации. Настрой советского руководства на устранение «мягких», недостаточно революционных методов действия компартий в рамках демократических блоков, последовательное насыщение оценок и характеристик народной демократии идеями классовой борьбы, критика национальных коммунистов за компромиссы с либеральными партнерами по коалиции свидетельствовали, что концепция «национального пути» к социализму обречена. После создания в сентябре 1947 г. Коминформа универсальным путем создания социалистического общества была объявлена советская модель. Но ее воплощение в странах Восточной Европы, означавшее «советизацию» региона, — это уже другое время и другая тема.

Примечания

¹ Дипломатия Второй мировой войны глазами американского посла в СССР Джорджа Кеннана. М., 2002. С. 182.

² *Медведев Ж., Медведев Р.* Неизвестный Сталин. М., 2001. С. 10.

³ Центральноевропейские страны на рубеже XX—XXI вв. Аспекты общественно-политического развития. Историко-политологический справочник / Отв. сост. Ю. С. Новопашин. М., 2003. С. 10. Приведенная в тексте оценка не выдерживает никакой критики. См., например: *Гимпельсон Е. Г.* Советские управленцы. 1917—1920 гг. М., 1998. С. 83, 119 и др.

⁴ *Чернявский Г.* Притчи о правде и лжи. Политические драмы двадцатого века. Харьков, 2003. С. 189 и др.

⁵ См., например: Советский Союз и страны Восточной Европы: эволюция и крушение коммунистических режимов (середина 40-х — конец 80-х годов XX в.) // История СССР. 1991. № 1. С. 51 (выступление А. С. Ципко).

⁶ *Гэддис Дж. Л.* Предварительные оценки послевоенного противостояния // Новая и новейшая история. 1991. № 3. С. 62.

⁷ НКВД и польское подполье. 1944—1945 гг. (По Особым папкам И. В. Сталина). М., 1994. (Сборник был переведен на польский язык, а в 2001 г. вышел вторым, расширенным и дополненным изданием под названием «Из Варшавы... Москва, товарищу Берия»); Три визита А. Я. Вышинского в Бухарест. 1944—1946. Документы российских архивов. М., 1998 (переведен на румынский язык); Трансильванский вопрос. Венгеро-румынский территориальный спор и СССР. 1940—1946. М., 1999; Восточная Европа в документах российских архивов. 1944—1953. Москва—Новосибирск, 1997—1998. Т. 1—2; Советский фактор в Восточной Европе. 1944—1953. Документы. М., 1999, 2002. Т. 1—2.

⁸ Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф. Народная демократия: миф или реальность? Общественно-политические процессы в Восточной Европе в 1944—1948 гг. М., 1993; Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф., Покивайлова Т. А. Москва и Восточная Европа. Становление политических режимов советского типа. 1949—1953. Очерки истории. М., 2002.

⁹ Подробнее см.: Ржевский О. А. Визит А. Идена в Москву в декабре 1941 г. // Новая и новейшая история. 1994. № 2, 3; Наринский М. Европа: проблемы границ и сфер влияния (1939—1947 годы) // Свободная мысль. 1998. № 3.

¹⁰ См., например: Гибианский Л. Я. Советские цели в Восточной Европе в конце Второй мировой войны и в первые послевоенные годы: споры в историографии и проблемы изучения источников // Russian history. Histoire russe. The Soviet global impact: 1945—1991. Idillwild (California), 2002. P. 202—203.

¹¹ Гибианский Л. Я. Проблемы Восточной Европы и начало формирования советского блока // Холодная война 1945—1963 гг. Историческая ретроспектива. Сб. статей. М., 2003. С. 122.

¹² The Iden memoirs: The Reckoning. London, 1965. P. 289—290; Цит. по: Ржевский О. А. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии. (Документы. Комментарии. 1941—1945). М., 2004. С. 53—54.

¹³ Гибианский Л. Я. Советские цели... С. 204.

¹⁴ Гибианский Л. Я. Проблемы Восточной Европы... С. 123.

¹⁵ Právo lidu. 1945. 23. XII.

¹⁶ Восточная Европа в документах... Т. 1. 1944—1948. С. 135; Советский фактор в Восточной Европе... Т. 1. 1944—1948. С. 24, 32, 33, 40.

¹⁷ Roosevelt E. This I remember... New York, 1949. P. 253.

¹⁸ Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 77. Оп. 3. Д. 174. Л. 3.

¹⁹ Гибианский Л. Я. Форсирование советской блоковой политики // Холодная война... С. 142 и др.

Постюгославское пространство: проблемы и вызовы

Конец XX в. ознаменовался коренными изменениями общей расстановки сил на Балканах. Особенно это касается территории бывшей социалистической Югославии, где ныне существует несколько независимых государств.

Сразу после своего возникновения и оформления в качестве самостоятельных субъектов международного права новые страны столкнулись с рядом острейших проблем, что во многом было обусловлено наличием большого числа нерешенных и неурегулированных еще их общим государством вопросов. Среди них следует отметить имущественные, правовые, экономические, военные проблемы, вопросы границ, положения национальных меньшинств, проблему беженцев и перемещенных лиц и т. п. Добавилась также необходимость преодоления экономического кризиса, который постюгославские республики частично унаследовали из своего общего прошлого, частично приобрели в ходе гражданских войн, развернувшихся в некоторых из них. К сожалению, и по прошествии 12 лет опасность возникновения гражданских войн в тех или иных регионах бывшей Югославии не исчезла. Наоборот, как показал опыт 2001 г., эта проблема продолжает оставаться актуальной и может обостриться в любой момент.

Еще одной проблемой, перед которой оказались бывшие югославские республики, стало определение своего места в локальной и глобальной системе международных отношений, а также обретение подходящего статуса в международных организациях регионального и универсального характера. Если в начале 1990-х годов руководство и общество в новых государствах было озабочено укреплением своих позиций на международной арене в качестве самостоятельных субъектов вне старых югославских институциональных рамок, то сейчас, спустя более десяти лет, когда эти позиции уже не подвергаются сомнению, пришла пора позитивно осмыслить общий югославский опыт и извлечь из перспектив нового сотрудничества на пространстве некогда единого государства максимальную взаимовыгодную пользу.

К этому обязывает и необходимость решения ряда вопросов, которые не могут быть удовлетворительно урегулированы в рамках каждого

отдельного постюгославского государства. Прежде всего речь идет о проблеме беженцев и перемещенных лиц — их теперь насчитывается более миллиона. Ее можно решить только общими усилиями на основе согласованного между правительствами всех участников законодательства, так как массовые перемещения населения происходили одновременно в нескольких государствах. Безусловно, странам на внутреннем уровне предстоит в первую очередь обеспечить безопасность возвращающихся к местам своего постоянного проживания лиц, их правовую, имущественную и социальную адаптацию. Самое важное, чем следует руководствоваться при урегулировании данного комплекса вопросов, — это максимальная взаимная согласованность предпринимаемых действий. Только видя друг у друга искреннее желание улучшить ситуацию с положением беженцев, подкрепляемое реально проводимой политикой, государства региона смогут сдвинуть указанную проблему с мертвой точки и освободить свои отношения не только от ее финансового, но и морального груза. Последнее, разумеется, будет способствовать улучшению отношений и установлению климата доверия между недавними оппонентами.

Большую, а точнее — неоценимую, помощь в финансовом обеспечении данного масштабного проекта, мог бы оказать Европейский союз, причем не на эпизодической, а на долгосрочной основе. Средства, затраченные на него, окупятся сторицей в результате установления прочной стабильности и безопасности в регионе. Другого рода помощь могла бы оказать ОБСЕ, на равной основе проявляя внимание к проблемам беженцев из состава всех национальных групп на Балканах, что является неотъемлемой частью программы защиты прав национальных меньшинств. Возвращение беженцев, многие из которых являются высококвалифицированными специалистами в разных областях, способствовало бы расширению рынка рабочей силы в новых государствах на Балканах.

Проблема восстановления экономического сотрудничества на пространстве бывшей Югославии представляется не менее актуальной. К сожалению, в конце 1980-х годов ее так и не удалось решить в рамках единого государства, что, безусловно, было проще в силу единого правового пространства, обеспечивавшего лучшее осуществление экономических решений. Однако и сейчас, когда новые государства защищены международными границами, решение проблемы необходимо, а новый статус бывших югославских республик в чем-то дает дополнительные возможности для этого. Участие в совместных приватизационных проектах повлечет за собой создание новых рабочих мест, строительство общих промышленных,

транспортных, сельскохозяйственных объектов и приведет к появлению прочной основы экономического единства постюгославского пространства, а также всего региона.

Общей проблемой, решить которую также возможно лишь сообща, что, в свою очередь, может способствовать постюгославской интеграции, является борьба с международным терроризмом. Он в немалой степени затрагивает и беспокоит новые государства, ставшие составной частью «подотчетного» террористическим группам пространства. Помимо того, что терроризм угрожает существующему строю, территориальной целостности государств, правовому порядку и общественной безопасности, он еще теснейшим образом связан с международной организованной преступностью. Лишение террористических организаций такого питательного субстрата послужит необходимым условием сохранения демократических преобразований начала 1990-х годов на Балканах, не говоря уже о просто стабильном и поступательном общественном и политическом развитии. В связи с этим следует не только укреплять внутренние возможности государств в решении обозначенных задач, но и форсировать их взаимное сотрудничество. И здесь обращение к опыту единой правоохранительной деятельности прошлого столетия может оказать весьма существенную услугу и обернуться весомыми достижениями.

Интеграция в евроатлантические структуры видится как приоритет внешнеполитического развития новых государств на Балканах, равно как и старых. В случае успешной реализации данной стратегии, вероятно, повысится потенциал отдельных участников и в решении внутренних проблем, и в обеспечении коллективной европейской безопасности. Однако всегда следует учитывать не только предстоящие дивиденды от подобного позиционирования, но и возможные издержки этого процесса. Понятно, что для стран с устойчивой экономикой и долговременными традициями демократического развития вне зависимости от типов политического режима решение подобной дилеммы оставляет больше свободы для маневра и выбора. Новым государствам, которые поставили перед собой цель максимально быстро обрести свое место и соответствующий статус в системе международных отношений, приходится мириться с меньшими приобретениями на указанном пути, требующими, в свою очередь, больших издержек и затрат. А это может негативно отразиться на их внутреннем развитии в разных сферах.

И конечно, современное Косово как в капле воды отражает все вышеперечисленные тенденции. Осуществляя стратегию присоединения к евро-

пейским институтам, следует четко отдавать себе отчет о размерах той цены, которые придется заплатить за успехи на избранном пути. Как показывают многочисленные последствия балканского кризиса, такой платой в современном мире становится государственный и народный суверенитет. Опыт Боснии и Герцеговины и Косова, превратившихся в международные протектораты, подтверждает сказанное наиболее ярко. Кроме того, выявилась определенная тенденция развития современной системы международных отношений. В эпоху распада восточного блока и ряда составлявших его федеративных государств наблюдалось укрепление суверенитета отдельных их частей вплоть до обретения последними международной правосубъектности. Тем самым подрывалась существовавшая вертикаль власти, основанная на иерархическом принципе федеративного устройства. В итоге исчезало само государство.

Выйдя на просторы глобальной системы государств, новые члены международного сообщества оказались совсем в другом мире, где приоритет отдается правам отдельного человека, той или иной общности, желательно из разряда меньшинств, и лишь затем правам государства. В результате оказалось, что суверенитетом, обретенным в «неравной» борьбе с федеральным центром, приходится сразу же поступаться, причем в интересах более мощных партнеров по глобальному взаимодействию. Парадоксально, но борьба за независимость привела к потере этой самой независимости, и обрести ее теперь очень трудно и из-за продолжающих оставаться актуальными внутренних, и ввиду вновь появившихся внешних угроз.

Поэтому внутрибалканская интеграция может смягчить отрицательные тенденции данного процесса и способствовать более плавному и безболезненному созданию общего евроазиатского пространства. В противном случае разъединение между частями некогда единой страны только углубится и воспроизведет ситуацию времен холодной войны с ее разделением и плохо скрываемой враждой. Последняя может быть порождением сознательной внешней стратификации постюгославских государств по признаку их большего или меньшего соответствия европейской цивилизации.

Стратегия и тактика католической церкви в процессе создания югославянского государства в начале XX века

Тема создания югославянского государства является одной из важнейших в новой истории его народов. Ею занимались и занимаются многие исследователи, как в нашей стране, так и на Балканах. Однако в этой теме есть неисследованные проблемы. В частности не получила достаточного освещения в отечественной и в югославской историографии роль католической церкви в общественно-политических процессах на территории юга Балканского полуострова и ее влияние на создание югославянского государства.

В конце XIX — начале XX в. под воздействием идей Св. Престола среди католиков данного региона появились массовые движения, возглавляемые церковью, — «социальный католицизм» и «католическая акция», в рамках которых создавались католические организации, охватывающие практически все слои и сферы жизни населения. С развитием католических движений и организаций в противовес сербскому центру объединения сложился мощный фронт клерикальных сил, привнесших в процесс создания югославянского государства собственную идеологию, методы политической борьбы и свои представления о конечном результате югославянского объединения.

Религиозно-политическая деятельность римско-католической церкви в середине и второй половине XIX в. регулировалась папскими энцикликами.

Фундамент для появления социального католицизма был подготовлен пастырским посланием *Allocutio* от 20 апреля 1849 г., в котором рационалистическая философия, идеи суверенитета, независимости, братства, равенства и свободы Св. Престол подверг острой критике. Демократия, по мнению Папы римского, выродилась в социализм и коммунизм, отрицающие и свободу, и равенство. Демократические веяния осуждались им как гордыня, «от которой идет тяжелый и ядовитый запах серы»¹.

Идеология «социального католицизма» разрабатывалась римской курией в течение нескольких десятилетий после крушения революции 1848 г. и была обнародована в вышеупомянутых энцикликах *Quanta cura* и *Syllabus*. В них осуждению подверглись демократия, либерализм, капитализм, индивидуализм, учения социалистического толка и еще целая «сеть грехов», которых истинный верующий-католик должен избежать².

Наследник Пия IX на папском престоле, Лев XIII, сформулировал позицию католической церкви по отношению к современным общественным явлениям. О природе власти говорила энциклика *Dinturnum illud* (1881), против масонских организаций выступала *Humanum genus* (1884), в *Nobilissima Galorum gens. Ai Francesi sull'ordinamento della Societa domestica e civile* (1884) Папа сохранил за церковью право объединения верующих различных общественных, культурных, политических, спортивных и религиозных организаций, необходимость сохранения христианского государственного порядка утверждала энциклика *Immortale Dei* (1885), либерализм осуждался в энциклике *Libertas* (1888)³.

В начале 1890-х годов свое полное отражение идеология «социального католицизма» нашла в энциклике *Regum novatum*, в которой демократия клеймилась как источник атеизма, социализма и классовой борьбы. Классовые столкновения, по утверждению Папы, должны остаться в прошлом, уступив место обществу социальной гармонии. В политической сфере вместо партий необходимо создавать организации по профессиональному признаку. *Regum novatum* породила идеологию современного корпоративизма, законодательно примененную в Италии и Германии в 20–30-е годы XX столетия. *Regum novatum* была повторена в 1931, 1989 и 1991 гг. (*Centesimo anno*). Формально она и в настоящий момент находится в силе.

На основе постановлений римской курии католическая церковь в ряде европейских стран приступила к созданию массовых католических движений и организаций. Их целью было сплочение католического населения для противостояния либерально-демократическим изменениям в мире. Кроме того, католические организации, создаваемые в течение XIX и начала XX в., стали опорой Св. Престола при реализации его планов по расширению и укреплению католицизма.

Первым примером массового католического движения является ирландская «Католическая ассоциация» (создана в 1829 г. под руководством О'Коннела), выступавшая за установление государственно-правового равенства для всех католиков. Под ее влиянием во Франции сформировалось движение под названием «За защиту католической веры». Р. де Ламене (*La Mennais*), редактор французского католического журнала «*L'Avenir*» в феврале 1831 г. в манифесте «*De la societe politique et civile*», обращенном к Папе римскому, потребовал отделения церкви от государства, утратившего христианские начала, и объединения верующих-католиков в борьбе за свободу церкви вплоть до создания международных организаций. Во Франции возникла организация *Ligue catholique pour la defense de L'Eglise*, в Бель-

гии — L'Union catholique, в Германии — Katholischer Verein и Katholikentag. Позднее появились различного рода ученические, студенческие и молодежные организации: «Volksrein» в Германии, «Piusverein» в Швейцарии, «Catholic union» в Англии, «Asociacion de catolicos» в Испании, «Associazione cattolica per la liberta della Chiesa» (запрещенная впоследствии, она возродилась под названием «Societa della gioventu cattolica italiana») в Италии. Ее руководство в 1876 г. организовало проведение в Венеции Первого конгресса итальянских католиков⁴.

Первые католические организации европейских стран имели целью усиление католического сознания широких народных масс. Одним из направлений их деятельности стало сотрудничество с печатными изданиями. Появилось такое понятие, как «католическая пресса», через ее посредство идеологи католических движений распространяли свои убеждения и принципы.

Эрнест Пежо, теоретик социального католицизма, писал о том, что в течение XIX в. по проекту римской курии в католицизме возникла христианская демократия и социальное направление («социальный католицизм», «католическая акция»). В связи с тем, что руководство этими акциями осуществлялось одними и теми же людьми, то между ними нередко возникала путаница⁵.

Инициатором движения «христианские демократы» выступил Лев XIII, утвердивший его энцикликой *Graves de communi* в 1901 г. Папа противопоставил «злодейскому капитализму-либерализму» и другой его крайности — «марксистскому коллективизму» возможность обновления общественного порядка на принципах католицизма. Трактовка Львом XIII понятия «христианские демократы» как политического течения и обоснование необходимости расширения политической деятельности католического клира предопределили поиск механизмов воздействия на общество посредством образования клерикальных партий. В 1902 г. папа распорядился, что отдельные политические акции можно проводить без его одобрения. Следующий шаг по созданию католических политических организаций был предпринят сменившим Льва XIII на папском престоле Пием X, который в 1905 г. издал энциклику *Fermo proposito*, утверждавшую необходимость участия католиков в выборах и в политических структурах.

В разных странах практически одновременно образовались партии, основанные на принципах «христианской демократии». Их руководство исходило из тезиса о том, что независимо от существующей общественно-поли-

тической системы права верующих должны быть защищены посредством подобных организаций. При содействии Пия X появились такие партии, как Partito popolare итальянских католиков под руководством Дона Стурцо и французская католическая партия Sillon Марка Сангнера⁶.

Социальное направление являло собой официальную духовную и пастырскую службу римско-католической церкви и включало в себя такие области, как воспитание и образование населения на христианских основах и обеспечение его активного участия в политических, экономических и информационных процессах в обществе. На начальном этапе его развития определенного плана или ясных представлений о принципах деятельности социального католицизма и католической акции не существовало.

В начале XX в. в Европе как проявление социального католицизма стала развиваться «католическая акция». (Термин «католическая акция» впервые был использован во Франции в 1907 г.) Ее целью было создание культурно-просветительных, политических организаций католической церкви среди интеллигенции, промышленных рабочих, учащихся и студентов, сельского населения, а также церковных объединений с общественным предназначением, например спортивных обществ.

Как отмечает Э. Пежо, хорватское духовенство приступило к распространению идей социального католицизма среди своей паствы «со слабой осведомленностью и пламенным энтузиазмом»⁷.

Одной из первых католических организаций на хорватских землях стал «Третий орден святого Франциска». Он объединил вокруг себя как крестьян, так и горожан без различия пола, в качестве знака отличия носящих пояс определенного цвета. Основной задачей общества было воспитание населения в истинном католическом духе. Ревностные монахи-францисканцы с успехом справлялись с поставленной целью: например, св. отец Зовко в Междугорье, небольшой деревне, в которой даже не было школы, собрал в орден около 400 человек. Строгие правила этой организации содержали положения о нежелательности общения католиков с исповедующими другую религию, с образованными иноверцами запрещалось разговаривать на богословские темы. Деятельность ордена оставила глубокий след в сознании населения южных областей внутренней Далмации, Боснии и Герцеговины⁸.

В «Католической акции» можно выделить несколько направлений, включавших активизацию усилий по укреплению и распространению католической веры, создание католических культурно-просветительных и по-

литических организаций, усиление контроля над прессой, образованием и искусством. Реализация того или иного направления зависела от конкретной задачи, поставленной Ватиканом.

Хорватские клерикалы наибольшее внимание уделяли контролю за развитием культуры, делая ее социально направленной с перспективой создания самостоятельной хорватской христианской культуры. Кроме уже существующих клерикальных изданий («Дан», «Врхбосна», «Католички лист» и др.), в 1903 г. вышел в свет новый журнал «Хрватска стража» под духовным руководством епископа А. Махничя. Его главным редактором стал иезуит А. Алфирович, позднее — Ф. Бинички. Данный печатный орган активно боролся за всеобщую католицизацию Хорватии, подчеркивая исключительное значение последней как форпоста христианства. В 1904 г. по личному настоянию папы была создана «Хорватская католическая типография», где печатался журнал «Хрватство». Журнал, формально провозгласив принцип религиозной веротерпимости, на деле связал интересы Ватикана и клерикализма с политическими целями А. Старчевича и Й. Франка. Хорватские литераторы объединялись в «Литературное общество св. Иеронима», издававшее свой «Вестник». В 1913 г. это общество насчитывало 35 тыс. человек. Перед ним ставилась задача создания нового типа интеллигенции с живым католическим мироощущением, огражденным от религиозных и национальных заблуждений. С 1905 г. начала выходить католическая газета «Утро»⁹. Каждое создаваемое общество нуждалось в соответствующей финансовой базе. В 1907 г. с этими целями был создан «Хорватский католический банк».

Католическое движение, по мнению одного из его организаторов в Далмации, Б. Перовича, появилось «по инициативе рядовых верующих, мирян, самоорганизующихся в различного вида объединения с целью создания современного общества на католических заповедях. Католическая паства, не позволяя запереть себя в гетто, вступила в открытый диалог с современным обществом, разговаривая с ним универсальным языком, охватывающим и объясняющим прошлое и будущее, языком, понятным как широкому слою населения, так и образованным людям... Активисты католического движения открылись для новых философских и культурных течений, общественных, политических и экономических тенденций, индустриализации, возникших новых социальных проблем, созданных новых национальных государств и позитивной науки, чтобы в этом новом развитии сделать прочными христианские основы, усилить трансцендентную веру и утвердить присутствие евангельских заповедей в мире»¹⁰.

В рамках католической акции на хорватских территориях было создано Хорватское католическое движение. Его задачей объявлялась борьба против заблуждений рационализма, позитивизма, натуралистической и материалистической философии современности, либерализма и всех новых веяний с Запада, рассматривающих римско-католическую церковь как препятствие для прогрессивного развития человечества.

Одновременно с образованием культурно-просветительских обществ были предприняты попытки сформировать Хорватский христианский рабочий союз чтобы оказывать помощь пролетариату в борьбе с развивающимся капитализмом.

Главными католическими организациями на селе были Мариинские конгрегации, созданные иезуитами еще в XVI в., реформированные и адаптированные к расширению идеологии социального католицизма в соответствии с папской энцикликой *Regale comuni* 1910 г. Система Мариинских конгрегаций была перенесена на югославянские территории из Австрии сначала в Словению, а затем — в Хорватию. В Хорватии, Славонии, Далмации, Боснии и Герцеговине в 1910 г. насчитывалось около 80 конгрегаций, позднее их число значительно выросло. Они имели ячейки, которые формировались по половому, возрастному и профессиональному признакам. Под неусыпным контролем местного священника на собраниях члены общества обсуждали все жизненно важные вопросы через призму социального учения католической веры. Кроме задачи социального и национального воспитания, Мариинские конгрегации имели и конкретную политическую цель: перед выборами проводились специальные заседания, на которых осуществлялась агитация за определенных католических кандидатов. Тот, кто не голосовал за них, исключался из конгрегации ввиду «нехристианского образа жизни». Предвыборная агитация в католических обществах усилилась после того, как введение новой системы избирательного права в 1910 г. «пробудило» к политической жизни около трех миллионов хорватских крестьян.

Католические организации считались единственным успешным средством народного воспитания, поскольку каждый человек, входящий в их состав, укреплялся в католической вере и в своей повседневной жизни руководствовался наставлениями лидеров этих организаций, которые формально провозглашались независимыми, но создавались представителями католического клира, «апостолами практического христианства».

Католические ученические и студенческие общества играли особую роль во всем католическом движении. Их массовое создание началось в

1903 г. под руководством католического идеолога, епископа о. Крка, А. Махнич. В 1913 г. им был основан Хорватский католический народный союз, ставший культурно-просветительным и информационным центром хорватского католического движения.

В начале XX в. действовали такие хорватские католические общества, как Хрватска в Вене, Препород в Граце, Качич в Инсбруке, Дан в Белграде, Крек в Праге, Ангунович в Будапеште и Домагой в Загребе. Члены этих обществ проводили совещания с богословами и организовывали в период каникул лекции среди населения. С этой целью были созданы особые «каникулярные» католические молодежные организации — как «Павлинович» в Сплите и Задаре, «Добрила» в Пазине, «Мартич» в Сараеве, «Штросмайер» в Джакове, «Качич» в Загребе. Кроме общего рупора Хорватского католического движения, «Луч», стало издаваться еще около двадцати газет, ориентированных на учащихся средних школ.

Во главе студенческих католических организаций находились «сеньоры» — студенты, закончившие образование, но продолжавшие участвовать в общественной жизни своих учебных заведений. «Сеньоры» представляли собой верховную инстанцию хорватского католического движения, разрабатывали планы деятельности организаций и заботились о соответствии работы своих организаций догматам католической церкви и энцикликам Папы римского.

Наиболее ощутимые плоды принесли католические молодежные организации Боснии, Далмации и Славонии, которые ставили перед собой задачу расширять национальное хорватское сознание под руководством церкви¹¹.

В начале XX в. хорватский народ находился на историческом распутье между определяющей ролью Ватикана и «католической акции» на его судьбу и собственным путем национального развития. Выбор был сделан в пользу римской курии: с этого времени она участвовала в принятии практически всех ключевых решений хорватскими политическими партиями и политическим руководством.

Энциклики Св. Престола конца XIX в. о противостоянии либерально-демократическим изменениям в мире, призыв папы ко «всеобщему обновлению во Христе» («*Omnia restaurare in Christo*»), развитие в Австрии христианского социализма под руководством К. Луегера и активизация деятельности иезуитов и францисканцев на хорватских территориях способствовали консолидации и усилению активности хорватского католического клира.

В период с 1900 по 1914 г. деятельность хорватских прелатов разделилась на два направления: укрепление католического и национального сознания у хорватского народа и расширение прозелитистской активности на югославянских территориях со смешанным характером населения, прежде всего в Далмации и Боснии и Герцеговине.

Религиозные и национальные цели хорватских клерикалов были определены на общехорватском евхаристическом конгрессе в Загребе в 1900 г., который стал отправной точкой в процессе формирования организованного клерикализма в Хорватии. В основном на заседаниях конгресса обсуждались перспективы развития католической веры среди хорватского народа и основные направления общественно-политической деятельности духовенства.

Программная речь сараевского архиепископа Й. Штадлера стала, по определению редактора газеты «Врхбосна» Шарича, «клерикальной программой XX в.». И. Шарич утверждал, что если хорваты поддержат программу Штадлера, то они достигнут прекрасных результатов в интеллектуальной, практической и политической сфере. Архиепископ назвал Папу Льва XIII защитником религиозных прав всего хорватского народа, подчеркнув, что он может развиваться только под руководством католической церкви. Речь Штадлера, отражавшая длительную программу развития католицизма на югославянских землях, по широте поставленных задач вполне может считаться миссионерской. В частности, определенные им границы хорватского народа простирались от Котора и Дрины до слияния Савы и Дуная в Белграде¹².

Резолюции, принятые на конгрессе, утверждали необходимость воспитания мирян в духе знания церковных догматов, организации и истории католической церкви с целью приобретения навыков ее защиты, а также обязательность контроля основной и вспомогательной системы образования со стороны католической церкви¹³.

Касаясь проблемы взаимоотношений государства и церкви, резолюция конгресса указывала, что католики должны соблюдать гражданские права и обязанности. В случае, если государственные законы будут противоречить церковным нормам, то «истинные католики должны использовать все законные средства с целью упразднения таких законов»¹⁴.

Преследования сербского населения на территории Хорватии, Боснии и Герцеговины, возглавляемые Истинной партией права под руководством Й. Франка — наиболее радикальной националистической организацией и

хорватскими клерикалами, осуществлялись в рамках программы, утвержденной на загребском конгрессе 1900 г.

Карательные акции начались с антисербских погромов в Загребе в сентябре 1902 г. В них принимало участие около 20 тыс. человек. Й. Франк призвал к культурному, национальному и религиозному уничтожению сербского народа. Франковско-клерикальные погромы происходили в Австрии, Хорватии, Далмации, Славонии, Боснии и Герцеговине.

С хорватами и для хорватов католические прелаты работали на территории Боснии и Герцеговины. На загребском конгрессе эти земли были включены в орбиту национальных хорватских интересов, и с этого времени целью религиозно-политической борьбы католической церкви становится хорватизация и католицизация их населения.

Решающая роль в выполнении стратегических задач, поставленных Св. престолом в Боснии и Герцеговине, принадлежала наднациональным структурам римско-католической церкви — ордену францисканцев и иезуитов.

В ряде городов Боснии создавались католические гимназии и семинарии, на их содержание ежегодно австрийское правительство тратило более 70 тыс. форинтов. Католические образовательные учреждения способствовали формированию мировоззрения интеллигенции, пропитанного католическим духом. В результате развития иезуитских и францисканских гимназий приток детей в государственные школы значительно снизился¹⁵.

Одной из главных задач католической иерархии стало обеспечение высокого уровня прозелитизма: должна быть достигнута католицизация как мусульман, так и православных. Католическое духовенство в Боснии и Герцеговине, обладающее непререкаемым авторитетом и действующее совместно с иезуитами и францисканцами, проводило политику вытеснения из сознания паствы чувства славянской солидарности и даже ощущения принадлежности к определенному народу. Особенно это относилось к сербам-католикам, которых они пытались отделить от сербского отечества и привить осознание принадлежности исключительно к католической церкви.

Францисканские ордена подчинялись непосредственно Римской конгрегации по пропаганде веры и отличались строгой организацией. Их привилегированное положение, образованность, сплоченность и связь с Ватиканом обеспечивали влиятельные позиции в общественно-политической жизни боснийско-герцеговинского населения. В то же время спецификой деятельности францисканцев являлось то, что свою паству они оставляли

в невежестве, позволяя ей посещать лишь основные школы, которые отличались невысоким уровнем преподавания¹⁶.

Деятельность францисканского ордена «Малые братья» способствовала распространению католицизма в Боснии. В округах Цетина, Мосора, Драговича, Врлика, Шибеника и Синя они привели к унии или обратили прямо в католицизм значительное число православных. Делалось это под предлогом возвращения славян в «истинную церковь».

В 1881 г., после проведения переговоров между австрийской властью и Св. престолом, в Боснии и Герцеговине была создана церковная католическая иерархия, во главе которой был поставлен сараевский архиепископ, иезуит Й. Штадлер. С этого времени францисканцы перестали являться единственными пастырями душ и вынуждены были разделить сферу своего влияния с иезуитами.

В отличие от францисканцев, печатный орган которых «Освит» на первое место ставил реализацию национальных целей, иезуитская газета «Врхбосна» первоплановой задачей считала выполнение религиозной, а не национальной, миссии. Иезуит О. Циммерман создал политическую концепцию, в основе которой лежал следующий тезис: «Если вера вступает в противоречие с национальностью, то следует отбросить национальность»¹⁷.

Среди представителей католического клира начиналось движение за отождествление католицизма и хорватского национального самосознания. Для этого во главе хорватского национального движения было необходимо поставить католические организации. Такими организациями стали Хорватский народный союз под руководством францисканцев и Хорватское католическое объединение, возглавлявшееся сараевским архиепископом Й. Штадлером.

После своего назначения на пост сараевского архиепископа в 1882 г. Штадлер развернул агрессивную католическую пропаганду. Его резкое и нетактичное поведение по отношению к верующим иных конфессий вызвало непонимание даже австрийских властей, которые просили его смягчить тон подконтрольных ему газет и ввести цензуру на публикации. Папский нунций в Вене С. Ванутели предупреждал Штадлера о недопустимости резких высказываний в адрес не католического населения.

Настойчивый прозелитизм сараевского архиепископа проявился в том, что он раздавал православному духовенству униатские богословские книги и ввел запрет на распространение теологических книг из России. В результате способы распространения католицизма Й. Штадлера вызвали отпор со стороны как православного, так и мусульманского населения¹⁸.

В начале XX в. в Боснии и Герцеговине между францисканцами и иезуитами усилились разногласия. Иезуиты представляли собой малочисленную, но энергичную организацию. Францисканцы были влиятельны, популярны и многочисленны. Искусно подогреваемые Штадлером иезуитско-францисканские распри раскалывали католическое население и ослабляли влияние католической церкви. Противоречия между орденами неизменно гасились верным проводником политики Ватикана — наследником австрийского престола Фридрихом Фердинандом. Несмотря на его явное предпочтение иезуитам, проявлявшееся в выделении значительных финансовых средств для строительства церквей и административных зданий, роль посредника выполнялась им с неизменным успехом¹⁹.

Задачей иезуитской организации Хорватское католическое объединение стало ослабление широко распространенного влияния францисканцев. В XIX в., особенно в его начале и середине, политика последних содержала в себе югославянские мотивы. Однако после оккупации Боснии и Герцеговины она подверглась колебаниям и изменениям курса. Новая доктрина францисканцев включила в себя пункты, направленные на осуществление вековой мечты хорватского народа — создание «единой Великой Хорватии», в состав которой должна была войти Босния и Герцеговина. Прежняя югославянская и общехорватская политика францисканцев характеризовалась теперь узконационалистической ориентацией и отступлением от выполнения масштабных религиозных проектов, задуманных Ватиканом.

В течение первых двух десятилетий XX в. Хорватское католическое объединение прочно утвердилось на ультраконсервативных религиозно-националистических позициях. «Объединение» Штадлера, собирая всех католиков «под хорватский плащ», добилось значительных результатов по привлечению иностранцев, чиновников и переселенцев в Боснию и Герцеговину, которые перенимали хорватскую национальную идею. В результате иезуиты постепенно вытеснили францисканцев, заменив их священниками — сторонниками Штадлера. Некогда влиятельный в Боснии и Герцеговине орден францисканцев практически растворился в борьбе со Штадлером и иезуитами, часть его руководства впоследствии присоединилась к правашам²⁰.

До Первой мировой войны, несмотря на междоусобную борьбу, обе организации — францисканский Хорватский народный союз и штадлеровское Хорватское католическое объединение в той или иной степени способствовали сохранению и развитию хорватской конфессиональной и этнической индивидуальности. Эти две крупнейшие клерикальные организации

рассматривали Боснию и Герцеговину как важное для будущей Хорватии геостратегическое пространство.

Ответственность за убийство Франца Фердинанда, начало мировой войны и общий кризис в международных отношениях Ватикан возложил на Сербию. Первыми акциями римской курии стали объявление праведного характера войны, призыв к сплочению всех антисербских сил и требование предпринять все возможные усилия по ухудшению положения Сербии. Ватикан и хорватские клерикалы рассматривали Сербию и югославянскую идеологию как «заразную болезнь», от которой следует избавиться любыми средствами.

Первого ноября 1914 г. Папа Бенедикт XV издал энциклику *Ad beatissimi*. В ней исследовались причины войны, опасности, грозящие миру ее продолжением, и обосновывалась необходимость сохранения существующего политического, социального и экономического положения в Европе. Энциклика стала предупреждением о том, что Ватикан будет проводить политику и принимать решения исходя из интересов церкви²¹.

В течение Первой мировой войны хорватские и словенские клерикальные круги осуществили такие акции, как формирование сербофобской антиправославной идеологии, участие в сербских погромах в Хорватии и Боснии и Герцеговине и создание собственных концепций объединения югославянских народов.

На территории Хорватии, Славонии, Далмации и в Боснии и Герцеговине после сараевского убийства 28 июня 1914 г. в течение июля—августа 1914 г. прошли массовые антисербские погромы, в ходе которых уничтожались сербские церкви, православные святыни и имущество сербских граждан (дома, культурные и общественные учреждения, типографии, редакции газет и т. д.). Антисербские демонстрации и погромы были организованы в Завидовичах, Мостаре, Шамце, Добое и других местах. В Джакове и Славонии ими руководили франковцы. Организаторами демонстраций в Сплите выступили жупники окрестных сел. В Далмации, Омбе и Метковиче в результате антисербских акций хорватских клерикалов сербское сельское население вынуждено было приступить к формированию отрядов народной самообороны для защиты собственной жизни²². В период антисербских погромов в Боснии и Герцеговине имущество сербского населения было уничтожено на сумму 10 млн крон, от погромов на ее территории пострадала практически каждая сербская семья. Франковцы не признавали существования сербского населения ни в Хорватии, ни в Боснии: «Если хотите быть сербами, будьте, тогда называйтесь своим настоящим

разбойничьим именем... Ваше имя — “серб”, известное многим поколениям как “убийца”»²³. Тогда появилось популярное среди хорватов выражение «серба — на вербу».

На завершающем этапе Первой мировой войны судьбу югославянской идеи решали три фактора: сербское правительство на о. Корфу, Югославянский комитет в Лондоне и Югославянский клуб австрийского парламента в Вене.

Во второй половине 1917 г. Св. Престол стал инициатором плана переустройства монархии на федеративных принципах. При этом Ватикан ударился сразу в две крайности: с одной стороны, он предлагал план Великой Хорватии, включающий территорию до реки Дрины, а с другой — выступил за превращение Австро-Венгрии в федеративное государство и создание в ее границах югославянского национального образования. До окончания войны римской курии не удалось согласовать эти взаимоисключающие варианты.

30 мая 1917 г. на заседании австрийского парламента от имени югославянских народов Габсбургской империи была обнародована декларация, известная как «Майская декларация Югославянского клуба». Всего в венском парламенте насчитывалось 37 югославянских депутатов, из них 23 были словенцами, 12 хорватами и два сербами. В декларации указывалось: «...Нижеподписавшиеся народные представители, объединившиеся в Югославянском клубе, заявляют, что на основании принципа национальностей и хорватского государственного права они заявляют о своем стремлении к объединению всех земель в монархии, населенных словенцами, хорватами и сербами в единое самостоятельное, свободное от господства любых иностранных народов и основанное на демократических принципах государственное образование под скипетром Габсбургско-Лоренской династии...»²⁴ Декларацию подписали следующие члены Югославянского клуба: А. Корошек, М. Лагиня, К. Верстовшек, В. Спичич, О. Рибарж, В. Равнихар, Е. Ларц, И. Продан, Й. Гостинчар, М. Бречич, Й. Ю. Погачник, Л. Погачник, М. Чингрия, А. Грегорчич, Я. Крек, Ф. Янкович, И. Шуштершич, А. Дулибич, Й. Биянкини, А. Трешич-Павлович, Ф. Демсар, Й. Перич, Й. Смодляка, Ф. Яклич и др.

Некоторые историки после Второй мировой войны расценивали Майскую декларацию как качественно новую ступень в борьбе за решение национального вопроса югославянских народов Австро-Венгрии, подчеркивая, что она преодолела прежнюю великохорватскую концепцию и своей югославянской программой на базе триализма ставила под вопрос всю дуа-

листическую организацию монархии. Поэтому в условиях 1917 г. Майская декларация, якобы, означала крупный вклад в идею югославянского объединения и являла собой начало движения, завершившегося созданием Государства сербов, хорватов и словенцев 29 октября 1918 г.²⁵

Хорватские историки допускают, что для одной части подписавших Майскую декларацию формула «под скипетром Габсбургско-Лоренской династии» оставалась «только фразой, не наполненной конкретным политическим содержанием и использовавшейся для агитации широких масс населения, так, чтобы избежать преследования властей» (к этой группе относились священники В. Спинчич, Й. Биянкини, политики О. Рибар, В. Равникар, Й. Смодляк)²⁶.

С нашей точки зрения особенно важным представляется тот факт, что Майская декларация предусматривала растворение сербского населения в составе хорватско-словенского католического объединения. Статус православной церкви и сербского народа при объединении католических народов в рамках Австро-Венгрии в декларации не оговаривался, принцип равенства вероисповеданий не упоминался. Конституция монархии и статьи конкордата Австрии с Ватиканом определяли католическое вероисповедание как государственную религию монархии и обеспечивали государственную поддержку и защиту только ей. Принятие сербов в качестве равноправных граждан в югославянское государственное объединение не означало введения равноправия католического и православного вероисповеданий.

Лидер Партии права А. Павелич назвал Майскую декларацию «победой хорватской государственной идеи с точки зрения восстановления древнего хорватского государства на территории от Соча до Беляка, Дрины и Земуна на востоке» в противовес «югославянству, которое является лишь сном, грезой, фантазией...»²⁷

После принятия корфской декларации связующим звеном между хорватскими клерикальными кругами и Югославянским комитетом стал Ф. Барац — влиятельный клерикальный деятель, профессор теологического факультета Загребского университета. Барац был преемником архиепископа Бауэра на посту главы факультета и поддерживал тесную связь со всеми клерикальными кругами Хорватии, за исключением иезуитов. Как редактор католической газеты он оказывал сильное влияние на умонастроения духовенства и верующих на хорватских территориях. В результате проведенных им переговоров с членами югославянского комитета и сербского правительства он занял одну из ключевых позиций при оформлении хорватских национальных требований и стал автором собственного проекта

югославянского объединения, который предусматривал завершение объединения хорватского народа в его этнических границах, создание самостоятельного хорватского государства, связанного унией с Сербией и Словенией.

В конце 1917 г. Ватиканом был проведен ряд акций, указывающих на изменение восточной политики римско-католической церкви. В рамках «кирилло-мефодиевской» программы приведения православных народов к унии Папа Бенедикт XV провозгласил хорватский народ «столпом христианства» («Antemurale Christianitatis»), завершил кодификацию церковного права и основал Институт по изучению христианского Востока и Конгрегацию Восточной церкви²⁸.

Перед «Божьим народом» римская курия поставила провиденциальные религиозные задачи и неразрывно связала его участь с судьбой католической церкви²⁹. Целью новых папских учреждений (Института по изучению христианского востока и Конгрегации Восточной церкви) стала подготовка священников к миссии прозелитизма на Балканах и в России³⁰. С одной стороны, эти учреждения были призваны ослабить влияние Сербии как центра югославянского объединения, с другой — идея приведения к унии православного населения юга Балканского полуострова римской курией была высказана открыто.

В конце 1917 г. клерикальные круги активизировали свое вмешательство в политическую жизнь на юге Балканского полуострова путем расширения католической пропаганды.

Фран Барац в октябре 1917 г. составил меморандум, идеи и аргументы которого имеют исключительное значение для понимания сути хорватской клерикальной политики в процессе создания югославянского государства.

В меморандуме Барац отмечал, что «государственная независимость и объединение хорватов, сербов и словенцев не только не принесет вред католической церкви, но, напротив, принесет ей неоценимую выгоду... Это государство могло бы стать главным оплотом перевода народов восточной церкви под крыло святой матери католической церкви... По отношению к католицизму в любом культурном аспекте сербы стоят на более низкой ступени развития... Их духовенство, школы и семинарии не могут даже сравниться с работой нашего католического духовенства... Новое государство — больше не православное Королевство Сербия... в нем больше не нужно будет бояться православия, население вместе со своей странной верой скоро потеряет и свою национальную характеристику “сербство”, поскольку никто из живущих ныне не может и представить себе, что хор-

ваты и словенцы обратятся в новую веру. Напротив, только ради сербов в нашем новом единственно народном государстве для католицизма открываются необозримые перспективы. С ликвидацией русского царизма и пробуждением демократии в славянском мире исчезли главные препятствия для пропаганды католической веры среди славян. Сербский народ, представитель добродушного славянского типа, открыт к обучению и истине, прекрасной и благородной: вполне возможно, что в настоящее время он реализует великие начинания... Иоанна VIII, Иннокентия III, Льва XIII... Незабвенный наш джаковский епископ Йосип Юрай Штросмайер еще в середине прошлого столетия охватил своим пронизательным взором этот великолепный успех католической церкви на Балканах, поэтому он был так воодушевлен...идеей объединения южных славян на Балканах. Великий Лев XIII также воспринял идею объединения южных славян в единое государство и всемерно помогал Штросмайеру в ее осуществлении. Боснийский архиепископ Йосип Штадлер еще в 1894 г. был провозглашен апостольским легатом единой церкви на Балканах...Государство, к которому стремятся хорваты, сербы и словенцы, это мост католической веры на целые Балканы, а через них — на славянский Север и Дальний Восток»³¹.

Меморандум Ф. Бараца не оставляет иллюзий относительно конечных целей действий хорватских клерикалов. Объединение югославянских народов, по его представлениям, будет являться своеобразной «точкой отсчета» в формировании нового типа государства, в котором традиционные национальные и религиозные институты сербского общества во многом будут трансформированы, в то время как для развития католической церкви будут созданы благоприятные предпосылки.

1918 год стал решающим для судеб югославянских народов Балканского полуострова. В течение Первой мировой войны окончательно оформилась и получила свое практическое выражение югославянская мысль, веками создававшаяся представителями политических элит югославянских народов. Пути ее становления складывались непросто: она включала в себя как пронизанные романтическим флером стремления «к братскому единению на основе языкового, культурного и генетического родства», так и клерикальный компонент, подразумевающий объединение этих народов под властью католической церкви.

Основы единой Югославии заложили и представители хорватских клерикальных кругов, которые вовсе не поддерживали, или в очень ограниченной степени сочувствовали югославянскому объединению. Однако опыт католической церкви по участию в политических событиях отразился на

их деятельности. Хорватские прелаты подключились к происходящим событиям и закрепили клерикальный компонент в качестве фундамента Югославии. Они использовали разнообразные методы политической борьбы: проведение съездов, конференций и совещаний всех католических партий и групп с выработкой резолюций, обязательных к исполнению всем католическим клиром и верующими, развертывание пропагандистских кампаний, участие в демократических органах власти и формулирование собственных проектов внутреннего устройства государства югославян.

Ключевые решения о позиции католического духовенства в югославянском государстве были приняты 27—29 ноября 1918 г. на загребской конференции югославянских католических прелатов. На конференции присутствовали: Еглич (люблянский епископ), Ю. Царич (сплитский епископ), Й. Гарич (епископ банялукский), Учеллини-Тице (епископ которский), И. Шарич (епископ, заместитель боснийского архиепископа), А. Акшамович (каноник, заместитель капитулярного джаковского викария) и др.

На конференции были приняты резолюции, в которых католические прелаты объявили свою политическую волю: поддержать объединение всех словенцев, хорватов и сербов в едином независимом государстве и признать Народное вече как верховную временную власть. В третьей резолюции указывалось: «...Епископат выражает надежду на то, что в югославянском государстве будут сохранены права католической церкви, а все спорные вопросы будут решаться совместно со Святейшим престолом». Югославянский епископат одобрил деятельность хорватского католического сеньората и выразил уверенность в успехе его дальнейшей деятельности³².

После загребской конференции епископ Махнич определил социально-культурную миссию югославянского государства как необходимость сплотить воедино все югославянские народы под крылом Римской церкви. Он утверждал, что в условиях, когда Россия пала, хорватский народ получил особую задачу — «стать первым, кого Господь отправит на католическую жатву восточной нивы»³³.

Клерикальная газета «Врхбосна» в 1920 г. так объясняла миссионерские задачи католического духовенства в новых условиях: «Центр мировой политики перемещается с Запада на Восток; здесь, как показывают все признаки, хорватский народ ожидает новая задача: вместе с католиками-словенцами стать мостом для унии на Балканах. Подобно тому, как наши предки своими войнами защитили Западную Европу и католичество от нашествия турок, сегодня мы должны проявить себя их достойными потомками...»³⁴

Хорватские прелаты под давлением изменившихся геополитических условий (военного поражения Австро-Венгрии и Германии и итальянской оккупации части югославянских территорий) поддержали идею создания нового государства. Им удалось приспособиться к новой ситуации и использовать демократические принципы, заложенные в основу создания Югославии, в своих интересах — они приняли активное участие в органах власти и заняли влиятельную позицию в политической структуре Королевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС).

24 ноября 1918 г. комитет Народного веча принял решение провозгласить объединение Государства СХС с Королевством Сербией и Черногорией в единое государство — Королевство сербов, хорватов и словенцев. Одновременно избирался комитет Народного веча, состоящий из 28 человек, которые должны были приступить к организации государства. В комитет вошли три клерикала — А. Корошец, Я. Шимрак и Ф. Барац.

В конце 1918 г. хорватские клерикалы призвали к созданию единого католического движения. Для обоснования необходимости этого католическая церковь стремилась показать свое неравноправное положение, религиозную нетерпимость, царящую в обществе, представляющую угрозу для самого существования католической религии. В Вене и Риме стали раздаваться голоса о том, что хорваты в Югославии не могут получить равные права и не потому, что они хорваты, а потому, что католики.

После образования КСХС деятельность Католической акции была продолжена. В 1922 г. Пий XI издал энциклику *Ubi arcano dei*, в которой он утвердил основные направления деятельности Католической акции на европейских землях. В энциклике утверждалась необходимость возвращения Христу его королевского скипетра в семье и обществе и поиска новых организационных форм деятельности.

Согласно новому определению Папы римского католическая акция должна была заключаться в «сотрудничестве мирян и иерархического апостолата». Все воспитательные и просветительные организации прежнего католического движения переходили в ведение церковной иерархии, которая с этого времени принимала на себя руководство и полноту ответственности за их действия.

Целью новой католической акции стали обновление деятельности католических обществ и жизни каждого верующего-католика на основе твердых христианских принципов и господство религиозных ценностей в общественной, культурной и политической сферах общественной жизни.

По поводу нового этапа католической акции германский иезуит Ф. Мукерман отмечал следующее: «Папа призвал к новому крестовому походу — католической акции. Он — вождь, который несет знамя Христова Королевства. Речь идет не только о церкви, но и о государстве, науке, культуре. Католическая акция будет охватывать универсум... Католическая акция означает объединение светского католицизма»³⁵.

«Католическая акция» была окончательно оформлена в Хорватии в 1923 г. под руководством Ивана Мерца, выходца из семьи немецких колонистов в Бани-Луке. После создания КСХС участилось проведение съездов, конгрессов, заседаний и семинаров католических обществ. Они охватывали все более широкие сферы, относящиеся к задаче воспитания и просвещения католической молодежи: журналистику, типографские предприятия, рабочие организации и т. д. Особым успехом хорватского католического движения после создания югославянского государства Перович называет основание «двух великих центров» католического движения — Задружные свезе в Загребе (самыми известными его членами были Г. Гортан, Б. Штичич и др.) и Задружные матице в Сплите (сотрудниками которого стали д-р. Цико, проф. Юраш и др.). В Мостаре активно развивалось католическое движение, основателями которого были Д. Мандич и Ж. Влахо. Самый важных успех был достигнут орловскими молодежными организациями*. Впоследствии «орловские» организации трансформировались в Великое христианское братство, которое по уставу являлось абсолютно религиозным обществом³⁶.

В 1925 г. Католическая акция вышла на новый уровень, направленный на окатоличивание сербского населения в Дубровнике, Конавлях и Боке³⁷. В ее рамках реализовывалась задача денационализации населения, определяющего себя как сербы или югославы. Католические прелаты югославянских земель, стоящие во главе католического движения и «Сеньората», предначертали для Югославии судьбу моноконфессионального католического государства.

* Югославянский орловский союз как физкультурно-воспитательная организация «христиански настроенной молодежи» был основан в 1909 г. с центром в Любляне. Он был членом Словенского орловского союза с центром в Брну и международного союза католических физкультурных организаций с центром в Париже. Югославянский орловский союз расширил свое влияние на территории Хорватии, Боснии и Герцеговины и в 1920 г. охватил 250 жупаний, насчитывая 5 970 рядовых членов и 13 027 воспитанников.

Вопреки многочисленным заявлениям католических иерархов об ущемлении прав римско-католической церкви в Королевстве Югославии 19 февраля 1933 г. в белградской «Политике» была опубликована статья, в которой священник Ф. Иванишевич заявил: «Мне как старому священнику хорошо известны все обстоятельства, в которых находилась и находится церковь. И я могу категорически утверждать: католическая церковь никогда в бывшей Австро-Венгерской монархии не пользовалась такой свободой и поддержкой, какой пользуется сейчас в Королевстве Югославии. Сегодня достаточно посмотреть на Белград, как великолепно там развивается католическая церковь, которая сейчас имеет 5 жуп и пользуется огромной поддержкой граждан, которые в большинстве своем (более 80%) другого вероисповедания. Православная община в Белграде бесплатно уступила землю для постройки нового католического кафедрального собора, а ценность этой земли составляет 5 миллионов динаров! И все это делается в интересах церкви и государства»³⁸. В своих заметках он отмечает, что католический епископат «ошибочно понял свою роль в новом государстве. Когда в 1918 г. наш народ освободился от иноземного рабства и вступил в государственный союз со своими кровными братьями сербами и словенцами, была достигнута договоренность, что наша церковь сохранит свой облик и продолжит свою деятельность. От совокупного населения в 14 млн. жителей Югославии католическая церковь насчитывает по последней переписи 5373456 своих приверженцев, в то время, как восточная православная церковь — 6375524 верующих. В Белграде, например, 90% населения православного вероисповедания, при этом верующие-католики пользуются полной свободой, как ни в одном другом месте. Католическая церковь открыла широкий путь ко всем слоям нашего народа, а благодаря своей культурной силе продолжает акции катехизации, проповедования и пастырского служения. Насколько католическая церковь свободна и уважаема в Югославии, доказывает факт ежегодного проведения там евхаристических конгрессов при полной поддержке со стороны власти, которая в этих религиозных манифестациях видит укрепление общественного порядка и морали. Это “penetration pacifique”, которое значительно усиливает мощь католической церкви и дает ей возможность постоянного развития и укрепления своего положения в общественной жизни»³⁹. Впоследствии у Ф. Иванишевича было отнято звание каноника, на шесть дней ему запретили проводить богослужения, на год — исповедовать и причащать. За разоблачение лжи и мистификации со стороны католического клира на

Иванишевича было оказано сильное давление с целью заставить пожилого епископа взять обратно свое заявление и опровергнуть его как несоответствующее действительности⁴⁰.

Таким образом, хорватские клерикалы, с начала XX в. ставившие своей целью превращение духовенства во влиятельную политическую силу в обществе, консолидацию хорватского народа на основе принципов католицизма и сращивание интересов клерикализма и национального хорватского движения, после создания Югославии не отказались от своих стратегических целей. В рамках католической акции, получившей новые организационные формы и задачи, им удалось во многом продолжить прежние тенденции развития католического движения. Основная ставка делалась ими на воспитание молодежи «в истинном католическом духе» для того, чтобы мораль и дух подрастающего поколения всецело соответствовали заветам «святой матери римско-католической церкви».

Новый импульс для развития получил католический прозелитизм и миссионерская деятельность католической церкви. Поскольку ее монолитность в Европе была нарушена идеологией буржуазного либерализма, то свое спасение римская курия видела в расширении католицизма на восточные православные славянские народы. После падения царской власти в России руководство католической церкви надеялось на успешное распространение идей грекокатолицизма среди православных (т. е. унии) с перспективой их полной католицизации.

Цели католического клерикализма продолжали реализовываться и в коммунистической Югославии. Католические школы воспитывали поколения подрастающих католиков и создавали основу для построения мононационального хорватского общества, в котором римокатолическая церковь заняла одно из важных мест в политической иерархии общества.

Примечания

¹ *Екмечић М.* Стварање Југославију 1790—1918. Београд, 1989. Т. 2. С. 510—511.

² *Nenezić Z.* Masoni u Jugoslaviji (1764—1980): Pregledistorije slobodnog zidarstva u Jugoslavije: Prilozi i grada. Београд, 1984. С. 140.

³ *Екмечић М.* Црква и нација код Хрвата // Зборник о србима у Хрватској. Београд, 1999. Књ. IV. С. 20.

⁴ *Perovic B.* Hrvatski katolicki pokret. Roma, 1976. С. 27.

⁵ *Ibid.* С. 26.

⁶ *Екмечић М.* Стварање Југославије... Т. 2. С. 511.

- ⁷ *Perovic B.* Op. cit. S. 35.
- ⁸ *Екмечић М.* Црква и нација... С. 22.
- ⁹ *Екмечић М.* Стварање Југославије... Т. 2. С. 514.
- ¹⁰ *Perovic B.* Op. cit. S. 16.
- ¹¹ *Екмечић М.* Стварање Југославије... Т. 2. С. 516.
- ¹² *Екмечић М.* Црква и нација... С. 18.
- ¹³ *Perovic B.* Op. cit. S. 36.
- ¹⁴ *Novak V.* Magnum Crimen: Pola veka klerikalizma u Hrvatskoj. Beograd, 1986. S. 10.
- ¹⁵ *Kraljačić T.* Kalajev režim u Bosni i Hercegovini (1882—1903). Sarajevo, 1987. S. 295—309.
- ¹⁶ *Ibid.* S. 90—92.
- ¹⁷ Архив Србској академији наука и уметности (далеко — АСАНУ). Заоштвашина В. Новака. Бр. 14474. Л. 92.
- ¹⁸ *Ibid.* S. 323.
- ¹⁹ *Živojinović D., Lučić D.* Varvarstvo u ime Hristovo: Prilozi za Magnum Crimen. Beograd, 1988. S. 45.
- ²⁰ *Ibid.* S. 30—33.
- ²¹ *Ibid.* S. 112.
- ²² *Екмечић М.* Стварање Југославије... Т. 2. С. 711.
- ²³ Цит. по: *Патковић М.* Антисрпски и антијугословенски погроми у лето 1914. године // Зборник о Србима у Хрватској. Београд, 1991. Књ. II. С. 301.
- ²⁴ *Petranović B., Zečević M.* Jugoslavija 1918—1988: Zbirka dokumenata. Beograd, 1988. S. 84.
- ²⁵ *Казимировић В.* Никола Пашић и његово доба 1845—1926. Београд, 1990. Књ. 2. С. 428.
- ²⁶ *Čulinović F.* Državnopravna historija jugoslavenskih zemalja XIX i XX vijeka. Zagreb, 1954. Књ. 2. С. 271—274.
- ²⁷ *Ibid.* S. 94—96.
- ²⁸ *Лазућ М.* Крсташки рат Независне Државе Хрватске. Београд, 1991. С. 73.
- ²⁹ Там же. С. 23.
- ³⁰ *Živojinović D., Lučić D.* Op. cit. S. 199.
- ³¹ Меморандум Ф. Вараса 7. октобра 1917 // *Živojinović D., Lučić D.* Op. cit. S. 185—188.
- ³² *Petranović B., Zečević M.* Op. cit. S. 113—114.
- ³³ *Perovic B.* Op. cit. S. 123.
- ³⁴ Цит. по: *Žutic N.* Kraljevina Jugoslavija i Vatikan: Odnos jugoslovenske države i Rimske crkve 1918—1935. Beograd, 1994. S. 18.

³⁵ Цит. по: *Žutic N. Sokoli: Ideologija u fizičkoj kulturi Kraljevine Jugoslavije 1929—1941.* Beograd, 1991. S. 19.

³⁶ АСАНУ. Заошгавштина В. Новака. Бр. 14474. Л. 19.

³⁷ Цит. по: *Žutic N. Rimokatolička crkva i Hrvatsstvo u Crnoj Gori i Boki u prvoj polovini XX vijeka // Istorija 20 veka.* Beograd, 2001. Br 2. С. 41.

³⁸ АСАНУ. Заошгавштина В. Новака. Бр. 14474. Л. 52—53.

³⁹ Там же. Л. 1—6.

⁴⁰ Там же. Л. 60.

Деятельность российского консула А. А. Ростковского в Македонии. 1900-е годы

Исследование культурных и политических связей России со славянскими странами и народами было и остается одним из актуальных направлений в отечественном славяноведении. Однако, как представляется, в тени масштабных проблем порою остаются некоторые сюжеты, способные, быть может, высветить новые стороны самих этих проблем, их малозаметные аспекты, имеющие, между тем, серьезное значение.

Именно поэтому, несправедливым кажется недостаточное внимание исследователей к такому виду источника, как консульские донесения, а также к личностям их авторов — самим консулам¹.

Появление учреждений российской консульской службы в македонских провинциях Османской империи относится к последней четверти XVIII в. — тогда открылось консульство в Солониках. В 1856 г. Россия вместе с другими государствами-участниками Парижского конгресса стала гарантом его постановлений. В связи с этим расширяется российская консульская сеть на Балканах². В Битоли (совр. город Битола в Республике Македония) консульство было основано в 1861 г. в Ускубе (ныне — Скопье, столица Республики Македония) — в конце XIX в.

В 1820 г. опубликован первый русский консульский устав. Его новое издание (1858) просуществовало с незначительными изменениями до 1917 г. Согласно уставу, консул являлся должностным лицом, назначенным государством для защиты прав и интересов его подданных на территории другого государства³. Консульские функции были весьма обширны и многообразны, и это позволило Бисмарку отметить, что «легче быть хорошим дипломатом, нежели хорошим консулом»⁴. Известный литератор начала XX в. А. В. Амфитеатров характеризовал положение русских консулов на Балканах как «двусмысленное»: с одной стороны, всемогущие «в воображении здешних властей и народа», а с другой, «совершенно бессильные и безгласные пред Константинополем и Петербургом»⁵. В задачи консула входило информирование своего правительства о политических, экономических и прочих аспектах жизни соответствующего консульского округа. В связи с этим будет уместно сослаться на того же Амфитеатрова, очевидца многих событий начала века на Балканах, лично знавшего едва

ли не всех консулов России в данном регионе. Он писал: «Ознакомившись с архивами нескольких наших консульств, я был поражен той массой литературно-политической работы, к которой обязан русский консул; каждое донесение его в посольство есть одновременно и фактическая, подробная, проверенная корреспонденция «с места», и обстоятельная передовая статья по поводу корреспонденции. Еженедельно, а то и чаще, уходят из консульских пунктов наших в Константинополь огромные пакеты с тяжелыми тетрадами таких донесений, а дубликаты их идут в Петербург. И вот — как дойдут они до этого богоспасаемого города, тут им и капут: их очень ласково принимают, нумеруют, складывают в архивный шкаф и... покойся милый прах, до радостного утра! Архивы нашего министерства иностранных дел полны драгоценнейшим этнографическим и политико-историческим материалом из консульских донесений, слежавшимся и пропадающим в недрах дипломатико-бюрократических бесцельно, бесплодно и безвыходно»⁶.

Императорский российский консул, статский советник Александр Аркадьевич Ростковский родился в 1860 г. Он происходил из старинной семьи могилевских дворян. Отец его, Аркадий Николаевич Ростковский, долгое время был офицером Генерального штаба и начальником штаба 8-й кавалерийской дивизии, а в царствование Николая I находился в чине майора, являлся участником Венгерской кампании и по поручению царя передал императору Францу Иосифу сабли сорока венгерских генералов, сложивших оружие перед русскими войсками при Вилагоше. Майор Ростковский был награжден тогда австрийским орденом Железной короны. А. Н. Ростковский участвовал и в Крымской войне. Умер в 1882 г. в чине генерала в отставке. Александр Аркадьевич воспитывался в одной из одесских гимназий, получил образование в императорском Александровском лицее, полный курс которого окончил в 1883 г. Желая посвятить себя службе на мусульманском Востоке, А. А. Ростковский поступил в Азиатский (позже — Первый) департамент министерства иностранных дел. Вскоре он был командирован в Болгарию на должность второго секретаря императорского Российского дипломатического агентства и генерального консульства. Затем его перевели на должность секретаря и драгомана генерального консульства в Иерусалиме. В 1887 г. он оказался на аналогичном посту в Янине, а потом в Бейруте. В 1893 г. Ростковский был назначен вице-консулом в Бриндизи. Спустя два года он вновь попадает на Балканы, теперь консулом в Битоли (с 1899 г. по 1901 г. был также консулом в Ускубе).

Находясь на консульской службе в Македонии, Ростовский не ограничивал свою деятельность строгими рамками прямых обязанностей и проводил скрупулезную работу во многих сферах. Так, он заинтересовался этнографией Македонии и опубликовал соответствующие работы. Они были оценены наградой императорской Академии наук. (Если верить Амфиатрову, то, по свидетельству самого А. А. Ростовского, МИД воспринял публикацию прохладно⁷.)

Город Битоля являлся центром одноименного вилайета. Большую часть его населения составляли христиане. На западе провинции достаточно компактно проживали албанцы⁸.

Начало XX в. характеризуется постепенным обострением обстановки в Македонии. Между тем главное внимание Российской империи было сосредоточено на Дальнем Востоке, а первейшая задача внешней политики России на Балканах состояла в поддержании на полуострове статус-кво. И именно в это время македонские революционные комитеты⁹ берут курс на подготовку и проведение восстания в македонских вилайетах с целью «освобождения от османского ига». Комитеты, в той или иной степени, пользовались поддержкой Болгарского княжества. Болгарские торговые агенты в македонских вилайетах были, в некотором роде, посредниками между правящими кругами княжества и комитетами. 3 февраля 1901 г. Ростовский писал: «Несмотря на все мои старания ограничить насколько возможно преступную деятельность македонских революционных комитетов, этого достигнуть невозможно ввиду того, что болгарское правительство, как будто нарочно, выбирает служащих в торговых агентствах из числа заведомых революционеров»¹⁰. А в феврале 1903 г. консул сделал предположение, что «...болгарское правительство нарочно... пригласило (на должность торгового агента. — М. Я.) заведомого революционера, коего, одновременно с официально опубликованными инструкциями успокоить население, снабдило секретными приказами усилить деятельность комитетов и тем доказать, что центр революционного македонского движения находится вне Болгарии»¹¹.

Такая позиция лидеров революционного движения резко противоречила планам России. О своем негативном отношении к деятельности комитетов российское правительство сообщало неоднократно через консулов в Македонии, дипломатических представителей в Балканских странах и публично. Одним из самых резких было правительственное сообщение от 12 февраля 1903 г. В нем, в частности, говорилось: «...Несмотря на преподанные балканским государствам благожелательные советы, агитацион-

ная деятельность революционных комитетов продолжает оказывать пагубное влияние побуждением населения к восстанию...

Но вместе с тем, однако, они не должны терять из виду, что Россия не жертвует ни единой каплей крови своих сынов... если бы славянские государства, вопреки заблаговременно преподанным им советам благоразумия, решились домогаться революционными и насильственными средствами изменения существующего строя Балканского полуострова»¹².

Это правительственное сообщение, содержащее предупреждение революционерам и разъяснение позиции России, было уже не первым¹³. Весьма показательной является секретная телеграмма посла России в Константинополе от 5 февраля 1903 г., полученная Ростовским: «Ввиду продолжающихся происков революционных комитетов, имеющих целью вызвать восстание в Македонии, предлагаю принять зависящие от Вас меры для внушения христианскому населению, что деятельность комитетов строго осуждается Императорским Правительством, что зачинщики и участники беспорядков не должны ни под каким видом рассчитывать на поддержку России и что, в случае принятия турецким правительством мер к подавлению беспорядков, они будут предоставлены собственной участи»¹⁴.

Официальная точка зрения совпадала с настроениями самого русского консула. Еще в 1900 г. в частной беседе он заявил: «В скромных пределах моих полномочий я сделаю все от меня зависящее, чтобы предотвратить осложнения, могущие вовлечь Россию в политическую авантюру. Мне сердечно жаль македонских славян, но русские интересы мне дороже и по личному чувству, и по долгу службы»¹⁵.

Между тем государственный механизм Османской империи к этому времени был полностью атрофирован. Христианское население Македонии терроризировалось албанскими разбойниками и оказалось абсолютно беззащитным перед произволом коррумпированных турецких чиновников. В январе—феврале 1903 г. Россия и Австро-Венгрия выработали проект реформ для Македонии (Венская программа). Турции предстояло передать дело реорганизации местной жандармерии в руки иностранных офицеров. Предлагаемая финансовая реформа включала ежегодное составление бюджета для каждого вилайета, использование доходов на местные нужды, проведение сбора налогов органами общинного самоуправления вместо существующей откупной системы. Порта должна была принять меры против произвола башибузуков и даровать амнистию политическим заключенным и беженцам.

Программа реформ была «встречена в штыки» и албанцами, увидевшими в ней покушение на свое привилегированное положение, и лидерами македонских комитетов, а местная администрация была не способна ее осуществить. Ростковский в связи с этим докладывал в Петербург, что местные «турецкие власти прилагают все свои старания, чтобы парализовать вводимые реформы и с этой целью не исполняют даже предписаний высшего начальства»¹⁶, а несколько позже он констатировал: «...Турецкая администрация дошла до полного расстройтва, никто не желает исполнять приказания своего начальства»¹⁷.

Подстрекаемое своими вождями албанское население видело в представителях России живое воплощение курса на «ущемление своей свободы» и «попрание вековых традиций». Весной 1903 г. первой жертвой стал консул в Митровице Г. С. Щербина, убитый турецким солдатом-албанцем.

Позиция России абсолютно не удовлетворяла и устремлений лидеров македонского движения, что вело к озлоблению их против проводников внешнеполитического курса России — консулов. (Получили даже хождение слухи о готовящемся покушении на Ростковского со стороны революционных деятелей¹⁸. Однако сами участники комитетов, писал по этому поводу консул, уверяли, «что, несмотря на всю ненависть, питаемую комитетом ко мне, моя жизнь в полной безопасности»¹⁹.) Так, Ростковский докладывал МИД: «...Надевая только перед простодушными селянами, уповающими исключительно на Россию, маску русофильства, здешняя интеллигенция, участвующая в революционном движении, не стесняется, оставаясь в своем кругу, высказывать свою ненависть против русских консулов за то, что мы не способствуем осуществлению их идеала забрать все управление в свои руки»²⁰. В апреле 1903 г. консул писал, что «здесь болгарские революционные кружки», разочаровавшись в надежде, что Россия заставит султана даровать автономию Македонии, «стали крайне враждебно относиться к нам», не скрывая своего намерения «сделаться исключительно австрофилами»²¹. Достаточно резко и вполне недвусмысленно А. А. Ростковский сообщает о целях лидеров революционных комитетов. По его мнению, они «не столько заботятся о благе сельского населения, как о себе лично» и «мечтали уже, что при введении автономии они получают хорошо оплачиваемые выдающиеся места в администрации»²². Ростковский считал, что проект реформ был встречен комитетами холодно, «т. к. не обеспечивает здешнему интеллигентному пролетариату возможность пристроиться на государственную службу, о чем они мечтали, требуя автономии для Македонии»²³.

Деятели комитетов, решив поднять восстание, прибегали к самым разным средствам. Ростковский не раз сообщал о являвшихся к нему за разъяснениями крестьянах. Они интересовались, правда ли, что готовящееся восстание поддерживает Россия, как их в том уверяют революционные деятели. 3 марта 1903 г., сообщая в донесении об очередной депутации крестьян, консул отмечал, что комитеты противодействуют реформам, заставляют селян покупать оружие, угрожая им в противном случае смертной казнью. Выслушав советы Ростковского не принимать никакого участия в предполагаемом восстании, «депутаты» просили его защитить их²⁴. Вообще, судя по донесениям дипломата, сельское население относилось к деятельности комитетов, мягко говоря, прохладно, ибо убеждалось в неисполнимости их обещаний о скором освобождении Македонии от турецкой власти, а именно мирному населению приходилось «расплачиваться перед властями за все поступки революционеров, ускользающих, благодаря взяткам, из рук правосудия»²⁵. Примечательно следующее замечание Ростковского: «С каждым днем члены комитетов действуют смелее, т. к., благодаря даваемым полиции и судебным следователям взяткам, обеспечили себе полную безопасность. Точно так же, благодаря даваемым...взяткам, разыскиваемый Ускюбскими властями... Делчев преспокойно разгуливает по всему Битольскому вилайету»²⁶.

Мирное христианское население оказалось в самом тяжком положении. В январе 1903 г. консул так писал о жителях христианских сел: «С одной стороны, они страдают от посещения турецких солдат, уносящих с собой все, что им попадется под руку, и к тому же подвергающих пыткам жителей с целью узнать, где скрываются инсургенты, с другой стороны, бесчисленные революционные банды, постоянно увеличивающиеся в числе, отнимают у жителей последние крохи»²⁷. В последнем своем донесении от 19 июля 1903 г. (по итогам поездки по селам округа) Ростковский напишет: «Несмотря на все бесчинства и грабежи турок, во многих селах мне говорили, что жители сел еще больше страдают от банд, которые поставили себе целью довести население до полного отчаяния и тем заставить его примкнуть к революционному движению»²⁸.

Ростковский, непоколебимый и последовательный в проведении внешнеполитического курса России, в исполнении служебного долга, нажил себе множество врагов. (Неспроста, даже и по прошествии десяти лет со дня смерти консула, некоторые прямо обвиняли австрийского консула Краля в подстрекательстве к его убийству или даже в заговоре с этой целью²⁹.)

Газетные и журнальные публикации позволяют восстановить ход событий. Летом А. А. Ростовский с семьей жил неподалеку от Битоли — в Буковском монастыре. Каждое утро по делам службы он направлялся в город. В тот день — 26 июля (кстати, накануне его сыну исполнилось 9 лет) — он вместе с домашним воспитателем своих детей, учителем местной гимназии К. Мисирковым ехал в коляске в город. Было около 10 часов утра, когда при въезде в город постовой жандарм не только не отдал А. А. Ростовскому установленной для консулов чести, но и, более того, не встал со своего места. Не останавливая экипажа, Ростовский дважды подал знак часовому об отдании чести. Но тот и не шелохнулся, продолжая вызывающе глядеть на консула. Тогда консул приказал остановить коляску и вышел из нее, направляясь к часовому, который поднялся ему навстречу. Ростовский спросил у жандарма его имя. В ответ тот вскинул винтовку и выстрелил. Первая пуля прошла мимо. Мисирков крикнул, что это русский консул. Жандарм перезаряжал ружье. Учитель закричал тогда: «Александр Аркадьевич, оставьте его, садитесь в экипаж». Как предполагал Мисирков, первый выстрел оглушил консула (выстрел был произведен с семи шагов) — держась левой рукой за голову, он отходил от часового, правой рукой делая знак не стрелять (Ростовский никогда не носил с собой револьвера, хотя на него уже однажды было совершено покушение³⁰). Раздался второй выстрел. Пуля насквозь пробила правую руку, смертельно ранив консула навывлет в правый бок. Сделав пару шагов и подойдя к дереву, он начал медленно опускаться на землю. Жандарм подошел к консулу и выстрелил в упор в голову (консульская фуражка была прострелена и пропитана порохом). Этого жандарму показалось мало, и он нанес убитому удар прикладом по лицу. На выстрелы сбежалась толпа. Мисирков в сопровождении трех турецких офицеров добрался до русского консульства³¹.

Николай II потребовал самой суровой кары для убийцы. Жандарм и его напарник были повешены 1 августа на месте гибели русского консула.

Судебное расследование было скоротечным. Существовало предположение, что на пути следования Ростовского были еще и другие засады, а все случившееся отнюдь не случайность, а результат заговора.

Ряд австрийских и немецких газет обвинили Ростовского (как ранее Г. С. Щербину). Писали, что он сам виноват в случившемся, так как, якобы, своим «вызывающим» поведением «восстановил» против себя турецкое население, а, кроме того, помогал инсургентам деньгами и советами. По меткому выражению одного русского журналиста, «всех заткнула за пояс»

венская газета, оклеветав покойного консула, будто бы тот «сам с нагайкой напал на не отдавшего ему чести часового, несмотря на то, что тот валялся у него в ногах и кричал «аман» (пощадите), и, наконец, хотел застрелить его из револьвера»³².

Исполнение приказа об отдании чести консулам имело огромное значение. Ростковский мог бы проехать мимо. Но уже к вечеру весь маленький городишко знал бы, что жандарм не отдал чести «москову», а тот не посмел потребовать от него исполнения внешнего знака почтения. К консулу бы стали относиться как к слабому существу, мусульмане презирали бы его, а христиане не доверяли бы. Парадоксально, но верно по этому поводу высказался А. В. Амфитеатров: «Покойный Ростковский, например, пользовался большим уважением албанцев, т. е. его боялись. И именно поэтому албанцы его терпеть не могли и, в конце концов, его застрелил-таки албанец. Но, в то же самое время, кавасами (телохранителями. — М. Я.) Ростковский держал только албанцев и были они ему преданы, как влюбленные дети»³³.

Султан ассигновал на обеспечение семьи убитого крупную денежную сумму. Вдова покойного отвергла подобную «помощь», заявив, что «нет того вознаграждения, которое она могла бы принять от Турции» за убийство мужа. Екатерина Васильевна Ростковская писала: «Оставить без внимания презрительное и умышленно-недружелюбное отношение к себе со стороны турецкого жандарма мой муж находил нежелательным еще и потому, что это могло бы быть истолковано как слабость или трусость. Покойный исполнил свой долг. Он защитил честь своего мундира и той страны, которой он служил так искренне, так преданно. Так должен был поступить русский, желающий поддержать свой престиж и так поступил бы каждый русский офицер, если бы его вздумали оскорблять»³⁴.

...В июле 1913 г., после Второй (Межсоюзнической) Балканской войны, в Битоли был установлен памятник А. А. Ростковскому на месте гибели (до наших дней он не сохранился). Как сообщалось в телеграмме с места события, это было сделано «для выражения признательности русскому народу за вековое покровительство сербам и вообще христианам и в воздаяние священного долга памяти русского мученика Ростковского, бывшего здесь консулом и убитого за содействие освобождению этой страны...»³⁵

Примечания

¹ Исключение в этом смысле составляет статья В. М. Хевролиной. См.: *Хевролина В. М.* Донесения российских консулов в Боснии и Герцеговине как источ-

ник по истории их дипломатической деятельности. 1856—1874 // Внешняя политика России. Источники и историография. М., 1991. С. 40—64.

² Хевролина В. М. Указ. соч. С. 42.

³ Мартенс Ф. Ф. О консулах и консульской юрисдикции на Востоке. СПб., 1878. С. V.

⁴ Кожевников Ф. И. Русское государство и международное право. М., 1947. С. 216.

⁵ Амфитеатров А. Страна раздора. Балканские впечатления. СПб., 1907. С. 115.

⁶ Там же. С. 112—113.

⁷ Там же. С. 114—115. Распределение жителей Битольского вилайета по народностям и вероисповеданиям в 1897 г. // Живая старина. 1899. Вып. 1. С. 62—112; Распределение жителей Солунского вилайета по народностям и вероисповеданиям в 1899 г. // Там же. 1900. Вып. 4. С. 393—425, 565—583.

⁸ См.: Живая старина. 1899 г. Вып. 1. С. 62—112.

⁹ Не вдаваясь в подробности вопроса о названии их организации, стоит отметить, что она известна в историографии как ВМОРО (Внутренняя македонско-одринская революционная организация) или ВМРО.

¹⁰ Архив внешней политики Российской империи (далее — АВПРИ). Ф. 180. Посольство в Константинополе. Оп. 517/2. Д. 1453. Л. 4.

¹¹ Там же. Д. 1455а. Л. 36—36об.

¹² Правительственный вестник. 1903. 12 февр.

¹³ Там же. 1902. 20 нояб.

¹⁴ АВПРИ. Ф. 213. Консульство в Битоли. Оп. 536. Д. 14. Л. 12.

¹⁵ Русский вестник. 1903. IX. С. 352.

¹⁶ АВПРИ. Ф. 180. Д. 1455а. Л. 129.

¹⁷ Там же. Л. 213.

¹⁸ Там же. Ф. 213. Д. 14. Л. 138.

¹⁹ Там же. Ф. 180. Д. 1455а. Л. 99.

²⁰ Там же. Л. 58.

²¹ Там же. Л. 84.

²² Там же. Л. 27.

²³ Там же. Л. 34.

²⁴ Там же. Л. 43—43об.

²⁵ Там же. Д. 1453. Л. 75об.

²⁶ Там же. Д. 1454. Л. 7—7об.

²⁷ Струкова К. Л. Новые документы о положении в Битольском вилайете в 1903 г. (Из донесений русских консулов) // Славянский архив. Сборник статей и материалов. М., 1963. С. 257; О том же см.: АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 1455а. Л. 174об., 194 и др.

²⁸ АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 1455а. Л. 215а.

²⁹ См., например, статью Н.Н. Мамонтова в газ. «Голос Москвы» от 28 июля 1913 г., №174.

³⁰ Русский вестник. 1903. IX. С. 341—342.

³¹ Новое время. 1903. 20 авг.; Русский вестник. 1903. IX. С. 337.

³² Русский вестник. 1903. IX. С. 341.

³³ Амфитеатров А. Эхо. М., 1913. С. 232—233.

³⁴ Русский вестник. 1903. IX. С. 343—344.

³⁵ Голос Москвы. 1913. 28 июля.

Проблемы исследования массового движения в Хорватии в 1960—1970-х годах XX века

Период конца 60 — начала 70-х годов XX в. в истории Социалистической республики Хорватии (СРХ) интересен с точки зрения ее попытки осмыслить возможность осуществления независимости в условиях авторитаризма и однопартийной системы. Нужно отметить, что данная тема отдельно в отечественной историографии еще не разрабатывалась. Однако события 1990-х годов показали, что указанный выше период истории Хорватии заслуживает самого пристального внимания. До сих пор оставалось не мало вопросов, на которые исследователи не могли ответить: о сущности массового движения; его участниках; о том, кто выступал против, а кто поддерживал движение; далее — если события имели незаконный характер, то почему сразу же не были приняты меры, чтобы их остановить; все ли участники «движения» были националистами; все ли националисты участвовали в «Маспоке»; и есть еще другие вопросы. Рассмотрим несколько основных проблем изучения массового движения в Хорватии.

Во-первых, существует проблема терминологии. Этот период истории Хорватии имеет несколько устойчивых названий. В начале 1970-х годов в документах руководящих органов Союза коммунистов Хорватии (СКХ), Союза коммунистов Югославии (СКЮ), в заявлениях И. Б. Тито события в Хорватии характеризовались как «разгул национализма». Но, такая формулировка только определяет конкретную ситуацию в стране, а не раскрывает сути явления. Позднее утвердилось понятие «массовое движение» или «Маспок»¹. Оно более четкое, но скорее указывает на масштаб события, чем раскрывает его содержание. В начале 1990-х годов стали говорить о «хорватской весне». Широкое использование этого определения началось после выхода в 1990 г. книги М. Трипало под одноименным названием*. Однако оно еще больше оторвано от реальности. Существует еще несколько определений, но они не получили широкого распространения. В национальной историографии, нередко, когда говорится о рассматриваемом периоде, добавляют «так называемый «Маспок». Это объясняется тем, что понятие в полной мере не устраивает исследователей. Долгое время считалось, что «Маспок» выражал все то, что происходило в Хорватии в 1960-70-е годы.

* *Tripalo M. Hrvatsko proljeće. Zagreb, 1990.*

Сейчас, спустя десятилетия, в свете новых данных и новых подходов к исследованию стало актуальным уточнение. Всесторонний анализ дает основание назвать процессы в Хорватии тех лет — «Национальным движением». Оно было шире и многообразнее «Маспока», насквозь пронизано национальным вопросом, темой возрождения хорватской нации, а также содержало идею расширения элементов хорватской государственности.

Другая проблема исследования определить, кто участвовал в «движении». В связи с путаницей в понятиях, раньше было сложно классифицировать его участников. Мы считаем, что название «Национальное движение» включает несколько составляющих. При этом они не существовали отдельно друг от друга, а наоборот, были тесно взаимосвязаны.

Первой составляющей является сам «Маспок». Только в середине 1980-х годов, когда в историографии закрепилось само понятие, и факт участия в движении оказался не только безопасным, но и полезным в интересах политической карьеры, многие политики стали заявлять о себе как участниках «Маспока». Но здесь возникает еще одна проблема. К «Маспоку» в 1990-е годы уже относили себя и те, кто не имел к нему никакого отношения. Его участники — представители интеллигенции, общественные и политические деятели, многие из которых занимали самые высокие посты в хорватском руководстве, те, кто выступал с программой глубоких преобразований в Хорватии, вплоть до восстановления ее полного суверенитета.

Именно они были инициаторами дискуссий по вопросам языка, культуры и истории в середине 1960-х годов, а позже приняли самое активное участие в разработке конституционных поправок (1971 г.), которые представляли собой план внесения в устройство республики элементов государственности. Участники «Маспока» из числа хорватского руководства — С. Дабчевич — Кучар, председатель ЦК СКХ, и М. Трипало выступали с резкой критикой национализма в Хорватии. При этом они пользовались поддержкой общества. Когда центральное руководство в лице И. Броз Тито возложило всю ответственность за «разгул национализма» на руководителей Хорватии и приняло решение наказать виновных, то этих людей не тронули, ограничились критикой. Современники считали, что «потребовалось бы вывести на улицы Загреба танки, чтобы арестовать их». Правда, в интересах собственной безопасности лидерам «Маспока» пришлось участвовать в расправе над неудобными и самим надолго замолчать. Вплоть до 1980 г. ни о каких демократических преобразованиях в Хорватии не могло быть и речи.

Вторая составляющая «Национального движения» — часть хорватских лидеров, которые симпатизировали национально настроенным реформа-

торам и поддерживали их. Правда, они старались не выходить за рамки партийной дозволенности. Речь идет, прежде всего, о представителях старшего поколения коммунистов, участниках войны, всецело разделявших идею «братства и единства» югославских республик. При этом В. Бакарич и его единомышленники активно отстаивали интересы Хорватии на федеральном уровне.

Именно хорватское руководство инициировало в январе 1970 г. принятие решений X съезда ЦК СКХ. На нем впервые на республиканском уровне рассматривались вопросы долгосрочного развития всей страны и будущего положения Хорватии в ней. Заявления на X съезде были достаточно смелыми, руководство республики не только претендовало на право самостоятельно решать внутренние проблемы, но также активно и независимо действовать на общесоюзном уровне. Решения этого съезда стали программным документом «Маспока», основой студенческого движения, поводом для разрастания националистических настроений в республике.

Третья составляющая «Движения» — радикальная, т. е. имеются в виду националисты, которые думали не только о реформах, но и о государственной самостоятельности республики. Данная группа открыто себя не проявила в конкретных политических действиях. У ее членов были другие задачи. Хорватские националисты разрабатывали планы по реформированию управления республикой, предусматривая внедрение в государственные и общественные органы своих единомышленников. Со страниц националистических изданий слышались призывы к осуществлению неотъемлемого права хорватов на утверждение суверенитета, вплоть до права на самоопределение и отделение. Официально не поддерживая «Маспок», они часто выступали с его критикой, но при этом использовали его национальную направленность в своих целях. Их деятельность началась раньше «Маспока». Именно националисты стояли у истоков общего «Национального движения». Еще в начале 1960-х годов националисты обращались к истории, находя в ней примеры унижения и оскорбления хорватского народа. Националисты были тесно связаны с эмигрантами, проживавшими в Европе и Америке.

Эмигрантские круги относятся к четвертой составляющей. Не случайно многие хорватские авторы называли свою эмиграцию одной из самых яростных и жестких. Эта часть «движения» была наиболее опасной, поскольку занималась конкретной антигосударственной деятельностью. Эмигранты из числа усташского движения Второй мировой войны финан-

сировали военизированные отряды. Органы безопасности республики вступили в борьбу с опасными врагами государства — многочисленными террористическими группами, деятельность которых активизировалась в начале 1970-х годов по всей Югославии. Фашистско-ушастешские организации вербовали вновь прибывших эмигрантов и готовили их для проведения террористических актов и диверсий против граждан Югославии за границей и в стране. На волне всеобщей борьбы с «Маспоком» удалось достичь больших успехов по выявлению и предотвращению террористической деятельности в Югославии.

И, наконец, пятая составляющая «Национального движения» — молодежное движение. Руководство Хорватии, особенно участники «Маспока», призывали молодые кадры к большей активности и сотрудничеству. На протяжении всего 1969 г. в республике обсуждались реформы образования, в частности вопрос предоставления большей самостоятельности университетам. Данная составляющая «движения» была наиболее радикальной, она поддержала и планы «Маспока», и лозунги националистов.

Выразителем интересов молодежи в начале 1970-х годов стал Союз молодежи Хорватии. Его руководители заявили, что все их действия согласованы с руководством СКХ и не противоречат его курсу. В августе 1971 г. был опубликован программный документ — концепция. Молодежное движение было названо «составной частью общего народного движения»². Инициатором митингов протеста выступил философский факультет университета в Загребе. Требования студентов были следующими:

- республика будет иметь право отвечать на любое действие, которое нарушит ее независимость;
- республика может участвовать в международных и экономических отношениях самостоятельно;
- использование республикой тех средств, которые на ее территории создаются;
- присутствие в командном составе Югославской Народной Арамии (ЮНА) представителей республик и краев;
- служебный язык подразделений ЮНА в Хорватии — республиканский;
- три четверти военнообязанных служат на территории своей республики;
- изменить название СФРЮ на Союз югославских социалистических самостоятельных республик;
- звучали также предложения о вступлении Хорватии в ООН.

Именно такое многообразие составляющих «Национального движения» объясняет и применение различных мер наказания за «антигосударственную деятельность»: взыскания, отставки, аресты.

Другая проблема исследования — этапы «движения». Последние годы историческая наука пополняется новыми источниками: публикуются воспоминания участников и свидетелей событий, материалы партийных съездов и других заседаний руководства, ранее недоступные исследователям. Как весьма важным и представляющим большой интерес отметим сборник документов «Генезис Маспока в Хорватии», содержащий около 500 документов³.

Значительное место в сборнике занимают документы официального характера. Прежде всего это стенограммы заседаний руководства высших государственных и партийных органов: Центрального комитета Союза коммунистов Хорватии, Центрального комитета Союза коммунистов Югославии, их президиумов, в том числе и судьбоносное XXI заседание СКЮ в Караджорджеве при участии И. Б. Тито (декабрь 1971 г.)⁴; встреч партийных руководителей в рамках решения вопроса о «деле Жанко» (в сборнике выступления: М. Трипало — члена президиума СФРЮ, члена президиума СКЮ, С. Дабчевич-Кучар — председателя центрального комитета СКХ, П. Пиркера — члена исполнительного комитета ЦК); заседаний республиканского политического актива. К этому же типу источников относятся регулярные доклады Исполнительного комитета ЦК СКХ, готовившего отчеты о положении в республике, о деятельности Матицы Хорватской и других националистических проявлениях.

В «Генезис...» вошли также источники мемуарного характера, а именно воспоминания. Они опубликованы не в полном объеме, но выдержки из них представляют интерес. Большую их часть составляют воспоминания участников студенческих волнений 1970-х годов, а также отдельных членов руководства республики. Например, опубликованы в сборнике воспоминания С. Доланца, секретаря Исполнительного комитета Президиума ЦК СКЮ, который был свидетелем вышеупомянутого заседания хорватского руководства в Караджорджеве⁵. Отметим также фрагменты из книги Д. Марковича «Жизнь и политика»⁶, в которой он дает свою оценку действиям партийного руководства Хорватии. Из воспоминаний о студенческих волнениях наиболее интересно интервью Чичака Ивана Звонимира. В декабре 1970 г. он был избран проректором университетов Загреба, Осиека, Сплита, Риеки, Задара и Дубровника. Это первый случай, когда на место прорек-

тора был выдвинут кандидат из студенческой среды. Так как этот человек оказался в центре событий, происходивших в 1970-е годы в университетах Югославии, его воспоминания заслуживают внимания исследователей.

Интересный источник по истории Хорватии начала 1960-х годов — сборник документов «Югославия в Хорватии»⁷, в котором подробно описано расширенное заседание Комиссии ЦК СКХ по истории. Документы показывают, что в федеральном руководстве не было общего взгляда на многие жизненно важные вопросы развития страны. Не было единства и в руководстве республик.

Новые источники помогают более подробно посмотреть на сложную и неоднозначную картину политического развития Югославии 1960-70-х годов, начало важных процессов в общественной и политической жизни республики Хорватии стало возможным исследовать в более широких временных рамках, а именно, с конца 1963 г., а не с 1967 г., как это делалось раньше. В результате в хронологии развития массового движения в Хорватии теперь можно выделить следующие этапы:

1. 1963—1964 годы — это время дискуссий в партийном руководстве республики по различным проблемам истории Хорватии, которые постепенно трансформировались в полемику по таким политическим вопросам как: роль и место хорватского народа в Югославии, решение национального вопроса. В конце 1963 — начале 1964 г. состоялось расширенное заседание ЦК СКХ по истории страны. С просьбой о ее проведении обратился ЦК СКЮ, чтобы представить замечания ко второму изданию «Очерков истории Союза коммунистов Югославии». В заседании приняли участия самые влиятельные и уважаемые представители партии: Владимир Бакарнич, председатель Сабора Народной Республики Хорватии, Анка Берус, член Исполнительного веча Союзной Народной Скупщины и др. На повестку дня было поставлено несколько вопросов: история межвоенного периода, участие в народно-освободительной борьбе и, неожиданно — по инициативе Института истории рабочего движения, который с 1961 г. возглавлял Ф. Туджман — национальный вопрос.

2. 1967—1968 годы — период, когда проблемы хорватской истории вышли за рамки научных кабинетов и оказались в центре внимания правительственных структур, культурных и общественных организаций.

3. В 1969—1970 годах — требования оппозиционно настроенных общественных и политических деятелей стали более радикальными. Начинаются студенческие демонстрации.

4. 1971—1974 годы — это период, когда вопрос о массовом движении рассматривается на общепартийном и общегосударственном уровне, поскольку оно стало угрожать целостности государства. Окончание «движения» связывается с принятием новой Конституции СФРЮ 1974 г.

В начале XXI в. с появлением новых исторических свидетельств исследователи получили возможность подняться на новый уровень изучения событий в Хорватии 1960 — начале 1970-х годов. «Национальное движение» рассматривается как важный этап в истории Хорватии на пути достижения независимости. На основе всестороннего анализа событий можно утверждать, что «движение» не был каким-то организованным мероприятием с планом действий и программой. Имели место несколько ключевых событий, но они представляют собой результат длительного процесса. В целом «движение» было массовым, но весьма неоднородным. Его массовость заключалась, прежде всего, в том, что постепенно, год от года, стремление к коренным переменам охватывало все большие группы населения. К началу 1970-х годов такими настроениями была пронизана значительная часть хорватского общества во главе с руководством республики.

В этот период разрабатывались и оттачивались методы и подходы к решению вопроса хорватской государственности. Участие в «движении» стало хорошей школой для тех, кто пришел к власти в республике в 1990-е годы. В стране сформировалось определенное общественное сознание, которое стало плодотворной почвой для становления хорватской государственности. Многие политики в Хорватии строили дальнейшую карьеру, опираясь на популярность 1960—1970-х годов. Вместе с тем, движение выявило и серьезные проблемы, особенно в плане межнациональных отношений. Не принимая во внимание вышеописанные события, невозможно понять логику событий 1990-х годов в Югославии.

Примечания

1. В переводе с хорватского языка (*Masovni pokret*) — массовое движение.

2 *Geneza maspoka u Hrvatskoj / Urednici: Kesar J., Bilbija P., Stefanović N.* — Beograd, 1990, S. 638.

³ Ibid.

⁴ *Geneza maspoka u Hrvatskoj ...* S. 825—855.

⁵ Ibid. S.1183—1184.

⁶ Ibid. S.1184—1185.

⁷ *Jugoslavija u Hrvatskoj / priredivač Babič G.* — Beograd, 2000.

Уроки балканского кризиса для Европы и России

I

Кризис на территории бывшей Югославии длится уже 13-й год. В него втянуты не только бывшие республики СФРЮ, но и международные организации разного уровня и калибра. На балканском театре были задействованы огромные силы — гражданские, военные, политические и экономические. Для этого пространства были созданы даже специальные новые организации такие, как Арбитражная комиссия, Контактная группа, Международный трибунал по бывшей Югославии и др. Некоторые из них создавались в спешке и носят сомнительный правовой статус. Кризис проходил несколько этапов и давно перестал быть гражданским и межнациональным внутренним конфликтом многонациональной федерации. Он дал нам примеры как эффективного, так и неэффективного миротворчества, т. е. деятельности международных организаций в несвойственной им функции арбитров и судий многосторонних межнациональных конфликтов. Извлекать уроки из кризиса будут многие поколения историков и политиков.

Сегодня же нам важно посмотреть на кризис с точки зрения его последствий для европейского мироустройства и миропорядка, для будущего взаимоотношения международных структур и отдельных государств, для возможности выживания еще оставшихся на планете многонациональных государств. Проанализировать ситуацию в этом регионе важно потому, что Балканы стали местом отработки взаимодействия центров власти, новой методики, применяемой для урегулирования конфликтов и нового взаимоотношения международных организаций и многонациональных государств.

Обратим ваше внимание только на **некоторые итоги кризиса** на пост-югославском пространстве с точки зрения деятельности международных организаций и системы европейской безопасности:

- впервые введен в действие механизм, когда создание независимого государства, пожелавшего выйти из многонациональной федерации, регулируется не нормами международного права или конституцией федерации, а решением группы людей или политических лидеров отдельных стран, обладающих политической мощью; тем самым создан прецедент неурегулированного выхода из федерации отдельных ее частей;

- изменена суть миротворческой концепции ООН, осуществился переход к применению силы для наказания непослушной или несговорчивой стороны конфликта (Босния и Герцеговина (БиГ), Косово и Метохия, Югославия);

- впервые использованы военные меры или при разрешении конфликтов, или для навязывании своего видения внутреннего устройства той или иной страны;

- узаконена самостоятельная роль НАТО в урегулировании международных конфликтов. Происходило это именно на Балканах, постепенно. Сначала НАТО появилась как элемент миротворческих операций, затем стала действовать как самостоятельный фактор под флагом миротворчества, а потом уже без этого флага и без одобрения ООН;

- использован механизм международных организаций для смены неудобных политических лидеров и изменения политического строя страны (БиГ, РС, Югославия);

- на Балканах осуществлялась политика двойных стандартов по отношению к конфликтующим сторонам, когда миротворческие организации и НАТО открыто устранились от объективного подхода к конфликтующим сторонам;

- изменена система равновесия сил, построенная в послевоенные годы; в международных отношениях закрепилось возрастание права и закона силы, которые проистекают из главенствующей роли только одной державы в мировом международном процессе. Ни одно государство не смогло или не захотело сыграть роль контрбаланса при осуществлении политики двойных стандартов.

Следует подчеркнуть, что югославский конфликт можно было остановить на любой стадии его развития — и до того, как он стал кризисом, и после, и даже сейчас. Однако этого не произошло. Наоборот, он начал разрастаться с момента его интернационализации. При поддержке международных организаций произошел распад многонациональной федерации, и ее дробление продолжается и сейчас. В результате самыми пострадавшими оказались православные народы — сербы в Хорватии, сербы в БиГ, сербы в Косове, македонцы.

Исследование балканского кризиса показывает, что Югославия стала полигоном отработки различной **методики**, которая в конечном итоге должна способствовать осуществлению одной задачи — созданию *системы управляемости миром* из одного центра. Такая методика позже стала применяться и в других странах.

Стержнем является метод «принуждения к миру» или «принуждения к принятию решения». Он почти полностью исключает переговорный процесс, а использует целую систему принудительных мер.

Но ведь переговоры велись, скажите вы, и долго. Конечно, однако весь переговорный процесс под эгидой ООН и ЕС в 1992—1994 гг. потерпел полный крах. Лишь то, что предшествовало ему — *ускоренное признание субъектов федерации* в качестве независимых государств в 1991 г. можно отметить как определенное достижение, которое разрушило незыблемое право неприкосновенности международно признанных границ.

А успех имел только Дейтон (1995), методика которого применялась в Рамбуйе (1999). Сутью этой методики стало ультимативное принуждение к подписанию условий договора, в составлении которого не участвовали стороны конфликта. Для принуждения к принятию решения разработана система приемов: предложение сторонам готовых вариантов, невозможность вносить поправки, изолирование делегаций, создание переговорного процесса утомительным при его ограниченных сроках, «уламывание» делегаций, исключение доступа делегации, от которой ждут уступок, к информации, предоставление информации по документам в сокращенном или строго дозированной виде, жесткое регламентирование всего процесса выполнения договора.

На Балканах главным методом принуждения к миру стало не согласование позиций, а *ультиматум*. Если ультиматум отвергался, то применялись жесткие методы воздействия — введение всесторонних санкций (Югославия), политическая изоляция (Республика Сербская в БиГ во второй половине 1994 г.), отдельные бомбовые удары с воздуха (Республика Сербская в БиГ в 1994 г.), массированные бомбовые удары продолжительностью до двух недель (Республика Сербская в БиГ в 1995 г.), агрессия на суверенное государство (Югославия, 1999 г.). НАТО стало инструментом осуществления такой политики. После завершения военной операции НАТО на Балканах продолжена попытка поставить под контроль Альянса всю территорию Югославии.

Агрессия стран НАТО против СРЮ в марте—июне 1999 г. обозначила переход к следующей фазе строительства системы *управляемости миром* — показ на деле возможности силового варианта решения проблем, апробация права применять силу против других государств без санкций ООН, реакции всех европейских структур.

На Балканах прекрасно отработана и методика *управляемого информационного обеспечения*. Каждый шаг НАТО имел информационное при-

крытие. Для этого подбирали соответствующую терминологию, обеспечивали «прикрытие» концепцией, что должно было убеждать в необходимости лидирующей роли НАТО в системе европейской безопасности. Для этого использовались следующие приемы: построение целой системы «международной озабоченности» какой-либо проблемой внутри страны; информационная обработка общественного мнения — представление картины нарушения прав человека, гуманитарных проблем, создание образа виновного; использование демократической фразеологии для объяснения своих действий, что условно можно было бы назвать усыплением бдительности. Сначала благонамеренные заявления, а затем противоречащие им поступки (заявления о целостности СФРЮ, целостности СРЮ, равной ответственности сторон в конфликте и т. д.). Штапом для начала акции всегда являлось «попрание демократии».

Балканы после Дейтона показывают *разные варианты решения посткризисного пространства*. На Балканах — это варианты *протектората* при «ограничении территориального и политического суверенитета»:

Босния и Герцеговина — протекторат с неограниченными полномочиям, которыми пользуются Высокие представители, и жесткой военной структурой поддержания мира. Население и международная надстройка существуют параллельно, а их взаимоотношения развиваются по схеме: получи указание — выполни. Не выполнил — накажем. Высокие представители смещают избранных на выборах парламентариев, даже президента, навязывают политические решения, полностью контролируют СМИ, систему образования, армию, активно вмешиваются в выборы, контролируют избирательные законы. Постоянное сужение демократического пространства в БиГ стало нормой жизни. Сложившаяся в БиГ система протектората, на наш взгляд, мешает, тормозит дальнейшее развитие БиГ по пути демократии и свободы, которые сегодня имеют на этом пространстве усеченный, урезанный облик. А урезанная демократия — не демократия.

Косово является другим вариантом протектората. Это пример установления независимого правопорядка на отдельно взятой территории федерации без согласия руководства страны с применением силы, после чего до независимости этой территории остается только один шаг. В Косове это выглядит как «временный контроль» над частью территории суверенного государства и прекращение действия на ней законов центральной власти. Например, Бернар Кушнер принял около 20 постановлений, которые противоречат резолюции 1244 СБ и направлены на вытеснение федеральных властей из законодательного поля автономного края. Тем самым

Косово приближается к самостоятельности вопреки всем заверениям международных организаций.

Македония. В этом государстве мы имеем «условный протекторат», когда государство формально независимо, но ограничено в принятии самостоятельных решений. Это особенно проявилось при решении внутривнутриполитического межнационального албанско-македонского конфликта. Возникшая в стране «албанская проблема» решается с помощью международных организаций и НАТО таким способом, что это может привести к разделу территории.

Югославия (Сербия и Черногория) являет собой пример того, как сломленная страна полностью лишается своего суверенитета даже в вопросе развития государственности. Хавьер Солана одним росчерком пера заставил руководителей двух республик признать факт прекращения существования такого государства, как Югославия. Взаимоотношения между центром (Сербия) и ее автономным краем (КиМ) решаются не в пользу центра.

Общим итогом деятельности международных организаций, особенно НАТО, на посткризисных территориях, является то, что они не могут решить главных вопросов — возвращения беженцев, налаживания демократических процессов, оздоровления хозяйственной жизни, примирения ранее конфликтовавших сторон, самостоятельного выбора пути. Последнее на Балканах почти полностью исключается. Деятельность НАТО в БиГ и Косове убеждает нас в том, что иностранное присутствие не может решить вопрос межнационального разъединения, не может осуществлять политическое и экономическое выздоровление страны, не может стать силой прогресса просто в силу своих задач и целей.

II

Кризис на Балканах не завершен. Сегодня он концентрируется в так называемом албанском вопросе на территории бывшей Югославии. Продолжающееся сепаратистское албанское движение ведет к дальнейшему дроблению Балкан на мини моноэтнические государства, что не просто тормозит, а останавливает процесс интеграции, продолжает начатый сепаратистами процесс ревизии границ вопреки Хельсинскому акту.

Чтобы понять специфику упомянутых событий на Балканах, следует знать две вещи.

Первое — осуществляется очередной этап борьбы албанского народа за так называемое национальное освобождение, который предполагает вклю-

чение в этот процесс албанцев, проживающих и на территории КиМ, и Македонии, и Черногории, а затем объединение всех этих земель с Албанией. Сепаратистская деятельность радикально настроенной части албанцев в Автономном крае Косова в рамках ФНРЮ (СФРЮ) началась сразу после Второй мировой войны и не прекращалась ни на один день. Объединение с Албанией оставалось их главной целью. Они шли к этой цели все годы, шли упорно и настойчиво. Менялись средства и тактика, но цель была неизменной, и она не зависела от статуса края в республике, от количества вкладываемых в его развитие денег, от уровня межнациональных отношений в федерации. Действовали по этапам: пропаганда национализма — в пятидесятые, демонстрации и провокации — в шестидесятые, вооруженная борьба — в семидесятые, восстание — в начале восьмидесятых. К началу 90-х годов албанские экстремисты собственными силами достигли многого — свели сербское население всего к 9%, создали параллельную, независимую от Сербии, систему краевого управления и образования; установили тесные контакты с Албанией; организовали работу по покупке, транспортировке и складированию оружия как в Косове, так и в районах с преимущественно албанским населением на территории Македонии, Черногории и юге Сербии, по обучению добровольцев и налаживанию каналов связи, по созданию военизированных формирований. Важным было также привлечь внимание мировой общественности и международных организаций к «проблеме Косова». С этой задачей они справились успешно. В конце девяностых албанцы Косова поднялись уже на войну за независимость.

Второе — присутствие натовцев в Косове после июня 1999 г. создало просто тепличные условия для процветания албанского экстремизма, поскольку они не замечали убийств сербов, разрушения памятников православной культуры, фактически поощряя создание этнически чистого албанского края. Вспомним, как «миротворцы» не смогли разоружить так называемую Освободительную армию Косова (ОАК), как уменьшили сербскую территорию, создав 5-километровую буферную зону не со стороны Косова, а со стороны Сербии, включив в нее районы с преимущественно албанским населением, как стремились как можно скорее создать местную администрацию, не связанную никакими обязательствами с федерацией или Сербией, провести выборы местных органов власти, как открыли границу Косова с Албанией и Македонией для свободного передвижения людских потоков, а, возможно, и оружия. Это не могло не взрастить у албанцев чувства безнаказанности.

Выбрав благоприятный политический момент, экстремисты развернули по косовскому сценарию военный бунт на территории Македонии, где живут большинство албанцев. И неверно считать это делом рук группы албанцев из Косова, проникших на соседнюю территорию. Экстремистское крыло албанского политического спектра давно готовилось к такому повороту событий — создавали политические партии, провозгласили республику «Илирида», создали систему подпольного образования, готовили вооруженные отряды, окутывали националистической пропагандой всех албанцев республики. Следует подчеркнуть, что албанское общество в Македонии неоднородно. Большая его часть — мирные и лояльные власти жители, не желающие брать в руки оружие. Но против них применялась и продолжает применяться методика запугивания, угроз и насилия со стороны экстремистов (как и в Косове). Албанская молодежь легко откликается на националистические призывы, так как социально не защищена, как правило, не имеет работы, живет бедно. Они выходят на митинги, пополняют собой отряды боевиков.

В течение первого года присутствия сил НАТО в крае ситуацию в Косове и Метохии характеризовали повседневный террор, преступления, массовые нарушения прав человека и этническая чистка сербов, мусульман, цыган, горанцев, турок, египтян. Так называемая ОАК и другие вооруженные албанские банды не были ни демилитаризованы, ни разоружены, ни расформированы. Позже многие из них вошли в Косовский защитный корпус, созданный при поддержке международных организаций. За год присутствия миротворцев в Косове совершено 5 тыс. терактов, более чем 1 тыс. человек убиты и более 960 похищены и взяты в заложники, разрушены более 85 средневековых религиозных объектов и памятников истории и культуры, 350 тыс. неалбанского населения покинули край; государственную границу СРЮ пересекли и прибыли в край более 250 тыс. иностранцев, преимущественно граждан Албании и Македонии.

Те, кто побывал в Косове, никогда не забудут сожженные сербские деревни, руины православных церквей, фактические гетто для оставшихся сербов и устоявших монастырей. У сербов, которые живут в окружении албанского населения и не хотят покидать свои очаги, нет свободы передвижения. Во многих анклавах нет света и воды, не восстановлены школы и общественные здания. Всего после агрессии НАТО албанцы, в том числе и с помощью международных организаций, построили 40 тыс. домов, а сербы — только 40. В церкви, магазины за продуктами, в школы сербы вынуждены ехать в сопровождении солдат международных сил. Таких не-

больших сербских очагов в Косове немного — всего около 17. О тех людях в гетто почти не вспоминают.

С января 1998 по ноябрь 2001 г. в крае были убиты или пропали 3 276 сербов и других граждан-неалбанцев. Практика надругательства и уничтожения православных святынь носила массовый и постоянный характер, напоминая спланированные карательные акции. Они не только не прекратились после ввода в Косово сил КФОР, но и усилились. По официальной статистике Комиссии по охране памятников Сербии, на территории Косова и Метохии сильно повреждено или полностью разрушено более 200 православных исторических и культурных объектов, большинство из которых имеет мировое культурное значение.

После окончательного распада Югославии на Сербию и Черногорию (февраль 2003 г.) для албанцев настал благоприятный момент возобновить решительные действия по отделению Косова от Сербии. И теперь начала «работать» формулировка, заложенная в резолюции 1244, согласно которой Косово — автономия в составе Югославии: Югославии нет, пора определять статус края. Албанцы — за полную независимость. Голоса сербов, выступающих за автономию Косова и Метохии в составе Сербии, практически не слышны. Руководители международного гражданского присутствия в Косове приняли ряд решений, по существу, направленных на создание государственности этой автономной территории, на вытеснение федеральных властей из законодательного поля края. Не было обеспечено возобновление деятельности в Косове сербских военнослужащих и полиции, как это предусматривалось резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН.

В обострившейся вновь ситуации поднимает голову военная составляющая албанского движения за независимость. В феврале этого года о своем переходе из партизанской фазы борьбы к состоянию боевой готовности, которая ведет к открытой войне, заявила *Албанская национальная армия (АНА)* и ее командующий генерал Виган Градица. АНА — главная сила объединенного национального фронта, выступающего за объединение всех албанских земель. Официально АНА возникла в 2001 г. в Македонии, когда объединились албанские боевики из Косова, Македонии и с Юга Сербии с целью создания стабильной армии, готовой защищать идею Великой Албании. Депутаты-албанцы парламента Косова потребовали признать войну Освободительной армии Косова в 1998—1999 гг. справедливой и освободительной, частью «вековой борьбы косовских граждан за свободу и независимость». Албанцы боятся возвращения сербов в край, называют этот процесс «колонизацией Косова», разрабатывают контрмеры и призывают

население широко их применять. Среди них — контролировать сербские села вдоль границы с Сербией, пытаться разрушить все их коммуникационные связи с Сербией (телефонные линии и линии электропередач), противодействовать строительству и восстановлению сербских домов («албанцы имеют моральное право их разрушить»), постоянно держать «колонизаторов» под прицелом, ускорить покупку сербских земель в смешанных селах.

Край уже давно известен как центр вербовки террористов, база организованной международной преступности, контрабанды наркотиков, оружия, работорговли и отмывания денег. По сообщениям прессы, албанский наркокартель «Камила», специализирующийся на героине, входит в пятерку самых сильных мафий в мире. Годовая прибыль от грязных дел мафии составляет около 500 миллионов евро.

Если движение экстремизма не остановить, то македонцам, а за ними и черногорцам придется распрощаться с частью территории, а Европе думать над тем, как поставить вопрос о пересмотре границ и как признать новое увеличенное государство Албанию или увеличенное самостоятельное Косово.

Кто сможет остановить разгорающийся очередной очаг? Как всегда, мы многое упустили, над многим не задумывались, многое проглядели. Поэтому единичные и разрозненные действия сегодня априори будут безрезультатными. Только объединенные усилия всех европейских и балканских структур и государств смогут обуздать расширяющиеся метастазы албанского экстремизма, и только отсутствие какой-либо поддержки извне заставит албанцев прекратить борьбу.

III

Если же говорить о том, что может Европа сделать в нынешних условиях, то очевидно, что многие шансы упущены. Однако следует выработать ряд принципов, которые должны способствовать стабильности Европы. Например:

1. Диалог должен стать единственным условием разрешения возникающих противоречий и конфликтов.
2. Следует противостоять складывающейся практике разрушения суверенитета силой, с помощью или при поддержке международных организаций.
3. Необходимо продолжить работу по активизации европейского механизма (ЕС, ОБСЕ, и т. д.) в решении европейских кризисных очагов.

Что касается непосредственно Балкан, то следует:

1. Не допустить дальнейшего расчленения Сербии, Черногории и Македонии при решении «албанских» проблем.

2. Подумать о создании Международной Конференции по анализу факторов дестабилизации ситуации на юге Европы.

3. Перевести рассмотрение проблемы Косова и Метохии в плоскость международного права, например, создать международную юридическую экспертизу по статусу и правовому положению Косова в Сербии, албанцев в Македонии, а также государственного образования Сербии и Черногории.

4. Сегодня важной проблемой для всех стран Балкан является проблема безопасности и политической стабильности как предусловие всех остальных интеграций. Но решать все свои проблемы Балканы должны самостоятельно, без вмешательства извне. Например, можно проводить ежегодные, или чаще, Балканские форумы (балканская семерка, восьмерка...), на которых выработать и стратегические вопросы, и решать жгучие текущие проблемы, разрабатывать тактику силами руководителей балканских государств.

Таких проблем накопилось много. Только сообща можно предотвратить и распространение наркотиков, и проблему преступности, и мафиозности, и расширения сепаратизма и экстремизма. Именно балканские страны сами могут решить проблемы таможен, границ, торговых пошлин, инвестиций и т. д., создать условия для всесторонней торговли.

И только объединение усилий людей доброй воли, их активная позиция является условием того, что мы будем жить в мирной и стабильной Европе.

Словенская Каринтия в югославско-австрийском территориальном споре 40-х годов XX века

По Сен-Жерменскому договору 1919 г. большая часть Каринтии, являвшейся исторической территорией словенцев, составила одну из земель Австрии, Канальская долина отошла к Италии, в районе Клагенфурта в 1920 г. был проведен плебисцит, закончившийся в пользу Австрии. В конце Второй мировой войны Югославия выдвинула претензии на Словенскую Каринтию (180 тыс. человек) и пограничные районы Штирии (10 тыс. человек) общей площадью 2,6 тыс. кв. км, которые должны были быть «воссоединены со Словенией»¹.

Важной предпосылкой в решении этого спора была советская позиция по аншлюсу Австрии, который получил резкую оценку как насильственное лишение австрийского народа его независимости. Однако в период советско-германского сближения проблема потерялась. Одним из следствий аншлюса стало возникновение германо-югославской границы. Немецкое землячество в Югославии (4,3% населения) давно требовало присоединения к Германии Штирии и Каринтии. Акции немецкого меньшинства особенно усилились с конца 1939 г., когда Гитлер призвал «освободить Штирию и Южную Каринтию». В беседах с венгерским посланником в Берлине Д. Стояи 27 марта и 4 апреля 1941 г. он уверял, что «лишь присоединит небольшие территории к Каринтии и Штирии, которые раньше входили в состав этих провинций»².

После разгрома Югославии в апреле 1941 г. Германия аннексировала Северную Каринтию, Штирию и Крайну. Здесь был запрещен словенский язык, а в 1942 г. даже разработан план переселения всех словенцев. С выходом Италии из войны аннексированная ею южная Словения (Люблянская покраина) также была оккупирована Германией. Стали вынашиваться планы установления немецкого протектората над объединенной Словенией, создания отдельного имперского округа — «гау Словения»³.

С началом советско-германской войны СССР вновь сформулировал свою позицию о будущем Австрии. На переговорах в Москве с главой Форин офис А. Иденом 16 декабря 1941 г. Сталин, предложив общую схему реорганизации европейских границ после войны, заявил, что Австрия должна отделиться от Германии в виде независимого государства. Что касалось Югославии, то в этой схеме она «должна быть восстановлена в

своих старых границах и несколько расширена за счет Италии (Триест, Фиуме, острова в Адриатическом море)». В июле 1943 г. Лондон разработал доклад о послевоенном устройстве Юго-Восточной Европы, в центре которого был план решения австрийского вопроса. В перечне проблем для разработки созданной в сентябре Комиссии по послевоенному устройству при НКВД СССР (Комиссия Литвинова), кратко значилось: «Границы Австрии». В подготовленном Комиссией документе — «Обращение с Германией» — от 9 октября 1943 г. уже отмечалось, что Австрия «имеет основание для притязаний на прирезку небольшой части германской территории» (район Пассау и Берхтесгадена); что «можно было бы тоже вернуть Австрии отнятый у нее Италией Южный Тироль»⁴. Ни о каком территориальном ущербе для Австрии в документе не было и речи.

В московской Декларации об Австрии (октябрь 1943 г.) навязанное ей присоединение к Германии объявлялось несуществующим и недействительным. Союзники же, опасаясь, что Красная Армия вступит в Австрию первой, уже в декабре 1943 г. обсуждали планы продвижения туда своих войск через Триест и Люблян.

Комиссией по вопросам перемирия при НКВД (Комиссия Ворошилова) неоднократно рассматривался вопрос о зонах оккупации Австрии. В апреле 1944 г. было высказано мнение, что советская зона должна граничить и с Югославией, и с Чехословакией. В записке Ворошилова Сталину от 12 июня сообщалось, что в основу разграничения зон положен не территориальный признак, а численность населения и размещение промышленности⁵. Это было лишь начало борьбы за выгодную дислокацию на территории Австрии.

На Крымской конференции (февраль 1945 г.) вопрос об австро-югославской границе был поднят А. Иденом. В британских предложениях было обращено внимание на то, что хотя югославское правительство «пока и не просило о каком-либо изменении штирийского участка этой границы, (оно. — А. С.) предъявило претензии на Клагенфурт и на те части Каринтии, которые ему не удалось получить по плебисциту». В связи с этим, допускались меры «для оказания сопротивления усилиям югославам в отстаивании своих претензий» и даже для обеспечения эвакуации югославских партизан, которые «в ходе операций могут значительно углубиться в Каринтию и установить над ней контроль». Однако инициативы Идена не рассматривались, так как из-за советской позиции не имели шансов быть принятыми⁶.

В документе НКВД от 29 марта 1945 г. высказывалось согласие с британским проектом раздела Австрии на четыре зоны оккупации. Однако

лишь при условии, что СССР будет отведена южная зона со всей Штирией и Каринтией. Пребывание здесь советских войск, как считалось в Москве, «еще больше укрепит наше влияние в этой части Балканского полуострова и автоматически снимет тот волнующий англичан уже теперь вопрос о территориальных претензиях Югославии к Австрии». Это также позволяло обеспечить югославам «более реальные шансы получить небольшую зону на юге Австрии, либо, в крайнем случае, принять участие в оккупации...»⁷

30 марта 1945 г. советские войска вступили в Австрию. В послании ее канцлеру К. Реннеру от 12 мая Сталин заявил, что забота главы кабинета о независимости и целостности государства «является также моей заботой»⁸.

Советский лидер имел в виду и обязательства Москвы перед союзниками в вопросе о территориальной целостности Австрии.

Важным обстоятельством, влиявшим на территориальные противоречия, была антифашистская борьба в регионе. Уже на ранних ее этапах определилось не только стремление руководства Коммунистической партии Югославии (КПЮ) к воспроизведению советского строя, но и тенденция к возврату славянских земель, не вошедших в состав Королевства СХС. Более того, в новейших исследованиях утверждается, что КПЮ стремилась начать внедрение советской модели именно с предъявления территориальных претензий почти ко всем своим соседям. Попытки опереться в этом на Москву вызывали противодействие последней⁹.

В июле 1942 г. в Словенской Коружке появились первые комитеты Словенского освободительного фронта, а в ноябре сюда была заброшена группа из 11 югославских партизан, быстро разросшаяся до батальона. Весной 1943 г. в записках Г. Димитрова в агитпроп ЦК ВКП(б) неоднократно говорилось о бурном народно-освободительном движении в крае. Каринтийские партизаны (более 3,5 тыс. человек) вошли в состав югославской армии. К концу 1943 г. партизанские отряды Штирии, Южной Каринтии и Зальцкаммергута примкнули к Австрийскому фронту свободы, возникшему осенью под Трофайяхом¹⁰. Каринтия стала единственной областью Австрии, где велась открытая вооруженная борьба с фашизмом.

И. Броз Тито в письме Молотову от 5 июля 1944 г. с тревогой отмечал, что «уже сейчас мы встречаем трудности с соседними странами...» Споры из-за Эгейской Македонии пришлось сглаживать заявлением, что «в настоящее время вообще не ставится вопрос границ или присоединения». «Разумеется, — писал Тито, — что вопрос границ и самоопределения отдельных национальных меньшинств в приграничных зонах будет тем больше назревать, чем ближе окончание войны. Поэтому будет необходимо произвес-

ти все приготовления, чтобы эти запутанные проблемы решились на мирной конференции как можно легче и благоприятнее». Однако ряд югославских «приготовлений» расходился с интересами СССР и подвергся корректировке¹¹.

Глава делегации Югославии, прибывшей в Москву, А. Хебранг на встрече со Сталиным 9 января 1945 г. заявил о намерении Белграда участвовать в оккупации «отдельных германских районов» и сформулировал территориальные претензии к Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, Италии и Австрии, поставив вопрос и о присоединении части Корушской области. Сталин в ходе беседы не раз повторял: «Необходимо, чтобы сами эти области требовали своего присоединения к Югославии». После встречи Хебранг телеграфировал Тито: «По многим политическим вопросам их мнение отличается от нашего... Надо избегать больших требований к соседним странам, чтобы не вызвать их негативного отношения или столкновения с нами»¹².

9 марта 1945 г. была обнародована Декларация югославского правительства. В ней выдвигалась задача, чтобы «наши национальные территории, оставшиеся после Первой мировой войны вне границ нашего государства, были присоединены, тем более... они фактически уже присоединились и определились за демократическую федеративную Югославию». Аргументировалась эта задача в первую очередь тем, что именно на этих территориях славянские народы своей вооруженной борьбой «оказали большие услуги общему делу объединенных наций». Территориальные претензии Югославии на встрече с Молотовым 6 апреля изложил и югославский министр иностранных дел И. Шубашич. Они «исчерпывались» Истрией и пограничными районами Австрии и Венгрии. Министр полагал, что если «в ходе нынешней войны югославские войска займут Истрию, то в этом случае для Югославии будет легче разрешить вопрос об исправлении своих границ с Италией»¹³. Такая позиция могла стать основой и для решения пограничного спора с Австрией.

Территориальные притязания Югославии к Австрии были тесно связаны с возможностью ее участия в оккупации страны. В югославской ноте союзникам от 2 апреля ставился вопрос о получении особой зоны вдоль австро-югославской границы, «включая, в частности, провинцию Корушка». 19 апреля Москва согласилась на ввод югославской армии в ту зону Австрии, которая будет оккупирована советскими войсками. Это подкрепило уверенность Тито, как следует из протокола заседаний политбюро ЦК КПЮ 23 апреля, что «наши части оккупируют часть Австрии», подбиралась кандидатура комендантов городов «для Истрии, Триеста, Корушки

и австрийских районов». Белград детально уточнил географические параметры своего сектора внутри советской зоны¹⁵.

15 мая 1945 г. Тито издал приказ штабу 3-й армии об участии в оккупации указанного района, а командующий 3-м Украинским фронтом Ф. И. Толбухин получил директиву Ставки о дислокации югославских частей южнее и юго-западнее Граца. Союзники высказались против югославского присутствия на австрийской территории. В послании фельдмаршала Г. Александра от 11 мая и в британской ноте югославам от 12 мая содержалось требование неотложного вывода всех их войск из районов вдоль австро-югославской границы, отошедших к британской зоне. Югославским частям пришлось их покинуть. Более того, 14 мая в НКВД поступило письмо английского правительства с возражениями против присутствия югославских войск в Австрии и в советской зоне оккупации. В письме А. Я. Вышинского британскому послу А. Кларку Керру от 31 мая эти возражения были отклонены. Однако 4 июля в Лондоне было подписано Соглашение о союзническом контроле над Австрией, изменившее границы оккупационных зон. Район советской зоны вдоль австрийско-югославской границы был включен в британскую зону, как и вся Каринтия и Штирия. Югославские войска должны были окончательно покинуть австрийскую территорию¹⁶.

Однако югославы продолжали упорствовать. Тито на встрече с советским послом в Белграде А. И. Лаврентьевым 22 апреля 1946 г. вновь поднял вопрос о территориальных претензиях к соседним странам, в том числе и о Каринтии. Он считал, что данное требование неоспоримо с точки зрения этнического принципа, и настаивал на его удовлетворении¹⁷.

Между тем геополитическое размежевание в Центральной Европе углублялось. И советское присутствие в Австрии становилось нежелательным для Запада. СССР, как следовало из бесед Молотова и Вышинского с госсекретарем США Д. Бирнсом 28 апреля и 5 мая 1946 г., акцентировал необходимость очищения Австрии от фашистских влияний, для чего СССР будет «держат свои войска в Австрии, пока он имеет на то право». Москва оттягивала решение австрийского вопроса на сессиях Совета министров иностранных дел (СМИД). Советское руководство понимало, что основной целью США было добиться вывода советских войск из Австрии и лишить СССР оснований иметь свои войска в соседних с Австрией странах под предлогом поддержания коммуникаций¹⁸. Позитивное решение югославских претензий на Корушку выглядело все более призрачным.

Ожесточенная дискуссия разгорелась на IV сессии СМИД (Москва, март—апрель 1947 г.). При обсуждении договора об Австрии выступил

Э. Кардель, вновь потребовав присоединения Словенской Каринтии, где англо-американские оккупационные власти создали специальную Шперзоне с режимом, отнявшим у словенцев все демократические права. Он указал, что пограничные области в Штирии (Радгона, Лучан, Сobotы) также заселены словенцами и тяготеют к Югославии. Радгона в первом проекте мирного договора с Австрией 1919 г. уже признавалась за Королевством СХС и лишь в качестве уступки Италии была передана Австрии¹⁹.

Контраргументы были обобщены в австрийском меморандуме по каринтийскому вопросу и повторены в выступлении министра иностранных дел К. Грубера. Они гласили, что граница 1920 г. установлена свободным плебисцитом; абсурдно дробить географическое и экономическое единство Каринтии; географические, этнические и экономические факторы говорят не в пользу претензий Югославии, поэтому она придает им политическую окраску; в полиэтничных странах важно не этническое происхождение, а самоидентификация; австрийское население этнографически смешанное, и если каждый из соседей, основываясь на исторической аргументации, потребует своей доли, то от Австрии ничего не останется²⁰. Рассмотрение этого вопроса было перенесено на следующую сессию СМВД.

В апреле 1947 г. СССР и Югославия, учитывая баланс сил, пришли к выводу о необходимости ограничений территориальных претензий к Австрии. Белград извещал Москву обо всех своих шагах в этом направлении²¹. При подготовке V сессии СМВД (Лондон, ноябрь—декабрь 1947 г.) советская сторона понимала, что бывшие союзники могут потребовать первоочередного решения австрийского вопроса и вывода советских войск из Австрии и с Балкан. Это и привело к фактическому срыву сессии²².

Во второй половине 1940-х годов в условиях эскалации советско-югославского конфликта СССР отмежевался от всех прежних договоренностей с Югославией. В докладе А. А. Жданова «О положении в КПЮ» на втором совещании Коминформа (июнь 1948 г.) Белград был обвинен, помимо прочего, в отказе за спиной СССР от территориальных требований к Вене. Однако в этих обвинениях отсутствовала какая-либо конкретность²³. Югославский посол в Москве К. Мразович на встрече с Вышинским 8 января 1949 г. пытался согласовать позиции. Он уточнял, следует ли Белграду настаивать на присоединении всей Каринтии или требовать только район гидростанций на Драве с предоставлением в таком случае Каринтии автономии. Вышинский в официальном ответе 11 января уведомил, что по вопросу о договоре с Австрией «мы не можем дать никаких советов юго-

славскому правительству, которое может поступать так, как оно считает нужным»²⁴.

На VI сессии СМВД (Париж, май—июнь 1949 г.) СССР принципиально изменил свою позицию в поддержку югославских претензий на Словенскую Каринтию. Москва договорилась с Западом о неизменности довоенных австрийских границ и гарантии в будущем договоре об Австрии прав словенского и хорватского меньшинства. Проблема была в центре внимания и дипломатического корпуса в Белграде. Высказывались мнения, что при расширении экономических связей с Западом от Югославии потребуются уступки, в том числе по проблеме Словенской Каринтии и Триеста²⁵.

В ходе завязавшейся летом 1949 г. публичной полемики Югославия направила в Москву ноту протеста по поводу парижского решения и потребовала его пересмотра. В ответной советской ноте от 19 июля обвинения против Белграда, по сравнению с заявлениями Жданова в 1948 г., конкретизировались. Речь шла о якобы секретных югославно-британских переговорах летом 1947 г. с английским министром Ф. Ноэль-Бейкером, в ходе которых югославы согласились резко уменьшить территориальные претензии на Словенскую Каринтию, но скрыли это от СССР. Однако в югославском опровержении от 3 августа утверждалось, что именно советская сторона посоветовала существенно уменьшить претензии и рекомендовала вступить в контакты с Ноэль-Бейкером. Опубликованные документы подтверждают заявление Белграда²⁶.

В ходе дальнейшего обсуждения проекта договора с Австрией осенью 1949 г. Югославия вынуждена была отказаться от притязаний на Словенскую Каринтию и южные районы Штирии.

Примечания

¹ Архив внешней политики РФ (далее — АВП РФ). Ф. 0431/IV. Оп. 4. П. 3. Д. 3. Л. 87, 91—94, 191—192.

² Венгрия и Вторая мировая война. Секретные дипломатические документы из истории кануна и периода войны. М., 1962. Док. 134. С. 238.

³ Семиряга М. И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны. М., 2000. С. 178—179, 222—223.

⁴ Документы внешней политики. Т. XXIV. М., 2000. Док. 271. С. 406; СССР и германский вопрос. 1941—1949. Документы из АВПР РФ. В 4 т. Т. 1. М., 1996. Док. 7. С. 118—119; Док. 11. С. 125—126; Док. 13. С. 138; Док. 55. С. 246; Док. 63. С. 303; Примеч. 10. С. 644.

- ⁵ СССР и германский вопрос. Т. I. Док. 97. С. 464; Док. 107. С. 488.
- ⁶ Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны. В 6 т. Т. IV. Крымская конференция. Сб. док. М., 1979. Док. 11. С. 134; Док. 17 и прилож. 5. С. 196, 203; Док. 22. С. 255—256.
- ⁷ Русский архив: Великая Отечественная. Красная Армия в странах Центральной, Северной Европы и на Балканах. 1944—1945. М., 2000. Т. 14—3(2). Раздел «Австрия». Док. 3. С. 605—606.
- ⁸ СССР—Австрия, 1938—1979. Док. и матер. М., 1980. Док. 5—6. С. 19—20; Док. 11. С. 26.
- ⁹ *Аникеев А. С.* Как Тито от Сталина ушел: Югославия, СССР и США в начальный период «холодной войны» (1945—1957). М., 2002. С. 49, 122.
- ¹⁰ Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 17. Оп. 125. Д. 159. Л. 12, 27—28, 73—74; Коминтерн и Вторая мировая война. Док. В 2 ч. М., 1998. Ч. II. Док. 160 и примеч. 1. С. 402—403.
- ¹¹ Отношения СССР (России) с Югославией. 1941—1945. Док. и матер. М., 1998. Док. 348. С. 282.
- ¹² Восточная Европа в документах российских архивов. 1944—1953. В 2 т. Т. I. М.; Новосибирск, 1997. Док. 37. С. 119, 126—127; Отношения СССР (России) с Югославией. Док. 517. С. 398.
- ¹³ Отношения СССР (России) с Югославией. Док. 564. С. 429—430; Примеч. 1081. С. 605.
- ¹⁴ *Джилас И.* Беседы со Сталиным. М., 2002. С. 131—132.
- ¹⁵ Отношения СССР (России) с Югославией. Док. 579. С. 442; Док. 582—583. С. 444—445; Примеч. 1112. С. 611—612.
- ¹⁶ *Гибианский Л. Я.* Советский Союз и новая Югославия. 1941—1947. М., 1987. С. 176—177; Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил в Европе во Второй мировой войне. Док. и матер. М., 1985. Док. 174. С. 199—200; Советско-английские отношения во время Великой Отечественной войны. Док. и матер. В 2 т. М., 1983. Т. 2. Док. 278. С. 394—395; Примеч. 95. С. 459; Отношения СССР (России) с Югославией. Примеч. 1142. С. 615.
- ¹⁷ Советский фактор в Восточной Европе. 1944—1953. Документы. В 2 т. Т. 1. М., 1999. Док. 93. С. 281.
- ¹⁸ СССР и германский вопрос. Т. II. М., 2000. Док. 111. С. 474—475; Док. 112. С. 478; Примеч. 317. С. 793.
- ¹⁹ АВП РФ. Ф. 0431/IV. Оп. 4. П. 3. Д. 3. Л. 87—88, 93.
- ²⁰ Там же. Л. 136—142.
- ²¹ Внешняя политика Советского Союза. 1949 год. Док. и матер. М., 1953. С. 126—127, 132—134; С. 155—157.

²² СССР и германский вопрос. Т. III. М., 2003. Док. 110. С. 509—510; Док. 115. С. 523—524; Примеч. 196. С. 735.

²³ Совещания Коминформа. 1947, 1948, 1949. Док. и матер. М., 1998. С. 412, 504.

²⁴ Советский фактор в Восточной Европе. Т. 2. М., 2002. Док. 3 и примеч. 2. С. 26—27; Док. 5. С. 30.

²⁵ Восточная Европа в документах российских архивов. Т II. М.; Новосибирск, 1998. Док. 47. С. 153; СССР—Австрия, 1938—1979 гг. Док. 20. С. 36.

²⁶ Совещания Коминформа. С. 470—471.

II СЕКЦИЯ

Б. Н. Флоря

Пути развития славянского мира в Средние века и раннее Новое время

В рамках одного, достаточно краткого выступления, конечно, невозможно полностью раскрыть содержание заявленной темы, всесторонне охарактеризовать особенности развития отдельных регионов славянского мира, поэтому мы вынуждены ограничиться лишь общей постановкой проблемы, акцентируя внимание на проблемах, которые либо, наконец, решены, либо, напротив, нуждаются в решении.

О существовании различий между отдельными частями славянского мира есть основание говорить уже с того времени, когда в VII в. завершился процесс расселения славянских племен на обширных территориях Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы. Различия эти были связаны и с очень заметной разницей природно-климатических условий и с взаимодействием славян в отдельных регионах с иным этническим субстратом с присущей ему своеобразной культурой. Отсюда возникновение уже в догосударственный и доклассовый период жизни славян многих своеобразных черт в материальной и духовной культуре всех частей славянского мира. Однако в данный период перечисленные различия отступали на задний план по сравнению с единством основных социальных институтов и идеологических представлений. Можно говорить поэтому об определенном социокультурном единстве славянского мира в доклассовом и догосударственном периоде. В известной мере такое единство сохранялось в эпоху раннего Средневековья, эпоху формирования первых славянских государств и структуры раннеклассового общества. В настоящее время можно считать установленным, что формирование классового общества и государства шло на территории славянского мира по особому пути, отличному от пути формирования «варварских» государств в странах Западной Европы. Особенность сложившейся здесь социальной структуры состояла в том, что господствующей социальной группой в славянском обществе была княжеская дружина, существовавшая за счет централизованной эксплуатации остального населения. Можно считать установленным, что именно такая модель организации общества господствовала в эпоху раннего Средневековья и в западнославянских странах, и в Киевской Руси. По сравнению с этим идейно-

культурные различия, связанные с ориентацией восточных и западных славян на разные центры христианского мира, имели в ту эпоху второстепенное значение. Даже отношения с церковью по обеим сторонам границы между католицизмом и православием строились по единым нормам, предусматривавшим, что церковь, как и дружина, существует за счет доходов, которые собирает и распределяет государственная власть. Что касается южнославянского региона, то здесь немногочисленность и фрагментарность материала не дает возможность дать столь же определенный ответ на вопрос о характере организации общества в эпоху раннего Средневековья, как это было возможно сделать по отношению к восточным и западным славянам. На данном этапе приходится ограничиться осторожным утверждением, что то немногое, что нам известно, не противоречит общему выводу о существовании и в южнославянском мире аналогичной модели организации общества.

XIII—XIV века в истории западных славян четко выделяются как особый период, когда происходит интенсивное формирование сословий феодального общества с ориентацией на социальные и культурные институты средневековой Европы. Имеет место широкая рецепция западноевропейских институтов и норм от крестьянского держания на «немецком праве» до создания университета. Если сам феномен такой рецепции широко освещен в научной литературе и сомнений не вызывает, то достаточно четко сформулированная в науке задача — выявить черты, определяющие отличие соответствующих институтов от их западноевропейских образцов, специфику их положения в системе общественных отношений — до сих пор не получила своего решения. Однако есть основания расценивать эти различия как подчас весьма существенные. Так, например, для держания на «немецком праве» образцом послужило типичное для Германии и Франции развитого Средневековья крестьянское держание. Но если формирование такого французского держания — «цензивы» происходило в условиях упадка сеньориальной юстиции и все большего вовлечения крестьян в сферу действия государственных судов, то формирование такого же держания в западнославянских странах происходило, напротив, в условиях значительного расширения судебной-административной власти землевладельца. Систематический анализ этих различий позволил бы лучше понять особенности развития региона в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени. К сожалению, в настоящее время, когда общественная ситуация в западнославянских странах формируется под лозунгом «возвращения» в Европу, в научных исследованиях наблюдается тенденция не выявлять и

исследовать различия, а по возможности «стереть» границу, отделяющую регион от его западных соседей.

Однако интенсивное сближение западноевропейских стран с западными славянами бесспорно оказало значительное влияние на разные стороны общественного развития последних, содействуя, в частности, ускорению процесса формирования развитого феодального общества. Подобное влияние совсем не коснулось оказавшихся под татаро-монгольским господством восточных славян, у которых продолжала сохраняться традиционная модель общественной организации, в рамках которой очень медленно зарождались отношения, характерные для классового феодального общества. С этого времени можно говорить о начавшемся серьезном расхождении исторических путей развития западных и восточных славян.

Что касается южнославянского мира, славянских государств на Балканах, то и по отношению к XIII—XIV вв. исследователь сталкивается с большими трудностями в связи с немногочисленностью и отрывочностью документальных свидетельств. Лишь для Сербии XIII—XV вв. мы располагаем комплексом источников, который дает основание для определенных выводов. Очевидно, что и в южнославянском регионе период XIII—XIV вв. был временем формирования развитого феодального общества, и этот процесс развивался в условиях расширения контактов с западным миром. Примером может служить появление на территории Сербии и Боснии городских центров с особым правовым статусом, принесенным на Балканы немецкими колонистами. Можно ли, однако, рассматривать регионы западнославянский и южнославянский (до его завоевания османами) как два комплекса, развивавшихся в одном направлении? Совершенно очевидно, что роль западных влияний была на Балканах существенно меньше, чем в западнославянских странах. С другой стороны, между двумя регионами обнаруживается сходство там, где они отклоняются от западных образцов. Например, в Сербии, как в Польше и Чехии в XIII—XIV вв. также можно наблюдать существенное увеличение судебно-административной власти землевладельцев над крестьянами. Как представляется, сравнительно-историческое изучение процессов социального развития в обоих регионах могло бы пролить свет на многие особенности исторического пути, пройденного ими в эпоху Средневековья. К сожалению, пока трудно говорить о каких-либо серьезных шагах, направленных на исследование этой темы.

Переходя к рассмотрению путей развития славянского мира в эпоху позднего Средневековья, следует отметить, что именно в XV—XVI вв. определились характерные черты исторического развития России — госу-

дарства, сформировавшегося тогда в восточной части Восточной Европы. В последнее десятилетие Россию все чаще характеризуют как помост между Европой и Азией, как страну особой евразийской цивилизации. Характерные черты социально-политической организации русского общества, отличающие его от общества других европейских стран, объясняют воздействием на русское общество порядков и отношений, присущих азиатскому миру. В настоящее время в дискуссиях о путях развития России и ее месте в мире наметился просвет, благодаря плодотворной попытке связать особенности исторического развития страны с характером той природной среды, в которой русскому обществу пришлось действовать. Следствием неблагоприятных природных условий стала низкая продуктивность сельского хозяйства, и какие-либо улучшения при данном уровне развития оказались возможными лишь благодаря мобилизации для усиленной работы в краткие сроки большого количества рабочих рук. Одновременно те же самые природные условия вызвали к жизни функционирование сильной и сплоченной крестьянской общины, обеспечивавшей каждому отдельному хозяйству постоянную взаимопомощь соседей. Именно эти черты русского исторического развития вызвали к жизни основанное на подневольном труде барщинное хозяйство и связанное с ним длительное господство крепостнических отношений, а необходимость преодолеть сопротивление крестьянских общин вызвала к жизни политическую надстройку, для которой стала характерной сильная единоличная власть монарха, подчинившего своему руководству и контролю сформировавшиеся и в этой части славянского мира сословия феодального общества. Таким образом, вопрос о причинах формирования в России особого типа организации феодального общества можно считать достаточно выясненным. Этим, однако, не снимается проблема места такого типа организации среди других типов организации общества на сходном этапе исторического развития. В исторической литературе (преимущественно западной) неоднократно акцентировалось внимание на многочисленных отличиях того типа организации общества, который существовал в России, от организации общества в европейских странах, но при этом не предпринималось серьезных попыток сопоставить тип организации общества, характерный для нее, с организацией общества крупных азиатских держав, прежде всего южного соседа России — Османской империи. Даже при беглом сопоставлении выявляется сходство некоторых параметров: в обоих случаях мы наблюдаем подчинение господствующей социальной группы сильной центральной власти, неполный, условный характер собственности членов этой господствующей группы на

свои земельные владения. Поместный строй Русского государства находит наиболее близкие аналогии в тимарном строе Османской империи. Как далеко заходит близость общественного строя двух стран, не сопровождается ли сходство одних аспектов глубокими отличиями других? Отсутствие всестороннего системного сравнительного анализа русского и османского строя не дает возможности дать определенного ответа на этот вопрос, тем самым остается без окончательного ответа вопрос о социальной организации русского общества и месте России в евразийском пространстве.

Исторические судьбы южнославянских народов в эпоху позднего Средневековья определило, как известно, их завоевание османами. Неблагоприятные для этих народов последствия завоевания общеизвестны и очевидны: утрата собственной государственности и своего господствующего класса, превращение в «граждан второго сорта», резкое ухудшение условий для развития собственных культурно-исторических традиций. Представляется, что для полного раскрытия содержания данного этапа в истории южнославянских народов следовало бы уделить большее внимание влиянию не только на материальное положение, но и на сознание, на социальную психологию южных славян на территории Османской империи совокупного воздействия всех османских политических и социальных институтов.

Важные изменения в социальной жизни западнославянских народов во второй половине XV—XVI в. хорошо изучены в научной литературе, установлены и причины произошедших перемен. Определившееся к этому времени место стран региона в европейской системе экономических связей, в качестве «продовольственного склада» Европы привело, как известно, к формированию ориентированного на рынок фольварочного хозяйства, основанного на барщинном труде, а вслед за тем к прикреплению крестьян к земле и формированию крепостнических отношений. Поскольку на землях к западу от Эльбы эволюция аграрных отношений шла в противоположном направлении, то очевидно, что вслед за периодом сближения социального строя западнославянских стран и стран Западной Европы наступил период их отдаления друг от друга, несмотря на рост хозяйственных связей. Из того, что говорилось выше о становлении крепостнических отношений в России, достаточно ясно следует, что их формирование в России, с одной стороны, и в западнославянских странах, с другой, было вызвано совершенно разными причинами. Однако есть основания полагать, что ряд последствий таких социальных перемен, касавшихся отношений между верхами и низами общества, социальной психологии, культуры производства — оказались во многом идентичными. Как бы то ни было, с утверждением в обоих регионах крепостнических отношений объективно произошло очевидное сближение западнославянских стран и России по ряду очень

важных параметров. Умалять значение этого фактора в истории западнославянского общества, рассматривать крепостничество, как сравнительно второстепенное явление, которому при оценке места страны в Европе и мире можно не уделять серьезного внимания (как именно поступают некоторые современные польские исследователи), значит, на наш взгляд, совершать очень серьезную ошибку.

Следует отметить, что спецификой западнославянского региона в XV—XVI вв. являлся особый политический строй, не имевший прямых аналогий ни на Востоке, ни на Западе Европы. Его главными чертами стало расширение прав и функций органов сословного представительства, в которых доминировало дворянство, и органов дворянского самоуправления на местах, за счет прав и функций государственной власти. Все это сопровождалось ростом политической активности всего дворянского сословия, переходом решения многих политических вопросов и текущего управления в руки его выборных представителей.

В оценках национальными историографиями такого политического строя можно отметить существенные расхождения. Постоянно сдержанное отношение в чешской историографии контрастирует с переменами в историографии польской, от критических оценок исследователей второй половины XIX — начала XX в. до стремления видеть в таком политическом строе, по крайней мере, на первых этапах его существования выражение прогрессивных тенденций общественного развития. Такая тенденция заметно усилилась в последнее десятилетие, когда в выборных дворянских институтах видят важный шаг на пути к созданию «гражданского общества», а в дворянских «свободах» первое зримое воплощение главных ценностей европейской цивилизации. При этом, однако, пропагандисты таких воззрений уклоняются от ответа на ряд важных вопросов. То, что провозглашавшиеся идеалы и соответствовавшая им политическая практика распространились лишь на членов господствующего привилегированного сословия, само по себе не может служить основанием для их отрицательной оценки. Сословная ограниченность прав — характерная черта всякого средневекового общества и именно защита «сословных» прав в Нидерландах или в Англии переросла затем в борьбу за «свободы» буржуазного общества. Важно, однако, что социальные перемены, которые во многом были результатом сознательной политики дворянства, вели к сокращению сословных прав других слоев населения, создавали в течение долгого времени препятствия на пути расширения «свобод» за пределы дворянского сословия.

Кроме того, нельзя не принимать во внимание, что этот строй оказался неспособным обеспечить поступательное развитие хозяйства и защитить самостоятельное существование государства. Вопрос о том, почему при решении этих проблем совокупность выборных дворянских институтов ока-

заслать несостоятельной, до сих пор не получил четкого ответа. Поиски его решения — одна из важных задач для исследователей истории западнославянских стран.

Осталось коснуться исторических судеб западной части Восточной Европы — территорий будущих Украины и Белоруссии. Известно, что на протяжении XIII—XIV вв. они вошли в состав таких государств, как Польское королевство и Великое княжество Литовское. С конца XIV в. эти земли стали подвергаться сильному социокультурному влиянию, идущему из Польши, что сопровождалось рецепцией польских социальных и политических институтов и пути исторического развития двух частей восточнославянского мира начали расходиться. Опираясь на факты, свидетельствующие о польском влиянии и рецепции польских институтов, многие исследователи предлагают рассматривать украинские и белорусские земли, начиная с XV в., вместе с западнославянскими странами, как часть некоего общего целого — «Центрально-Восточной Европы».

В связи с этим следует отметить, что сложившаяся в Польше модель общественного развития была перенесена на восточнославянскую почву на той стадии, когда само польское общество в силу происходивших в нем социально-экономических перемен удалялось от Запада Европы и внедрялась она в обществе, не знавшем ранее характерных для польского общества многочисленных новаций XIII—XIV вв. Уже поэтому создававшиеся здесь институты не могли быть точной копией польских институтов. Кроме того, в местной общественной среде нетрудно обнаружить важные явления, которые занимали в ее жизни видное место и вместе с тем не имеют аналогий не только на польской почве, но и в западнославянском регионе в целом. Речь должна идти прежде всего о таком историческом явлении, как казачество, социальный облик и деятельность которого находят ближайшие аналогии в вольном казачестве на южных границах Русского государства, и тем самым возникает необходимость сравнительного изучения целого ряда процессов, протекавших одновременно на территории Украины, Белоруссии и России. Учитывая все это, представлялось бы более правильным рассматривать украинские и белорусские земли в эпоху позднего Средневековья как своего рода промежуточную зону между западнославянскими странами и Россией, зону, где можно обнаружить черты развития, в разных отношениях сближающие их то с западными, то с восточными соседями.

Славянские народы и империи в долгом XIX веке. Размышления о векторах исследований

Долгий XIX век — с 1789 по 1918 г. — вполне может быть назван веком империй, хотя Эрик Хобсбаум распространял эту характеристику только на период 1875—1914 гг.¹ В обозначенную нами эпоху империи находились в своем зените, система их в Европе и мире достигла наивысшего развития. XIX век — самый имперский. Великие державы, продолжая почин порожденной революцией наполеоновской Франции, дружно примеряют имперские платья.

Одновременно налицо и грозные предвестники гибели империй. В середине XIX в. «призрак коммунизма» бродил по Европе не один: континент жил также ожиданиями распада и раздела империй. Эти ожидания стали важным фактором международной политики. На непрочность имперских образований красноречиво указывали закрепившиеся за ними символические обозначения, такие, как «больной человек» (Османская империя), «лоскутная империя» (Австрийская империя), «колосс на глиняных ногах» (Российская империя)². Живо обсуждавшиеся технологии раздела по сравнению с последней третью XVIII в. изменились.

Имперская проблематика оказалась особенно востребованной на рубеже XX—XXI вв. в связи с изменением исторической перспективы, в том числе с сопряженными между собой вызовами глобализма (имперский универсализм³ отчасти его предтеча) и регионализма, а также образованием новых независимых государств, которых всего за несколько переломных лет в пределах славянского мира стало более чем вдвое больше.

Значение имперской проблематики для славяноведения и место славяноведения в изучении империй определяется уже тем фактом, что все без исключения славянские народы оказались в орбите империй, прошли их школу, сыграли выдающуюся роль в истории империй. На судьбах славян самым серьезным образом сказались не только отсутствие или потеря собственной государственности, но также имперское прошлое. Славянские народы — строители континентальных империй и строительный материал для них, скрепы и движущие силы распада империй.

Расширение отечественного славяноведения за счет украинской и белорусской, а по сути — восточнославянской, проблематики вплотную подвело славистов к изучению Российской империи как таковой, без чего

указанная проблематика успешно разрабатываться не может. Несмотря на всю свою специфику, исторические пути восточнославянских этносов сопоставимы с западно- и южнославянскими — не в последнюю очередь, с точки зрения их имперского контекста. Именно на поле славяноведения в данном случае следует искать баланса между отечественной и всеобщей историей.

Обращение к проблематике, связанной с «дальнезарубежным» славянством, рост интереса к которой наблюдается в последнее время у историков различных специальностей, прежде всего русистов, продуктивно лишь при условии получения ими славистической подготовки либо тесного сотрудничества со славистами. Разумеется, изучение континентальных империй никогда не станет исключительным доменом славяноведения. Известно, что динамизм в развитии любой отрасли знаний зависит от способности усваивать новации, возникшие в других, не обязательно смежных, областях.

Заявленная тема, лишь избранных аспектов которой мы в этом тексте сможем коснуться, делится на две взаимосвязанные между собою части: 1) империи в судьбах славянских народов и 2) славянские народы в судьбах империй. В обоих случаях неизбежно приходится отрешиться от узконационального или сугубо славянского дискурса. Имперская проблематика предполагает взгляд не избирательно-этнический, а системно-региональный, ибо континентальные империи представляли собой симбиоз достаточно неоднородных славянских этносов с их еще более неоднородными неславянскими соседями.

Оба аспекта, разумеется, привлекали внимание исследователей, в том числе много ценных наблюдений было сделано в академическом Институте славяноведения и балканистики в процессе комплексного изучения переходного периода от феодализма к капитализму, которое велось в 1970 — середине 80-х годов (отголоски этого проекта различимы во второй половине 1990-х в трудах А. С. Мыльникова и В. И. Фрейдзона) и было продолжено на материале Австро-Венгрии в середине 1990-х годов⁴, но к настоящему времени оказалось совершенно неоправданно фактически свернутым.

Однако немало из намеченного тогда так и не воплотилось в крупные труды, механизмы империй в нашей славистической литературе практически не стали предметом специального изучения, империи во многом все еще остаются декорацией для развертывания главного действия — призванных их разрушить национально-освободительных движений. «Тюрьмы народов», губительные для их «весен», — вот камертон, настраивающий иссле-

дователей на определенный лад. Это прослеживается, кстати, и на уровне селекции источников, делая востребованным преимущественно наследие разрушителей и обличителей, а не строителей, хранителей, наконец, апологетов империй.

Прочно укоренился телеологический подход к распаду империй и образованию на их месте национальных государств. То, что все империи прекратили свое существование, притом практически одновременно, затушевывает не только проблему их стабильности, долговечности, но и проблему различий, а следовательно, типологии.

Между тем не стоит забывать, что время существования национальных государств на востоке Европы гораздо меньше исторического срока империй. Очевидно огромное значение национальной государственности для консолидации наций, но равносильна ли подобная констатация тому, что империи были исключительно тормозом национального развития? Ведь на определенных этапах и имперские рамки создавали для него достаточно благоприятные, если не сказать оптимальные, условия. Жизнь в больших полиэтнических государствах, где действуют системы противовесов, создающие своеобразные «ниши», представляет лучшие шансы для выживания и консолидации этносов, чем положение меньшинства в государстве с высокой степенью этнической однородности. В империях народы с неполными этносоциальными структурами (прежде всего крестьянские народы) нередко получали от центра поддержку перед лицом ассимиляторского давления ближайших более мощных «полноструктурных» соседей.

Таким образом, диапазон оценок роли империй в процессах национального строительства весьма широк — от «тюрьмы народов» до их «колыбели». Независимо от предпочтения той или иной перспективы, фактом остается и то, что именно в исторических рамках империй высокого накала достигли межславянские конфликты.

Империи привносили в процесс становления наций элемент повышенной альтернативности. В государствах имперского типа особенно четко очерчены сословная, этническая и отчасти совпадающая с последней конфессиональная иерархии. Кроме того, в сознании каждой из групп имперского социума выстраивалась многослойная иерархия идентичностей, определенное место в которой занимали чувства подданства и принадлежности к определенной территории⁵.

Возможно, пришло время перенести исследовательский акцент с национального угнетения на изучение механизмов иерархических взаимосвязей и соподчиненностей. Тем более, что, коль скоро имперские элиты

полиэтничны, даже не входя в круг государствообразующих (имперских) наций, славянские народы принимали активное участие в строительстве империй, не исключая наименее для них комфортной Османской. Этот факт не всегда адекватно оценивается историографиями славянских стран. Так, польские историки, как нам представляется, проявляют все еще недостаточный интерес к своим соотечественникам, вошедшим в состав российской имперской элиты. Оправданное внимание к элитам, однако, не должно приводить к забвению весьма важной задачи исследования представлений об империях в низовых пластах культуры.

Необходимо изучать империи как сложные, не тождественные между собой организмы со своими механизмами стабильности и центростремительными силами, противостоящими силам центробежным. Интеграционные процессы прокладывали себе дорогу вопреки не только усилиям национальных движений, но и недальновидной политике правящих режимов. Сказанное подводит к вопросу о соотношении внутренних и внешних факторов распада империй. Иными словами, был ли исчерпан потенциал жизнеспособности империй? Ответ на данный вопрос ищется, в частности, в связи с трансформацией автократических режимов в парламентарные и опытами сглаживания межнациональных противоречий с помощью такого инструмента, как представительные органы власти⁶. В целом же серьезное сравнительное изучение империй еще только в самом начале.

Во всех империях (даже Османской) укоренилось убеждение в том, что распадутся не они, а их соперники. Империи служили благоприятной почвой для развития мессианских представлений. Их претензии на воплощение универсальных начал сказывались, в частности, в религиозной сфере (идеи халифата, панисламизма, покровительства православным единоверцам). Несовпадение конфессиональных кодов отдельных народов, в том числе славянских, с официальными имперскими доминантами (православие в России, католицизм в Дунайской монархии, протестантизм в Германии, ислам в Османской империи) было чревато серьезными последствиями, особенно если имперские власти обнаруживали решимость использовать разного рода средства давления на своих подданных.

Сказанное тем более существенно, что параллельно с формированием наций современного типа разворачивались секуляризационные процессы, происходила трансформация по преимуществу религиозного сознания в сознание по преимуществу национальное. В одних случаях вероисповедная принадлежность явилась основанием для этнодифференциации, в других — нации сложились на поликонфессиональной базе.

Секуляризацию общественного сознания, впрочем, не следует преувеличивать. Более того, в поиске массовой поддержки национализм активно апеллировал к конфессиональному сознанию социальных низов. Не следует также преувеличивать веротерпимости империй: даже в Стамбуле не единожды декларировался примат равенства подданных, независимо от их религиозной принадлежности (османлык-османизм). Веротерпимость необходимо рассматривать исторически, не упуская из виду, как ее принципы реально воплощались в жизнь, учитывая нетождественность веротерпимости со свободой совести и невмешательством государства в дела церкви.

На протяжении долгого XIX века принадлежность к славянству гораздо чаще, чем в веке XX и, похоже, также XXI, воспринималась как ценность: славянские народы в лице своих идеологов чаще «отлучают» от славянства врагов, нежели отрекаются от него сами. Тем не менее и для того времени приходится констатировать приоритет крепнувшего национального сознания над чувствами славянской взаимности. Панславистская же, всеславянская идеология надимперского единства выступала орудием не столько самодержавия Романовых, сколько национальных движений как внутри Российской империи, так и внероссийского славянства, выполняя функцию своего рода зонтичной идеологии⁷. В любом случае мультиславянские концепции самым непосредственным образом откликаются на имперские вызовы и реалии.

Российская государственная доктрина вырабатывалась в известной оппозиции к славянофильству. В этой связи немало может дать системное изучение эволюции представлений о *народности* и *однокоренном с ней инородчестве*⁸. По нашим наблюдениям, поначалу оба названные понятия подразумевали *род* славянский, затем акцент был перенесен (раньше в отношении народности, которая уже в уваровской триаде была сопряжена с православием, несколько позднее в отношении инородчества) на русское, точнее, общерусское начало. Отход от славянского сперва в области языка (судьба церковнославянского), а позднее также этнической взаимности, с одной стороны, и актуализация русского (восточнославянского) триединства, с другой — явления между собой связанные. Во второй половине XIX в. русско-польское противостояние, на наш взгляд, внесло свою лепту в генезис доктрины народной монархии с ее апелляцией к крестьянской массе через голову образованного общества, привилегированных сословий и даже бюрократии. С развитием украинского национального движения дело дошло (1910 г.) до обсуждения в стенах Государственной думы правомерности отнесения к инородцам малороссов.

Имперская проблематика диктует необходимость приобщения славистов к инструментарию исторической регионалистики, ретроспективной геополитики, ментальной географии⁹. Мы исходим из того, что все три подхода — региональный (речь в данном случае о макрорегионах цивилизационного уровня), этнический (славянский мир), государственно-политический (империи) — имеют право на существование, если они не покидают почвы исторических реалий и открывают перед исследователями новые познавательные возможности.

В этой связи следует обратить внимание на представления в историографии о государстве-регионе. Рассуждая о европейских субрегионах, И. С. Миллер выделял Османские владения в Европе (балканский субрегион), Габсбургскую империю («субрегион, который можно было бы назвать средним или среднеевропейским, а, пожалуй, лучше дунайским») и земли разделенной Польши. Субрегионы Миллера частично накладываются друг на друга, и историк допускал, что «польские земли, которые оказались под властью Габсбургов, вошли в состав дунайского субрегиона». Таким образом, хотя автором и делалась оговорка о нежелательности абсолютизировать «политико-государственный фактор», путь к расформированию польского субрегиона по трем империям уже намечался¹⁰. Подобное деление не прижилось, и в исследовательской литературе обычно фигурируют польско-чехословацко-венгерская Центральная Европа и Балканы.

Ставшее модным в постсоветской России евразийство свой материк-океан также прямо соотносило с Российской империей (за вычетом этнической Польши и Финляндии) — евразийское единство заменяло отретушированную неославизмом всеславянскую общность¹¹. Наряду с Российской немалую сложность для создателей макрорегиональных классификаций доставляет Германская империя: идея Западно-Центральной Европы, в отличие от Европы Восточно-Центральной, большого распространения не получила.

Цивилизационный макрорегион Восточно-Центральной Европы, который, ведая или не ведая доминантную политическую составляющую этой концепции, сейчас выделяют, зиждется на двух «китах» — Речи Посполитой и Габсбургской монархии. Поскольку Речь Посполитая имеет важнейшие признаки империи, о концепции Восточно-Центральной Европы, в которую включаются Украина, Белоруссия и Литва, можно говорить как о соединении двух имперских мифов. В литературе отмечалось, что, по сравнению с империей Габсбургов, в Польско-литовском государстве сильнее

было выражено федеративное начало, с одной стороны, и этнокультурное влияние государствообразующей нации на остальные народы, с другой¹².

В вопросе о цивилизационных гранях следует соблюдать предельную осторожность и ввиду методологической его неоднозначности, и ввиду накопленных в данной области стереотипов¹³, и потому, наконец, что любые жесткие оценки окажутся несостоятельными, если принять во внимание историческую динамику и существование переходных, гибридных форм. Согласно министру Александра II П. А. Валуеву, Белград и Бухарест это «полу-европа» между Европой и Азией, Меттерних же считал, что «Азия начинается там, где Восточное шоссе выходит из Вены». Многие из постосманских владений, согласно Э. Хобсбауму, в XIX — начале XX в. «можно было назвать “европейскими” лишь из вежливости; фактически Балканский полуостров все еще рассматривался как “Ближний Восток”»¹⁴. Глубоко закономерно, что судьбу этого региона в изучаемый нами период решили перипетии *восточного* вопроса.

В исследовательской лаборатории слависта, имеющего дело с имперской тематикой, должны быть такие инструменты научной систематизации, как центр и периферия, ядро (*core area*) и фронтир¹⁵. Для империи характерно наличие, наряду с собственно имперским ядром, ядер формирующихся наций, особенно ярко выраженных, если они опираются на государственную традицию и (или) поддерживаются актуальным административно-территориальным делением. При благоприятном развитии эти ядра обретают, как в сербском или румынском случаях, государственную самостоятельность и их гравитационное воздействие возрастает.

Феномен имперских ядер имеет самое непосредственное отношение к механизмам формирования государствообразующих наций. В рассматриваемый нами отрезок времени не закончилась консолидация не только «безгосударственных» наций, но и наций имперских — задержкой в собственном развитии они расплачивались по счетам «своих» империй. Российский случай в указанном отношении — самый «славянский»: здесь исторический выбор делался между великороссийским ядром (обычно отождествляемым с так называемыми внутренними губерниями) и его общерусским расширением путем этнической нивелировки малороссов и белорусов, а также совместной колонизации.

Следует заметить, что при изучении альтернатив этнического развития восточного славянства совершенно недостаточное внимание уделяется великороссийскому вектору: формирование русской (в современном значе-

нии этого слова) нации представляется по преимуществу побочным продуктом неудачи общерусского проекта и успеха украинского. Следует, кроме того, иметь в виду, что подобного рода альтернативы разрешались в империях с участием большого числа факторов и акторов. При всей своей специфике нациостроительные процессы в восточнославянском мире имели немало общего с классическими западно- и южнославянскими образцами национального пробуждения, в том числе в плане близкородственного этнического взаимодействия и, конечно же, имперского контекста.

Славянские потери и приобретения империй оказывали существенное влияние на их судьбы, а немирное взаимодействие соседних империй, границы которых зачастую произвольно разрезали этнические массивы, вносило в развитие славян немало специфических моментов.

Когда в 1791 г. Леопольд II прибыл в Прагу для коронации, Й. Добровский в его присутствии произнес речь «О преданности и приверженности славянских народов австрийскому престолу». Маститый славист особо подчеркивал то обстоятельство, что славяне в монархии Габсбургов составляют большинство и за ними стоит главный представитель славянства — Россия. Хотя Добровский и осудил антигабсбургские выступления чехов в начале XVII в., лояльность по отношению к царствующей династии, в его изложении, носит условный характер, предполагая проведение политики в русле просвещенного абсолютизма. В публикацию речи был добавлен пассаж о пользе и правах чешского языка, необходимости его государственной поддержки, и этот призыв имел практические последствия¹⁶. В приведенных постулатах, как видим, истоки и панславизма, и австрославизма, и отстаивание чешских национальных интересов.

Решение германской проблемы в начале последней трети XIX в. имело самое непосредственное касательство к судьбам славянских народов: немцы Дунайской монархии окончательно оказались перед лицом негерманского большинства ее населения, что не замедлило отразиться на политическом курсе в отношении как неславян, так и славян. Потеряв свои итальянские владения и приобретя на Балканах Боснию, эта империя становилась все более славянской. Государство же султанов, напротив, делалось более гомогенным, возрастал удельный вес его анатолийского ядра. Россия дорого заплатила и за столетнее обладание Царством Польским — польским ядром, и за стремление овладеть украинским Пьемонтом — Галичиной.

Германия, безусловно, учитывала опыт соседей, но имела также и свой собственный — прусский. Когда после третьего раздела Речи Поспо-

литой под власть Берлина отошли центральные польские земли с Варшавой, основанное недавно в этом городе Общество друзей науки обратило в 1802 г. внимание короля на то, что большая часть его подданных («*la plus grande partie des sujets de Votre Majesté*») говорит по-польски, и следовательно, польский язык должен пользоваться особым государственным покровительством¹⁷. Возможно, польские ученые знали про выступление и успех Добровского. Не случись передела польских земель в 1807—1815 гг., значение польского вопроса для Гогенцоллернов заметно бы возросло.

С созданием Германской империи происходит дальнейшее уменьшение удельного веса славянского, прежде всего польского, элемента. Хотя выступ Царства Польского, на несколько сот километров приближавший российскую территорию к Берлину, внушал немцам большие опасения, на вопрос, «желательно ли... завоевание добавочных, польских территорий и польского населения», «железный канцлер» отвечал отрицательно: «нам нечего приобретать друг у друга, что могло бы нам пригодиться». «Мы не достигли бы укрепления прусского государства приобретением таких провинций, как австрийская Силезия или куски Богемии», — считал Бисмарк по поводу возможного расширения за счет габсбургских владений. «Мы не нуждаемся в увеличении нашей непосредственной территории, — заключал он, — да и не могли бы этого сделать, не усилив центробежных элементов в собственной стране»¹⁸. Показательно, что в годы Крымской войны Наполеон III не исключал передачи русской Польши Пруссии.

Сравнение Пруссии с Австрийской империей было определено в пользу первой из них, имевшей «огромное преимущество... по единству своего состава»¹⁹. С русской перспективы вновь созданная Германская империя казалась национально целостной. Тем не менее уже в начале 1870-х годов были приняты дополнительные меры по ее укреплению, вызвавшие к жизни культуркампф, центральным моментом которого, по признанию самого Бисмарка, стал польский вопрос²⁰. Как и в Российской империи, последний запуск в Германии цепную реакцию, активизируя оппозиционные прусскому началу католические элементы. В Дунайской монархии эта роль принадлежала венгерскому фактору, лидирующее положение среди славянских провинций империи занимала Чехия. «Чехизм», эта «особенная гордость национального происхождения», замечает посетивший Чехию в начале 1840-х годов П. В. Анненков, побудил остальных габсбургских славян видеть в Богемии свой авангард, свою полномочную представительницу. «Вот почему, — заключал он, — глаза Австрии постоянно обращены на

Прагу, которая многими считается за зародыш того... отделения многочисленных племен, составляющих Австрию, которое и будет ее гибелью»²¹.

Во второй половине XIX в. в империях возобладали различные тенденции: в Османской — полураспад, в Австро-Венгрии — полицентризм, в России — оборона имперского ядра. Тем не менее в определенной мере все три сценария развития обнаруживали себя в каждой из трех империй.

«Грандиозный план восстановления Византийской империи разбился на проекты простого раздела Турции подобно Польше, — указывал В. О. Ключевский. — Турция — европейская международная добыча. Ощупью наталкивались на сущность вопроса — не *делить* с соседями, а *дробить* на части, из которых она состоит. Долго не уяснялись интересы, во имя которых можно было действовать... Турция держалась не тем, что не надеялись ее разрушить, а тем, что не знали, что делать с ее развалинами: всех пугала не сила ее жизни, а следствия ее смерти... Присутствие народностей, которые могли бы составить независимые государства, стало уясняться Россией и Европой... с восстания сербов и греков»²².

О стабилизации неоднородной империи толковалось в политическом завещании Аали-паши — ключевой фигуры Блистательной Порты 1860-х годов «Мусульманское население, — писал он в 1871 г., — которое сокращается в ужасающих размерах, будет быстро поглощено и вскоре составит лишь незначительное меньшинство, слабеющее со дня на день. История полна примеров, когда завоеватели были поглощены покоренными народами»²³. Турецкие государственные мужи напряженно искали средства, способные остановить распад своей империи.

Распад Османской империи шел с окраин, которые слабее контролировались Портой и были теснее связаны с соседними государствами культурно, этнически, экономически. Возникнув на Балканах задолго до 1918 г. как продукт полураспада Османской империи, малые государства стали фактором дальнейшей дезинтеграции последней, оказывая все возрастающее давление на нее и противостоя ей уже самостоятельно в период Балканских войн. Имперская слабость государства султанов имела решающее значение для того, чтобы первыми государственную самостоятельность получили наиболее отсталые славянские народы, неизбежно попавшие затем в фарватер политики великих держав.

Между тем в рассматриваемую эпоху абсолютное предпочтение отдавалось «большим политическим телам». П. Я. Чаадаев в начале 1830-х годов в связи с польским вопросом писал о том, что 6—7 млн человек не могут об-

разовать стабильного, жизнеспособного государства²⁴. Страх перед жизнью в мире гигантов во многом питал австрославизм, он же красной нитью проходит через историю украинского движения в России²⁵ и в принципе порождал течение (назовем его на российский лад) «автономистов-федералистов». Лишь в межвоенный период устанавливается стандарт малого европейского государства, ставшего отличительным признаком региона.

Свои особенности имело в империях проведение реформ. Как имперское сознание не тождественно национальному сознанию имперской нации, так реформы в империях и реформы империй — не одно и то же. Говоря о внутренней политике империй, целесообразно выделять имперскую политику, что, вероятно, во многих случаях окажется точнее, чем политика национальная. Однако и социально-экономические преобразования оказывали влияние и на интеграцию имперского пространства (мобильность населения, рынок), и на формирование наций, а через это на судьбу империй, словом, имели имперский аспект.

Помимо имперского пространства, есть основания говорить об имперском времени, также связанном с универсализмом имперской идеи и оказавшем самое непосредственное воздействие на ход преобразований: кормчим империй думалось, что история отвела последним неограниченное время. Между представлениями о вечности и представлениями о близкой гибели империи — большой люфт, заполняемый разнообразными идеологическими конструкциями, многие из которых, как уже отмечалось выше, имели мессианскую окраску.

Велика роль внешнего фактора. Танзимат начинается после поражения султанских войск от паши Египта и вмешательства великих держав (режим капитуляций). Помимо всего прочего, реформирование в Османской империи сталкивалось с противодействием некоторых, в том числе славянских, ее окраин, чему можно найти известные параллели в других империях²⁶.

Период после Крымской войны вплоть до 1870-х годов — не только время Великих реформ в России. Крушение венской системы открыло эпоху великого передела в Европе. Вопреки всем страхам, целостность Российской империи в середине XIX в. устояла, и в программу Великих реформ переустройство России как империи не вошло. Подобно институту самодержавия, традиционное имперское устройство воспринималось несущей конструкцией государственного здания, которой касаться не решались из опасения, что это вызовет цепную реакцию с крайне разрушительными глобальными последствиями. Концессии полякам делались вынужденно, ситуационно и неожиданно для самого Петербурга.

Польско-венгерские параллели неоднократно проводились современниками в начале 1860-х годов, когда они были наиболее уместны ввиду сложившейся политической ситуации. «Австрийский император, — писал П. А. Вяземский в 1860 г. о предстоящей встрече монархов, — приедет в Варшаву, дав конституцию своим народам, или что-то вроде конституции, а следовательно и полякам, у которых мы в той же Варшаве отняли конституцию, или что-то вроде конституции, им нами некогда данной». Собираясь в эту поездку, Александр II в беседе с тогдашним дипломатическим представителем Берлина в Петербурге О. Бисмарком указал на связь между синхронным обострением ситуации в Венгрии и русской Польше²⁷.

Во второй половине 1860-х годов, когда австро-венгерский дуализм сложился окончательно, русско-польские отношения уже приобрели иной вектор развития. Забужье и тем более Заднепровье не стали российской Транслейтанией. Тем не менее отголоски незаконченного эксперимента А. Велепольского различимы и тогда. Бывший декабрист А. В. Поджио писал в 1868 г. из Женевы о желательности «признания Польши и дарования ей, по примеру Венгрии, полной автономии (конечно, разумно без собственной армии)». Он возлагал надежды на «автономическое современное новое право»²⁸.

Однако обычно, как нам представляется, *Ausgleich* осмысливался в России гораздо в большей мере не как обретение искомого имперского равновесия и, следовательно, путь к усилению, а как торжество центробежных сил, и, стало быть, доказательство слабости. Такая трактовка отвечала давним ожиданиям в русском обществе краха «лоскутной», к тому же, что немаловажно, конституционной Дунайской монархии. К концу века межнациональные отношения в ней достигли большой остроты, что побудило Вену накануне мировой войны разрабатывать особый план «внутреннего скрепления». Когда в пору Первой мировой войны сотрясилось здание Российской империи, возникла комбинация, связанная с собиранием всех польских земель под скипетром Николая II с приданием им особого статуса.

Любопытно, что откликом на австро-венгерский сценарий явились также проекты турецко-болгарского дуализма, исходившие от некоторых болгарских политических кругов²⁹.

Последний блок в своих поневоле беглых и отрывочных заметках мы бы назвали «эхом империй» — империи после империй (по типу *Byzance aprus Byzance*): Речь Посполитая после Речи Посполитой, Австро-Венгрия после Австро-Венгрии (кстати, в 1921 г. Габсбурги предприняли попытку реставрации не в Вене, а в Будапеште), Российская империя после Российской

империи, на что накладывається проблема Советского Союза после Советского Союза, далеко выходящая за рамки судьбы СНГ.

Известна преемственность национальных движений и соответствующих национальных государств — в плане элиты (этнократии), идеологических доктрин, внутри- и внешнеполитических стратегий. Однако национальные движения в немалой мере проникнуты имперским духом и — сознательно или не отдавая себе в этом отчета — строят свои малые империи, формулируют устремленные вовне мегаидеи. Межвоенный период продолжает долгий XIX век и в плане отношений с соседями, и в плане освоения такого имперского наследия, как этническая чересполосность населения, породившая проблему национальных меньшинств. Собственно, почему только период между двумя мировыми войнами?

Так, по сей день многое связано с имперским наследием в Польше — от густоты железнодорожной сети в разных ее частях до региональных особенностей менталитета. Дает о себе знать и исторический опыт проживания в полиэтническом социуме. В современной практически моноэтнической Польше в центре общественного внимания бывшие креслы и этнические меньшинства. Это находит преломление во внешнеполитических концепциях натовского неопита. Программно ориентированная на Запад, Польша, в значительной степени в силу традиции, в не меньшей степени смотрит на Восток и именно там, на полях своей исторической славы, стремится сегодня к международной самореализации.

Нельзя жить в империи и быть свободным от империи — во многих отношениях, в той или иной степени, особенно когда речь идет о больших общностях людей, к каковым принадлежат этносы. Однако в последние годы определение «имперский» звучит неоправданно часто, применительно к тем явлениям и процессам, которые специфически имперской окраски не имеют. Ностальгия по «государству большого стиля» (Н. С. Трубецкой) побуждает, и, что характерно, не только представителей бывших имперских наций, конструировать некую имперскую идиллию, делая акцент на «золотом веке» или хотя бы *belle époque*. У каждого славянского народа свой собственный имперский миф, идиллический или демонический, который должен стать предметом изучения как в аспекте его генезиса в лабиринтах истории, так и под углом зрения присутствия в современной действительности, даже перспектив его влияния на умы людей в будущем.

У долгого имперского XIX века, аккумулировавшего и переработавшего все наследие предшествующих эпох, долгое эхо, отчетливо различимое в многоголосье наших дней.

Примечания

¹ Хобсбаум Э. Век империи 1875—1914. Ростов-на-Дону, 1999.

² О метаморфозах образного выражения «колосс на глиняных ногах» см.: Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. М., 1960. С. 301—302.

³ Ziyyek P. Idea imperium. Warszawa, 1997.

⁴ Мыльников А. С. Народы Центральной Европы: формирование национального самосознания XVIII—XIX вв. СПб., 1997; Фрейдзон В. И. Нация до национального государства. Историко-социологический очерк Центральной Европы XVIII в. — начала XX в. Дубна, 1999; Австрл-Венгрия: Опыт многонационального государства / Отв. ред. Исламов Т. М., Миллер А. И. М., 1995; Австро-Венгрия: Интеграционные процессы и национальная специфика / Отв. ред. Хаванова О. В. М., 1997.

⁵ Механизмы формирования украинской и белорусской наций в российском и общеславянском контексте (дореволюционный период). Материалы «круглого стола» // Белоруссия и Украина: история и культура. Ежегодник 20003. М., 2003.

⁶ Никитин А. К. Австро-Венгрия, Германия и Россия (конец XIX в. — 1918 г.): возможности и границы трансформации авторитарной монархии (к постановке проблемы) // Европейские сравнительно-исторические исследования. Европейское измерение политической истории. М., 2002.

⁷ Горизонтов Л. Е. Славянство и европеизм в системе ценностных ориентиров общественной мысли XIX—XX вв. // Славянский мир на пороге третьего тысячелетия. М., 2000; Аксенова Е. П. Соотношение славянской и национальной идеи в общественной мысли и освободительном движении славянских народов // Проблемы славяноведения. Сб. научных статей и материалов. Брянск, 2002. Вып. 4.

⁸ Slocum J. W. Who, and When, Where the Inorodtsy? The Evolution of the Category of «Aliens» in Imperial Russia // The Russian Review. 1998. № 2.

⁹ Горизонтов Л. Е. Внутренняя Россия и ее символические воплощения // Российская империя: стратегии стабилизации и опыты обновления. Воронеж, 2004.

¹⁰ Миллер И. С. Исследования по истории народов Центральной и Восточной Европы XIX в. М., 1980. С. 434—436.

¹¹ Горизонтов Л. Е. Евразийство, 1921—1931 гг.: взгляд изнутри // Славяноведение. 1992. № 4.

¹² Balcerak W. Władze centralne a regiony narodowościowe w Europie Wschodniej i Środkowej od XVIII do XX wieku // Centrum i regiony narodowościowe w Europie od XVIII do XX wieku. Łódź, 1998. S. 8.

¹³ Горизонтов Л. Е. «Польская цивилизованность» и «русское варварство»: основания для стереотипов и автостереотипов // Славяноведение. 2004. № 1.

¹⁴ Валуев П. А. Дневник министра внутренних дел. М., 1961. Т. 1. С. 263; Хобсбаум Э. Указ. соч. С. 27—28.

- ¹⁵ Горизонтов Л. Е. Русско-польское противостояние XIX — начала XX в. в геополитическом измерении // Европейские сравнительно-исторические исследования. География и политика. М., 2004 (в печати).
- ¹⁶ Мыльников А. С. Йозеф Юнгман и его время. М., 1973. С. 27—29, 145—146.
- ¹⁷ Kraushar A. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800—1832. Kraków; Warszawa, 1900. Т. 1. Ks. 1. S. 206—208.
- ¹⁸ Бисмарк О. Мысли и воспоминания. М., 1940. Т. 2. С. 42, 94, 101, 242
- ¹⁹ Милютин Д. А. Воспоминания генерал-фельмаршала. 1860—1862. М., 1999. С. 224.
- ²⁰ Бисмарк О. Указ. соч. Т. 2. С. 122.
- ²¹ Анненков П. В. Парижские письма. М., 1984. С. 275—276.
- ²² Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 273—274.
- ²³ Цит. по: Фадеева И. Л. Официальные доктрины в идеологии и политике Османской империи (османизм — панисламизм). XIX — начало XX в. М., 1985. С. 250.
- ²⁴ Горизонтов Л. Е. Славянофильство и политика самодержавия в Польше в первой половине 60-х годов XIX в. // Балканские исследования. Вып. 15. Россия и славяне: политика и дипломатия. М., 1992.
- ²⁵ Михутина И. В. Украинский вопрос в России (конец XIX — начало XX века). М., 2003.
- ²⁶ Достян И. С., Карасев А. В., Чуркина И. В. Национально-освободительная борьба балканских народов как проявление кризиса Османской империи в XIX в. // Балканские исследования. Вып. 12: Революции и реформы на Балканах. М., 1994. С. 12.
- ²⁷ Вяземский П. Записные книжки. М., 1992. С. 260; Нольде Б. Э. Петербургская миссия Бисмарка, 1859—1962. Прага, 1924. С. 215.
- ²⁸ Поджио А. В. Записки, письма. Иркутск, 1989. С. 356—357.
- ²⁹ Формирование национальных независимых государств на Балканах. Конец XVIII — 70-е годы XIX в. М., 1986. С. 363—364.

Материалы российской военной топографии XIX века — важный источник по истории Белоруссии

Территория Белоруссии на протяжении последних столетий неоднократно становилась зоной военных действий: Северная война (1700—1721), разделы Речи Посполитой, Отечественная война 1812 г., Первая и Вторая мировые войны. Общеизвестно, что планирование и ведение боевых действий требуют хорошего знания местности, и следовательно, наличия карт различного масштаба. Еще при подготовке операций Северной войны Петром I был послан стольник Цызарев, который «тайным образом» нанес на карту течение Западной Двины с окрестностями. Для приготовления «ландкарт» российский император приглашал западных специалистов. Естественно, в тех условиях это были неточные, мелкомасштабные карты.

Несколько позднее в так называемый екатерининский век стали появляться крупномасштабные карты (межевания). Особый толчок к крупномасштабному картографированию дало включение в состав России новых земель. Примером тому служит подробная рукописная карта Литовской губернии, составление которой было начато еще в 1793 г. полковником Боренвилем. Несмотря на явные неточности в географическом отношении (отсутствие геоподосновы), различия в масштабах северной и южной части, «Литовская губерния» Боренвиля содержит все известные на то время населенные пункты Западной Белоруссии и множество других объектов (корчмы, заводы, поместья, фольварки, монастыри и т. д.). Особый интерес представляет трасса Королевского канала (будущего Днепро—Буга), хотя отсутствие координат несколько затрудняет ее восприятие. Однако информативная насыщенность указанной карты делает ее ценным источником. Нельзя забывать, что она была выполнена по заказу военного ведомства.

В XVIII в. для различных нужд растущей территориально империи большинство картографических материалов выполнялось в Географическом департаменте при Сенате. Но уже в 1763 г. офицерам Генерального штаба предписывалось картографировать те районы, где происходили военные действия. А в 1797 г. было создано специальное военное учреждение — Топографическое депо карт. Первоначально здесь планировалось собрать

все имевшиеся в России карты, которые представляли интерес для военного ведомства. Однако армия нуждалась в более подробных и точных картах. Вскоре под руководством управляющего Депо инженер-майора К. И. Оппермана стала составляться совершенно новая «Подробная карта Российской империи и близлежащих заграничных владений» — так называемая столістовка (в двадцативерстном масштабе, 1 : 840 000, в проекции Бонна).

Большинство ее листов было отпечатано в течение 1801—1805 гг. Начались наполеоновские войны, приближался 1812 год, и эта карта оказалась весьма кстати. Ее использовали даже французы, переведя в масштаб 1 : 500 000. «Подробной» ее можно назвать с натяжкой, но она выигрывала своей большей достоверностью по сравнению с прежними картографическими изображениями Восточной Европы. Кстати, использование материалов российских военных картографов зарубежными «потребителями» и в дальнейшем будет иметь место в военных столкновениях на территории Белоруссии. Главное же источниковедческое значение «столістовки» в детальном показе гидрографии, многих населенных пунктов и связующих их дорог. Это, пожалуй, наиболее полная характеристика западных земель России на начало XIX в. Впоследствии «Подробная карта Российской империи» пополнялась новыми листами с уточнением административного деления. Ценность ее еще и в том, что она во многом учла материалы местных землемеров и межевых съемок, удачно дополненных работами офицеров Генерального штаба.

Следует отметить, что указывая местные названия (топонимы, ойконимы), составители не всегда точно их передавали. Так, вместо «Хвоево» написано «Холюва», «Миловиды» — «Мадавды». Есть и пропуски крупных населенных пунктов: «Ишкольдъ», местечко, насчитывавшее в то время около ста дворов, широко известное своим готическим храмом (1472 г.), отсутствует. Конечно, стояла задача перехода от полонизированных к русифицированным названиям. Но тогда еще правительство Александра I довольно либерально относилось к «польскому вопросу». Это особенно характерно для «Географического атласа Империи Российской, Царства Польского и Великого Княжества Финляндского...» В. П. Пядышева (1765—1835). Атлас Пядышева стал в некотором роде стандартным образцом для последующих картографических работ, в частности, благодаря ...обилию сведений различного характера и четкости шрифтов. Тем временем в первой половине XIX в. в организации военно-картографической работы произошли значительные изменения. В 1812 г. Депо карт было преобразовано в Воен-

но-топографический отдел (ВТО) при Военном министерстве, а с 1822 г. стал действовать Корпус военных топографов (КВТ). Особое внимание эти структуры уделили западу Российской империи.

В первой половине XIX в. инициатива картографирования на территории белорусских губерний почти полностью переходит к военным топографам. И не потому, что эти земли были уже частью Российского государства (еще будут мелькать названия «Белоруссия», «белорусские губернии и наместничества»). Хотя в эпоху Просвещения ускоренное развитие получили национальные языки, в связи с чем в Речи Посполитой предпринимались попытки создания карт на польском языке (Я. Непрецкий), в их оформлении здесь по-прежнему преобладала латынь. В России же, как отмечал А. С. Пушкин, «латынь из моды вышла». Офицеры КВТ добросовестно и со знанием дела занимались съемками на западе империи, готовили превосходные карты. Возрастал объем знаний о местных землях, их историческом прошлом, словом, налицо была цивилизаторская деятельность военных топографов.

К двадцатым годам XIX в. в основном картохранилище державы — ВТО, имелся уже достаточный материал для создания ставшей повсеместно необходимой обзорно-топографической карты Европейской России. И в 1821 г. под руководством генерал-лейтенанта Ф. Ф. Шуберта (1789—1865) началось составление и издание «Специальной карты Западной части Российской империи» в масштабе 10 верст в дюйме (карта Шуберта). Она была определена как главнейшее дело КВТ. Создававшаяся на 57-ми листах карта имела более двух тысяч опорных пунктов, полученных в результате развернувшихся в те годы триангуляционных работ (Теннер, Струве). Листы гравировались на медных досках вплоть до 1839 г., на них изображались все города и местечки, села и деревни, усадьбы, главнейшие дороги, реки и мосты, а также губернские и уездные границы. Предполагалось нанести значительные лесные массивы и заболоченные пространства, но это не всегда удавалось, также как и указание числа дворов, что делалось выборочно.

Конечно, широко использовались Ф. Шубертом и работы предшественников. Так, для составления карт белорусских территорий обращались к топографическим съемкам Виленской губернии (1819—1829, 250 саж. в 1 дюйме); топосъемкам Гродненской губернии (1827—1838, 200 саж. в дюйме); съемкам реки Березины (1820—1821, 200 саж. в дюйме); военным съемкам Минской губернии (1831—1835, не закончена). Указанные мате-

риалы дополнялись данными постоянных рекогносцировок пространств, занимаемых войсками I армии (1816—1821).

Особый интерес для истории Белоруссии представляет выборка из сети астрономических пунктов, на которых указано точное местоположение существовавших тогда выдающихся архитектурных памятников:

Гродно	— Доминиканский мужской монастырь	листы: XXVII
Виленка	— дер. церковь Св. Георгия	XXVIII
Ошмяны	— башня фарного костела	XXVIII
Борисов	— Воскресенская соборная церковь	XXVIII
Минск	— Ратуша	XXVIII
Лида	— Кармелитский мужской монастырь	XXVIII
Волковыск	— каменная фарная церковь в предместье	XXVIII
Ошмяны	— Бернардинский мужской монастырь	XXVIII
Орша	— бывш. Коллегиум иезуитов	XXIX
Могилев	— бывш. Коллегиум иезуитов	XXIX
Брест	— Францисканский мужской монастырь	XXXIII
Пружаны	— фарная церковь на площади	XXXIV
Пинск	— Богоявленский монастырь на площади	XXXIV
Рогачев	— церковь на площади	XXXV
Мозырь	— Ратуша	XXXV

К сожалению, некоторые объекты остались безымянными, неточности традиционно оставались и в написании отдельных названий.

Ко второй половине XIX в. «десятиверстка Шуберта» устарела. Социально-экономические изменения, появление новых населенных пунктов и дорог, продолжение активных топогеодезических съемок требовали создания очередных карт более крупного масштаба. Тем не менее карта Шуберта продолжала использоваться. К ней проявляли интерес и зарубежные картографы (карта Хшановского, Париж, 1859). Одновременно предлагались новые подходы: «Военно-дорожная карта Европейской России (25-верстка, 1864)», новая десятиверстка (И. Стрельбицкий, 1865). Из самой среды военных топографов выделялись специалисты, которые основывали сугубо коммерческие заведения для гражданских нужд (А. Ильин). В этой массе картографической продукции особое место заняла «трехверстка» «Военно-топографическая карта Западной России» (1 : 126 000), составление и издание которой началось в 1845 г. К 1903 г. было издано 517 листов. При этом использовались топосъемки и триангуляция 1816—1858 гг.

Первыми выпусками указанной карты для Белоруссии стали губернии: Минская — 1850 г., Гродненская — 1855 г., Могилевская и Виленская — 1857 г., Витебская — 1859 г.

«Трехверстка» (для территории Белоруссии 78 листов) представила полную картину природной среды и топонимики белорусских земель на середину XIX в. В этом ее несомненное значение как исторического источника. Конечно, к нанесенным на нее некоторым названиям необходимо относиться критически, поскольку они не соответствовали местной топонимике. Но картографировать столь обширную и сложную территорию, с таким обилием информации было под силу только хорошо организованным командам Корпуса военных топографов.

Подробнейшая «трехверстка» неоднократно использовалась для создания тематических карт, в том числе исторических (М. Любавский). Длительное время карта применялась в военных целях. И эту подробную карту приходилось «дежурить» — отслеживать изменения, вызванные отменой крепостного права (1861 г.), интенсивным строительством коммуникаций, в первую очередь — железных дорог и т. д. Рекогносцировки начали производиться уже в 1865 г., но основное содержание не менялось. Поэтому даже «трехверстки» более поздних изданий (начала XX в.) следует считать источником для изучения середины и второй половины XIX в.

Наряду с подробными сохранился спрос и на обзорно-топографические карты более мелкого масштаба, в связи с чем вновь обратились к опыту Шуберта. В 1864—1871 гг. под редакцией И. А. Стрельбицкого (1828—1900) была составлена и отпечатана «Специальная карта Европейской России» (десятиверстка, 1 : 420 000). Ее отличало от прежней более упорядоченное нанесение надписей, исправленные гидрография и дорожная сеть, новые условные знаки, а главное — она была напечатана в четыре цвета: названия — черным, леса — зеленым, реки — синим, рельеф — коричневым.

Окончание XIX в. было ознаменовано новыми попытками удовлетворения нужд армии разнообразной картографической продукцией. Ставилась задача создания еще более подробных карт западного пограничного пространства, и именно на ее решении сосредотачивались усилия военных топоъемщиков. В 1885 г. было начато составление и печатание «Топографической карты Западной России» в двухверстном масштабе (1 : 84 000). Работа не была завершена, хотя она продолжалась даже в годы Мировой войны (так называемое «временное издание»). Для территории Белоруссии имеется около 300 карт-двухверсток. Естественно, в условиях войны делать подробные съемки было крайне затруднительно, чему препятствовали и

дальнейшие события в рассматриваемом регионе. Перефразируя известное, можно сказа, что «военная картография развивается лишь в мирное время».

Огромная и разнообразная работа российских офицеров-топографов по картографированию западных территорий, включая и белорусские земли, создала важный массив источников для современных исследователей истории.

Библиография

1. Бендер М. О. Каталог Военно-Ученого архива Главного штаба. СПб., 1905—1914.
2. Быковский Н. М. Картография. Исторический очерк. М., 1923.
3. Гумилев Л. Н. Этносфера: История людей и история природы. М., 2002.
4. Жучкевич В. А. Краткий топонимический словарь Белоруссии. Минск, 1974.
5. Записки Военно-топографического депо. СПб., 1843. Ч. VIII.
6. Исторический очерк деятельности Корпуса военных топографов, 1822—1872. СПб., 1872.
7. Кремпольский В. Ф. История развития картоиздания в России и в СССР. М., 1959.
8. Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь. Мінская вобласць. Мінск, 2003.
9. Новокшанова З. К. Федор Федорович Шуберт. М., 1958.
10. Описание составления Специальной карты Западной России генерал-лейтенанта Шуберта // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1840. Ч. XXVII.
11. Папковский П. Из истории геодезии, топографии и картографии в России. М., 1983.
12. Постников А. В. Развитие картографии и вопросы использования старых карт. М., 1985.
13. Постников А. В. Развитие крупномасштабной картографии в России. М., 1989.
14. Российская историческая картография (XV — начало XX вв.). Краткий словарь-справочник. М., 1997.
15. Шибанов Ф. А. Указатель картографической литературы, вышедшей в России с 1800 по 1917 г. Л., 1961.
16. Шибанов Ф. А. Очерки по истории отечественной картографии. Л., 1971.

Южные славяне: от статуса турецкой раины к возрождению государственности

Опустившийся на земли южных славян в XIV столетии мрак стал рассеиваться лишь в XVIII в., до того прозябание под крышей Османской империи представлялось вечным. Луч надежды мелькнул в ходе противоборства с нею Священной лиги (Австрия, Польша, Россия и Венеция) в войне, тянувшейся 17 лет (1683—1699 гг.). Впервые после Крестовых походов на сербские территории вступили войска Габсбургов. Роли переменялись: Высокая Порты из стороны агрессивно-наступательной превратилась в сторону, обороняющуюся под натиском христианского мира. Нельзя, конечно, упрощать этот процесс, он знал и отливы, не раз маятник успеха перемещался в турецком направлении. В 1690 г. вслед за отходившими войсками цесаря Священной Римской империи германской нации состоялся великий исход сербов во главе с патриархом Арсением Черноевичем. И в Старую Сербию, колыбель средневековой государственности и очаг культуры народа, потянулись албанские переселенцы. На карте Балканского полуострова появилась болевая точка, кровоточащая и ныне, край утерять прежнее название, его именуют Косовым, и из него изгоняются остатки коренного сербского населения. В своих последних кампаниях 1716—1719 гг. прославленный полководец Евгений Савойский присоединил к Австрии значительную часть сербских земель, включая Белград, и Олтению (Западную Валахию). Через двадцать лет его незадачливые преемники потеряли и то, и другое. Петр I в трагическом Прутском походе 1711 г. с трудом вырвался из сжимавшего его кольца турецких войск и крымской конницы, потерял 27 тыс. солдат и офицеров и отказался от крепости Азов. На балканскую почву нога российского солдата вступила только через 62 года. Так что, несмотря на переживаемый кризис, Османская империя оставалась государством, обладавшим мощным военным потенциалом. Вырваться из-под его владычества, опираясь на свои силы, южнославянские народы не могли и думать, даже в сотрудничестве с греками, молдаванами и валахами.

Для России в послепетровское время южное направление внешней политики стало приоритетным. Сложилось аномальное положение: на севере крестьянин обрабатывал скудную подзолистую и суглинистую почву, получая убогие урожаи, а на юге нетронутыми лежали сказочно плодо-

родные черноземные земли, манившие пахаря. В век Просвещения московское правительство занималось сооружением засечных черт, оберегая рубежи от набегов степных хищников. Их хозяйственное освоение, прорыв к открытому морю через Босфор и Дарданеллы стали исторической неизбежностью. Чуть не половина страны по линии Смоленск—Воронеж тяготела к экспорту через Средиземное море. Противоборство с Турцией выступало поэтому как логически созревшее и обоснованное. Государственный интерес в сознании россиян подкреплялся давними традициями борьбы с «басурманами» и православной общности с населением Балкан. Но неудача Прутского похода побуждала к сугубой осторожности и осмотрительности в подходе к решению задачи. Руководитель Коллегии иностранных дел А. И. Остерман обосновывал в 1726 г. необходимость заключения союза с Австрией общностью интересов двух монархий в наступлении на Турцию: Габсбурги — давние недруги Османов, даже в коронационной клятве императоров Священной Римской империи германской нации есть фраза о борьбе с «неверными»¹.

Но объединенных сил двух монархий не хватило для того, чтобы одолеть турок в войне 1735—1739 гг. Она закончилась для Петербурга мало результативно, Вене же пришлось расстаться с завоеваниями Евгения Савойского в Сербии и Валахии. Да и союз с домом Габсбургов ко времени правления Екатерины II приказал долго жить. Австрия считала Юго-Восточную Европу сферой своего влияния и появления российских войск в устье Дуная опасалась пуще огня. Венский и петербургский дворы придерживались диаметрально противоположных концепций в отношении судеб Балкан. Вена стремилась к прямой аннексии завоеванных территорий. Иначе строило свои отношения с балканскими народами самодержавие. Знакомство с бумагами Петра I и Екатерины II убеждает, что захват балканских земель в их планы не входил, оба разделяли мысль о территориальной насыщенности России. Царь свидетельствовал в манифесте 1711 г., обращенном к «турецким христианам»: «В сей войне никакого властолюбия и распространения областей своих не желаем, ибо и своих древних и от неприятелей своих завоеванных земель и городов и сокровищ по Божьей милости предостаточно имеем...» Екатерина размышляла в циркулярной депеше от 13 ноября 1763 г., т. е. в документе сугубо доверительного свойства: «Намерения нашего никогда не было, да и нет в том нужды, чтобы стараться о расширении империи нашей, она и без того пространством своим составляет нарочитую часть земного круга»². Уже Петр строил планы возрождения христианских государств в Юго-Восточной Европе под покро-

вительством своей короны. При Екатерине подобные замыслы обрели более четкие черты. Правда, ее Греческий проект (1782 г.), предусматривавший образование Дакийского (Румынского) государства и Греческой империи, не имел практической ценности, ибо ни в коей мере не соответствовал реальной обстановке. Документ интересен, однако, как этап в разработке балканской стратегии России. О степени тогдашней неосведомленности Г. А. Потемкина, А. А. Безбородко и самой Екатерины, разрабатывавших проект, в сложной этнической конфигурации на полуострове свидетельствовал тот факт, что о славянах в проекте вообще не упоминается, идея славянской взаимности еще не проникла в русское сознание, в нем господствовала мысль о православной солидарности.

Проект зарос травой забвения, но мысль продолжала биться, появлялись все новые и новые планы обустройства Балкан уже по строго этническому признаку, в начале XIX в. к их сочинению приложили руку молодые друзья Александра I — В. П. Кочубей, Н. Н. Новосильцев, А. А. Чарторыйский, пользовавшиеся советами славянских просветителей, в том числе Досифея Обрадовича. Поиски методов и форм освобождения стали неотъемлемой частью идеологического багажа национального движения южных славян.

Австро-российское сотрудничество вошло в полосу кризиса еще в 70-е годы XVIII столетия. Кайзер Иосиф II пытался открыто воспротивиться прорыву России за Дунай, но потерпел в том неудачу. Война 1768—1774 гг. увенчалась триумфальным для России Кючук-Кайнарджийским миром, предоставившим отечественной дипломатии право выступать в пользу южных славян и других балканских народов. Иосиф II решил круто повернуть фронт и перейти к сотрудничеству с Екатериной в надежде заполучить долю в «турецком наследстве», что выразилось в австрийском участии в войне 1787—1791 гг. Этот внешнеполитический зигзаг завел Вену в тупик: под градом внутренних неурядиц и внешних осложнений (угроза войны с Пруссией и фантом Французской революции), брат и наследник скончавшегося Иосифа Леопольд II пошел на сепаратный мир с Высокой Портой на условиях *status quo ante bellum*. После этого естественным стал переход Австрии на позиции поддержки целостности владений и незыблемости власти султанской державы в Юго-Восточной Европе, иными словами — оберегания Османской империи от российских поползновений. Той же позиции придерживалась Великобритания, считавшая обитателя сералия стражем Черноморских проливов от прорыва российского флота на просторы открытого океана. Франция традиционно числилась другом и покровите-

лем падишаха. Пруссия пока что проявляла мало интереса к тому, что творилось в Константинополе. На балканском фронте Россия осталась одна против всех как защитница южных славян.

Стратегический курс самодержавия отличался завидным постоянством, но в его практическом претворении в жизнь приливы чередовались с отливами в зависимости от ситуации в Европе, в регионе и в самой России. При Петре и Екатерине он отличался завидным динамизмом, исчезнувшим во время бироновщины. В царствование Елизаветы Петровны центр внимания переместился на запад, где бушевали войны за Австрийское наследство, потом Семилетняя, и балканское направление на какой-то период утратило свой приоритет.

Австро-российские противоречия прямо и мощно повлияли на судьбы «турецких христиан» и, прежде всего, сербского народа, обитавшего в контактной с габсбургскими владениями зоне. Великий исход 1690 г. привел к тому, что масса переселенцев оказалась в хозяйственном и духовном ареале Центральной Европы, несравненно более развитой, нежели Турция. Их связи с соплеменниками за Савой никогда не прерывались. Образовались два центра сербизма, народ в двух государствах жил единой духовной жизнью, не распался на две ветви, постепенно расходящиеся друг с другом. И австрийская зона расселения стала важнейшим очагом общесербского возрождения.

Существовала и обратная сторона медали. Две из трех войн с Турцией на протяжении XVIII столетия Габсбурги проиграли, оставив на произвол судьбы помогавших им сербов, и образ Австрии-освободительницы в их глазах померк. Да и пребывание немалой части сербских земель в составе Австрии в 1718—1739 гг. вылилось в оккупацию, а не обретение свободы. Все это постепенно привело к переориентации сербского национального движения на Россию.

Иная ситуация сложилась на болгарских землях, располагавшихся вблизи жизненных центров Османской империи, что побуждало власти следить с пристальным вниманием за состоянием умов и жестоко пресекать малейшие проявления недовольства. Российские солдаты появились за Дунаем лишь в 1773 г. и пробыли недолго. С другой стороны, эти же районы обладали постоянным и емким рынком сбыта сельскохозяйственной продукции и ремесленных изделий в Стамбул и для нужд армии, что способствовало их хозяйственному развитию, опережающему этнически турецкие территории. Духовные связи болгар с Киевской Русью — Московией —

Россией не прерывались с крещения Руси, из Болгарии в нашу страну пришло христианство. Ориентация на Россию была здесь односторонней.

Третий случай — Черногория — маленькая страна с племенным строем, примитивным земледелием и поголовно вооруженным населением, отчаянно и успешно отстаивавшим свою самостоятельность. Турецкие войска много раз врываются в тесные пределы Монтенегро, но установить там власть так и не смогли. Православие служило духовным знаменем черногорцев, а митрополит возглавлял страну и как религиозный, и как светский владыка. По соседству, на побережье Адриатики, располагались венецианские владения с католическим населением и агрессивной настроенной римской церковью. Австрийский вариант «освобождения» с присоединением к владениям Габсбургов черногорцам не подходил. Опору в своей вечной борьбе с Высокой Портой они видели в России, героя — в Петре I, с которым они вступили в отношения союза и покровительства.

И в сербском народе престиж Габсбургской державы на протяжении XVIII столетия падал. Из трех войн с Высокой Портой, как уже упоминалось, две она проиграла и в обоих случаях бросила своих сербских союзников на произвол судьбы. Особенно болезненно воспринималась драма 1791 г., когда кайзер Леопольд пошел на замирение, оставив сербские добровольческие части, так называемый фрайкор, на расправу туркам. В 1718—1739 гг. жители немалой части Сербии, включая Белград, находясь под властью австрийской короны, познали тяжесть налогов, изощренность императорской администрации и поползновения католической церкви на православие. Все это походило не на освобождение, а на оккупацию и способствовало переориентации сербского национального движения на Россию.

Возрожденческие процессы у южных славян имели свою специфику. Европейский Ренессанс вдохновлялся светлыми образами античной культуры и стремился вырвать общество из тьмы средневековья. Славянство во времена Древнего Рима пребывало в племенном состоянии. Но в памяти народной сохранились воспоминания о королевстве Неманей и Сербии, о двух Болгарских царствах, бросивших вызов Византийской империи. Контраст с жалким настоящим был потрясающим и звал к борьбе за возрождение государственности с опорой на Россию.

Растянувшееся на долгие годы противоборство с наполеоновской Францией смешало все карты держав в балканской колоде. Россия, Великобритания, Австрия, а на определенном этапе даже Турция выступали в союзе; противоречия между ними, разумеется, не исчезли, но отошли на второй

план. Благоразумие побуждало считаться с интересами союзников, избегать обострения отношений с ними, откладывать разрешение разногласий «на потом». Раскачивать османскую ладью и поощрять мятежные настроения «турецких христиан» не годилось. В российской корреспонденции с южными славянами появились осторожные формулировки: «Мы не перестанем принимать участие в жребии вашем, поколику положение наше позволит»³.

В феврале 1804 г. вспыхнуло знаменитое сербское восстание, первоначально — против вопиющих даже по турецким меркам вымогательств янычарских военачальников, переросшее в выступление против всей системы османского господства. Международная обстановка ему не способствовала, никаких «подстрекательств» из-за рубежа не отмечалось, и тем не менее инсургенты добились немалых успехов. Их шансы поднялись с началом в 1806 г. очередной русско-турецкой войны. Впервые тогда отечественная дипломатия вместе с вождями восстания занялась выработкой планов будущего государственного устройства Сербии. Но война со стороны России происходила вялотекущая, силы и внимание были прикованы к Западу с его непрекращавшимися катаклизмами. А у сербов от удач слегка закружилась голова, они отвергли умеренный, компромиссный с Турцией так называемый Ичков мир.

По Бухарестскому трактату 1812 г. М. И. Кутузов выхлопотал для Сербии внутреннее самоуправление. Однако Высокая Порта данное и некоторые другие его условия саботировала. Попытка сербов решить свои дела самостоятельно провалилась. Их второе восстание (1815 г.) было потоплено в крови.

Россия ограничивалась дипломатическим содействием: после бедствий и опустошений, сопровождавших войну 1812 г., страна нуждалась в передышке; император занялся строительством Священного союза легитимных монархов; помогать повстанцам, выступавшим против династии Османов, насчитывавшей 500 лет правления, было как-то не с руки.

В 1816 г. в Стамбул прибыл новый посланник, барон Г. А. Строганов. Десять лет он бился как рыба об лед, пытаясь побудить турок к выполнению статьи Бухарестского мира о предоставлении сербам самоуправления и некоторых других, но тщетно. Понадобилась еще одна, восьмая по счету русско-турецкая война 1828—1829 гг., чтобы воплотить их автономию в жизнь.

Адрианопольский мир открыл новую эпоху в истории Балкан. Родилось независимое Греческое королевство, была расширена и укреплена автономия Молдавии и Валахии. Маленькое Сербское княжество стало очагом возрожденной государственности народа. И на болгарских землях, остав-

шихся в стороне от этого процесса, произошли сдвиги большого социального значения: исчезло крупное турецкое землевладение, помещиков славянского рода не появилось, такая консервативная общественная сила как дворянство, сковывающая прогресс, отсутствовала.

1853 год. Крымская война. И поныне бытует представление, что ее вызвал спор о Святых местах, о праве православного и католического духовенства служить в почитаемых храмах Палестины. Сокрытию истины не в малой степени способствовали неуклюжие маневры и вызывающее поведение чрезвычайного посла царя Николая I в Стамбуле, князя А. С. Меншикова. На самом деле вопрос о богослужении удалось разрешить полюбовно, и Меншиков сообщал: «Дело о Святых местах соглашено между французским послом, Портою и мною, нужные для этого фирманы изготовляются»⁴. Акции самодержавия в Османской империи стремительно катились вниз в предшествовавшие 15 лет, отсталая крепостническая страна ничего не могла противопоставить Западу с его обширным рынком, неограниченными кредитными возможностями и соблазнительным в глазах турецких реформаторов конституционным строем. Право на покровительство христианским народам оставалось последней цитаделью царского влияния, его-то и пытался Николай I удержать. По сути дела речь шла о подтверждении тех условий Кючук-Кайнарджийского мира 1774 г., которые составляли квинтэссенцию российско-турецких отношений. Вот формулировка так называемой Венской ноты, с которой соглашался Николай, но не Высокая Порта: «Если во все времена императоры России проявляли деятельную заботу о сохранении иммунитетов и привилегий греческой православной церкви в Оттоманской империи, то султаны никогда не отказывались подтверждать их торжественными актами...»⁵. Великий везир Мустафа Решид-паша, с британской подсказки, вычеркнул всякое упоминание об обязанности Порты перед миром соблюдать права православных. Императору Николаю Павловичу оставалось либо смириться с капитуляцией, либо решиться на безнадежную войну, так как одолеть коалицию Великобритании, Франции и Турции не представлялось возможным. Царь предпочел последнее.

Война со стороны союзников видится нам как исторически бессмысленная. В итоге они навязали России запрет на содержание военного флота в Черном море. Но ни одна уважающая себя держава не может отказаться от права на защиту собственных берегов, от обеспечения безопасности своих границ. Державы потребовали от султана установить в Турции равноправие христиан с мусульманами, что было заранее обречено на провал,

ибо против выступала темная мусульманская масса, фанатичное духовенство, своевольничавшие правители на местах, а христианские народы рвались из османской темницы к самостоятельной жизни. Крымская система поэтому стала давать трещины немедленно после подписания Парижского договора 1856 г. и развалилась совершенно за 15 лет. Христианские народы, хоть и медленно, наращивали права, российская дипломатия им в том содействовала под искусным руководством князя А. М. Горчакова, который стремился превратить Парижский договор в орудие саморазрушения, настаивая на исполнении его опасных для Османской империи положений, в которых говорилось о правовом положении христиан. Разветвленная консульская сеть ему усердно в том помогала — сошлюсь на мнение авторитетной английской газеты «Морнинг стар» о ведомстве Горчакова: «Российская дипломатия смела и проницательна. Она направляется из прозорливого центра и оформляется пером мастера. Мы узнаем от нее лишь то, что, по ее мнению, нам надлежит усвоить»⁶.

В сотрудничестве с союзником-попутчиком Луи-Наполеоном Бонапартом удалось добиться известных сдвигов к лучшему в положении всех южнославянских народов. Хотя серия черногорских восстаний и осталась безрезультатной, удалось навязать Высокой Порте разграничение с княжеством — а ведь границы проводятся между государствами, а не внутри государств.

Важные шаги на пути укрепления автономии проделала Сербия. Скупщина приняла решение о создании народного войска, энергичный князь Михаил Обренович, опираясь на поддержку России, добился вывода турецких войск из крепостей на сербской территории, в том числе твердыни Калимегдан в центре Белграда. Он же явился инициатором образования Балканского союза Сербии, Черногории и Греции (при сочувственном отношении Румынии) 1866—1868 гг. с целью свержения турецкой власти. На пути сотрудничества обозначились и тернии: черногорский князь Николай мечтал после смерти бездетного Михаила Обреновича заполучить и сербскую корону, сербы же подумывали о слиянии двух государств под своей эгидой. Проявились сербско-греческие разногласия, стороны не смогли договориться о предстоящем разделе македонских земель; об интересах болгар в этой области забыли совершенно. Так обозначилось то, что позднее стало кошмаром межбалканских отношений, сталкивающиеся претензии на одни и те же земли. Вооруженные силы союзников явно не отвечали поставленной задаче. Российская военная миссия, тайно посетившая Сербию, вернулась домой в состоянии, близком к шоку от всего увиденного: план

операции отсутствовал, ощущалась нехватка в подготовленных офицерских кадрах, медицинской службы не существовало, обозы не были сформированы, в кавалерии не хватало лошадей. После убийства в 1868 г. князя Михаила союз распался и остался в памяти как первая серьезная попытка объединения антиосманских сил.

Гайдуцкая тактика в Болгарии вступила в полосу кризиса. Турецкие катары сравнительно быстро расправлялись с отрядами смельчаков. И болгары перешли к иной форме борьбы, облекши национальные цели в религиозную оболочку. Болгария не имела автокефальной церкви и напрямую подчинялась константинопольскому патриарху, не только в церкви, но и в школьном деле наблюдалось засилие греков. В 1856 г. болгарская община Константинополя обратилась к султану с петицией об образовании самостоятельной церкви. Понадобилось 14 лет упорной борьбы, чтобы вырвать у падишаха ферман о создании болгарского экзархата. А под контурами экзархата проступали черты возрождаемой государственности болгарского народа.

Весь накопленный «после Крыма» опыт свидетельствовал: локальные выступления обречены на неудачу и могут принести лишь страдания. Однако дозированное улучшение ситуации мало кого удовлетворяло на Балканах, раздававшиеся из Петербурга призывы — набраться терпения и подождать — отклика не встречали.

Гроза 1875 г. застала российское правительство врасплох. Все происходило, как в ужасном сновидении: восстания в Боснии и Герцеговине; восстание в Болгарии и его чудовищно жестокое подавление; вступление в войну с Турцией Черногории и Сербии и разгром последней. Два года российская дипломатия предпринимала сверхчеловеческие усилия, чтобы добиться проведения серьезных реформ, но потерпела полную неудачу. Надвигалась десятая по счету война с Турцией. Александр II, канцлер А. М. Горчаков, сановники старшего поколения не изжили синдром Крымской войны. Министр финансов М. Х. Рейтерн запросился в отставку: после Севастополя Россия погрузилась в финансовую яму, из которой выползала 15 лет, а тут — угроза нового дефолта. Опытный Горчаков сознавал, что победа не только не приведет к упрочению позиций официальной России на Балканах, а увенчается их ослаблением. Он писал (1866 г.): «Что укрепляет наше традиционное влияние на Востоке, так это ненависть к туркам. Будучи освобождены, христиане последуют дорогой своих материальных интересов». Балканы — плодородная сельскохозяйственная зона, кровно заинтересованная в сбыте продукции своего земледелия. Но не в

Россию же, выступавшую в роли экспортера не партнером, а конкурентом балканского региона.

Светлейший князь рано уловил еще слабо проступавшие признаки будущего территориального соперничества в Юго-Восточной Европе: здешним малым странам «угрожает внутренняя анархия, внешнее соперничество, открывающее поле для иностранного влияния»⁷. К такому же выводу пришел убежденный оппонент Горчакова Федор Михайлович Достоевский: «Хоть и дико сказать, но четырехвековой гнет турок на Востоке был даже полезен христианству и православию, отрицательно, конечно, но однако же способствуя его укреплению и, главное, его единству...»⁸.

Существовало нечто, о чем царский министр Горчаков умалчивал в своих официальных бумагах, но что как дипломат-практик ощущал: приходившие к власти в нарождавшихся государствах социальные силы в поклонниках самодержавия не состояли; напротив, они с антипатией относились к продолжавшему оставаться, несмотря на реформы, консервативному и лишенному всякого намека на парламентаризм и демократию режиму в России. Образец для подражания они искали на западе Европы, а не на востоке.

В формулу Н. Я. Данилевского о всепокрушающей силе идеи славянской солидарности⁹ Горчаков не верил. Предстояла тяжелейшая война, и даже в случае успеха — подрыв позиций на Балканах по причине отсутствия там в дальнейшем потребности в услугах официального Петербурга.

Но все сомнения, опасения, страхи оппонентов или, как их именовал Достоевский, «недочеловеков» и «самооплевывателей» были сметены валом народной солидарности с южными славянами.

Победоносная война завершилась двумя трактатами — прелиминарным, Сан-Стефанским, и окончательным, Берлинским. Традиционно отечественная историография дает первому высокую оценку, а второму — резко критическую, как навязанному России под угрозой столкновения с Великобританией, Австро-Венгрией и Турцией. С высоты Сан-Стефано подписанный в германской столице документ воспринимается как крупное поражение России, как учиненные над нею дипломатические Канны.

Критическая нотка в отношении Сан-Стефано прозвучала в первом томе авторитетного издания «Очерки истории Министерства иностранных дел России»: «Договор был прохладно встречен в Сербии, претендовавшей на большее расширение территории, и в Румынии...»¹⁰. Ценно в этом высказывании то, что поднят кардинальный вопрос, ранее игнорировавшийся исследователями, об отношении к трактату других, помимо Болгарии, балканских государств. И все же суть вопроса выражена в приведенном

высказывании чересчур осторожно, ибо реакция на Сан-Стефано и в Белграде, и в Бухаресте и, добавим мы, в Афинах была не прохладной, а очень даже горячей, имела форму протестов.

Еще по ходу войны подтвердилось предположение Горчакова, что по мере обретения самостоятельности балканские народы последуют дорогой своих материальных интересов. Эта констатация делается здесь без тени упрека или осуждения, международные отношения — область холодного рассудка, а не горячих чувств. В 1877 г. российская дипломатия восемь раз предлагала князю Милану Обреновичу вступить в войну, прежде чем он откликнулся на призыв. При том сербское командование действовало не по общему плану, а по своему, стремясь занять те земли, которые предполагалось присоединить к стране. Греки осторожничали еще больше и выступили в поход накануне перемирия, что вызвало насмешливую телеграмму Александра II королю Георгу: «Я могу только сожалеть, что ваше величество, объявляя войну Турции, избрали тот момент, когда я подписываю с ней мир»¹¹.

Полковник Катарджи, лицо влиятельное, дядя княгини Натальи, вел в ставке главнокомандующего ожесточенные споры с Н. П. Игнатьевым, настаивая на удовлетворении всех сербских претензий, включая присоединение к ней Боснии, что выходило за рамки возможного. Черногорцы претендовали на часть Косова до реки Дрина, западную Герцеговину до реки Наранта и албанский Шкодер (Скутари)¹². Николай Павлович явно не сознавал всей остроты создавшейся ситуации и после запальчивых дискуссий телеграфировал Горчакову: «Обоим княжествам, судьба коих уже решена нами и Турцией, нужно только благодарить могущественную и щедрую руку, которой они обязаны своим существованием и, если Бог этого захочет, своим процветанием»¹³.

И тут впору вспомнить истину, которую изрек О. Бисмарк: «Освобожденные народы не благодарны, а требовательны, и я думаю, что в нынешнее реалистическое время русская политика будет руководствоваться в восточных делах соображениями более технического, нежели фантастического свойства»¹⁴.

Сан-Стефанский договор был встречен в штыки в Белграде, Афинах и Бухаресте. Посланник в Греции П. А. Сабуров доносил: в столице происходят «демонстрации неистовой злобы», общество пришло в состояние «массового психоза».

Предприимчивые румыны не ограничились протестами, а передислоцировали войска в Олтению, гористую западную часть страны, чтобы, в

случае вступления в войну Великобритании и Австро-Венгрии, присоединиться к ним и ударить в тыл российской армии (по словам Н. Йорги, «для столкновения с нашим все еще союзником»).

Для сербов, говорится в недавно вышедшей «Истории сербского народа», Сан-Стефанский договор явился «непостижимой неправдой». Рухнули надежды на объединение со славянской Эльзас-Лотарингией, Боснией-Герцеговиной, а «Россия из великой защитницы тотчас же превратилась в злую мачеху, от которой ждать нечего»: «Протесты против договора и позиции, занятой Россией в отношении Сербии, слышались повсюду, хотя правительство полицейскими мерами и надзором за печатью помешало им перерасти в антирусскую кампанию»¹⁵.

В Берлин в июне 1878 г. прибыли представители Сербии, Греции, Румынии, албанцы и делегаты от повстанцев Боснии и Герцеговины, и все с возражениями против не устраивавших их положений Сан-Стефанского договора, который они считали односторонне благоприятным для Болгарии. Их претензии перекрещивались, просматривались узлы противоречий и столкновения интересов в Македонии, Косове, Албании. По словам Э. Кофоса, хотя греческий голос на конгрессе «звучал шепотом», он был услышан и повлиял на оставление Македонии в составе Османской империи.

В самой Македонии происходили стычки между славянскими и греческими четами, и заводилами выступали греки. Белград демонстрировал свое недовольство в обидной, если не сказать оскорбительной, для российской стороны форме: в торжествах по случаю обретения независимости, в речах и молебнах о России вообще не упоминалось, хотя она была весьма и весьма причастна к этому великому свершению, консула Персиани «забыли» пригласить на службу в собор. Потрясенный дипломат в своем донесении в Петербург счел всю эту малосимпатичную демонстрацию «афишированием неблагодарности»¹⁶.

Позволительно задать вопрос: а можно ли считать неким эталоном мирного урегулирования трактат, не удовлетворявший сербов, греков, румын и албанцев? Мог ли он стать сколько-нибудь прочной основой для водворения мира в беспокойном регионе? За прошедшие с тех пор век с четвертью ни разу не возникало ситуации, способствующей урегулированию на условиях Сан-Стефано. И мыслимо ли было вообще изыскать удовлетворявшее всех решение при чересполосице в расселении этносов и взаимоисключающих претензиях на одни и те же земли? Отыскать подобного урегулирования не удалось по сию пору. Бухарестский мир 1913 г. перессорил Болгарию с ее соседями, Версальская система договоров углубила

разногласия, Парижское урегулирование 1947 г. сохранило на Балканах многочисленные болевые точки.

Из всего вышесказанного, представляется, можно сделать вывод: подводить итоги Восточного кризиса, оценивать результаты войны 1877—1879 гг. следует, исходя из прямого сравнения: что было до, и что стало после. И эти результаты, несмотря на учиненную в Берлине диверсию, выглядят впечатляюще.

Мы далеки от того, чтобы превозносить подписанный трактат. Он оставил зияющие раны на теле Балкан — оккупацию Боснии и Герцеговины, сохранение в составе Османской империи Македонии и Фракии, обозначившееся соперничество независимых государств, наложившееся на противоборство великих держав в регионе. Все остались недовольны, ибо хотели достичь всего и при том сразу, а в истории так не бывает. Удовлетворить сталкивающиеся претензии самодержавие не могло, даже если бы захотело: потери убитыми, ранеными, искалеченными, замерзшими в войне за освобождение южных славян составили 250 тыс. человек¹⁷; казна была опустошена, страна погрузилась в омут долгов; идти на схватку с коалицией Великобритания — Австро-Венгрия — Турция значило ставить под угрозу существование России как великой державы.

На конгрессе российской делегации удалось сохранить сердцевину Сан-Стефанских решений. В отношении Балкан — международное признание государственной независимости Сербии, Черногории и Румынии, о чем до 1875 г. грезились разве что в дерзновенных мечтах. В ответ на предпринимавшиеся по дипломатической линии зондажи во всех столицах, за исключением Петербурга, раздавалось твердое и бескомпромиссное «нет». Показательна сама форма, в которую облекла свой отказ настойчивым румынам Высокая Порта: она заявила, что не намерена вступать в переговоры с «администрацией привилегированной провинции» (ибо таковой Румыния являлась по турецкой конституции 1876 г.), так как занята «более важными вещами»¹⁸.

Так было «до Берлина». Конгресс был вынужден санкционировать смену вех в истории Юго-Восточной Европы, признать независимый статус трех балканских стран. После 500-летнего небытия возродилась государственность болгарского народа. Противоестественный раздел Болгарии на две части не выдержал испытания временем и рухнул через семь лет. Да, конгресс оставил на теле Балкан кровоточащие раны. Новообразования подвергались натиску со всех сторон, Германия при поддержке Австро-Венгрии проводила энергичную политику «Дранг нах Зюд-Остен». Да, во всех бал-

канских странах отмечалась та или иная степень иностранного влияния, иногда весьма значительная. Но до стадии подчинения это влияние не доходило. Сербия, Болгария и Черногория доказали свою государственную жизнеспособность, которую они продемонстрировали на поле боя в 1912 г., когда их коалиция плюс Греция наголову разгромила армию некогда грозной Османской империи.

Но сбылось и мрачное предсказание канцлера А. М. Горчакова. После Берлина сербский князь Милан Обренович пошел на сближение с Веной, подчинив ей свою внешнюю политику. Румыны в жажде реванша вступили в антироссийский Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и Италии. Отношения с Болгарией, не без влияния менторских замашек царя Александра III и топота генеральских сапог в Софии, дошли до разрыва дипломатических отношений. А россияне могли убедиться, что такие добродетели, как великодушие и бескорыстие, хороши в частной жизни, но в компоненте международной не значатся.

В России общественное мнение долго не могло успокоиться, предавая анафеме Берлинский трактат. Карьера дипломатов, к нему причастных, оборвалась. Славянофилы строили планы утверждения в Проливах и образования славянской федерации с центром в Константинополе¹⁹. Из лагеря либералов раздавались одинокие протестующие голоса. Известный социолог и публицист Б. Н. Чичерин сочинил записку «Берлинский конгресс перед русским общественным мнением», но опубликовать ее не решился. Ее нашли в бумагах императрицы Марии Александровны после ее смерти. Чичерин утверждал, что образование полиэтнической махины, федерации, не только нереально, но и бессмысленно, ибо означало бы конец России: «Центр тяжести перенесся бы в нерусские земли... Если Россия должна остаться Россией, она не может сойти со своего места и стать у Средиземного моря» (помета Александра II, знакомившегося с запиской: «Совершенно справедливо»)²⁰.

История пошла иным путем, дорогою образования системы независимых государств на Балканах, тернистой, трудной, сопровождавшейся конфликтами и войнами, с неизжитыми по сей день противоречиями, но единственно возможной.

Примечания

¹ Bain R. The Daughter of Peter The Great. St. Claire Shores, 1969. P. 110.

² Письма и бумаги Петра Великого. М., 1962. Т. 11. Вып. 1. С. 226—227.

- ³ Политические и культурные отношения России с юго-славянскими землями в восемнадцатом веке. М., 1984. С. 377.
- ⁴ *Зайончковский А. М.* Восточная война 1853—1856 гг. в связи с современной ей политической обстановкой. СПб., 1908. Т. 1. Приложения. С. 396.
- ⁵ Там же. Т. 2. Приложения. С. 52—53.
- ⁶ *The Morning Post.* 1867. 18. III.
- ⁷ Архив внешней политики Российской империи. Ф. Отчеты. 1866. Л. 97, 91.
- ⁸ *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Л., 1984. Т. 25. С. 67.
- ⁹ *Данилевский Н. Я.* Россия и Европа. СПб., 1995. С. 309, 327—330.
- ¹⁰ Очерки истории Министерства иностранных дел России. М., 2002. Т. 1. С. 386.
- ¹¹ *Кузьмичева Л. В.* Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и Сербия // Славянский альманах за 1996. М., 1997. С. 71; Международные отношения на Балканах 1856—1878 гг. М., 1986. С. 389.
- ¹² Там же. С. 70; *Газенкамф М. А.* Мой дневник 1877—1878 гг. СПб., 1908. С. 469—472.
- ¹³ Освобождение Болгарии от турецкого ига. М., 1964. Т. 3. С. 524.
- ¹⁴ *Бисмарк О.* Мысли и воспоминания. М., 1940. Т. 2. С. 244.
- ¹⁵ *Ямбаев М. Л.* Македония в 1878—1912 гг. // В «пороховом погребке Европы». М., 2003. С. 300; *Iorga N.* Politica externa a regelui Carol I. Bucuresti, 1991. P. 294; Историја српског народа. Београд, 1994. Кн. 5. Т. 1. С. 40—408.
- ¹⁶ *Кузьмичева Л. В.* Благими намерениями (Сербский вопрос на заключительном этапе русско-турецкой войны 1877—1878 гг.). Рукопись доклада. С. 1.
- ¹⁷ История тыла и снабжения русской армии. Калинин, 1955. С. 179.
- ¹⁸ *Iorga N.* Histoire des relations russo-roumains. Iassy, 1917. P. 313.
- ¹⁹ *Хевролина В. М.* Власть и общество. М., 1999.
- ²⁰ *Сказкин С. Д.* Дипломатия А. М. Горчакова в последние годы его канцлерства // Международные отношения. Политика. Дипломатия XVI—XX в. М., 1964. С. 418—419.

Некоторые особенности славянского возрождения

Тема «Славянское возрождение» — огромна, только возрождению отдельных славянских народов посвящены многие тома исследований. При этом, говоря о Славянском возрождении, я имею в виду австрийских славян, у которых многие черты возрождения типологически схожи. Поэтому я остановлюсь только на некоторых его чертах.

Ученые полагают, что возрождение славянских народов Австрии началось во второй половине XVIII в. Славянское возрождение явилось частью того общеевропейского движения, которое получило наименование Просвещения. Это был период созревания и распространения новой идеологии, пришедшей на смену феодальным воззрениям. Просветители противопоставляли культу насилия гуманность, просвещение как средство преобразования общества мирным путем. Они выступали за всеобщее равенство независимо от происхождения, расы, религии, национальности. Для новой идеологии были характерны рационализм, космополитизм, выступление против опоры феодальной идеологии — католической церкви. Просветители стремились эмансипировать человеческую личность от засилья феодально-сословных и клерикальных пут, а научную мысль — от религиозного догматизма.

Правда, борьба с религиозной идеологией носила различный характер: наиболее решительно она велась во Франции, в смягченном варианте — в германских землях, где не выходила за рамки выступлений за веротерпимость, против наиболее одиозных атрибутов католической церкви: монашества и его пороков, самых ненавистных католических орденов, прежде всего иезуитского, пышных дорогостоящих церковных процессий, против суеверий и религиозного фанатизма.

В самой католической церкви появилось течение, которое в той или иной мере отражало эти просветительские тенденции, — янсенизм. Помимо выступления против указанных выше явлений, янсениты стремились ограничить власть Папы римского в католической церкви и усилить ее подчинение светским государям. На янсенистов в своей религиозной политике опирались немецкие просвещенные государи, в том числе император Иосиф II.

Политика австрийских государей Марии-Терезии и ее сына Иосифа II в их владениях, направленная на приспособление экономики, социальных отношений, политики в области культуры к новым капиталистическим от-

ношениям, во многом способствовала распространению идей Просвещения, в том числе и идей славянского возрождения. Вместе с тем именно при них, особенно при Иосифе II, было положено начало планомерной германизации ненемецких земель Габсбургской монархии. Это проявилось в школьных реформах, которые предусматривали обучение детей на немецком языке (1774—1781 гг.). Славянские будители осознавали подобные стремления властей. Чешский ученый и просветитель Й. Добровский в письме к своему другу словенскому ученому и просветителю Е. Копитару отмечал, имея в виду школьные реформы: «Я точно знаю, что там родился дьявольский принцип германизации»¹. Таким образом, у славянских просветителей складывалось двойственное отношение к реформам просвещенного абсолютизма: с одной стороны они их приветствовали, с другой — опасались германизаторских устремлений.

Особенности славянского Просвещения (или возрождения) по сравнению с Просвещением во Франции, Германии и других европейских странах определялись прежде всего политическим положением славян. Все они к середине XVIII в. находились ряд столетий под чужеземной властью, что являлось причиной того, что они (за исключением хорватов) имели неполную социальную структуру: высшее общество (феодалы, городской патрициат) было иноземным по своему этническому самосознанию, в то время как крестьянство, бедные и отчасти средние городские слои составляло славянское население. Это привело к тому, что, во-первых, славянские просветители большое внимание уделяли национальному вопросу. На первый план они ставили не равенство отдельных людей, но прежде всего равенство народов. Во-вторых, большая часть образованных людей у австрийских славян являлась выходцами из низших слоев общества, которым было доступно по преимуществу духовное образование. Духовенство и составляло основной костяк славянских будителей. Их антирелигиозная (вернее — антикатолическая) направленность была ограниченной даже по сравнению с немецкими просветителями.

На деятелей славянского возрождения в австрийских землях решающее влияние оказали немецкие просветители. Через них славянские будители знакомились и с достижениями французского и английского Просвещения. Из немецких просветителей наибольшей популярностью у славян пользовались И. Г. Гердер, А. Л. Шлецер, И. К. Аделунг.

Гердер некоторое время был на русской службе в Риге в качестве помощника учителя церковной школы. Именно здесь зародились его симпатии к славянам. В своих трудах он отмечал их трудолюбие, добродушие,

подчеркивал, что «многие нации, но больше всего немецкие племена, совершали по отношению к ним тяжкие преступления», предсказывал славянам великое будущее. Работы, написанные Гердером в Риге, определяли его отношение к языку и культуре. Он указывал в них на огромную роль языка в формировании национальной культуры, считая, что национальные языки скрывают в себе «сокровищницу мысли целого народа». Гердер рассматривал формирование литературного языка в качестве решающей задачи для создания национальной литературы и культуры, полагая, что источником его совершенствования должен быть язык простого народа. Очень высоко он ставил фольклор, призывал собирать и изучать его, сам собирал и издавал немецкие народные песни. Блестящий философ, Гердер один из первых развенчал взгляд на историю как на промысел божий. «Живые человеческие силы, — писал он, — вот двигательные пружины человеческой истории»².

Большое влияние на славянских будителей оказал немецкий историк и философ профессор Геттингенского университета А. Л. Шлецер. Он утверждал, что нельзя дать правильного объяснения истории восточной Европы без основательного знания славянского языка со всеми его наречиями. Шлецер сам занимался славянской историей, написал обширный труд о древнерусском летописце Несторе. Один из его томов он посвятил сербскому митрополиту Стефану Стратимировичу, с которым находился в дружеских отношениях. Е. Копитар послал Шлецеру свой первый серьезный научный труд «Грамматика славянского языка в Крайне, Каринтии и Штирии» (1808)³. В «Предисловии» к этой грамматике Копитар подчеркивал, что дает обзор истории славян, опираясь на работы Шлецера⁴.

Третьим немецким ученым, оказавшим большое воздействие на славянских просветителей, был И. К. Аделунг, кодификатор немецкого языка. Особенной популярностью пользовалось его утверждение, что высшим законодателем при формировании литературного языка является «господствующее всеобщее употребление». Его правило «пиши как говоришь» импонировало и Добровскому, и Копитару, и особенно реформатору сербского языка Вуку Караджичу⁵.

Как Гердер, Шлецер, Аделунг и многие европейские просветители конца XVIII в. славянские будители были уверены, что язык — главный признак нации и основа развития ее культуры. Поэтому своей основной задачей они считали создание национального литературного языка. Это было не так просто, ибо каждый славянский язык в Австрии имел несколько диалектов, и нередко они имели свою письменность. Так, у хорватов пись-

менность развивалась на кайкавском и штокавском диалектах, у словенцев — на каринтийском и краинском. Кроме того, в научных европейских кругах бытовало убеждение, что существует единый славянский язык с рядом диалектов — это убеждение также накладывало определенный отпечаток на правила создания славянских литературных языков.

Раньше всех просветительские идеи появились в чешских землях. И это не было случайностью: здесь были самые развитые в экономическом отношении славянские территории, у чехов имелись самые богатые исторические и литературные традиции по сравнению с другими австрийскими славянами. Чешские просветители задавали тон всему славянскому возрождению в Австрии.

Чешское Возрождение берет свое начало с конца 70-х годов XVIII в. Оно развивалось на фоне активной деятельности в чешских землях немецких просветительских обществ, что дало ему с самого начала сильный толчок. Так, большую роль в формировании чешских просветительских идей сыграло Частное общество наук (позднее Королевское чешское научное общество), возникшее в 1774 г. Большое значение для чешской культуры имела деятельность Г. Добнера, который издал чешскую хронику Гаека (впервые издана в 1541 г.) и шесть томов своих комментариев к ней (Прага, 1761—1781). В комментариях Добнер подверг ее резкой критике, подчеркнув, что главной задачей историка «из любви к родине и к науке отринуть все, что было вымышлено более поздним временем, и тем оградить народ свой от насмешек чужеземцев»⁶. Наиболее пристальное внимание чешские просветители с самого начала уделяли чешскому языку. Достаточно сказать, что за период 1775—1825 гг. вышло в свет 28 чешских грамматик, 28 различных работ о языке и 14 словарей⁷.

Й. Добровский являлся ведущим деятелем чешского Возрождения, и ведущим специалистом в области чешского языка и чешской литературы. Он знал старославянский и остальные славянские языки, что помогло ему глубже понять законы развития своего родного языка. Добровский первым разработал правила формирования чешского литературного языка. Для этого он полагал необходимым: 1) уважение к языковой традиции; 2) стремление к стабильности грамматической системы языка; 3) признание народного языка источником его формирования; 4) знание других славянских языков⁸. Именно на основе этих правил Добровский написал первую научную грамматику родного языка — «Подробная грамматика чешского языка» (1809 г.). Его ученик Й. Юнгман дополнил программу Добровского, обратив особое внимание на создание новой языковой лексики. Он призы-

вал заменять германизмы, вводя в оборот слова и выражения, бытующие в народной речи. «А, если уж, действительно не хватает слов, — писал Юнгман, — то почему бы чеху не взять их из других славянских диалектов, от одной матери произошедших? Слова же немецкие чешскому духу противны»⁹.

Близкой к чешской была программа словенского просветителя Е. Копитара, вместе с Добровским стоявшего у истоков научного славяноведения. Хотя словенский письменный язык не имел столь долгой и славной истории как чешский, Копитар предлагал использовать при создании словенского литературного языка словарный запас старой словенской литературы, начиная с книг протестантских писателей. Он особенно горячо призывал словенских литераторов при написании своих трудов обращаться к народному языку, а именно к языку словенских крестьян, который он считал наиболее чистым. Как и Юнгман Копитар полагал необходимым очистить словенский язык от иностранных слов (немецких и итальянских), заменяя их исконно славянскими словами, взятыми из словенских диалектов и из других славянских языков¹⁰.

Сербский просветитель и ученый Вук Стефанович Караджич провел реформу сербского литературного языка непосредственно под влиянием Копитара. Но основа ее была другой. Сербский литературный язык имел глубокие исторические традиции, однако в силу обстоятельств развивался слабо, сохраняя в своем составе большое количество старославянских слов и выражений, так что его с трудом понимал простой народ. По совету Копитара, Караджич, чтобы возможно ближе приблизить литературный язык к народному, принял правило Аделунга — писать так, как говоришь. По словам Н. И. Толстого, Караджич считал, что «число славянизмов следует свести до минимума, все они должны быть “осерблены”, турцизмам во многих случаях отдавалось предпочтение перед славянизмами»¹¹. Такой решительный отказ от традиций, по-видимому, был связан с желанием как можно дальше отдалить сербский язык от русского, к чему особенно стремился ментор Караджича Копитар. Караджич высоко оценивал роль словенского ученого в проведении своей реформы. Свой второй том сборника народных сербских песен «Песнарица» (1815) он посвятил Копитару «как величайшему другу и доброжелателю сербской литературы»¹². И все же основное в реформе Караджича соответствовало главному принципу просветителей — приближение литературного языка возможно ближе к народному. Караджич в этом даже перестарался, отринув во многом исторические традиции развития сербского языка. Именно поэтому его языковая реформа, проведенная им до 1820 г., долго не была принята большинст-

вом сербской интеллигенции и получила признание только после смерти реформатора. В основу сербского литературного языка Караджич положил штокавское наречие.

У словаков и хорватов литературные языки сформировались несколько позднее. В конце XVIII — начале XIX в. крупнейшие европейские ученые считали славян единым народом, разделенным на несколько племен. В 1808 г. далматинский филолог Ф. Аппендини опубликовал в Дубровнике «Граматику иллирского языка», в которой, не подвергая сомнению существования единого славянского языка, отметил, что он делится на четыре главных наречия: русское, польское, чехословацкое, иллирское. Эту идею поддержал Копитар и, особенно словак Я. Коллар. Последний призвал создать литературные языки для этих главных наречий. Поскольку русский и польский литературные языки уже существовали, призыв Коллара был обращен к чехословакам и иллирам.

У хорватов идею Коллара горячо поддержал лидер хорватского национального движения в 1830—1840-е годы Людевит Гай. До этого хорватский литературный язык развивался в двух вариантах. Первый вариант опирался на кайкавское наречие, стоявшее ближе к словенским диалектам, второй — на штокавское наречие, на котором говорило большинство хорватов и сербов. Гай выбрал второй вариант, так как считал, что вокруг него смогут объединиться все южные славяне. Избрание штокавского наречия в качестве хорватского литературного языка диктовалось и тем фактом, что он был положен Караджичем в основу сербского (или новосербского) литературного языка. Гай ввел у хорватов новый алфавит, созданный им по примеру чешского и получивший наименование «гаицы». Уже к началу революции 1848 г. реформа Гая была принята хорватской интеллигенцией. А в марте 1850 г. в Вене хорватские и сербские филологи заключили договор, по которому хорваты принимали реформу Караджича. В договоре выбор штокавского наречия объяснялся тем, что оно самое распространенное среди всех южнославянских наречий, наиболее близко стоит к старославянскому языку и самое развитое из всех южнославянских наречий, благодаря богатому фольклору и дубровницкой литературе. Договор подписали хорваты Л. Гай, И. Кукульевич, А. и И. Мажураничи, сербы В. Караджич и Дж. Даничич, словенец Ф. Миклошич, который уже в то время приобрел славу крупнейшего слависта Европы¹³. Таким образом была заложена основа сербо-хорватского литературного языка, на котором писались произведения хорватских, сербских, боснийских авторов на протяжении почти 150 лет.

По-другому сложилась судьба словацкого литературного языка. В конце XVIII — начале XIX в. словацкое национальное движение разделилось на два течения — католическое и протестантское. Первую кодификацию словацкого языка, опираясь на западнословацкие диалекты, провел католический священник Бернолак. В 1790 г. он издал первую словацкую грамматику. Однако кодификация Бернолака не была принята всеми словацкими просветителями: ее поддержали только те из них, кто исповедовал католицизм. Протестанты же продолжали использовать чешский язык, который имел хождение среди словацких образованных кругов с XV в. Словацкие протестанты были более тесно связаны с чешской культурой, они вслед за Колларом отстаивали идею существования единого чехословацкого племени¹⁴. Их усилиями в 1803 г. при Братиславском лицее была учреждена кафедра чехословацкого языка. Из словацких протестантов вышли два крупнейших деятеля чехословацкого возрождения Я. Коллар и П. Й. Шафарик.

Я. Коллар решительно стоял на позициях единого литературного чехословацкого языка. Он подчеркивал, что «национальная литература бывает тем успешнее и счастливее, чем шире поле ее деятельности». Вместе с тем Коллар считал, что общий чехословацкий язык должен принять и словацкие элементы. Он вел борьбу за реформирование чешского языка путем сближения его со словацким, указывая на неблагозвучность чешского языка, обилие в нем германизмов. Значительную часть трудов Коллар написал на своем чехословацком языке. Его нововведения вызвали критику как со стороны чехов, например Ф. Палацкого, так и со стороны молодого поколения словацких патриотов, группировавшихся вокруг Л. Штура. Не поддерживал начинаний Коллара и П. Шафарик¹⁵.

Л. Штур принадлежал к протестантскому крылу словацкого национального движения. Сначала он являлся приверженцем идей Коллара: в 1827 г. сотрудничал в студенческом обществе чехословацкого языка и литературы, а с осени 1840 до 1843 г. преподавал на кафедре чехословацкого языка в Братиславском лицее. К началу 1840-х годов усилилась мадьяризаторская политика в словацких землях венгерских властей. Раскол словацкого национального движения по конфессиональному признаку на два течения мешал организовать сопротивление. Уже в апреле 1836 г. Штур писал: «Мы находимся в настоящем чистилище, потому что пользуясь в качестве письменного языка только чешским, мы затрудняем нашему простому народу доступ к чтению, склоняясь же к нашему наречию, мы отторгаемся от чехов». Концепцию племенной самобытности словаков штуровцы приняли на рубеже 1842 и 1843 гг., а кодификацию словацкого языка Штур провел в

1846 г.¹⁶ В письме к И. И. Срезневскому Штур так объяснял, почему он и его сторонники ввели словацкий язык: они хотели «объединить все сословия, дворянское, буржуазное и люд, желая объединить религиозные партии — протестантскую чешскую и католическую бернолаковскую»¹⁷.

Таким образом, к началу революции 1848 г. у славянских народов Австрийской монархии уже сформировались национальные литературные языки. И это была заслуга не только лингвистов-кодификаторов, но и славянских писателей. Однако в настоящей статье я не буду на этом останавливаться. Концепцию создания славянских литературных языков вырабатывали совместными усилиями все славянские просветители. Основу ее заложил чех Й. Добровский, далее ее развили чех Й. Юнгманн и словенец Е. Копитар, свой вклад в нее внесли словаки Я. Коллар и Л. Штур, серб В. Караджич и хорват Л. Гай.

Следует подчеркнуть еще один момент, общий для идеологии национального возрождения всех славянских народов Австрии, — идея славянского единства и славянской взаимности, которая являлась важной составной частью идеологии славянских просветителей.

На возникновение и распространение этой идеи повлияло два фактора. Во-первых, убеждение европейских ученых второй половины XVIII — первой половины XIX в. в том, что славяне являются единым народом. Данной точки зрения придерживались немцы И. Г. Гердер, И. К. Аделунг, А. Л. Шлецер, чехи Й. Добровский и Й. Юнгманн, словенец Е. Копитар, словак Я. Коллар, русский А. Х. Востоков. Во-вторых, славянское самосознание существовало у славянских народов наряду с этническим с древних времен. Еще древнерусский летописец Нестор писал: «А словеньский язык и руский одно есть»¹⁸. На протяжении всего Средневековья образованные славяне хранили эту традицию, чему способствовали не только близость языка и культур, но и наличие у них общих врагов — немцев, турок, татар. Важное значение имела память о деятельности славянских просветителей Кирилла и Мефодия. Наиболее полно она сохранялась у православных сербов, у униатов. Но ее чтит и славяне католического вероисповедания — хорваты, чехи, словаки. У хорватов кирилло-мефодиевская традиция хранилась глаголической церковью, которая, несмотря на гонения традиционных католических властей, функционировала на хорватской территории с конца IX до XX в., у чехов ее поддерживал созданный в XIV в. императором Карлом IV Сазаво-Эмаусский монастырь, где монахи вели богослужение на славянском языке и пользовались глаголицей. Чешская хроника

Пулкавы (XIV в.) рассказывала о хорватском происхождении чехов, указывая вместе с тем на их родство с русскими и поляками.

В XVI—XVII вв. в период обострения борьбы с турками интерес к общности славян усилился, прежде всего, в пограничных с турецкими владениями областях, каковыми в то время являлись хорватские земли. Не случайно поэтому главными провозвестниками славянского единства стали хорваты. Дубровниций поэт Иван Гундулич воспел в своей поэме «Осман» победу польского войска и запорожских казаков над турками под Хотиным в 1621 г. В 1601 г. его соотечественник Мавро Орбини издал на итальянском языке свою знаменитую книгу «Славянское царство», полную патриотического воодушевления, хотя и описывавшую историю славян в фантастическом плане. Эта книга пользовалась успехом в славянских образованных кругах и в 1722 г. даже была издана в Петербурге, переведенная на русский язык Саввой Владисавличем Рагузинским по указанию царя Петра I. Первым попытался сделать политические выводы из факта единства славян хорват Юрий Крижанич. Он в 1659—1678 гг. жил в России, сначала при дворе Алексея Михайловича, затем в ссылке в Тобольске. Крижанич призывал славян к объединению для борьбы с турками. По его мнению, возглавить их мог только русский царь. Первым шагом к такому объединению Крижанич считал создание общеславянского языка. Он сам пытался сделать это, написав всеславянскую грамматику. Часть его сочинений, в том числе главное из них, «Политика», также были им написаны на выдуманном им всеславянском языке. Крижанич был убежден, что «ничто не может быть гибельнее для страны и для народа, чем пренебрежение своими благими порядками, обычаями, законами и языком и присвоение чужих порядков и чужого языка, и желание стать другим народом»¹⁹.

В период национального возрождения славянская идея стала для славянских будителей орудием борьбы за свою культуру, за свои права. С самого начала она развивалась в трех вариантах. Уже первые славянские просветители в качестве одного из главных аргументов необходимости существования своего языка выдвигали тот факт, что на нем говорят многие народы. Каринтийский иезуит О. Гутсман в предисловии к своей «Словенской грамматике» (1777) писал, что словенцы имеют многих родственных им народов, которые живут от Северного до Адриатического моря. Словенцев он называл «несчастной ветвью славянского языкового дерева». Гутсман одним из первых выдвинул идею, что Австрия по количеству славян, обитающих в ней, может считаться славянской державой²⁰. Эту мысль в раз-

вернутом виде повторил Й. Добровский на заседании Чешского общества наук 25 сентября 1791 г. в присутствии императора Леопольда II. В своей речи «О преданности и приверженности славянских народов австрийскому правящему дому» он указал, что чехи вместе с остальными славянскими народами составляют большинство населения Австрии, что они могли бы стать оплотом ее силы и могущества. В качестве примера он приводил Россию²¹. Так возникла идея австрославизма, которая у славянских народов Австрии существовала до распада Габсбургской монархии.

Второй вариант славянской идеи связан с именем Л. Гая. Как говорилось выше, по примеру Аппендини, Я. Коллар, не подвергая сомнению существования единого славянского языка, заявил о наличии в нем четырех главных наречий: русского, польского, чехословацкого и иллирского. Коллар призвал создать соответственно четыре славянских литературных языка. Сам он безуспешно пытался сформировать чехословацкий язык — эта идея не встретила сочувствия ни у чехов, ни у словаков. Но учение Коллара оказало большое влияние на национальных деятелей южнославянских народов, прежде всего на хорвата Л. Гая. Он и стал основателем иллиризма, движения, стремившегося на базе южнославянских народов создать единый народ иллиров с общим литературным языком и единой культурой. Иллиризм стал первой формой югославизма, сыгравшего большую роль в политической жизни Балкан второй половины XIX—XX в.

Югославизм высоко оценивался прежней югославской историографией. Однако после распада Югославии в 1991 г. рядом историков эта оценка пересматривается. Так, сербский историк Жутич в книге «Римско-католическая церковь и хорватство от иллиризма до великохорватской идеи» утверждает, что югославизм является выдумкой Ватикана, который таким образом хотел подчинить себе православных сербов, используя для этого иллиров и хорватских югославистов во главе с Й. Ю. Штросмайером²². Хорватские историки (А. Фабиянич, М. Сракич, П. Арачич, А. и Й. Печаричи) в книге, посвященной 90-летию со дня смерти Штросмайера, всячески подчеркивают его хорватизм, а его югославистские идеи рассматривают как временное заблуждение²³.

Наконец, именно в конце XVIII в. в среде образованных австрийских славян появилось русофильство, третий вариант славянской идеи. Причин тому было несколько. Прежде всего слабость славянских народов, понимание их лидерами того факта, что сами они не в состоянии освободиться от чужеземного ига или хотя бы достойно защитить свои права. Существование независимой славянской России, обширного и сильного государст-

ва, вдохновляло их и давало им надежду на помощь с ее стороны. Тем более, что во второй половине XVIII в. Россия выходит в первые ряды самых могущественных государств Европы. Победа в Семилетней войне, победы в войнах с Османской империей, а затем разгром Наполеона доставили ей славу непобедимой державы.

Добровский, несмотря на свои австрославистские планы, горячо сочувствовал России. Он в 1792—1793 гг. посетил Россию и написал первое пособие по русскому языку для чехов. По словам видного чешского ученого Й. Кочи, «Добровский ориентировал наши славянские идеи в направлении русофильства и стал первым основателем прогрессивного русофильства в истории нашего народа»²⁴. Верил в Россию и его ученик Юнгман. В 1810 г. он писал своему другу А. Мареку: «Наш народ сохранился, несмотря на стольких врагов, сохранится он и в будущем», — и далее добавлял, — «Русские крепнут — оттуда спасение для потомков»²⁵.

На одном из заседаний словенского просветительского общества Академия трудолюбивых (*Akademia oregozornim*) словенский филолог и педагог Блаж Кумердей в 1779 г. заявил: «Народ, от которого мы исходим, самый презираемый в так называемом цивилизованном мире. Только блестящие деяния наших родных братьев русских могут это презрение до некоторой степени парализовать»²⁶. По стопам Кумердея пошел и первый словенский поэт и журналист В. Водник, призывавший своих соотечественников учиться у русских беречь свой язык и защищать свою родину²⁷.

У словаков интерес к России пробудился в период наполеоновских войн. Чешский историк А. Пражак подчеркивает, что родоначальником словацкого русофильства является Ю. Палкович, первый профессор кафедры чехословацкого языка и литературы в Братиславском лицее. «Наибольшее внимание Палкович уделял России того времени, — пишет Пражак, — которую он рассматривал как решающий фактор не только в борьбе с Наполеоном, но и вообще в Европе. Тем самым он пробудил у словаков интерес ко всему русскому»²⁸.

Хорваты заинтересовались Россией в 1830-е годы, когда стало развиваться движение иллиров. Этому способствовали и встречи хорватских национальных деятелей с русскими славистами, путешествовавшими по славянским землям с научной целью. Особенно активно пытался завязать связи с Россией Л. Гай. В 1840 г. он ездил в Россию, где имел большой успех у славянофилов, собравших для него 25 тыс. рублей.

Что касается сербов, то русофильство у них поддерживалось сербской православной церковью, которая, начиная со Средневековья, имела тесные

связи с русской православной церковью и получала от последней религиозные книги, церковную утварь, денежные вспомоществования. В первой половине XVIII в. австрийские сербы пользовались не только религиозными, но и светскими книгами, прежде всего учебниками, поступавшими исключительно из России. Это объяснялось тем, что последняя сербская типография окончила свое существование в 1638 г. В 20—40-е годы XVIII в. в землях австрийских славян работали учителя из России М. Суворов и Э. Казачинский. Их учениками являлись известные сербские просветители С. Текелия, заложивший материальную основу Сербской матицы, и первый сербский историк в современном понимании этого слова Й. Раич²⁹. У сербов пользовались успехом сочинения российских авторов Симеона Полоцкого, Феофана Прокоповича, через русский перевод Саввы Владиславлевича Рагузинского они знакомились с произведением Мавро Орбини «Славянское царство». Со второй половины XVIII в. сербские юноши отправлялись в Россию, чтобы учиться в российских духовных академиях в Киеве, Москве, Петербурге, в российских военных заведениях, в Московском университете. В войнах, которые Россия вела с Османской империей, участвовало немало сербских добровольцев. Когда началось Первое сербское восстание (1804—1813 гг.) в землях, подвластных туркам, повстанцы главные свои надежды возлагали на помощь России, тем более, что последняя в 1806 г. начала войну с Турцией, продолжавшуюся до 1812 г. В это время австрийские православные иерархи бачский епископ Й. Йованович и карловацкий митрополит С. Стратимирович обратились к русскому правительству с прошениями, в которых выдвигали план создания на Балканах славяно-сербского государства во главе с представителями династии Романовых и под покровительством России³⁰. И позднее с помощью российской дипломатии сербам Османской империи удалось создать свое автономное княжество, ставшее центром притяжения для австрийских сербов.

Русофильские настроения были присущи крупнейшим деятелям сербской культуры периода возрождения Досифею Обрадовичу и Вуку Караджичу. Д. Обрадович после начала Первого сербского восстания перебрался к повстанцам, где был сначала воспитателем детей Карагеоргия, а затем министром просвещения в сербском правительстве. По донесениям австрийских шпионов, действовавших в окружении Карагеоргия, Обрадович являлся руководителем русофильской партии, настроенной резко антиавстрийски³¹. Караджич пользовался симпатиями русских ученых, которые добились для него у русского правительства ежегодной пенсии в 100 дукатов, которая выплачивалась ему с 1826 г. до самой смерти. В письме к рус-

скому посланнику в Вене В. П. Балабину от 26 июня 1862 г. он писал: «Во всех своих трудах я с чрезвычайной заботливостью оберегал имя России от всякой темной тени»³². Следует отметить, что русофильство сербов было более глубоким и сильным, чем у других славянских народов Австрии.

Славянская идея в трех вариантах продолжала развиваться и после революции 1848 г., когда уже стало совершенно ясно, что славяне не являются единым народом. Она не была отброшена славянскими национальными деятелями, потому что являлась важным аргументом и серьезной опорой в борьбе небольших славянских народов за свои национальные права и национальную культуру.

Примечания

¹ Широкова А. Г., Нецименко Г. П. Становление литературного языка чешской нации // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978. С. 12.

² Гулыга А. В. О роли Гердера в формировании передовой немецкой идеологии // Из истории Германии нового и новейшего времени. М., 1958. С. 21, 23.

³ Петровский Н. М. Первые годы деятельности В. Копитара. Казань, 1906. С. 53.

⁴ Pogačnik J. Jernej Kopitar. Ljubljana, 1977. S. 52.

⁵ Петровский Н. М. Указ. соч. С. 113—115.

⁶ Цит. по: Титова Л. Н. Чешская культура // Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. М., 1988. С. 91.

⁷ Koči J. České národní obrození. Praha, 1978. S. 194, 195.

⁸ Широкова А. Г., Нецименко Г. П. Указ. соч. С. 24.

⁹ Там же. С. 61.

¹⁰ Orel-Pogačnik J. Kopitar in slovarstvo slovenskega jezika // Kopitarjev zbornik. Obdobje 15. Ljubljana, 1996. S. 139, 140.

¹¹ Толстой Н. И. Литературный язык у сербов в конце XVIII — начале XIX вв. // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978. С. 326.

¹² Петровский Н. М. Указ. соч. С. 598.

¹³ Данилова А. В. Хорватская культура (1835—1867) // Становление национальной классики. М., 1991. С. 131.

¹⁴ Смирнов Л. Н. Формирование словацкого литературного языка в эпоху национального возрождения (1780—1848) // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М., 1978. С. 86, 87, 105.

¹⁵ Рокина Г. В. Ян Коллар и Россия: история идеи славянской взаимности в российском обществе первой половины XIX в. Йошкар-Ола, 1998. С. 55, 56.

- ¹⁶ Матула В. Представления о славянстве и концепции славянской взаимности Я. Коллара и Л. Штура // Сов. славяноведение. 1978. № 2. С. 63.
- ¹⁷ Цит. по: Смирнов Л. Н. Указ. соч. С. 138.
- ¹⁸ Цит. по: Рогов А. И. О понятии «Русь» и «Русская земля» // Формирование раннефеодальных славянских народностей. М., 1981. С. 154.
- ¹⁹ Крижанич Ю. Политика. М., 1997. С. 393.
- ²⁰ Domej T. Slovenska jezikovna misel na Koroškem v 18. st. // Obdobje razsvetljenstva v slovenskem jeziku; književnosti, kulturi. Ljubljana, 1979. S. 203.
- ²¹ Мельников А. С. Йозеф Юнгман и его время. М., 1973. С. 27; Коџи J. Op. cit. S. 216, 217.
- ²² Жутућ Н. Римокатоличка црква и хрватство од илирске идеје до велико--хрватске реализације. Београд, 1997.
- ²³ Zbornik radova o Josipu Jurju Strossmayru. Zagreb, 1997.
- ²⁴ Коџи J. Op. cit. S. 231.
- ²⁵ Мельников А. С. Указ. соч. С. 231.
- ²⁶ Kardelj E. Razvoj slovenskega narodnega vprašanja. Ljubljana, 1970. S. 253.
- ²⁷ Kreft B. Fragmenti o slovensko-ruskih stikah // Slavistična revija. Ljubljana, 1958. S. 92.
- ²⁸ Цит. по: Рокина Г. В. Указ. соч. С. 46.
- ²⁹ Бажова А. П. Русско-югославянские отношения во второй половине XVIII в. М., 1982. С. 192.
- ³⁰ Достян И. С. Планы основания славяно-сербского государства с помощью России в начале XIX в. // Славяне и Россия. М., 1972. С. 103, 104.
- ³¹ Костућ М. Доситеј Обрадовић у историској перспективи XVIII и XIX века. Београд, 1952. С. 104, 105.
- ³² Срезневски И. И. Вук Стефановић Караџић. Београд, 1987. С. 91.

О. Н. Исаева
(Саратов)

Основная проблема македонистики

Основной проблемой македонистики — сравнительно молодой ветви славяноведения — являются процессы возникновения и развития македонской нации. Хорошо известно, что уже многие десятилетия вопросы о том, кто такие македонцы, когда появилась македонская нация, какие факторы способствовали ее возникновению — являются предметом острой дискуссии, вышедшей за рамки научного мира и охватившей политические и общественные круги стран балканского региона.

В статье будут отмечены определенные результаты исследований в этой области различных национальных школ и выявлены положения, которые вызывали и продолжают вызывать наибольшую полемику.

Прежде всего необходимо вкратце определить суть вышеназванной проблемы, часто называемой македонским вопросом, и основные этапы ее развития. Можно вполне согласиться с мнением С. А. Романенко: «Признание или непризнание существования македонцев как народа и нации с правом на национальное самоопределение, включая и образование собственного государства, составляет суть так называемого “македонского вопроса”, который отравлял международные отношения на Балканах с середины XIX века»¹.

К началу XX в. македонский вопрос превратился в самую острую региональную проблему, имевшую не только геополитическое, но и национальное содержание. К этому времени Македония — сердцевина Балкан с чрезвычайно смешанным в этноконфессиональном отношении населением — стала не только центром антиосманской борьбы, но и «яблоком раздора» между соседними государствами, местом их ожесточенной борьбы «за землю и кровь».

В ходе кровопролитных региональных войн 1912—1913 гг. македонский вопрос — этот гордиев узел Балкан — был разрублен. Раздел Македонии между Грецией, Сербией, Болгарией и начавшаяся там политика принудительного переселения и ассимиляции местного населения стали для македонцев наиболее драматичными событиями XX в., осложнившими их дальнейшее развитие.

В годы Второй мировой войны, когда произошел очередной передел македонских территорий, вызвавший повторную волну насилий и притес-

нений на национальной почве, возникли различные варианты решения македонской проблемы. Один из них был инициирован югославскими коммунистами, возглавившими борьбу с оккупантами. Его реализацией стали решения Антифашистского собрания народного освобождения Македонии (АСНОМ) от 2 августа 1944 г. об образовании Народной Республики Македония как субъекта югославской федерации.

Тогда же были реально заложены основы македонской государственности. Служебным языком новой республики объявлялся македонский народный язык. Сложность и деликатность ситуации заключалась в следующем: на тот момент он не был до конца сформирован, а число образованных македонцев в сербской части области едва достигало одной тысячи². Только в мае 1945 г. специальной комиссией был утвержден македонский алфавит, а чуть позже определена и грамматика македонского языка. Работа по кодификации македонского языка продолжалась длительное время, что нашло отражение в орфографических кодексах 1950 и 1970 гг.

С 1945 г. термин «македонец» стал официально употребляться в качестве этнонима новой нации в ФНРЮ (с 1963 г. — СФРЮ). О македонцах заговорили как о самой молодой славянской нации, рожденной в условиях Второй мировой войны, большая часть которой объединилась в границах Народной Республики Македония (с 1963 г. — Социалистической Республики Македония).

С конца 1940-х годов македонская проблема, оставаясь дестабилизирующим фактором балканской политической жизни, перешла в плоскость обсуждения наличия и прав македонского национального меньшинства в Болгарии и Греции. Выступления Белграда (Скопье) в защиту прав македонцев в соседних странах вызывали у последних подозрения в посягательстве на принадлежащие им части македонских территорий. Наличие македонцев в Болгарии и Греции властями этих стран опровергалось, а македонцы, живущие в Югославии, рассматривались как нация искусственная, созданная по политическому заказу, а потому ущербная и нежизнеспособная. На позицию болгарских политиков и ученых очень сильно влияла национальная традиция, в силу которой большинство населения Болгарии смотрело на славянское население Македонии как на неотъемлемую часть болгарского народа.

В 1968 г. болгаро-югославская полемика по македонскому вопросу вылилась в настоящую кризисную ситуацию с элементами военной истерии. Этому способствовало не только пышное празднование 90-летия освобождения Болгарии от османского владычества, всколыхнувшее в обществе

память о включении в Сан-Стефановские границы почти всей Македонии. Свою роль сыграл и чехословацкий кризис 1968 г. — участие Болгарии в военной акции стран ОВД против Чехословакии. В Белграде не исключали возможности проведения против Республики Македония подобной акции, идеологическое обеспечение которой выполнила брошюра по македонскому вопросу, изданная огромным тиражом в ноябре 1968 г.³ В ней Македония характеризовалась исключительно как географическое понятие, обозначающее одну из составных частей исконно болгарской территории, прямо утверждалось, что македонского народа не существует, что две трети населения Республики Македония составляют этнические болгары, против которых проводится политика денационализации, включая и создание искусственного македонского языка.

Образование после распада югославской федерации в конце 1991 г. независимой Республики Македония (РМ) стало новым, очень важным этапом национально-государственного строительства. Оно, правда, не положило конец долгим спорам вокруг македонской нации. Первая половина 1990-х годов была временем наибольшего обострения греко-македонских отношений. Греция, как и Болгария, была недовольна статьей конституции РМ, в которой говорилось о праве Скопье защищать статус и права македонского народа в соседних странах. Афины выступили с протестом против названия новой республики, усмотрев в нем притязания на часть одноименной греческой территории (Эгейская Македония). Греческая сторона, упорно отстаивая «греческий идентитет» Македонии как историческую очевидность, обвиняла Скопье в посягательстве на культурное наследство, принадлежащее только грекам⁴.

Таким образом, с момента появления Республики Македония сначала как части югославской федерации, затем как суверенного государства, вопросы, связанные с ее населением, языком, историей, культурой и даже названием, стали предметом спора ученых и политиков стран региона. Подобное неблагоприятное окружение создало в Республике Македония атмосферу «осадного психоза», что не могло не отразиться на исторической науке, возникшей в конце 1940-х годов. Находясь в постоянном состоянии самообороны, она в сложных условиях стала разрабатывать национальную концепцию истории, призванную решать задачи политического характера.

Тесная связь исторической науки с политикой весьма характерна для всех стран региона, особенно тех, где у власти находились коммунистические партии. Но в Социалистической Республике Македония эта связь

была даже более сильной, чем в Болгарии или Румынии. Здесь влияние партийных руководителей, пишущих на исторические темы, было более мощным, чем воздействие молодой Клио на политику. После краха коммунистического режима и обретения суверенитета историческая наука, находившаяся в центре политической борьбы, снова оказалась под контролем. И сейчас мало кто из македонских историков, по их собственному признанию, может сопротивляться сильному давлению власти или оппозиции⁵. Таким образом, можно полностью согласиться с мнением Ш. Требста, известного знатока проблемы, что историческое исследование в Македонии представляет собой прямую политическую акцию⁶.

Во многом это и обусловило кризис, переживаемый ныне македонской исторической школой. Он выражается в усилении свойственных ей и ранее недостатков. В первую очередь, к ним нужно отнести недостаточно высокий научно-теоретический уровень исследований. В частности, исследования по рассматриваемой проблематике базируются на конгломерате элементов марксистского и марксистско-ленинского понимания истории и романтическом представлении о нации, свойственном XIX в.

Для македонской историографии, имеющей достаточно узкий тематический и историко-географический диапазон, характерно периодическое обращение к одним и тем же вопросам. Это связано с празднованиями юбилеев, которые, как и в других балканских странах, являются моторами исторической науки. Но объемные юбилейные издания зачастую изобилуют стереотипными подходами к изучаемым проблемам. В последние годы заметно уменьшилось количество новых исследований, часто переиздаются старые работы под измененными названиями. Резко упали тиражи исторической литературы. Произошло и разобщение македонских историков на конфликтующие группировки. Разобщенность привела к сбою хорошо отлаженной ранее юбилейной машины. К примеру, празднование 100-летия Илинденского восстания 1903 г. разбилось на три плохо организованные конференции. Отсутствие на них участников из других стран свидетельствует об усиливающейся изоляции историков Македонии.

Главным достижением македонской исторической науки явилось создание обобщающего труда по истории македонского народа, охватывающего период с глубокой древности до середины XX в. Трехтомный труд, подготовленный коллективом Института национальной истории в 1969 г. был своего рода ответом на упомянутую выше брошюру по македонскому вопросу, подготовленную Институтом истории Болгарской Академии наук. Он, по словам его авторов, стал «первой попыткой ознакомить мировую

науку с собственным видением истории македонского народа и в этом смысле сам стал частью истории нации»⁷. Кардинальные перемены в жизни республики начала 1990-х годов поставили перед учеными страны задачу переработать и расширить указанный труд. С конца 1990-х годов начало выходить шеститомное издание истории македонского народа.

Концепция данного труда, как и прежнего, основывалась на национальном принципе, неразрывно связанном с принципом территории. Как и ранее, при изложении исторических событий с древнейших времен до конца XVIII в. в первых двух томах рассматриваемой публикации преимущество отдавалось тематическому, а не хронологическому принципу. Авторы объясняли это «спецификой периода и недостатком соответствующих источников»⁸. События XIX — начала XX в. излагались в третьем томе указанной публикации; истории Македонии в период между Балканскими войнами 1912—1913 гг. и Второй мировой войной был посвящен четвертый том; а история Македонии с 1939 по 1945 г. рассматривается в пятом, последнем на сегодняшний день, томе этой серии⁹.

Структура изложения материала в «Истории македонского народа», как и обзор исследовательской литературы, изданной в республике за прошедшее время, свидетельствуют о неравномерности изучения различных периодов истории Македонии. Медиевистика, например, всегда была здесь падчерицей исторической школы. Главный интерес македонских специалистов по Средневековью вызывает, в основном, держава царя Самуила конца X — начала XI в., которая считается первой формой македонской государственности¹⁰.

В Новой истории наиболее полно исследован период половины XIX — начала XX в. Это самая важная фаза македонского национально-освободительного движения, связанная с крупнейшими восстаниями, формированием национального самосознания, оформлением национально-государственной доктрины — македонизма и борьбой за ее воплощение в жизнь. Возникновение в 1893 г. Внутренней македонской революционной организации и ее дальнейшая деятельность, Илинденское восстание 1903 г. и десятидневная Крушевская республика обстоятельно изучены в македонской историографии, которая трактует их как эпохальные события, означающие появление на исторической сцене македонского народа как полноценного субъекта.

В Новейшей истории наиболее результативной является тематика национально-освободительной борьбы 1940-х годов на македонских территориях и создания Республики Македония. Отпор оккупантам в годы Второй

мировой войны рассматривается в традициях национального и революционного движения македонского народа и его борьбы как против османского ига, так и против греческих, сербских и, прежде всего, болгарских притязаний. Поэтому в македонской научной и публицистической литературе широко распространился тезис о воплощении в решениях АСНОМ от 2 августа 1944 г. идеалов и заветов Илинденского восстания. Формулировка «АСНОМ — второй Илинден» в наши дни получила расширенное содержание: события 1991 г., связанные с провозглашением суверенитета, считаются по значимости «третьим Илинденом».

В исторической литературе социалистического периода коммунистическая партия, руководившая национально-освободительным движением, рассматривалась как демиург македонской нации и государства. Правда, работ, в которых рождение македонской нации четко датировалось сороковыми годами, было немного, значительно чаще писали о других датах: 1893 г. — создание ВМРО или 1903 г. — Илинденское восстание. Именно эти события истолковывались как ярчайшие свидетельства рождения македонской нации.

Подобные утверждения укладывались в концепцию запоздалого развития македонской нации. Ее сторонником был один из тогдашних руководителей Социалистической Республики Македония К. Црвенковский, призывавший не искать корней македонской нации в Средневековье, а исходить из того, что нация — понятие историческое, связанное с развитием капитализма. Но с завершением в начале 1970-х годов политической карьеры этого деятеля концепция запоздалого развития стала уходить в прошлое и сейчас в работах македонских историков можно обнаружить только ее следы.

Сменивший К. Црвенковского Л. Колишевский был сторонником концепции радикального македонизма или концепции исторического континуитета македонского народа, начиная с периода раннего средневековья. Данная концепция больше соответствовала обстановке обостренных болгаро-югославско (македонских) споров тех лет. И, кроме того, смена концепций означала, что распространенная тогда апология собственного коммунистического руководства, начала постепенно сменяться апелляцией лишь к национальным интересам.

Наиболее маститым и активным сторонником рассматриваемой концепции считается академик Б. Ристовский. Итогом его многолетней работы в этой области стало масштабное исследование «Македония и македонская нация», вышедшее в свет в 1995 г. Новацией исследования Б. Ристов-

ского явилось «удревнение» истории македонского народа. Если раньше его рождение связывалось с появлением на Балканах в VI—VII вв. славянских племен, то теперь дата рождения македонского этноса была перенесена в еще более далекое прошлое — в IV в. до нашей эры, во времена Филиппа II и его сына Александра Македонского. В работе Б. Ристовского это положение сформулировано следующим образом: «В истории македонского народа славянский характер основного этноса населения играл решающую роль, но нельзя упускать из виду значения античных македонцев, которые дали этому народу территорию, культуру, имя и кровь»¹¹.

В другой своей книге ученый особое внимание уделяет воздействию христианизации и кирилло-мефодиевского дела на процесс формирования македонского народа. Просветители славянства солунские братья Кирилл и Мефодий и их ученики Климент и Наум Охридские стали национальными символами македонцев. Культ исторического наследия античной Македонии, а также традиций славянской письменности и культуры, по мнению академика, служит основой национального самосознания македонцев¹².

Обращаясь к периоду раннего Средневековья, Б. Ристовский вкладывает в определения «Македония», «македонский» не региональное, а этно-территориальное, этнолингвистическое содержание, он категорически отрицает наличие у македонцев и болгар общих этногенетических корней, общих истоков культуры и языка. Более того, историк утверждает, что «македонско-славянско-византийская христианская культура» и «языческая протоболгарско-фракийско-славянская цивилизация почти два века развивались независимо друг от друга»¹³.

Исследования Б. Ристовского отличает широкое использование исторической ретроспективы, сконцентрированность на идеализированных образах прошлого, которое при этом подвергается инструментальной интерпретации». Указанные работы несут на себе печать «политического фольклора», представляющего концентрацию не только действительно прожитого народом исторического опыта, но и его устойчивых представлений о своей исторической судьбе. Одновременно в них обозначились и претензии македонцев на исторический приоритет ряда достижений в сфере культуры и государственного строительства.

Подобные представления македонских ученых о временном и пространственном континууме македонского этноса разжигают антимакедонские кампании в соседних странах. В их ходе также смешиваются мифы и факты, оспаривается принадлежность культовых героев прошлого и под покровом академизма и научной объективности используются ничем не

аргументированные утверждения. Можно сказать, что большинство историков и в Болгарии и в Греции, когда речь заходит об античной, средневековой или современной Македонии, продолжает выступать в роли политических пропагандистов.

Наглядным примером такой пропагандистской литературы, появляющейся по македонскому вопросу, может служить брошюра Божидара Димитрова, переизданная в 2003 г. Софийским университетом¹⁴. Ее целью является разоблачение основных положений македонизма о древности македонской нации, македонского языка, государства, церкви и доказательство того, что история македонцев — это история болгар. Современную македонскую нацию автор трактует как сербское творение 1944 г., дожившее до нашего времени только благодаря лжи и репрессиям. Б. Димитров повторяет старый, по сути, тезис, что за идеей «македонской нации» скрывается антиболгарский план, внедряемый в жизнь ловким сочетанием насилия и цинизма, а македонизм представляет собой реакционную политическую концепцию.

В подобном же духе прошла летом 2003 г. в Благоевграде научная конференция, посвященная 100-летию Илинденско-Преображенского восстания. Оно традиционно было представлено докладчиками как «вершина освободительной борьбы болгар в Македонии». Выступающие на конференции упрекали македонских коллег в фальсификации документов восстания, ради того чтобы доказать, что македонские герои боролись за независимость Македонии и что македонский народ не имел никаких связей с болгарским. В заключение директор Македонского научного института в Софии Д. Гоцев выразил надежду, что «братья-македонцы, раскопав завалы сербской лжи, примут протянутую им руку соотечественников, осознают свои болгарские корни и, в конце концов, вернуться в объятия матери-Болгарии¹⁵.

Крайняя политизация македонского вопроса затруднила его изучение в нашей стране. Опасение вызвать болезненную реакцию со стороны балканских стран, стремление последних решать научные проблемы на государственном или партийном уровне приводили к административному сдерживанию публикаций отечественных специалистов по македонской проблематике.

В конце 1960 — начале 1970-х годов советскими исследователями была разработана собственная концепция исторического складывания и развития македонского народа, которой с известными модификациями российские ученые придерживаются и сегодня. Эта концепция в кратком, но

обобщенном виде была изложена в цикле статей по македонской проблематике в Большой советской энциклопедии, а также в ряде справочных и учебных изданий. Важной вехой на пути изучения дискуссионных сюжетов македонской истории стал выход в 1999 г. сборника статей «Македония: проблемы истории и культуры».

Если кратко обобщить высказывания современных российских исследователей по проблеме становления македонского этноса, то их можно свести к следующим положениям. На протяжении ряда столетий славянское население Мезии, Фракии и Македонии развивалось в тесной связи, составляя по существу этнически однородную массу, хотя и имевшую некоторые диалектные и бытовые различия. В IX в. завершился последний период общеславянской истории и начался процесс культурной и языковой дифференциации славян, который вел к формированию отдельных славянских народностей и государств.

В литературе принято выделять болгар в качестве одной из наиболее ранних этнолингвистических групп, формирование которой происходило с конца VII столетия в условиях взаимодействия протоболгар и численно превосходивших их балканских славян. Примерно с середины IX в. термин «болгары» стал применяться для обозначения всего населения средневекового Болгарского царства и стал вытеснять в Македонии общее обозначение «славяне». Славянское население Македонии, пишет академик Г. Г. Литаврин, ощущало и именовало себя в этот период болгарскими, даже тогда, когда столицей болгарского государства становились македонские города Охрид и Преспа. Следовательно, лишены каких-либо оснований утверждения о существовании этнокультурной специфики славянского населения в географической области Македония в средневековый период.

Начальный этап формирования македонской нации, по мнению специалистов, относится ко второй половине XIX в. Согласно утвердившейся в отечественной историографии точке зрения национально-освободительное и культурно-просветительское движение в Македонии на протяжении большей части XIX в., во всяком случае до освобождения Болгарии в 1878 г., шло в общем русле болгарского национального возрождения. Основная масса населения македонских земель в национальном отношении полностью еще не сложилась, но развивалась в сторону становления болгарского национального самосознания.

Следует подчеркнуть, что отечественные исследователи, рассматривая развитие Македонии в ходе общеполитического процесса, отмечали существенные особенности края. В первую очередь указывалось на серьезное со-

циально-экономическое отставание македонских земель по сравнению с расположенными к востоку от них болгарскими территориями, на замедленность процесса национального возрождения. Подчеркивалось, что национально-просветительское движение, развернувшееся в Болгарии в первой трети XIX в., в македонских землях началось позднее и развивалось медленнее, чем на болгарских территориях. Подъем массовой борьбы, охвативший Болгарию в 60 — первой половине 70-х годов XIX в. и явившийся высшей точкой всего процесса национального возрождения, почти не затронул Македонию. Таким образом, в силу указанных причин и этнической пестроты населения, македонские земли оказались как бы в стороне от центра консолидации образующейся болгарской нации.

Отечественные исследователи отмечали, что еще до освобождения Болгарии у части македонских торговцев и ремесленников, а также у немногочисленной интеллигенции появился обостренный интерес к местной народной культуре, пробуждались патриотические чувства, желание сохранить областную специфику. Уже в 60-е годы XIX в. некоторые из просветителей Македонии занялись подготовкой учебных пособий на основе местных говоров, а позже у части местных деятелей (их называли «македонистами») возникла идея создания самостоятельного македонского языка.

После решений Берлинского конгресса 1878 г., когда Болгария и Македония оказались в разных политических и экономических условиях, у населения последней появилась новая национальная перспектива, причем явно вне рамок общеполитического развития. Произошедшее углубление отличий двух вышеназванных областей усилило среди македонской интеллигенции рост этнического самосознания, понимание известной обособленности политических и культурных интересов края. Этому способствовала и позиция правящих кругов Болгарии, смотревших на Македонию лишь как на объект своих интересов и решительно опровергавших малейшее упоминание о ее языково-культурной специфике. Начала усиливаться идея македонизма, что нашло свое выражение в спорах по поводу соотношения болгарского литературного языка и македонских говоров. Важнейшим итогом указанного процесса стало появление в 1903 г. работы К. Мисиркова, в которой доказывалось существование особого македонского языка и самостоятельной македонской нации.

Процесс трансформации славянского ядра Македонии в самобытную нацию протекал в сложных условиях. Соперничество Болгарии, Греции, Сербии, мечтавших о полном или частичном поглощении Македонии, повлияло на выработку македонской национальной идеологии, основное

содержание которой сводилось к акцентировке этнической самобытности македонцев, к отстаиванию их прав на собственную территорию. Наиболее ярко эта защитная доминанта проявилась в деятельности ВМРО, нацеленной на достижение политической автономии в рамках Османской империи.

Исследования по истории национально-освободительного движения македонского народа второй половины XIX — первой половины XX в., принадлежащие перу западных исследователей, подтверждают существование давно подмеченных закономерностей в развитии национальных движений угнетенных народов Центральной и Юго-Восточной Европы. Эти закономерности были выявлены выдающимся чешским ученым М. Хрохом и определены им как три фазы, лежащие в промежутке между отправным пунктом любого конкретного национального движения и его успешным завершением в виде сформировавшейся нации. В течение первой фазы активисты национального движения занимались защитой народного языка и самобытной культуры. В ходе второй фазы новое поколение активистов вырабатывало национальную идеологию и пыталось «разбудить» представителей своей этнической группы, а в третьей фазе на повестку дня ставится вопрос о достижении политической самостоятельности, и в борьбу вовлекаются широкие слои населения.

Основываясь на достижениях западных исследователей, Ш. Требст предпринял попытку определить временные рамки указанных фаз македонского национального движения. Первая фаза легко уложилась в период до 1893 г., а третья — с 1944 по 1953 г. Наибольшую сложность, на взгляд Требста, представляет вторая фаза, охватывающая период с 1893 г. по 1944 г. В ней он выделяет два временных отрезка, один — с 1893 по 1903 г., а другой — с 1919 по 1924 г., когда осуществлялись неудачные попытки организовать на основе патриотической агитации революционное движение в Македонии. Оно и в том и другом случае оказалось расколотым, что сказалось на результатах движения¹⁶.

Ш. Требст, ссылаясь на работы известных специалистов, считает: суть македонского вопроса, а также концепций македонской государственности (автономия, независимость) менялась и находилась в зависимости от переживаемой фазы развития. Им отмечается и большая роль внешнего фактора в укреплении македонской национальной идентичности, особенно в период 1940-х и 1990-х годов. Можно согласиться с мнением Ш. Требста, что с укреплением суверенитета Республики Македония вырастет и свобода македонских, болгарских, сербских, греческих ученых, занимающихся историей македонского региона со времен античности до наших дней¹⁷.

Примечания

- ¹ Романенко С. А. Югославия, Россия и «славянская идея». Вторая половина XIX — начало XXI веков. М., 2002. С. 488.
- ² Апостолски М. Студии и статии. Скопје, 1975. Т. 2. С. 238.
- ³ Македонският въпрос. Историко-политическа справка. София, 1968.
- ⁴ Мартис Н. Фалсификация история Македонии. Афины, 1992. С. 88—91.
- ⁵ Тодоровски З. Македонската историографија и политика (актуелнирефлексии во македонскиот плуралистички систем) // Македонската историска наука. Достигнувања и проблеми. Скопје, 2000. С. 512.
- ⁶ Требст С. Бугарско-југословенската контроверза за Македонија. 1967—1982. Скопје, 1997. С. 54.
- ⁷ 50 години Институт за национална историја. 1948—1998. Скопје, 1998. С. 12.
- ⁸ Историја на македонскиот народ. Скопје, 1998. Т. 2. С. 3.
- ⁹ Историја на македонскиот народ. Скопје, 2003. Т. 5.
- ¹⁰ Панов Б. За развојот на македонската медијалистика // Македонската историска наука. Достигнувања и проблеми. Скопје, 2000. С. 13.
- ¹¹ Там же. С. 22.
- ¹² Ристовски Б. Сознајби за јазикот, литература и нацијата. Скопје, 2001. С. 75.
- ¹³ Ристовски Б. Сознајби... С. 30.
- ¹⁴ Димитров Б. Десетте лъжи на македонизма. София, 2003.
- ¹⁵ Цит. по: Утрински весник. 2003. 11. VIII.
- ¹⁶ Требст С. ВМРО + 100 = ПЈРМ? (Политика на македонската историографија) // Македонската историска наука... С. 130—132.
- ¹⁷ Там же. С. 140.

О месте и роли курса «История южных и западных славян» в структуре учебного плана исторических факультетов

Госстандарт 2000 г., предложенный Министерством образования Российской Федерации для студентов, обучающихся по специальности 020700 — «История», уменьшил количество часов, приходящихся на всеобщую историю (историю мировых цивилизаций) с 1 680 до 1 184, т. е. примерно на треть. Конечно, это ставит вопрос о структуре самого блока «Общепрофессиональных дисциплин», куда входит в том числе «История южных и западных славян».

Как таковой предмет «История южных и западных славян» в Госстандарте не обозначен. Есть раздел, в котором предусматривается чтение «Региональной истории». Обеспечение его одной или двумя дисциплинами, определяемыми вузами, зависит от наличия в них квалифицированных преподавателей. Вероятно, такая нестабильность положения предмета в Госстандарте объясняется двумя причинами: нехваткой специалистов-славяноведов и отношением к самой дисциплине, которая, по мнению некоторых руководителей учебного процесса, не является стратегически важной в деле подготовки историков. Непосредственная работа со студентами на кафедре всеобщей истории Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, возможность соотносить вложенный в них труд и его результаты, позволяют мне высказать некоторые соображения относительно логики построения, места и роли читаемого мной курса «История южных и западных славян».

I. О том, что изучать

Первая точка зрения.

Название научной отрасли знаний «История южных и западных славян» предполагает, что в основу ее положен этнический принцип. Она является неотъемлемой частью славяноведения — комплекса гуманитарных наук, изучающих происхождение, историю, современное общественно-политическое развитие, историю культуры, особенно письменности, и языка сла-

вянских народов. Понятие «славяноведение», пишет Л. П. Лаптева, *«может иметь различное содержание и различный объем, — в зависимости от того, где и кем употребляется»*. В России к славяноведению традиционно относится *«исследование материальной и духовной культуры южных и западных славян, а также древних славян, т. е. славянских племен до государственных объединений и создания национальных языков»*¹, а собственно российская тематика становится объектом изучения истории России. Но закономерно ли положение, при котором в одних странах (неславянских) в термин «славяноведение» вкладывается одно содержание, а в других оно значительно сужается. Каждый ученый должен четко представлять поле исследования. И если уж принимать славянство (в определенные периоды истории) как нечто целое, то и изучать его следует в совокупности. Вряд ли, читая лекцию по истории раннефеодального Чешского или Польского государств, стоит подробно останавливаться и на становлении Киевской Руси. Но теоретическая часть лекции, включающая общие проблемы формирования раннефеодальных государств средневропейского типа, должна затрагивать и русский материал, и венгерский, выходящий за пределы славянства, но позволяющий полностью представить особенности данного типа. Таким же образом рассматриваются и проблемы христианизации и т. д. Не случайно во всех изданиях, посвященных принятию христианства и становлению средневековой культуры, представлены статьи о Руси и Венгрии.

Вторая точка зрения.

Правомерно утверждать, что в советское время существование славяноведения обосновывалось, в том числе, и политическими, и идеологическими соображениями. Социалистический лагерь имел свою историю, которая в значительной мере опиралась на созданный «славянский мир». Институт славяноведения был переименован в 1968 г. в Институт славяноведения и балканистики, включив в сферу своих исследований венгерскую и румынскую проблематику, и, таким образом, изучение стран социализма сосредоточилось в одном месте. В настоящее время политическая ситуация кардинально изменилась. Организационный развал советской науки способствовал пересмотру подходов к изучению славянских народов, что зафиксировано и в Госстандарте. Акцент сделан на изучении регионов, *«обладающих определенной исторически обусловленной устойчивой спецификой, которая проявляется на всех уровнях — политическом, социальном, культурном и типологически отличает общества, принадлежавшие региону от соседей»*². Без сомнения, такой подход формирует правильное понимание у студентов того факта, что европейское пространство всегда

представляло сосуществование больших поликультурных и полиэтнических обществ, где немцы жили бок о бок с чехами, а православные сербы с боснийцами-потурченцами, не только конфликтуя, но и создавая новые культурные ценности и формулируя общие идеологические установки. Прежде всего это касается таких империй, как Австрийская, Российская, Османская. Они, поглощая национальные регионы, навязывали им свои пути развития, свои механизмы, которым трудно, а иногда и невозможно было противостоять. Именно империя становилась объектом и субъектом международных отношений, так что говорить о частности без характеристики целого становится невозможным. Поэтому был поставлен вопрос о выделении в качестве самостоятельной «Истории Центральной и Юго-Восточной Европы», которая включала бы наряду с историей славянских народов и историю венгров, румын и других народов и созданных ими государственных образований в региона*. Это правомерно, поскольку, к сожалению, студенты региональных вузов, зная историю Болгарии, Чехии, Польши, югославянских земель, имеют весьма скромные по объему представления о Венгрии, молдово-валашских княжествах и др. История украинских, белорусских и литовских земель и вовсе становится большим «белым пятном», знакомством с которым не утруждают себя ни специалисты «отечественники», ни «всеобщники». Подобный курс по праву может заменить «Историю южных и западных славян» (речь идет только о нестоличных университетах, поскольку в МГУ существует свой учебный план подготовки специалистов-славяноведов, который построен на давно устоявшихся традициях). Но стоит ли вводить это новшество? Не знаю. Курс требует не столько формального переименования, сколько расширения, усиления сравнительной, обобщающей, проблемной компоненты.

Третья точка зрения.

В учебнике по «Истории южных и западных славян», выпущенном специалистами Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова «историческое славяноведение» в конце XX в. представлено как «совокупность страноведческих и компаративистских дисциплин»³. Таким образом, есть еще один способ решить проблему. Курс может быть заменен несколькими страноведческими дисциплинами, что даст возможность

* В 1970-е и 1980-е годы множество реализованных научных проектов советских славяноведов проходило в рамках продолжающихся серий, подобно изданию «Центральная и Юго-Восточная Европа в эпоху перехода от феодализма к капитализму».

более глубокого изучения фактического материала. Но, во-первых, вряд ли провинциальные вузы имеют необходимое число специалистов-славяноведов, получивших фундаментальное образование. Во-вторых, при отводимом Госстандартом количестве часов на «Региональную историю» (250 часов, примерно половина из которых — аудиторная нагрузка) она дробится не более, чем на 3 коротких страноведческих курса, в рамках которых вряд ли будет возможным обращение к сравнительно-историческому методу. Вся история может превратиться в подобие плохо сшитого лоскутного одеяла.

II. О стратегии курса

В Ярославском государственном университете им. П. Г. Демидова несколько лет практикуется так называемая параллельная система обучения. Она предполагает такую корректировку учебных планов, при которой студенты на 2 курсе изучают русское, западное средневековье, и им читается курс «Истории южных и западных славян (периода средневековья)». На 3 курсе они изучают проблемы новой истории, на 4 — новейшей. Опыт, с моей точки зрения, не совсем удачный. Любой курс должен представлять единое целое во времени (год, семестр), когда материал — и проблемный, и фактический, — следуя блок за блоком, формирует представление о причинно-следственных связях. Искусственное «растягивание» предмета на три года (с изучением ежегодно во втором семестре) приводит к тому, что ко многим конкретным событиям приходится возвращаться вновь. Общая направленность курса исчезает. Вероятно, выход может быть только один. Лектор, ведущий курс, в полной мере должен представлять все основные проблемы отечественной и зарубежной истории, демонстрируя синтезность исследовательского подхода.

Возрастающий объем курса может быть компенсирован благодаря рациональному включению в учебный процесс дисциплин по выбору национально-региональной (вузовской) составляющей (предусмотрены по блокам ОПД и ГСЭ) и факультативов. Их важнейшее значение заключается в том, чтобы органично дополнять друг друга и расширять навыки исследовательской работы, необходимые историку-специалисту. Это может быть достигнуто только благодаря системности и стратегическому планированию курсов в рамках пятилетнего учебного плана. Конечно, нет необходимости в жестком следовании определенной тематике, но логика образовательного процесса должна сохраняться. На практике же курсы по

выбору и факультативы все чаще превращаются в «изгоев» учебной программы, а их тематика либо дублирует сюжеты основных курсов, либо является слишком узкой. То же относится и к построению блока дисциплин специализации, где важно соблюдение хронологическо-проблемного принципа.

III. О роли курса в подготовке историка-специалиста

По моим наблюдениям, курс играет важную роль в системе подготовки специалиста-историка, позволяя овладеть всеми необходимыми для профессионала качествами. С самых первых проблем (формирование славянского этноса, например) затрагиваемых в курсе, формируется представление о дискуссионности в науке, недогматичности мышления. Материал курса в полной мере демонстрирует значение междисциплинарных исследований: археологии, археографии, этнографии, лингвистики, литературоведения и т. д. Семинарские занятия, при обращении к опубликованным источникам и исследовательскому опыту, накопленному отечественным славяноведением, вызывают интерес у студентов и дают прекрасную возможность формирования критического подхода к источнику. Особую значимость в развитии исторической науки имеют проблемы, которые дают вариативные решения. Они помогают оттачивать логику, искать дополнительные факты, пытаться заново читать источники, по-новому формулировать вопросы к ним. Иными словами, студент получает возможность поставить собственное «представление» по либретто, которое уже было использовано историей. Только такие проблемы и могут по-настоящему показать, что «историк» — это не просто специальность, записанная в дипломе, но и образ жизни, который может быть чрезвычайно притягателен. Как пример приведу возможность организации «мастер-класса», по кирилло-мефодиевской проблематике, из которой целесообразно выделить лишь один сюжет — хазарскую миссию святых братьев. В центре размышлений находится проблема вымысла и реальности: может ли вымысел стать исторической реальностью, и где граница, за которой историческая реальность превращается в вымысел?

«История южных и западных славян» формирует понимание многовариантности развития, синтеза культур и взаимовлияний, их форм и последствий. Наконец, в центре внимания курса находятся, пожалуй, самые интересные территории: Балканы — как регион конфликтности, «пороховой погреб Европы», и Чешские земли — как пример многочисленных компромиссов, олицетворяющих «бархатность» развития. И здесь есть мно-

жество возможностей привести студентов к признанию приоритета толерантности, к пониманию важности поиска политических выходов из кризисных ситуаций. Несмотря на то что в последнее время процесс деидеологизации науки и ее рационализации влечет за собой отказ от воспитательных функций, сосредоточивая внимание на «жестких рациональных программах без гуманитарной лирики»⁴, научный дидактизм не возможен без усвоения студентом определенных моральных норм, носителем которых является лектор. Его комментарии не могут иметь только научное значение. Вольно или невольно он становится проводником тех или иных ценностей и жизненных установок. Поэтому я не могу согласиться с мыслью Н. Е. Покровского о том, «что *“миссию” поддержания классического знания надо продолжать, но для весьма ограниченного числа студентов и силами наиболее талантливых преподавателей*»⁵. Классическое знание, освоение которого необходимо для интеллигенции, технической или гуманитарной, не может существовать для одних, которые смогут «выгодно продать себя на рынке труда»⁶, и не существовать для других. Лектор или обладает им или нет.

Лучшие университеты всегда отличались тем, что, воспитывая высококвалифицированных специалистов, они являлись центрами формирования интеллигенции. Принадлежность к ней определяется не только количеством знаний, но и способом мышления, этикой. Если пойти исключительно по пути превращения из студентов «копилки знаний, выработанных человечеством», то они, успешно конкурируя на рынке труда, вряд ли смогут стать российскими интеллигентами.

IV. Об обеспеченности курса учебной литературой

Во-первых, подготовка к семинарским занятиям и коллоквиумам показывает недостаточность обеспечения курса источниками. Трехтомной хрестоматии, подготовленной учеными разных вузов и научных центров, и вышедшей с 1987 г. в Минске, недостаточно. На комплекс источников, опубликованных в ней, можно опираться при написании курсового сочинения, но не дипломной работы. Конечно, в последнее время были изданы отдельные источники с обширными комментариями, которые представляют самостоятельные научные исследования. Но не каждый студент имеет возможность приобрести их для личной библиотеки. Да и найти подобные издания на прилавках даже специализированных магазинов трудно.

Во-вторых, стремительное развитие науки, новые методологические подходы к историческому процессу диктуют настоятельную необходимость

обеспечения учебного процесса методическим и учебным материалом, который позволял бы студентам исторических факультетов освоить новые достижения в области современных исследований. Вопрос о необходимости создания новых учебников и их концепции не раз был предметом дискуссий в высшей школе, в ходе которых сформировалось три точки зрения. 1. *Учебник в высшей школе не нужен*, поскольку он является, прежде всего, средоточием фактического материала, который можно почерпнуть (и в гораздо большем объеме) из исследовательской литературы или из старых учебников. Так как лекции носят авторский характер, именно они должны помочь студенту разобраться в многочисленных концепциях. Иными словами, разнообразие методологических подходов подразумевает и разнообразие учебников, что разрушает единство исторической науки.

2. *Учебник необходим* как обязательный ориентир, сборник знаний, которые устоялись, поскольку лектор не может в ходе курса охватить весь материал. Особенно важен учебник для студентов заочных и вечерних отделений. Чтение ряда курсов и их объем на факультетах зависит от наличия специалистов в той или иной области знаний. В такой ситуации учебник может стать ориентиром не только для студенческой аудитории, но и необходимым для работы преподавателя. Особенно это касается технических вузов с ограниченным гуманитарным циклом, где «История России» и «Всеобщая история» читаются в кратком изложении, и исторических факультетов педагогических институтов, нацеленных на подготовку не исследователей, а учителей средних общеобразовательных школ.

3. *Учебник нужен на младших курсах*, на старших же студент готов работать с предлагаемой ему литературой и источниками.

В 1998 г. вышел двухтомный учебник по «Истории южных и западных славян», рекомендованный для студентов высших учебных заведений. В нем содержится богатый фактический материал, обозначены новые подходы к трактовке тех или иных событий. Но, как во всяком учебнике, созданном большим коллективом авторов, в нем нарушен принцип единства подачи материала. В одних страноведческих разделах большее внимание уделено экономике, в других преобладает изложение политической истории. Страноведческий принцип не позволил раскрыть общее и особенное в развитии славянских земель. Когда студенты берут учебник в руки, то явное разочарование вызывает второй его том, посвященный новейшему времени. Действительно, раздел «Славянские страны. Середина 40 — конец 90-х годов» во 2-м томе занимает такой же объем как раздел «Польские земли в Средние века и Раннее Новое время» в 1-м томе.

22 октября 2003 г. кафедра истории южных и западных славян Московского государственного университета провела совещание специалистов-славяноведов исторических факультетов вузов России, поставив вопрос о необходимости и возможности создания нового учебника по «Истории южных и западных славян». В выступлениях д. и. н. проф. Г. Ф. Матвеева, д. и. н. проф. Д. И. Польшванного, д. и. н. проф. Л. П. Лаптевой и других участников совещания подчеркивалось следующее:

1) существующий учебник, сохраняющий традиции академической университетской науки, является необходимой частью учебного процесса. Он позволяет студентам получить фундаментальные знания по «Истории южных и западных славян». Но этого учебника не хватает, в ряде вузов его нет или имеется два-три экземпляра.

2) совершенствование учебного процесса в классических университетах требует создания целого комплекса учебных материалов при участии ведущих специалистов, имеющих опыт преподавания дисциплины и обладающих методическими навыками. Подобный комплекс (кроме уже существующего учебника) должен включать: новый учебник, построенный на принципах проблемного подхода; хрестоматию как сборник источников, необходимых для обеспечения семинарских занятий; антологию, в которую войдут избранные произведения признанных ученых-славистов, незаслуженно забытые или ставшие библиографической редкостью. Современный историк-специалист обязательно должен овладеть и географическими знаниями, усвоению которых могут способствовать географические атласы. Важным подспорьем в работе лектора являются уже изданные кафедрой учебные пособия по историографии и источниковедению. Первое нуждается в переработке и дополнении, второе — в продолжении, поскольку доведено только до XVIII в.

Дополнительные учебные материалы могут включать и периодические издания, в которых подводились бы итоги политическим процессам в Центральной и Юго-Восточной Европе последних лет, что в какой-то мере позволит студентам получить адекватные представления о сложных проблемах и изменениях в регионе.

3) пожалуй, самой насущной необходимостью для региональных университетов является языковая подготовка студентов. К сожалению, здесь не поможет даже труд преподавателя-энтузиаста. Но каждое учебное заведение в нынешних условиях имеет Интернет — класс, позволяющий воспользоваться услугами дистанционного обучения. Электронные курсы по изучению славянских языков могут быть результатом заключения договоров на

платной основе. Важно, что принимающая сторона будет играть активную роль, способствуя их эффективности. Если такие курсы предварить ФПК, то преподаватели на местах смогут контролировать работу своих подопечных, проводить индивидуальные занятия.

Высказанные мною суждения о развитии «Истории южных и западных славян» как учебной дисциплины носят дискуссионный характер. Но, как известно, в споре рождается истина. Опираясь на богатейшую двухсотлетнюю традицию университетского преподавания, огромный научный потенциал, российское славяноведение не только имеет право на выживание (в рамках Госстандарта высшего образования), но и должно получить дальнейшее развитие.

Примечания

¹ *Лаптева Л. П.* Славяноведение в Московском университете в XIX — начале XX века. М., 1997. С. 6.

² *Миллер А.* Об истории концепции «Центральная Европа» // Центральная Европа как исторический регион. М., 1996. С. 5.

³ История южных и западных славян. Т. 1. Средние века и новое время / Под ред. Г. Ф. Матвеева и З. С. Ненашевой. М., 1998. С. 3.

⁴ *Покровский Н. Е.* Университет: храм науки или оптовый рынок знаний? // AUDITORIUM.RU 202. М., 2003. С. 15.

⁵ Там же. С. 16.

⁶ Там же. С. 17.

III СЕКЦИЯ

Л. Н. Будагова

Новые подходы к изучению славянских литератур

Славистическое литературоведение, как и любая другая наука не стоит на месте, исподволь обновляясь вместе с жизнью и предметом своих исследований. Но сейчас поиски новых подходов к материалу ведутся особенно интенсивно, что определяется периодом смены идейно-политических координат, который мы переживаем, резким изменением с конца 1980-х годов условий жизни и развития славянских литератур. Страны, строившие социализм с ориентацией на СССР (в известной мере вынужденной), смело шагнули на путь «строительства капитализма», тоталитарные режимы сменились демократическими со всеми вытекающими из этих тектонических сдвигов последствиями — идеологическими и психологическими.

«Новые подходы» к изучению славянских литератур можно понимать по-разному, точнее, их можно искать на разных уровнях: отвечая, во-первых, на вопросы, что делать, что изучать, т. е. на тематологическом уровне выбора объектов и проблем исследований; во-вторых, озадачиваясь вопросом, как делать, как изучать, т. е. на уровне методологии, принципов анализа писательского творчества, литературных произведений; в-третьих, на уровне ретроспекции, т. е. ревизии результатов прежних научных исследований с пересмотром уже изучавшихся явлений, их места и значения в национальной и мировой культуре, их устоявшихся интерпретаций. Все эти уровни, разумеется, не изолированы друг от друга и непосредственно связаны с процессом глобальной переоценки ценностей, характерном для каждого переломного этапа истории.

Вопросы «новых подходов» волнуют и тех, кто следит за текущим развитием славянских литератур, и тех, кто обращен своими профессиональными интересами в прошлое. Вероятно, у каждого есть свое видение этой проблемы. Хотелось бы поделиться собственными соображениями на этот счет, а также информацией о том, как это «новое в подходах» реализовывалось в некоторых литературоведческих трудах Института славяноведения РАН.

Ответ на вопрос, что изучать — однозначен: литературный процесс во всем его объеме, без тех белых пятен и умолчаний, которые возникали отчасти по незнанию, отчасти из-за прежней, внешней или внутренней

цензуры, разделяющей писателей на достойных и не достойных изучения или даже простого упоминания. В текущий литературный процесс, в историю литератур теперь возвращаются запрещенные (или замалчивавшиеся) авторы — эмигранты, диссиденты, все те, кто допускал критику послевоенных режимов в своих странах, или был просто чем-то не угоден властям. Тоталитарные государства, выступавшие главными «спонсорами» своей культуры, требовали от ее деятелей безоговорочной поддержки, «наказывая» непослушных репрессиями или бойкотом. В результате, к анализу и популяризации допускалась лишь часть национальной литературы, а живой литературный процесс из-за идеологической предвзятости искажался и редуцировался литературоведением. Теперь пришло время покончить с деформациями, ликвидировать «белые пятна», создать адекватные представления о каждой славянской литературе, вернув ее образу объективно присущие ей параметры.

В связи с этим возникают новые научные направления. Популярным становится изучение литературы эмиграции. В Институте мировой литературы РАН создан отдел Литературы русского зарубежья. Активно занимается деятельностью русской и украинской послереволюционной эмиграции (в основном, пока в историческом, а не литературоведческом аспекте) Славянский институт в Праге. Интерес к творчеству писателей-эмигрантов, которых по политическим причинам было особенно много среди славян, побудил польского литературоведа Л. Суханека выступить на XII международном съезде славистов в Кракове (август—сентябрь 1998 г.) с предложением основать особую науку «эмигрантологию». Но, независимо от того, удержится ли этот термин, или нет, эмигрантская литература уже активно исследуется в рамках изучения литературы той или иной страны.

В проекте работы Комиссии по сравнительному изучению литератур (после XIII съезда славистов ее возглавила автор проекта — польский компаративист Г. Янашек-Иваничкова) в качестве перемен, которые происходят в литературоведении, отмечается «упор на антропологизацию мышления о литературе в противовес его прежней идеологизации», подчеркивается необходимость «вписать литературу в модель культуры нравов, менталитета и эстетики нашей эпохи», иными словами, рассматривать ее как человековедение и воплощение нравственных, эстетических и мировоззренческих норм своего времени. Здесь речь идет не столько о полном обновлении науки о литературе, сколько о ее новых акцентах и о закреплении — в качестве доминирующих — тех тенденций и начал, которые уже реализовывали крупнейшие литературоведы прошлого, не являв-

шиеся рабами определенных идеологий (М. Бахтин, М. Алексеев, Д. Лихачев, Г. Маркевич, А. Флакер, К. Крейчи, А. Матушка и др.). Вместе с этим, в проекте Г. Янашек-Иваничковой намечены новые и достаточно смелые темы конкретных изысканий. Как бы вытекающие из деидеологизации и антропологизации литературоведения, они расширяют предмет литературоведческой науки за счет маргинальных или, напротив, важных, но еще мало изученных явлений. Среди них значится «литература, посвященная группам и слоям, лишенным возможности говорить от себя», а именно: феминистская литература, раскрывающая значение женщины в формировании антипатриархальной культуры; литература о межэтнических проблемах, литература культурного пограничья, показывающая — через образы немца, еврея, венгра, турка — отношение славян к культурным меньшинствам и их вклад в славянскую культуру. Выделяется литература девиационных меньшинств о страданиях и мечтах людей, находящихся вне общепринятой системы морали: наркоманов, алкоголиков, людей с криминальным прошлым; литература, развивающаяся под знаком «свободного Эроса», а нередко и порнографии.

Острая потребность не только изучить не изученное, но и привлечь (в условиях падения интереса к книге) внимание общественности к литературе и литературоведению рождает темы неожиданные, порой сенсационные. Так, одна из пражских литературоведческих конференций 1990-х годов исследовала «Роль трактира в развитии чешской литературы»; чешский литературовед Р. Пытлик выпустил в 1996 г. книгу «*Ve stínu lípy. Putování po pražských hospůdkách, vinárnách a kavárnách*» («В тени черпака. Странствия по пражским трактирам, кабакам и кофейням»), посвященную той же проблематике и пародийно обыгрывающую название патриотической поэмы Св. Чеха 1879 г. «*Ve stínu lípy*» («В тени липы»). В Словении, по свидетельству Т. И. Чепелевской¹, вышла книга психиатра М. Кошичека «Женщины и любовь в глазах И. Цанкара», вторгшаяся в интимную жизнь прославленного писателя с риском нарушить традиционно благоговейное отношение словенцев к своему кумиру.

Что же касается методов анализа, то сейчас утверждается плюрализм подходов к литературному процессу. Он складывается из национальных литературоведческих традиций и тех навыков, которые формируются под влиянием структурализма, постструктурализма, «новой критики» и других школ и течений в литературоведении XX в. Выбор же аналитического инструментария зависит от поколенческих и личных вкусов ученых, от

их кругозора и научных интересов. Этот плюрализм констатировали и участники «круглого стола» — «Новое в зарубежном славистическом литературоведении», который состоялся в Институте славяноведения в июне 2003 г. (см. сноску 1). Его продемонстрировал и XIII международный съезд славистов в Любляне (15—22 августа 2003 г.). На литературоведческих секциях там были представлены доклады очень разные не только по содержанию и кругу поднимаемых проблем, что естественно, но и по методологии подхода к литературным произведениям. С одинаковым вниманием участники съезда слушали традиционный по способам анализа материала, но впечатляющий по выверенности фактов, тонкости наблюдений, реализации компаративистского аспекта доклад бременской русистки Д. Кшицовой («От символизма к авангарду. Поэтика русской и чешской поэзии в европейском контексте»), и не чуждые деконструктивизму, но взявшие от него не крайний субъективизм в толковании произведений, а внимательное отношение к тексту, умение вчитываться и глубоко проникать в него доклады немецкой русистки Уте Шольц «Образ черта в “Борисе Годунове” А. С. Пушкина» и Лены Силар (Италия) «Встреча Пушкина с Мицкевичем в “Петербурге” Андрея Белого». Не существующий в «Борисе Годунове» персонаж Шольц реконструировала на основе богато рассыпанных в пьесе «чертыханий» пушкинских героев, связав этот призрачный образ с народно-мифологической традицией, на которую опирался поэт. Не состоявшаяся в «Петербурге» Белого встреча двух гениев воссоздана Силар с помощью сложных ассоциаций, которые вызывали у нее упоминавшиеся в романе памятники Петру на Сенатской площади в Петербурге и Марку Аврелию на Капитолийском холме в Риме, вдохновлявших и Пушкина, и Мицкевича, и современников Белого. Примечательно, что авторы докладов, построенных на тщательном анализе текстов, позволившем выявить их скрытые смыслы, не абстрагировались от культурно-исторического контекста, в котором они возникали. Активно задействованный в докладах, он многое подсказал их авторам.

Должна отметить, что сугубо структуралистских методов анализа, или, как их еще называют — технологических, имманентных, основывающихся на идее автономности литературного творчества, его независимости от внелитературных рядов и разбирающих внутритекстовые связи, мне на съезде прослушать не удалось. Отчасти — из-за невозможности объять необъятное, побывать на всех литературоведческих докладах. Но, в основном потому, что чисто формальные методы, вероятно, выходят из моды.

В современном литературоведении, в том числе славистическом, наблюдаются отступления от структурализма и деконструктивизма, которые сосредоточены, хоть и по-разному, на текстологическом анализе: первый — на анализе структур, второй — на поисках скрытых, не замечаемых читателем и не осознаваемых автором «спящих» (Ж. Дериды) смыслов. Формальные методы не только стихийно преодолеваются, но и сознательно критикуются. Недаром современность называют этапом «размягчения (rozvoľňovani) проблемно-методических рамок литературоведения и усиления критики «нежизнеспособного» структурализма и технологических методов вообще»². Характерно, что эти методы критикуются не с позиций постструктурализма, который определяется не только как «продолжение и развитие изначально присущих» структурализму тенденций, но и как его «своеобразная самокритика»³, а с позиций более традиционного литературоведения. Констатируя углубление кризиса науки о литературе именно в сфере «имманентных методик», некоторые зарубежные ученые считают, что и герменевтика, и деконструктивизм привносят чрезмерную субъективность и произвол в толкования смыслов произведений и не способны дать то, чего ждут от литературоведения новые поколения ученых. «...Абсолютная свобода интерпретаций и произвольное включение в нее переизбытка нарочитой субъективности вызывают реакцию возвращения к старым культурно-историческим или социологическим подходам, которые, однако, выступают под другими ярлыками»⁴.

Но под какими бы «ярлыками» они ни выступали, суть одна — реабилитация традиционных литературоведческих школ, в том числе биографических, психологических, социологических. Их традиции, можно сказать, были живы всегда. Но сейчас к ним обращаются и их защищают молодые ученые, как например, прешовский русист Андрей Антоняк, издавший в 1998 г. книгу «Социокультурная интерпретация романов Шолохова “Тихий Дон”, “Поднятая целина”». Социологические подходы были скомпрометированы в свое время «вульгарным социологизмом», устанавливающим прямолинейную зависимость литературных процессов от социально-политических. Но освобожденные от этих крайностей, они способны пролить свет на многое в литературе, дать свой ключ к ее пониманию. По мнению И. Поспишила, словацкий литературовед соединил социологический подход с культурологическим, коснувшись и национального менталитета и тех условий, той «социокультурной почвы, на которой вырастали романы Шолохова»⁵.

В контексте возрождения испытанных литературоведческих традиций, т. е. определенного возврата к старому, «новые подходы» к литературам вообще, и к славянским в частности, правильнее было бы называть «современными подходами», в которых новое разумно сочетается со старым.

Подобные сочетания могут проявляться не только как широкий набор разных методов анализа, но и на более глубинном уровне, как элементы единого синтетического (комплексного) метода, в котором сочетаются навыки и приемы разных школ, как технологической, имманентной, формальной, так и культурно-исторической, биографической, психологической, социологической. Надо сказать, что крупнейшие представители русской формальной школы (И. Томашевский, Ю. Тынянов и др.), пражского литературоведческого структурализма (Я. Мукаржовский), «новой критики» (Р. Веллек) не абсолютизировали формальный анализ. Я. Мукаржовский всегда признавал связь произведения, его структуры с явлениями внелитературного ряда — с действительностью, обществом, социальными процессами. Р. Веллек в рецензии на книгу В. Шкловского «Теория прозы» писал: «Художественное произведение помимо своей художественности, которая должна быть в центре исследований, является также фактом социальным: и мне непонятно, почему нельзя изучать художественное произведение в его отношении к социальной среде, к личности и психологии автора, к развитию идей и мировоззрений»⁶. Важно, что подобные высказывания и взгляды не лежат невостребованными где-то в анналах культуры, а вводятся в контекст современного литературоведения, становятся своего рода ориентирами.

Руководствовались ими и авторы трехтомной «Истории литератур западных и южных славян» (М., 1997, 2001), и двухтомной «Истории литератур Восточной Европы после Второй мировой войны» (М., 1995, 2001). Они стремились проявлять внимание к поэтике направлений, стилей, творческих индивидуальностей, к тому, что составляет специфику литературы, придает ей «литературность», учитывая и уважая известную формулу В. Шкловского — «искусство — это прием», но не абсолютизируя ее. Ведь за всеми литературными приемами стоят и управляют ими историческая ситуация, атмосфера эпохи, уровень развития словесного искусства, характеры и судьбы конкретных людей и масса других факторов. Поэтому, склоняясь к антропоцентризму, авторы учитывали в анализе произведений личность писателя, опираясь при этом на целый комплекс подходов, на традиции культурно-исторической, биографической, психологической школ

прежде всего из-за их информативности, возможности с их помощью решить не только литературоведческие, но и страноведческие задачи: показать читателю через литературу — судьбы, жизнь и менталитет западных и южных славян (а в двухтомнике и их соседей, составивших вместе с ними после 1945 г. особую культурно-политическую общность, распавшуюся к началу 1990-х годов). Эти труды преследовали и другие цели — показать полицентризм (в противовес западноевропейскому) мирового литературного процесса, расширить представления о богатстве мировой литературы, где значительная доля принадлежит литературам славянских народов, привлечь к ним внимание читателей и специалистов, историков и теоретиков литературы. Как правило, все теории художественных эпох, направлений и стилей выводятся из специфики западноевропейских и русской литератур. Между тем опыт литератур западных и южных славян, который теоретиками практически не учитывается, может внести свои коррективы в определение их границ и критериев, их постоянных и переменных признаков. Этому способствует атипичность направлений и стилей, возникающих на славянской почве. Она помогает не только представить все богатство вариантов международных (межлитературных) художественных явлений, но и отделить их переменные «видовые» свойства, обретаемые лишь в конкретной национальной среде, от постоянных, константных, которые определяют их родовую сущность.

Период идеологического раскрепощения, когда создавались вышеупомянутые «Истории...», позволил не только многое дописать, но и многое пересмотреть из результатов прежних исследований, взглянуть на славянские литературы без присущей советскому литературоведению тенденциозности.

Используя более свободные и объективные подходы к славянским литературам, авторы старались избегать новых белых пятен, крайностей и перегибов, которыми чревата переоценка ценностей, процесс развенчания старых и утверждения новых кумиров. Поскольку об этом можно прочесть в уже опубликованных статьях⁷, коротко остановлюсь лишь на двух примерах. Порой приходится слышать (от университетских преподавателей) буквально следующее: «Раньше мы изучали социалистический реализма, а теперь — модернизм и авангард». С этим хочется поспорить. И сейчас нужно изучать (и преподавать студентам) литературу во всем ее объеме, иначе возникнут новые провалы в знаниях. Вопрос лишь в том, как изучать? Ответ: по-другому, более глубоко и менее предвзято,

чем это делалось прежде, когда явления литературы делились на «прогрессивные» (их венчал соцреализм, считавшийся «самым прогрессивным методом эпохи», лучше которого человечество ничего не придумало) и «реакционные» (к ним относили, в частности, если не практику, то эстетические концепции и взгляды писателей, связанных с модернизмом и авангардом). Теперь пришла пора оценить все эти «-измы» с научной объективностью, не раздувая и не умаляя их значение и место в искусстве. Это позволяет признать огромную роль — в развитии славянских литератур — нетрадиционных течений в целом, в том числе их крайних форм и осуждавшихся марксистским литературоведением идей и принципов индивидуализма, чистого искусства, элитарности творчества. Звучавшие в среде патриотически настроенных славянских писателей кощунственно, идеи *l'art pour l'art*-изма стали своего рода «шоковой терапией» для излечения чрезмерной политической ангажированности славянских литератур, помогая редуцировать их служебные и совершенствовать эстетические функции. Принцип индивидуализма способствовал самоутверждению личности, индивидуальности в искусстве, не обрывая, а оживляя связи между искусством и обществом, делая их более интимными и разнообразными. Авангард же, пришедший на смену модернистским течениям, стал, благодаря своему воинствующему антитрадиционализму, сознательным возмутителем спокойствия в литературной жизни славян, аккумулируя в себе ферменты глобальной модернизации национальной словесности, двигая ее, порой с помощью чрезвычайных мер (экспериментов) вперед.

Внимание к модернизму и авангарду не может повлечь за собой игнорирование революционных направлений, провозвестников и разновидностей соцреализма. Ему отдали должное, как заметному явлению искусства XX в. и авторы обеих «Историй...». В третьем томе «Истории литератур западных и южных славян» показана специфика соцреализма, возникшего в зарубежных славянских литературах в 1920—1930-е годы, его отличия от соцреализма «советского». В первом случае он — в межвоенный период — был результатом свободного выбора писателя. В СССР он навязывался и консервировался сверху. Зарубежный соцреализм оппонировал власть имущим, не приносил благ своим сторонникам, выводя их в ряды оппозиционеров и «диссидентов». В Советском Союзе он — в своей официальной части — обслуживал правящий режим, был апологетом власти, отступая ей в угоду от правды жизни и теряя нравственное ядро. Хотя всю советскую литературу нельзя свести к социалистическому реализму,

в ней были разные течения — в том числе игнорировавшие политику и власть, сосредотачивавшиеся на жизни и быте простых людей; прорывалась и критика «советской действительности». В ней есть и свои большие загадки, например, позитивное отношение властей к «Тихому Дону» М. Шолохова, хотя там нет апологетизации пролетарской революции, показанной как настоящая народная трагедия, где было трудно найти правых и виноватых и которая разрушила жизни множества людей.

Иными словами, и сейчас изучение соцреализма (а может быть, особенно сейчас!) — весьма актуально, поскольку его непредвзятый анализ, свободный от идеологических нормативов, поможет разобраться не только в литературе, но и в глобальных процессах, надеждах, иллюзиях и заблуждениях всей недавней эпохи. И это осознается учеными. В уже упоминавшейся книге И. Поспишила «Slavistika na křižovatce» (2003) приводится имя британского слависта Давида Джиллеспы, написавшего книгу о русском романе XX в., где анализируется и «Как закалялась сталь» Н. Островского ради полноты картины и репрезентативности того направления, который этот роман представляет. В Институте чешской литературы (Прага) проблематикой послевоенного соцреализма занимается молодая исследовательница П. Шамала (возглавляющий с недавних пор редколлегию журнала «Ceska literatura»). В Москве, в Институте славяноведения вышел сборник «Знакомый незнакомец» (1995), посвященный соцреализму. В 2004 г. опубликована монография сотрудницы того же Института Н. М. Куренной «Социалистический реализм. Историко-культурный аспект».

В заключение, возвращаясь к «подходам», хотелось бы подчеркнуть, что истинно новыми и современными можно назвать подходы объективные и непредвзятые, но непременно органичные для каждого исследователя и отвечающие его взглядам и складу души. Методы анализа литературного процесса, его этапов и составляющих, его разномасштабных явлений могут быть традиционными и нетрадиционными, восходящими к различным литературоведческим школам прошлого и настоящего. Их результативность в конечном итоге зависит от способностей исследователя. Как в театре «нет маленьких ролей, а есть маленькие актеры», так и в литературоведении нет плохих и хороших методов и подходов, а есть просто разные литературоведы.

Примечания

¹ См. материалы круглого стола «Новое в зарубежном славистическом литературоведении» // Славяноведение. 2004. № 1.

² *Pospíšil I. Slavistika na křižovatce. Brno, 2003. S. 147.*

³ Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2002. С. 767.

⁴ *Pospíšil I. Slavistika na křižovatce... S. 39—40.*

⁵ *Ibid. S. 40.*

⁶ Цит. по книге: *Pospíšil I., Zelenka M. Rene Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální estetiky. Brno, 1996. S. 76.*

⁷ *Будагова Л. Н. Некоторые принципы и результаты современных исследований литератур западных и южных славян // Литература, культура и фольклор славянских народов. XIII международный съезд славистов (Любляна, августа 2003). Доклады российской делегации. М., 2003; Она же. К выходу третьего тома «Истории литератур западных и южных славян» // Славянский альманах. 2002. М., 2003.*

Имагологический аспект изучения литературных связей

Сравнительно молодая научная дисциплина имагология, как это явствует из самого названия (от латинского *imago* — образ), изучает «образы», «картины» чужого мира, которые складываются не только в литературе, но и в других «текстах» культуры. Но первостепенным предметом имагологии является все же литература, ибо из всех феноменов культуры именно литературе — в силу эмоционального воздействия и особенностей ее языка — выпадает преобладающая роль в закреплении тех или иных форм общественного сознания и психологии. По крайней мере, так обстояло дело до середины XX в., т. е. до расцвета кино, телевидения и других средств массовой коммуникации, которые, взяв на себя некоторые функции литературы как средства информации, в итоге все равно опираются на ее слово.

Такая ситуация сложилась, например, в русской и польской культурах. По замечанию Ярослава Ивашкевича, «польская культура вообще является *par excellence* литературной культурой. Наша философия, наше искусство, наша мысль имели литературный характер. Наши поведенческие образцы, стимулы наших действий были литературными. Это было проклятием нашей политики. И в то же время специфической чертой нашей национальной культуры»¹. Подобное положение сложилось и в России.

Изучая образ другого народа, имагология ставит своей задачей выявить истинные и ложные представления о жизни других народов, характер и типологию стереотипов и предубеждений, существующих в общественном сознании, их происхождение и развитие, их историческую изменчивость и детерминированность, их общественную роль и эстетическую функцию в художественном произведении, «обмен» стереотипами и представлениями между художественным образом и языком повседневной жизни. Она при этом не сводится к исследованию только стереотипов, которые оказываются «застывшим» образом, некоей постоянной, идеальной моделью, не существующей в реальном мире. Однако имагология по необходимости занимается в первую очередь именно долгоживущими общественно-историческими мифами. Стереотипы являются определенной формой генерализации отдельных явлений, они унифицируют представления об этнических и общественных группах, институтах, явлениях культуры, личностях, событиях и т. д. и обладают исключительной силой убеждения и инерции

благодаря удобству и легкости их восприятия и использования. «Стереотип содержит, — замечает видный польский историк Януш Тазбир, — как бы “знания в таблетке”, что весьма существенно в эпоху, когда люди за недостатком времени охотно прибегают к упрощениям. Он потрафляет нашей лени, поскольку апеллирует к имеющимся знаниям, которые приобретены сравнительно легко и легко передаются следующим поколениям»².

Представления о «другом» отнюдь не всегда полностью совпадают с объективной исторической реальностью, они, как правило, являются выражением убеждений какой-то группы, и это необходимо учитывать, поскольку в одно и то же время могут существовать полярно противоположные стереотипы и представления о другом. В России, как известно, полонофильство и полонофобия существовали одновременно в разных культурных и социальных группах, что нашло отражение не просто в общем сознании, но и в образах литературы, созданных в этих разных группах. Но даже если подобные убеждения и противоречат реальности, рождаясь и закрепляясь в определенных исторических, национальных, политических и экономических условиях, они сами становятся исторической реальностью, тиражируются, наследуются, приобретают новые символические значения и актуализируются в зависимости от идеологических и политических потребностей другого времени.

Разумеется, при рассмотрении разного рода стереотипов надо иметь в виду типологическую и конкретно-историческую стратификацию общества. Ведь разные социальные слои различаются уровнем мифологизации своих представлений о мире, в том числе о других народах. Интеллектуальной элите в большей степени присущ рациональный подход, опирающийся на знание и этику, в то время как другая часть общества, которая проявляет большую политическую и социальную активность, и в еще большей степени эмоционально возбудимые «массы» используют в своем видении мира главным образом сложившиеся и бытующие стереотипы.

Стабилизация этнических стереотипов, структурирование и закрепление в языке комплекса представлений одной этнической группы о другой либо о самой себе (автостереотип) происходит прежде всего в текстах культуры. При этом наряду с политическими и идеологическими факторами надо иметь в виду, что однажды созданный художественный образ не отменяется последующим развитием литературы (другим ее образом), а продолжает «работать» на восприятие читателя одновременно с более поздними или прямо противоположными. Образ и, может быть, в первую очередь лаконичная, образная формула — будь то анекдот, стихотворная строка, пого-

ворка — легко врзается в память, а отрываясь от контекста, превращается в долгоживущее расхожее клише — самостоятельно живущий миф. Так, известная строчка из «Казачьей колыбельной песни» Лермонтова — «злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал» — сначала интерпретировалась в массовом сознании как позиция самого поэта, а затем, отделенная от текста и контекста, стала оправданием лично неприязненного отношения к чеченцам, якобы «поддержанного» Лермонтовым. Так же проникла в русское сознание пушкинская формула «кичливый Лях», ставшая для обывденного сознания определением польского национального характера. В свою очередь строка Мицкевича из «Отрывка» третьей части «Дядюв» о рабской покорности русского народа — «героизм неволи» — до сих пор является стержнем распространенного в польских текстах стереотипа русского народа.

В основе этнических стереотипов лежит этноцентризм, т. е. склонность людей рассматривать проявления культуры чужого народа сквозь призму своих собственных культурных традиций и ценностей. «Каждый народ, — формулирует эту мысль В. Н. Топоров, — осознанно, полуосознанно или неосознанно — несет свою идею, свой мир представлений и о себе, и о другом. И поэтому эти естественные и даже необходимые различия своего и чужого на фоне бесспорно общих задач жизнеобеспечения становятся предлогом, почвой, местом, где начинаются несогласия, различия, споры и ссоры»³.

Для отношений между двумя этническими группами, особенно соседними, всегда характерно противопоставление одного этноса другому, противопоставление «мы» — «они», выражающееся чаще всего в эмоциональной оппозиции «свои» — «чужие», или, как говорили еще в древнем Риме, — «*hospes, hostis*». Еще до становления ясно выраженного национального сознания происходило осознание отличия своей этнической группы от иной в плане обычаев, конфессии, общественного устройства и языка.

Так — в практически неизбежной конфронтации к «чужому» — происходит и постижение «своего», в том числе и в сфере культуры. Ибо, как точно отмечено В. В. Мочаловой, «для складывания нового, для создания и осознания собственной самобытности нужны борьба — идейная и литературная, межкультурный диалог, осязаемое противостояние»⁴. «Свое» не только более зримо выступает на фоне «чужого», но и формируется во взаимодействии с ним, оценивается в сопоставлении с ним.

Ощущение своей принадлежности к определенной национальной группе в известных исторических ситуациях порождает сознание превосходст-

ва своей группы над другими, которые наделяются всевозможными отрицательными качествами: бесчеловечность, жадность, хитрость, лицемерие, жестокость и т. д. С течением времени это чувство становится постоянно действующей нормой, которая передается из поколения в поколение, закрепляясь в устных преданиях и обычаях, в исторических, публицистических, художественных текстах, в произведениях искусства и т. д.

Формирование, стабилизация и разрушение этнического стереотипа определяется многими факторами длительного исторического процесса. Важнейшую роль в этом процессе играет господствующая идеология данного общества. Польский вопрос в России, например, в том числе обращение русских писателей к польской теме и ее интерпретация, всегда находились под мощным воздействием политической ситуации. В XVII в., после периода «смуты» характер обширной антипольской литературы в Московской Руси определило сопротивление польской интервенции; в XIX в. — польские национальные восстания вызвали мощную волну взаимного недоверия и вражды — к тираническим «москалям» в Польше и «коварным» и «кичливым Ляхам» в России. В XX в. представления о Польше в России формировались под влиянием революции 1905 г., событий Первой мировой войны и, конечно, Октябрьского переворота 1917 г., а затем польско-советской войны 1920 г., «четвертого раздела» Польши в сентябре 1939 г. и т. д.

В советский период политизация польско-русских культурных отношений в России по сравнению с предшествующими эпохами даже усилилась — уже в духе коммунистической идеологии, а после Второй мировой войны — и с целью советизации Польши. Политика советизации явилась фактической наследницей русификации Польши (ее части, принадлежавшей царской России) в дореволюционные годы.

Исследовательские задачи, выдвигаемые имагологией, непосредственно связаны с потребностями современной жизни, ее идеологии и культуры, с осознанием того, что формируемый разными обстоятельствами, в том числе случайностями, незнанием, ограниченностью восприятия и т. п., образ «другого», часто весьма далекий от реальности, имеет не меньшее историко-культурное значение, чем сама действительность. Им во многом руководствуются в своей практической деятельности люди, от которых зависит ход истории. Образы «другого» в литературе организуют схемы восприятия иного жизненного опыта и отношения к ним. Создаваемые творческим воображением автора, опирающегося на сложившуюся культурную традицию, они начинают играть активную роль в формировании ментальности

ти современников и даже следующих поколений. Речь при этом не идет, как полагают некоторые, о выявлении с помощью имагологии чужого так называемого национального характера. Скорее можно говорить о том, что образы чужой жизни, складывающиеся в большом историческом времени в традицию, в инвариантные, устойчивые структуры сознания, отражающие исторический опыт своей нации, не только обогащают знания о другом народе, но, может быть, в первую очередь, характеризуют собственную этническую ментальность.

При всей устойчивости и живучести образов *другого* в текстах культуры их описание в каждую новую историческую эпоху является важной научной проблемой хотя бы потому, что происходит постоянная пульсация напряжения между традиционной установкой и ее размытием либо обогащением новыми историческими фактами и новым осмыслением уже известных фактов. Обращаясь к свидетельствам культуры, мы обнаруживаем своеобразный парадокс. С одной стороны, культура транслирует стереотипы, с другой — в наиболее высоких своих проявлениях она же преодолевает стереотипы, узурпировавшие массовое сознание.

Таким образом, имагология выявляет и исследует истинные и фальсифицированные представления о другом народе с точки зрения их происхождения и общественного воздействия. Объединяя для решения этих задач усилия представителей разных гуманитарных дисциплин и являясь для них общей базой, имагология в то же время позволяет расширить рамки традиционного сравнительного литературоведения. В 60—80-е годы XX в. в результате оживленных дискуссий в русском литературоведении утвердилось положение о двух аспектах сравнительно-исторического изучения литератур: изучение непосредственных, так называемых контактных связей — влияний, заимствований, реминисценций, филиаций и т. д., с одной стороны, и типологических схождений — с другой. Имагология вносит в изучение литературных связей новый аспект — исследование отражения жизни других народов в литературных и паралитературных (летопись, хроники, путевые заметки, дневники, письма и т. д.) произведениях. Очевидна актуальность такого подхода в нынешнем мире, стремительно объединяемом современными технологиями и столь же мощно разъединяемом искаженными представлениями народов друг о друге.

Имагологический аспект изучения литературных связей не означает отказа от других методологий, не отменяет сложившихся ранее историко-литературных подходов к теме восприятия и интерпретации литературы, тем более что и с их помощью предстоит создать объективную картину дей-

ствительной истории связей литература — читатель — литература. Ведь в годы существования «социалистического лагеря» многие важные явления литературного процесса замалчивались, искажались, без внимания оставалась важнейшая социокультурная проблематика. Первостепенное место уделялось революционным, интернациональным связям, изучение которых считалось единственно возможным вкладом в идейное воспитание народов. Вполне очевидна научная ограниченность и тем самым общественно-политическая ущербность такого одностороннего изображения историко-культурных процессов.

Взять, например, исторический опыт взаимоотношений русского и польского народов, полный противоречий и драматических столкновений, чрезвычайно богатый фактами и событиями. Он нуждается сегодня в новом осмыслении, свободном как от декларативных утверждений о вечной дружбе народов, так и от преувеличенно негативной оценки русско-польских отношений. Подобной оценки не избежал даже выдающийся польский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе Чеслав Милош, который в своей книге «Родимая Европа» писал: «Поляки и русские друг друга не любят. Точнее, они испытывают друг к другу разные неприязненные чувства, от обиды и презрения до ненависти, что не исключает, однако, непонятной взаимной тяги, всегда окрашенной недоверием»⁵.

Нет нужды делать вид, что не было взаимной неприязни и проявлений враждебности. Вместе с тем наша общая история отмечена взаимным интересом друг к другу, обменом культурными ценностями, а во многих случаях искренней увлеченностью. Взаимодействие наших народов и культур проходило, можно сказать, в зоне повышенного напряжения, поэтому сегодня это крайне привлекательное поле для исторических и культурологических исследований. Необходимость таких исследований тем более важна, что они могут способствовать более глубокому взаимопониманию, а тем самым преодолению устоявшихся схем, взаимных претензий, негативных стереотипов.

В последние годы в Польше и России появился ряд исследований, касающихся создания образа поляка и русского в художественной литературе каждой из стран⁶. Но нельзя не заметить, что часто их авторы из одной крайности (рассмотрение только проявлений взаимной симпатии и сотрудничества) ударяются в другую (подчеркивание враждебности между народами). Об этом можно судить даже по названиям некоторых польских книг: «Лях и Москаль», «Из истории антипольских фобий в русской литературе»,

«Полячишки и Москали: взаимное видение в кривом зеркале», «Русское варварство» и т. д.

Имагология рассматривает литературные отношения как часть диалога культур, воплощенного в художественном тексте. Таким образом, филолог, изучающий литературные отношения, все более становится историком культуры. Он стремится рассматривать литературные факты, в том числе «литературные связи», как составные части культурного процесса, при этом рассматривать их в контексте явлений данной национальной культуры как единого целого.

Происходит принципиально важная переориентация многих исследований: они все чаще обращаются к комплексу взаимосвязей духовной культуры двух народов. С этим связан и пересмотр характера соотношения истории и культуры. Многие историки, а вслед за ними и представители других гуманитарных наук полагают, что культура — это лишь своего рода зеркало, в котором для обозрения обществу представляются изменения исторической жизни. Культура как форма общественного сознания — это, конечно, зеркало, в которое смотрится человеческий мир, и без такого зеркала не существовал бы и сам этот мир. Но история не сводится к событиям, ее органической частью является и их осмысление в сознании времени — в культуре, которая в свою очередь воздействует на ход и исход событий. Именно культура влияет на формирование национального сознания и тем самым является активным участником исторического процесса.

Литература оказывается здесь важнейшим компонентом диалога культур, одной из его составляющих, к которым относятся также и народная культура, фольклор, и разные виды искусства, и религиозная мысль, и письменность, и общественно-политические идеи, и историко-философские концепции и многое другое. Такая постановка проблемы объединяет — или должна объединять — для ее решения исследователей разных специальностей — литературоведов, историков, культурологов, фольклористов, этнологов и т. д. Этот подход был осуществлен в исследованиях русско-польских литературных и культурных связей в их имагологическом аспекте, предпринятых Институтом славяноведения РАН совместно с Институтом литературных исследований ПАН⁷.

Примечания

¹ *Iwaszkiewicz J.* Linia naszego zycia // *Polityka*. 1978. а 43.

² *Tazbir J.* Stereotypiczny zywtw twardy // *Mity i stereotypy w dziejach Polski*. Warszawa, 1991. S. 29.

³ *Топоров В. Н.* Образ «соседа» в становлении этнического самосознания: русско-литовская перспектива // *Славяне и их соседи. Этно-психологический стереотип в средние века. Сборник тезисов.* М., 1990. С. 5.

⁴ *Мочалова В. В.* Русско-польские литературные связи XVII—XVIII вв. и становление личностного начала в русской литературе // *Литературные связи и литературный процесс.* М., 1986. С. 220.

⁵ *Miłosz Cz.* *Rodzinna Europa.* Kraków, 1994. S. 126.

⁶ См. *Kępiński A.* «Lach i Moskal». *Z dziejów stereotypu.* Warsz., Kr., 1990; *Orłowski J.* *Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej. Od wieku XVII do roku 1917.* Warsz., 1992; *Giza A.* *Polaczkowie i Moskale, wzajemny ogląd w krzywym zwierciadle (1800—1917).* Szczecin, 1993; *Opacki Z.* *Barbaria rosyjska. Rosja w historiografii i myśli politycznej Henryka Kamieńskiego.* Gdańsk, 1993.

⁷ *Поляки и русские в глазах друг друга.* М., 2000; *Россия—Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре.* М., 2002; *Миф Европы в литературе и культуре России и Польши.* М., 2004.

**Значение изучения взаимосвязей литератур
для характеристики литературного процесса
и творчества отдельных писателей
(на материале польско-русских
литературных связей в XIX—XX вв.)**

Сравнительное изучение литератур, как известно, не является самоцелью. Его конечная задача — выявление закономерностей и специфических особенностей литературного процесса или в отдельной национальной литературе, или в группе близких по языку и объективным условиям развития литератур, или в мировой литературе. Взаимные связи с другими литературами — это составная часть самого развития национальной литературы. Поэтому изучение литературного процесса невозможно без учета контактов данной литературы с другими.

Естественно, что развитие каждой национальной литературы определяется прежде всего факторами национальной жизни, особенностями культурных традиций, внутренней логикой литературного процесса. Литературные же связи своеобразно подчиняются этой логике литературного процесса, во многом зависят от нее.

Известно, что ни одна литература мира не развивалась в культурной пустоте, в изоляции от литературы других народов. Можно даже сказать, что чем выше культура того или иного народа, тем активнее ее контакты с культурой других народов. Поэтому вывод о связях какой-либо национальной литературы с другой отнюдь не умаляет ее значения и национальной самобытности.

При определенных условиях литературные контакты и взаимодействия оказывают свое влияние и на смену направлений, и на развитие характеров, и на эволюцию жанров, т. е. на то, что и составляет литературный процесс. Если речь идет о влиянии одной литературы на смену направлений в другой, то следует учитывать, что это может быть результатом воздействия не одного крупного писателя (хотя бывают и такие случаи), а целой литературной эпохи, литературного направления или школы.

Польская литература Средний веков, Возрождения, Барокко и Просвещения (классицизма) развивалась в связи с особенностями экономического, политического и культурного развития своей страны, но, конечно,

и под влиянием литератур других стран Западной Европы, прежде всего Италии и Франции. В определенные периоды — в XVII и XVIII вв. — польская культура оказывала воздействие на русскую литературу. Об этом писали А. В. Липатов и В. В. Мочалова¹.

Но с конца XVIII в., когда Польша потеряла независимость и ее земли вошли в состав России, Пруссии и Австрии, то одна из этих земель — Королевство Польское, ставшая частью Российской империи, оказалась тесно связанной в своем экономическом и культурном развитии с Россией. В течение всего XIX в. и начала XX в. польско-русские литературные связи все более активизируются — и это несмотря на всю сложность политических отношений с Россией, несмотря на польские восстания 1830—1831 гг. и 1863—1864 гг., направленных против царской России, несмотря на сопротивление польского общества русификации всех областей польской жизни. Известно, что русский язык насильственно внедрялся в гимназии и высшие учебные заведения Королевства Польского, а к концу XIX в. и в начальные классы польских школ, известно, что это вызвало естественное недовольство польского общества, нашедшее отражение — хотя и не прямое по цензурным условиям — и в литературе (Ожешко, Сенкевич, Жеромский). Русификация в Польше — это «Сизифов труд», как назвал один из своих романов Стефан Жеромский (издан под псевдонимом во Львове, т. е. за пределами Польского Королевства в 1897 г.).

К этому можно добавить, что польско-русские литературные связи активно развивались и вопреки стремлению части националистически настроенной польской прессы и критики игнорировать русскую литературу. Богатая русская литература, все более ценящаяся в Европе, приходила в польское Королевство вместе с русским языком. Многие поляки понимали, что русская литература не одобряла действий царского правительства в отношении Польши. Даже Александр Брюкнер, известный польский ученый, который отрицал наличие каких-либо связей между русской и польской литературами², не мог не признать: «Русская литература всегда оставалась чистой и великой»³.

Вернемся к разговору о значении литературных взаимосвязей для развития и смены направлений в литературе. Что касается польского романтизма, то следует признать определенное влияние на него западноевропейской литературы, в частности английской, особенно произведений Байрона. Адам Мицкевич, например, еще до приезда в Россию в 1824 г. переводил Байрона. Не случайно П. А. Вяземский в своей рецензии на «Крымские сонеты» польского поэта назвал его «славянским Байроном», возможно, прав-

да, желая не столько подчеркнуть его зависимость от Байрона, сколько стремясь возвысить его как поэта. И все же Вяземский писал, оговариваясь, что не нашел лучшего слова, о «возвышенной стачке двух гениев»⁴.

Однако следует сказать и о том, что в Вильно, тогда одним из польских культурных центров, где учился в университете Мицкевич и где он писал свои романтические баллады, получили известность оригинальные и переводные баллады Василия Жуковского. Первые в Европе переводы романтических произведений Пушкина — это польские переводы (самый первый — 1823). В 1824 г. переводятся на польский фрагменты поэмы «Кавказский пленник», в 1834 г. появляется прозаический перевод «Полтавы» и т. д.⁵

Переход от романтизма к реализму произошел в польской литературе так же, как и в русской, еще в творчестве самих романтиков. В русской литературе о начале этого перехода свидетельствовал роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин», издававшийся в 1825—1831 гг. В польской литературе подобную роль сыграла поэма Мицкевича «Пан Тадеуш» (1834), имеющая подзаголовок: «Шляхетская история 1811—1812 годов в двенадцати книгах стихами». Есть основание утверждать, что «Евгений Онегин» послужил творческой инспирацией для автора «Пана Тадеуша»⁶. Мицкевич еще будучи в России в 1824—1829 гг. мог познакомиться с первыми семью главами «Евгения Онегина». Известно, что Пушкин издавал свое произведение отдельными главами, они сразу читались и обсуждались в литературных салонах, в которых бывал и Мицкевич. Польский поэт стал близким знакомым Пушкина, они часто встречались, Мицкевич был приглашен в дом одного из друзей Пушкина, где тот читал рукопись «Бориса Годунова» и т. д., поэтому трудно предположить, что Мицкевич не заинтересовался новым произведением своего хорошего знакомого.

Названные произведения Пушкина и Мицкевича сближает прежде всего совершенно новая для них тема — обращение к повседневной жизни⁷. В своем отзыве об «Евгении Онегине», сделанном, правда, после написания «Пана Тадеуша» в 1837 г. в статье-некрологе «Пушкин и литературное движение в России», Мицкевич чутко схватил самое главное в стихотворном романе Пушкина: (В этом произведении. — *Е. Ц.*) «самом прекрасном, самом оригинальном и самом народном... обозначен переход художника от одной творческой манеры к другой... сюжет и персонажи «Онегина» взяты из действительной жизни, из русского домашнего быта... В обыкновенных событиях частной жизни он сумел найти трагические мотивы или сцены высокой поэзии»⁸.

О Пушкине и Лермонтове вспоминает Юлиуш Словацкий в своем программном для периода перехода от романтизма к реализму произведении — поэме «Бенёвский» (1841).

Начало реализма в польской прозе связано с творчеством 1840—1850-х годов Юзефа Крашевского, главным в котором тогда был его роман «Волшебный фонарь» (1842). Элиза Ожешко позже говорила о нем как о первом социальном романе в Польше и признавалась: «Все мы, как ветви от дерева, от него берем свое начало»⁹.

Польские и русские исследователи пишут о влиянии на названное произведение Крашевского творчества Гоголя, особенно романа «Мертвые души». Так современный польский литературовед Александр Жига пишет: «Соприкосновение с произведениями Гоголя оставило след в творчестве Крашевского... Будущие исследователи Крашевского и Гоголя... найдут не одну общую черту у обоих писателей и смогут показать, насколько творчество Крашевского обязано Гоголю»¹⁰.

Надо сказать, что произведения Гоголя стали известны в Польше еще в конце 1830-х годов. В 1843 г. появляется перевод «Записок сумасшедшего», в 1846 г. в Вильно издается в польском переводе комедия «Ревизор». Что касается Крашевского, то он, живя на Волини, хорошо знал русский язык и мог познакомиться с романом «Мертвые души» в оригинале. Известно, что в его библиотеке имелось несколько изданий произведений Гоголя, а в 1944 г. в редактируемом им журнале «Атенеум» были опубликованы две главы «Мертвых душ». Что касается влияния этого романа Гоголя на «Волшебный фонарь» Крашевского, то оно обосновывается в двух работах автором настоящей статьи¹¹.

На этапе становления реализма в польской литературе 1840—1850-х годов большую роль сыграли также работы Виссариона Белинского. В эстетических взглядах Крашевского, который мог познакомиться с работами Белинского по русской периодике, много общего с положениями русского критика (правда, его имени он не называет). В польских периодических изданиях 1840—1850-х годов можно обнаружить изложение работ Белинского без указания автора (как известно, его имя было запрещено царской цензурой)¹².

Таким образом, можно сказать, что реалистические произведения Гоголя и работы Белинского, чьи статьи о Пушкине и статья о русской литературе 1847 г. были известны польской литературной критике, имели большое значение в уточнении целей и задач, стоящих перед польским реалистическим романом.

Известно, какую большую роль сыграли произведения русских писателей — Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого и Достоевского для расцвета польского реалистического романа в 1870—1880-е годы, как они способствовали углублению реалистического изображения действительности, явились примером в художественном исследовании психологии характеров.

К этому времени русский роман получил самую широкую известность в Европе. Польский ученый Александр Брюкнер так писал об этом: «Успех русского романа был беспрецедентным в летописи истории литературы... Назовите произведения, которые можно было бы сравнить с “Войной и миром” и “Преступлением и наказанием”! Удивленному миру было показано, что русские... в знании человеческой души превосходят всех»¹³.

Говоря о воздействии опыта русской литературы, важно подчеркнуть, что восприятие русского реализма было подготовлено внутренним развитием самой польской литературы. Напомним, что еще Белинский заметил, что «даже и тогда, когда прогресс одного народа совершается через заимствование у другого, он тем не менее совершается национально, иначе нет прогресса»¹⁴. Так, и формирование реализма в польской литературе не было повторением русского опыта, оно имело свои специфические особенности, в частности связанные с иной, чем в России, ролью романтизма.

В польской литературе конца XIX — начала XX в. возникают новые, модернистские течения — и в прозе, и, может быть, особенно заметные — в поэзии и драме. В этом случае, пожалуй, большую роль, чем русская литература, сыграл опыт западноевропейской литературы — Метерлинка, Ибсена, в поэзии — опыт французского символизма. Однако и в период так называемой «Молодой Польши» продолжает развиваться реализм, он обогащается новыми, модернистскими художественными приемами, углубляется психологизм — особенно в творчестве Жеромского и Реймонта. И в этом отношении важно заметить, что продолжалось воздействие русского реалистического романа, творчества Л. Толстого и Достоевского. Это хорошо показано в недавно вышедшей монографии А. И. Баранова по материалам защищенной им в МГУ докторской диссертации о Достоевском в Польше¹⁵. Опыт Достоевского и Толстого оказался особенно важным для одного из крупнейших писателей «Молодой Польши» — Стефана Жеромского, которого бельгийский литературовед Клод Баквис называл «наиболее русским» из всех польских писателей.

В межвоенный период — 1920—1930-е годы — для польской реалистической литературы по-прежнему важен опыт русских классиков XIX в., а также Чехова и Бунина. Это касается таких известных писателей, как Ярослав Ивашкевич, Мария Домбровская, Зофья Налковская. Естественно, что этот опыт русской классической литературы использовался польскими художниками слова на протяжении всего XX в., продолжает быть актуальным и в настоящее время.

Для польской поэзии 1920—1930-х годов были значимы Сергей Есенин и Владимир Маяковский (Ю. Тувим, В. Броневский)¹⁶.

Так называемая экспериментальная польская проза и драматургия 1920—1930-х годов — Бруно Шульц, Витольд Гомбрович, Станислав Игнацы Виткевич (Виткацы) — несомненно, имея самостоятельное значение, испытала инспирации западноевропейской литературы, Кафки и др.

Послевоенная польская литература сначала развивалась по пути реализма, но на IV съезде польских писателей в Щецине в конце 1949 г. перед писателями была поставлена задача овладения методом социалистического реализма. В этом случае можно говорить об отрицательном, негативном значении воздействия опыта советской литературы на смену литературных направлений. В первой половине 1950-х годов в польской литературе появилось немало поверхностных схематических произведений типа «производственного романа», лакированных и бесконфликтных. Для польской литературы этот этап оказался кратковременным, и с середины 1950-х в Польше начались дискуссии по проблеме социалистического реализма, динамичное освобождение от навязанных догм, и в литературе возобладали другие эстетические концепции, которые обусловили появление более правдивых и высокохудожественных произведений, вызвавших интерес у читателей и за рубежом.

Взаимосвязи литератур имеют значение и для преемственности, смены литературных героев. Каждая эпоха выдвигает в той или иной национальной литературе характеры, которые наиболее глубоко и полно отражают ее главное содержание. Некоторые из них оказываются соответствующими сходным условиям в общественном и литературном развитии других народов и поэтому находят благодатную почву для распространения и внедрения. Карел Крейчи называет такие характеры «моделями», приводя в качестве примера гетевского Вертера.

В польской литературе своеобразную литературную карьеру сделал тургеневский Базаров, черты которого отразились в целой галерее поль-

ских «нигилистов», в частности в произведениях Э. Ожешко, Ю. Нажимского, Ю. Крашевского¹⁷.

Образы так называемых «лишних людей» в русской литературе, Онегина и Печорина, явились прямыми предшественниками образа «бездогматовца» Леона Плошовского в романе Генрика Сенкевича «Без догмата» (1890), написанного уже в другую эпоху, но с героем, в котором повторяются многие черты названных героев Пушкина и Лермонтова, на что обратили внимание русские критики еще в конце XIX в.¹⁸

Если говорить о значении взаимосвязей для развития жанров, то в качестве примера можно привести «сонетоманию», которая охватила русскую поэзию после появления сборника Адама Мицкевича «Сонеты», опубликованного в России в 1826 г. Особую известность и признание русского читателя получили вошедшие в этот сборник «Крымские сонеты»¹⁹.

* * *

Изучение восприятия одним писателем опыта представителя другой национальной литературы, как представляется, настолько важно для проникновения в творческую лабораторию исследуемого художника слова, что доказывать значение сравнительного подхода при литературоведческом анализе нет никакой необходимости, оно совершенно очевидно. Примеров творческого взаимодействия польских и русских писателей, можно сказать, великое множество. Приведем только некоторые из них.

Большая самостоятельная тема, осмелюсь сказать, не до конца исследованная, несмотря на значительное число польских и русских работ, — это творческие встречи двух великих поэтов: Пушкина и Мицкевича, значение для творчества Мицкевича его почти пятилетнего пребывания в России, инспирации, идущие от Мицкевича к Пушкину. Много нового вносит вышедшая недавно монография проф. Московского университета Д. П. Ивинского «Пушкин и Мицкевич», написанная по материалам защищенной докторской диссертации²⁰.

Некоторые произведения Элизы Ожешко просто легче понять, если мы учтем инспирации, идущие от русской литературы. В частности, это касается ее так называемых антинигилистических романов, объединенных названием одного из них «Призраки» — «Зыгмунт Лавич и его товарищи», «Сильвек с кладбища» (1880-е годы) и др. Эти произведения воспринимаются как польские отголоски таких произведений литературы, как «Отцы и дети» Тургенева, а еще больше «Обрыв» Гончарова, в чем-то

похожий на «Отцов и детей» по проблематике, но отличающийся от него отношением к своему главному герою.

Повесть Ожешко «Хам» становится более понятной в свете влияния на нее теории Л. Толстого о непротивлении злу насилием.

Мотивы произведений Тургенева («Отцы и дети», «Новь»), Толстого («Анна Каренина») обнаруживаются в лучшем романе Ожешко «Над Неманом»²¹.

Много дает для понимания «Куклы» Б. Пруса как романа социально-психологического сопоставления его, скорее типологического характера, с романом «Анна Каренина» Толстого (хотя не исключается и то, что Прус мог знать это произведение своего русского современника)²².

Даже в творчестве Генрика Сенкевича, у которого почти нет высказываний о знакомстве с русской литературой (только заметка, присланная Сенкевичем в одну из русских газет по поводу 80-летия со дня рождения Толстого), обнаруживается знание им русской литературы (выше упоминалось о «Евгении Онегине» и «Герое нашего времени»). Известный польский исследователь Юлиан Кшижановский находит в романе Сенкевича «Огнем и мечом» следы знакомства с «Капитанской дочкой» Пушкина и «Тарасом Бульбой» Гоголя²³.

В эпоху рубежа XIX и XX в. более других польских писателей интересовалась русской литературой, как уже отмечалось, Стефан Жеромский. Творческое использование опыта русских писателей, Толстого и Достоевского в первую очередь, ощущается во многих его произведениях: романе «Пепел», «История греха» и других.

Повторяем, что были приведены только отдельные примеры контактных связей польских писателей с русской литературой. Привлечение сравнительного метода исследования в этих случаях важно не только для вывода о значении русской литературы для творчества польских мастеров слова, но это сопоставление обогащает наше представление о творческой лаборатории талантливых польских писателей, помогает глубже проникнуть в специфику и оригинальность их произведений.

Только в последние годы началось у нас изучение влияния некоторых крупных польских писателей XIX—XX вв. на русскую литературу. Это прежде всего Генрик Сенкевич, автор романа «Quo vadis», опыт которого в живописном описании древнего Рима и его культуры, борьбы Нерона и его окружения против первых христиан пригодился Валерию Брюсову при создании им романа «Алтарь победы» (1911—1912)²⁴. О влиянии этого про-

изведения Сенкевича на роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» интересно написал украинский литературовед Мирон Петровский²⁵.

На инспирации Сенкевича, автора романа «Огнем и мечом», в романе М. Булгакова «Белая гвардия» обратил внимание Б. Соколов, автор «Булгаковской энциклопедии».

Роман «Мужики» Владислава Реймонта, второго после Сенкевича польского лауреата Нобелевской премии, хорошо известный в России еще при жизни писателя, оказал влияние на двухтомный роман «Год» (1911) Виктора Муйжеля, известного тогда писателя²⁶.

В России был необыкновенно популярен Станислав Пшибышевский. Его прозаические и драматические произведения многократно издавались в русских переводах. В 1905—1911 гг. выходит полное собрание сочинений Пшибышевского в десяти томах. Валерий Брюсов пишет в предисловии к сборнику своих рассказов «Земная ось» (1907) о влиянии на некоторые из них стиля Пшибышевского. Роман Пшибышевского «Homo sapiens», его концепция и его герой Эрик Фальк послужили примером для Михаила Арцыбашева, автора нашумевшего в свое время романа «Санин» (1907), а роман Арцыбашева в свою очередь повлиял на многие другие произведения русских авторов. В результате один из русских критиков написал о появлении в русской литературе целой галереи «фалькоидов» (от имени главного героя романа Пшибышевского).

Влияние стиля рассказов Пшибышевского обнаруживается в Четвертой симфонии Андрея Белого «Кубок метелей» (1908).

Воздействие Пшибышевского ощутимы также в женской прозе Серебряного века, в произведениях Анастасии Вербицкой, Нины Петровской, Анны Мар²⁷.

Привлекли внимание русского читателя научно-фантастические романы Ежи Жулавского, которого в Польше называют великим предшественником Станислава Лема, в частности его «Лунная трилогия» (1903—1911), переведенная на русский язык вскоре после публикации на родине писателя. Два романа из этой трилогии, «На серебряной планете» и «Победитель» — о полете землян на Луну и жителях потомков первых пришельцев на эту планету — селенитов, явились инспирацией для романа Алексея Толстого «Аэлита» (1924). Третий роман — «На старой Земле» — утопия и антиутопия одновременно, действие которого происходит в Соединенных штатах Европы в XXVII в., оказался одним из литературных источников для романа Евгения Замятина «Мы» (первая публикация на английском

языке в Нью-Йорке в 1924 г., первый полный русский текст там же в 1952 г., в Советском Союзе в 1988 г. в журнале «Знамя»²⁸.

Еще один пример, подтверждающий значение для русских писателей польской литературы — большой интерес в нашей стране к польской литературной жизни к творчеству польских писателей во второй половине 1950-х годов и в начале 1960-х. Вот как об этом пишет В.А. Хорев²⁹:

«Польша (после 1956 г.) стала для русской интеллигенции, по словам Иосифа Бродского, “информационным каналом, окном в Европу и мир”³⁰, когда многие в России, в том числе и Бродский, изучали польский язык, чтобы читать доступные тогда польские газеты и журналы, а также современную западную литературу в польских переводах, поскольку культурная информация, доходившая из России, была невероятно ограниченной»³¹.

В этой своей работе, а также в опубликованной по этой проблематике ранее³², В. А. Хорев пишет об инспирациях оригинальной поэзии Константы Ильдефонса Галчинского в поэтическом творчестве Иосифа Бродского и Давида Самойлова, переведивших Галчинского на русский язык, а также в некоторых стихотворениях Булата Окуджавы.

О значении для И. Бродского его переводов из польской поэзии пишет И. Е. Адельгейм³³. Бродский переводил Норвида, Вата, Кубяка, Стаффа, Херберта, Харасымовича, Рымкевича, Галчинского, а позже — в США — и Чеслава Милоша. Эти талантливые переводы, считает И. Е. Адельгейм, способствовали «расширению речи», как сам Бродский сформулировал конечную цель поэзии.

Факты влияния польской литературы на русскую, во-первых, свидетельствуют о признании высокого ранга польского художественного творчества, а во-вторых, помогают выявить истоки некоторых произведений ряда крупных русских писателей, выявить какие-то важные особенности, аспекты, может быть, важные детали их произведений, и, в-третьих, понять, что и русские писатели создавали свои произведения не в отрыве от других европейских литератур, в том числе и польской.

Примечания

¹ *Лунатов А. В.* Польская литература // История западных и южных славян. М., 1997. Т. I. С. 520—522 и др.; *Мочалова В. В.* Русско-польские литературные связи XVII—XVIII веков и становление личностного начала в русской литературе // Литературные связи и литературный процесс. М., 1986; *Echa poezji Jana Kochanowskiego w literaturze rosyjskiej / Jan Kochanowski. Epoka. Twórczość. Recepcja.* t. II. Lublin, 1989.

² А. Брюкнер так писал в 1906 г.: «Чувства какой-нибудь симпатии, славянской связи, о чем мечтали еще Мицкевич и Пушкин, события... 1831 г., а еще более 1863 г. развеяли раз и навсегда... Не подружились между собой до сих пор польская и русская литература, богатства одной оставались и остаются неизвестными для другой и это равнодушие почти стирает следы настоящего родства... И стоят враждебно друг против друга два общества, две литературы» // *Brückner A. O literaturze rosyjskiej i naszym do niej stosunku dziś i lat temu trzystu. Lwów-Warszawa, 1906. S. 3, 6—7.*

³ *Brückner A. Op. cit. S. 15.*

⁴ «Такое сочувствие, такое согласие, — писал Вяземский, — нельзя назвать подражанием: оно, напротив, невольная, возвышенная стачка (не умею назвать иначе) гениев, которые как ни отличаются от сверстников своих... но все же в некотором отношении подвластны духу времени...». См.: *Вяземский П. А. Рец. на кн.: «Sonety» Adama Mickiewicza // Московский телеграф. 1827. Ч. 14. № 7 // Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1878. Т. I. С. 329.*

⁵ См. об этом: *Цыбенко Е. З. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина и польская литература // А. С. Пушкин и мир славянской культуры (К 200-летию со дня рождения поэта). М., 2000. С. 100.*

⁶ Там же. С. 105—110.

⁷ См. об этом: *Цыбенко Е. З. «Пан Тадеуш» Адама Мицкевича и «Евгений Онегин» А. С. Пушкина // Остафьевский сборник. М., 2000. Вып. 6. С. 25—33.*

⁸ *Мицкевич А. Собр. соч. В 5 т. М., 1954. Т. 4. С. 94.*

⁹ *Orzeszkowa E. Drugie dziesięciolecie // Orzeszkowa E. Pisma krytyczno-literackie. Zebrałi opracował E. Jankowski. Wrocław—Kraków, 1959. S. 113.*

¹⁰ *Żyga A. Kraszewski wobec literatury rosyjskiej // Slavica Orientalis. 1965. N 1. S. 56.*

¹¹ *Цыбенко Е. З. Русский роман в Польше в середине XIX в. (40—70-е годы. Гоголь, Тургенев) // Польско-русские литературные связи. М., 1970. С. 251—266; Она же. Первый польский социальный роман // Польский социальный роман 40—70-х годов XIX век. М., 1971. С. 68—79.*

¹² См. подробнее об этом: *Цыбенко Е. З. Белинский в Польше // Цыбенко Е. З. Из истории польско-русских литературных связей XIX—XX вв. М., 1978. С. 53—84.*

¹³ *Брюкнер А. Русская литература в ее историческом развитии. СПб., 1906. Часть 2. С. 170.*

¹⁴ *Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 10. С. 29.*

¹⁵ *Баранов А. И. Ф. Достоевский и польская литература (до 1918 г.). М., 2001. 229 с.*

¹⁶ См. об этом: *Хорев В. А. Броневский и советская культура // Литература славянских народов. М., 1963. Вып. 8; Он же. Маяковский и Броневский // В мире Маяковского. М., 1983. Т. 2.*

¹⁷ См. об этом: *Цыбенко Е. З. Тургенев и польская литература (до 1917 г.). М., 1983. 62 с.*

¹⁸ См. статью Е. З. Цыбенко «Bez dogmatu» Henryka Sienkiwicza w przekładach rosyjskich i krytyce. // *Przegląd Humanistyczny. 1996. N 6. S. 83—92.*

¹⁹ А. Мицкевич пишет в письме своему приятелю А. Э. Одынду из Москвы в марте 1828 г. о многочисленных переводах в России его сонетов и добавляет: «Я уже

видел русские сонеты в духе моих» (*Мицкевич А.* Собр. соч. В 5 т. М., 1954. Том 5. С. 397).

²⁰ *Ивинский Д. П.* Пушкин и Мицкевич. История литературных отношений. М., 2003.

²¹ См. об этом: *Цыбенко Е. З.* Роман Элизы Ожешко «Над Неманом» и русская литература // *Acta Polono-Ruthenica VI.* Olsztyn, 2001. S. 239—303.

²² См.: *Цыбенко Е. З.* «Кукла» Болеслава Пруса и «Анна Каренина» Льва Толстого // *Вестник Моск. ун-та. Серия филология.* 1991. С. 33—42.

²³ *Krzyżanowski J.* Henryk Sienkiewicz. Żywot i sprawy. Warszawa, 1996.

²⁴ См. об этом: *Цыбенко Е. З.* Роман Генрика Сенкевича «Quo vadis» и русский читатель // *Вопросы литературы.* 1997. № 1. С. 301—312.

²⁵ *Петровский М.* Смех под знаком апокалипсиса (Булгаков и «Сатирикон») // *Вопросы литературы.* 1991. № 5.

²⁶ См. об этом: *Цыбенко Е. З.* Роман Владислава Реймонта «Мужики» и русская литература // *Rosja—Polska: z zagadnień komparatystyki literackiej.* Szczecin, 2003. S. 29—46. В этой работе делается также типологического характера сопоставление романа Реймонта с повестью Чехова «Мужики» и рассказом Бунина «Деревня».

²⁷ См.: *Цыбенко Е. З.* Станислав Пшибышевский и русская модернистская проза // *Studia Polonica.* К 60-летию Виктора Александровича Хорева. М., 1992. С. 217—228; *Она же.* Взаимосвязи польской и русской модернистской прозы рубежа XIX—XX в. (Пшибышевский, Берент, Брюсов, Белый) // *Научные доклады филологического факультета МГУ.* М. 1996. Вып. 1. С. 145—166; *Она же.* Польская литература рубежа XIX—XX веков в России (к вопросу о ее влиянии на русскую литературу) // *Научные доклады филологического факультета МГУ. К XII Международному съезду славистов в Кракове.* М., 1998. С. 189—203; *Она же.* Пшибышевский и русская женская проза конца XIX — начала XX в. // *Słowianie wschodni: Duchowość. Kultura. Język. Księga referatów.* Kraków., 1998. S. 153—159.

²⁸ См. об этом: *Cybenko H.* «Trylogia księżycowa» Jerzego Żuławskiego i literaturę rosyjską: Aleksiej Tołstoj, Ewgenij Zamiatin // *Polska w Rosji. Rosja w Polsce. Dialog kultur.* Poznań, 2003. S. 213—225.

²⁹ *Хорев В. А.* Константы Ильдефонс Галчинский и русские поэты // «Индрик». 10 лет. М., 2003. С. 96.

³⁰ *Бродский И.* Большая книга интервью. М., 2000. С. 602.

³¹ Там же. С. 325.

³² См.: *Хорев В. А.* Константы Ильдефонс Галчинский и русская поэзия // *Literatura rosyjska w kontekstach międzykulturowych. Profesorowi Antoniemu Semczukowi z okazji 50-lecia pracy naukowej.* Warszawa, 2001.

³³ *Адельгейм И. Е.* «Расширение речи» (Иосиф Бродский и Польша) // *Поляки и русские в глазах друг друга.* М., 2000. С. 144—145.

Теоретические проблемы общей истории славянских литератур

(Цивилизационная общность как диалектическое единство универсального и национального)

Славянское литературоведение к настоящему времени накопило огромный фактографический материал. Однако это накопление приходит в противоречие с уже выработанными системами обобщения. Накопленное фактографическое «количество» все настоятельнее требует поисков теоретических основ для перевода его в новое, соответствующее современным филологическим, историко-культурологическим и философско-эстетическим представлениям «качество». Это всеобщее веяние нашего времени¹ обусловлено общим развитием гуманитарных наук, интенсификацией их взаимодействия, а отсюда — нарастающим удельным весом интердисциплинарности и свойственного ей стремления осмыслить *национальное* как интегральное составляющее *универсального-европейской цивилизации*. Именно в ее контексте и в свете свойственных ей универсальных закономерностей можно постичь локальное их проявление: местное преломление всеобщего — его национальное усвоение и последующее развитие, которое в высших своих достижениях «возвращается» в цивилизационный универсум, обогащая его, а тем самым обретая *наднациональное значение*. Эта обратная связь — функциональное качество литературного процесса как системы, являющейся одной из производных европейской цивилизации.

Генезис национальных литератур был вненационален. Эта констатация парадоксальна лишь для традиционной оптики, которую ввел в европейское сознание романтизм и которая вот уже два столетия предопределяет инерционность восприятия, создавая национально идеологизированные стереотипы мышления.

Цивилизационный универсум Европы сформировался на основе христианской аксиологии. Именно она предопределила как этногенетические процессы образования европейских народностей из отдельных племен и племенных объединений, позднейшее их преобразование в европейские нации, так и историко-культурные закономерности, государственно-правовые особенности, специфику социальной экзистенции и самой системы мировидения всей этой части человечества. Поэтому-то в системе

общей цивилизации начала универсальные и национальные являют собой *диалектическое единство*, а не внедренную в европейское сознание романтическим мышлением дихотомию. Внутри цивилизации одно из этих начал не существует вне другого, помимо другого и вопреки нему, ибо и одно и другое взаимосвязаны общностью генезиса, мировосприятия, истории и культуры.

В такой системе координат возникновение и начальный период истории будущих национальных литератур были *едины и общецивилизационны*, а, следовательно, наднациональны. Вернее — *надэтничны*. Они не могли быть национальными не только потому, что в ту пору не было наций (а лишь отдельные племена и племенные объединения), не было общенационального языка (а племенные наречия), не было национального государства (а разноэтничные объединения). Анахронизм национального критерия применительно к литературному процессу Средневековья становится очевидным, если принять во внимание прежде всего то, что само искусство письменности приходило к абсолютному большинству европейских этносов вместе с «наднациональным» (надэтничным) христианством, исходило из его внеэтничных по идейно-организационной сути (полиэтничных) центров и было универсальным как по своим вероучительным принципам, составу памятников, церковно-институциональной соподчиненности, общему самосознанию разноэтничных миссионеров — носителей искусства письменного слова, так и по самому языку. Древнееврейский, древнегреческий, латынь, а позднее также и восходящий к кирилло-мефодиевской традиции древнеславянский² (древнецерковнославянский) как языки сакральные были функционально надэтничными при всей первоначальной этничности своего генезиса³. Тем самым будущие национальные литературы возникали в качестве локальных составляющих универсальной — общеевропейской — литературной общности, а первыми носителями письменной культуры слова были прибывавшие извне в разные части континента разноэтничные миссионеры — представители общехристианских культурных центров — Византии и Рима. Появившиеся позднее этнически первые местные писатели были продолжателями этой общей литературы и носителями связанной с ней универсальной филологической культуры как составляющей общего мировидения *Pax Christiana*. Позднейшая дифференциация этой цивилизационной целостности на византийскую (*Pax Orthodoxa*) и латинскую (*Pax Latina*) составные части также была обусловлена общеевропейским фактором (институциональный конфликт Западного и Восточного христианства). Иначе говоря: первоначально общая для об-

новляемой христианством Европы литература внутренне дифференцировалась не по этническим, а конфессионально-культурным принципам. Именно этот общеевропейский процесс предопределил также и внутреннее разделение славянского мира, обуславливая специфику всей последующей истории становления и развития национальных культур, литератур и самой ментальности не по внутренней этноязыковой дифференциации (восточные, западные и южные славяне), а в соответствии с внутрицивилизационной дифференциацией на *Pax Latina* и *Pax Orthodoxa*.

Становление и развитие внутри этих двух кругов культуры соответственно двух макролитератур, или согласно предложенной Д. Дюришиным⁴ терминологии — межлитературных общностей, на протяжении Средневековья вело к формированию в их лоне отдельных литератур, связанных с определенными государственными объединениями и определенной этнической средой. Это было обусловлено локальным появлением своих собственных (наряду с пришедшими ранее и продолжающими приходить извне) памятников, порожденных сугубо местными потребностями, складыванием своей собственной (наряду с мигрирующей, разноэтничной) писательской среды, отражающей местные особенности и устремления. Все это было локальным отражением развития общих (в плане мировидения, типа культуры, системы литературы) тенденций на местной (государственной, этнической) почве⁵. Постепенно вырисовывающийся внутри двух макролитератур, или межлитературных общностей, своеобразный облик каждой отдельной (локальной, вернакулярной) литературы — это следствие такого рода универсальных закономерностей, результат взаимодействия общего (надэтнического) и местного (этнического) начал в процессе исторической эволюции европейской цивилизации. Последующая четко просматриваемая (особенно со времен зрелого Средневековья и раннего Ренессанса) дифференциация на литературы этнические или этногосударственные внутри макролитератур *Pax Latina* и *Pax Orthodoxa* означала не аннигиляцию этих межлитературных общностей, а появление исторически нового качества, характеризующего новый этап истории европейской цивилизации.

Секуляризация культуры, а во взаимосвязи с этим переход от творчества на универсальном койне — сакральном языке — к творчеству на языке этнически «своем», развитие разных видов светской письменности, а особенно — художественной литературы — все это отражало как процесс формирования народностей и их этнического самосознания эпохи феодализма, так и свойственной им общественно-правовой мысли и государственности. На этой стадии (как было в прошлом и предстоит в будущем)

закономерности универсальные и локальные (этнические) по-прежнему являют собой диалектическое единство, а не дихотомическое разделение или же некую внешнюю по отношению к каждой этнической общности параллель «своего» и «чужого», ибо именно в культурно-политических границах общей цивилизации и в именно ей свойственной аксиологической обусловленности европейские народы и европейские государства делают свой выбор и отвечают на вызовы истории.

В эту полосу времени эволюции секулярной культуры позднего Ренессанса и Барокко интенсифицируется взаимодействие возникших во времена Средневековья двух внутрицивилизационных кругов культуры (*Rex Latina* и *Rex Orthodoxa*), что ведет к постепенному стиранию их некогда конфессионально обусловленных четких разграничений в сферах общественно-политических, экономических, общекультурных. Это также проявление универсальных закономерностей цивилизации в каждой отдельной этнической общности: постепенное обмирщение культуры православных народов и стремление Московии — единственного православного государства — к выходу из своего затянувшегося Средневековья в современность латинской Европы, с одной стороны, изнуренность этой последней религиозными войнами, приведшая к Вестфальскому миру (1648) — с другой, в цивилизационном сознании Нового времени лишили конфессиональный фактор его прежнего (связанного со Средневековьем) всеобъемлющего значения и вывели его за рамки международных отношений. Именно в эту полосу времени — по мере постепенного стирания четких разграничений византизма и латинства — формируется в русле Барокко теперь уже *общевропейский* (вне ограничений *Rex Latina* и *Rex Orthodoxa*) процесс в литературе, искусстве и культуре⁶.

В зарождении и развитии этого процесса, характеризующего новый этап общелитературной истории, особая роль принадлежит славянской части Европы. Именно здесь в культурном пространстве Польско-Литовского государства (в состав которого входили земли Юго-Западной Руси) в силу отсутствия этногосударственных границ и связанных с ними культурных ограничений и отграничений⁷ славянского византизма (в его православном украинско-белорусском варианте) и славянского латинства (в его польском варианте) начинается синтез двух межлитературных общностей (*Rex Orthodoxa* и *Rex Latina*)⁸. В течение XVII в. опыт украинско-белорусских собратьев в православии будет использован книжниками Московского государства⁹, затем эти новые украинско-белорусско-русские свершения окажут воздействие на письменность православия южнославян-

ского. Этот внутриславянский литературный процесс, будучи уже частью общеевропейского процесса Нового времени, являл собой не только знамение эпохальных изменений внутри культурного мира давнего византизма, но и в общей истории европейской цивилизации. При всем очевидном различии эпох и уровня художественных свершений роль межславянского взаимодействия во времена Барокко в давнем ареале *Rex Orthodoxa* с точки зрения *функциональной значимости* для формирования общеевропейского процесса может быть соотнесена с культуротворческой ролью романо-германского взаимодействия во времена Ренессанса.

Сами же такого рода взаимодействия суть проявления общеевропейской цивилизации. Они существуют в общей системе социально-исторических, культурных и литературных процессов. Будучи ими обусловлены, а одновременно — в силу закономерностей обратной связи — являясь их имманентным свойством, они предопределяют их характер и тем самым предрекают следствия их функционирования. Поэтому-то универсальное и национальное проявляются здесь как диалектическое двуединство, отражая в каждом отдельном случае, с одной стороны, общий (универсальный) характер цивилизации, а с другой — локальный (национальный) характер потребностей и устремлений местного саморазвития в общецивилизационном русле¹⁰.

Предлагаемая исследовательская оптика может способствовать объективному восприятию общего и особенного — универсального, повсеместного и национально своеобразного. В едином цивилизационном пространстве одно не существует вне взаимосвязи с другим, а сама эта взаимосвязь, ее специфика и характер функционирования качественно изменяются вместе с историческими изменениями европейской цивилизации¹¹.

В настоящее время есть основания говорить об исследовательском направлении, которое сформировалось благодаря работам разных ученых, стремящихся к постижению общих закономерностей истории славянских литератур в европейском контексте. Итак, Д. С. Лихачев разрабатывает концепцию системы средневековых литератур *Slavia Orthodoxa*¹², Н. И. Толстой раскрывает филологическую историю этой целостности в свете проблем литературного языка¹³, Р. Пиккио решает ряд узловых вопросов истории литератур *Slavia Orthodoxa* и предлагает свою классификацию всех древнеславянских литератур¹⁴, Д. Дюришин разрабатывает общую систему мировой литературы¹⁵, автор этих строк выявляет общие закономерности истории славянских литератур в контексте европейского литературного процесса от Средневековья до 70-х годов XIX в. и разрабатывает свою концепцию литературных макрорегионов и регионов как исторически

возникающих и изменяющихся контактно-типологических целостностей¹⁶. Эти теоретические предложения и обретенные на их основе практические результаты взаимодополняют друг друга. Все явления и процессы духовной жизни славянства обуславливались общеевропейскими факторами, которые в каждой национальной среде обретали специфическое преломление, своеобразное усвоение и оригинальное развитие.

Исследование славянских литератур в аспекте цивилизационной общности, а следовательно, в свете тех универсальных закономерностей, которые обусловили как их национальное своеобразие, так и наднациональное единство в русле общеевропейского литературного процесса, представляется насущной для славистики перспективой. На возможности же ее реализации у нас могут указывать созданные в Институте славяноведения РАН трехтомная «История литератур западных и южных славян» и двухтомная «История литератур Восточной Европы после второй мировой войны», если видеть в них не только итог, но и начало.

Примечания

¹ Физики бьются над решением общей теории поля, представители естественных и гуманитарных наук сообща стремятся найти общую формулу человека как феномена природы, историки, культурологи и антропологи пытаются выявить общие для народов планеты закономерности их существования.

² Так квалифицирует язык славянской письменности Н. И. Толстой, учитывая более широкую (нежели только церковная) сферу его функционирования. См.: Толстой Н. И. История и структура славянских литературных языков. М., 1988.

³ Даже самый молодой из них — древнеславянский — общий и понятный для разных славянских этносов функционировал как язык связанной с православием письменности на территориях нынешней Молдавии и Румынии, а также Литвы (здесь до ХУП в. на нем составлялись также и государственные документы).

⁴ Дюришин Д. Межлитературные общности как выражение закономерностей всемирной литературы // *Slavica Slovaca*. 1988. № 2, 4.

⁵ Лупатов А. В. Европейская цивилизация как дифференцированная целостность (Запад и славяне) // *Европа*. Т. 2. № 2(3). Варшава, 2002.

⁶ См. вступительную главу «Смена парадигм» в 1 т. «Истории литератур западных и южных славян» (М., 1997. С. 397—414).

⁷ Лупатов А. В. Национальное — межнациональное — универсальное. (Мир природы и мир культуры: на примере этнического пограничья Польши) // *Studia Polono-rossica*. К 80-летию Е. З. Цыбенко. М., 2003.

⁸ См. История литератур западных и южных славян. М., 1997. Т. 1. С. 519—522; Lipatow A. W. Barok i literatury wschodnioslowiańskie // *Studia Polono-Slavica-Orientalia*.

Acta litteraria XII. Wrocław, 1990; *Lipatow A. W.* Barok jako kres średniowiecza w kulturach Słowiańszczyzny Wschodniej (Ukrainizacja polonizacji a kwestia sarmatyzmu) // Barok polski wobec Europy. Kierunki dialogu. Warszawa, 2003; *Лескинен М. В.* Мифы и образы сарматизма. Москва, 2002.

⁹ См.: *Сазонова Л. И.* Поэзия русского барокко. М., 1991.

¹⁰ *Липатов А. В.* История литератур и литературные взаимодействия. (Диалектика универсального и национального) // Функции литературных связей. М., 1992.

¹¹ *Липатов А. В.* Литературные влияния и типологическая общность (соотношение и критерии) // Сравнительное изучение славянских литератур. М., 1973; *Он же.* Критерии оригинальности и литературные связи // Литературные связи и литературный процесс. М., 1986.

¹² *Лихачев Д. С.* Древнеславянские литературы как система // Славянские литературы: VI Международный съезд славистов. М., 1968.

¹³ *Толстой Н. И.* Указ. соч.

¹⁴ *Пиккио Р.* Slavia Orthodoxa. Литература и язык. М., 2003. О работах Р. Пиккио см.: *Липатов А. В.* Общие закономерности истории славянских литератур и концепция Р. Пиккио // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1990. № 4; *Седакова О. А.* Филологические проблемы славянского средневековья в работах Р. Пиккио // Вопросы языкознания. 1992. № 1.

¹⁵ Библиография работ этого видного словацкого ученого и анализ его предложений содержится в моей статье «Литературный процесс в оптике исторической поэтики. (Новое направление в славистике и концепция Д. Дюришина)» (см.: Специфика литературных отношений. Проблемы изучения общности славянских литератур. М., 1994). (Здесь же и статья Д. Дюришина «Методология изучения межлитературной общности славянских литератур».)

¹⁶ *Липатов А. В.* Славянские литературы и общеевропейский литературный процесс эпохи Средневековья // Сов. славяноведение 1978, № 3, 4; *Он же.* Древнеславянские письменности и общеевропейский литературный процесс // Барокко в славянских культурах. М., 1982; *Он же.* Славянское Просвещение в общеевропейском контексте // Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. М., 1982; *Он же.* Проблемы создания общей истории славянских литератур // Сов. славяноведение. 1987. № 3; *Он же.* Проблемы общей истории славянских литератур от Средневековья до середины XIX в. // Славянские литературы в процессе становления и развития. М., 1987; *Он же.* Славянские литературы и общеевропейский литературный процесс (история, типология, связи) // Славянские литературы: XI Международный съезд славистов. М., 1993; *Он же.* Европейский литературный процесс и славянские литературные общности. (Генезис и начальные этапы Новой истории) // Славянские литературы. Культура и фольклор славянских народов: XII Международный съезд славистов. М., 1998; *Он же.* История европейской литературы и славянские литературные общности. Диалектика универсального и национального // Славяноведение. 1997. № 1.

Некоторые аспекты формирования литературного контекста югославян

Тема взаимосвязей народов на самых разных уровнях — национальном, региональном, зональном и мировом — чрезвычайно обширна и сложна. Мы выделили лишь один аспект — формирование, в самых общих чертах, регионального литературного контекста, его подвижность в зависимости от собственно литературных и паралитературных обстоятельств и, в не меньшей мере, а зачастую и в большей, от политических и идеологических факторов. Его эволюцию на протяжении XX в. предполагается рассмотреть на примере югославянских народов, прежде входивших в состав Австро-Венгрии.

XX столетие принесло всем народам балканского полуострова тяжелейшие испытания. Сотрясавшие его войны и революции неоднократно приводили к смене государственных систем, господствующих идеологий, изменению характера межнациональных отношений. Югославянские народы, составлявшие часть Габсбургской империи, после ее краха в результате Первой мировой войны оказывались в границах двух Югославий — королевской и социалистической — прежде чем, в конце прошлого века, получили независимость и государственную самостоятельность. Однако и в этом столетии в них то ослабевая, то вспыхивая с новой силой, жила идея национального самосознания и стремление к национальной независимости, и художественная литература, как и в прошлом, продолжала играть особую роль в их поддержании. Но все политические и социальные катаклизмы XX в. с невиданной непосредственностью, практически напрямую, отражались на конфигурации культурного пространства и взаимоотношениях внутри него. И так как переходы от одной эпохи к другой были не спокойными, а представляли собой взрывы, приводившие к серьезным разломам в общественном и художественном сознании, то на долю именно художественной литературы (как и культуры в целом) ложилась задача сохранения преемственности между прошлым и настоящим. Это касалось и сохранения традиционных связей между народами и их культурами.

Первая мировая война, приведшая к развалу Австро-Венгрии, разрушила и то многовековое культурное пространство, в которое так или иначе были включены разные, в том числе и югославянские народы. Нам близко мнение исследователя венгерской литературы Ю. П. Гусева, высказанное

по поводу связей венгерской и австрийской литератур. Оно, на наш взгляд, может быть распространено и на литературы австрийских югославян. Ю. П. Гусев полагает, что, «если западноевропейская (французская, итальянская, английская) культура и литература, с одной стороны, и русская, с другой, оставались лишь факторами влияния, временами усиливавшимися, временами почти полностью исчезающими, то немецкая именно *присутствовала* здесь (в Венгрии. — Г. И.) с момента зарождения и осознания культурной общности до (по крайней мере) 1918 г.»¹. И хотя это присутствие содержало в себе и силы притяжения и силы отталкивания, немецкий язык и культура все же долгие годы, десятилетия и столетия были языком и культурой-посредником для разноязыких народов многонационального государства, поддерживая диалог культур разных народов и давая им возможность приобщиться к сокровищнице мирового искусства. Они оказывали и стимулирующее влияние на их собственное развитие. Для Хорватии и Воеводины последней трети XIX в. и начала века XX сходную роль начинает играть венгерский язык и венгерская культура. Сошлемся на мнение классика хорватской литературы Мирослава Крлежи, который писал, что в начале прошлого века он воспринял Будапешт, где ему довелось учиться, как европейский город, предоставлявший гораздо большие, чем Загреб, возможности для широкого знакомства с европейской цивилизацией и искусством. Этот город поддерживал в нем, тогда молодом романтически настроенном поэте, иллюзию «интенсивной европейской культурной жизни» и «существования взаимозависимой солидарности международного интеллекта»². Именно там он увлекся Ницше, запоем читал Толстого, Достоевского, Чехова и Горького, на его столе лежали книги венгерских авторов — Петефи, Ади, Костолани (с последним он был знаком лично). Он переводит поэму Петефи «Апостол» и признается, что стихотворение венгерского поэта «Песня волков» побудило его начать писать стихи. Таким образом, Будапешт, как и Вена, становятся частью его биографии, а также и биографии его героев (в частности героя романа «Знамена»).

Но будем справедливы. Вена и шире — вся немецкая и австрийская литература и искусство — играли, конечно, более значительную, чем Будапешт, роль, особенно на рубеже XIX и XX вв., когда в югославянских литературах возникают течения хорватской и словенской «модерн». Многие представители этих течений учились в университетах Вены и Граца. Там они издавали свои журналы и альманахи, работали в театрах а, вернувшись на родину, продолжали знакомить своих соотечественников с идеями французского символизма и венского «сецессиона», взглядами Брюнетьера и

Ф. Ницше и тем самым способствовали коренным изменениям родной литературы и приобщению ее к европейскому процессу. Но словенская и хорватская литература в то же время содержали и явный протест против немецкого, а для Хорватии — и венгерского — угнетения.

В своих размышлениях о причинах гибели австро-венгерского государства Стефан Цвейг обращает внимание на очень существенный момент, имеющий общее значение. «Сегодня, — пишет он, — глядя назад, нам совершенно ясно, что наши соотечественники недооценили динамику развития общества, будь то “разрушительные движущие силы ада”, под впечатлением которых находился З. Фрейд, или позитивные силы, стремящиеся вперед, которые хотели бы преобразовать государство в сторону большей демократии, автономии и гражданского общества. К позитивным силам можно было бы отнести и разумный национализм. То, что на рубеже XIX и XX вв. в создание Австрии не удалось включить позитивные силы национализма, то есть патриотизма, явилось, несомненно, одной из причин распада монархии. Баланс между разными национальностями не был найден. В Австрии руководство не поняло путь национализма»³. Надо сказать, что не поняло их и руководство первой и второй Югославии. Результат был тот же.

С образованием Королевства сербов, хорватов и словенцев начинает складываться новый литературный контекст югославян. Он объединяет родственные народы, но придерживающиеся разного вероисповедания и разных культурных традиций. До сих пор значительно больше внимания уделялось всему тому, что сближало эти народы и их культуры, и мало учитывалось то, что их разъединяло, что вызывало напряжение в их отношениях. А ведь это были народы, веками включенные в разные государственные объединения и в силу этого нередко оказывающиеся в противоположных воюющих станах. Эти трагические периоды в их истории не могли не сказываться на их отношениях в новом государстве, а проводившаяся в Королевстве сербов, хорватов и словенцев унификационная политика, основанная на официальной идеологии «интегрального югославянства», еще больше усугубляла негативные стороны в их взаимном существовании. Столкнулись и два разных культурных потока — один, тяготеющий к латинской и немецкой традиции и больше связанный со средневропейским ареалом, другой — опирающийся на православную основу и соответственно на русский культурный центр. Поэтому, провозглашенный лозунг о единстве «трехименного народа» и попытки его проведения в жизнь наталкивались на сопротивление не только, скажем, у словенцев с их отличным от

сербов и хорватов языком, но и у хорватов, и у жителей Боснии и Герцеговины, особенно у мусульман.

Весь этот конгломерат этносов, религий, культур рождал специфику нового культурного ареала, создавая сложнейшие взаимоотношения между населявшими его народами. В этом многонациональном мире постоянно действовали как центростремительные интеграционные общегославские процессы, так и процессы центробежные, направленные на отстаивание национальных прав. Их соотношение было весьма неустойчивым, то одна из этих тенденций, то другая брали верх, иногда приводя всю систему на грань распада или существенно меняя ее характер. После Первой мировой войны в Королевстве сербов, хорватов и словенцев австро-венгерское культурное поле, распавшись как целое, продолжало оказывать свое воздействие, но в других формах, на протяжении почти десятилетия. Распространенность немецкого языка в бывших австрийских землях и инерционность существовавших связей способствовали их сохранению. Одновременно с этим все очевиднее становилось типологическое родство литератур средневропейского региона. В подтверждение этого положения достаточно сказать о судьбе широко представленного в хорватской и словенской литературе с конца 1910-х до конца 1920-х годов XX в. экспрессионизма. Будучи типологически связан с немецким и австрийским экспрессионизмом, он имел с ним и прямые контакты. Немецкие и австрийские центры были в те годы проводниками и революционной литературы Европы и Советской России. На немецком языке читали не только немецких авторов, но и писателей других стран. Например, Крлежа читал в немецком переводе «Мать» и «Дело Артамоновых» Горького, а А. Цесарец «Анну-пролетарку» И. Ольбрахта. Примеров можно привести множество.

Однако отличие от австро-венгерского контекста заключалось в том, что югославское объединение в большинстве своем составляли народы, которым не нужен был язык-посредник. Сербохорватский язык был языком-посредником для словенцев, македонцев и албанцев и еще для таких национальных меньшинств как турки, русины, венгры. Как бы теперь ни называли языки, в основе которых лежит сербский и хорватский (сейчас к ним добавляют боснийский и черногорский), ясно одно, что их носители для понимания друг друга не нуждались в переводчике. Писатели свободно переходили из одной литературной среды в другую и довольно быстро в ней адаптировались. Это явление было известно и раньше, но особенно распространилось оно в XX в. Причем, речь идет не о временном проживании, скажем, хорватов в Белграде или, наоборот, сербов в Загребе, в дал-

матинских городах или македонском Скопье, хотя и это показательно, а именно о литературном самоопределении. Для XX в. примером может служить известный писатель Югославии, лауреат Нобелевской премии И. Андрич. Как известно, он родился в Боснии, и с ней связана тематика большинства его произведений. Католик по вероисповеданию, он начал свой литературный путь в Хорватии, его стихи были включены в вышедшую в 1914 г. в самый канун Первой мировой войны, антологию «Хорватская молодая лирика». За антиавстрийские настроения он сидел в австрийской тюрьме, где и написал свои превосходные стихи в прозе «Ex ponto», опубликованные в Загребе в 1919 г. В Королевстве сербов, хорватов и словенцев Андрич стал не только выдающимся сербским писателем, но и известным дипломатом.

В этом отношении ситуация была сходной и во второй, социалистической Югославии. Хотя в ней были созданы благоприятные условия для развития национальных языков и культур, и, в первую очередь, для тех народов, кто не имел этих возможностей в королевстве (например, македонцев и албанцев), унификация, теперь идеологическая, а для хорватского и словенского языков и лингвистическая (влияние сербизации), приводили к тому, что национальное противостояние существовало, нарастало и привело, в конце концов, к катастрофе. Но бесспорным при этом остается и тот факт, что в те годы происходило и укрепление литературных взаимоотношений между писательскими союзами, группами писателей и отдельными творцами, чему, несомненно, помогала хорошо налаженная практика взаимных переводов. И в социалистической стране продолжал существовать феномен двойной литературной принадлежности, происходило самоопределение в пользу той или иной национальной литературы — и все это было свидетельством теснейшего взаимодействия разных национальных литератур и их включенности в единое культурное пространство. Так, боснийский поэт М. Диздар считал себя участником хорватского литературного процесса, уроженец мусульманской семьи в Боснии М. Селимович определился как сербский писатель, а черногорцы Р. Зогинович и М. Лалич неотделимы от сербской поэзии и прозы.

Приведенные факты, а эта лишь небольшая их часть, говорят о том, что отрицать наличие общееюгославского контекста и, при всех сложностях взаимоотношений между народами и первой, и второй, Югославии, взаимного тяготения в зоне его действия (как это сейчас нередко делается даже в научной литературе), нам представляется, ошибочным. Отголоски этого слышатся в тех спорах, которые ведутся в наши дни о взаимоотношении

сербской и черногорской литератур, сербской, боснийской и хорватской, о положении в югославском контексте словенской литературы и т. п. Предпринимаются настойчивые попытки «поделить» творчество некоторых писателей между теми или иными национальными литературами. Обратимся вновь к творчеству того же И. Андрича. Сейчас на него претендуют три литературы — сербская, хорватская и боснийская. Поначалу писателю предъявлялись в основном политические претензии — ради политической карьеры он де отказался от национальности и родной литературы (боснийской или хорватской в зависимости от литературной принадлежности пишущего⁴). По мнению И. Ловрентича, внелитературные причины, к которым он относит политическую карьеру Андрича, принятие им сербского правописания и отказ войти в антологию хорватской литературы и даже признание себя сербским писателем не имеют значения. По литературным меркам, считает ученый, он хорватский писатель. Каким именно меркам, он не поясняет, это утверждение признается за аксиому. Однако вскоре акценты начали несколько смещаться: во-первых, был воспринят искренний югославизм Андрича и столь же искреннее признание им преимуществ югославского литературного пространства. Следующим шагом, исходя из предыдущего, стало обоснование принадлежности писателя пока к двум литературам — сербской и хорватской, к тому же, как составляющим единого литературного контекста. Так, известный историк хорватской литературы К. Немец считает справедливым рассмотрение творчества писателей, типа Иво Андрича и Мирослава Крлежи, как писателей югославских⁵. В новейшем «Лексиконе хорватской литературы» (1998), который открывается статьей об Иво Андриче, эта точка зрения находит подкрепление в чисто эстетическом плане: включившись в сербский литературный процесс и приняв сербский литературный язык, Андрич сохранил «языковые, стилевые, тематические и философские компоненты хорватского наследия»⁶.

Что же досталось современным литературам в независимых государствах, образовавшихся на обломках социалистической Югославии? Им предстоит искать и, взамен утраченного, создавать новое литературное пространство, которое бы поддерживало национальную специфику своей литературы и давало выход к литературам Европы. И эти поиски начались по нескольким направлениям. Во-первых, в возрождении старых национальных мифов и создании мифов новых, в пересмотре роли тех или иных литературных течений и места отдельных писателей в иерархии художественных и идейных ценностей. Предпринимаются шаги по восстановлению национального наследия, которое в предшествующие периоды по разным

причинам сужалось: из него изымалось творчество писателей «нежелательной» идеологической направленности и вся эмигрантская литература. Восстановление полноты литературного процесса, безусловно, было необходимо, но оно в большей степени обращено в прошлое. К тому же, литература эмиграции, создававшаяся в совершенно иных исторических условиях, никак не может выступать в роли единственной хранительницы национального духа, как ей это часто приписывают. Она не очень вписывается в существовавший в социалистической стране литературный поток и скорее представляет параллельное ему русло.

Второе направление, сугубо современное и связанное с новыми идеологическими и экономическими реалиями нашего времени, ориентировано на установление контактов со средневропейским литературным регионом и нередко сопровождается демонстративным отталкиванием от региона, в прошлом югославского. Естественными в этом контексте выглядят ностальгические воспоминания об австрийском культурном сообществе, не лишённые идеализации взаимоотношений между культурами угнетающей и угнетённых наций. Громко заявляется о принадлежности бывших австрийских славянских областей к Средней Европе, а югославский опыт литературного общения предстает преимущественно в негативном свете. Этому, конечно, способствует и предпринимаемые политические шаги по вступлению в Европейский союз. Естественно, что растёт интерес к самому феномену «австрийская литература». Он возник и в нашей стране. В работах Д. Затонского, С. Шерлаимовой, А. Гугнина, Ю. Архипова, А. Михайлова 1980—1990-х годов расширилось и углублялось понимание многонационального литературного контекста Австро-Венгрии, в котором в сложном переплетении существовали разнонаправленные импульсы, но при этом шли процессы взаимного обогащения и дополнения.

Третье направление проявляется, хотя ещё очень робко и ограниченно, во все же идущем на новой основе восстановлении связей с литературами бывшей Югославии. Медленно, но начинают налаживаться отношения хорватов и словенцев, тех и других с македонцами. Причем они гораздо успешнее осуществляются в научном мире. Югославские ученые разных национальностей не только сотрудничали на просторах всей своей страны, но были достаточно популярны и за ее пределами. Они преподавали в европейских и американских университетах, участвовали в международных встречах, публиковались в иностранных научных изданиях. В литературной среде контакты были спорадическими. С развалом Югославии не только

культурное пространство сузилось до национальных рамок, но уменьшились и шансы проникнуть на европейский и мировой книжный рынок.

Бесспорно одно, положение югославянских литератур в мировом информационном пространстве, их стремление в него включиться, причем как можно быстрее и шире, со всей остротой ставит вопрос о национальной идентификации и сохранении каждой национальной культуры, литературы и языка. Более того, он уже стоит на повестке дня и требует научного осмысления.

Примечания

¹ Гусев Ю. П. Венгерская литература в культурном контексте Австро-Венгерской монархии // Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика. М., 1997. С. 127.

² Krleža M. Izlet u Mađarsku 1947 g. // Republika. Zagreb, 1953. N 12. S. 999.

³ Цит. по: Зигль В. Обращение к участникам конференции // Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика. С. 7.

⁴ Lovrenčić I. Mjesto Ive Andrića u Hrvatskoj književnosti // Republika. 1992. N 11—12; Jelčić D. Povijest hrvatske književnosti. Zagreb, 1997. S. 242.

⁵ Nemes K. I. Andrić u procesu razdruživanja // Republika. Zagreb, 1992. N. 11—12.

⁶ Bogišić V., Čale Feldman L., Duda D., Matičević I. Leksikon hrvatske književnosti. Zagreb, 1998. S. 12, 13.

Литература словенской эмиграции и зарубежья во второй половине XX века

Историческая судьба словенского народа была полна суровых испытаний. Специфика геополитического положения исконно словенских территорий, оказавшихся объектом притязаний более могущественных соседей, стала одной из причин многовековой экспансии со стороны ряда европейских государств. Исторические катаклизмы, передел территорий, перенос границ привели к тому, что к середине XX в. этнические земли словенцев уменьшились почти на две трети. В 1954 г. согласно Лондонскому меморандуму Италии отошел Триест, в котором на тот момент проживало до 60 тыс. словенцев, в 1955 г. каринтийские земли, попавшие под австрийскую юрисдикцию по результатам плебисцита 1920 г., были окончательно закреплены за Австрийской Республикой. По данным на 2000 г. свыше одной трети словенского населения живет сейчас за пределами Республики Словении — в Европе, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке¹. Трехтомный труд «Литература словенской эмиграции» (1999), масштабное историко-литературное исследование, проведенное сотрудниками Института словенской эмиграции Научно-исследовательского центра САНИ, показало, что очаги словенской культуры существуют не только в ближнем зарубежье и Аргентине, куда еще в XIX в. устремилась первая волна эмигрантов, но и, например, в Калькутте² или в Канаде³. Однако больше всего словенцев — 200 тыс. человек — живет в сопредельных странах: северной Италии, Австрии, Венгрии. Они остались в своих исконных областях, но являются вследствие передела территорий гражданами других государств.

Важным фактором сопротивления ассимиляции для этого населения стала литература на родном языке, получившая в современном словенском литературоведении название «зарубежная». Условно авторов «зарубежной» диаспоры можно разделить на «триестских» и «каринтийских», т. е. тех, кто живет в северной Италии и южной Австрии. На протяжении веков земли Словенского Приморья и Каринтии были частью словенского культурного пространства, на определенных отрезках истории их города становились средоточием ведущих культурных и просветительских сил. Так, Триест в середине XVI в. оказался своего рода колыбелью словенской Реформации, ибо при дворе епископа Петра Бономо воспитывался основоположник словенского языка, протестант П. Трубар, Целовец в середине

XIX в. был главным центром книгопечатания (просветительское и издательское «Общество св. Мохора») и т. д. Выходцы из приморских и каринтийских земель — С. Грегорчич, Ф. Бевк, В. Бартол, Прежихов Воранц — составляют цвет национальной литературы XIX—XX вв.

Современные диаспоры словенцев в австрийской Каринтии и итальянском Триесте благодаря устойчивой культурной традиции и благоприятной общественно-политической ситуации последних лет выдвинули новых известных авторов. В настоящее время в Северной Италии живут ведущие современные прозаики А. Ребула (р. 1924) и Б. Пахор (р. 1913), поэты М. Кошута (р. 1936) и М. Кравос (р. 1943), в Южной Австрии — писатели Я. Месснер (р. 1921), Ф. Липуш (р. 1937) и поэты А. Кокот (р. 1936) и Г. Януш (р. 1939), Я. Освальд (р. 1957), Ц. Липуш (р. 1966) и многие другие.

Литераторы ближнего зарубежья активно участвуют в общественной и литературной жизни Словении (например, один из недавних руководителей словенского пен-центра поэт М. Кравос — гражданин Италии), представляют ее на международных писательских мероприятиях, отмечены национальными литературными наградами. Все это, а также значительный художественный потенциал авторов и востребованность читательской аудиторией (книги писателей диаспоры выходят на исторической родине, многие авторы пользуются популярностью) позволяет рассматривать литературу словенского зарубежья как одну из составляющих современного литературного процесса, одну из «ветвей» национального культурного «древа», которая естественным образом связана с национальной литературной и культурной традицией, «встроена» в национальный литературный контекст. Особую роль творчество и общественная деятельность итальянских и австрийских словенцев сыграли в период «свинцового» десятилетия 1970-х.

В 1970-е годы Словения вместе с другими республиками СФРЮ переживает экономический и политический кризис. Литература этого периода стремится выйти из-под давления господствующей идеологии, вступает в противоречие с сохраняющимся типом власти. В это время на фоне ужесточения культурной политики в республике существенно возрастает роль периодики итальянской и австрийской диаспор: литературно-критические триестские журналы «Мост» (выходит с 1964 г.) и «Залив» (1966—1991), печатающиеся в Клагенфурте «Младье» и «Целовецкий звон» (выходят соответственно с 1960 и 1983 гг.) становятся трибуной для открытых дискуссий в том числе по национальному вопросу. На фоне проблем собственного национального меньшинства в Италии и Австрии контрастнее выветились противоречия между Любляной и Белградом. Творческая интеллигенция Словении, недовольная унитаристской культурной политикой

руководства страны обращается к наболевшему — в республике темой публичного обсуждения становится национальный вопрос. В июле — августе 1970 г. в люблянском журнале «Проблемы» проходит серия дискуссий, которые вел видный историк литературы и критик Душан Пирьевец (1921—1977). Они затрагивали важнейшие для словенской культуры проблемы: защита родного языка, национальная идентификация, поиск национальных корней.

Иногда акции «зарубежников» оказывали прямое влияние на культурную обстановку на родине, влияли на литературный процесс. Так, например сборник «Эдвард Коцбек — свидетель нашего времени», выпущенный в 1974 г. в Триесте А. Ребулой и Б. Пахором, не только вновь приковал внимание всей Словении к «поэту эпохи» и прозаику, сумевшему обнажить всю трагическую для словенцев противоречивость внутринационального военного противостояния, но и стимулировал либеральные умонастроения интеллигенции. Содержащееся в книге интервью с Коцбеком, в котором тот заговорил на одну из «запретных» для социалистической системы тем — массового истребления ополченцев-домобранов* в 1945 г., по сути братоубийства, — получило в республике широкий резонанс. Стало очевидно, что в обществе назрела необходимость сказать всю правду о войне, переосмыслить, расшифровать, а порой, и полностью переоценить эпизоды национально-освободительной борьбы. И во второй половине 1970-х годов военная тема в творчестве многих прозаиков — В. Зупана, К. Грабельшека, Б. Зупанчича, М. Рожанца, П. Божича, В. Кавчича — зазвучала по-новому.

В последнее время для авторов зарубежья характерна определенная переориентация проблематики, свидетельствующая о желании больше интегрироваться в общественно-политические процессы, происходящие на родине. Если раньше в центре их внимания находилась личность, по воле истории лишенная отечества, проблемы ее адаптации в новых условиях и сохранение человеком вне родины национальных корней, то сейчас писателей волнует судьба всего словенского народа и Республики Словении в период глобализации. Знаковыми в этом плане являются дневники Б. Пахора 1990—1992 гг. «Словенская свадьба» (1992), в которых описывается хроника словенской «бархатной» революции, и документальный роман А. Ребулы «Утренние звезды Словении» (2000) об итогах первого десятилетия словенской независимости. Это пока единственная довольно смелая попытка дать оценку роли национальной интеллигенции в установлении

* Регулярные словенские части под немецким командованием.

и развитии национальной государственности. Никто из писателей, живущих в Словении, оценивать события новейшей истории своей страны еще не решился.

В конце 1980-х годов в период «потепления» восстанавливается связь с еще одной «ветвью» национальной словесности — литературой эмиграции. До недавнего времени самая многочисленная колония словенских эмигрантов находилась в Аргентине (сейчас, по некоторым данным, первое место занимают США). Она сформирована тремя волнами эмиграции: экономическими — конца XIX в. и 20-х годов XX в. и политической — после 1945 г. Первое переселение словенцев в Южную Америку восходит к 1878 г., когда аргентинское правительство в поисках свободных рабочих рук обратилось за помощью к Вене. Часть безработных в тогдашней Австро-Венгрии составляли словенцы, они-то и были направлены в Буэнос-Айрес. Вторая волна пришла на 1920-е годы, когда от военной разрухи за лучшей жизнью через океан потянулись семьи и одиночки, главным образом из оккупированного Италией Приморья (всего около 20 тыс. человек, еще 10 тыс. осело в Бразилии и Уругвае). Третью волну составили политические беженцы, люди, после окончания Второй мировой войны оказавшиеся негодными новой власти СФРЮ и вынужденные покинуть родные места. Высокий интеллектуальный уровень и творческая одаренность последней волны эмиграции способствовали не только выживанию ее представителей, но и развитию национальной культуры в иноязычной и инокультурной среде. Расцвет литературы эмиграции в Аргентине пришелся на 1950—1960-е годы. В это время начали выходить периодические издания аргентинских словенцев: литературно-критический журнал «Меддобье» (с 1954 г.), научный ежегодник «Вредноте» (1951—1957, 1968), появилась первая антология эмигрантской прозы «Дни смертников» (1960). «Душой» словенской колонии в Буэнос-Айресе был Т. Дебеляк (1903—1989) — поэт, переводчик, литературный критик, в 1938—1944 г. редактор литературно-критического журнала «Дом ин свет», выходившего в Любляне в годы войны вопреки провозглашенному словенской творческой интеллигенцией в знак солидарности с освободительным движением лозунгу «молчания культуры». Дебеляк вошел в историю национальной поэзии как автор «словенской фрески» — эпической поэмы «Великая черная месса по убиенным словенцам» (1949), по драматизму и художественности образов сравниваемой критиками с поэмой Ф. Прешерна «Крещение у Савицы»⁴. Трагедия братоубийства в конце войны — коммунисты уничтожали домобранов — становится здесь частью «истории европейской христианской цивилизации и непрекращающегося столкновения Добра и Зла, Бога

и Дьявола»⁵. Благодаря усилиям Дебеляка и его соратников не были забыты достойные имена, в силу политических и идеологических причин оказавшиеся неудобными на родине. Так, в 1954 г. в Буэнос-Айресе увидели свет заметки видного прозаика межвоенного периода И. Прегеля (1883—1960) «Мой мир и мое время», в которых автор с большим скептицизмом рассуждал о перспективах социалистического строительства, в 1956 г. — поэтический сборник одного из самых одаренных лириков конца 1930 — начала 40-х годов Франце Балантича (1921—1943), имя которого в Словении долго замалчивалось. Дебеляк также стоял у истоков университетской словенистики в Аргентине — в 1967 г. на философском факультете университета в Буэнос-Айресе была открыта кафедра словенского языка.

«Аргентинское» направление представляют свыше тридцати авторов, относящиеся главным образом к военному поколению. Помимо Дебеляка это прозаики и драматурги З. Симчич (р. 1921), С. Коципер (1917—1998), И. Корошец (р. 1924), поэты Ф. Папез (1924—1996), В. Житник (1903—1980), В. Роде (р. 1932), Т. Дебеляк-младший (р. 1936) и многие другие. На родине первая антология аргентинских авторов-эмигрантов «Это дерево растет на чужбине» вышла в свет за год до провозглашения независимости Словении — в 1990 г. За ней последовали «Под южным крестом. Антология эмигрантской прозы 1945—1991» (1992) и «У серебряной реки. Краткая проза аргентинских словенцев» (1993).

Самый известный, «знаковый» роман словенской эмиграции — «Человек по обе стороны стены» З. Симчича, вышедший в Буэнос-Айресе в 1957 г. и изданный на родине лишь в 1991 г., можно представить как словенский образец «возвращенной» прозы. В 1993 г. автор получил за него на родине премию фонда Прешерна. Книга Симчича — экзистенциальная по мироощущению, модернистская по поэтике, автобиографическая по материалу — обращает читателя к теме изгнанничества (внешнего — бегства от коммунистического режима и внутреннего — поиска героем самого себя), которая передается прозаиком с помощью техники самоанализа. Через ощущение метафизической драмы человечества, всеобщей трагичности бытия им раскрываются реальные проблемы людей, запутавшихся в исторических противоречиях. Героя Симчича часто сравнивают с персонажами Камю и Сартра⁶, его история — это своего рода метафора судьбы современного человека, по сути аутсайдера в этом мире.

Большой вклад в изучение и популяризацию на родине литературы зарубежья и эмиграции внесли словенские литературоведы Й. Погачник (1933—2002) и Х. Глушич (р. 1934). Первый еще в 1972 г. опубликовал исследование «Литература словенской эмиграции и зарубежья», включив отры-

вок из него и в VIII том «Истории словенской литературы» (Марибор, 1972). В книге 2001 г. «Словенская литература III» его глава «Литература зарубежья и эмиграции» рассматривает два основных потока художественных текстов, существующих за пределами современной Словении: эмиграционный и так называемый зарубежный, как неотъемлемую часть национального литературного процесса. В 1990-е годы профессор Люблянского университета Х. Глушич целый ряд работ посвятила проблемам литературы эмиграции. Ее статьи «Словенская эмигрантская литература (Аргентина)» (1990), «Современный словенский роман, написанный за пределами Словении» (1991), «Тине Дебеляк как историк литературы» (1991), «Литературное творчество словенской эмиграции» (1993) обращены к проблемам литературы эмиграции, особенностям ее поэтики и типологии. В книге «Словенская проза во второй половине XX века» (2002), где представлен весь «срез» современной национальной прозы, исследовательница анализирует и творчество ряда писателей эмиграции и зарубежья, без которых, по ее мнению, картина литературной жизни Словении немислима — это Б. Пахор, З. Симич, К. Маусер, А. Ребула, Ф. Липуш. Существенным показателем комплексного подхода к литературному процессу является включение ряда литераторов зарубежья и эмиграции в обновленное издание «Лексикона словенской литературы» (1996).

Примечания

¹ *Pogačnik J.* Književnost v zamejstvu in zdomstvu // Slovenska književnost III. DZS, Ljubljana, 2001. S. 361.

² Slovenska izseljenska književnost I. Evropa, Avstralija, Azija. Založba ZRC, Ljubljana, 1999. S. 322.

³ Slovenska izseljenska književnost II. Severna Amerika. Založba ZRC, Ljubljana, 1999. S. 352.

⁴ *Pibernik F.* Debeljakova Črna masa kot pesnitev izjemnih razsežnosti // Delo-Književni listi, 1990. 2 avg. S. 6.

⁵ *Poniž D.* Debeljak Čolnar iz daljav. Maribor, Obzorja, 1992. S. 131.

⁶ *Kos M.* Roman Z. Simiča Človek na obeh straneh stene // Slovenec, 1991. 28 avg. S. 12.

Болгарская литература на рубеже нового столетия

Вступая в новый век, культура, в том числе и литература, неизбежно решает для себя вопрос о том, что же она возьмет с собой от предшественников в грядущие годы своего развития. Этот вопрос актуален всегда. Для болгарской литературы XXI столетия он очень важен и сложен еще и потому, что в предыдущие десятилетия и особенно начиная с 1940-х годов до конца 1980-х она существовала в обстановке художественной и идеологической несвободы. Возникает насущная потребность многое в ней переоценить, а от многого, возможно, и просто отказаться.

Путь болгарской послевоенной литературы вплоть до конца 1980-х годов изобилует множеством трудно преодолимых препятствий. В первые послевоенные годы она понесла существенные потери. Из Союза писателей были исключены, а затем и подвергнуты жестоким репрессиям многие видные болгарские писатели (Д. Талев, М. Арнаудов и др.), некоторые из них так и не смогли вернуться к творческой деятельности.

Отрицательное воздействие на свободное развитие литературы оказал метод социалистического реализма, который еще в 1945 г. был официально провозглашен «единственно правильным»¹, а значит, и обязательным. Литературе предъявлялись жесткие требования, ограничивающие и регламентирующие выбор тематики, средств художественного выражения, толкование фактов истории и современной действительности. Однако и в эти трудные годы писатели находили способы выходить за рамки навязываемых им норм. Их творческое противостояние дало весомые результаты (проза Д. Димова, Э. Станева, поэзия Э. Багряны, В. Петрова и др.) и позволило литературе удержать высокий уровень, достигнутый ею в первой половине XX в.

Общественно-политические события 1956 г. привели к известному оздоровлению атмосферы в области болгарской культуры, хотя и не устранили партийно-государственного диктата в ней. Редкие попытки открытого протеста сурово наказывались. Так, за свои смелые, критические по отношению к общественно-политической и культурной действительности в Болгарии репортажи (по западному радио) известный прозаик и драматург Георгий Марков, в 1969 г. эмигрировавший из страны, поплатился жизнью. За неподчинение решениям Союза болгарских писателей четверо видных писателей были исключены из партии, а один, беспартийный — из Союза,

что автоматически на долгие годы приводило к полному или частичному запрету на профессию (в данном случае на 14 лет).

И все же, несмотря на суровую цензуру (негласную, поскольку официально ее как бы не было) и требования социалистического реализма, оставаться в литературе набиравший постепенно силу относительно более свободный по сравнению с предыдущим периодом творческий процесс уже было нельзя. Писатели в своих произведениях все чаще категорически отказывались следовать этим требованиям и таким образом ставили под угрозу существование самого метода, защитники которого постепенно были вынуждены частично сдавать свои позиции.

В 1970-х годах усилия части болгарской критики (Т. Павлов, В. Колевский, А. Лилов, Ч. Добрев и др.) были направлены на обоснование нового (антидогматического и творческого, как они считали) подхода к содержанию и пониманию социалистического реализма. Одновременно в Болгарии была поддержана концепция этого метода как исторически открытой эстетической системы, наиболее подробно разработанная советским ученым Д. Ф. Марковым². Очевидно, был сделан важный шаг к устранению некоторых преград, возводимых социалистическим реализмом на пути естественного движения литературы. В том числе был разрешен доступ к наследованию, использованию и развитию достижений других художественных методов и систем. Но в то же время основные принципы метода оставались неизблеемыми. Писателей по-прежнему продолжали упрекать за отступления от классово-партийного критерия и социалистической идейности, за отсутствие исторического оптимизма, положительного героя и т. д.

Однако постепенно творческое противостояние болгарских писателей догмам, умелое, иногда и прямое игнорирование навязываемых им канонов становилось все более мощным и массовым. Наиболее талантливые из них добивались значительных успехов в русле основных художественных течений эпохи, не теряя в то же время яркой национальной самобытности.

Раскрепощение болгарской литературы в первую очередь выразилось в ее обращении к личности, в своеобразной «реабилитации» человека, обретении им истинного статуса в произведениях о современной действительности и об исторических судьбах страны и народа. В период 1960—1980-х годов в болгарской поэзии, прозе, драматургии произошли значительные качественные сдвиги, что привело к успешному отражению основных признаков эпохи в национальном и общечеловеческом масштабе.

Одной из существенных черт болгарской литературы этого периода является ее интенсивное движение к синтезу национального художествен-

ного опыта (главным образом, в рамках классического реализма, но и других художественных направлений) с опытом мировой литературы тех же лет. Писатели проявляют стойкий интерес к использованию фольклорно-мифологических мотивов, а также к переосмыслению фольклорных стереотипов, к разработке «пограничных» ситуаций, к сказовому повествованию (при этом более интенсивно привлекается богатство народной речи). На новом уровне происходит освоение и активное использование таких изобразительных средств и начал, как гротеск, пародия, абсурд, притчевость, мифологизм и др.

Центральное место в болгарской литературе 1960—1980-х годов занимает исследование нравственного аспекта жизненных явлений, а также такие сущностные проблемы, как частая недооценка и даже забвение в современном обществе традиционных духовных ценностей. Последнее напрямую связано с опасностью утраты национальных корней, родовой памяти, ведет к ослаблению связей с окружающей средой, природой, к нарушению разумных пропорций между эмоциональной и рациональными сферами жизни человека, к обеднению его внутреннего мира, засилью мещанской философии, потребительства, карьеризма и пр.

Произведения болгарских писателей, как правило, отличались резкой критичностью по отношению к разного рода нравственным изъянам современного им общества. В то же время об истоках этих изъянов, о претензиях к самой государственной системе, которая их порождает, говорить открыто в те годы было нельзя. Тем не менее многое читалось между строк, в подтексте. Чтобы передать свое отношение к тем или иным отрицательным общественным явлениям в обход цензуры, поэты, прозаики и драматурги активно и успешно используют фантастические, символические, мифологические образы. С этой же целью активно привлекаются и пародийно-сатирические жанры и приемы.

Болгарский прозаик и драматург Й. Радичков для передачи этической, нравственной и социальной нестабильности в стране, последствий неизбежного и драматического столкновения уходящей патриархальности с современной цивилизацией, когда, по его выражению, все встает «с ног на голову» и царствует всеохватная «суматоха», прибегает, «играя пером», к фантастической условности, пародиям, гиперболам. Их основой служит фольклорное мироощущение писателя. В его произведениях взаимодействуют примитивно-бытовой и возвышенный, подчеркнута обыденный и фантастический, комический и трагический планы. Фантастика в прозе

П. Вежинова иного характера — он опирается не на фольклорные традиции, а скорее на научные гипотезы и философские идеи.

По-видимому, не случаен в Болгарии 1970—1980-х годов всплеск комедии, художественная специфика которой дает относительно большую свободу выражения позиций автора по отношению к современной действительности. Пьесы И. Радоева, Й. Радичкова, С. Стратиева, Х. Бойчева и др. до сих пор пользуются большим успехом не только в Болгарии, но и в других странах, в том числе и в России.

Поэт К. Павлов создает в своих стихотворениях абсурдно-гротескный мир. Он сатирически отражает деформацию человеческих отношений, насилие над личностью в условиях тоталитарной системы. При всей условности художественных приемов активность и целенаправленность авторской позиции очевидны и безусловны. Сатира поэта многообразна: резкий сарказм, едкая ирония и самоирония, пародия и приемы абсурда. Создавая образы-символы, образы-метафоры, прибегая к своеобразным ассоциациям, К. Павлов восстает против стереотипов художественного мышления, вскрывает иллюзорность видимого в действительности, заслоняющего ее сущность, разоблачает лживость политических догм.

Герой в литературе этого периода в отличие от предыдущего (1940—1950-х годов) это раскрепощенная личность, «подвижный»³ человек в пути. И часто в пути к самому себе. Он может совершать ошибки, ему свойственны сомнения, он нередко способен даже на невероятные с точки зрения ограниченного здравомыслия действия, но ему противопоказана статичность, пассивность и бездействие. В болгарской литературе отражается оппозиция: «здоровый разум» (догматизм) — свободное, раскрепощенное мышление, духовность (проза П. Вежинова, Й. Радичкова, Б. Димитровой и др.).

Начиная с 1960-х годов в произведениях болгарских писателей наблюдается видимое усиление авторского (но не авторитарного) начала, личностной, субъективной позиции автора. Одновременно обозначилась и тенденция к снижению эпизации и масштабности, устойчивая склонность к лиризации, к малым прозаическим формам. Этот художественный процесс (проявившийся и в ряде других литератур) подпитывал мнения части критики об очередной гибели романа как жанра. Однако, хотя лиризация в эти годы действительно проникла и в роман, редуцируя его эпичность, она никак не подточила основы жанра, а только внесла разнообразие в его формы. И, возможно, прав болгарский литературовед Светлозар Игов, утверждая, что «кризисы и болезни романа — это выражение его здоровья и жизненности»⁴.

В то же время в болгарской прозе получил большое распространение другой процесс, можно сказать, противоположный — так называемая циклизация, т. е. создание произведений на почве объединения рассказов, повестей, новелл (малых прозаических форм), связанных друг с другом сквозной интригой, общими героями, единой идеей, рассказчиком и пр. Этот процесс на новом уровне и в новых формах наследует сходные художественные явления, существовавшие в болгарской литературе еще в конце XIX — начале XX в. Мнения болгарских критиков по поводу перспектив циклизации разделились. Одни видели в ней путь к созданию нового эпического и масштабного романа, другие движение к эпичности в таких объединениях отрицали.

Однако к концу 1980-х годов в этом споре была поставлена точка. Действительно, во многих произведениях, построенных по принципу цикличности, эпичность отсутствует совсем или она приглушена за счет сильной лирической тональности. И все же сама форма циклизации свидетельствует о бесспорной тяге к укрупнению содержательных и идейных пластов произведения. В 1987 г. известный болгарский прозаик Ивайло Петров опубликовал эпический крупномасштабный роман «Облава на волков», представляющий собой сцепление нескольких относительно самостоятельных и в то же время тесно связанных между собой новелл.

Вопреки многочисленным барьерам, воздвигаемым официальной болгарской критикой на пути развития литературы, общий ее уровень в период 1960—1980-х годов вполне соответствовал европейскому. Этому способствовал приток целой плеяды молодых авторов, которые внесли в литературу много новых и оригинальных художественных подходов, а также обретение «второго дыхания» старшим поколением, сумевшим преодолеть навязываемые им догматические каноны и в полной мере осуществить свои творческие возможности. Произведения таких болгарских поэтов, прозаиков, драматургов, как Э. Станев, П. Вежинов, Й. Радичков, И. Петров, В. Петров, Э. Багряна, Х. Радевский, Б. Димитрова, И. Радоев, С. Стратиев и др. перешагнули национальные границы. Они переведены на многие языки и вызывают живой интерес у зарубежного читателя.

Однако к концу 1980-х годов в болгарской литературе начинает ощущаться известная «усталость», исчерпанность некоторых важных тем и проблем (нравственной проблематики, антифашистской, «деревенской» и др.), а также необходимость обновления поэтики. Предчувствуя опасность известного «застоя», писатели молодого поколения направили свои усилия на

освоение постмодернистских приемов, хотя на Западе к тому времени увлечение постмодернизмом уже сходило на нет, теряло свою актуальность.

В конце 1989 г. в Болгарии произошли серьезные социально-политические события — смена общественного строя, недовольство которым давно зрело во всех слоях населения страны. Повороты в истории трудно предсказуемы, но приближение их угадывается по новым тенденциям, которые появляются в жизни общества, особенно в ее духовной и нравственной сфере. Эти тенденции уловила и воплотила во многих своих талантливых произведениях болгарская литература 1960—1980 годов XX в. Ее опыт бесценен для поисков новых художественных решений на рубеже нового века.

Слом партийно-государственной системы в Болгарии в ноябре 1989 г. открыл для литературы широкие перспективы. Она в целом обрела свободу слова. Стали доступнее архивы, во всяком случае литературные, были выявлены, открыты и частично опубликованы на страницах газет, журналов и отдельных изданий ранее неизвестные, «забытые» или прямо запрещенные для широкого пользования документы старой и близкой истории страны (в том числе, например, протоколы Народного суда 1944—1945 гг., судебное дело Николы Вапцарова, дневник Георгия Димитрова). Все это способствовало бурному подъему документальной литературы разного рода, в том числе и художественно-документальной.

Неоценимый вклад в ее развитие на новом уровне внес журнал «Летописи». Усилия журнала были направлены на «обогащение и оздоровление национальной памяти о прошлом»⁵. Поражает обилие и разнообразие опубликованного им материала: документы, дневники, воспоминания и мемуары, документальные повести, рассказы и даже романы («Терновая корона» Стефана Груева). Большой интерес вызывают жизнеописания (в самых разных формах) болгарской семьи, рода, призванные предохранить от выхолащивания национальную память о социальном и культурном историческом наследии. Это особенно важно сегодня, когда патриотизм в Болгарии подчас заменяется безоглядным космополитизмом, когда национальное достоинство приносится в жертву западным стандартам и примитивно понимаемой глобализации.

К концу 1990-х годов поток новых документальных материалов и рутинных по форме мемуаров и воспоминаний о близком прошлом несколько сократился. Зато стало больше появляться произведений, значительных по своим художественным достоинствам (например, художественно-документальные книги Г. Данаилова, В. Мутафчиевой), которые удачно сплавляют в единое целое разные литературные формы и жанры и поэтому их трудно

или даже невозможно определить однозначно как документальные — мемуары, биографии или автобиографии.

Однако в отличие от очевидных успехов «литературы факта» в собственно художественной литературе возможность свободного творчества не принесла ожидаемых высоких результатов. Может быть, эта столь желаемая возможность наступила как-то внезапно для писателей, особенно старшего поколения, и они не сумели быстро адаптироваться в изменившейся действительности. По-видимому, негативно на уровне художественной литературы сказался и уход из жизни таких видных писателей, как П. Вежинов, Э. Станев, Э. Багряна, Х. Радевский и др.

Сложная ситуация создалась и в болгарской критике. Отмена государственного диктата в области литературы бывших социалистических стран, в том числе и Болгарии, стала стимулом к так называемому «новому прочтению» всей национальной литературы, как прошлого, так и послевоенного ее этапа. К сожалению, часть болгарской критики подошла к этому «прочтению» волюнтаристски. Некоторые попытались, например, отвергнуть все произведения (независимо от их художественного уровня) антифашистской направленности и те, в которых хоть как-то просматривались социалистические идеи. Другие же зачеркивали в сущности всю болгарскую литературу послевоенного периода. Разумеется, такие размашистые нигилистические суждения получили решительный отпор. Так, известный болгарский критик и литературовед Т. Жечев назвал их преступлением и «современной конъюнктурщиной». Правда, вскоре эта поначалу яростная атака радикалов потеряла силу.

Сегодня перед исследователями современной болгарской литературы стоят насущные задачи: оценка истинного вклада каждого болгарского писателя в национальный фонд литературы; определение справедливых критериев и пропорций в освещении творчества тех или иных писателей в рамках истории литературы; восстановление в ней имен запрещенных или «забытых» писателей и беспристрастная оценка их произведений, а также введение в литературный ряд запрещенных в недавнем прошлом отдельных произведений; дифференциация вклада в историю литературы ряда известных критиков и литературоведов, определявших литературную ситуацию (политику) в Болгарии в период после 1944 г.

Новый взгляд на прошлое болгарской литературы предполагает не только раскрепощение мышления исследователя, освобождение от конъюнктурных влияний, но и его толерантное отношение к плюрализму мнений, художественных пристрастий, стремление к диалогу, дружеской

научной полемике, поскольку иначе может возникнуть опасность замены одних (прежних) канонов другими. Болгарская литература подошла к рубежу XXI столетия с высоким художественным потенциалом, который позволяет надеяться на то, что временный ее спад в 1990-е годы вскоре сменится новым подъемом.

Примечания

¹ Цит. по: *Партията и литературата*. София, 1961. С. 396—397.

² *Марков Д. Ф.* Проблемы теории социалистического реализма. М., 1978.

³ *Мутафов Е.* Подвижният човек. София, 1978.

⁴ *Игов С.* Романът — Феникс и Протей // *Език и литература*. 1999. № 2. С. 136.

⁵ *Жечев Т., Кирков Д.* Сбогом , «Летописи» // *Летописи*. 1998. № 2. С. 7.

О новых подходах к исследованию современной польской литературы

События, происходившие на рубеже 1980—1990-х годов в СССР, Польше и других странах Центральной и Юго-Восточной Европы, в корне изменили облик отечественной славистики. В. К. Волков называет в числе принципиально новых черт, утвердившихся в 1990-е годы в славяноведении как комплексе научных дисциплин, прежде всего «методологический переворот», охвативший все общественные науки. С ликвидацией монополии марксистской методологии, подчеркивает ученый, «открылась возможность применять любые другие методы и теории познания, философские системы и исследовательские приемы... Воцарился плюрализм методологий, который органически сочетается с плюрализмом мнений. Высшим критерием научного исследования в таких условиях становится принцип объективности»¹. Не менее значительным, по мысли В. К. Волкова, стал «сдвиг в исследовательских приоритетах». И хотя новые приоритеты разнятся в зависимости от национальной специфики конкретных стран, цель, стоящая перед российскими славистами, одна: расширить исследования до их полного объема².

Наиболее показательная тенденция, проявившаяся в 1990-е годы в польской и российской литературоведческой полонистике, находит свое выражение в серьезных усилиях ученых обеих стран по заполнению лакун, образовавшихся на разных направлениях науки, развернутому освещению накопившихся нерешенных проблем, повышенном интересе к тем областям, которые долгие годы оставались недоступными для литературоведческой славистики. Необходимым звеном в этом процессе являются — наряду с разработкой общих вопросов литературного развития — конкретные детализирующие исследования его отдельных явлений.

В этом свете важнейшей методологической проблемой становится разработка общей концепции изучения послевоенной польской литературы, выбор исходного пункта ее историко-литературного осмысления. Во главу угла ставится вопрос: по какому из двух принципов — автономии или интеграции — рассматривать художественные явления и факты, возникавшие в разных культурных контекстах? В одних случаях принцип автономии оправдан самим предметом исследования: например, литература ПНР, польского зарубежья или самиздата описываются как самостоятельные самораз-

вивающиеся структуры с собственной системой ценностных ориентиров. Гораздо сложнее обстоит дело с анализом их совокупного художественного вклада в единый национальный и мировой культуротворческий процесс. Такой анализ служит (наряду с другими факторами) формированию нового отношения общества к своему духовному наследию, осознанию того, какая именно часть польской словесности XX в. — независимо от места проживания авторов — устремляется к ядру национальных традиций.

Несмотря на споры и разногласия между приверженцами идеи объединения двух художественных реальностей и теми, кто указывает на неэффективность «склеивания» разорванных частей литературы, являющихся абсолютно специфическими по своей сути и функциям явлениями, польские исследователи не прекращают попыток найти наиболее перспективные пути изучения пока еще не до конца упорядоченной литературной практики. Об этом, в частности, свидетельствует выдвинутая теоретиком и историком литературы Эдвардом Бальцежаном концепция реконструкции культурного диалога Польши и эмиграции, основанная на принципе суверенности каждого из ее участников³. Взгляд на современную польскую литературу как на платформу культурных взаимодействий ее автономных субъектов поддерживает профессор Торуньского университета Януш Крышак, который судит о польской литературе как о целом, существующем в двух измерениях, и видит возможность сопряжения литературных явлений, принадлежащих разным социокультурным контекстам, на основе взаимозаменяемости, выявления общих полей «согласий» и «расхождений». В его понимании идея диалога помогает решению остродискуссионного вопроса о месте писателей-эмигрантов в польском и мировом литературном процессе XX в., так как ставит эмигрантскую литературу в двойной контекст: ее отношения к целому, из которого выводится национальная культура, и тому целому, в котором она существует в принимающем обществе⁴.

В создании объективной синтетической картины современной польской литературы отдельно стоит вопрос периодизации литературного процесса в Польше и польском зарубежье. Простое совмещение двух различных литературных рядов приводит к явному конфликту, который проявляется, прежде всего, в невозможности синхронизировать несовпадающие по времени и содержанию фазы развития каждой из частей национальной литературы. Эти фазы (при всей условности любой периодизации) обладают собственным внутренним ритмом, организующим все многообразие происходящих событий в законченную картину, дающую представление об

узловых проблемах культуры и литературы определенного отрезка истории и географического пространства. Без учета их специфики трудно судить о естественной динамике саморегуляции обеих литературных структур. Кроме того, при подобном подходе из поля зрения выпадает значительная часть культурного контекста, а также внелитературных факторов (разных в реальной жизни метрополии и диаспоры), которые кристаллизуются в сознании художника — участника общественных процессов, чтобы затем найти свое материальное воплощение в конкретных произведениях. Сошлемся еще раз на мнение Я. Крышака: «...используемая в наших литературоведческих исследованиях периодизация послевоенных лет может лишь в ограниченной степени применяться для определения динамики литературного процесса эмиграции. С течением времени этот процесс гармонизировался, приобретая черты естественной непрерывности, чего нельзя было сказать о литературной ситуации в стране, где ход событий чаще всего прерывался... из-за слишком глубокого вовлечения в ритм общественно-политических фактов»⁵. Характерно, что каждый из польских исследователей, по-разному интерпретируя сложные взаимоотношения внутри национальной литературы, предлагая собственную систему описания и принципы систематизации материала, стремится при этом представить в живом потоке литературного процесса в Польше и вне ее пределов не только тенденции, явления и факты, которые сыграли разграничительную роль в новейшей истории отечественной словесности, но также и то, что способствовало стиранию границ, возникших между ее сегментами.

В целом, за разными теоретическими позициями и практическими способами прочтения исторически разъединенной польской литературы неизбежно встает проблема представленности каждого из ее субъектов в национальном и шире — общеевропейском и мировом — культурном дискурсе. Безусловно, эта литература как целое выглядит богаче и интереснее, чем в своих отдельных фрагментах. Если же сопоставить не только достижения, но также слабые места, реальные потери и упущенные шансы на сложных путях ее развития (по одной стороне — прерванные творческие биографии, погибшие таланты, искаленные цензурой тексты, выполненные по пропагандистскому заказу литературные поделки, по другой — излишняя политическая ангажированность писателей-эмигрантов и диссидентов, подчинивших свое творчество разоблачению коммунизма, что в конечном итоге вело к преобладанию публицистики в ущерб художественности, наводнению литературы текстами невысоких достоинств и ее тематическому однозвучию), то можно с сожалением констатировать известную ущерб-

ность, неполноценность бытования как литературы ПНР, так и литературы эмиграции, не говоря уже о самиздате. Отсюда различные деформации (условность пропорций, иллюзорность значений) в их самооценках. Однако само по себе очень важное и актуальное составление реестра потерь, которые пережила польская литературная культура в XX в., не должно загромождать ее бесспорных приобретений, пробивавших себе дорогу сквозь самые неблагоприятные периоды в жизни общества.

В 1990-е годы в польской и русской литературоведческой полонистике получили широкое распространение концепции исследования литературных явлений и фактов как неотъемлемой части культурного процесса. Все в большей степени утверждаются научные стратегии, основанные на изучении устоявшейся и новой литературной проблематики в ее глубоком взаимодействии со всей областью культуры. Подобный выход в многомерное социокультурное пространство, в котором зарождается и движется во времени произведение, характерен для современного литературоведения. В этом случае исследователь, не забывая о собственных проблемах науки о литературе, стремится воссоздать многослойную сферу общественной и литературной жизни, с которой связана история художественного текста. На протяжении двух последних десятилетий, как в Польше, так и в России, наблюдается заметная переориентация традиционных историко-литературных исследований, на что указывают видные ученые обеих стран⁶. «Сегодня филолог — пишет В. А. Хорев — стремится рассматривать литературные факты... как составные части культурного процесса... в контексте явлений данной национальной культуры как единого целого»⁷.

Меняющийся подход к литературному произведению, в котором исследователь видит общекультурное явление, ведет не только к расширению строго филологических принципов и приемов его анализа. По мнению польского литературоведа Рышарда Ныча, возникает новая методологическая ситуация, связанная с изменением взгляда на соотношение «внешнего» и «внутреннего» в бытовании литературы. Разнообразные виды проблематики, обусловленные взаимосвязями литературы одной страны с другими литературами, художественными течениями, философской мыслью, историей, культурой, политикой, идеологией, системой власти, общественными и этническими различиями и т. д., перестают осмысливаться в категориях противопоставления «внешнего» (совокупности факторов, определяющих статус, функции и формы проявления литературы, раскрывающих историческую перспективу литературного процесса) и «внутреннего» (автономного пространства свободного развития литературы), становясь частью

«широко понимаемой, но исконно присущей самой литературе проблематики и одновременно необходимой составляющей ее современного литературоведческого описания», при котором «внешние контексты и обусловленности литературы выступают в виде аспектов ее «внутренней» поэтики и проблематики»⁸.

Подобные концепции оказываются весьма продуктивными. Они раздвигают параметры содержания произведения, позволяют увидеть в нем множественность дополнительных значений, обнаруживающих связь с такими понятиями из пограничных с литературоведением областей науки — социологии, культурологии, социолингвистики, как, например, литературная коммуникация, новояз, стереотип. Значительно расширяется поле научного анализа: рассмотрение художественных достоинств или недостатков текста, хотя и продолжает оставаться значимым, но далеко не единственным его аспектом. В исследование вовлекаются социальные, политические, идеологические, психологические и другие факты и явления, что закономерно дополняет литературоведческое осмысление произведений культурологической, социологической и этической рефлексией.

С начала 1990-х годов в Польше и России появилось много публикаций на тему широко понимаемой связи литературы и общества. Гуманитарные науки стремятся с предельной степенью объективности исследовать социальную и культурную среду, через которую проходит произведение писателя и которая определяет реальности литературного развития. В Польше плодотворность обсуждения этой проблематики доказывают не только социологические⁹ и историко-культурные¹⁰ исследования. Ей отдано предпочтение в целом ряде литературоведческих изысканий¹¹.

Такую научную стратегию избирают сегодня даже «чистые» литературоведы, «строгие» историки литературы и литературные критики¹². Их делом становится писать о литературе так, чтобы выводить на первый план «творческие индивидуальности»¹³ и «дух времени»¹⁴. Ощутимо желание исследователей видеть историю литературы через призму писателей, заметно нарастание интереса к изучению периферийных областей литературного процесса, всякого рода аномалий, умолчаний, прерванных линий¹⁵. Это принципиально новые взгляды, утвердившиеся в 1990-е годы в польском литературоведении, где наряду с традиционными разысканиями все чаще появляются работы, в которых центр тяжести переносится на персонализацию литературы, процедуру распознавания важных значений, пропускающих через мелкую деталь, единичный эпизод в жизни писате-

ля и общества, что делает контакт со словесностью более близким, даже интимным.

Сфера индивидуального приобретает свое значение не сама по себе, а в сложном взаимодействии контекстов, организующих мир вокруг автора и его произведения. Поэтому современная литературоведческая мысль столь охотно устремляется в сторону изучения социальных факторов, с одной стороны, и с другой — особенностей культурной жизни народа, находящихся свое воплощение в конкретных явлениях литературы и влияющих на ход литературного развития.

В том же направлении продвигаются сегодня российские полонисты, в чем можно убедиться, обратившись к отдельным работам наших ученых, а также коллективным трудам, вышедшим под грифом Института славяноведения РАН¹⁶. Изучение послевоенной польской литературы в социокультурном аспекте становится одним из способов ее современного анализа.

Примечания

¹ См.: Волков В. К. Российское славяноведение: вчера, сегодня, завтра (К 50-летию Института славяноведения и балканистики РАН) // Институт славяноведения и балканистики. 50 лет. М., 1996. С. 24.

² Там же. С. 25.

³ Balcerzan E. Ojczyzna wobec obczyzny // Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 roku / Pod red. M. Fik. Warszawa, Wyd. KRAĞ, 1992. S. 21—33 (особенно с. 31).

⁴ Kryszak J. Literatura złej chwili dziejowej. Szkice o drugiej emigracji. Łódź, Spółka Wydawniczo-Księgarska, 1995. S. 56—57.

⁵ Op. cit. S. 8.

⁶ См., например: Choriew W. Stereotypy etniczne a badanie polsko-rosyjskich związków literackich // Przegląd Humanistyczny, 1998. 4. S. 47—54; Хорев В.А. Имагология и изучение русско-польских литературных связей // Поляки и русские в глазах друг друга / Отв. ред. В.А. Хорев. М., 2000. С. 22—32.; Nycz R. Polonistyka na rozdrożu // Teksty Drugie, 2001. № 2. S. 5—10.

⁷ Хорев В. Имагология и изучение... С. 22.

⁸ Nycz R. Op. cit. S. 5, 8.

⁹ См.: Siekierski S. Książka literacka. Potrzeby społeczne i ich realizacja w latach 1944—1986. Warszawa, 1992; Idem. Czytanie Polaków w XX wieku. Warszawa, 2000; Czarnik O. S. Między dwoma Sierpniami. Polska kultura literacka w latach 1944—1980. Warszawa, 1993.

¹⁰ Например, работы 1990-х годов, посвященные польско-русским стереотипам в литературе и культуре: Kępiński A. Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu. Warszawa; Kra-

ków, 1990; *Orłowski J. Z dziejów antypolskich obsesji w literaturze rosyjskiej. Od wieku XVII do roku 1917.* Warszawa, 1992; *Giza A. Polaczkowie i Moskale — wzajemny ogląd w krzywym zwierciadle (1800—1917).* Szczecin, 1993.

¹¹ Например: *Literatura i demokracja. Bezpieczne i niebezpieczne związki* / Red. M. Gumkowski. Warszawa, Wyd. IBL, 1995; *Literatura i władza* / Red. W. Wojnowska. Wyd. IBL, 1996.

¹² См., например, серию коллективных трудов Института литературных исследований ПАН: *Sporne postaci polskiej literatury współczesnej* / Pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej. Т. 1—3. Warszawa, 1994, 1995, 1996; *Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej* / Pod red. A. Brodzkiej i L. Burskiej. Warszawa, 1998; *Zielińska M. Polacy, Rosjanie, romantyzm.* Warszawa, 1998, в особенности глава «Ustęp III części Dziadów i jego rosyjskie konteksty». S. 71—135.

¹³ Ср. суждение М. Янион о новых подходах к интерпретации истории польской литературы: «Сегодня я думаю, что нужно... писать о литературе... видя в ней писательские индивидуальности». См.: *Janion M. Płacz generała. Eseje o wojnie.* Warszawa, 1998. S. 273.

¹⁴ Ср.: *Baranowska M. Barańczak, Krynicki i duch czasu* // *Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Następne pokolenie...* 1995. S. 99—113.

¹⁵ Об этом пишет, впрочем, с известной долей осторожности, видный историк литературы Хенрик Маркевич. См.: *Markiewicz H. Co się dzieje w nauce o literaturze polskiej?* // *Polonistyka.* 2000. а 7. S. 390.

¹⁶ См., например: «Путь романтический совершил...» / Отв. ред. В. А. Хорев. М., 1996; *Политика и поэтика* / Отв. ред. Ю. Б. Богданов. М., 2000; *Поляки и русские в глазах друг друга...*; *Россия — Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре* / Отв. ред. В. А. Хорев. М., 2002; *Литературы Центральной и Юго-Восточной Европы: 1990-е годы. Прерывность — непрерывность литературного процесса* / Отв. ред. Н. Н. Старикова. М., 2002.

Ф. М. Достоевский и Г. Херлинг-Грудзинский: публицистический дневник-хроника

В «Дневнике, писавшемся ночью» принцип «рассказы внутри хроники текущих событий» позволяет провести аналогию этого произведения эмигрантской словесности с «Дневником писателя» Достоевского. А. Костелек назвала «Дневник писателя» Достоевского увенчанием его публицистики¹. Точно так же «Дневник, писавшийся ночью» Херлинга-Грудзинского является итогом более чем полувекового творчества писателя.

Наследие Достоевского в творческой лаборатории Грудзинского занимает ведущее место уже с 1940-х годов, в период работы над «Иным миром». Р. Зиманд обозначил новую проблему сопоставительного исследования дневников Достоевского и Херлинга-Грудзинского. Он предположил, что «именно “Дневник, писавшийся ночью”, соединяя под одним названием высказывания разных типов, в том числе сюжетную прозу, подошел ближе всего к формуле жанра, предложенной Достоевским». Нельзя не согласиться и со второй частью тезиса Р. Зиманда: «Достаточно прочитать три страницы “Дневника писателя” и “Дневника, писавшегося ночью”, чтобы установить полное различие поэтики высказывания»².

«Дневник писателя» и «Дневник, писавшийся ночью» относятся к зрелому творческому периоду авторов и ведутся до их кончины. Они пишутся с мыслью о публикации и издаются в периодических изданиях: соответственно журналах «Гражданин» (Достоевский) и «Культура» (Грудзинский; после 1996 г. — в приложении к газете «Речь-посполита»). Эти дневники — способ писательского воздействия на общество. Авторы рассчитывают на отклики читателей, не исключают критики и предполагают полемику.

В процессе создания произведений кристаллизуется формула хроники с вставными новеллами. Одновременно обозначается противопоставительный момент. В предуведомлении к тому второму (1876) Достоевский сообщает: «Дневник писателя» есть «отчет о действительно выжитых в каждый месяц впечатлениях, отчет о виденном, слышанном и прочитанном» [Т. 22. С. 136]³. Грудзинский, напротив, утверждает, что его «Дневник» — «вопреки видимости, не обычная запись событий, чтений, размышлений, встреч, путешествий» [6. С. 6—7]⁴. Разница между «отчетом о впечатлениях» и «картиной эпохи» — в продолжительности ведения дневниковых за-

писей. «Дневник писателя» охватил восьмилетие, т. е. переходный исторический момент. «Дневник, писавшийся ночью» преобразовался с годами в летопись последней трети XX в., когда в политической системе Европы произошли масштабные изменения. Рефлексия над «ускоренным ритмом истории» — лейтмотив произведения Грудзинского. Его «Дневник» 1990-х годов содержит не только фиксацию мимолетных впечатлений, но подведение итогов.

Оба автора предпочитают эстетический потенциал факта самодовлеющей игре воображения. Главное требование, предъявляемое к себе русским и польским авторами, есть заостренная наблюдательность. Например, Достоевский в статье «Два самоубийства» пишет: «Ведь не только чтобы создавать и писать художественное произведение, но и чтоб только примечать факт, нужно в своем роде художника» [Т. 23. С. 144]. Грудзинский тоже указывает, что писатель обязан погружаться в факты, так как опаснейшая болезнь общества есть «недосмотр настоящего»: «Несчастлива наша неспособность к максимальному напряжению внимания в отношении настоящего; мы можем его отчетливо разглядеть, когда уже слишком поздно, когда это уже прошлое» [4. С. 53]. Таким образом, автор дневника в версии Достоевского и Грудзинского не столько ищет «утраченное время» или проектирует будущее, сколько постигает смысл текущего момента, подводя в завершении итог пережитому.

Формула обоих дневников открыта. К исходным определениям отчета хроника и рассказа добавляются потенциальные, ставшие следствием диалога с кем-либо. Например, Достоевский, полемизируя с сотрудником журнала «Голос», пишет: «Если же московскому моему учителю непременно захочется назвать мой дневник фельетоном, то пусть, я этим очень доволен» («Нечто о вранье») [Т. 21. С. 117]. Римская запись Грудзинского 13 мая 1984 г. содержит размышление над сторонней репликой и свидетельствует о пристрастии к «человеческому документу»: «За соседним столиком сидят две девушки. Видя разложенные листы бумаги и карандаши, одна из них говорит другой будто шепотом и со смехом: «Будет писать любовное письмо». Кто знает, может, кроме хроники, пронизанной кое-где рассказами, на самом дне моего дневника присутствует эпистолярная струйка...» [6. С. 43]. Эти признания Достоевского и Грудзинского не меняют вид последующих записей, но корректируют читательское восприятие жанра.

В целом, оба дневника отличаются постоянной сменой типов высказывания: философские «разговоры с собой» и полемические ответы оппоненту, литературно-критические статьи и бытовые картинки, некрологи и анек-

доты. Автор выступает в роли мемуариста. В оба дневника включены тексты устных выступлений писателей: «Пушкинская речь» Достоевского и доклад «О изгнании», который Грудзинский прочитал на писательском симпозиуме в Турине (апрель 1992). Польский прозаик также наследует Достоевскому в жанре путевых заметок, о чем свидетельствует его вступительная фраза к «Путешествию в Польшу» 8—31 мая 1991 г.: писатель, обращаясь к Достоевскому, определяет свое «Путешествие» как «летние записки о весенних впечатлениях».

«Дневник, писавшийся ночью» включил рассказы, типологически близкие жанру эссе. Поэтому сопоставимы они не с вымышленными произведениями Достоевского: «Бобок», «Кроткая» и «Сон смешного человека», а с очерковыми фрагментами. Например, очерк «Влас» служит возможным предвосхищением особенностей новеллистики Грудзинского, для которого отправной точкой часто служит чужой текст. Русский автор берет за основу стихотворение Некрасова и пересказывает услышанную от старца историю про «особенных, даже неслыханных доселе Власах» [Т. 21. С. 117]. Вторая часть очерка — это развернутое рассуждение над взаимосвязью русской религии с идеей страдания.

Грудзинский по примеру «Дневника писателя» сопрягает факт действительный с фактом литературным. Например, жизнь неаполитанского учителя в «Башне» проясняется малоизвестной новеллой Ксавье де Местра «Прокаженный из Аосты», а инцидент с нищим в «Мосте» — одноименной притчей Кафки. Рассказ «Перстень», входящий в «Дневник», воспринимается как «осовремененная» версия новеллы Боккаччо «Андреуччо из Перуджи» и содержит полуправдивую историю, услышанную сразу от двух лиц, о церковном стороже Маттео, неудачно ограбившем захоронение архиепископа. Анекдот-новелла и анекдот-домысел преобразуются у Грудзинского в философскую притчу о тайне как основе для мифотворчества.

Достоевский, представляя развернутый комментарий в очерке «Влас», стремится увидеть в небесном знамении рациональную основу. Грудзинский всегда утверждает, что к тайне можно лишь прикоснуться, но нельзя постичь назначение чуда. Здесь берет начало метафизичность его рассказов.

Очерки Достоевского и рассказы Грудзинского отмечаются не только общим принципом структурирования, но и сходной проблематикой. В центре внимания текстов Достоевского «Смятенный вид» и Грудзинского «Святой Дракон» — уникальные факты перехода малообразованных крестьян в новую для них веру, что, по писательской мысли, свидетельствует о слабости церковных институтов.

Достоевский детально разбирает повесть Лескова «Запечатленный ангел» о переходе старообрядцев в православие и приводит лично ему знакомый факт немецкого протестантства в среде православия. Писатель констатирует в связи с этим удручающую пассивность православных священнослужителей.

Сюжет «Святого Дракона» опирается на достоверный случай создания иудейской секты в итальянской деревне, традиционно католической. Экзотическое для местных жителей верование есть христианство с обратным знаком. Столяр Скуро — «изобретатель» религии Ветхого Завета и глава секты — до некоторого времени даже не догадывается о существовании официального иудаизма. Возникает противоречие в крестьянской психологии между догматическими требованиями христианства и языческими суевериями: ожил застарелый страх перед мифическим драконом. Образ аббата Стерпоне свидетельствует, наподобие Достоевскому, паралич христианства. Однако Грудзинский переводит проблему кризиса вероисповедания из плоскости социальной в экзистенциальную: всеислие мирового зла ставит христианина в ситуацию выбора между сопротивлением и капитуляцией.

Малолетние персонажи обоих авторов изображены в условиях, несовместимых с детством: разврат, нищета, голод, смерть. Трагической судьбе ребенка Достоевский противопоставляет фантастическую концовку («Мальчик у Христа на елке»). Образ Кончетты в рассказе Грудзинского «Руины», как и упоминание здесь рождественской символики, является обнадеживающим фактором, но герои последующих рассказов «Святой Дракон» и «Благословенная, святая» вызывают у читателя пессимистические настроения. Судьбы этих персонажей заставляют сомневаться в разумности мироустройства и возрождают языческое представление о «злом боге».

Проблема самоубийства как бунта против миропорядка решается в диалектике глобального и единичного, познаваемого и загадочного. Пример — очерки Достоевского «Два самоубийства», где акцентируется неоднородность общества и, в связи с этим, психологических мотивов преступления, и «Приговор». Записи Грудзинского от 12 и 13 августа 1980 г. опираются на факт самоубийства двух женщин, психологически больных, но, казалось, идущих на поправку. Автор воспроизводит слова доктора о непознаваемости человеческой души — фактическое признание бессилия медицины. Слово о Эдварде Стахуре и его дневнике свидетельствует, наоборот, о всеислии искусства. Упоминание создателя «Дневника писателя» неслучайно: «Мы чувствуем, что это другое измерение литературы, то, например,

в котором прошел последний день жизни двух женщин из Болонии. Пожалуй, только Достоевский умел продвигаться в этом измерении, неожиданно выходя за границы литературы» [5. С. 61]. Грудзинский, отдавая дань русскому классику, недвусмысленно указал на одну из традиций своего творчества.

Различия «Дневника писателя» и «Дневника, писавшегося ночью» затрагивают структуру дневниковых записей и стиль произведений в целом. «Дневник писателя» состоит из ежемесячных статей с обязательным названием и почти всегда без датировок. «Дневник, писавшийся ночью» образует сумму записей без строгой периодичности, без названий (за исключением рассказов), но с указанием дат.

Автор «Дневника, писавшегося ночью» более сдержан. Его записи, в сравнении с заметками русского писателя, лапидарны. Тогда как Достоевский по интересующей его проблеме стремится высказаться до конца, Грудзинский довольно скоро ставит точку, сознавая невозможность полного познания предмета. Польский автор максимально «уплотняет» текст, насыщая его именами собственными, названиями книг и статей, а также названиями географических объектов, сократив собственный комментарий до предложения. На одинаковый упрек в незнании обрядовой стороны христианства Достоевский отвечает обличительной статьей «Ряженный», в которой обосновывает собственную эстетическую программу, тогда как Грудзинский — автор рассказа «Благословенная, святая» — отзывается двумя саркастическими фразами (27. 02. 1995). Предположительно, Грудзинский усвоил урок Достоевского, извлеченный им из статьи «Спиритизм» за 1876 г.: «Но вот, однако же, я исписал всю бумагу, и нет места, а я хотел бы поговорить о литературе, о декабристах и еще на пятнадцать тем по крайней мере. Вижу, что надобно писать теснее и сжиматься, — указание впредь» [Т. 22. С. 32]. «Дневник, писавшийся ночью» и есть образец концентрированного представления пятнадцати тем одновременно.

Жанровую формулу Достоевского Грудзинский творчески осмыслил, показав, как должен выглядеть современный «дневник писателя». Он и в этом отношении (как и в собственном опыте прочтения «Итальянских хроник» Стендаля) проявил себя приверженцем традиций как отправной точки собственных исканий⁵.

Примечания

¹ Kościółek A. Dziennik pisarza Dostojewskiego. Toruń, 2000. S. 16.

² Zimand R. Prawda, zmyślenie i Dniownik pisatelja // Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim. Poznań, 1991. S. 206—207.

³ Цитируется здесь и далее по изданию: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972—1990 (с указанием тома и страниц в тексте).

⁴ Цитируется здесь и далее: *Herling-Grudziński G. Pisma zebrane*. Warszawa, 1995—2002. Т. 1—12 (с указанием тома и страниц в тексте).

⁵ О взаимосвязи литературной документалистики и традиционного направления современной литературы пишет В. А. Хорев: «Так что вполне закономерна все явственнее проступающая...реакция на постмодернизм в виде появления произведений “постреалистической” литературы. В ней наряду с литературой вымысла огромную и даже ведущую роль стали играть жанры “невыдуманной литературы”, “парабеллетристические” жанры, как их называют в польской литературной критике». См.: *Хорев В. А. Литература «человеческого документа»*. Польский опыт 60—90-х годов // *Литературные итоги XX века (Центральная и Юго-Восточная Европа)*. М., 2003. С. 96.

Д. Боснак
(Нижний Новгород)

Жанровое своеобразие романа Ф. Сологуба как романа модернистского

В статье Иванова-Разумника «Федор Сологуб» сделана попытка идейного анализа раннего периода в творчестве классика Серебряного века. В результате автор статьи приходит к некому мета-смыслу исследуемого периода литературной деятельности Сологуба, заключающемуся в том, что «всеми словами, которые находит, Ф. Сологуб говорит об одном и том же... Он говорит о смысле жизни, о цели жизни, об оправдании жизни...». Подобный вывод в отношении Сологуба, стяжавшего славу «певца смерти», отнюдь не представляется безусловно напрашивающимся. Однако парадоксально, что в танатологии «слово о смерти есть слово о жизни, выводы строятся вне первоначального логического топоса проблемы, — в плане виталистского умозаключения, в контексте неизбежной жизненности» (Исупов). И у Сологуба, по нашему мнению, слово о жизни действительно имеет фундаментальный смысл, развертываясь в остро проблематизированный вопрос бытия (экзистенции) отдельного человека, центрирующий вокруг себя все творчество поэта, и уже затем только неизбежно приводящий к постановке проблемы смерти.

Абсолютная значимость и принципиальная заостренность проблемы человеческого бытия переориентирует позицию смыслового центра тяжести в художественном мире Сологуба, локализованного не в плане объективного бытия, но в душе изображаемого человека — в плане экзистенциальном. Данное обстоятельство, видимо, и позволяет Иванову-Разумнику заключить, что для Сологуба «объективного смысла человеческой жизни нет... объективного смысла истории человечества нет...». Только «в общей полноте переживаний и заключается единственный смысл жизни...» (Иванов-Разумник). Артикулированная таким образом аксиологическая максимизация определяющей жизненный смысл «полноты переживаний» у Сологуба вытекает, по нашему мнению, из жизненной *неполноты* бытия человека, в сущности необъяснимой и роковой. Ценностно неоднозначное актуальное динамическое соотношение двух этих взаимно связанных состояний: наличной экзистенциальной неполноты человека в сологубовском художественном мире и испытываемой им жажды ее восполнения, — определяющих мотивную структуру и образную систему в произведениях раннего творчества Сологуба, и является целью анализа в нашей статье.

Основным методом проводимого анализа избран здесь метод феноменологического описания, который, по нашему мнению, позволяет наиболее полно и адекватно объяснить идейную и мотивную специфику произведений Ф. Сологуба. В связи с таким подходом весьма релевантным становится использование, особенно в части терминологии, инструментария предоставляемого М. М. Бахтиным в его исследовании отношений автора и героя в эстетической деятельности и связанной с этим проблемы самосознания.

В поле нашего исследования попадают и лирика, и прозаические произведения Сологуба в силу их многоаспектного единства; сфокусировано внимание наше на романе «Мелкий бес», олицетворяющем собой весь ранний период творчества автора, концентрируя в себе идейное своеобразие последнего.

Резко проблематизированная динамическая оппозиция наличной неполноты жизни человека и необходимости ее преодоления, определяет центральную коллизию, на которой строятся сологубовские произведения. Разрешение этой коллизии невозможно в пределах изображаемой наличной реальности: состояние человека, в котором его роковая экзистенциальная ущербность преодолена, принципиально не может быть достигнуто. При этом совершенно не обязательно фактическое осознание героем своей экзистенциальной ущербности и вовсе не обязательно страдание героя из-за его бытийной неполноты. Таково большинство персонажей в романе «Мелкий бес».

Персонажи эти практически все ценностно совершенно равны сами себе: в них не возникает конфликт, который бы препятствовал их внутренней завершенности. В *своем собственном видении* они вполне самодостаточны; любые характеристики, нарушающие это их ощущение самодостаточности, вынесены за пределы их «бедного» сознания. В результате, бытие этих персонажей для них самих отнюдь не является неполноценным: например, некий купец Тишков «пил много водки, говорил под рифму всякий вздор очень весело и быстро и, очевидно, был весьма доволен собою». О другом герое, директоре школы Хрипаче, мы узнаем: «...сомнительных случаев он не знал, да и к чему они? Всегда можно опереться или на постановление педагогического совета или на предписание начальства. Столь же правилен и спокоен он был в личных сношениях». В такой же степени удовлетворен собой учитель Володин: «И я еще ни у кого на хлеб не прошу, а вы знаете, что беден только бес, который хлеба не ест, а как я еще хлебец кушаю и даже с маслом, я не беден». Как правило, таким героям уда-

ется реализовать собственные замыслы в ходе сюжетного развития: Варвара при помощи подложных писем сравнительно легко женит на себе своего сожителя Передонова; другая героиня, Людмила, фактически реализует свое эротическое влечение к гимназисту Саше Пыльнику и т. д. Иначе нереализованность собственного стремления исключила бы их внутреннюю завершенность и цельность, разрушила бы иллюзию собственной полноценности.

Такое «милующее», непротиворечивое видение героев самих себя резко контрастирует с «завершающим» (М. М. Бахтин) их видением автора. В отношении каждого из них автор со своей позиции «внезаходимости» дает собственную оценку, в сущности, отрицающую ценность и ценность существования такого героя. Так, все тот же купец Тишков сравнивается в авторском дискурсе с «хитро придуманной машинкой-докучалкой»: «долго глядя на его расторопные, отчетливые движения, можно было подумать, что это не живой человек, что он уже умер, или и не жил никогда, и ничего не видит в живом мире и не слышит ничего, кроме звенящих мертво слов». Мотив бесцельного монотонного действия является определяющим и в образе Хрипача: «иногда он составлял, преимущественно по заграничным книжкам, компиляцию, почтенную и никому не нужную, и печатал ее в журнале, тоже почтенном и никому не нужном». Аналогичным образом автор характеризует и других персонажей: почти ко всем им относятся наиболее частотные слова в тексте романа — «глупый» и «тупой». Мир романа оказывается наполнен неполноценными человеческими существами, совершенно при том неспособными осознать собственную пустоту.

Несколько по-иному задан образ главного героя романа Передонова. С одной стороны, он ничем не нарушает развернутую в романе картину действительности: он оказывается в не меньшей степени экзистенциально не ценен, чем и другие герои; сознание героя также неспособно к адекватной саморефлексии. В тексте находим целый ряд «завершающих» его авторских комментариев: «Таинство вечного претворения бессильного вещества в расторгающую узы смерти силу было перед ним (Передоновым. — Д. Б.) навек занавешено. Ходячий труп! Нелепое совмещение неверия в живого бога и Христа его с верою в колдовство!» Или же: «Его чувства были тупы, а сознание его было растлевающим и умертвляющим аппаратом. Все доходящее до его сознания претворялось в мерзость и грязь». Оценки подобного рода весьма часто встречаются в авторском дискурсе, авторская оценка этого героя наиболее заострена.

Вместе с тем, Передонов не обладает и внутренней завершенностью других героев. Характерно, что его видение самого себя направлено не к

собственному наличному бытию, но полностью спроецировано в возможное будущее, вызывая таким образом резкое противоречие между его непосредственно наличным состоянием и его представлением о возможном себе. Он представляет себя инспектором училищ, который стремится стать в ближайшем будущем благодаря покровительству княгини Волчанской. «Господин инспектор второго района Рубанской губернии, — бормотал он себе под нос, — его высокородие, статский советник Передонов. Вот так! Знай наших! Его превосходительство, господин директор народных училищ Рубанской губернии действительный статский советник Передонов. Шапки долой! В отставку подавайте! Вон! Я вас подтяну!» Лицо у Передонова делалось надменным, он получал уже в своем скудном воображении долю власти».

Передонов — весь в будущем. Всецелая обращенность сознания героя к будущему делает его необычайно уязвимым в настоящем: он удивительно легко верит в самые необычайные вещи (что Саша Пыльников — девочка), быстро поддается на обман Варварой при помощи подложных писем от, в сущности, мифической княгини. Передонов чувствует собственную уязвимость: до его сознания она доходит в виде фантастических образов. Это различные «соглядатаи», которые, как воображает Передонов, хотя бы дискредитировать его в глазах начальства и лишит таким образом возможности получения инспекторского места.

Стремление к преодолению собственного наличного состояния, потребность реализации мечты лишает героя ощущения внутренней самодостаточности и ценности, равности самому себе: «успокоенности» в себе. Экзистенциальная ущербность Передонова чувствуется явственнее в сравнении с другими героями. Возникает острая коллизия между потребностью полноты бытия героя («Ну да, как же я могу жить, если мне не дадут места...») и невозможностью ее достижения, что читателю совершенно ясно из хода повествования. Отголоски этого рокового противоречия здесь неявно ощущаются уже самим героем: полнота его бытия разрушается и в видении себя. «Бедность» его сознания, постоянно подчеркиваемая автором, не позволяет ему осуществить адекватную рефлексию собственного состояния. Поэтому собственная жизненная неполнота, непреодолимый зазор между наличным и желаемым в его бытии дана герою через настроения неизбывной, бесформенной, безотчётной тоски. («...Под этим отчуждением с неба, по нечистой и бессильной земле, шел Передонов и томился неясными страхами, — и не было для него утешения в возвышенном и отрады в земном...»). Или еще более явно — в виде *недотыкомки*. Этот фантастический образ — порождение сознания Передонова, она существует

в его воображении, несмотря на то, что самим героем изнутри она воспринимается как внеположный ему объект. Внутренняя пустота делает героя совершенно овнешненным: своеобразная форма без содержания. Все характеристики героя в системе романа даются вне его сознания. В силу этого «присвоение» недотыкомки, сопоставление ее с собственной неполноценностью невозможно в сознании героя: она представляется Передонову как объект окружающего его реального мира. Данное обстоятельство позволяет некоторым исследователям, в частности Вик. Ерофееву, утверждать венаходимость недотыкомки по отношению к сознанию Передонова: «Недотыкомка гораздо более объективный образ. Передонов скорее лишь медиум, способный в силу своего болезненного состояния увидеть ее... Она символ этого хаоса и как таковой принадлежит миру, а не Передонову». По нашему мнению, недотыкомка оказалась бы объектом художественного пространства романа в том случае, если бы мы видели его глазами Передонова. Однако тогда буйные видения Передонова также стали бы объективной реальностью, а автор не смог бы обрести твердую опору вне героя и позиция его венаходимости, из которой он ведет напряженный диалог с изображаемым миром, была бы утеряна. Тогда из-за внутренней ценностной пустоты героя роман потерял бы всякую ценность.

Мир неполноценных людей, как он дан в романе, становится объектом эстетического задания автора только в силу того, что автор благодаря своему «избыточному» видению имеет возможность оценочного осмысления изображаемого, противопоставления ему собственной сильной и мотивированной позиции. Поэтому главный герой не противопоставлен окружающему миру (это скорее бы нарушило авторский замысел), но больше укоренен в нем; он не разрушает картины всеобщей деградированности, даже если чувствует свою неполноценность. Он ее именно *чувствует*, но не способен осознать.

Принципиально по-иному дело обстоит с героем в солугубовской лирике. Все собственные черты и характеристики не внеположны сознанию лирического героя, а находятся внутри него, становятся объектом его осмысления. Герой сам в отношении себя видит то, что в романе доступно лишь авторскому взору. Поэтому лирический герой становится легко проницаемым для автора, пронизан его активностью, их видения бесконечно сближаются (Бахтин). Лирический герой является ценным объектом авторского видения и художественного задания.

Однако герой в *собственном видении* испытывает то же по своей природе противоречие, что и Передонов: осознание собственной бытийной неполноты и острая потребность ее преодоления в условиях роковой неосу-

ществимости этого. В отличие от Передонова, лирический герой не «наивен»: он именно *осознает* собственную экзистенциальную неполноту (рефлектирует, «присваивает» ее себе):

Не хочет судьба мне дарить
Любовных тревог и волнений;
Она не даст мне испить
Из кубка живых наслаждений.

Более того, лирический герой, в отличие от Передонова, вынужден жить с осознанием невозможности преодоления роковой разделенности своего бытия на желаемое и наличное. Поэтому, в то время как бытие Передонова, не способного к адекватному восприятию действительности, явно лишено всякого трагизма, существование лирического героя трагично и исполнено страдания.

Страдание по своей сущности иррационально и необъяснимо и дано как неотъемлемый атрибут земного существования героя, как необходимый атрибут сознания. Оно заставляет героя искать способы восполнения собственной экзистенции при понимании роковой невозможности этого: характерно, что мечта почти постоянно маркируется как *несбыточная*:

Но где горят огни сознания,
Там злая жажда разлита,
Томят бескрылые желанья
И невозможная мечта.

Одним из таких способов восполнения экзистенции героем становится эротизм (как наслаждение), традиционно воспринимаемый в качестве момента наибольшей полноты бытия. Реализация наслаждения в эротической мечте конституирует эротическую тему, возникающую уже в первой книге стихов Сологуба:

В пути безрадостном среди немой пустыни,
Предстала предо мной
Мечта порочная, принявши вид богини
Прекрасной и нагой.

.....
И предо мной склонившись, как рабыня,
Она меня к греху таинственно звала, —
И скучной стала мне житейская пустыня,
И жажда дел великих умерла.

Здесь ясно предъявлен генезис эротической темы, а также задан вектор дальнейшего ее развития: эротизм не соединяет лирического героя с миром, что могло бы наполнить его существование, а напротив, усугубляет их разрыв («...И скучной стала мне житейская пустыня...»). Преодоление разрыва, восстановление отсутствующей связи посредством эротической избыточности, традиционно воспринимаемой в качестве наиболее адекватной манифестации жизненности, возможно лишь когда она ориентирована на другого с последующей телесной встречей и *духовным* единением, при котором и достигается состояние экзистенциальной полноты. У Сологуба же это соединение имеет подчеркнуто неаутентичный, имитационный характер. Герою оказывается доступно лишь мимолетное плотское наслаждение («И грезу я плотью облек...»), носящее черты имплицитно выраженного аутоэротизма и не являющееся релевантной реализацией потребности жизненной полноты.

В связи с акцентированием именно плотского свидания, как и характерно для декадентского дискурса, эротизм эстетически деградирует в видении лирического героя и, таким образом, — в художественном мире Сологуба:

Нет, не любовь меня влекла,
 Не жажда подвига томила, —
 Мне наслаждения сулила
 Царица радостного зла.

Плотское наслаждение становится не средством, а самоцелью, что воспринимается героем как измена изначальной светлой мечте о полноте бытия:

Я ли постигну, порочный,
 Раб вождельня большого и злого,
 Радость в наивном твоём полусне?

Здесь, по-видимому, обыгрывается идея Шопенгауэра о том, что любое наслаждение (и особенно плотское эротическое как самое сильное) неизбежно приводит к еще большему страданию, чем то, которое посредством этого наслаждения пытались преодолеть. Эротизм неизбежно фиксируется как перверсия.

Степень перверсности героя изоморфна уровню его деградации. Поэтому в образе Передонова, воплощающего крайнюю степень потенциальной деградации лирического героя, отчетливо видится нанизывание перверсий: никрофильский вариант геронтофилии в отношении к княгине Волчан-

ской: «Чуть тепленькая, трупцем попахивает, — представлял себе Передонов и замирал от дикого сладострастия»; одновременно — педофилия в отношении к Саше Пыльникову и другим гимназистам: «Сашино лицо мучило и соблазняло Передонова. Чаровал его проклятый мальчишка своей коварною улыбкою»; наконец, садизм в отношениях к Варваре, Марте и другим: «Передонов привык к Варваре. Его тянуло к ней — может быть, вследствие приятной для него привычки издеваться над нею». В отличие от лирического героя, мучимого сознанием собственной греховности, Передонов собственных перверсий не замечает.

От этой деградации (именно в собственном видении) и, самое главное, от гибели пред лицом роковой разделенности его бытия лирического героя спасает способность к эстетизации собственного актуального состояния. Передонов на это неспособен в силу внутренней пустоты. Лишь отблеск ощущения собственной экзистенциальной неполноты и ее непреодолимости уже гибелен для него: сознание героя разрушается (см. фразу в семантически сильной позиции конца романа: «Мыслей не было...»). Но лирический герой способен осмыслять неполноту собственного бытия в пластических эстетических образах. Радость эстетической деятельности искусственно прикрывает собой острое ощущение глубокой противоречивости бытия, конечно же, сущностно не преодолевая его.

Благословляю, жизнь моя,
Твои печали.
Как струи тихого ручья,
Мои молитвы зазвучали.
Душевных ран я не таю,
Благословив мое паденье.
Как ива к тихому ручью,
К душе приникло умиление.

Возникающий в лирике образ недотыкомки (а также Лиха) не представляется совершенно объективным, внеположным герою при созерцании изнутри, как то имеет место в романе «Мелкий бес», но скорее есть пластический символ собственного внутреннего переживания лирического героя, при помощи которого героем это переживание и осмысливается.

Эти два взаимно противоположных состояния лирического героя: видение своей экзистенциальной неполноты и «милующая» (М. М. Бахтин) эстетическая реакция на нее — альтернативно возникают в сологубов-

ской лирике и держат лирического героя в своеобразном «подвешенном» положении, фиксируемом в образе качелей:

...Перенось поперемно
От безнадежности к желаньям.

Аналогичным образом можно объяснить чередование более оптимистических и пессимистических по своей тональности стихотворений в сборниках стихов Сологуба.

Предельная степень подобной эстетизации выражается в солипсизме, когда весь мир представляется герою объектом единственно его эстетически преобразующей деятельности:

Я люблюсь людской красотой,
Но не знаю, что стало бы с ней,
Вдохновенной и нежной такою,
Без дыхания жизни моей?

Такая позиция позволяет лирическому герою одухотворить мир силой своего творческого воображения и, таким образом, преодолеть и собственную перверстность, и неполноценность мира. В результате, возникает необходимость найти в мире абсолютно прекрасное (чистую красоту), которую лирический герой, а вслед за ним и автор, обнаруживают в природе и детях («сосуды божьей радости»), как воплощении *естественного* начала.

Характерно, что чистая красота изначально скрыта в мире:

Где ты делась, несказанная
Тайна жизни, красота?

Ее не могут заметить ценностно деградировавшие люди: сознание Передонова все превращало в «мерзость и грязь», и «поэтому природа могла только в одну сторону действовать на его чувства, только угнетать их». Красоты в природе Передонов не видит, поэтому она становится лишь зеркалом его собственной ущербности: «Передонов чувствовал в природе отражения своей тоски, своего страха под личиной ее враждебности к нему...»

Вместе с тем, именно в природе, как связывающей людей субстанциональной основе, автор в романе «Мелкий бес» определяет гармонизирующее и соединяющее начало, ассоциируемое им с дионисизмом. Ведь, по Ницше, «под чарами Диониса не только вновь смыкается союз человека с человеком: сама отчужденная, враждебная или поработанная природа снова празднует праздник примирения со своим блудным сыном — челове-

ком» (Ницше). Ограниченность героев манифестируется в их неспособности воспринять дионисическое начало (и таким образом преодолеть отчуждение от природы и людей), оказывающееся чуждым их бытию. Передонов, «ослепленный оболыщениями личности и отдельного бытия, он не понимал дионисических, стихийных восторгов, ликующих и вопиющих в природе. Он был слеп и жалок, как многие из нас».

Полноту экзистенции человека Сологуб видит в соединении с миром и людьми. В этом отношении, экзистенциальная неполнота Передонова выражается в том числе и в отсутствии ценностно наполненных отношений его с окружающим миром и постоянно подчеркивается в романе: «...и не было для него утешения в возвышенном и отрады в земном, — потому что и теперь, как всегда, смотрел он на мир мертвенными глазами, как некий демон, томящийся в мрачном одиночестве страхом и тоскою». Герой оказывается вне гармоничных отношений с людьми — значимо сопоставление Передонова с демоном, символизирующим изначальную трагическую расколотость мира.

Преодолеть отдельность собственного бытия не может и лирический герой (он лишь говорит о красоте, но не может ее непосредственно наблюдать), вначале отброшенный от мира своими перверсными эротическими практиками:

Чем бы и как бы меня ни унизили,
Что мне людские покоры и смех!
К странным и тайным утехам приблизили
Сердце мое наслажденье и грех.

Затем эстетизирующий свою экзистенциальную неполноценность:

Найти дороги торные,
Веселые, просторные
И сам я не хочу.
Глаза мои дремотные
В виденья мимолетные
Безумно влюблены.

В этом стихотворении явно указано на некоторое сходство лирического героя с Передоновым: его «глаза дремотные» напоминают «мертвенные глаза» Передонова. Однако еще раз отметим, что этих двух героев объединяет лишь общий тип внутреннего конфликта (между потребностью и отсутствием полноты бытия), но реализации его в двух анализируемых случаях

принципиально альтернативны, поскольку степени ценности и ценности сознаний этих героев совершенно различны.

Единая сущностная основа, соединяющая человека с миром через чистую красоту оказывается безвозвратно утерянной, что делает невозможным в художественном мире Сологуба трансцендирование рамок разделяющего людей «предметного» мира, к которому имманентно принадлежит и лирический герой, и Передонов. Эротическая чувственность, не получая самодостаточного выражения из-за отсутствия телесного соединения, усугубляет разрыв героя с действительностью: разрыв этот мыслится как прекращение позитивно оцениваемых отношений героя с *другими* людьми. Кроме того, изначально имея перверсную природу (2), эротизм инициирует внутренний конфликт в сознании героя между необходимостью эмоционального наполнения собственного бытия и перверсностью, гибельностью выбранного способа. Данное обстоятельство, возможно, опять-таки связано с мотивом аутоэротизма, трактовавшегося во времена Сологуба как «серьезная угроза здоровью и вредная привычка, разрушающая личность». В любом случае, осознание собственного несовершенства (зла) лирическим героем воспринимается как основное препятствие к его воссоединению с миром.

Роман, в сущности, лишен положительного героя: сильна позиция автора, ценностно противостоящая героям, и в частности Передонову. Завершающее видение автора является компенсаторным усилием, указывающим на возможность преодоления бытийственной неполноты героев. Эта особенность героя накладывает отпечаток на фабулу (незаконченность) и на соотношения реального и действительного в романе. Фабульная незавершенность — эффект совмещения кульминации и развязки: кульминационный момент (овладение героем злом) и развязка (гибель ценностного в герое) являются одновременным итогом всего фабульного действия. Возможность восстановления этих отношений осмысливается героем как получение инспекторской должности, стремление к чему, приобретаая почти маниакальный характер, становится лейтмотивом героя. Семантически и функционально данный лейтмотив, по нашему мнению, изоморфен мотиву эротической мечты героя лирического: лишенный здесь эксплицитных сексуальных коннотаций, он тем не менее сохраняет исключительную эмоционально-волевую направленность, часто ассоциируемую с эросом. Нереализованность мечты в системе романа трагично для героя.

Наиболее драматично отчуждение героя от природы, на которую он бессознательно экстраполирует собственные чувства к людям вокруг него.

Гармонизированная природная телесность (декларируемая с позиции автора, так как ни один герой в романе не способен принять ее) противопоставлена в системе романа эротизму, проявляющемуся как нанизывание перверсий, исключающих полноту существования героев. С Передоновым только связаны следующие перверсии: при этом аутоэротический мотив, по-видимому, в силу «бедного сознания» Передонова не возникает.

Ситуация лирического героя решается не столь однозначно. Возникают альтернативные способы преодоления неполноты бытия: солипсизм, принятие наличного мира, смерть. В первом случае разведенность героя и мира устраняется снятием самой субъект-объектной противопоставленности их; мир становится частью ощущений героя.

Примирение героя с окружающим миром, таким, какой он есть, связано с попыткой видеть в нем доминирующее положительное начало, радость чего отчасти восполняет неполноценное существование лирического героя.

Однако ни солипсизм, ни принятие мира в полноте его реальности не приводят к полноценному решению проблемы бытия героя. В связи с этим абсолютный отказ от бытия, имманентно снимающий саму необходимость решения возникшей проблемы, становится вполне приемлемым выходом. Смерть, как не-бытие, отрицание ущербного существования, являясь принципиально альтернативной конституирующему (перверсную) полноту бытия эросу, в художественном мире Сологуба предстает не как нечто трагически неизбежное, но, напротив, желанное и приемлемое:

О владычица смерть, я роптал на тебя,
Что ты, злая, царишь, все земное губя.

.....
Увидал я людей в озареньи твоём,
Омраченных тоской, и бессильем, и злом,
И я понял, что зло под дыханьем твоим
Вместе с жизнью людей исчезает, как дым.

Актуальность того или иного из перечисленных способов для лирического героя не определяется эволюционно, что заведомо фиксирует их лишь относительную значимость: постепенно вовлекаясь в художественный мир сологубовской лирики, они сосуществуют там параллельно, что подчеркивается самой композицией книг стихов, где стихотворения более оптимистического настроения чередуются с теми, в которых доминируют песимистические мотивы. Дополнительно этот постоянный выбор героем противоположных ценностных установок фиксируется в образе качелей.

Восполнение экзистенциональной полноценности маркируется, таким образом, как принципиально невозможное. Однако в совокупности солипсические мотивы, мотивы (эротического) наслаждения, смерти и принятия действительности, обуславливая глубину и противоречивость переживаний героя, эстетизируются, становятся неотъемлемой частью его бытия.

Указанные мотивы возникают в ранних произведениях Сологуба, центрируясь вокруг основных для творчества автора взаимно альтернативных концептов эроса и танатоса. Замена знаков в ценностном отношении к ним переворачивает традиционную парадигму их соотношения в сологубовской эстетике. В мифологиях, античной философии, а также в эстетике романтизма выстраиваются находящиеся в бинарной оппозиции семантические ряды верха и низа (жизнь — эрос — соединение || смерть — агрессия — гибель). Эрос, как способ утверждения жизни, оценивается положительно. Агрессия, как бессознательное стремление к гибели (танатос), разрушает жизнь, и поэтому получает противоположную оценку. У Сологуба же реализуется следующая схема: смерть — спасение — соединение || эрос — гибель — жизнь. Жизнь, как бытие героя в наличном мире, в силу собственной ущербности аксиологически деградирует. В результате замещаются ценностные доминанты в художественном мире сологубовских произведений: эрос становится путем к гибели (= жизни), а смерть — к спасению (от жизни). Именно на этих ценностных ориентирах строится развитие лирического сюжета приводимого стихотворения:

На лбу ее денница
Сияла голубая,
И поясом зарница
Была ей золотая.
.....
Но захотела власти
над чуждыми телами,
и нашей буйной страсти
с тоскою и слезами.
Хотелось ей неволи
И грубости лобзаний,
И непомерной боли
Бесстыдных истязаний,—
И в темные, плотские
Облекшись одежды,

Лелеяла земные,
Коварные надежды.
И жизнь ее влачилась
Позором и томленьем,
И смерть за ней явилась
Блаженным избавленьем.

Предопределяющая судьбу лирической героини этого стихотворения эстетическая деградация небесной (чистой) красоты (характерно доминирование «небесных» цветов — золотого и голубого) посредством эротического стремления трагически неизбежна в художественном мире Сологуба. Семантически тема деградации красоты связана с темой скрытости ее в мире реальной предметности в хрестоматийном стихотворении автора.

Эта же тема определяет сюжетные отношения Людмилы и Саши Пыльниковых в романе «Мелкий бес». Два образа — природы и детей — являются у Сологуба воплощением чистой красоты. Взросление детей («сосуды божьей радости»), сопровождаемое проявлением у них полового влечения, осмысливается как деградация: «...уже и на них легла косность, и какое-то безликое и незримое чудовище, угнездясь за их плечами, заглядывало порою глазами, полными угроз, на их внезапно тупеющие лица». Саша как раз находится на пороге «мертвого» мира взрослых: характерны сопровождающие его мотивы двойничества и оборотничества. То, что его воспринимают как девочку указывает на то, что он еще ребенок (неразличимость пола у детей вследствие отсутствия вторичных половых признаков). В любом случае деградация неизбежна, и Людмила, соблазняющая его, играет здесь чисто функциональную роль. Характерно, что в ее красоте отсутствует естественность, и все отношения Саши и Людмилы явно имеют оттенок искусственности. Телесность явно доминирует в ней: «Люблю красоту. Язычица я, грешница. Мне бы в древних Афинах родиться. Люблю цветы, духи, яркие одежды, голое тело». Напоминает рассказ «Отравленный сад», где красота героини оказывается отравленной: любовь влечет к смерти. Но смерть желанна. В романе «Мелкий бес» смерть — гибель, и оценивается отрицательно. Эротизм в любом случае ведет к смерти. Это основная дихотомия: эрос отождествляется с танатосом. Они — единство.

С. Мусиенко
(Гродно)

Война в мемуарах Василя Быкова «Долгая дорога домой» (Война, которой мы не знали)

«Я представитель убитого поколения»¹, — сказал Василь Быков, определив этим свое место в жизни.

«Я не могу отделаться от мысли, — писал о Быкове Чингиз Айтматов, что судьба сберегла нам Василя Быкова, чтобы он, пройдя горнило войны, выстрадав сполна горькое лихолетье партизанской Белоруссии, сказал бы в послевоенной Белоруссии свое сокровенное, неповторимое, преисполненное беспощадной правды и сыновней боли слово от имени всех тех, тогдашних восемнадцатилетних, коим выпало, пожалуй, самое трудное — трагическая и героическая доля»², — так оценил творчество, гражданскую позицию и мужество В. Быкова Чингиз Айтматов.

Великая отечественная война еще не стала историей: ее раны болят и сегодня, а коллективный подвиг народа не воспринимается в категориях прошедшего времени. Эта война живет не только в памяти людей, ее не забыли земля Беларуси, ее леса и травы. Она напоминает о себе целыми складами боеприпасов, которые находят при строительстве новых домов, снарядами, обнаруженными среди собранной свеклы, курьезным случаем с шестиклассником, по-своему понявшим приказ белорусского президента о сдаче населением оружия. Мальчик нашел в траве старый снаряд и принес его просто в школу.

О Великой отечественной войне существует большая и богатая литература со своими особенностями и неповторимым художественным миром. В критике неоднократно утверждалось, что о войне существует несколько правд. С этим можно спорить. Правда одна, но есть различная степень ее постижения и разные углы зрения на нее, порождающие ее неоднозначные интерпретации, оценки, трактовки. Как показала современная наука, литература о войне претерпела определенную эволюцию. От непосредственного отражения событий она переходила к воспоминанию о них и их философскому осмыслению. Если в первые послевоенные годы в литературе о войне господствовал факт в его эмоциональном, трагическом восприятии, то в более поздних произведениях стало больше анализа, обобщений и философских раздумий. Непосредственное, часто фактогра-

фическое воспроизведение отдельных фрагментов войны сменилось эпическим охватом всей трагедии, поиском и анализом ее причин. Более чем полувекковая дистанция, отделяющая нас от войны, дала возможность понять, как по-разному она освещалась в документах и художественной литературе. Можно выделить два аспекта, два измерения в воплощении военной тематики: условно назовем их горизонтальным и вертикальным. В первом случае речь идет о поколениях, причастных к войне, точнее о ее современниках. Среди них наиболее типичными были три группы. Первая — непосредственные участники трагедии: ценою их жизни, их подвигов и невероятных усилий завоевывалась победа. В литературе их называют «маленькими людьми войны», «пушечным мясом», «коллективным героем» и т. д. Вторую группу представляли так называемые «свидетели», очевидцы — «статистическое большинство», поборники философии «золотой середины», пребывавшие в разной удаленности от фронта. Они испытали разную степень страданий и потерь от войны. Эта группа наиболее многочисленна, пестра по убеждениям и социальному положению. Наконец, третья группа — официальные власти, определявшие судьбы всего народа, политику страны и вырабатывавшие военную стратегию победы по принципу «числом, а не умением». И только этим можно объяснить безжалостность командной верхушки по отношению к солдатам и огромное число бессмысленных жертв на войне.

Вертикальный аспект предполагает осмысление Отечественной войны во времени, в эволюции. Участвуют в этом и поколения военного времени и те, кто знает войну лишь по документам, литературным произведениям, рассказам старших и т. д.

В этой своеобразной типологии Василю Быкову принадлежит одно из главных мест. Писатель был не только участником трагедии, которому судьба уготовила наиболее трудные испытания: почти всю войну он воевал на передовой, а после войны сумел подняться в своих произведениях до критики той системы, по вине которой практически было выбито его поколение — поколение 18-летних мальчишек, вынесших сполна на своих плечах всю тяжесть трагедии. Не потому ли Быков остался «приверженным... теме войны»³ (А. Шагалов). Для него война осталась реальностью до конца жизни. Его память «не поддавалась корректировке». В каждом произведении он не вспоминал прошлое, а заново переживал судьбы своих героев. Твардовский назвал художественную реальность Быкова «заполненным товарищами берегом». Он остался верен принципам фронтового братства: «ни при каких обстоятельствах не терять мужества» (из письма А. Твардов-

ского к В. Быкову). Белорусскому писателю всю жизнь пришлось жить и быть, как на войне, в ситуации крайнего выбора. Его творческое кредо: следовать законам правды, быть мужественным и человечным — стоило ему очень дорого. Он сумел сказать о войне то, чего мы о ней не знали. Подвиг народа, его неимоверные усилия, героизм, величие трагедии на фоне суровых будней сражений — об этом писали «в одно время и при полном взаимопонимании»⁴ А. Адамович, Г. Бакланов, Ю. Бондарев, В. Астафьев. И все же у Быкова все было по-своему: «Не нужно много говорить о том, какую роль тогда играли героизм и патриотизм, — читаем в его интервью. — Но разве только они определяли социальную значимость личности, поставленной нередко в обстоятельства выбора между жизнью и смертью? Как известно, это очень нелегкий выбор, в нем раскрывается вся социально-психологическая и нравственно-этическая суть личности»⁵.

Эти черты коллективного героя войны — советского народа — подчеркивали не только писатели — ее участники, но и выразители официальной пропаганды, которая изначально отказывала в героизме тому, кто попал в плен и концлагеря, кто был насильно угнан в Германию. Эти категории людей просто вычеркивались из числа советских и порядочных. Большинство из них продолжили свою трагическую судьбу, но уже в тюрьмах и лагерях сталинского режима. Быков к таким людям отнесся иначе. Литературоведы утверждают, что в жизни и искусстве правды не совпадают, подчеркивая порой и существование двух правд: правды жизни и правды искусства. Мне кажется, что Быков оспорил эту концепцию. В его творчестве эти две правды слились в трагическом единстве.

«На фронте не знаешь, доживешь ли до вечера, а уже тем более до победы... — отмечал писатель. — Меня как-то спросили, были ли у меня на войне светлые минуты. Да, когда удавалось на время вырваться из пекла. Тогда было светло и радостно. Но ненадолго. Вообще на войне и даже долго после нее не только писать, но и читать о ней не хотелось»⁶.

И все же он писал, писал от имени «убитого поколения», детство которого, как и самого писателя, прошло фактически в нищете, чья юность была опалена войной, а творческое становление обернулось борьбой за право говорить правду. Даже годы литературной славы были очень непростыми для Быкова: официальные власти не только не принимали его творчества, но часто организовывали ему откровенную травлю. Лишь мужество его коллег и друзей помогало выстоять в этой неравной борьбе. Свой крестный путь Быков определил еще в 1992 г., назвав сборник своих статей: «На крестах». Среди них были воспоминания об А. Т. Твардов-

ском, который сделал ему приписку в поздравительной открытке: «Все проходит, но правда остается»⁷. За мужественную правду преследовался не только Быков, но и Твардовский как редактор журнала «Новый мир», где печатались произведения белорусского писателя. «Ни при каких трудностях не теряйте мужества», — писал Быкову Твардовский, будучи сам смертельно больным.

В Быкове он видел не только единомышленника, но друга и соратника. «Дорогой Василий Владимирович!.. — читаем в его письме по поводу выступления Быкова на пятом съезде белорусских писателей. — Не могу не высказать Вам своего искреннего восхищения тем достоинством, с которым Вы выступили в такой тяжелый для Вас (и нас, «НМ») момент»⁸.

Высоко ценил Твардовского и Быков, у которого он прошел «суровую по своей требовательности школу литературы». Фронтовое братство и мужество помогало обоим и в период нравственной войны с «лакировкой» и ложью.

Живая память о войне сопутствовала Быкову всю жизнь и стала основной темой его творчества. Его произведения — это калейдоскоп драматических событий, страшных будней войны и напряженных душевных состояний ее участников — «пролетариев битв» (А. Барбюс), оставшихся в живых или погибших. «Мертвым не больно» — это не утверждение, а немой их вопрос, адресованный тем, кто, не жалея людей, бросал их в мясорубку войны. В нечеловеческих условиях лагерной жизни и короткого скитания итальянки и советского офицера родилась великая любовь, за которую тот отдал жизнь («Альпийская баллада»). Герои Быкова совершали свой выбор нравственных ценностей в условиях предельно трудных и, чтобы остаться людьми и «не раствориться в вечности», шли на смерть («Сотников», «Обелиск», «Пойти и не вернуться»). В их возвеличивании автор намеренно отходит от высокопарности и традиционного прославления подвига, предлагая «новую точку отсчета». «Силой своего искусства, — пишет Шагалов, — он превращает реальность в художественную картину, достойную самого действия, одновременно подвергая ее анализу и выплавляя из нее нечто совершенно от нее отличное... во всем этом заключена... скрытая сила художественных обобщений, к которым приходит писатель в своем исследовании реалий минувшей войны»⁹.

На кладбище деревни Большая Севериновка есть братская могила, среди похороненных в ней значится и фамилия Быкова. Писатель оставил ее на обелиске, чем выразил свою солидарность с «убитым поколени-

ем». Все произведения Быкова о войне основаны на личном опыте писателя. Каждое из них — одна из трагических ее граней. Все вместе они составляют своеобразную панораму большой драмы страны, народы, человека. Произведения о войне Быков создавал «вдоль своей жизни», но был не только их автором-повествователем, но и героем, приглашающим читателя в круг своих горьких размышлений. Все сюжетные нити его творчества, как и все линии собственной судьбы писателя, он соединил в своей последней книге «Долгая дорога домой», вышедшей почти накануне смерти автора, причем не в государственном, а в кооперативном издательстве «Книга».

Известно, что последние годы Быков жил в эмиграции. Смирись он с официальной властью, еще в советские годы все возможные лавры были бы у его ног. Писатель, однако, выбрал тернистый путь своих героев: служить правде, бороться за справедливость и право народа иметь свою землю, культуру, язык. Вдали от родины он писал свое творческое завещание, делясь с читателем собственными переживаниями. «Долгая дорога домой» — это книга, к которой писатель шел всю жизнь и в которой он достиг максимального самовыражения. Несомненно, она относится к жанру мемуарному, но в то же время — это исповедь человека, с начала и до конца прошедшего тернистый жизненный путь. Быков не свидетель, а участник многих больших трагедий.

Родители его — жертвы коллективизации. Сам он в 18 лет попал на войну, потом последовал период огромного душевного напряжения и борьбы за право говорить правду в литературе. Последние годы были омрачены добровольным изгнанием и тяжелой болезнью. Он вернулся на Родину, зная, что умирает, с книгой, которая писалась кровью сердца в изгнании. «Долгая дорога домой» — это не только исповедь человека-творца, не только интимный документ, это еще и трагедия в прозе трех эпох: Советского Союза, Великой отечественной войны и независимой Беларуси. Все события произведения пропущены через душу и сердце автора. Центральное место в книге занимает война, но война, которой мы не знали. Отражая борьбу с фашистской Германией, Быков показал в ней коллективный подвиг народа-героя. Однако советским солдатам приходилось воевать еще и с голодом, холодом, тупостью и безразличием командования, нехваткой вооружения, пропагандистским цинизмом и собственным всеильным СМЕРШем.

Вся книга — это большая ретроспектива его собственной жизни на фоне нескольких исторических эпох. Сам фон активен, он показан во взаимодействии с жизнью человека. Ее события соотнесены с ходом истории во времени и пространстве. Но это не хроника. По широте охвата материала,

эмоциональности анализа эпохи, умению автора проникать в глубины человеческих душ и высокохудожественному оформлению своих воспоминаний произведение можно смело отнести к жанру романа-исповеди «о времени и о себе», романа с расслабленным сюжетом и монтажным принципом композиции. В «Долгой дороге домой» прослеживается и влияние эссеистики, причем не только в реляции автор → повествователь → герой, но и в своеобразии и даже неожиданности трактовок событий и человеческих характеров, в размышлениях автора об эпохе и людях. Соблюдая принцип исторической обусловленности человеческой жизни, Быков делит свои воспоминания на четыре части: предвоенные годы, период войны, послевоенный период и годы эмиграции. Каждая из частей имеет свою проблематику, по-своему законченные пространственно-временные зарисовки, своеобразную повествовательную манеру. Воспоминания о каждом из периодов напоминают новеллу или микроповесть с присущими ей элементами сюжета и своими художественными особенностями. Автор пишет наглядно и зримо, умея создать напряженную психологическую атмосферу и раскрыть суть явлений, событий, мотивы поведения и поступков людей. В «Коротком предисловии» сам автор так пишет о своем произведении: «...эта книга — произведение очень интимное, субъективное, одностороннее... в этом заключается его сила, но одновременно и слабость, основания для претензий и несогласия... намеренно я никого не хотел обидеть»¹⁰.

Произведение сконструировано по принципу разрастающегося повествовательного пространства от малой родины писателя — деревни Бычки до всего Советского Союза, откуда действие переносится во многие европейские страны. О своей деревне Быков пишет с грустным лиризмом. Эта земля с далеким историческим прошлым прекрасна. Жители разных национальностей были так толерантны друг к другу, уважали обычаи и веру предков. Но с приходом советской власти начались погромы церквей, уничтожение природы, аресты сельчан. Колхозное строительство довело народ до крайней нищеты.

«Известно, как было в колхозах, — пишет Быков, — голод, крепостной труд, репрессии... железным ходом шло раскулачивание... Я помню такие моменты... Отец пойдет ...и принесет годовой заработок — полмешка ржи. Вот и все, что мы заработали...; трудясь всей семьей в колхозе»¹¹.

Уже в детстве Быков знал силу и беспощадность НКВД в лице ее уполномоченного Перетяткина, участвовавшего во всех разрушительных действиях на малой родине писателя — от раскулачивания бедняков (и это подчеркивает автор) до репрессий католиков и уничтожения культовых

учреждений. В главах о детстве, а оно ассоциируется со страшной бедностью, голодом, всеобщим страхом, Быков использует прием антитезы, но по-новому. В отличие от классиков, противопоставлявших цивилизации не только красоту, но и силу природы, которая в их произведениях оставалась прекрасной и нетронутой, Быков также, не переставая восхищаться ею, показал, с какой беспощадностью и скоростью уничтожали ее большевики. Люди, до революции жившие по законам и ритмам природы, оказались в вихре всеобщего хаоса и уничтожения. Особое внимание в произведении уделяется психологической атмосфере: «В каждой деревне были сексоты», — говорит писатель, приводя в пример случай, как 15-летняя ученица донесла на директора своей школы. НКВД зорко следил за деятельностью сексотов и присылал своих агентов, если местные «агенты» его не удовлетворяли. Такое несчастье постигло и родину автора деревню Бычки. Очень редко Быков не называет фамилий носителей зла. В воспоминаниях это случалось по двум причинам: чтобы пятно предательства не легло на семью односельчан, как было с ученицей, и для использования приема типизации: когда автор наделил ролью коллективного антигероя и «пришлого» в родные Бычки сексота, и местных пограничников, и всю организацию НКВД, приобретшую черты страшного символа эпохи.

Есть в «Долгой дороге домой» очень своеобразный идейный прием, назовем его политической антитезой: автор показывает, как в действительности реализуются благородные законы советской власти. В качестве примера он избирает свою собственную судьбу талантливого подростка, который не смог использовать конституционного права учиться. Быков поступил в художественное училище, но тут же оставил его, так как в средних учебных заведениях отменили стипендию. Родители помочь не смогли из-за бедности. При этом читатель убеждается в истине не с помощью рассуждений, а описанием конкретного факта. Комментарии в подобных случаях даются очень редко. Лишь иногда такие описания сопровождаются короткими авторскими ремарками. Скажем, пример бедности семьи Быкова: мама писателя тайно провела своего брата-батрака, жившего на Белосточчине, и принесла «гостинцы — в мешочке немного муки и баранью ляжку». За сообщением следует комментарий: «Оказалось, что брат под панским гнетом все же живет лучше, чем сестра-колхозница, у которой на столе давно не бывало хлеба»¹².

В главах, посвященных детству писателя, неоднократно встречаются короткие ремарки автора о войне, в которых сообщается о разрушениях, гибели людей и т. д., но в подтексте постоянно присутствует мысль о том,

что самые большие беды, опустошения и деформацию психики людей принесли большевики. Фашисты пришли уже на полный развал. Речь шла о малой родине Быкова — деревне в Западной Беларуси, расположенной в приграничной зоне. Поэтому столь устрашающе показано начало войны. И снова используется прием контраста, хотя и меняется место действия. Оно переносится на Украину. «Белые мазанки, тополя, непривычная речь на вокзалах, — пишет Быков, — гоголевские ассоциации переносят меня в иной мир, романтический, сказочный», но реальность имеет и приметы новой эпохи: совсем недавно «закончилась финская война, перед ней — освободительный поход в Западную Беларусь, все завершилось триумфом побед». И далее несобственно прямая речь, придающая двоякий смысл сказанному: и наивную веру подростка в свете толстовского приема восприятия мира ребенком, и язвительной иронии умудренного трагическим опытом жизни автора: «Победим и здесь. Тем более, что руководит нами непобедимый товарищ Сталин»¹³.

Вслед за экспрессивно окрашенным фрагментом следует факт: «Тысячные колонны 17—18-летних юнцов потянулись по пыльным дорогам на Восток (курсив мой. — С. М.). Стояла южная жара. В селах и городках, где мы проходили, нас провожали женщины и девушки, давали нам еду, фрукты, махали платками. Некоторые плакали. Мы вели себя свободно, шутили. Нас, горсточку белорусов, не оплакивал никто, наши плакальщицы остались далеко»¹⁴.

В этих сценах война воспринималась молодыми людьми еще как абстракция, хотя подобное восприятие было следствием пропаганды, которую точнее назвать массовым зомбированием. Автор постоянно подчеркивает, что его герой живет в условиях неразберихи и абсурда. Поэтому и первое боевое «крещение» было связано со столкновением не с фашистами, а со своими. Быков отстал от колонны, чтобы собрать яблок в брошенном саду и купить немного фруктового чая, которым солдаты уголяли голод, поскольку новобранцев не снабжали продовольствием, еду они добывали сами, как придется.

Повествование выдержано в телеграфном стиле. Нашел юношу комендантский патруль. «Отвезли в комендатуру. Там учинили допрос, отобрали документы. Нашли... карту — листок из учебника, на котором я, грамотей, отмечал, как двигается фронт». А дальше следует обычная подготовка к расстрелу. Доводов мальчика никто не слушает. У «лейтенанта в синей фуражке» были свои резоны: «Все так говорят, грубо работают ваши фашисты,

по шаблону. Но мы выбьем из тебя признания, японский городовою!» Эту отборную брань я услышал тогда впервые и запомнил ее на всю жизнь»¹⁵.

Автор строит повествование по принципу нагромождения абсурда: в новобранце, почти мальчике, советские пограничники увидели шпиона, он оказался среди задержанных, но не фашистов, а своих же красноармейцев. Мнимых врагов — свою армию — отстреливали такие же красноармейцы. И только один из исполнителей абсурдных приговоров, выносимых не судом, а свирепым командиром, сжалился над заплакавшим подростком и со словами: «Пацан, беги! Быстро!» — выстрелил в воздух. И Быков пошел догонять своих. Расположение эпизодов начала войны и своеобразный философский подтекст, раскрывающий большой политический абсурд системы, сосредотачивает читателя на мысли: как выдержал и победил в войне советский народ? И что стоила ему эта победа, если его убийцами были и свои — НКВД, НКГБ, СМЕРШ, сопровождавшие человека всегда и везде.

Власть советская, а теперь и военная, оказывалась нередко в руках или страшных по своей сути перерожденцев, которые подстраивались под уровень недоучек, или — агрессивных примитивов из социальных низов и деклассированных слоев общества, вбивавших в сознание людей мифы о преимуществах и непобедимости социализма. Над всем абсурдом высилась фигура малорослого, с лицом, изъеденным оспой, злого гения, вождя И. В. Сталина.

В 1941 г. абсурд «мирного советского существования» в одночасье перерос в абсурд войны: когда красноармеец, больше чем фашиста, боится собственного СМЕРШевца или армейского сексота, когда своя артиллерия выбивает свою же пехоту, когда солдаты, брошенные на произвол, не снабжаются ни оружием (одна винтовка на несколько человек, орудия без снарядов, пулеметы без патронов), ни продовольствием (голодные бойцы искали еду в брошенных домах, выгребали из земли остатки картошки и свеклы), ни одеждой (бродили чуть ли не разутые и раздетые зимой, собирая обноски и обмотки), причем такая ситуация наблюдалась не только в начале, но и в конце войны. Почему теперь (имеется ввиду наше, настоящее время) столько неизвестных солдат? — задает вопрос Быков.

«Тогда, — пишет он, — людей на взводы даже не делили, не было кого. Хорошо, если писарь успеет переписать фамилии, а то идут безымянными. И гибнут... Такой был учет. В пехоте никакого учета не было. Вот пулеметы учитывали, орудия, танки. Даже снаряды начальство считало, потому что за них несло ответственность. А за людей отвечал один Господь Бог...»¹⁶

Есть в «Долгой дороге домой» глава о войне после ее великого перелома, в которой повествуется о начале 1944 г. Автор встретил его в стогу сена с котелком перлового супа в чине лейтенанта. События эти описаны и в повести «Мертвым не больно». С ее автором полемизировал маршал Конев, получивший за Кировоградскую операцию орден Ленина.

«По его мнению и мнению Сталина, — сообщает Быков, — это была весьма успешная операция. Возможно, в видении из Кремля так оно и было. Однако было и другое видение — солдата с заснеженного поля, залитого кровью и взрытого гусеницами танков, на котором почти полностью был уничтожен наш полк».

Это случилось потому, что дивизию, где служил Быков, отправили на прорыв. Наступление проходило ночами. И писатель назвал «феноменом изобретения советской военной науки — заставить солдата обходиться без сна. Думается, ни в какой другой армии так не умеют»¹⁷.

Можно представить, как брели измученные бессонницей солдаты, не разбирая пути, попадая порой из-за подобных ситуаций в плен.

Многое из мемуаров писателя увидело свет раньше в его художественных произведениях, вызывавших раздражение властей, пытавшихся представить умелое партийное руководство военными действиями. Быков эпизод за эпизодом показывает войну как жестокую неразбериху, идущую «сверху» от командования, что стало причиной огромных потерь людей и территорий страны.

Сонные солдаты ночью забредали в какие-то, как правило, безлюдные хаты, порой даже по воле случайности попадали к фашистам в окружение и плен. Так было и с Быковым во время официально прославленной Кировоградской битвы.

«Темно, ночь... — сообщает автор, — на кровати кто-то уже лежал, моя рука все время натыкалась на что-то мокрое на соломе... Я сразу заснул. А как проснулся... гляжу на соседа, а это немец... уже неживой». Проснувшись, Быков услышал стрельбу и не мог понять, кто в деревне свои или немцы. И вдруг на пороге появился вражеский солдат. Писатель воспроизвел психологическую напряженность этой немой сцены, когда встретились взгляды двух людей, которые могли убить друг друга, но не сделали этого. О себе Быков пишет: «...я могу выстрелить каждую секунду... И вот я не выстрелил, а он бросил держать дверь и ушел»¹⁸.

Есть в «Долгой дороге домой» эпизод осознанного братания советских солдат с фашистскими. Обеим сторонам надоела война. Оба фронта были расположены на двух берегах небольшой речушки. Своеобразное «перемим-

рие» заключили советский старшина и фашистский обер-лейтенант. Обе армии умывались, стирали портянки в одной реке и перебрасывались шутками. Эта передышка длилась два дня. Однако санинструктор, отправлявший раненных, «стукнул». После доноса нагрянула советская армия и уничтожила «немцев, не успевших сообразить ее маневра». Быков почти идиллически изображает диалоги между солдатами враждующих армий. Трудно представить в советской литературе о Великой отечественной войне подобную сцену. Тем более что в срыве «перемирия» и фактически в военном коварстве писатель обвинил советское командование, а точнее стукачество, которое даже на войне стало явлением общепринятым. Сексоты сопровождали армию всюду. Постоянное присутствие такого человека стало привычным и во взводе Быкова. Как проявлялись их человеческие качества, писатель показал весьма оригинально. Почти перед самым концом войны взвод послали на верную гибель. И нервы Быкова не выдержали. Он воспроизводит свое стрессовое состояние, проявившееся в том, что он при капитане СМЕРШа начал истерически кричать, называя командиров и замполитов трусами. Сопровождает эту эмоциональную измену короткая реплика Быкова-повествователя: «Уж очень было обидно из-за чьей-то глупости погибнуть перед концом войны»¹⁹. Хода этой «антисоветчине» капитан не дал. Быков подумал, что он или забыл обо всем, или в нем пробудилась совесть. Однако этот эпизод получил сатирическую развязку. За несколько дней до конца войны Быков во время затишья решил прокатиться с горки на велосипеде и на повороте неожиданно сбил того самого капитана СМЕРШа. «Мы оба, — пишет Быков, — упали на асфальт, капитан разодрал штаны. Поднявшись, он начал ругать меня и припомнил о моем разговоре под огнем в поле, о котором он не забыл. Я тогда даже струхнул... но как-то обошлось»²⁰.

Подчеркивая значимость подвига народа и показывая его страдания и трудности военного лихолетья, Быков, однако, не идеализирует людей. Даже в экстремальных ситуациях проявляются человеческие слабости, испорченность натуры, злоупотребление властью и т. д. Примеров этому Быков представляет довольно много. Красивую девушку командиры посылали на передовую, поскольку она не хотела вступать с ними в интимную связь. Генерал срывал погоны с капитана, бил его по лицу и безбожно крыл матом за то, что тот чуть не заблудился ночью, измученный бессонницей. Самого Быкова не наградили за подбитый танк, поскольку подвиг приписали какому-то штабисту.

Исходя из жизненных наблюдений, Быков приходит к выводу, что высокая нравственность и благородство души чаще проявлялись и были свойственны простым солдатам и молодым лейтенантам, которые на своих плечах несли тяготы войны. Они становились и жертвами глупости и жестокости командования. В числе военачальников, приказывавших расстреливать солдат, причем не всегда за серьезные провинности, но и в случаях, когда они не выдерживали шквального огня фашистов и отступали, или за то, что наталкивались на фашистов во время маршей бессонными ночами, он упоминает и маршала Жукова. При этом автор подчеркивает, что «сам маршал не стрелял», он только ездил по позициям на знакомом всей армии джипе.

Быков с горечью пишет, что маршал не вникал в ситуации, не заботился о солдатах, не изучал конкретной обстановки в частях, которые посещал, зато устраивал оскорбляющую достоинство людей муштру: заставил прыгать офицеров и солдат через «кобылу» — физкультурный снаряд. «Кто не перепрыгнул, — в отдельную шеренгу. Таких оказалось большинство. Маршал начал материться: зажрались, располнели, не хотите служить товарищу Сталину... Вот как надо — учитеесь!.. короткая разбежка и — гоп! Перепрыгнул. И приказывает командиру полка: тренировать! А как натренируются, доложить. Сел в свой виллис и уехал». Все это дало основание одному из младших офицеров сказать: «Дурак, хоть и Жуков»²¹.

Грустным лиризмом проникнут эпизод, послуживший автору сюжетом для «Альпийской баллады». В самом конце войны во время остановки автоколонны с солдатами от машины к машине ходила молодая красивая итальянка, Джулия, и искала Ивана. Всем Иванам, которые откликались, она отрицательно кивала головой, а затем на ломаном русском языке и с помощью жестов рассказывала свою историю, легшую в основу «Альпийской баллады». Реальных Джулию и Ивана настигли жандармы. Девушку вернули в концлагерь, а что стало с Иваном, она не знает, но надеется его найти, так как верит, что он остался в живых. Быков, хорошо знал, какое завершение могла бы иметь история с Иваном, если бы он добрался до своих. Поэтому повествование о влюбленных он завершил романтически возвышенно, но трагично. И тем самым вступил в полемику с официальными идеологами, причислявшими всех пленных и узников концлагерей, к предателям.

В «Долгой дороге домой» много внимания уделяется проблеме военного оснащения. Вооружение в Советской Армии было плохого качества, танки плохо маневрировали и имели слабую броню, но говорить об этом

запрещалось: у нас все должно быть лучшим и якобы было лучшим. Реальные оценки вооружения рассматривались как паника и предательство.

Большинство эпизодов «Долгой дороги домой» Быков использовал ранее в своих художественных произведениях, вызывавших острые дискуссии и провоцировавших откровенную травлю автора.

Почти все творчество Быкова посвящено Великой отечественной войне. Он автор военной темы. Каждое произведение — это трагический эпизод войны. Но когда весь материал собран вместе и охвачен единой концепцией, как это сделано в «Долгой дороге домой», то война предстает бесконечной трагедией огромной богатой ресурсами, но нищей страны с запуганным диктатурой и пропагандой голодающим народом, который без счета и учета истребляли на войне и в тылу и ценой миллионов жизней этого же народа обеспечивалась победа. Становятся понятными мужество и страдания самого писателя, который осмелился сказать людям страшную правду.

Примечания

- ¹ Быков В. От имени моего поколения // Советская культура. 1960. 21 марта.
- ² Цитируется по: Шагалов А. Василь Быков. Повести о войне. М., 1989. С. 11.
- ³ Там же. С. 6.
- ⁴ Быков В. От имени моего поколения...
- ⁵ Быков В. Великая академия — жизнь // Вопросы литературы. 1975. № 7. С. 127.
- ⁶ Быков В. От имени моего поколения...
- ⁷ Цитируется по: Бугаёў Д. Праўда і мужнасць таленту. Мінск. 1995. С. 16.
- ⁸ Там же. С. 16.
- ⁹ Шагалов А. Указ. соч. С. 30, 31.
- ¹⁰ Быкаў В. Доўгая дарога дадому. Мінск, 2002. С. 5.
- ¹¹ Там же. С. 26, 27.
- ¹² Там же. С. 34.
- ¹³ Там же. С. 41.
- ¹⁴ Там же. С. 41.
- ¹⁵ Там же. С. 43.
- ¹⁶ Там же. С. 59.
- ¹⁷ Там же. С. 62.
- ¹⁸ Там же. С. 71—72.
- ¹⁹ Там же. С. 128.
- ²⁰ Там же. С. 131.
- ²¹ Там же. С. 148.

Н. Григораш, Н. Копыстьянская
(Львов)

Свое/чужое время, пространство, ритм*

Как и в каждой деятельности, в литературе и в литературоведении все развивается, получает новый темп и ритм. Восприятие, интерпретация, изучение явлений культуры, искусства также зависят от изменений во времени и пространстве. Каждое время, как известно, имеет свои возможности, свои трудности и преграды, выдвигает новые требования, формирует новые традиции.

К новейшим тенденциям в развитии науки (литературоведение тут не является исключением) принадлежит осознание необходимости создавать объединения, и не только временные для проведения конференций, съездов и т. п., но и для постоянной совместной системной работы¹. Именно в русле этих тенденций в 1997 г. во Львовском университете имени Ивана Франко (на факультете иностранных языков в сотрудничестве с филологическим факультетом и вычислительным центром) было создано Международное междисциплинарное научно-методологическое объединение-семинар «Проблемы художественного времени, пространства и ритма» (организатор и руководитель — профессор кафедры мировой литературы Нонна Фоминична Копыстьянская)².

Слово «объединение» в названии семинара — определяющее, так как такие формирования дают возможность не только объединить исследователей одной области, профиля, но также являются примером межотраслевой интеграции в определенную проблему, при условии, что эта проблема — значительна и объемна. Именно такой и стала проблематика, связанная с художественным временем, пространством и ритмом. Она — неограниченно широка и открыта для связей с разными науками, в том числе и негуманитарными. Время-пространственная проблематика — многогранна. Она все активнее входит в фольклористику, в историю и теорию литературы, историческую и описательную поэтику, стилистику и лингвостилистику, в изучение связей между видами искусства, литературой и философией, литературой и другими науками, в методологию литературоведения и общую культурологию.

* Именно такой общей теме посвящены материалы издания: *Іноземна філологія. Український науковий збірник. Вип. 114.* Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. 309 с.

Объединение «Проблемы художественного времени...» нацелено на теоретическую и педагогическую деятельность, на устное, письменное и виртуальное общение. В нем учтены как локальные, сугубо профессиональные нужды гуманитарных факультетов Львовского университета, так и необходимость создания широкого, географически неограниченного научного информационного пространства и пространства сотрудничества. Благодаря связям между отдельными исследователями, научными центрами в Украине и за рубежом осуществляется формирование более широких объединений, которое условно можно назвать «сетью связей». Это представляется важным для обмена информацией с целью совместных методологических поисков.

Одним из результатов деятельности Объединения явился его первый научный сборник «Свое/чужое время, пространство, ритм». Преимущество таких изданий, как нам кажется, состоит в том, что в них, благодаря проблемной концентрации работ разных исследователей, создается панорамный обзор подхода к решению научной проблемы. Сборник дал возможность полнее выявить общие тенденции в освещении вопроса и продемонстрировать особенности различных методических подходов в изучении время-пространственной проблематики.

В отличие от разовых изданий, публикующих материалы конференций, настоящий сборник задуман как начало периодического издания, которое даст возможность отображать постоянную научно-методологическую и методическую деятельность членов Объединения. Таким образом, — это тип сборника научного центра, который «не привязан» к определенному месту (учреждению, стране) и, следовательно, может быть издан силами другого научного центра, который сотрудничает с Объединением. Так, ведутся переговоры с Пловдивским университетом «Паисий Хилендарски» (Болгария) и, в частности, с руководителем пловдивской группы членов Объединения — заведующей кафедрой теории литературы, профессором Клео Протохристовой об издании следующего выпуска сборника.

Имея статус сектора Комиссии по поэтике и стилистике Международного комитета славистов, Объединение приурочило настоящий сборник к XIII Международному съезду славистов (Любляна, 2003). Нет сомнения, что география его следующих выпусков расширится в соответствии с существующими международными связями Объединения.

В создании сборника принимали участие исследователи из разных славянских стран. В этом — также его нетрадиционность. Тексты статей представлены на украинском, русском, белорусском, польском, болгар-

ском и словацком языках, хотя материалы, рассматриваемые в сборнике, не ограничиваются славянской проблематикой.

Структура издания подсказана теми задачами, которые были определены в самом начале функционирования Объединения и зафиксированы в его названии — международное, междисциплинарное, научно-методологическое. В числе главных задач — сбор и публикация (с последующим широким обсуждением) терминологических материалов по проблемам художественного времени, пространства и ритма. Эта задача определила введение в сборник рубрики «Терминологическая страница» (составители — Н. Копыстьянская и М. Приплюцкая), содержащей интересную информацию, некоторые методологические рекомендации и приглашение к сотрудничеству по сбору материала к проблемному терминологическому словарю.

Рубрика «Библиографическая информационная страница» (составитель — М. Кривенко) отображает задачи Объединения по созданию общей библиографии по проблемам времени, пространства, ритма. В данном случае — это библиографическое исследование «Львов — свой и чужой в произведениях польских писателей и мемуаристов».

Приложение к сборнику³ также содержит библиографическую информацию об участниках Объединения (авторах сборника), их научных интересах и публикациях по теме. Такая информация поможет найти себе партнеров по решению конкретных теоретико-методологических и методических вопросов. Эта рубрика сборника в перспективе могла бы стать основой для создания библиографического указателя под названием «Исследование проблем художественного времени, пространства, ритма». Страничка об исследователях времени и пространства связана как с терминологическими задачами, так и со сбором материала для составления антологии переводов на украинский язык иноязычных теоретических трудов по проблемам времени-пространства и, наоборот, — для подбора трудов на украинском языке с их последующим переводом на другие языки, в том числе и на славянские.

Основная часть сборника — это статьи, написанные исследователями разного возраста и ранга, представителями разных городов и стран, школ, методик, подходов к решению проблемы «Свое/чужое время, пространство, ритм». Статьи отличаются свойственным современности комплексным подходом к определению функциональности времени, пространства, ритма. Они являются своеобразным свидетельством того, что сфера создания, функционирования и изучения художественного времени, простран-

ства, ритма постоянно расширяется. Она разрастается в категориально-теоретическом и в структурно-функциональном направлениях. В статьях, которые посвящены интерпретации произведения в аспекте его время-пространственного построения, возрастает внимание к выявлению в структурных элементах произведения определяющих черт поэтики автора, особенностей его мировосприятия и одновременно общего мировосприятия, свойственного эпохе, к которой автор принадлежит. Время-пространство рассматривается в публикациях как содержательный и структурный фактор в создании не только текста, но и подтекста, надтекста, контекста, как социально-политический, философский, психологический и этико-моральный фактор. Исследователи глубже входят во взаимоотношения между локальным пространством (внешним) и внутренним миром, анализируют формирование индивидуального пространства в очень широком и многогранном культурологическом контексте.

В данное время, как известно, возрастает осознание необходимости системного и одновременно синтетического подхода к рассмотрению времени, пространства, ритма. В этой связи перспективным, как нам кажется, является соединение задач изучения сквозь призму хронотопного мышления не только отдельных жанров, но также жанровых систем литературных направлений, эпох с глубоким исследованием их закономерностей. Поэтому плодотворными и для истории, и для теории литературы являются статьи, в которых в хронотопном аспекте сравниваются направления и течения, существующие одновременно, приходящие на смену друг другу или принадлежащие культурному контексту.

Обращаясь к время-пространственным особенностям, исследователи изучают взаимосвязи между видами искусства, искусством и философией, рассматривают взаимозависимости социологического, общественно-политического и культурного характера. Материалы сборника, как нам кажется, актуальны для теоретического исследования развития исторической поэтики и для методологии, поскольку в них предложены, разработаны или применены разные методики анализа и интерпретации художественных явлений.

Размещенные с учетом хронологии процесса статьи сборника условно можно разделить на такие тематические группы: публикации по этико-философской, историко-культурологической проблематике, построенные на историческом и литературном материале; исследования функциональности своего/чужого пространства как жанрово-стилевого и структурообразующего фактора, как определяющего фактора в характеристике ли-

тературных направлений и школ; материалы, в которых рассматривается множественность функционирования категорий времени, пространства, ритма в поэтике поэзии и прозы; научные тексты, построенные на интерпретации как отдельного произведения или перевода, так и многих произведений, акцентирующих внимание на проблемах экзистенции и сознания индивидуума в обществе.

Сборник нацелен на дальнейшее сотрудничество и на диалог с читателями. Поэтому в следующем его выпуске члены Объединения планируют ввести новую рубрику «Полемическая страница». В ней будут печататься отзывы, предложения, замечания, соображения по поводу первого сборника (его структуры, содержания отдельных материалов, постановки вопросов и предложенных способов их решения и т. п.), а также комментарии редколлегии и авторов.

Настоящее издание, как нам кажется, можно считать подтверждением слов академика Д. С. Лихачева, который в своей книге «О филологии» (1989) говорил: «Литературоведению нужны разные темы и большие “расстояния” именно потому, что оно борется с этими расстояниями, стремится уничтожить преграды между людьми, народами и веками». Объединение Львовского национального университета имени Ивана Франко предложило одну из таких тем. А поскольку время-пространственная проблематика сегодня очень объемна и многогранна, в следующих выпусках сборника тема «Свое/чужое...» может сохраниться или будет установлено иное ограничение и, таким образом, появится новое название. Неизменным останется только «Художественное время, пространство, ритм».

Примечания

¹ В Украине в последние годы активно функционируют и систематически издают свои материалы центр «Библия и культура» (организатор и руководитель — профессор Черновицкого национального университета А. Нямцу), Лаборатория ренессансных студий (под руководством профессора Запорожского университета Н. Торкут) и др.

² <http://www.franko.lviv.ua/international/seminar/kop>. E-mail: semkop@franko.lviv.ua

³ Додаток «Інформація про авторів збірника як дослідників художнього часу і простору». Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. 17 с.

IV СЕКЦИЯ

А. В. Опарина
(Тольятти)

Авторская модальность как средство выражения антропоцентричности текста на примере «Повести временных лет»

Современная парадигма лингвистики формируется как антропологическая, т. е. исследование языковых процессов предполагает обязательный учет человеческого (субъективного) фактора, или фактора языковой личности. Современную лингвистику определяет феномен человека, обращение к которому свидетельствует о важнейшем методологическом сдвиге, о смене базисной парадигматики языкознания и переходе от системно-структурной лингвистической парадигмы (Ю. Н. Караулов, А. М. Ломов), или «бесчеловечной» (С. Е. Никитина) лингвистики с ее установкой рассматривать язык «в самом себе и для себя» (Ф. де Соссюр, Л. Блумфилд), к лингвистике антропоцентризма, предполагающей изучение языка в тесной связи с человеком.

Языкознание занимает центральное место в науке о человеке. В последнее время наметилась тенденция к гуманизации научного знания. Человек стал самой актуальной общенаучной проблемой сегодняшнего дня.

Наметившиеся изменения в лингвистике происходят на фоне глубокого интереса к человеку, его внутреннему миру, культуре. Концепт «человек» носит ключевой характер, без анализа его содержания невозможно представить описание культуры: место любой реалии в системе культурных ценностей (в том числе и языка) определяется ролью, которую играет по отношению к этой реалии человек. На первый взгляд, сама постановка вопроса о роли человека в языке может показаться достаточно простой и не требующей специального рассмотрения, так как все в языке — от звука до текста — создано человеком. Многочисленные исследования, посвященные конкретным результатам деятельности человека в языке, не могут считаться достаточными.

Необходимость создания специальных работ (Человеческий фактор в языке 1992; Попова 1996) продиктована самой сущностью языка как человеческого феномена. Феномен человека нашел отражение в антропо-

логической парадигме лингвистики, в пределах которой сегодня происходит не только разработка наиболее важных проблем науки, но и пересмотр традиционных проблем с новых позиций.

Модальной проблематике посвящена обширная литература, прояснено множество частных вопросов, но, несмотря на это, категория модальности постоянно остается недостаточно исследованной. Она требует особого изучения, потому что, независимо от присваиваемого ей статуса, постоянно развивается, обогащаясь все большим количеством категорий, пополняющих объем модальности, и средств, которые с разной степенью очевидности выражают отношение носителя языка (говорящего) к содержанию и форме реализации своей и/или чужой мысли в процессе общения.

Термин «модальность», традиционно использовавшийся в синтаксисе предложения, в настоящее время нашел применение в лексикологии и фразеологии, словообразовании и морфологии, лингвистике текста. Модальность превратилась в общезыковую прагматическую категорию, имеющую разнообразные средства выражения, в том числе и невербальные, паралингвистические.

Редукционистскому пониманию модальности, которая некоторыми исследователями трактуется как не играющая существенной роли при характеристике явлений мы противопоставляем расширенное: модальность — главная, антропологически обусловленная категория языка, определяющая его устройство и сущность. Модальность соотносится с языковой картиной мира и рядом лингвистических категорий: экспрессивностью, дейксисом, субъективностью, оценкой и др.

Категория модальности на всех уровнях анализа определяется через человека. Современная парадигма научного знания является антропологической. Можно утверждать, что любое изучение языка обязательно должно соотноситься с текстом, так как ориентированность каждой единицы на участие в том или ином типе текста составляет ее сущностную характеристику, без которой представление о языке было бы неполным.

Обширный материал для анализа категории модальности в качестве антропоцентрической модели дает язык «Повести временных лет» (ПВЛ), в котором выявляются разночтения в глагольных формах, являющихся, по нашему мнению, средством выражения авторской модальности в древнерусском памятнике, а не описками переписчиков.

Основным моментом в нашем исследовании является, прежде всего, углубленный анализ широкого контекста, в котором используются интересующие нас формы.

Только целевой установкой пишущего и сферой реализации высказываний, в составе которых функционируют формы времени, обуславливается использование в древнерусском языке той формы, которая своим грамматическим значением соответствует цели и смыслу высказывания.

Впервые для исследования авторской модальности за основу берется древнерусский текст. Новым в исследовании является то, что для доказательства подобного подхода к анализируемому материалу нами привлекаются данные ряда списков ПВЛ — Радзивилловского, Академического, Троицкого, Ипатьевского, Лаврентьевского, текстологически связанных с исследуемым материалом.

Изучение морфологической системы времен, одной из составных частей общей грамматической категории русского глагола, с точки зрения модальности позволяет полнее представить особенности формирования всей глагольной системы русского языка и отражения в ней личности автора.

Рассмотрим случаи, где в летописях наблюдаются разночтения (1-е л, ед. ч.).

В первом случае Ипат. летопись противостоит другим спискам, ибо здесь читается форма перфекта створилъ есмь, тогда как в Лавр., Акад. и Радз. списках в соответствии с ней стоит форма плюсквамперфекта створилъ бѣхъ, ср: И ре ему Изяславъ брате не тужи видиши во колко ся мнѣ склучи первое не выгнаша ли мене и имѣнье мое разграбнша и пакн кюю вину вторюю створилъ бѣхъ не изгнаста ли бѣхъ отъ ваю брата своею не блудилъ ли бѣхъ по чюжимъ землямъ имѣнья лишенъ выхъ не створихъ зла ничто же и нынѣ брате не туживѣ аще будетъ нама причастье в Русском земан аще лишена будетъ то оба азъ сложу главу свою за тя (Лавр., Акад., Радз.). — И сказал Изяслав: «Брат, не тужи. Видишь ли сколько со мной всего приключилось: не выгнали ли меня сначала и не разграбили ли мое имущество? А затем, чем провинился я второй раз? Не был ли изгнан вами, братьями моими? Не скитался ли я по чужим землям, лишенный имения, не сделал никакого зла? И ныне, брат, не будем тужить. Если будет нам удел в Русской земле, то обоим; если будем лишены, то оба. Я сложу голову свою за тебя».

И ре ему Изѣяславъ брате не тужи видиши во колко сѧ мнѣ склучи зла первое во не выгнаша ли мене и имѣнье мое разграбнша и пакн кюю вину створилъ есмь, не изгнаста ли вы мене брата своѧ и не блудн ли по чюжимъ землямъ имѣнь а лишенъ выхъ не створи зла ничто же | нынѣ

бра не туживѣ аще бѹдетъ на причастѣе в Роускон землѣ то шѣма аще лишена бѹдевь то шѣма азъ сложѹ главѹ свою за та. (Ипат.)

Можно предположить, что в этом контексте авторы Лаврентьевского, Радзивиловского и Академического списков с помощью формы плюсквамперфекта створилъ вѣхъ подчеркнули выражение временных отношений между прошедшими действиями, так как данная форма указывает на прошедшее, предшествовавшее другому прошедшему (изгнанъ вѣхъ), а не моменту речи, т. е. автор актуализирует другое временное отношение; кроме того, эта форма может актуализировать и отнесение результата к плану прошлого: ведь страдать за что-то Изяславу пришлось и в прошлом (изгнанъ вѣхъ), не только сейчас. На наш взгляд, эта форма оказалась более многогранной для выражения тех оттенков, которые важно было сохранить, по сравнению с формой, использованной автором Ипатьевской летописи. С другой стороны, более поздняя форма Ипатьевской летописи, внесенная автором в текст, дает возможность расшифровать данную лингвистическую картину иначе — автором зафиксировано действие, которое мы можем созерцать. Переписчиком стирается граница между читателем и прошедшими для него событиями — граница, которая отчетливо была бы видна при сохранении первой формы. Такой лингвовременной перенос более современного читателя на место действия может быть передан только формой перфекта. Эту задачу и попытался решить переписчик.

Во втором случае Лаврентьевская летопись в статье 6582 (1074) г. представляет форму ѹгодилъ есмъ, в то время как Ипат. список в соответствующем месте дает форму будущего сложного II оѹгодилъ бѹдѹ. В Академическом и Радзивиловском списках данная форма опущена — отсутствует весь контекст, ср:

Аще по моемъ шшествин свѣта сего аще бѹдѹ Богу ѹгодилъ и при-
ялъ мя бѹдетъ Богъ то по моемъ шшествин монастырь (ся) начнетъ
стронти и приывати в немъ то вѣжьте, яко приналъ ми естъ Богъ; аще
ли по моей смерти оскудѣвати начне монастырь черноризци и потребами
манастырьсками, то вѣдѹще бѹди яко не ѹгодилъ есмъ Богу. (Лавр.) —
Если после того, как я покину свет этот, буду я Богу угоден, и примет меня Бог, то монастырь этот начнет устраиваться и пополняться, так знайте, что принял меня Бог. Если же по моей смерти оскудевать начнет монастырь черноризцами и монастырскими запасами, то знайте, что не угодил я Богу.

Аще по моему шествию свѣта сего аще буду Бѹ угодила прилаъ ма будетъ Бѹ то по моему шествию монастырь сѧ начнетъ стронтини прибывати в немъ то вѣжете ако прилаъ ма есть Бѹ аще ли по моему животѣ wskудѣвати начнетъ монастырь а черноризци потребами монастырьскими то вѣдуще будете ако не угодила буду Бѹ. (Ипат.)

Форма угодила есмь, выбранная Нестором, имеет перфектное значение: Феодосий, умирая, говорит, что если после его смерти монастырь начнет беднеть, то это значит, что он не угодил за свою жизнь (к данному моменту, так как жизнь в самое ближайшее время будет закончена) Богу.

Наиболее верной, как нам кажется, автору Ипатьевской летописи показалась форма будущего сложного II угодила буду, так как она тоже выражает результативность, но отнесена к плану будущего. Данная форма меняет смысл, авторская модальность выражается в том, что писец вводит другое грамматическое значение: подчеркивает, что результат того, что Феодосий не угодил в жизни богу, обнаружится не сразу, тем самым проецируя взгляд читателя в будущее, придавая тексту характер пророчества и назидательности.

В статье под 6582 г. (1074 г.) Ипат. летопись (3-е л., ед. ч.) дает форму есть постриглься, которой в остальных трех списках соответствуют страдательные конструкции, ср;

Братъи же не любо бы. глающе ако не здѣ есть постриглься (Ипат.); — Братии же это не любо было, говорили, что «не здесь пострижен».

Братъи же нелюбо бысть, глаголюще: “яко не здѣ есть постриганъ” (Лавр.).

Братъи же нелюбо, глаголющи: “яко не здѣ постриженъ” (Акад., Радз.).

Форма есть постриглься выражает акциональное перфектное значение: братья (иноки) не хотят, чтобы Феодосий назвал игуменом Иакова, ибо он не был пострижен у них (т. е. принял монашеский сан не в этом монастыре). Здесь четко выражается связь результата действия, совершенного в прошлом, с моментом речи, поэтому не случайно в других случаях перфект есть постриглься свободно заменяется на страдательные конструкции с причастиями прошедшего времени, с помощью которых автор подчеркивает тонкое наблюдение — «не будет Иаков сейчас игуменом, поскольку не нами (не нашими руками) (выделено нами. — А. О.) был пострижен». Помимо сугубо субъективной оценки иноков, переписчику вновь удастся приблизить читателя к событиям 6582 г.

Таким образом, обращение к изучению отражения авторской модальности в глагольных формах «Повести временных лет» представляется особенно интересным, так как позволяет при сопоставлении различных списков текста, созданных в XIV—XV вв., делать выводы о роли летописца и переписчиков в создании текста и привнесении в памятник образа нового создателя.

Библиография

1. Человеческий фактор в языке и речи 1992 — Человеческий фактор в языке и речи / Под ред. Телия В. Н. М., 1992.
2. Попова 1996 — *Попова Е. А.* Авторская модальность как средство выражения антропоцентричности текста. 1996.

Воронежские диалекты: руско-славянские параллели в способах выражения делиберативного объекта

Термин *делиберативный* восходит к лат. *delibero* 'взвешивать, обсуждать, зрело обдумывать, размышлять и др.' [Петрученко 1910]. Одним из первых его использовал А. А. Шахматов [Шахматов 1941, 552, 415], и в настоящее время этот термин является широко употребительным. Он обозначает смысловую лексико-синтаксическую категорию со значением предмета речи, мысли и чувства: *говорить о жизни, мечтать о счастье, заботиться о родителях*. Позднее формирование способов выражения речемыслительной деятельности в глагольных и именных словосочетаниях и абстрактность отражаемой субстанции обусловили наличие множества форм делиберативного объекта в славянских языках. Более того, современные три группы славянских языков имеют противопоставленные различия в способах выражения делиберативного объекта, совпадающие с традиционной классификацией славянских языков, а именно: «О + предл. п.» является типологической чертой западнославянских языков (*gozmariaja o rogodzie* — польск.), форма «ПРО + вин. п.» представляет собой специфическую особенность восточнославянских языков (*разговорились про любовь* — русск.; в украинском литературном языке это единственная форма выражения делиберативного объекта: *і розмови не було про це*; а в белорусском она выступает наравне с формой «О + предл. п.»: *яго ўчынкi гавораць аб другім; ўспамянаю пра цябе*). Формы с предлогом ЗА являются отличительным признаком южнославянских языков: *зборувам за црквицата* (макед.); *он зна за то* (сербск.).

Особое положение в кругу славянских языков занимают в этом отношении русский и сербский языки, которые в качестве литературной нормы используют форму «О + предл. п.», а типологические (специфические) формы занимают в них периферийное положение: в русском языке «ПРО + вин. п.» считается разговорной формой, а в сербском языке «ЗА + вин. п.» менее употребительна по сравнению с формой «О + + предл. п.».

Воронежские диалекты используют все указанные формы делиберативного объекта с первообразными предлогами:

— «ПРО + вин. п.» — Вот какаѣ бапкъ жаланнѣѣ — и н'и спрас'иль прѣ н'аво (1 Криушанские Выселки); Рьскажы пра сваих / как ан'и (Новосолдатка);

— «ЗА + вин. п.» — Ды вот ы Н'инкѣ ѣвар'ит' за эта (1 Криушанские Выселки); Мы зѣ т'иб'е ѣвар'ил'и (Новосолдатка);

— «О + предл..п.» — Мы был'и ф пол'и / када аб этѣм нам казал'и (Красный Лиман).

Причем наиболее распространенной здесь является форма с предлогом ПРО, которая занимает главенствующее положение не только в говорах Воронежской области, но и в говорах всего южнорусского наречия, в среднерусских диалектах, а также по всей территории севернорусского наречия, о чем имеются многочисленные замечания в научной литературе. На первое место ее ставит Т. Э. Хмара-Борщевская, исследовавшая способы выражения делиберативного объекта на широком диалектном материале, например в автобиографической повести северной сказительницы М. Голубковой, отражающей живую разговорную речь, она отмечает наличие 75% форм с предлогом ПРО и лишь 25% — с предлогом О [Хмара-Борщевская 1947, 167]. В последнее время форма «ПРО + вин. п.» приобретает все большее распространение, является характерной чертой литературно-разговорной речи, в том числе в официальной обстановке: в средствах массовой информации, в научных дискуссиях, в учебных аудиториях. Она проникает во все стили русского литературного языка, уступая в употребительности форме «О + предл. п.» в публицистической речи и в авторской речи художественно-беллетристического стиля, преобладая в речи персонажей. Делиберативный объект, выраженный винительным падежом с предлогом ПРО, редко употребляется в научном стиле и совсем отсутствует в официально-деловом [Черенкова 1980, 8].

На втором месте по употребительности в воронежских диалектах находится форма делиберативного объекта с предлогом ЗА. Эта форма имеет особую историю функционирования в славянских языках. Как регулярное синтаксическое явление с указанным значением данный языковой факт датируют XV в. Исследователи связывают появление формы имени с предлогом ЗА в значении делиберативного объекта с развитием аналитизма в болгарском и македонском языках [Бондарь 1968, 32]. Действительно, появление предлога ЗА в изъяснительных конструкциях по времени совпадает с периодом перехода языков от синтетизма к аналитизму, но, видимо, это не единственная причина, так как форма с предлогом ЗА распространена не только в аналитических языках. Она характерна для сербского

языка, интересны факты распространения этой формы при глаголах речи, мысли и чувства в говорах Украины, проникновения ее в литературный украинский язык, а также относительно большая распространенность в современных южновеликорусских говорах [Собинникова, Фетисова 1960, 29; Полторацкая 1939, 55; Иванова 1953; Черенкова 1983, 110 и др.].

В русской языковой системе существуют предпосылки для употребления этой формы с изъяснительным значением. Г. П. Бояринцева пытается определить в своих работах механизм возникновения и развития объектных значений у формы «ЗА + вин. п.». По ее мнению, объектные значения развились на основе пространственных. Среди объектных значений наиболее древним является объект «прикосновения» (взять за руку), на основе которого появляется новое значение объекта защиты при глаголах *биться*, *бороться*, а на основе объекта защиты развивается значение объекта более широкого действия — лица или предмета, в интересах которого совершается это действие [Бояринцева 1953, 324]. Именно это последнее значение формы «ЗА + вин. п.» открывает дорогу для распространения ее при глаголах чувства. Не имевшая место в древнерусском языке, она вдруг завоевывает монополию при глаголах семантической подгруппы со значением переживания: *беспокоиться*, *волноваться*, *переживать за кого* [Черенкова 1983, 121—122]. 17-томный словарь современного русского языка приводит ее как литературную норму наряду с формой «О + предл. п.». Форма «ЗА + вин. п.» широко распространена в языке художественной литературы, в литературно-разговорной речи, в просторечии: У нее, у Евстоли, сердце за дочку обомрет (В. Белов); Волнуется за мужа (разг.). Эта же форма наряду с другими используется при глаголах переживания в русских народных говорах, в том числе в говорах Воронежской области: Я дюжа за дитей валнуюс' (Новосолдатка). Сема делиберативности в конструкциях с глаголами переживания создает условия для «втягивания» в круг обслуживания формой «ЗА + вин. п.» и конструкций с глаголами речи и мысли: *говорить*, *спрашивать*, *думать за кого*, как это представлено в воронежских диалектах.

Параллельно при глаголах речи, но по другой причине «ЗА + вин. п.» возникает и в литературном языке: Но актерская профессия Стружкина, высокая талантливость... все говорит за то, что с образом Стружкина Некрасов не мог, хотя бы в некоторой степени, не ассоциировать Щепкина (Н. Альтман). В данном случае форма «ЗА + вин. п.» совмещает в себе делиберативный объект и объект действия, совершаемого в пользу, в защиту

кого-либо, чего-либо, что дает право на употребление зависимого компонента в форме «ЗА + вин. п.».

В то же время нельзя сбрасывать со счетов межъязыковое контактирование как причину распространения формы «ЗА + вин. п.» с делиберативным значением в русском языке, о чем говорит ареал этой формы: южнославянские языки (болгарский, македонский, сербский), украинский язык (особенно южная часть Украины), восточнословацкие говоры, южнорусское наречие. Нет этой формы в западнославянских языках, в белорусском языке, в севернорусском наречии.

По нашему предположению, в южнорусское наречие, в частности в говоры Воронежской области, форма «ЗА + вин. п.» при глаголах речи, мысли и чувства проникла через украинские говоры, которые не могли не испытывать влияния южнославянских языков, так как частичное переселение болгар, сербов, македонцев на Украину, начавшееся с момента порабощения Балкан Турцией [Тихомиров 1969, 179], продолжалось и в последующие периоды, особенно в конце XVIII — начале XIX в. [Стоянов 1982, 100]. 350 тыс. болгар по переписи 1970 г. в СССР проживали в основном на территории южной Украины и Молдавии.

Факты появления формы «ЗА + вин. п.» в украинском языке, зафиксированные исследователями с XVI в., совпадают по времени с контактами украинского населения с болгарами. Интересно в этом плане замечание И. И. Слынько о том, что в староукраинском языке ЗА чаще встречается в украинско-молдавских грамотах [Слынько 1969], что подтверждает наше предположение о влиянии южнославянских языков.

В древнерусском языке форма «ЗА + вин. п.» в значении делиберативного объекта не употреблялась. Исследователи отмечают ее только при отдельных глаголах, например *молити*, *бити челом* и др., в специфичном для нее значении — «совершать действие в интересах какого-то лица» [Лион 1958, 58]. В дальнейшем эта форма возникает и при глаголах речи.

Анализ собранного нами языкового материала, представляющего говоры Воронежской области, воронежское городское просторечие, а в некоторых случаях и литературно-разговорную речь жителей Воронежа, свидетельствует о достаточно широком употреблении формы «ЗА + вин. п.» при глаголах речи, мысли и чувства.

Не только в воронежских говорах, но и в городском просторечии эта форма выходит на второе место среди других способов выражения делиберативного объекта (после «ПРО + вин. п.»): зъувар'ил'и и зъ н'ије (ди-

ал.); Я зъ н'иво спрас'ила (прост.). Употребительна она и у жителей г. Воронежа — носителей литературной разговорной речи, в основном выходцев из Ростовской, Воронежской, Курской и Тамбовской областей: Что же вы за пятый пункт молчите? Вот и я за то говорю (разг.). По частотности употребления в речи жителей города с высшим образованием она занимает третье место (после «ПРО+ вин. п.» и «О+ предл. п.»). Овладевая орфоэпическими, лексическими, морфологическими нормами литературного языка, носитель говора или просторечия медленно усваивает его синтаксические нормы, так как различные отклонения от нормы в синтаксисе менее осознаются говорящими как нелитературные по сравнению с другими уровнями языка.

Формы с предлогом О в воронежских диалектах занимают весьма скромное положение, употребляются в несколько раз реже, чем, допустим, с предлогом ПРО, уступают в употребительности формам с предлогом ЗА. В то же время в общеславянском континууме эта форма является самой древней по происхождению из предложно-падежных форм. На раннем этапе развития она была свойственна всем славянским языкам и их диалектам.

До XIV—XV вв. эти конструкции существовали в болгарском и македонском языках. В болгарском: ...Да режъть емоу о сынѣ (Троянска повесть, 250, цит. по: Бондарь 1968, 197); в македонском языке: ...Яко азъ сьвѣдѣтелствоуж о немь... (Македонско Евангелие на поп Јована, XIII в.).

Затем, как уже указывалось выше, в этих языках форма с предлогом О заменилась на форму с предлогом ЗА. До XVI в. форма «О + предл. п.» употреблялась в староукраинском языке, затем в XVII—XVIII вв. она стала интенсивно вытесняться формой «ПРО + вин. п.» [Слинько 1969, 330].

В белорусском языке форма «ПРО + вин. п.» конкурирует с формой «О + предл. п.», причем во всех стилях белорусского языка. В русском языке форма «О + предл. п.» более употребительна: в научном и официально-деловом стилях она выступает почти как единственная при выражении делиберативного объекта, а в других стилях — в сочетании с другими формами.

Воронежским диалектам известна еще одна форма делиберативного объекта с первообразным предлогом — «НА + вин. п.»: Он тут стаит' — как у́вар'ит' нъ н'аво? (Давыдовка).

В русском литературном языке форма «НА + вин. п.» используется в близком делиберативному объекту значении: при выражении объекта на-

говора, обвинения при глаголах речи (он на меня наговаривает) и для выражения объекта предположения при глаголах мысли (а я подумал на тебя). В делиберативном значении эта форма в русском литературном языке не употребляется. Однако она зафиксирована в древнерусских памятниках письменности и используется в качестве специализированной формы в южнославянских языках в значении делиберативного объекта при глаголах определенной семантики: Мислете на своите родители и на неположните испити (макед.); Трудим се да мислим на то (серб.). Данный факт можно квалифицировать как проявление трансдиалектальности, по терминологии О. Н. Трубачева [Трубачев 2003, 19].

Как воронежским, так и другим русским народным говорам свойственна древнейшая форма делиберативного объекта, выраженного винительным падежом без предлога: Как свају уор'у рьсказат' (Криуша). В севернорусских народных сказках в большом количестве их отмечает Т. Э. Хмара-Борщевская: Прослышали ее девушку хорошую [Хмара-Борщевская 1953, 70], в смоленских диалектах: Ыа т'е рьскажу свайо жьт'о [Прохорова 1970, 10]; в челябинских и курганских диалектах винительный беспредложный обнаружен А. А. Скребневой: Спрашивают церковь [Скребнева 1971, 11] и др. Как отмечает Р. Лион, в древнерусском языке использование винительного беспредложного в функции делиберативного объекта было нормативным, в общей массе форм с этим значением он составлял 45% [Лион 1958, 81]. Объект речемыслительной деятельности в этой форме развивается на базе синтаксического концепта «физического воздействия на объект»: рубить дрова, рассказывать сказку. Частотность винительного беспредложного в древнерусском языке при глаголах речи и мысли обусловлена тем, что эта форма могла иметь нерасчлененное, недифференцированное значение прямого объекта содержания высказывания и объекта делиберативного: Тогда Миронѣг повѣда князю объ чюдѣ [Срезневский 1895, 1006]. В последнем примере употребление винительного беспредложного приводит к явно двусмысленному пониманию: *услышал* в значении «воспринял органами чувств приближение рати» или *услышал* какие-либо сведения о псковской рати, ее силе, численности и т. д. Первые памятники письменности древнерусского языка отразили противоречия между формой и содержанием в аналогичных конструкциях. Данное противоречие необходимо было устранить путем поиска форм, уточняющих и конкретизирующих значение. Выход был найден за счет использования предложно-падежных форм для выражения делибератив-

ного объекта, среди которых одной из наиболее перспективных оказалась форма «О + предл. п.». Однако русские народные говоры, в том числе и воронежские диалекты, сохраняют древние, архаические конструкции, не разграничивающие прямой объект содержания высказывания и объект делиберативный, а именно: винительный падеж беспредложный.

Выводы:

1. Форма «О + предл. п.», встречающаяся в значении делиберативного объекта, во всех группах славянских языков, является показателем генетического родства всех славянских языков и по происхождению восходит к праславянскому периоду.

2. Форма «ПРО + вин. п.» является, в свою очередь, показателем генетического родства восточнославянских языков и восходит по происхождению к периоду восточнославянских племенных диалектов или к ранней стадии языка древнерусской народности, так как в древнерусских памятниках письменности указанная форма в значении делиберативного объекта уже употреблялась.

3. Из двух форм делиберативного объекта — литературной «О + предл. п.» и специфической восточнославянской «ПРО + вин. п.» воронежские диалекты, как и абсолютное большинство русских народных говоров, предпочитают использовать вторую, демонстрируя таким образом свою обособленность в данном случае по отношению к литературному языку.

4. Форма «ЗА + вин. п.», занимающая второе место по употребительности после формы «ПРО + вин. п.», появилась в говорах Воронежской области не только благодаря внутрисистемным предпосылкам, но и в результате межъязыковых контактов: из южнославянских языков через украинский, контактирование с которым является чрезвычайно интенсивным не только за счет того, что Воронежская область граничит с Украиной, но и в связи с тем, что украинцы проживают в пределах самой Воронежской области, на территории которой насчитывается более 350 сел, рабочих поселков и малых городов с украинским населением.

Таким образом, воронежские диалекты выступают, во-первых, как живые свидетели истории форм делиберативного объекта, что находит отражение в функционировании винительного беспредложного с этим значением и отчасти формы «НА + вин. п.», во-вторых, проявляют в наибольшей степени по сравнению с литературным языком свою приближенность к восточнославянскому континууму и, в-третьих, являются ареной межъязыкового контактирования, что отражается в способах выражения делиберативного объекта.

Библиография

1. Бондарь 1968 — *Бондарь И. П.* Глаголы речи в русском и болгарском языках (XV—XVIII вв.) // Вопросы славянского языкознания. Саратов, 1968.
2. Бояринцева 1953 — *Бояринцева Г. С.* Глагольные словосочетания с предлогом ЗА с винительным падежом зависимого имени // Уч. зап. Калининградск. пед. ин-та. Калининград, 1953. Вып. 6.
3. Иванова 1953 — *Иванова В. И.* Простое предложение в говорах Брасовского района Брянской области. Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. Л., 1953.
4. Лион 1958 — *Лион Р. С.* Способы выражения некоторых объектных отношений (делиберативных и инструментальных) в древнерусском языке. Дисс. ... канд. филол. наук. М., 1958 (рукопись).
5. Петрученко 1910 — *Петрученко О.* Латинско-русский словарь. М., 1910.
6. Полторацкая 1939 — *Полторацкая М. А.* О задонских говорах Ростовской области // Труды I диалектологической конференции. Ростов-на-Дону, 1939.
7. Прохорова 1970 — *Прохорова С. М.* Синтаксис глагольных словосочетаний переходных русско-белорусских говоров Смоленщины (лексико-грамматическая сочетаемость двух семантических групп глаголов). Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. Минск, 1970.
8. Скрбнева 1971 — *Скрбнева А. А.* Глагольно-именные словосочетания в диалектной речи (на материале шадринского говора). Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. М., 1971.
9. Слинько 1969 — *Слинько І. І.* Дослідження з історичного синтаксису української мови за пам'ятками XIV—XVIII ст. (Історія предикативних, присвійних, об'єктних, просторових і часових зворотів). Автореферат дисс. ... докт. филол. Наук. Чернівці, 1969.
10. Собинникова, Фетисова 1960 — *Собинникова В. И., Фетисова К. М.* Диалектные синтаксические ошибки устной и письменной речи // В помощь учителю русского языка. Воронеж, 1960.
11. Стоянов 1982 — *Стоянов И. А.* Болгарские элементы в русских говорах Одесской области // Русские говоры на Украине. Киев, 1982.
12. Срезневский — *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 2. СПб., 1895.
13. Тихомиров 1969 — *Тихомиров М. Н.* Исторические связи России со славянскими странами и Византией. М., 1969.
14. Трубачев 2003 — *Трубачев О. Н.* Опыт ЭССЯ: к 30-летию с начала публикации (1974—2003). Доклад пленарного заседания на XIII Международном съезде славистов в Любляне (Словения). М., 2003.
15. Хмара-Борщевская 1943 — *Хмара-Борщевская Т. Э.* Предложный падеж с предлогом «О» («ОБ») в современном русском языке. Дисс. ... канд. филол. наук. Б/м 1947 (рукопись).

16. Черенкова 1980 — *Черенкова А. Д.* Выражение делиберативных отношений в современном русском языке. Автореферат дисс. ...канд. филол. наук. Воронеж, 1980.

17. Черенкова 1983 — *Черенкова А. Д.* О сочетаемости глаголов чувства в русском языке в сопоставлении с украинским и белорусским языками (выражение делиберативного объекта) // *Материалы по русско-славянскому языкознанию*. Воронеж, 1983.

18. Черенкова 1985 — *Черенкова А. Д.* Форма «ЗА + вин. п.» при выражении делиберативного объекта в славянских языках // *Материалы по русско-славянскому языкознанию*. Воронеж, 1985.

19. Шахматов — *Шахматов А. А.* Синтаксис русского языка. Л., 1941.

К вопросу о функциональной эквивалентности отглагольного имени в русском и польском языках

В каждом языке обязательны две основные языковые сущности, противопоставленные друг другу по форме и содержанию: имя и глагол. Имя есть обозначение субстанции, предмета (предметности), глагол — действия, признака, процесса (процессуальности). Но как в мире (и в системе) нет ничего изолированного, так и в языке имя и глагол существуют не отдельно, изолированно друг от друга, а во взаимодействии, и только благодаря этому проявляют свою сущность.

Во всех языках на пересечении имени и глагола возникают промежуточные классы слов, таковы, например, отглагольные образования. Они совмещают в себе содержание, характерное для глагола, и грамматическое значение, характерное для имени, иначе — отглагольные имена обладают противоречивым внутренним значением, сочетая в себе глагольное содержание и именную форму¹.

Единство лексических и грамматических значений есть не что иное, как *философское единство материи и формы*. Форма — это «сила и действительная причина, осуществляющая переход материи (возможного, потенциального) в действительность (актуальное)»². Таким образом, форма выступает в роли модели вещи, внося различение в материю.

На основании грамматической формы³ отглагольные образования должны быть отнесены к парадигме имени, но данные разных языков (славянских, французского, английского) свидетельствуют, во-первых, что в одних языках глагольные имена обладают в большей степени именными чертами, а значит — стоят ближе к имени, в других сохраняют в себе больше грамматических признаков глагола, а значит — входят в парадигму глагола; во-вторых, отглагольные образования изначально были близки именно к сфере глагола, сохраняли большое число глагольных черт и, лишь утрачивая их, стали относиться к имени.

Разный статус отглагольного образования можно наблюдать в родственных русском и польском языках, например, отглагольные имена на *-nie/* */-mie*, и *-nie/-cie*⁴. Несмотря на то, что оба имени восходят к праславянским глагольным именам, тесно связанным с глаголом, и имеют генетически родственные суффиксы (причем основы с этими суффиксами ука-

зывают только на процесс действия⁵), польские глагольные имена действия на *-nie*, *-cie* сохраняют значительно больше устойчивых и регулярных глагольных черт и, значит, остаются более близки к парадигме глагола, чем сходные с ними имена действия на *-ние*, *-тие* в русском языке⁶, относящиеся теперь к сфере имени.

Польские глагольные имена (*odśłowniki*) в отличие от русских сохраняют глагольную семантику («идею»), к их потенциальным возможностям в тексте можно отнести выражение и «предметности» и «процесса», иначе — глагольное имя выражает предметную сущность, данную в становлении (в процессе), или — осуществляет двойственную референцию.

На близость польских глагольных имен к парадигме глагола указывают следующие формальные черты: возвратная частица и значение возвратности (*przekształcenie — przekształcić* «преобразовать» — *przekształcenie się — przekształcić się* «преобразоваться»; *położenie — położenie się, wsłuchiwanie się*); противопоставление по виду (*wniknięcie — wniknąć* «вникнуть») — (*wnikanie — wnikać* «вникать»), *zwiedzanie — zwiedzenie*); возможность сохранения отрицания в качестве приставки (*niestosowanie się — «несоблюдение»*); возможность сочетаться с показателями субъекта действия (хотя формальные противопоставления по залог у процессуальных глагольных имен отсутствуют); основное управление исходного глагола для передачи объектных значений. Форму глагольного имени образуют практически все глаголы со значением действия⁷. Все это позволяет некоторым лингвистам, например Я. Токарскому, О. Ткаченко, считать польские глагольные имена одной из форм глагола (*głównikowa forma czasownika*, или *gerundium*⁸).

В русском отглагольном имени перечисленные глагольные черты либо отсутствуют, либо не регулярны, образование имен от всех глаголов действия возможно лишь теоретически. Однако отечественные лингвисты (А. Х. Востоков, А. А. Потебня, Г. О. Винокур и др.) отмечают, что в русских отглагольных именах когда-то проявлялись вид, залог, возвратность⁹.

По мнению А. А. Потебни, отглагольные существительные на *-ние*, *-тие* суть только имена действий, для сознания они явно отглагольны и вносят в существительное оттенок длительности своего глагола. Поэтому, например, слова *зрение*, *обоняние*, *осязание*, *разумение*, *понимание*, *прикосновение*, *объятие* «суть чистые деятельности с вполне фиктивными субстанциями»¹⁰. Следовательно, в исторический период данное образование высокопродуктивно, даже автоматически: *любление*, *ловление*, *брание*, *бывание*.

Высокая продуктивность, автоматичность образования данных форм и то, что они являются «непременной принадлежностью всякого глагола» (А. А. Потебня)¹¹ — одно из свидетельств того, что имена действия в XVIII в. были близки к тому, чтобы войти в пределы глагольной лексемы. Однако в период формирования русского литературного языка наблюдается ограничение образования глагольных имен на *-ние*, *-тие* с семантикой *действия-процесса* или действия-процесса в статике, результата действия, места действия, орудия действия и т. д., слова становятся терминами, усиливается нивелировка видовых и залоговых значений¹².

В современном русском литературном языке также наблюдается ограничение образования отглагольных существительных на *-ние*, *-тие* со значением действия-процесса. В результате — либо утрачиваются сами формы отглагольных имен (*влюбление* — устар., действие по значению глагола *влюблять*, *влюбить* и состояние по значению глагола *влюбляться*, *влюбиться*), либо их первоначальное значение (*вдыхание* — то же, что и *вдох* — начальная фаза дыхания). Многие формы в Словаре современного русского литературного языка (ССРЛЯ) либо не отмечаются, либо сопровождаются пометами (устар., разг.): ср. *возмущение* — устар., действие по I значению глагола *возмущать*; *возрастание* — устар., действие по I значению глагола *возрастать*, также *властвование*, *влечение*, *влетание*, *взлетание*, *витание* (устар., действие по глаголу *жить*, *обитать*), *вдыхание* (= *вдох*), *веление*, *вершение* и т. д.

Таким образом, в современном русском литературном языке ведущей семьей отглагольных существительных является сема «предметность», а сема «процессуальность» выступает в качестве подчиненного признака предметности, в связи с чем у рассматриваемых нами имен рождается значение «действие в статике».

Однако в разговорной и художественной речи постоянно возникают «аномальные» слова — слова, стремящиеся передать «не разрешаемое» системой литературного языка значение действия-процесса: *роняние*, *отдыхание* (у Тихонова только *отдыхновение*), *вечерение*, *шумение*, *бужение*.

Таким образом, разная функциональная нагрузка у генетически родственных отглагольных образований приводит к нарушению отношений тождественности/эквивалентности, что отражается на стилистическом способе функционирования глагольных имен на *-ние/-тие* в оригинальных текстах (можно говорить о разной стилистической нагрузке), а в связи с этим рождается проблема нахождения адекватных способов перевода польских глагольных имен на русский язык и наоборот.

Ср.: Jest to jakieś *dumanie* w piękny czas wiosnowy, ale przy księżycu. (Яр. Ивашкевич). *Dumanie* — Думание (ССРЛЯ) Устар. и прост. действие по значению глагола думать (1. мыслить, размышлять; 2. обдумывать, мысленно сосредоточиваться).

Проблема перевода глагольного имени чрезвычайно актуальна, поскольку глагольное имя, будучи обозначением предметной сущности, данной в становлении, обладает большой стилистической весомостью в тексте: в нем отражается множественность (указание на предметность и процесс) в одном, что обуславливает его употребление в текстах философского и поэтического содержания. Это знак восприятия действительности, но особого восприятия — состояния-становления. Русское отглагольное имя дает возможность мыслить предметно, представлять в форме названия, отвлеченные понятия о действиях.

Примечания

¹ О том, что отглагольные имена обладают внутренним противоречивым значением, так как сочетают «глагольную идею» (становление) и именной модус обозначения (устойчивое состояние), впервые сказали модисты. См.: *Перельмутер И. А. Грамматическое учение модистов // История лингвистических учений. СПб., 1991. С. 7—66.*

² *Лосев А. Ф. Античный космос и современная наука // Бытие. Имя. Космос. М., 1994. С. 114.*

³ «Грамматическая форма позволяет (соотнести выражаемое словом понятие с тем или иным явлением действительности, с той или иной стороной этого явления, т. е. использовать его в качестве наименования и одновременно безошибочно отнести данное слово к вполне конкретному грамматическому классу» (*Левицкий Ю. А. О классах грамматических единиц. Пермь, 1987. С. 12.*)

⁴ Можно говорить и о разном статусе глагольных имен во всех славянских языках, например, в словакистике, македонистике, болгаристике существуют устойчивые традиции относить отглагольное имя к сфере глагола. (*Котова Н., Янакиев М. Грамматика болгарского языка, М., 2001; Андрейчин Л. Грамматика болгарского языка, М., 1949; Маслов Ю. С. Грамматика болгарского языка, М., 1981; Усикова Р. П. Грамматика македонского языка. М., 2003; Молошная Т. Грамматические категории залога в современных славянских литературных языках. М., 2001.*) Однако Т. Молошная, рассматривая, обладают ли отглагольные образования на -ние глагольными морфологическими категориями вида и залога, уточняет: «В русском и сербохорватском отглагольные существительные определенно не входят в парадигму глагола ... в болгарском и македонском один из видов отглагольных существительных (на -не) должен быть признан формой глагольного слова; польский язык также

демонстрирует близость отглагольного существительного к парадигме глагола; чешский и словацкий языки находятся в этом отношении между польским и русским» (Молошная Т. Указ. соч. С. 89).

⁵ Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1974. С. 298.

⁶ Тихомирова Т. С. Курс польского языка. М., 1988.

⁷ Не образуют отглагольных существительных с суффиксами —(a)ni(e), -(e)ni(e), -ci(e) модальные глаголы (типа *chcieć, móc*), некоторые глаголы, выступающие в роли сказуемого безличного предложения (типа *grzmi, leje*), непереходные глаголы со значением нарастания признака (типа *bieleć, czernieć*). (*Grzegorzyczkowa R. Zarys słowotwórstwa polskiego. Część I. Warszawa, 1972. С. 1*)

⁸ Tokarski J. Czasowniki polskie. Warszawa. 1951.

⁹ Например, А. Востоков отмечал, что в исторический период у некоторых отглагольных существительных сохранялся вид глагола, неоконченный, совершенный и многократный (чтение, прочтение, читывание). Г. О. Винокур подчеркивал факт наличия в характеристике отглагольного имени признака залога. Например: дериваты типа *выветривание* совмещают в себе полный спектр залоговых возможностей. См.: В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова: *выветривание* соотносится с гл. *выветриваться* в его 1-м значении: «Разрушаться под влиянием атмосферных колебаний в горных породах». Отмечалась также возможность глагольного имени вступать в синтаксические связи с прямым дополнением. См.: Винокур Г. О. Глагол или имя? // «Русская речь». Новая серия. Вып. III. Л., 1928.

¹⁰ Цит. по: Виноградов В. В. Грамматическое учение о слове. М., 1972.

¹¹ Цит. по: Романова Н. П. Русско-украинско-польские связи XVI—XVIII веков и вопросы словообразования // Словообразовательные и языковые связи. Киев. 1985. С. 96.

¹² Как отмечает Марканьян, видовые различия у отглагольных существительных проявляются своеобразно: значение отвлеченного действия-процесса имеют имена, образованные на основе глаголов несовершенного вида; имена, возникающие на основе глаголов совершенного вида чаще всего выступают с конкретизирующим значением (результата, места, орудия и т. д.) (см.: Марканьян Н. Е., Николаев Г. А. Сопоставительное словообразование и формообразование русского и польского языков. Имя существительное. Казань, 1990).

Синтаксическая организация речи в новгородской первой летописи старшего извода: структурно-функциональный аспект

Существующая в исторической русистике теоретическая неразработанность ряда аспектов функциональной стратификации древнерусской речи побуждает проводить детальное исследование древнерусских письменных памятников с точки зрения их рече-языковой организации. Одним из наиболее «чувствительных» к организации текста языковых уровней является синтаксис, так что особенности рече-языковой организации того или иного текста могут и должны проявляться в синтаксической организации речи (сокращенно — СОР), под которой нами понимаются приемы и способы построения, упорядоченность речи как знаковой, языковой структуры текста, являющиеся результатом «выбора» и применения — в соответствии с требованиями выражаемой информации — определенных синтаксических средств языка, соединения их в последовательность и их количественного использования в речи. Внутренняя организованность любой структуры зависит не только от того, *какие элементы* участвуют в ее построении, но и от того, *как* они используются. Поэтому важным фактором, организующим речь, является активность (частотность) ее структурных элементов. Этим объясняется необходимость выявления и изучения количественных параметров организации речевых структур. Исчерпывающее и полное исследование синтаксической организации речи в структурно-функциональном плане просто невозможно без применения вероятностно-статистического метода, сравнительно недавно получившего распространение в исторической русистике и позволяющего выявить — на широком текстовом материале — закономерности в количественной стороне организации древнерусской речи, а задача лингвиста — увидеть и качественную сторону организации речевой последовательности.

Текст древнейшего (так называемого Синодального) списка Новгородской первой летописи (сокращенно НЛ) XIII—XIV вв. привлекал внимание многих отечественных языковедов XIX в.: П. А. Лавровского, И. И. Срезневского, А. А. Потебни, А. И. Соболевского, А. А. Шахматова, которые в своих исследованиях использовали отдельные языковые факты из данного памятника. Первой специальной работой, посвященной анализу языка НЛ

старшего извода, стала работа Б. М. Ляпунова, в которой автор однозначно определяет необычайную важность исследования этой летописи в *лингвистическом* плане [Ляпунов 1900, III]. Правда, сам Б. М. Ляпунов подробно анализирует лишь палеографические и фонетические особенности памятника. Глубокий грамматический анализ Синодального списка НЛ проведен в работах Е. С. Истриной. Особое место занимает ее магистерская диссертация, в которой на материале НЛ дается многоаспектное описание древнерусского летописного синтаксиса. Наблюдая синтаксические явления, представленные в Синодальном списке НЛ, Е. С. Истрина пришла к интересному выводу, что «некоторые явления связываются с теми условиями речи, которые соприкасаются уже с областью стилистики» [Истрина 1923, 198], в чем можно видеть зачатки функционального подхода к древнерусскому синтаксису. Несмотря на ряд работ последних лет, посвященных лингвистическому исследованию Синодального списка НЛ, синтаксис текста этого памятника остается почти не изученным именно в функционально-речевом плане.

Разрабатываемый нами диахронно-функциональный подход к историческому синтаксису русского языка предполагает детальное синхронное исследование синтаксической организации древнерусской речи. В тексте НЛ, как и в других летописях, представлена, по нашему мнению, особая функционально-стилевая разновидность древнерусского литературного языка — *летописно-хроникальная*, отличная от повествовательно-художественной. В пользу такой точки зрения может быть выдвинуто несколько оснований содержательного характера, которые подробно рассматриваются нами в специальной работе [Рылов 2002, 125–126]. Но наиболее доказательными являются рече-языковые признаки, особенно синтаксические, которые оказываются в прямой зависимости от коммуникативного назначения текстов. В этом плане требуется детальный анализ летописей, прежде всего Синодального списка НЛ как древнейшего из дошедших до нас: необходимо выявить особенности синтаксической организации, *устойчиво* повторяющиеся в древнерусской летописно-хроникальной речи и, таким образом, характеризующие этот речевой стиль.

Значительный интерес представляет исследование синтаксической организации речи в НЛ и с учетом текстологической стратификации этого памятника, что также предполагает синтаксический анализ в структурно-функциональном аспекте. В дошедшем до нас тексте Синодального списка НЛ, как известно, выделяется несколько частей. Еще П. А. Лавровский на основе палеографического анализа текста обнаружил в Синодальном

списке три различных почерка [Лавровский 1852, 154—156]. Первая часть (л. 1—118 об.) написана двумя почерками и большинством ученых датируется XIII в. Следующая часть Синодального списка (л. 118 об.—166 об.), в которой представлен третий почерк, большинством исследователей датируется первой половиной XIV в.

С учетом указанных обстоятельств в Синодальном списке НИЛ было выделено три текстовые части, синтаксический анализ которых проводился дифференцированно: Т—1 — текст первого почерка (л. 1—62) — возможно, начала XIII в.; Т—2 — текст второго почерка (л. 62—118 об.) — второй половины XIII в.; Т—3 — текст третьего почерка (л. 118 об.—166 об.) — первой половины XIV в. Разумеется, каждая из выделенных частей НИЛ не может считаться самостоятельным, автономным текстом. Это составные части одного и того же памятника, близкие между собой в содержательном и жанровом отношении; в них представлены прежде всего *погодные* записи событий. Вместе с тем, от них отделялись более пространные тексты повествовательного характера, которые в содержательном плане отличаются цельностью, связностью, автономностью и, по-видимому, могут считаться самостоятельными художественными произведениями. Это «Повесть о взятии Царьграда крестоносцами в 1204 г.», «Рассказ о битве на реке Липице», «Повесть о битве на реке Калке» — все в текстовой части второго почерка XIII в.; а также «Рассказ о покорении Руси Батыем» и «Рассказ о победах Александра Невского» — в текстовой части XIV в. Данные о синтаксической организации речи в кратких и пространных частях НИЛ сопоставлялись друг с другом.

В ходе анализа текста НИЛ все простые предложения-высказывания (сокращенно ППВ) брались в их реальной речевой последовательности в тексте. В качестве исходного источника нами использовался текст Новгородской первой летописи старшего извода, публикация которого осуществлена А. Н. Насоновым в 1950 г. Но при решении вопроса о членении древнерусского текста на предикативные единицы привлекался также рукописный текст Синодального списка, воспроизведенный фототипическим способом и изданный под редакцией М. Н. Тихомирова. Текст НИЛ был подвергнут сплошному синтаксическому обследованию, которое проводилось с применением вероятностно-статистической методики (подробнее см.: [Головин 1971, 11—18]). Для того чтобы получить информацию о характере функционирования в речи элементов синтаксического строя, об устойчивости или, наоборот, неустойчивости их употребления в тексте НИЛ, была проведена стратификация каждой текстовой части летописи

на выборки фиксированного объема (длина выборки — 100—120 предикативных единиц). Текстовая часть Т—1 включила 15 выборок, Т—2 — 12 выборок, Т—3 — 12 выборок. Общее количество выделенных и проанализированных в структурно-функциональном плане простых высказываний составило: в тексте Т—1 — 1610, в тексте Т—2 — 1358, в тексте Т—3 — 1273. Таким образом, всего в летописно-хроникальной речи НИЛ выделено и проанализировано 4241 ППВ, т. е. был обследован достаточно репрезентативный массив синтаксических единиц, позволяющий получить надежную информацию об их функционировании в речи. В повествовательно-художественных текстах, входящих в состав НИЛ, выделено и проанализировано 772 ППВ.

Результаты проведенного лингвостатистического обследования свидетельствуют о том, что синтаксическая организация речи в разных текстовых частях НИЛ в целом характеризуется значительной общностью структурных показателей, сходной активностью и устойчивым характером функционирования многих синтаксических конструкций. Это дает возможность говорить о внутреннем единстве рече-языковой организации собственно летописно-хроникального текста НИЛ, несмотря на имеющиеся различия некоторых структурно-функциональных характеристик между текстовыми частями Т—1, Т—2 и Т—3.

С другой стороны, сопоставление синтаксической организации речи в НИЛ с древнерусскими повествовательно-художественными текстами XIII — начала XIV в. (для сопоставления использованы обобщенные данные о СОР по шести произведениям) позволило выявить целый комплекс синтаксических параметров, дифференцирующих летописно-хроникальную и повествовательно-художественную речевые разновидности древнерусского языка: из 18 выделенных нами параметров СОР 15 различаются существенно (существенность расхождения устанавливалась с помощью специальных статистических инструментов — подробнее см.: [Головин 1971, 37—38, 45—49]). Так, синтаксическую организацию летописно-хроникальной речи в НИЛ характеризуют, в отличие от повествовательно-художественных текстов XIII — начала XIV в., следующие показатели: а) гораздо меньший «удельный вес» (в общем массиве всех ППВ) двух основных структурных типов простого высказывания: двусоставного + односоставного — за счет более активного, чем в художественных текстах, использования так называемых «переходных» конструкций ППВ, недостаточно оформленных (по современным меркам) в структурно-грамматическом и семантическом отношении, конструкций «дательного самостоятельного», а также

синтаксических образований особой структуры, внешне напоминающих простое высказывание; б) более редкое обращение к высказываниям двусоставного типа (доли в НЛ и повествовательно-художественных текстах — соответственно 0,583 и 0,643 — имеют существенный характер расхождения); в) значительно более распространенная структурная полнота двусоставных ППВ (доли двусоставных полных ППВ — соответственно 0,725 и 0,646 — различаются существенно), причем коэффициент их структурной полноты (отношение используемых в речи двусоставных полных ППВ к двусоставным неполным) в летописно-хроникальной речи намного выше (2,63), чем в художественной (1,82). Интересно, что повествовательно-художественные тексты, входящие в состав НЛ, по всем указанным параметрам оказываются очень близкими к художественным произведениям XIII — начала XIV в., но существенно отличающимися от летописно-хроникальных частей той же НЛ.

Что касается функционирования структурно-семантических типов односоставного ППВ, то наиболее яркую особенность зафиксированной в НЛ летописно-хроникальной речи представляет широкое и стабильное использование односоставных *неопределенно-личных* ППВ. Данный тип высказывания является маркированным именно для летописно-хроникальной речи, так как его функционирование в собственно погодных записях НЛ характеризуется: а) существенно более высокой (в три раза!) активностью, по сравнению с художественными произведениями (доли соответственно 0,206 и 0,062); б) очень хорошей устойчивостью в разных текстовых частях летописи Т-1, Т-2, Т-3.

Особое место в синтаксической организации летописно-хроникальной речи НЛ занимают формулы типа «Въ ле(т) 6554» (л. 3) или подобные же формулы, распространенные уточнителями: «Въ ле(т) 6644 Индикта ле(т) 14» (л. 16 об.—17). Такие временные формулы, широко и регулярно встречающиеся в летописи и образующие иногда целые блоки, с одной стороны, представляют собой в грамматическом отношении конструкции, лишь внешне напоминающие предложения, с другой — играют важную конструктивную роль в структурной организации летописно-хроникального повествования. Нередко текст годовой статьи состоял вообще только из одной временной формулы, что является типичным для текстовой части Т-1, относящейся к первой половине XIII в. Многочисленные случаи *одиночных* временных формул, способных распространяться уточнителями, свидетельствуют об автономности таких образований в древнерусском тексте, их «скрытой» предикативности. Хотя подобные конструкции

в исторической лингвистике пока не получили четкой и определенной квалификации, целесообразно рассматривать их как особого рода синтаксические единицы. Активность временных формул в летописном тексте НЛ (обобщенно-усредненная доля их 0,069 по отношению к общему количеству всех выделенных в трех текстовых частях НЛ простых высказываний) оказывается значительно выше, чем в повествовательно-художественных текстах XIII — начала XIV в., в которых временные формулы просто единичны, а также, что особенно примечательно, намного выше, чем в пространных повествовательных текстах, входящих в состав НЛ (доля 0,009). Таким образом, временные формулы и их высокая активность представляют собой параметр, стилистически маркированный именно для летописно-хроникальной речи.

Наиболее «показательные» для этой речевой разновидности синтаксические конструкции: двусоставное полное, односоставное неопределенно-личное ППВ; временные формулы, разумеется, несут особо важную функциональную нагрузку в рече-языковой организации летописного текста, обуславливая его специфику. Так, двусоставное полное и односоставное неопределенно-личное ППВ чаще всего оказываются главными организующими структурными компонентами конструкций цепного нанизывания (КЦН) — конструкций, которые являются типичным приемом синтаксической организации речи в НЛ. Действительно, летописно-хроникальные части НЛ насыщены ими: на выборку длиной 100—120 ППВ в среднем приходится 7—10 таких конструкций. Как показывают наблюдения, именно высказывания двусоставного типа и цементировали КЦН: из всех предикативных единиц, «вовлеченных» в цепное нанизывание, их основная масса (65%) приходится на двусоставные, среди которых главенствующее положение принадлежит полным. При этом двусоставное полное ППВ занимает в структуре КЦН чаще всего так называемые сильные позиции — начальную и конечную, самые важные в смысловом отношении. Внутри такого «обрамления» могут включаться двусоставные неполные ППВ, обычно с главным членом сказуемым и опущенным подлежащим. Но особенно часто (порой целыми блоками) в нанизывание «вовлекаются» односоставные неопределенно-личные ППВ. Конечно, это наиболее типичная модель КЦН в тексте НЛ, хотя в процессе нанизывания предикативных единиц в речевой последовательности могут быть разнообразные вариации, структурные осложнения. Тем не менее общая тенденция построения КЦН в летописно-хроникальных частях НЛ достаточно очевидна и отчетливо проявляется в следующем примере (знаком | отмечаются

границы членения между ППВ, знаками {...} — соответственно начало и конец КЦН):

В ле(т) 6761| *{Воеваша Литва волость Новгородскую}* и поимаша с полономь| и оугониша ихъ новгородци с княземъ Васильемъ оу Торопча| и тако мьсти имь кровь христьянская| и победиша я| и полонь отьймаша| и *придоша в Новгородъ вси здрави*|} (л. 132 об.).

Соединение в речевой цепи односоставных неопределенно-личных ППВ с двусоставными (преимущественно полными, реже неполными) и является той речевой базой, на которой становится возможным отразить «событийность». Действительно, специфика семантики односоставного неопределенно-личного предложения состоит именно в констатации самого действия — в отвлечении действия от его производителя. Это позволяет акцентировать внимание на самих происходивших событиях, фактах, зафиксировать их, передать их одновременность или последовательность, что и являлось главной коммуникативной задачей летописного изложения.

Вместе с тем, нельзя не отметить различий в структуре и функционировании конструкций цепного нанизывания между отдельными текстовыми частями НЛ. При этом полученные нами данные не подтверждают вывода, сделанного Е. С. Истриной, о том, что «однообразное нанизывание наблюдается преимущественно в первом почерке, заменяясь в дальнейшем более сложными и однообразными конструкциями...» [Истрина 1923, 197]. Напротив, в тексте первого почерка Т—1, по нашим данным, активность КЦН (в среднем на выборку приходится 7 конструкций) существенно ниже, чем в текстовых частях Т—2 и Т—3 (на выборку той же длины — в среднем по 10 КЦН). Примечательно, что функционирование КЦН в тексте первого почерка характеризуется неустойчивостью, т. е. такие конструкции первоначально в НЛ использовались очень неравномерно, нестабильно, в разных «отрезках» (выборках) всего текстового «пространства» Т—1, а потому еще не были постоянным приемом СОР. В отличие от этой текстовой части, в текстах Т—2 и Т—3 КЦН применяются регулярно, равномерно и становятся типичным, характерным приемом синтаксической организации речи. Весьма показательно также то, что в текстовых частях Т—2 и Т—3, по сравнению с текстом Т—1, сами эти конструкции значительно усложняются по своему составу, становясь гораздо более протяженными. Об этом можно судить прежде всего по среднему количеству предикативных единиц, входящих в состав таких конструкций: если в тексте первого почерка на выборку приходится в среднем

56 ППВ, то в тексте второго почерка среднее количество ППВ в составе КЦН уже достигает 98 (существенный характер расхождения).

Итак, полученные данные убедительно свидетельствуют, что синтаксическая организация речи в тексте второго почерка Т—2, по сравнению с текстовой частью Т—1, заметно отличается за счет того, что в тексте Т—2 значительно повышается активность конструкций цепного нанизывания, их функционирование приобретает гораздо более устойчивый характер и, что особенно важно, усложняются сами эти конструкции, увеличивается их протяженность, т. е. количество предикативных единиц, вовлеченных в однообразное нанизывание. Отмеченные для текста второго почерка (XIII в.) тенденции устойчиво проявляются и в тексте Т—3 (первой половины XIV в.). Все это позволяет утверждать, что в текстовых частях Т—2 и Т—3, по сравнению с текстом Т—1, заметно меняется сама *манера летописного изложения*, на что уже обращалось внимание в научной литературе. Так, А. А. Гиппиус отмечает развитие, начиная с середины XIII в., стилистической структуры текста НЛ в сторону его усложнения и обогащения новыми приемами: от простого перечисления событий к более развернутому рассказу о них [Гиппиус 1996, 25].

Действительно, в тексте Т—1 обнаруживается чаще всего очень краткое, лаконичное отражение событий с помощью отдельных ППВ — без стремления дать связный рассказ о том или ином событии, а только с целью как бы напомнить о нем, сделать всего лишь заметку. В отличие от текста первого почерка, в текстовых частях Т—2 и Т—3 налицо более развернутое описание событий, нередко с помощью цепочек следующих друг за другом ППВ, объединенных общностью содержания, но слабо связанных между собой грамматически. Подробное описание событий, фактов, характерное для текстов Т—2 и Т—3, проявляется также и в том, что в повествование о происходивших в то или иное время событиях здесь нередко включается и прямая речь князей, других персонажей. В результате в этих частях НЛ наблюдается гораздо более высокая, чем в тексте первого почерка, активность односоставных определенно-личных высказываний (доли, соответственно 0,087 и 0,021 — имеют существенный характер расхождения).

Различия в синтаксической организации речи проявляются и между текстовыми частями Т—2 и Т—3, только эти различия как бы «переносятся» в область *синтагматической формы* ППВ. Как показал проведенный анализ, простые высказывания в текстовой части Т—3 отличаются более

сложной, чем в тексте Т—2, организацией. Особенно ярко усложнение грамматической структуры наблюдается в двусоставных полных ППВ. В текстовой части Т—3 заметно увеличивается протяженность структуры двусоставного полного высказывания (средняя длина его составляет в среднем 5,47 членов предложения, тогда как в тексте Т—2 — 5,09), значительно возрастает развернутость его грамматической структуры, что создается за счет активного и устойчивого использования конструкций с второстепенным сказуемым, синтаксических рядов однородных членов предложения, согласованных определений, оказывающихся нередко в *постпозиции* к определяемому слову, приложений, уточнений.

Результаты проведенного структурно-функционального анализа текста Синодального списка Новгородской первой летописи и сопоставление НИЛ с повествовательно-художественными произведениями XIII — начала XIV в. дают основания говорить о летописно-хроникальной речевой разновидности как об особом функциональном стиле древнерусской речи. Совокупность характерных для летописно-хроникальных частей НИЛ количественных показателей во многом обуславливает качественное своеобразие этой речевой разновидности по сравнению с повествовательно-художественной и иными функционально-стилевыми разновидностями древнерусской речи. Вместе с тем, дифференцированный анализ текстовых частей Т—1, Т—2, Т—3 Новгородской первой летописи убедительно показал, что синтаксическая организация речи в ней даже на протяжении полутора столетий не оставалась неизменной, а постепенно развивалась, совершенствовалась.

Проведенный опыт свидетельствует о продуктивности и несомненной целесообразности использования при исследовании структуры древнерусских текстов синтаксических параметров и лингвостатистического анализа.

Библиография

1. Гиппиус 1996 — *Гиппиус А. А.* Лингво-текстологическое исследование Синодального списка Новгородской первой летописи: Автореф. Дис. ... канд. филол. наук. М., 1996.
2. Головин 1971 — *Головин Б. Н.* Язык и статистика. М., 1971.
3. Истрина 1923 — *Истрина Е. С.* Синтаксические явления Синодального списка I Новгородской летописи. Пг., 1923.
4. Лавровский 1852 — *Лавровский П. А.* О языке северных русских летописей. СПб., 1852.

5. Ляпунов 1900 — *Ляпунов Б. М.* Исследование о языке Синодального списка 1-ой Новгородской летописи. СПб., 1900. Вып. 1.

6. Рылов 2002 — *Рылов С. А.* Летописно-хроникальная речевая разновидность как функциональный стиль древнерусской речи (на материале текстов XIII—XIV вв.) // Ученые записки Волго-Вятского отделения Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры. Н. Новгород, 2002. Вып. 10.

Лексика, характеризующая болезни и болезненные состояния, как культурно-семиотическая система (на материале пермских говоров)*

Вопрос о системном характере диалектной лексики уже давно не вызывает сомнений. Описанию различного рода системных образований, синтагматических и парадигматических связей в лексике русских народных говоров посвящено множество работ. Однако исследование диалектной лексики, в частности связанной с семантикой болезни, как особого рода — лингвоэтносемиотической — системы, построенной прежде всего на символических связях, является до сих пор актуальным и интересным. Доказательством этому являются многочисленные попытки лингвистов (Т. А. Агапкиной, Л. Н. Виноградовой, В. И. Ереминой, А. Ф. Журавлева, Д. К. Зеленина, Д. И. Кабаковой, В. В. Колесова, И. В. Песоцкой, Н. В. Поповой, А. А. Потебни, В. В. Резцова, О. А. Терновской, А. П. Топоркова, М. Д. Торэна, В. В. Усачевой, М. Фасмера и др.) реконструировать и описать архаические представления человека о болезни. Несмотря на повышенный интерес к языковому материалу, связанному с номинацией болезней и болезненных состояний, диалектная лексика данной тематической группы как части семиотического пространства традиционной культуры не была выделена в качестве предмета отдельного исследования. В связи с этим в настоящей статье мы попытаемся доказать на пермском диалектном материале, что лексика, связанная с семантикой болезни, представляет собой сложно организованную семиотическую систему, актуализирующую древние представления человека о болезни.

Поскольку слово является двусторонней единицей (знаком), соединяющей в себе форму и содержание, системный характер лексики, связанной с семантикой болезни, будет иметь как внешний (формальный), так и внутренний (семантический) план выражения. Анализ внутренней организации диалектной лексики показал, что объединение внешне разнородных лексем в пределах одной системы основано на древних мифологичес-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта для научно-исследовательской работы аспирантов высших учебных заведений Минобразования России (А03-1.5-59).

ких представлениях человека, в рамках которых болезнь осмыслялась не как психофизиологическое состояние человека, а как некое живое существо в образе человека, демона, животного или природного явления. Поэтому главной особенностью системы, состоящей из внутренне связанных лексических единиц, служащих для номинации болезней и болезненных состояний, является ее знаковый характер. Большинство диалектных лексем, входящих в данную систему, могут быть рассмотрены как культурно-мифологические знаки, построенные не на произвольной, а осознанной, культурно мотивированной связи означаемого (болезни) и означающего (объектов и явлений разных классов). Поэтому многие народные названия болезней являются результатом вторичного означивания, основанного на мифологическом (символическом) осмыслении мира древними. Лексические единицы, связанные с семантикой болезни, представляют собой «отсинонимические» производные, которые способны указывать на связь болезни с природными и фитонимическими объектами, с зоонимическими и антропоморфными существами. В связи с этим диалектные лексемы были подразделены на группы, каждая из которых в своей совокупности может быть рассмотрена как выразитель тех или иных архаических представлений человека о болезни.

В первую группу слов вошли лексемы, вскрывающие мифологическую связь природы и человека. Осмысляя себя частью природного мира, болезненное состояние человек связывал с определенными природными циклами — умиранием, увяданием. В основе появления вторичных значений 'болеть', 'заболеть', 'ослабнуть в результате болезни', 'нервный припадок' у таких лексических единиц, как *закуржить* (исходно — 'покрыться инеем'), *нахмуриться* (исходно — 'испортиться (о погоде)', *хизить* (исходно — 'мокнуть, киснуть'), *тишина* (исходно — 'природное, физическое безмолвие') лежит метафорический перенос процессов, происходящих в природном мире, на состояние больного, старого человека.

Символическая избирательность для обозначения болезней и болезненных состояний проявляется также в выборе природных стихий. В диалектной лексике отражена связь болезней с тремя основными стихиями. Это огонь: *огневица* — 'лихорадка', 'горячка' (Амур., Арх., Волог., Вят., Забайк., Новг., Перм., Саратов., Сев.-Двин.), 'тиф' (Челяб.), 'скарлатина' (Костр.), 'гангрена' (Пск., Смол.), 'болезнь, при которой на нижней губе образуются прыщи' (Вят., Пск., Твер.), *огневка* — 'гангрена' (Перм., Сол.), *огневая* — 'горячка', 'жар', 'воспаление' (Даль), *огнева* — 'горячка' (Арх., Волог., Вят., Енис., Новг., Олон., Перм., Свердлов., Том.), 'тиф' (Волог.),

‘оспа’ (Арх.), ‘корь’ (Арх.), ‘чирей’ (Даль), *жар* — ‘болезненное состояние’ (Перм.); *ветер*: *поветрище* — ‘эпидемия’ (Перм., Сол.), *ветренное* — ‘напускная по ветру болезнь’ (Перм.), *ветреница* — ‘опухоль в легких или наружно в клетчатке, под кожей’ (Даль), *поветрие* — ‘заразная болезнь’ (Влад., Иркут., Калуж., Кемер., Курск., Орл., Том.), ‘болезненное состояние, вызванное сменой погоды’ (Калуж.); *вода*: *вода*, *водяница* — ‘водянка’ (Пенз., Яросл.), *стремная вода* — ‘болезнь домашних животных’ (Олон.), *черная вода* — ‘слепота’ (Перм.).

Необходимо отметить, что представленные выше народные названия основываются лишь на негативной символике природных стихий, несмотря на то, что в традиционной культуре они обладают не только губительной, но и живительной силой. Подчеркивание отрицательной сущности природных явлений при номинации болезней хорошо отражает зафиксированный в пермских говорах процесс замены значения ‘хорошо, благоприятно’ (для лексемы *вода* оно очевидно во фразах типа «*Вода ему жить здесь*») на значение ‘болезнь глаз’ — при присоединении к данной лексеме определений «черный» или «темный». Приобретение свободными лексемами фразеологически связанного значения ‘слепота от поражения глазного нерва’, смена положительной символики воды на отрицательную имеет мифологическую основу. По народным преданиям, мутная, грязная вода выступает предвестником болезни, несчастья, смерти. Несвободное значение ‘слепота’ (т. е. буквально ‘смерть’ или ‘болезнь глаз’ — ср. использование современными офтальмологами фразы *глаз умер*) построено на соотношении чёрной, мутной воды с мёртвой водой, главная функция которой состоит в умерщвлении всего живого. Выстраивается замкнутая цепочка, звенья которой вскрывают мотивирующую основу, помогающую понять значение фразеологической единицы *черная (темная) вода*: мертвая вода — смерть всего живого — смерть глаз через болезнь — слепота — черная вода. Таким образом, диалектный материал демонстрирует ассоциативную связь болезней с огнем, ветром, водой. Показательно отсутствие такой связи с темой земли, что, вероятно, обусловлено более устойчивым представлением земли в народном сознании как материнского, рождающего начала.

Вторую группу слов составляют лексемы, построенные на связи болезни с объектами растительного мира и процессами, свойственными для них. Большинство лексем данной группы также представляет собой метафоры, построенные на сходстве состояния больного человека с процессами умирания, увядания, разложения объектов растительного мира.

Таковыми лексемами в пермских говорах стали: *вялый* — ‘засохший’ и ‘слабый здоровьем’, *вялка* — ‘заболевание женских половых органов’, *вянуть*, *завянуть*, *повянуть* — ‘терять свежесть, сохнуть’ и ‘утратить силы в результате болезни’, *иссохнуть* — ‘лишиться влаги’ и ‘ослабеть, долго, тяжело болеть’, *зачахнуть* — ‘завянуть’ и ‘ослабеть в результате болезни’, *дрябнуть* — ‘терять сочность’ и ‘терять жизненные силы вследствие болезни’, *поблекнуть* — ‘потерять свежесть, засохнуть’ и ‘лишиться жизненных соков, ослабеть’, ‘состариться’, *гнить* — ‘разрушаться, подвергаться органическому разложению’ и ‘болеть’, *гнилуша (гнилушка)* — ‘обломок гнилого дерева’, ‘дерево с подгнившей древесиной’, ‘полусгнившие овощи’ и ‘больной человек’.

Любопытно, что, по нашим материалам, из всех растительных объектов в номинациях болезни отмечена лишь связь с грибами. Данная связь имеет культурно-мифологическую основу: в народном сознании грибы воспринимались как проводники между потусторонним и земным мирами, наделялись демонической силой. Поэтому использование темы грибов в качестве мотивирующей основы для номинации болезни наилучшим образом вскрывает маргинальную сущность болезней, которые приходили из потустороннего мира в мир человеческий и представляли собой переходное состояние между жизнью и смертью. Неслучайно в традиционной символике снов грибы являются предвестниками смерти, болезни, убытков и слез. Негативная символика грибов, в частности связь их с болезнями, нашла непосредственное выражение в языке. В пермских говорах выявленная символическая связь становится очевидной при анализе следующих лексем: *обабок* — ‘гриб подберезовик’: «*В лес за грибами ходила, один обабок только и нашла*». (Нытв.) и ‘слабый, вялый ребёнок’ с уточнением кислый: «*Ну, чё ты, Петя, раскис, как кислый обабок?*» (Сол.), *грибовать* — ‘болеть гриппом’: «*Я уж второй день грибую*» (Черд.), *грибы поймали* — ‘заболеть гриппом’: «*Чишет углан-от, видно, грибы поймали*» (Караг.), *губиться* (от диалектного *губы* — ‘грибы’) — ‘слабеть здоровьем’: «*Всё губимся, чё уж говорить, годы-те большие уж*» (Черд.), *губница* — ‘суп из грибов’: «*Губницу-то я часто варила — губ-то много было*» (Б.-Соснов.) и ‘человек с постаревшим или утомленным морщинистым лицом’: «*Вон на снимке-то губница кака, страшная: пристала вся, видно, да хворала — вот и губница вышла*» (Сол.), *бабка* — ‘гриб рыжик’: «*В прошлом году очень много бабок, я целое ведро насолила тех грибов*» (Добр.) и ‘заразная болезнь пчел’: «*Если дезинфекцию у пчёл не делать, бабка у них заводится*» (Ильинск.). Интересно отметить, что культурно-

мифологическая связь грибов и болезни сохранилась не только в диалектной системе, но и в современном русском литературном языке: литературная лексема *грибок* служит не только для обозначения природного объекта, но заболевания кожи и других наружных покровов тела.

Третья группа слов представлена лексемами, связанными с представлениями древних о болезни в виде зооморфного существа. Чаще всего образ болезни связывался с животными, которые в народном сознании имели отношение к хтоническому миру и вследствие этого определялись как «нечистые». Такими животными выступали змеи, жабы, лягушки, мыши, крысы, собаки. Наделение их демоническими, враждебными для человека силами послужило основой для включения зоонимических лексем в тематическую группу болезни в результате расширения семантической структуры или образования новых лексем с семантикой болезни, внутренняя форма которых отражает зоонимический образ болезней. Такими образованиями в пермских говорах стали следующие лексические единицы: *змеевец* — ‘гнойное воспаление’: «*Омэг с мёдом привязывают, если змеевец ли, костоед ли*» (Сол.), *костоед* — ‘название болезни, представляемой в виде червяка, грызущего суставы пальцев’: «*Костоед? Такая болезнь. Червячок ест суставы пальцев. Если самец попал, то в больнице вылечат, если самка, то заговаривают на мёд или подсолнечное масло. Заговаривают девять речек, и после этого через них переезжать нельзя*» (Чайк.), *мыши (мышки)* — ‘увеличение лимфоузлов у коров, лошадей, опухоль за ушами’: «*Мыши давят коней, на обоих боках, под ушами, другой раз лошадь падёт от этих от мышёк-то*» (Сол.), *волос* — ‘водяной червь, который, по суеверным представлениям, пробирается под кожу во время купания и служит причиной болезни’.

Четвертая группа слов, одна из самых многочисленных, представлена лексемами, служащими одновременно для номинации демонических существ и болезней, что приводит к многозначности слова. Соединение в рамках одной лексемы нескольких лексико-семантических вариантов подчеркивает неразрывную в народном сознании связь обозначаемых объектов и явлений. Неслучайно многие болезни в народном сознании осмысливались как демонические существа, способные навредить человеку. Подобные мифологические представления нашли отражение в языке. Так, в пермских говорах *полудницей (полуденницей), полуночницей (полношницей)* называют злого духа и болезнь, веснухой — демонологического персонажа, представляемого в облике животного, и болезненное ощущение в костях,

проявляющееся весной, *икотой* — демонологическое существо, вселяющееся в человека, и нервное заболевание.

Демоническая сущность болезней подчеркивается активным использованием лексем с семантикой болезни в народной брани. Зафиксированные в пермских говорах эвфемистические выражения вскрывают взаимосвязь болезни с чертом: *Болезнь тебе в руки!*, *Будь немочь!*, *Волосы бы тебе!*, *Параль его расшиби!*, *Лихорадка знает!*, *Каку лихорадку (лихоманку)?*, *По каку лихорадку?*, *Чтоб тебя врагуша затрясла!*, *Худоба знает!*, *Худоба (тебя) понеси!*, *На каку худобу?*, *За какой худобой?*

Пятую группу слов представляют лексемы, актуализирующие антропоморфность болезней. Многие лексические единицы данной группы представляют собой метафоры (*дикарь* — ‘человек, страдающий психическим заболеванием’, *дурь* — ‘болезненное состояние’, *родимец (родимчик)* — ‘болезненный припадок у детей, сопровождающийся судорогами и потерей сознания’, *бабка* — ‘заразная болезнь пчел’, *врагуша* — ‘лихорадка’, *худоба (худобка, худобище)* — ‘падучая’ и др.), либо метонимические образования (*волосы* — ‘кочерга’, *рѣв* — ‘детская болезнь’), либо антропонимы (*Гришка* — ‘грипп’, *Хомич* — ‘радикулит’). Прослеживается некая закономерность в образовании метафорического значения ‘болезнь’: чаще всего оно возникает у лексических единиц, первичное значение которых связано с исключительными (выходящими за пределы нормы) явлениями или объектами: *дикарем* называют человека, имеющего отклонения в поведении или мышлении, а также колдуна, *родимчиком* — возлюбленного, родного, близкого человека, т. е. того, к кому испытывают особые чувства, кого выделяют из общей массы, *бабкой* — старуху, знахарку или колдунью, а как известно, пожилой человек или человек, наделенный сверхъестественными силами, всегда занимали особое место в социуме.

Отличительными чертами лексем, входящих в последние две группы, являются эвфемистический их характер и ярко выраженный антропоморфизм, еще более раскрывающийся при рассмотрении семантической валентности данных лексических единиц. Чаще всего они вступают в связь с глаголами, обозначающими действия, характерные только для живых существ: обычно болезни *берут*, *хватают*, *бьют*, *трясут*, *накрывают*, *бросают*, *валят*, *нападают*, *накидываются*, *ломают*, *изъедают*, *пристают*, *отнимают*, *глядят*, *сажаются*, *наседают*, *забирают*, *отпускают*, *держат*, *водят*, *выходят*, *изводят* и т. д.

Опираясь на представленный в пермских говорах материал, мы можем говорить о том, что выделенные группы отражают в своей внутренней

форме влияние народной семиотической системы, являются ее частью. При этом каждая из данных подгрупп существует не изолированно, а в тесной связи друг с другом. Неслучайно одна и та же лексема может быть включена сразу же в несколько объединений. Это становится возможным благодаря тому, что лексемы данной тематической группы представляют собой чрезвычайно развернутые, нередко диффузные полисемичные образования, которые служат одновременно для номинации болезни, демонологического персонажа, больного, злого, обладающего магическими силами человека, растительных, животных или природных явлений. Так, в пермских говорах весновкой, веснухой называют не только лихорадку: «С опою — я напился студёной браги — весновка и напала на меня: просто слабость была, жар, пройдёт, холодно будут... С этого лягушника мне легче стало» (Сол.), болезненное ощущение в костях: «Перед дождем ноги гудят, а весной веснуха ломат, кажну косточку толды чувствую. Ой, беда, годы своё берут» (Киш.) или малярию: «Мама ко мне приехала, её веснухой стало бить, малярией значит» (Нытв.), но и демонологический персонаж, представляемый чаще всего в облике животного: «Каку-то веснуху признавали — ходит ночами, как кошка» (Краснов.), ворагушей — лихорадку: «Ах, чтоб тебя ворагуша затрясла, такого бесстыдного» (Гайн.), больного или злого человека: «Как ворагуша была, всё болела» (Нытв.), а также колдунью: «У, страшная она ворагуша была, сколько людей попортила» (Гайн.), гнилушкой — гнилое дерево: «На болоте берём лес, одни гнилушки стоят тамо» (Сол.), гнилой гриб: «Бывает, одни гнилушки попадают» (Сол.), больного, вялого человека: «Совсем со здоровьем-то плохо, голова гнить стала, сама вся как гнилушка» (Окт.). Подобной сложной семантической организацией обладают практически все лексемы с семантикой болезни (лихорадка, лихоманка, огневка, вилота, икота, жаба, кила, лихой, худа, чахнуть, валить, гнуть, гнить, грызть, хизнуть, загарабать, завернуть(ся), завить(ся), соскать, закружать, заумирать, загубиться, износить(ся) и т. д.).

Таким образом, диалектные лексемы, связанные с семантикой болезни, представляют собой семиотическую систему, семантическая структура которой отличается чрезвычайной сложностью и множественностью связей, в которые вступают лексико-семантические варианты слова. Отношения между значениями в рамках одной или нескольких лексических единиц диалектной системы носят символический характер. Чаще всего внешне разнородные лексемы, этимологически не связанные между собой, или лексико-семантические варианты одной лексемы объединяются друг

с другим общим (инвариантным) значением, актуализирующим негативную, дьявольскую сущность болезни, что позволяет им войти в лексическую систему, связанную с семантикой болезни. Например, в пермских говорах лексема *бабка*, помимо общеславянского значения 'старуха, бабушка', обозначает: 1) женщина, занимающаяся лечением; знахарка; 2) гриб рыжик; 3) заразная болезнь у пчел. Данная лексема семантически представляет собой самостоятельную систему, организующим, связующим звеном в которой является некая семантическая общность перечисленных значений — связь с потусторонними силами, обладание демонологической сущностью. Общеизвестно, что женщина, занимающаяся лечением, изгнанием болезней из человека, и гриб, ассоциирующийся с потусторонним миром, смертью, слабостью и болезнями, послужили причиной появления у диалектной лексемы еще одного переносного значения — 'заразная болезнь пчел'. Устойчивая, мифологически обусловленная связь старой женщины, демонических существ и грибов с болезнями подтверждается богатым лексическим материалом других диалектных систем: *бабкой* в Новгородской, Псковской областях называют устарелую, бесплодную пчелиную матку, в Воронежской, Тульской, Курской, Калужской, Владимирской, Архангельской, Томской областях — женщину, занимающуюся лечением и ворожкой, в Псковской, Новгородской, Тверской областях — оспу, всякую сыпь или болячку. Поэтому нельзя не отметить особенность большинства лексических единиц с семантикой болезни — связанность их с отрицательной символикой.

Диалектная лексика, связанная с семантикой болезни, не только внутренне, но и внешне может быть рассмотрена как сложно организованное семиотическое пространство. Данное положение мы попытаемся раскрыть при помощи группы слов, формально (этимологически) объединенных общеславянским корнем «вить», который служит для обозначения таких действий, как витье, кручение, верчение, имеющих множество значений и занимающих важное место в традиционной культуре славян.

Связь процесса витья и болезни акцентируется в следующих диалектных лексемах: *виться* — 'испытывать мучения, страдания': «*Я восемь суток вился — терпенья нету, повезли в больницу*» (Сол.), *завиться* — 'согнуться, сжаться в комок, скорчиться во время приступа болезни': «*Я дудку-то как свела, так и завилась*» (Сол.), *вити́линка* — 'слабый росток': «*Некоторые люди по одной витилинке посадят, и стоит она тонкая, как свеча*» (Ус.), *у смерти виться* — 'быть больным': «*Черти-то, говорят, тогда одолевают, как у смерти человек вьётся*» (Черд.). Устойчивость связи

процесса витья с болезненными состояниями человека подтверждается лексическим материалом других говоров: *вилота* — ‘болезнь со сведением рук и ног’, ‘цинготная ломота’ (Арх.), *завить* — ‘затошнить’ (Костр.), *вихлец* — ‘вывих’ (Кубан.), ‘понос’ (Новг.), *вихорадка* — ‘лихорадка’ (Тул.) и т. д. Негативная семантика данных лексем объясняется мифологическим осмыслением процесса витья как сакрального действия, которое могло не только помочь, но и навредить человеку. Вредоносная линия витья становится неотъемлемой, если субъектом действия является не человек, а демонические существа, к которым относили и болезни. Поэтому мы можем говорить о символической мотивированности диалектных лексем со значениями ‘болезнь’, ‘болеть’ глаголом *вить*. Архаическое осмысление витья как проявления нечистой силы породило в диалектах целую группу слов, этимологически восходящих к глаголу *вить*, благодаря которым становится очевидным родство болезни, демонологических существ, смерти, грибов: *вихрь* — ‘чёрт’, *вихорадка* — ‘лихорадка’, *поветрище* — ‘эпидемия’, ‘больной человек’, *вильвени* — ‘грибы’, *вила* — ‘мифологическое существо’, *вертячка* — ‘собачья болезнь’, *веретенница* — ‘весенняя лихорадка’ и ‘смерть’.

Таким образом, внешние и внутренние связи рассмотренных слов позволяют говорить о том, что диалектная лексика, связанная с семантикой болезни, несмотря на разнообразие материала и включение его в разные тематические группы, представляет собой сложное системное образование, в основе которого лежат культурно-мифологические (символические) ассоциации, возникающие благодаря включению вербального материала в семиотическое пространство народной культуры.

Оппозиция «сакральное — светское» в истории азбуки и проблемы современной графики

Строительными «атомами» письменной этнокультуры славян стали, как это уже доказано, буквы (литеры) *глаголицы*, позже трансформированной в кириллицу под непосредственным греческим влиянием. Как создание видного византийского гимнографа и гомилета, славянская азбука выросла из византийской традиции, обогатившись творческим гением Константина Философа в ходе символической христианизации алфавита, которая, естественно, отсутствовала в архаичной эллинской культуре. Христианский символизм отдельных графем, сказавшийся как в их начертаниях, так и в данных Константином Философом особых, отличных от греческих, буквенных именах, отразился даже в наименовании «глаголица». *Глаголица* — это не просто «передающая речь, говорящая», но в старославянском языке и «проповедующая»¹.

Первая графема (вариант креста) и наименование этой самой важной буквы (*азъ*) явно содержит главную идеологему азбуки: *я, т. е. Бого-человек* (человек подобен Богу)².

Вообще же сам азбучный именовослов Константина Философа отразил глубокий замысел ее создателя. Прежде всего он представляет собой ментальный текст³, лапидарно в силу специфики жанра формулирующий «азбучные истины» нового, христианского, учения, а именно: 1) провозглашение Добра в качестве абсолютного Блага, главной этической ценности жизни (Глаголи: Добро есть! Живѣте зъло, земля!), аналогично евангелическим «благовествованиям», переполненным харизматической верой в христианское обновление мира; 2) емко и поэтично обозначенные полюсы мироздания (*земля — онъ покой*) как основа философской доктрины христианства и возникающий в связи с этим мотив всеобщего вечного покоя; 3) поэтическое обобщение внутреннего мира человека, обозначающее два противоположных направления его душевных устремлений *Укъ фертъ хѣр(овим)ъ ци червь* — Учение избирательно: херувим или червь⁴.

В целом же азбучный именовослов содержит краткую гомилию, написанную с учетом византийской проповеднической традиции (убеждающий безответный вопрос, предоставление свободы выбора перед сформулированной альтернативой) и византийской гимнографической традиции (мо-

литвословный стих с акцентированными средствами апелляции — обращением и повелительным наклоном, с тяготением к 12—13-сложнику, с акростихом⁵, аллитерацией и ассонансом). Учитывая признаваемую графическую символику ряда других глаголических букв, а также принимая во внимание акростих и «неговорящую» треть алфавита, можно заключить, что азбучный именованослов дает эмблему и *ключевую микромодель христианской культуры* во всем ее объеме, в единстве видимого и невидимого, рационально-ментального и иррационально-сакрального.

Манящая бездонная глубина земного предметного мира, просвечивающая сквозь конкретную вещественность, — это одно из удивительных прозрений философии платонизма, на котором строилась византийско-христианская культура. В частности, им был пронизан Алфавитный акростих Григория Назианзина⁶, хорошо известный Константину, и он, будучи блестяще эрудированным византийским гимнографом и философом, не мог не воспринять этого⁷. Отсюда берет начало и авторское высокое ощущение тайны мира букв, магии азбучного стиха.

Славянская азбука без тайны, без несказанного и неизреченного — лишь мертвая схема. Слово для христианского миссионера — это и сам дух, и среда обитания духа⁸. В сохраненном до нас азбучном поэтическом тексте Константин выступает поэтом сферы духа и истинным Философом.

Эстетическая тайна славянской азбуки, до сих пор не до конца понятая в медиевистике, — стремление выйти за границы обыденного мира *средствами поэзии*, дать ощутить читателю духоподъемную тягу, порыв к горнему. Источник божественной гармонии поэзия ищет в запредельном и абсолютном. Простые земные слова азбуки (*земля, покой, добро, слово*) наполняются космическим смыслом, человеческое становится божественным, масштаб ментального текста возрастает неизмеримо. Акростишная «геральдика», по выражению С. С. Аверинцева, с помощью начальной позиции выделяющая «привилегированные» слова стихового текста в византийской традиции, передает квинтэссенцию его гармонии (в частности, подобно греческим ирмосам)⁹.

Не отказываясь от логики обыденного сознания, Константин Философ сохраняет за ней только частное значение, одновременно он *воспаряет* над логикой слов, чтобы передать иррационализм и непознаваемость Слова и бытия.

Всей своей поэтикой, составом буквенных имен, логикой краткого «благовествования» азбучная гомилия вызывает к божественной истине Слова. Поэтому перед нами не просто алфавит (абэцэдарий), изобретенный

стихийным фонологом и полиглотом Константином, а именно азбука — программирующая модель новой письменной христианской культуры, творческое создание великого философа Византии.

Две тенденции развития православной филологической традиции, которые болгарские медиевисты определяют как деятельность «строителей» и «ревнителей» родного языка¹⁰, т. е. новаторов и архаистов, существовали не только в Болгарии. Причем идущие вслед за новаторами ревнители (на Руси это школы митрополита Киприана и антиниконианцев) в своих во многом утопичных «книжных справах» текстов церковной литературы равнялись на авторитетные греческие и церковнославянские списки. Характер эллинизации при этом, как известно, существенно менялся: от следования древним византийским образцам до усвоения относительно новой греческой традиции, что и вызвало русский церковный раскол в XVI в.¹¹

Другой вопрос графической основы восточнославянской культуры (вплоть до реформы азбуки, проведенной по заказу Петра I) — это шестисемивековая традиция церковнославянского письма, в ходе которого культивировалось отношение к нему сутобо как к действию сакральному. Консервативность графики таких прецедентных текстов, как Евангелие, Псалтырь и других богослужебных книг, обеспечивала устойчивость не только языка, но и письменного узуса и служила нормативным стабилизатором и регулятором (упомянутые уже исправление книг Киприаном и «Никоновская справа»). Выбор графико-орфографической системы письма в рукописной книжности, как говорил Константин Костенечский, фанатичный приверженец Евфимия Тырновского, — самая важная сторона книжного дела, он даже отождествлял орфографические «погрешения» с уклонениями в ересь, грозя за это анафемой. По данным современной финской исследовательницы Ли Силин, представление о графико-орфографических идеалах агиографической литературы времени митрополита Макария все еще было очень традиционным и прежде всего ориентировалось на церковнославянские стандарты, и даже обнаруживало определенную связь с живописью того времени по характеру отношения иконописца и писца рукописи к своему творчеству¹².

Резкий перелом в функциях азбуки произошел в петровскую эпоху. Именно тогда в графике возникла оппозиция «сакральное-светское», поскольку Петр I прагматически упростил в мирском употреблении традиционное письмо символического характера до простого алфавита. Характерно, что реформа не только изменила начертания букв, приблизив их к латинице, но вместе с фонологически не значимыми буквами отменила и

сакрально значимые подтитловые написания по византийским образцам — сакральную эстетику «узорного надстрочья». Помеченная титлом недосказанность (сокращение), подобно нимбу на иконе, являла собой знак святости и благоговения, своего рода орфографический нимб, символизовавший «венiec славы». Он остался актуальным только в церковной письменности.

Дистрибуция письменности и десекуляризация светского письма в православном сознании протекали болезненно. Даже в XVIII в. В. К. Тредиаковский еще вынужден был бороться с теологической интерпретацией орфографических распрей, хотя сам к концу жизни грешил «глубочайшею славенщицною»¹³.

Правомерность историко-культурного комментария к азбучному именослову и его сакральная интерпретация, предпринятая в 20-х годах XIX в. Н. Ф. Грамматиным, уже не воспринималась европейски образованным А. С. Пушкиным¹⁴. Однако полвека спустя Ф. М. Достоевский еще чувствовал сакральный характер старинных азбучных именовании, усматривая в каждом из них «свое лицо» и определяя в них особое «просвещение»¹⁵.

Лев Толстой в своей знаменитой «Азбуке» для крестьянских и не только крестьянских детей выступил активным пропагандистом оспариваемого Достоевским «звукового метода» обучения чтению. Однако при этом Толстой счел своим долгом во всех переизданиях «Азбуки» (а их было более двух десятков) сохранить церковнославянские наименования букв. Почему? Видимо, не решаясь окончательно порвать с церковными основами русской книжно-письменной культуры и полностью разорвать связь нового алфавита с азбукой.

После петровских реформ филологические проблемы межкультурной византийско-славянской коммуникации резко сузили свою сферу (а с нею и остроту) до сугубо церковного языка и превратились более всего в проблему языка богослужения русской Церкви¹⁶. Отсюда сравнительно малая общественная известность акций по сохранению литургии на традиционном церковнославянском языке, таких, как: 1) запрет в 1825 г. Синодом русского перевода Библии (ее перевод был издан только в 1876 г., т. е. заметно позже — на 36 и на 8 лет — болгарского и сербского); 2) византийско-славянский неоисихазм (имяславие о. Павла Флоренского, ранний А. Ф. Лосев, развивающий идею о магической природе имени); 3) в 1943 г., после избрания патриархом Сергия (Старогородского), официальное прекращение деятельности Русской Библейской комиссии и оценка идей изменения языка и письма богослужения как отход от православия, цер-

ковное диссидентство и протестантизм¹⁷. Сужение филологических проблем византийско-славянской коммуникации в новых условиях резко сократило социальную базу «ревнителеев», и они оказались оттеснены на дальнюю периферию общественной жизни, тем более в советские времена.

Вплоть до советского времени начальное обучение грамоте в России обязательно включало в себя твердое усвоение церковнославянского буквенного именованослова азъ, вѣки, вѣди, глаголь, добро, есть и т. д. Глубокая приверженность русской православной церкви традиции, идущей от Первоучителя славян Кирилла, позволила пронести сквозь одиннадцать с лишним веков названия своеобразных *атомов* славянской книжности практически с минимальными потерями, более всего вызванными объективными изменениями звукового строя русского языка. В живом контексте православной культуры азбучные наименования приобретали глубокий ассоциативный шлейф, превращаясь в концепты национального мировидения, широко отраженные как в книжных, так и в народно-поэтических речевых формулах¹⁸.

Пласт культуры эпохи славянского Первоучителя, удаленный от нас по времени более чем на тысячелетний интервал (точнее — 1140 лет), сейчас воспринимается с великим трудом даже исследователями средних веков. Между тем, наследственность славянской книжной культуры по отношению к византийско-христианской должна пониматься в полной мере.

Вопрос о графике приобретает острую актуальность для современности, когда возникла реальная опасность отторжения славянской культуры от ее исторически обусловленной *нравственной* первоосновы. Совершенно серьезное обсуждение в средствах массовой информации и даже некоторых научных кругах перевода византийско-славянской графики *на латиницу* говорит не только о полном, кощунственном пренебрежении к самому фундаменту и самобытности собственной культуры, но и о чудовищной близорукости прагматиков от науки и культуры, готовых под знаменем прав и свобод человека лишить прав на свободу самовыражения целые народы. Тем самым вносится еще большая тьма в духовное бездорожье соотечественников.

В постсоветский период с новой силой возродилась проблема оппозиции «сакральное — светское» и в части графики. Стало критически переосмысливаться графико-орфографическое реформирование письменности, проведенное советской властью в 1918 г. Под удары критики попали не только воинственно атеистические написания с маленькой буквы слов Бог, Богородица, Господь, Евангелие и пр., но и прежде всего замена ис-

конного «ятя» на Е, вообще-то подготовленное еще в дореволюционное время трудами выдающихся лингвистов, а не политиков, среди которых такие авторитетные ученые, как акад. Ф. Ф. Фортунатов и акад. А. А. Шахматов. Восстановление «ятя» — настоящего бича всех дореволюционных школьников и просто пишущих — стало осмысляться как действие антиатеистическое, лояльное по отношению к церкви, т. е. как реконструкция утерянного в сознании людей сакрального смысла «ятя», который в скорописном варианте конца XIX — начала XX в. стал ассоциироваться с «крестом, плывущим над строкой». Реставрируются старые или имитирующие старину написания в названиях кафе, магазинов, газет, частных фирм и предприятий: «Вѣра», «Надѣжда», «Бѣсѣда» (sic!), «Губернаторъ», «Щитъ», «Тѣатръ» (sic!) — реклама на 1-м канале и пр.

Достаточно сказать, что в новое время РГНФ финансирует 30-томное переиздание сочинений Ф. М. Достоевского в старой графике и орфографии, а значит, признается актуальный для Достоевского (и тем самым для современного его читателя) сакральный смысл графем¹⁹.

Наряду с реставраторскими тенденциями, во многом православного характера, обнаружили и противоположные, совсем иного рода. Речь идет не просто о наступлении латинской графики на культурный регион неславянского Ближнего Зарубежья (известны социально-политические причины перехода на латиницу молдавского и тюркских языков: азербайджанского, туркменского, узбекского, казахского). Остро встает проблема якутской, татарской и башкирской графики, хотя попытки перейти на латиницу ставят эти российские республики в изоляцию по отношению к России и способствуют сепаратизму.

Более того, в нынешнее время даже русские в России, иногда по равнодушию, но больше по невежеству, по меньшей мере тяготеют к уникальному графическому наследием.

Характерно, что даже среди творческой интеллигенции раздаются голоса, что якобы «объективно роль Кирилла и Мефодия в том, что они оторвали нашу письменность от письменности всего Запада»²⁰. Последнее высказывание, антиисторичное по своей сути (ибо нельзя изолировать что-либо от много позже возникшей оппозиции), достаточно конъюнктурно отражает не только полное забвение своих исторических корней, но и явно глобалистские тенденции в культуре, что чревато нравственными потерями для всего человечества и отходом от разработанной Д. С. Лихачевым и утвержденной Декларации прав культуры.

Порожденные нигилистическим отношением к своему прошлому без всяких разумных границ, активизировались разного рода графические кентавры: начиная от травестийного названия московской газеты «Коммерсантъ-daily», причудливых вывесок над фирмой-разработчиком страниц Интернета «Выход» и кончая петрозаводскими магазинами типа FOSP (Фабрика одежды Санкт-Петербурга) или Контейнер (обе надписи в центре города красуются рядом с университетом). Не менее показательны и другие примеры: сценический псевдоним эстрадной певицы *Глюкоза* (немецко-итальянский?) в духе новейших графических тенденций пишется в титрах русского ТВ двумя шрифтами Глюк Оза. К сожалению, все это достаточно типичные случаи нарушений лингвоэкологии на графическом уровне, а значит, и прав русской культуры на собственное лицо.

Подобные прецеденты следует рассматривать в одном ряду с фактами наступления, по выражению чл.-корр. РАН А. М. Васильева, цивилизации «кока-колы» как некоего суррогата культуры. Глобализация, которую многие понимают как слепое выравнивание культурного разнообразия и американизации²¹, ведет к стагнации и трагической для судеб народов утрате многополярности мировой культуры, о чем во весь голос говорят ученые разных стран на гуманитарных форумах самых разных уровней²².

Примечания

¹ См. значение слова *глаголати* в «Старославянском словаре» (М., 1994. С. 169.)

² См.: Савельева Л. В. Славянская азбука: Дешифровка и интерпретация первого славянского поэтического текста // Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX вв. Петрозаводск, 1994; Она же. Азбучное слово Константина Философа в языковом, историко-культурном и поэтическом аспектах // Лужнословенски филолог. Вып. 53. Београд, 1997; Она же. К синтагматике славянского азбучного именника. СПб., 1998. Сер.: Научные доклады; Она же. Новый комментарий к заметке А. С. Пушкина о славянской азбуке // Духовный труженик: А. С. Пушкин в контексте русской культуры. СПб., 1999 и др.

³ Особое внимание обратим на прочтение гапаксов азбучного именованного союз *иже* в значении «но» (подобно семантике производных союзов *даже*, *аж*, причём данное значение зафиксировано в XII в. И. И. Срезневским в «Материалах для церковнославянского и древнерусского языка»), *укъ* — «учение» (это значение отражено там же), *ферть* — слово, начинающееся на отсутствующий в славянском языке звук, в нашей интерпретации представляет собой греческое заимствование — оглагольное прилагательное страдательного значения с суффиксом *-i-* от *fero*

(«избираю»), что зафиксировано в «Древнегреческо-русском словаре» И. Х. Дворецкого (М., 1958).

⁴ Подробно аргументы см.: *Савельева Л. В.* Азбучное слово... С. 115—133.

⁵ **Азъ** (идеограмма в виде креста) — живѣтъе — люднѣ - рьци — хѣръ(овнм)ъ в переводе: **Я (человек) подобен Богу — Живите нравственно, люди! — Проповедуй идеальное начало!** (См.: Старославянский словарь).

⁶ S. Grigorius Nasiansinus // *Patrologiae graecae*. 1857. Т. 37. Р. 909—910.

⁷ См.: *Топоров В. Н.* «Проглас» Константина Философа как образец старославянской поэзии // *Славянское и балканское языкознание: История литературных языков и письменности*. М., 1979. С. 26—44.

⁸ О раннехристианской ассоциации Логоса (Слова) с текстом (книгой) и с самим Богом см., в частности: *Аверинцев С. С.* Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 202.

⁹ *Аверинцев С. С.* Указ. соч. С. 201—207. См. также Тарановский К. Формы общеславянского и древнерусского стиха в древнерусской литературе XI—XII веков // *American Contribution to the Sixth International Congress of Slavists*. Vol. 1: *Linguistic Contributions*. The Hague; Paris, 1968. Р. 377.

¹⁰ См.: *Строители и ревнители на родния язык*. София, 1982.

¹¹ *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI—XII вв.). М., 2002. С. 416—417.

¹² *Бычков В. В.* Художественно-эстетическая культура Древней Руси XI—XVII веков. М., 1996; *Siilin L.* Отражение графико-орфографических норм церковнославянского языка в житийной литературе второй половины XVI века на материале Жития Александра Свирского. Joensuu, 2001. С. 367—368. См. также нашу рецензию на эту монографию в «Вопросах языкознания»: *Вопросы языкознания*, 2002. № 3. С. 140—145.

¹³ *Сумароков А. П.* О правописании // *Сумароков А. П.* Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе. М., 1787. Ч. 10. С. 15; Цит. по: *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX веков. М., 1982. С. 101.

¹⁴ *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М.—Л., 1949. Т. VII. С. 533.

¹⁵ *Ф. Достоевский* в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 2. С. 129.

¹⁶ Заметим при этом, что средневековая литература в старообрядческой среде, продолжавшая свое существование, также имела свои решения этих проблем.

¹⁷ См.: *Мечковская Н. Б.* Кирилло-мефодиевское наследие в филологии Slavica orthodoxa и языковые вопросы православия XX века // *Славяноведение*. 2000. № 2. С. 9.

¹⁸ *Савельева Л. В.* Истоки и загадки нашей азбуки // *Русская речь*, 1994, № 5. С. 67—69; *Церковнославянская грамота: Учебные очерки* / Отв. ред. Н. Н. Шумских. СПб., 1998. С. 62—125.

¹⁹ Издательство Петрозаводского государственного университета. Отв. ред. проф. В. Н. Захаров.

²⁰ Из выступления Э. А. Рязанова в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов на Международных Лихачевских чтениях // Мир гуманитарной культуры акад. Д. С. Лихачева. СПб., 2001. С. 10.

²¹ См., напр.: *Тарланов З. К.* Русский язык - как фактор сплочения России // Русская речь. 2002. № 6. С. 8—52.

²² См.: *Воротников Ю. Л.* Из опыта работы в области языковой политики Совета по русскому языку при Правительстве РФ и Международной организации франкофонии // Решение национально-языковых вопросов в современном мире. СПб., 2003. С. 446.

**Представления о лексической номинации
в русско-славянском языкознании
конца IX — начала XVIII века
(в доломоносовских грамматических сочинениях)**

В статье с дериватологических позиций рассматривается развитие представлений о лексической номинации в основных грамматических сочинениях доломоносовского периода русско-славянского языкознания.

Ведущий принцип дериватологии — это представление о языке как об иерархически структурированной системе дискретных единиц, выводимых одна из другой при движении от низшего языкового уровня к высшему или наоборот, или в пределах одного уровня. В центре внимания лексической дериватологии находится языковая единица-дериват с уровнем статусом слова, независимо от того, какие единицы участвовали в его деривации.

Одним из важнейших истоков славянской филологии можно признать «Проглас» Константина Философа (ок. 827—869). Программной мыслью этого сочинения является теолого-философское понимание слова как сущности, данной Богом. Данное произведение легло в основание мифологии о происхождении наименования *славян* от *слова*, как обладателей смысла, в отличие от тех, кто не владеет языком; ср.: немец.

В «Изборнике» Святослава (1073 г.) имеется переведенное с греческого сочинение Георгия Хировоска (VI в.) «О образехъ», в котором впервые на славянском языке представлены термины, относящиеся к семантической деривации: *преводъ* ‘метафора’, *отъимение* ‘метонимия’, *соприятие* ‘синекдоха’ [Булич 1904, 134—138]. Это свидетельствует о зачатках ономазиологического понимания слова.

В «Македонском кириллическом листке» (конец IX — начало X в.) для нас важны разграничение формы и содержания в слове, идея многоплановости и иерархичности содержания слова, противопоставление прямого и фигурального, внешнего и внутреннего значений слова, понимание немотивированности плана выражения языкового знака, условности формы слова и независимости от его содержания [Мечковская, Супрун 1991, 127—131].

В аполгии черноризца Храбра «О писменехъ» (конец IX — начало X в.) прослеживается мысль о естественности различий языков по их звуковому строю и идея их постепенного развития.

В «Прологе» Иоанна экзарха Болгарского к его переводу «Богословия» Иоанна Дамаскина (начало X в.) впервые на славянском языке зафиксирована мысль о зависимости смысла слова от контекста: «Ведети что съ глаголь назнаменуеть, како ли съподоба и инеми тожде могущими глагольми и являющими съказати...» [Сухомлинов 1854, 5—7].

Летописец Нестор в «Жизнеописании св. Феодосия» (XI в.) раскрывает значение его имени как «детища... яко хошет Богу датися». Очевидно, что он понимал состав др.-греч. имени Θεοδόσιος из Θεός (Бог) и δίδωμι (даю). Это можно считать первыми наивными попытками этимологизации.

В ранних «Азбуковниках» или «Алфавитах иностранных речей» мы также находим зачатки этимологических объяснений слов. В азбуковниках, составленных по текстам «Толстовской псалтыри» (XII в.), есть рассуждения о номинации. Название г. Переяславль объясняется Нестором как «прея славу» (в честь победы кн. Владимира над печенегам) [Сухомлинов 1854, 5—7].

В «Книге о писменехъ» Константина Костенечского (1265—1316) проводится основная мысль о религиозно-идеологической значимости «правильных» написаний: «Речем же zde и о буквах сиреч о словах азбуце, како писати их в коемждо складе и како верху их каяжд сила различно полагається» [Мечковская, Супрун 1991, 146—147].

К указанной эпохе относится первый дошедший до нас на славянском языке собственно грамматический трактат «О осмехъ частехъ слова». Это анонимный перевод с греческого неизвестного византийского источника (или компиляция нескольких источников), сделанный в Сербии в начале или первой половине XIV в. и попавший на Русь через болгарское посредство в начале XV в. В нем представлены словообразовательные подклассы слов — виды, начертания, образы [Ягич 1910, 23]. Описание имен по данным подклассам можно считать тем начальным элементом дериватологического осмысления языковых фактов, который был перенесен с античной почвы на русско-славянскую в эпоху зрелого западноевропейского Средневековья. Эта позиция закрепится во всех последующих русско-язычных грамматических трудах по XIX в. включительно.

В грамматике, приписываемой Иоанну Дамаскину (начало XIV в.) «...о осмихъ частехъ слова...», слова также характеризуются видом и начер-

танием. По виду слово различается на первообразное (первобытное — *хощю* и преводное (действенное, повестное, рододатное — *восхощю*; по начертанию: проста — *дамь*, сложна — *воздамь* и пресложна — *воздамь емоу* (Ягич 1910, 337, 339; Булич 1904, 150.). Данное понимание лексической номинации уже близко современному: различается (в нашей терминологии) первичная и вторичная номинация, а также простые, сложные и сложнопроизводные слова; правда, как к первичным, так и к вторичным могут относиться и простые, и префиксальные слова, а к сложнопроизводным — предложения в виде сочетания глагола в личной форме и местоимения в функции дополнения. В грамматике даются и словообразовательные объяснения этих понятий [Ягич 1885—1895, 335—342].

Другой список этого труда «Грамматика Словенска языка» содержит раздел «*Derivativa nomina*», в котором виды и начертания имен рассматриваются более подробно и снабжаются объяснениями, напоминающими научные определения. Здесь мы уже имеем собственно дериватологический термин «*derivativa*», правда, пока еще на латинском языке. Прослеживаются также и зачатки понимания самого процесса деривации в формальном и семантическом аспектах: «Виды имен делятся все в перво бытно и действитвно и повестно, и рододатно. Начертания суть, ова проста, ова сложна, ова же пресложна» [Дамаскин 1586, 2].

В зашифрованном «Лаодикийском послании» Федора Курицына (конец XV в.) содержатся грамматические таблицы с указанием некоторых грамматических и лексических сведений о языке. Языковые факты классифицируются в нем на основе бинарного принципа, предполагающего установление признаков этих фактов.

Расшифровка «Лаодикийского послания» дана в двух русских сочинениях (нач. XVI в.): «Написание языкомъ словенскимъ о грамоте и о ея строении» и «Книга глаголемая буквы» (иначе «Написание языкомъ словенскимъ о букве и о ея писменахъ рекше азбуце и о словесе ея, рассуждение и свидетельство»). В них была разработана система фонетической терминологии, классификация звуков, осмыслены физиологические основы произношения и связь между звуковым комплексом и значением слова [Колесов 1991, 216—218].

«Грамматика» Максима Грека (ок. 1475—1556) [Булич 1904, 151—153] содержит раздел «Этимологию» (Грек 1648, 354), в котором слова различаются по частям речи, виду и составу, а также рассматриваются сложные слова [Ягич 1885—1895, 622].

Грамматика «Донатус» в переводе Дмитрия Толмача (Герасимова) от 1522 г. (рукопись от 1563 г.) представляет собой переработку сочинения «Ars minor» Элия Доната (IV в.). В ней описываются восемь частей «вещания» (речи), включая «имя» и «слово» (глагол). Различаются два «образа» (figura): «единорядные» (или «простые») — милость и «сложные» — многомилостивъ [Булич 1904, 158; Ягич 1885—1895, 823].

Изложенные факты во многом повторяются в «Простословии» — рукописи Чудова монастыря (ок. 1589—1600) неизвестного Евдокима: «Образы именем ...суть два: едиnorodные, *силенъ*, сложные, *несиленъ*» [Булич 1904, 160; Ягич 1885—1895, 931].

В компилятивной грамматике «АДЕЛФОТΗΣ» описываются строевые единицы языка в следующей иерархической последовательности: «письмо» → «слог» → «речение» → «слово» или, в современной терминологии, буква/звук → слог → слово → предложение: «Письмо есть часть малая гласа нераздельна... Слог есть сложение малых двух писмен... Речение есть часть малая сочинительного слова разделительная... Слово есть речений сложение, мысль самосовершенну являющее». Далее выделяются обычные для грамматик этого периода восемь частей речи, которые классифицируются по «виду» и «начертанию». Вида два: «превообразный» — *небо* и «производный» — *небесный*. Начертаний три: «простое» — *смеятелен*; «сложное» — *посмеятелен*; «пресложное» — *пачепосмеятелен* [АДЕЛФОТΗΣ 1591; Булич 1904, 170—172]. Показываются окончания, используемые в производстве слов — словообразовании и формообразовании без дифференциации этих процессов. В данном труде строевые единицы языка представлены в стройной дериватологической последовательности. Есть приближающееся к современному пониманию формальной и семантической производности слов, попытки разграничения аффиксации и словосложения, выделения производящих основ и словообразовательных формантов — суффиксов.

В «Славянской грамматике» Лаврентия Зизания намечено направление усложнения языковых единиц: гласные и согласные писмена → слог → речение → слово. Каждой из них дается определение. Традиционно выделяемые виды (превообразный и производный), образы производного имени (отеческий, властный, умалительный, отыменный, глагольный) и начертания (простое, сложное, пресложное) снабжены соответствующими «дериватологическими» определениями, объяснениями и примерами. Здесь можно найти зачатки дериватологического анализа как семантики, так и структуры слова: «Речение есть часть малая у слова взимаема... Слово

есть речений сложение.... Вида два: первообразный и производный. Первообразный вид есть, иже ни от единого происходит, яко *небо*. Производный есть, иже от иноуду происходит, яко *небесный*. Колико есть начертаний: три. Простое. Сложное, Пресложное. Что есть простое: егда речение просто суще, в части значащие разделитися не может, яко слово. Что есть сложное: егда речение сложное суще, в части значащие разделитися может, яко *благословен*. Что есть пресложное: егда речение пресложное от трех частей сложно бывает, яко *преблагословен*» [Зизаний 1596; Булич 1904, 172—174].

В труде Мелетия Смотрицкого (ок. 1578—1633) «Грамматики славенския правильное синтагма» прослеживается понимание выводимости более сложных языковых единиц из более простых. Так, писмена состоят из гласных и согласных. «Слог бывает с писмен... Слоги производят речение... Речения составляют слово: есть же слово, речения сложение, разум совершен являющее». Далее, имя как «речение» (т. е. слово) характеризуется «видом» и «начертанием». «Вид есть первообразного речения и производного разделение. Видов есть два: первообразный и производный. Первообразный вид, есть иже от иноуду непроизводится, яко *древо*... Производный есть, иже от первообразного производится, яко *древяный*... Начертание есть простого и сложенного речения различие: начертания есть три: простое, сложенное и пресложенное. Простое есть им же имя само о себе без примешения стоящее познавается, яко *славный*. Сложенное есть им же двумя речениями состоящее имя познавается, яко *преславный*. Пресложенное есть им же тремя речениями сложенное имя предлагается, яко *препрославный*» [Смотрицкий 1619, 1—28].

В третьем, переработанном без участия автора, издании этой грамматики уточняются некоторые из приведенных выше понятий и терминов [Смотрицкий 1648, 45—183].

В одном из последних переизданий рассматриваемой грамматики [Смотрицкий 1755] приведенные выше положения повторяются почти слово в слово. Следует заметить, что по своей структуре эта грамматика скопирована, по словам С. К. Булича, с греческой грамматики Ласкариса, изданной в Милане в 1476 г. [Булич 1904, 174—178, 183].

Для нас важна его трактовка этимологии и синтаксиса. Здесь прослеживается выводимость более сложных языковых единиц из более простых: гласные и согласные → письмена → слог → сложение слогов → → речение (наречение вещи) → слово (предложение как коммуникативная единица). Далее, речение (слово) традиционно характеризуется видом

(первообразным и производным) и начертанием (простым, сложным и пресложным). Все названные словопроизводственные категории имеют определения и снабжаются примерами.

«Граматику» Смотрицкого можно признать тем трудом, в котором средневековые представления о лексической номинации, изложенные в предшествующих грамматических сочинениях, сформулированы наиболее полно и закончено.

В труде Юрка Крижанича «Грамматично изказанје об Русском језику», представляющем собой рассуждение, написанное о и на изобретенном самим Крижаничем «общеславянском» языке, который он называет «стародавним и коренным русским именем», есть раздел «О словах». В нем автор выделяет строевые единицы языка и описывает их в иерархической последовательности, выводя более сложные из более простых. В современных терминах эту последовательность можно представить следующим образом: *простейший графический элемент буквы* (пика) → *законченный графический элемент буквы* (черта) → *буква / звук* (слово или чертина) → *слог* (склад) → *речь* (слово) → *предложение* (беседа). Далее, «чертины» или «гласы» подразделяются на «гласницы» и «негласницы»; «беседа» — на восемь «разделов», т. е. частей речи, среди которых выделяются, в частности, «имя» и «ричина» (глагол). Последние дифференцируются по «творению» или «обличью» на два «обзора»: «простота» и «складень» или, в других терминах, — «кореника» и «произведенье» [Крижанич 1665, 1—120]. Данный труд повторяет известные положения предыдущих грамматик, относящиеся к пониманию лексической деривации, используя при этом оригинальную терминологию, не закрепившуюся в последующих грамматических работах.

В «Русской грамматике» (1696) Генриха Вильгельма Лудольфа (1655—1712) языковые единицы рассматриваются в общепринятом плане. Здесь интересно одновременное использование латинских и русских грамматических терминов: «Осмь части слова. Octo partes Orationis. 1. Имя. Nomen. 2. Местоимение. Pronomen. 3. Глагол. Verbum... Вид. Species. Первообразный. Primitivum. Производный. Derivatium. Начертание. Figura. Простое. Simplex. Сложное. Compositum» [Лудольф 1937, 50].

В труде И. Ф. Копиевича «Руководение в граматику во словено-российскую» (1706) интерес представляет параллельный перечень из 144 слов, обозначающих конкретные предметы (хлеб, масло, мясо и т. п.), на латинском и немецком языках с указанием ударения [Березин 1979, 13].

«Грамматика» Федора Поликарпова, представляющая собой переработанную и дополненную им грамматику М. Смотрицкого (1619 г.), трактует языковые единицы по образцу, сложившемуся к тому времени в подобных пособиях, но с некоторыми уточнениями. Для нас важны следующие позиции: «Что есть письма: ...речения часть нераздельная... Слог бывает из писмен... Слоги производят речение. Есть же речение, слогами составленное вещи наречение... Речения составляют слово: есть же слово речений сложение, разум совершен являющее... Вид есть первообразного речения и производного разделение. Виды есть два: первообразный и производный. Первообразный вид есть иже от инуду не производится, яко *злато*; производный есть иже от первообразного производится, яко *златый*. Начертание есть простого и сложеного речения различие. Начертания суть три: простое; сложное и пресложное. Простое есть им же имя само о себе без примешения стоящее познавается, яко *славный*. Сложное есть им же двояма реченма состоящее имя познавается, яко *преславный*. Пресложное есть, им же тремя реченми сложное имя предлагается, яко *препрославленный*» [Поликарпов 1721, 1—110; Булич 1904, 178—179].

Вышеизложенное еще раз иллюстрирует тот уровень дериватологического осмысления лексической номинации, который сложился к концу средневекового этапа развития языкознания на отечественной почве, за пределы которого предомоносовские грамматисты не продвинулись. Свидетельством этому может послужить труд Федора Максимова. «Грамматика славенская», где объясняются строевые единицы языка, представленные в следующей иерархической последовательности: *писмена* → *слог* → *речение* → *слово*. «Из писмен... бывает слог... Из слогов же бывает речение... Из речений же слагается совершенное слово». Во второй части. — «Этимологии» — для нас важны следующие положения: «Виды суть 2: первообразный, или первоположный, *злато*; производный, *златый*... Начертания суть 3: простое, *славный*; сложное, *преславный*; пресложное, *препрославленный*...» [Максимов 1723; Булич 1904, 179].

В неопубликованной, дошедшей до нас в рукописных списках «Грамматике» (1731) В. Е. Адодурова (1709—1778/9) прослеживается последовательность построения речи: буквы («литеры») и звуки («звоны» или «гласы») → слоги → слова [Березин 1979: 17]. Слова различаются на «статии»: простые, которые «не слагаются ни из каких других слов», например, *домъ*, сложные — «слагаемые из других слов», *напередъ*. К сложным словам автор относит и префиксальные, называя префиксы «предлогами» или

«частицами»: *воздаю*. Различает три типа сложных слов: «местоимение + имя»: *своенравный*; «имя + имя»: *высокоумный*; «имя + глагол»: *доброжелательствую* [Успенский 1975, 92—127].

Дериватологическое осмысление языковых фактов в русско-славянском языкознании эпохи Средневековья и предвозрождения продолжило античную и раннесредневековую западноевропейскую традицию трактовки первичной и вторичной номинации на уровне слова, в основном, в рамках словообразования, формообразования и этимологии, с попытками создания соответствующей русской терминологии.

Библиография

1. АДЕЛФОТНЭ 1591—АДЕЛФОТНЭ. Грамматика доброглаголиваго Елино-словенского языка. Совершенного искусства осми частей слова.... Во Лвове. В Друкарии Братской. Року АФЧА (1591).
2. Березин 1979 — *Березин Ф. М.* История русского языкознания. М., 1979.
3. Булич 1904 — *Булич С. К.* Очерк истории языкознания в России. Т. 1. XIII в. — 1825. СПб., 1904.
4. Грек 1648 — *Грек М.* Грамматика Максима Грека // *Смотрицкий М.* Грамматика. М., 1648.
5. Дамаскин 1586 — Святого Иоанна Дамаскина о осмих частехъ слова. Грамматика Словенска языка. Вильно, 1586.
6. Зизаний 1596 — Грамматика словенская, совершенного искусства осми частей слова и иных нужных, новосоставлена Л.З. В Вильне, 1596.
7. Колесов 1991 — *Колесов В. В.* Развитие лингвистических идей у восточных славян эпохи Средневековья // *История лингвистических учений. Позднее Средневековье.* СПб., 1991.
8. Крижанич 1655 — Грамматично изказанје об Русском језику; соч. попа Юрка Крижанића [Юрка Крижанища], презванием Серблянина, писано в Сибири лита 7174 г. [1665 г.] // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей Российских при Московском университете. Заседание 12-го июня, 1848 года. Год четвертый. Книжка 1-я. М., 1848.
9. Лудольф 1937 — *Лудольф Г. В.* Русская грамматика. Оксфорд, 1696. / Перевзд. Л., 1937.
10. Максимов 1723 — *Максимов Ф.* Грамматика славенская в кратце собранная в Грекославянской школе якоже в великом Нове граде при доме Архиерейском... СПб., 1723.
11. Мечковская, Супрун 1991 — *Мечковская Н. Б., Супрун А. Е.* Знания о языке в средневековой культуре южных и западных славян // *История лингвистических учений. Позднее Средневековье.* СПб., 1991.

12. Поликарпов 1724 — *Поликарпов Ф.* Грамматика. Москве. М., 1721.
13. Смотрицкий 1619 — *Смотрицкий М.* Грамматики славенския правильное синтагма Евъе, 1619.
14. Смотрицкий 1648 — *Смотрицкий М.* Грамматика. М., 1648.
15. Смотрицкий 1755 — *Смотрицкий М.* Грамматика в пользу и употребление отроков Сербии желающих основательного научения Славенского диалекта. Рымник, 1755.
16. Сухомлинов 1854 — *Сухомлинов М. И.* О языкознании в древней России. СПб., 1854.
17. Успенский 1975 — *Успенский Б. А.* Первая русская грамматика на родном языке: Доломоновский период отечественной русистики. М., 1975.
18. Ягич 1910 — *Ягич И. В.* История Славянской Филологии // Энциклопедия Славянской Филологии. СПб., 1910. Вып. 1.
19. Ягич 1885—1899 — *Ягич И. В.* Рассуждения южно-славянской и русской старины о церковно-славянском языке // Исследования по русскому языку. Издание Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. СПб., 1885-1895. Т. 1.

С. А. Дружинина
(Пермь)

К проблеме описания терминологии старообрядческой культуры Прикамья

При активном интересе современной науки к проблемам старообрядчества одним из важнейших направлений, на наш взгляд, следует считать изучение региональных особенностей этого явления, особенно в сфере языка. Значение языковых фактов в нынешних условиях, когда старообрядческая культура резко архаизируется (а в ряде мест нередко исчезает) и по-прежнему остается достаточно закрытой, существенно возрастает. Без учета языковых данных невозможно во всей полноте представить те способы материального и духовного жизнеустройства, которые старообрядчество выработало на протяжении веков. Кроме того, старообрядческие говоры в Прикамье (места компактного проживания старобрядцев) оказали заметное влияние на формирование и развитие народных говоров в целом и сами испытали это воздействие со стороны пермских говоров. К настоящему времени старообрядческие говоры Прикамья практически не изучены (в отличие, например, от говоров старообрядцев Сибири [Дарбанова 2000; Козина 2001, 215–220; Копылова 1973; Матанцева 1999; Юмсунова 1992]).

В работе С. Е. Никитиной «Устная традиция в народной культуре Верхокамья» [Никитина 1982, 91–126] в сборнике «Русские письменные и устные традиции и духовная культура» содержится немало наблюдений над некоторыми особенностями речи пермских старообрядцев (имена собственные у староверов Верхокамья, демонологическая, календарная лексика, свадебная терминология, язык песнопений). В опубликованной в этом же сборнике работе Е. М. Сморгуновой рассмотрены языковые черты памятников старообрядческой письменности, фонетические, морфологические, синтаксические особенности речи старообрядцев ряда поселений Прикамья (с. Сепьч, д. Антипина).

В нашем исследовании предмет рассмотрения — данные живой речи, фиксируемые в конце XX — начале XXI в. у жителей старообрядческих поселений Прикамья, и прежде всего, разнообразная терминология. Именно по народным терминам наиболее устойчиво может реконструироваться народное самосознание. Культурный термин есть элемент системы языка, который призван отразить ритуально значимые реалии — лица,

предметы, их свойства и отношения, действия, явления, которые одновременно принадлежат и языку, и культуре. Народная терминология выполняет такие важные культурные функции, как консервирующая, конденсирующая, сакрализирующая, интерпретирующая, продуцирующая [Толстая 1989, 216]. Существует этот культурно-языковой субстрат прежде всего как системное явление. Системные отношения, по мысли С. М. Толстой, заключаются, во-первых, в существовании в исследуемой традиции аналого-синонимического ряда названий той или иной культурной реалии, во-вторых, в существовании групп (парадигматического ряда) функционально однородных межобрядовых реалий, в существовании своеобразного лексико-семантического поля, совокупности терминов того или иного обрядового комплекса. Важное проявление системности — подчиненность рядов терминов одному и тому же мотивационному признаку, существование связи значений той или иной леммы и ее производных.

Наблюдения над обрядовой терминологией старообрядческих говоров Прикамья показали, что в устном бытовании фиксируется большое количество терминов самой разной тематической отнесенности. Прежде всего, это термины, в которых так или иначе раскрываются особенности религиозных и этических норм. В качестве примера приведем аналого-синонимический ряд к слову четки — *лестовка, счетчик, христова лесенка, лествица, листовка, лестница*. На *лестовке* выделяют *рубежки* или *зубки, пупышки, ребрышко, ребец, ступенечек, брызжик*. В деления-валики вставляются листочки бумаги с молитвами, которые называют *душами*. *Лестовки* делятся на *Иисову и Богородскую (Богородичную, полуторницу)*. Разнообразие терминологии подчеркивает, что это глубоко символический культовый предмет, создаваемый по особой обрядности (их полагалось шить только благословленным вдовам, которые «живут духовно, сохраняя вдовство», или девицам, «которые не растлели свою плоть», с особыми молитвами. Особое отношение старообрядцев к четкам подчеркивает и бытующая пословица: *Без лестовки как воин без оружия*.

Для духовной традиции, немыслимой без особого слоя музыкальной культуры, логично существование своей музыкальной терминологии. Слово *прогласица* обозначает песнопение, выражение *петь под знамен* — петь, исполняя свою партию в хоре: *«Я пою под знамен, по ролям»* (Лысьва). Ср. у В. Дая: знаменоваться — осеняться крестом. Слово *знамение* — чудо, *знаменное пение* — столповое церковное пение от названия знаков нот — *знамен*).

Лексика, напрямую отражающая религиозные нормы и особенности веры, — слова типа *измиричититься* ‘согрешить, прибегнув к каким-л. мирским благам’ («*Молитву надо творить, а то я измирилась, съездила в сельсовет на автобусе*»).

К лексике веры относятся слова *богушки* — иконы, *макать, погружать* — крестить, выражение *грехи сдавать* — исповедоваться, *Спасова вода, малая вода, великая (большая) вода, творить молитву, затеплить свечу, службу вести* — в значении молиться, *знаменоваться* — креститься. Сюда же можно отнести слова типа *переговаривать* (Краснов.) — много говорить («*Особенно нельзя переговаривать у нас в пост и с мирскими*»).

Специфичным было обучение правилам ведения беседы у старообрядцев. Согласно им, нельзя было плохо говорить о человеке, осуждать, осуждение для часовенных — самый страшный грех. Даже когда имеешь другое мнение, нельзя резко его высказывать. Не было принято резко и отрицательно отвечать. Стержневой принцип культуры приверженцев староверия — говорить правду. Грешно тратить время на глупую, пустую болтовню. Нормы речевого поведения, реализующиеся в многочисленных запретах, переносятся и на фольклорные произведения: осуждается пение светских песен, качание на качелях, молодежные вечерки и т. п. Однако приветствуются пословицы, поговорки, ибо они соответствуют правилам истинности, мудрости, пользы: *Человек разжижит, станет жиже воды, а окрепнет — станет тверже камня; Воля человека портит, а неволя — красит*.

Для обозначения того или иного согласия старообрядцев в регионе сформировалась довольно развитая терминология. Православное население называет всех старообрядцев *кержаки, староверы, старообрядцы, маканцы*. Мы попытались тематически разбить на группы слова, называющие различные согласия старообрядчества. В первую группу попали слова, в основе которых номинация по месту обитания приверженцев староверия после раскола: *кержаки, австрийцы, Белая Криница*.

Старообрядцев белокриницкого согласия именовали *австрияки, австрия*. Происхождение этого названия связывали с Австрией: «Когда были гонения, старообрядцы уехали в Австрию сохранять веру свою, потом вернулись, вот и прозывают их австрияками».

Кержак, кержачка, кержанка — слова, в основе которых лежит топоним. Сами старообрядцы не всегда использовали название *кержаки* в качестве синонима слову *староверы*, усматривая в нем негативный смысл. Старообрядцы Лысьвенского района подчеркивают и требуют четкого разделения: «Мы не кержаки, мы староверы, мы из леса пришли».

Другая группа слов в основе своей содержит оценку своей веры: *староверы, старообрядцы, крепковеры*. «Наша вера беженская, мы отпрыски от хорошей веры». Во всех регионах Прикамья можно наблюдать у представителей староверия признание старообрядчества как самой «правильной» («древней») веры.

Выделяются в отдельную группу слова, связанные с цветообозначением: *красноверы, темноверы, беловеры*. *Беловеры* — белый цвет их одеяния как опознавательный знак преобразенных. Символика белого цвета подчеркивает их исключительность.

Следующая группа слов объединена по названию обрядового действия *макать* в значении крестить — *погруженные, макнутые, маканцы*.

Принцип бытового предписания лежит в основе слов *столоверы, чашечники (чашешники, чашники)*. Признание только индивидуальной посуды как феномен коллективного сознания является пассивной формой социального креста.

Представителей поповского согласия чашники называют *ополосканцами*, так как *поповцы* после общей трапезы посуду не «калят» (очищают огнем), а лишь ополаскивают.

Прикамье разделилось на *мирских* и *кержаков*, поэтому интересны также термины, обозначающие представителей не старообрядческого населения — *церковные, никониане, никонианцы, новины, щепики, шэпетники, мирские, миршатица*. Как нам кажется, объясняется это особенностью учения старообрядцев, базирующегося на тезисе о том, что антихрист пришел в мир и духовно царствует в Русской Церкви со времени патриаршества Никона, и стремлением соборных противопоставить себя мирским, реализуя идею неприятия никонианского мира.

Деминцы и *максимовцы* — неизвестные в других местах согласия, образовавшиеся после раскола в XIX в. местного поморского согласия. Поморцы разделялись на *мирских* и *соборных*, *соборными* считались те, кто строго выполнял всю систему культовых, этических и бытовых норм. *Соборные* считались *чашечниками* (признавали только свою посуду).

Большой пласт составляют слова, в которых закреплены представления об архаических верованиях (*портун* — колдун, *банний дедушко* — дух бани, *лесная тетка* — лешачиха, лешак). Выражение *с лошади напоить* обозначает один из приемов врачебной магии, когда больного лунатизмом лечат водой, собранной с лошади. Эти факты говорят о высокой сохранности в речи старообрядцев лексики, анализ которой способен показать некоторые черты в том числе и языческого мировосприятия у староверов.

Эта проблема в настоящее время активно изучается, например, на фольклорном материале. Так, исследователь Миронова Н. А. показала высокую сохранность в обрядовом фольклоре семейских культа предков, сохранение черт языческого мировосприятия у современных старообрядцев Забайкалья [Миронова 2001, 15]. «Художественное воплощение культа предков в календарно-обрядовом фольклоре старообрядцев Забайкалья (семейских)». АКД, Улан-Удэ, 2001, с. 15. Применительно к пермскому старообрядчеству рефлексы верований, восходящих к языческим временам, своеобразное сочетание христианских и древнейших языческих воззрений у беспоповцев Верхокамья отмечала И. В. Поздеева [Поздеева 1982] (см. ее статью «Верещагинское территориальное книжное собрание и проблемы истории духовной культуры русского населения верховьев Камы» в сб. Русские письменные и устные традиции и духовная культура. М., изд-во Московского университета, 1982).

В семейной обрядовой терминологии, характерной именно для старообрядчества, фиксируется название обрядов (*свадьба убегом, свадьба крадом*), деталей этих обрядов: *мирова* — встреча и праздничный пир родителей молодых после побега невесты: «*Раньше как — крадом украли — вот и свадьба. Раньше-то с вечеров девок воровали*» (Антипина); *договор* — встреча родителей будущих молодых после просватанья: «*сваты уезжают, примерно через неделю отец жениха приезжает один на договор*» (Нытв.). Выражение *косы делить* (Краснов.) обозначает обрядовое плетение волос невесты в две косы (в других местах Прикамья обряд назывался также *косы отнимать*). Слово *ночное* имеет значение постельное белье: «*Ночное все шили на девичнике*» (Лысьва). В говорах эта реалья называется *пух* или *постеля*.

Кроме лексики свадебного обряда, фиксируется лексика родильно-крестильного обряда: *бабушничать*, 'выполнять обязанности повитухи', тогда как в говорах нестарообрядческого населения только *бабиться, парная* — о женщине после родов, тогда как в говорах обычно *сырая, поганая*, названия типа *детский крест, рубашка-крешенка* и пр. Детальность терминологии связана с тем, что крещение для староверов — одно из важнейших таинств.

Пласт лексики связан с особенностями кухни — пирог *ягодник*, напиток *травник*; одежды — *горбач, дубас, клинчатик, кокошник, волосник*: «*Кокошник, вот видите, он как праздничный был. То вот нынче в часовню приходит, дак они надевают кокошник*» (Лысьва). Значимость слова *травник* связана с тем, что для староверов было нехарактерно использование

хмеля: «Травник делали — разные травы — смородинник. Как на пиво делают, но без хмелю, и туда травы. Это в первую очередь на стол подают» (Н. Быгина Краснов.); «Травником угощали: веточки смородины, кустики смородиновые в сусло кладут на день, два. Оно закиснет, вот и травник. Это только на поминки, на свадьбах — нет» (В. Язвва). Нехмельное питье называли *кержацким*.

В заключение отметим, что наблюдения над бытованием этой лексики показывают разнообразие трансформаций и новообразований. Действие особых языковых норм старообрядцев меняется, появляются слова уменьшительные, тогда как раньше «хлеб даже хлебушком нельзя называть. Хлеб не черный, а ржаной. Хлебушко — это уже ласково, не надо. Даже воду водичкой нельзя называть — вода. Земля есть земля. Хоть какой крест маленький, он все равно крест. Некоторые говорят “иконка” “книжка”, божественное все “книга”, “икона”, “крест”». Такие слова называются *полуименем*. Запрет осуждать человека (осуждение — один из самых тяжких грехов) влияет на частотность экспрессивной лексики. В то же время появляются в обиходной речи экспрессивы (*хлебодка* — рот, *ни тусса, ни губ* — без пользы, *реветь во всю головушку* — громко, *ботало деревянное* — болтливый человек, *не у шубы рукав* — о не сделанном до конца деле).

Современные материалы показывают в то же время сохранение в речи старообрядцев архаической лексики. Это семантические диалектизмы типа слова *прелесть*, которое имеет значение не красота и изящество, а то, что обольщает, вводит в грех: «*Деньги — это прелесть*». Слово *мир* раньше обозначало тех, кто в согласии не придерживался строгих норм, теперь мирские — все вне согласия: «*Мы вот с миром-то, с вами не едим вместе, у нас для вас отдельная посудина есть*» (Лысва). Разнообразна абстрактная лексика типа слова *злопомнение* — процесс длительного забывания зла: «*Это у них злопомнение, кто на человека зло имеет*» (Лысва). Их использование, в том числе в особой фонетической и грамматической формах, отмечается в пересказах легенд, в разговорах на религиозные темы. Так, в рассказе о страданиях грешников на том свете появляется форма *копие* вместо копье: «*Даже беси огненным копием в пече-то ворочают, у них один бок сгорает, второй нарастает*»; грамматические варианты — форма имени святого *Иоанн Предтечь* вместо Иоанн Предтеча.

В целом же следует сказать, что обилие особой старообрядческой лексики терминологического характера связано с разнообразием внутриконтфессиональных образований старообрядцев в Прикамье. Так или иначе специфика старой веры накладывает свой отпечаток не только на кульговую

лексику, но и на лексику, связанную с кухней, бытом, речевым этикетом. Терминология старообрядчества показывает исключительность культуры данной общности людей, которая выражается в тематическом разнообразии и богатстве и семантическом своеобразии.

Библиография

1. Дарбанова 2000 — *Дарбанова Н. А.* Экспрессивная лексика говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья (семантический, когнитивный и лексикографический аспекты). Дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 2002.
2. Козина 2001 — *Козина О. М.* Старообрядческие говоры Забайкалья: проблемы классификации // Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и зарубежные связи. Материалы III Международной научно-практической конференции 26—27 июня 2001 г. Улан-Удэ, 2001.
3. Копылова 1973 — *Копылова В. И.* Фонетическая система говора семейских Красночикоийского района Читинской области. Улан-Удэ, 1973.
4. Матанцева 1999 — *Матанцева М. Б.* Архаическая лексика в говорах старообрядцев (семейских) Забайкалья. Дис. ... канд. филол. наук. Баврнаул, 1999.
5. Никитина 1982 — *Никитина С. Е.* Устная традиция в народной культуре Верхокамья // Русские письменные и устные традиции и духовная культура. М., 1982.
6. Толстая 1989 — *Толстая С. М.* Терминология обрядов и верований как источник реконструкции древней духовной культуры // Славянский и балканский фольклор. М., 1989.
7. Юмсунова 1992 — *Юмсунова Т. Б.* Лексика говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья. Новосибирск, 1992.

История становления общеоценочной оппозиции в русском языке как факт межкультурного взаимодействия

Оценка, отражающая взаимодействие человека с окружающим миром, фокусирует в себе и знания о мире, и социальные стереотипы, и прагматику общения, и многое другое. Поэтому естественно, что оценочность, категория оценки интересна как предмет исследования для ряда наук: философии, логики, аксиологии, культурологии, лингвистики и др. Два типа отношения к действительности — познавательное и ценностное оказываются тесно связанными; исторически они возникли одновременно. Е. М. Вольф, одной из первых в отечественной лингвистике обратившаяся к изучению оценочного значения, сделала вывод, что «в мире оценок действует не истинность относительно объективного мира, а истинность относительно концептуального мира участников акта коммуникации» [Вольф 1985, 203]. Концептуальный анализ, соответственно, признается неделимым от таксономии оценок.

Аксиологический аспект взаимоотношения человека с миром в максимально обобщенном виде представлен в семантике общеоценочных слов — *хороший, плохой* (*good, bad*) и их синонимов с разными стилистическими и экспрессивными оттенками (*прекрасный, превосходный, великодушный, отличный, замечательный, скверный, нехороший, дурной, поганый, худой* и др.) [Аругюнова 1998, 198]. В силу этого данная лексическая группа привлекает к себе внимание не только из-за недостаточной исследованности, но также из-за особой ее «идеологичности» и значимости в лингвокультурологическом отношении. Как известно, группа этических и эстетических оценок безразлична к понятию архетипа — нормы, образца, примера, потенциальных требований, предъявляемых к объекту [Аругюнова 1998, 199], следовательно, через диахронный анализ аксиологической лексики можно определить логику формирования шкалы оценок, эволюцию социальных ориентиров.

Мы уже обращались к истории и этимологии этой культурнозначимой группы лексики [Дронова 2002, 41—43; Дронова 2003, 130—136] и отмечали ряд остающихся без ответа вопросов в «биографии» ее членов, в формировании оппозиции «хороший — плохой». В частности, ждет объ-

яснения поздняя письменная фиксация (и сразу в общеоценочном значении) при неясности генетических связей нынешних основных языковых средств выражения общеоценочной оппозиции — лексем *хороший* и *плохой*.

В ряду версий о возможных этимологических связях лексемы *хороший* более обоснованной, убедительной представляется гипотеза С. Обнорского об иранском заимствовании (ср. скиф. **хогс*, осет. *хогз/ хварз* ‘хороший, добрый’) [Обнорский 1929, 241—257; Дронова 2002, 41]. Это предположение С. Обнорского поддержал и определил как «установленное заимствование» Вяч. Вс. Иванов, характеризуя в недавно вышедшей работе славяно-иранские лексические связи [Иванов 2002, 35—36].

Подобным образом «не помнит» исконного родства и второй член оппозиции — *плохой*. Чаще всего *плохой* связывают с *переполох*, *вспокоиться*, диал. *полох* и т. п., не объясняя особенностей этой связи ни на формальном, ни на семантическом уровне [Фасмер, III, 286; Преображенский, II, 78; Walde—Pok., II, 52]. Категорически отвергается возможность заимствования из польского (вопреки Х. Педерсену, А. Преображенскому) [Фасмер, III, 286; Черных, II, 1994, 43—44]. М. Фасмер считал также, что эту группу лексики следует сближать с *плаха*, *плашка* и под. (другая ступень вокализма), генетически связанными с *плоский*. Этимологическую связь для *плохой* и *плоский* и ранее предполагали некоторые исследователи (А. Брюкнер, В. Махек и др.; см. Фасмер, III, 286), определяя при этом др.-в.-нем. *flah* то как генетически близкое, то как источник, из которого заимствовано чеш. *plochy* ‘плоский’, *plocha* ‘плоскость’ и рус. *плохой*. Приведя эти версии, А. Преображенский задает вопрос: «Как же в таком случае объяснить значение в русском?». В новой этимологической литературе *плохой* определяется как неясное в этимологическом отношении слово, с установившимся лишь с течением времени значением, сближение *плохой* и *плоский* также считается допустимым: «Не исключено, что по значению *плохой* находится в связи с чеш. *plochy* ‘плоский’ (если старшее значение русского прилагательного было ‘однообразный’, ‘неглубокий’, ‘скучный’, ‘пошлый’)» [Черных 1994, 43—44]. Решение вопроса о производных от *плохой* образованиях (*плошать*, *плошиться*, *сплоховать*, *оплох* и т. п.) не представляется спорным (см. вышеназванных авторов). Хотя остается необъясненной неясность семантической производности: какова связь между значениями производящего *плохой* ‘обладающий отрицательными качествами или свойствами, не отвечающий полностью своему назначению’ (совр. рус.), ‘невысокого качества, плохо владеющий чем.-л., имеющий недостаток, изъян в каком-л. отношении’ (др.-рус.) и

производных (о)плошать 1. 'допускать промах, ошибку', 2. *прост.* 'становиться хуже, более плохим', *оплошный* 'ошибочный, неудачный' и т. п.? Как показывает сравнение данных «Словаря русского языка XI—XVII вв.» и «Малого академического словаря», старшим у глагола *оплошать* (*оплошители*) было первое значение. Получается, что прилагательное *плохой* выражало общую отрицательную оценку и предметов, и человека, его поступков, не проявляя частнооценочного значения, опирающегося на оценку конкретного признака, а в своих производных «вдруг» выделяет это частнооценочное значение: производный глагол определяет уже только поступки человека, поступки, влекущие за собой неблагоприятные последствия и допущенные вследствие небрежности, беспечности. Еще одна «нелогичность» обнаруживается, когда эту ситуацию соотносим с тем фактом, что производные, оказывается, встречаются в древнерусских текстах значительно раньше производящего. Так, если ранняя фиксация слова *плохой* отмечается в тексте второй половины XV в. («Хождение» Афанасия Никитина по Троицк. сп. XVI в. ~ 1472 г.: «А ѣства же ихъ плоха, а одинъ съ-днимъ ни пиеть, ни ясть»), то *оплошиться* 'утратить осторожность, допустить оплошность в чем-л.' известно с XII в. («Много плѣнивше [половцы], возвратишася во своя; и уже бывше имъ въ полѣ и оглошавшимся, сугнаша ихъ берендѣи, и приидоша на раннѣй зарѣ, спящимъ имъ» — 1155 г. Никоновская летопись, 203; «Они же воеводы оплошишася и небреженемъ хожажу, доспѣхи своя въскладоша на телѣги, а ины въ сумы» — 1377 г. Рогожская летопись, 118), *плоштити* 'усыпить чью-л. бдительность, обмануть видимостью безопасности' (1566 г.), *оплошение* 'беспечность, securitas' (1535 г.), *оплошно* 'проявляя беззаботность, нерадение в отношении чего-л.' (1560 г.) и т. д. [СлРЯ XI—XVII вв., вып. 13, 23—24]. Это притом, что семантика слова *плохой* предполагает значительную степень функциональности.

Факт поздней письменной фиксации *плохой* согласуется с ситуацией в других славянских языках, где общеоценочное отрицательное значение выражено разными лексическими средствами (ср. укр. *поганий, лихий, злий, недобрый, кепський, благий* и др.; блр. *дрэнны, кепскі, благі*, польск. *zły, marny, kiepski, lichy*, чеш. *špatný, zlý* и т. п.). В то же время *плохий* в украинском имеет значения 'смирный, тихий, кроткий, бессильный, слабый', польск. *plóchy* — это 'пугливый, дикий', 'ветренный, легкомысленный', 'суетный, пустой', чеш., слвц. *plachy* — 'пугливый, чуткий (зверь)', 'робкий, застенчивый (человек)' (при чеш. *plochy* 'плоский'), в.-луж. *plóšić* 'пугать', *plóšak* 'пугало', н.-луж. *plóšyś (se)* — 'пугаться', *plóšidło* 'пугало', и блр. *плохі* — 'болезненный, плохой' (блр. лексема — это, видимо, резуль-

тат влияния русского, ср. плохой человек — дрэнны (кепскі, благі) чалавек). Это сравнение выявляет противопоставленность по семантике лексем русского языка по отношению к остальным, равно как и их формальную несоотнесенность: западнославянским формам этимологически близки южнославянские (болг. *плах* ‘робкий, пугливый; страх, боязнь’, *плаша* ‘пугаю’, с.-хорв. *плах* ‘быстрый, порывистый, вспльчивый’, *плаштити* ‘пугать’, словен. *pláh, pláha* ‘робкий’, *pláštiti* ‘пугать’) и восточнославянские с похожими значениями (рус. *переполох, полошить*, диал. *полóх* ‘страх’, *пóлох* ‘растерянность’, укр. *полóх* ‘страх’, *пóлох* ‘ужас’, блр. *пóлох* ‘испут’, др.-рус. *полоштити* ‘пугать’ при рус.-цслав. *плахъ* ‘страх’, *плаштити*), предполагающие праслав. **rolxъ*, которое (как **rolso-*) ставят в ряд производных и.-е. корня **pel-/*rol-* ‘резкое, быстрое движение, трепет; трясти, качать’, ср. греч. *πάλλω* ‘возбуждаю, потрясаю’, *πόλεμος* ‘война’, гот. *usfilma* ‘испуганный, объятый ужасом’, исл. *fælinn* ‘пугливый, боязливый’, *fæla* ‘пугать’, ср.-в.-нем. *Valant* ‘дьявол, черт’ (нем. *Voland*) [Walde—Pok., II, 52; Фасмер, III, 317].

Таким образом, до сих пор остается неясным старшее значение слова *плохой*, его этимологические связи и, соответственно, внутренняя форма, мотивировочный признак, обобщенный до общеоценочного. Интересно поэтому еще раз вернуться к данному вопросу, обратившись к семантическому и культурологическому аспектам проблемы. Для этого, полагаем, нужно, во-первых, сопоставить ареал (локализацию) и специфику употребления слова *плохой* в русском литературном языке и диалектах, в русском и других славянских языках; во-вторых, определить непрерывность/прерывность семантического пространства лексемы *плохой*, ее производных и предполагаемой родственной лексики, чтобы выяснить, вследствие чего возник «треугольник» (*переполох* — *плохой* — *плоский*).

Вероятность связи *плохой* и *плоский*, видимо, «подсказывается» как формальными, так и типолого-культурологическими соображениями. Так, близкое *плоский* по происхождению рус. *сплошь* имеет диалектный вариант *плошью, сплошной* — *плошной* (пск., тверск. Даль), *пlohатый* ‘плоский’ (доска плохатая) [Словарь рус. говоров Карелии, 550], *плошняк* ‘коровий помет’ [Там же]. Далее. Если несоотнесенность семантики ‘страх’, ‘пугающий’ (*полох, переполох* и т. п.) и ‘плохой’ не представляется вероятной для сознания человека XV—XVI вв. (или близкого этому времени) по историко-культурным причинам, то изменение ‘плоский, ровный, гладкий’ — либо через ‘однообразный, скучный, пошлый’ (как предполагает [Черных, II, 43—44]), либо от ‘плоский, ровный’ к ‘обычный, общий’ (ср.

др.-рус. *оплосмо* ‘вообще’, словен. *sploh* ‘всеобщий, всегда, обычно’) — в ‘простой, незначительный, недорогой’ (ср. перм. *простой* ‘грубый, низкого качества, дешевый’) и ‘невысокого качества, плохой’ характерно для целого ряда подобных случаев. Наиболее яркий пример такого рода — это нем. *schlecht* ‘плохой’, (с внутренней формой ‘ровный, гладкий’ [Paul 1956, 512]) при *Schlechtigkeit* ‘низость, подлость’, *schlechtweg* ‘просто-напросто’, *schlicht* ‘простой, скромный’, ‘гладкий (о прическе)’. В словаре Р. Джемса (1618—1619 гг.) рус. *плохой* (в форме *plokoj*) передается англ. *plaine reasonable not verie good* [Ларин 1959, 159] (ср. англ. *plaine* ‘простой, понятный, ясный, обыкновенный, ровный’ и *reasonable* ‘(благо)разумный, умеренный, недорогой’). Теоретическим аргументом в данном случае может быть ссылка на выявляемую асимметрию между положительной и отрицательной зонами «хорошо — плохо» (оценка «хорошо» может означать как соответствие норме, так и превышение ее, в то время как оценка «плохо» всегда означает отклонение от нормы [Вольф 2002, 19]), асимметрию, направленную в сторону «пессимизма» (слова из семантической зоны «среднего» склоняются к сфере плохого; ср. *средний, посредственный, ни то ни се, никакой*) (А. Ветбица, цит. по: [Вольф 2002, 20]). И все же ни наличие подобной семантической модели в европейском культурном пространстве, ни возможность истолкования ‘плоский’ как ‘низкий, сплюснутый’ (отклонение от нормы — «плохо») или отнесения к семантической зоне «среднего» (‘плоский, ровный’ — ‘не высокий и не низкий’) не спасают данную версию, когда мы обращаемся к текстам, к раннеписьменным свидетельствам относительно *плохой* и его производных или генетически связанных с ним слов.

Древнерусское *плохой* имеет по текстам ряд значений: 1. ‘плохой, невысокого качества’, XVI в. ~1472 г.; 2. ‘плохо владеющий чем.-л., имеющий недостаток, изъян в каком-л. отношении’, ~XVI в.; 3. ‘слабый, хилый’, XVII в.; 4. ‘незначительный, бедный’, 1678 г.; 5. в составе личного имени, 1494 г. [СлРЯ XI—XVII вв., вып. 15, 108]). Инвариантом этих значений будет ‘недостаточный в каком-л. отношении’, т. е. в древнерусских текстах перед нами слово с широким значением, в семантике которого уже не прослеживается связь с исходно обозначаемым конкретным признаком. С другой стороны, единичность употребления рассматриваемого слова в текстах XV в. сочетается с наличием его в то же время в составе имени собственного («А отводъ тѣмъ землямъ... по Федцово поле Плохого» — 1471 г.) на фоне употребления в роли отрицательной общей оценки лексем *злой* (*зълый*), *лихой*, *дурной*, *недобрый*, что, скорее всего, свидетельствует о ло-

кальном характере существования слова *плохой*. И действительно, позднее, в XVI — XVII вв., оно встречается в основном в документах, связанных с западнорусскими землями. И именно в псковской летописи (1471 г.) встречается к слову *оплошно* вариант *за плохо* 'неосмотрительно' (ср. новг. *оплохаться, оплохнуться* 'допустить оплошность, ошибиться'). С этим же ареалом связывается и большинство ранних употреблений производных от *плохой* (*оплоштити* 'усыпить чью-л. бдительность, обмануть видимостью безопасности', *оплошка* 'упущение по небрежности, беззаботности', *оплошно* 'проявляя беззаботность, нерадение в отношении чего-л.' и др.), встречающихся в документах по польско-литовско-русским отношениям [СлРЯ XI—XVII вв., вып. 13, 24]. Даже в XIX в. только с пометой «пск., твер.» приводятся слова *плошть, плошиться* 'быть неосторожным, беззаботным, несметливым', *плошь* 'хуже', *неплошный* 'не какой-нибудь, не из числа плохих', *оплошливость* 'нерадивость, вялость, беззаботность, небрежность, неосторожность' и т. п., здесь же — переход к общеоценочному — *оплошет* 'стать плохим, дряхлым, хилым, никуда не годным' [Даль, III, 327]. Кроме того, ранняя фиксация слова *плохой* в общеоценочном значении представлена именно в памятниках Тверской земли («Хождение» Афанасия Никитина, Рогожский летописец).

Таким образом, скорее всего, общеоценочное значение слова *плохой* — это адаптированный через западнорусскую языковую среду полонизм. Ареал раннего распространения слова *плохой* и его производных, семантическая структура родственной лексики в других славянских языках, направление семантических изменений подсказывают, что источником древнерусского *плохой* было польское *plochy* (как и предполагал Х. Педерсен, а затем А. Преображенский и Н. М. Шанский), развившее наряду с 'пугливый' значение 'беззаботный, ветреный', т. е. 'пугливый' и — как следствие — 'растерянный', 'необдуманно, неосторожно поступающий'. Во втором значении оно и попало в западнорусские земли, а 'пугливый' представлено русским *полóхливый, полóшливый* 'пугливый, робкий, тревожливый', ср. *полохать* 'пугать' [Даль, III, 674].

Следовательно, в то время как производные (*оплошать* и т. п.) продолжают старшее значение ('недостаточно осмотрительный, беспечный'), производящее *плохой* (*plochy*) получает семантическое развитие в сторону обобщения значения — 'недостаточный в каком-л. отношении, плохой'. Вероятно, это изменение произошло на ограниченной территории (близкой западнорусским землям) и не оставило следов в современном польском языке, но в словаре, отражающем лексику старопольского языка

XVI в., *plochy*, кроме широко распространенных значений 'легкомысленный, беспечный' и 'боязливый, пугливый, дикий', представлено и в значениях 'неблагоприятный, плохой', (*plocha myśl, sprawa, gada*) и 'нестоящий, недостойный' [Słownik polszczyzny, 409—410]. Как устаревшее это значение ('niewiele znaczący, błahy') отмечается и в словаре В. Дорошевского [Słownik języka polskiego, 504].

Семантическое развитие, подобное произошедшему в польском языке, наблюдаем и в других славянских языках. Это тоже обозначение результата воздействия чувства страха, боязни, но результата несколько иного плана: следствием страха, боязни может быть не только растерянность, но и робость, застенчивость (ср. укр. *плохий* 'смирный, тихий, кроткий', чеш., слвц. *plachy* 'робкий, застенчивый' или ср. синонимы к слову *сполох* 'тревога, испуг, паника' из общерусских летописных сводов XV—XVII вв. — *переполох, сплех, поплех, въсполох, пополох, преполохъ, плах, поплах, смятение, отороп, замятня* [Ильенко 1961, 14]). Интересно в этом плане отмеченное еще в словаре В. Даля диалектное (опять же псковское!) *пóлѣх* 'страх', а *пóлох* 'растерянность' (ср. развитие семантики у польск. *plochy*).

Эту ситуацию в средневековом русско-польско-литовском контактном пространстве определенным образом характеризует литовское *plakas* 'незначительный, недостаточный, низкий (при производном *plakūmas* 'низость'), которое Э. Френкель определяет как заимствование либо из великорусского, либо из польского (*plochy*) [Fraenkel 1955, 601] (употребление к в. х отмечено и в записи Р. Джемса, см. выше). «Духовная грамота князя Дмитрия Иоанновича» (около 1509 г.) также достаточно бесспорно свидетельствует об употреблении слова *плохой* в значении 'недорогой, полудрагоценный' («...да чело кичное золото съ яхонты и зъ жемчуги, и зъ жемчужинами и съ плохимъ каменьемъ... а пугвицы у нее лалцы и плохое камень зъ жемчушки» и т. п. [СГГД, 406—407]).

Интересен и факт отражения в Псковской летописной традиции вариативности (полногласные-неполногласные формы) в рассматриваемой лексической группе: в летописном своде 1547 г., проникнутом сочувствием к власти московских государей, при описании похода в Новгородскую волость на Запсковскую сторону употреблен полногласный вариант глагола — *исполошились*, а в Строевском списке (60-е годы XVI в.), оригинале летописного свода игумена Псковско-Печерского монастыря Корнилия, резко враждебно относившегося к власти Великих князей Московских, — неполногласный («...оударышася на нихъ новгородская рать торонь,

а наши *исплошились* вси, кои обѣдали, а друози испочивали без сторожи за *плохо...*»).

Оторвавшись в процессе семантической адаптации в иносистемной лексике от частнооценочного значения, от ограничения сочетаемости, связанной с обозначением конкретного признака, слово *плохой* получило широкое оценочное значение — ‘недостаточный в каком-л. отношении’ (о человеке, его поступках, предметах, явлениях). Это исходное значение до сих пор, видимо, обуславливает некоторые особенности сочетаемости и словообразования *плохой*: когда нужно обозначить все дурное, плохое, вредное в целом (то, по отношению к чему нет смысла определять степень недостаточности), употребляется словосочетание с существительным *зло* (например, мировое зло). Нет в литературном языке слова типа сущ. *плохость, хотя отмечается диалектное (ворон., ряз., брян.) *плохота́* ‘что-л. плохое, дурное, злое’. Это диалектное слово может обозначать и конкретные «варианты» недостаточности — ‘недобросовестная, небрежная работа’ (ворон.), ‘оплошность, нерасторопность, беззаботность’ (В. Даль: *плѣхость*, *плошина́* товара; за свою плохоту, плошину заплатился; *плошина́* (пск., твер.) ‘вещь плохая, худая достоинством’).

Укорененное первоначально, видимо, только в псковских, тверских говорах, рассматриваемое слово вошло в разговорный, а затем и литературный язык Московской Руси, получило широкое распространение (ср. в Сибири, в документах Нарымского острога, за 1632 г. *плохонишкой* ‘очень плохой’: «и они последние свое ружишко плохонишко испродали» [Словарь народно-разговорной речи г. Томска 2001, 186]).

Таким образом, возникающий «разрыв» в семантическом изменении ‘страх, боязнь’, ‘боязливый, пугливый’ → ‘плохой’ становится понятен при учете факта межкультурного и языкового взаимодействия в польско-литовско-русском регионе в средние века. «Не помнящее родства» слово *плохой*, не имея «шлейфа» частнооценочных значений (как и субстратное *хороший*), достаточно быстро потеснило в общеоценочном значении своих «предшественников» — *злой*, *дурной*, *худой*, подобно как *хороший* заняло общеоценочные позиции слов *добрый*, *лепый*, *годный/гожий*, которые в значительной степени сохранили это свое значение как первая часть сложных слов (ср. *доброхот*, *зоречивый*, *худорослый*, *худосильный*, *худорукий* при диалектной инновации (выравнивании) *плохосильный*, *плохорукий* [СРНГ, вып. 27, 158]). Наше наблюдение относительно происхождения общеоценочной лексемы *плохой* (*плохо*) можно сопоставить с выводом Н. С. Ковалева, исследовавшего смысловую структуру и эволюцию древнерусских

литературных текстов в аспекте оценки: «Должен был пройти период взаимодействия теистического и бытийного коррелятов в картинах мира восточных славян и в смысловых структурах текстов, прежде чем образовались синтетичные комплексы оценочных признаков и сложилась словесная форма операторов “хорошо” и “плохо”» [Ковалев, 80]. Как представляется, это решение вопроса следует дополнить, обратив внимание на то, что в становлении общеоценочных операторов оказывается важен не только фактор времени взаимодействия разных форм сознания, но и семантическая однозначность, терминологичность заимствованного характера лексем (*хороший, плохой*), использованных для выражения общеоценочной оппозиции.

Библиография

1. Арутюнова 1998 — *Арутюнова Н. Д.* Язык и мир человека. М., 1998.
2. Вольф 1985 — *Вольф Е. М.* Функциональная семантика оценки. М., 1985.
3. Вольф 2002 — *Вольф Е. М.* Функциональная семантика оценки. М., 2002.
4. Даль — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994. Т. I—IV.
5. Дронова 2002 — *Дронова Л. П.* Из истории слов общей оценки в славянских языках // III Славистические чтения памяти П. А. Дмитриева и Г. И. Сафронова. Материалы международной научной конференции. СПб., 2002.
6. Дронова 2003 — *Дронова Л. П.* Общеотрицательная оценка в зеркале языка // Сибирский филологический журнал. 2003. № 1.
7. Иванов — *Иванов Вяч. Вс.* Славяно-арийские (индоиранские) лексические контакты // Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским окружением. М., 2002.
8. Ильенко 1961 — *Ильенко В. В.* Диалектная лексика в языке общерусских летописных сводов XV—XVII вв. Л., 1961.
9. Ковалев 1997 — *Ковалев Н. С.* Древнерусский литературный текст: проблемы исследования смысловой структуры и эволюции в аспекте оценки. Волгоград, 1997.
10. Ларин 1959 — *Ларин Б. А.* Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618—1619 гг.). Л., 1959.
11. Обнорский 1929 — *Обнорский С.* Прилагательное *хороший* и его производные в русском языке // Язык и литература. Л., 1929. Т. 3.
12. Преображенский — *Преображенский А. Г.* Этимологический словарь русского языка. Т. I—II. М., 1910—1914.
13. СГГД — Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Гос. коллегии иностранных дел. М., 1813.
14. Словарь русских говоров Карелии — Словарь русских говоров Карелии и

- сопредельных областей в 5-ти выпусках / Гл. ред. А. С. Герд. СПб., 1999. Вып. 4.
15. СРНГ — Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин. М., Л., 1965. Вып. 1.
16. Словарь народно-разговорной речи г. Томска — Словарь народно-разговорной речи г. Томска XVII — начала XVIII века. Томск, 2001.
17. СлРЯ XI—XVII вв. — Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1987. Вып. 13; 1989. Вып. 15.
18. Фасмер — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка в 4-х т. / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. М., 1964—1973.
19. Черных 1994 — *Черных П. Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1994. Т. I—II.
20. Fraenkel 1955 — *Fraenkel E.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1955.
21. Paul 1956 — *Paul H.* Deutsches Wörterbuch. 5-te Aufl. bearb. von A. Schirmer. Halle, 1956.
22. Słownik języka polskiego — Słownik języka polskiego / Red. nac. W. Doroszewski. Warszawa, 1964. Т. 6.
23. Słownik polszczyzny — Słownik polszczyzny XVI wieku. Warszawa, 1996. Т. 24.
24. Walde—Pok. — *Walde A.* Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. Bearb. J. Pokorny, Berlin, Leipzig. 1928—1932.

Исследования по славянской диалектологии: итоги и перспективы¹

В докладах на 1-м Всесоюзном координационном совещании по актуальным проблемам славяноведения, организованном Институтом славяноведения (ИСл) АН СССР в 1961 г.², в котором приняли активное участие слависты ряда республик СССР (РСФСР, БССР, УССР), достаточно широко была представлена диалектологическая тематика. В основном ученые акцентировали внимание на фундаментальных задачах в области лингвогеографии, а именно — на создании Общеславянского лингвистического атласа (Р. И. Аванесов), региональных атласов (И. А. Дзэндзелевский), КДА — Карпатского диалектологического атласа, специального атласа, ориентированного на решение некоторых проблем сравнительно-исторического характера (С. Б. Бернштейн). Важные вопросы славянской диалектологии затрагивались и в докладах Н. И. Толстого и В. Н. Топорова. Сформулированные на совещании направления славистических исследований и реализующие их конкретные проекты в значительной мере определили развитие славянской диалектологии в СССР, а позднее — в России, Белоруссии, на Украине во второй половине XX и в самом начале XXI в. При этом сама диалектология, в соответствии с традицией, рассматривалась в тот период преимущественно как источник материала для изучения истории отдельных славянских языков и сравнительно-исторической грамматики. Итоги этого этапа развития славянской диалектологии в России, Украине, Белоруссии и будут предметом последующего анализа.

Центрами диалектологических разысканий в нашей стране были и остаются Институт славяноведения и Институт русского языка (ИРЯ) РАН. В ИСл этой области лингвистики придавалось большое значение с момента основания Института (1947 г.); предметом исследований в нем всегда являлись диалекты практически *всех* славянских языков³. В ИРЯ прежде всего уделялось внимание изучению диалектов русского языка, а в последние десятилетия — и других восточнославянских языков⁴.

Далее показаны некоторые результаты диалектологических разысканий в СССР (а с 90-х годов XX в. — в славянских странах СНГ), проводившихся в разных направлениях в течение последних 40 лет.

1. Диалекты как территориально маркированные формы национально-языка изучались *методами лингвистической географии*. Ученые ИРЯ

и ИСл были инициаторами создания ряда полилингвальных атласов в рамках международного научного сотрудничества; они принимали и продолжают принимать активное участие в работе над ними, выполняя при этом координирующие функции.

В данной области следует прежде всего назвать *Общеславянский лингвистический атлас* (ОЛА) — первый в Европе атлас отдельной языковой семьи. Работа над ним началась в 1958 г. после IV Международного съезда славистов, на котором Р. И. Аванесов и С. Б. Бернштейн в своем докладе изложили принципы его создания. Цели Атласа состояли в том, чтобы представить материал для решения двух кардинальных задач славистики. В первую очередь отметим изучение «истории... славянских языков и диалектов по данным их *современного* состояния через реконструкцию промежуточных состояний до эпохи появления древних диалектных различий, иначе до позднепраславянского» [Аванесов 1978, 12] (курсив наш. — Л. К., Г. К., Т. П.). Это позволяет на основе описания диалектного ландшафта современной Славии воссоздать основные направления исторического развития языковой семьи, имеющего *дивергентный* характер. Атлас также должен способствовать решению проблем *синхронной типологии* славянских языков — на всех уровнях языковой системы [Там же]. В реализации проекта ОЛА достигнуты существенные успехи: изданы четыре выпуска фонетико-грамматической серии и четыре выпуска лексико-словообразовательной⁵, подготовлены к печати еще несколько выпусков. Материалы ОЛА одновременно подвергались углубленному анализу и интерпретации, чему посвящено большое число работ, опубликованных в специальной серии «Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования» (ОЛА. МИ), издаваемой ИРЯ (см.: [БУ, 34—38]), а также в иных изданиях.

Другим многоязыковым атласом, работа над которым, начиная с 1974 г., велась большим международным коллективом под руководством С. Б. Бернштейна, является *Общекарпатский диалектологический атлас* (ОКДА). Его задача — изучение результатов длительных контактов (главным образом в сфере лексики и семантики) между славянскими и неславянскими языками/диалектами в карпатской зоне, их связей с языками/диалектами балканской зоны. Подобный аспект позволяет изучать славянские языки в рамках генетически гетерогенного континуума и выявить тенденции их *конвергентного* развития⁶. В настоящее время Атлас практически завершен, изданы шесть из семи выпусков⁷. Кроме того, имеется значительный корпус публикаций, в которых анализируются данные ОКДА, а также

обсуждаются общие проблемы карпатского языкознания — нового раздела ареально-типологической лингвистики.

С 1996 г. по инициативе Института лингвистических исследований (ИЛИ) РАН при участии ИСл быстрыми темпами продвигается работа над *Малым диалектологическим атласом балканских языков* (МДАБЯ). Исследуются явления грамматического и лексико-семантического уровней. Ныне практически завершен сбор материала (по редкой сетке — 15 пп.), опубликованы описания некоторых диалектов (с текстами), а также Пробный выпуск Атласа [Соболев 2003], готовится к публикации первый том грамматической серии.

Российские, украинские, белорусские диалектологи участвовали в работе над *Лингвистическим атласом Европы* (ЛАЕ) (сбор материала на территории соответствующих государств, его обработка и др.).

В тот же период, начиная с 1960-х годов, в СССР (позднее — в славянских странах СНГ) завершилось издание национальных атласов — *Диалектологического атласа русского языка* (ДАРЯ), *Диалектологического атласа белорусского языка* (ДАБМ) и *Атласа украинского языка* (АУМ)⁸. Эти атласы позволили представить современный диалектный ландшафт каждого из восточнославянских языков. В дальнейшем содержащаяся в атласах лингвогеографическая информация интерпретировалась в ареалогическом и типологическом аспектах, а также стала предметом изучения ее с точки зрения истории отдельных явлений, их связи с экстралингвистическими характеристиками диалектов и др.

Примерами исследований подобного рода в *русской* диалектологии являются: монография о диалектном членении русского языка [Захарова, Орлова 1970], коллективный труд об образовании севернорусского наречия и среднерусских говоров [Образование 1970], работы по диалектному словоизменению [Бромлей, Булатова 1972], по диалектному словообразованию [Азарх 2000], по диалектному синтаксису [Кузьмина, Немченко 1071; Кузьмина 1993], по диалектной лексике [Мораховская 1996] и др.; ср. также многочисленные публикации в специальных сборниках ИРЯ по разным проблемам русской диалектологии. Материалы ДАРЯ послужили основой и для создания Н. Н. Пшеничновой типологической классификации русских говоров (с применением компьютерных методов) [Пшеничнова 1996]. Многие из вышеупомянутых исследований позволили создать на высоком научном уровне обобщающие работы по русской диалектологии [Касаткин 1989; Пожарицкая 1997].

Данные ДАБМ способствовали детальному описанию *белорусского* диалектного ландшафта и специфики отдельных его зон (см.: [Групоўка 1968; Нарысы 1964; Крывіцкі 2003], см. также: [Плотнікаў, Антанюк 2003, гл. 13.3]), изучению зафиксированных Атласом явлений разных уровней системы языка и под. [Мацкевіч 1959; Крывіцкі, Падлужны 1984; Прохорова 1991; Сцяцко 1977; Чабярук 1977] и др.⁹

Широко используются материалы АУМ в *украинской* диалектологии. Это, например, труды [Жилко 1966; Бевзенко 1980; Матвіяс 1990], посвященные описанию особенностей украинских говоров в целом (ср. [УМЕ, 134—135; 51—52, 61—62, 116—117, 174—176]; [Залеський 1973] — по диалектной фонетике, [Закревська 1976] — по диалектному словообразованию, [Марчук 1983] — по диалектному словоизменению глагола, [Гриценко 1984; Гриценко 1990], анализирующие лексико-семантические факты в ареалогическом и структурно-типологическом аспектах, и др.

Качественно новый этап отечественной диалектологии связан с началом работы (конец 80-х годов XX в.) по теме «Восточнославянские изогlossen» (ВСИ)¹⁰ в ИРЯ и ИСл. В этом проекте, на основании сопоставления и анализа материала указанных выше национальных атласов, а также с привлечением иных исследований, решается задача изучения в синхронном плане, в масштабах всего восточнославянского континуума, общих и противопоставленных явлений, относящихся к разным языковым уровням. Выявленные путем сопоставительного картографирования отдельные изогlossen и различные типы ареалов рассматриваются также как один из лингвистических аргументов при обсуждении достоверности ряда гипотез, касающихся восточнославянского глоттогенеза и характера восточнославянской общности, а именно: существовал ли в прошлом единый правосточнославянский язык (ср., например, идею О. Н. Трубочева о «сложном единстве древнерусского пространства и языка» [Трубочев 2002, 5, 22], см. также [Бромлей 1985²]) или же следует говорить о наличии известной гетерогенности правосточнославянской основы [Зализняк 1988; Попова 1995; Попова 1997; Калнынь 1998]¹¹. В опубликованных выпусках ВСИ на материале фонетики, грамматики, лексики освещаются вопросы современной дифференциации восточнославянского лингвистического пространства (и экстраполяции ее результатов в праславянский), выявления архаических и инновационных областей в Восточной Славии, соотношения ее центральной и периферийных зон и др. В результате, опубликованные во ВСИ карты, а также комментарии к ним не только показывают синхронное состояние восточнославянского диалектного континуума, но и

представляют собой один из надежных источников для реконструкции целого ряда явлений, свойственных правосточнославянским диалектам. В настоящее время готовятся и следующие выпуски данного труда.

Интенсивная работа в нашей стране над различными лингвогеографическими проектами в последние 15—20 лет создала предпосылки для перехода к решению задач специально *ареалогического* характера. Это позволяет, во-первых, дать характеристику не только изолированных изоглосс, но и ареалов разных типов, и, во-вторых, проводить их сопоставительное изучение и интерпретацию с целью детального описания диалектных ландшафтов в масштабе всей Славии или ее частей (например Восточной Славии). Диалектные ландшафты, трактуемые как развернутая в синхронии диахрония, отражают результаты дивергентного и конвергентного развития языков/диалектов. Укажем, например, работы: [Толстой 1977; Бромлей 1985¹; Вендина 1997; Вендина 1998; Вендина 2003; Клепикова 1985; Клепикова 1998; Клепикова 2003] и др., см. также исследования, публикуемые во ВСИ.

Еще одним направлением лингвогеографических разысканий в СССР (и позднее — в России, Украине, Белоруссии), в рамках национальных диалектологий, было создание *специальных* — региональных, тематических и под. Атласов. Упомянем здесь лексические зональные атласы Европейской части *России*: [Войтенко 1991; Комягина 1994; Баранникова 2000]¹², атлас финно-угорских заимствований в русских говорах [Мызников 2003] и др. Кроме того, в России в конце XX — начале XXI в. в ИРЯ, ИСл и ИЛИ РАН активизировалась работа над Лексическим атласом русских говоров (ЛАРНГ), в которой участвуют и диалектологи многих вузов России (подробнее об этом см.: [Попов, Азарх и др. 1993; Вендина 2000]). В настоящее время вышел из печати пробный выпуск этого Атласа. Из украинских региональных атласов отметим атласы, посвященные изучению отдельных групп карпатоукраинских говоров (см.: [Дзендзелівський 1958—1993; Lizanec 1970; Лизанец 1976¹; Лизанец 1976²; Герман 1995—1998]), КДА, посвященный исследованию лексико-семантических (и иных) сходжений между карпатоукраинскими и южнославянскими говорами. Говоры Нижней Припяти описаны в [Назарова 1985], а лексика говоров Украинского Полесья в [Никончук 1994]¹³. Задача создания общеукраинского лексического атласа решается в настоящее время поэтапно, путем составления и публикации небольших атласов — тематических (ср., например: [Сабадош 1999]) и региональных (ср.: [Глуховцева 2000]) и под). В Белоруссии уже

осуществлено, впервые в странах Восточной Славии, издание национального лексического атласа в 5-и томах [ЛАБНГ 1993—1998].

Важно еще раз подчеркнуть, что, как правило, работа над лингвистическими атласами различного типа сопровождается большим числом публикаций, посвященных описанию тех или иных конкретных диалектных явлений и широко использующих материалы этих, часто еще не опубликованных, атласов. Тем самым указанные материалы достаточно быстро вводятся в научный оборот.

2. Однако уже в середине XX в. в славистике существовало четко осознаваемое представление о том, что наряду с изучением в территориальном аспекте, диалекты требуют и иного исследовательского подхода, вытекающего из их особенностей как языковых идиомов. Согласно идеям, сформулированным Р. И. Аванесовым [Аванесов 1947; Аванесов 1963]¹⁴, диалектные формы языка являются *компонентом* национального языка, а сами диалекты в структурном отношении организованы по правилам, присущим языковой системе как таковой. Структурная интерпретация диалектов осуществляется путем объединения их признаков в рамках мегасистемы («диалектного языка» [Вопросы 1962, 9 и сл.] или «диасистемы» [Weinreich 1954]). Диалектный язык — это система, состоящая из постоянных и вариативных звеньев. В рамках вариативного звена (соответственного явления) приводятся в отношении эквивалентности языковые факты, отличающие разные диалекты друг от друга и от литературного языка. Комбинация систем диалектного языка и литературного стандарта манифестирует устройство *национального* языка в целом. Подход к диалектам как к полноценным языковым системам предполагает, что при их изучении должны использоваться методы анализа и описания, которые применяются к идиомам, имеющим статус языка. Исследования такого рода объединяются направлением *описательная диалектология* (ОД). Первый опыт ее реализации связан с именем Л. В. Щербы, который в 1915 г. дал описание одного серболужицкого говора как самостоятельного языкового идиома [Щерба 1915].

Исходным объектом ОД является один говор, «частная диалектная система» (ЧДС), по Р. И. Аванесову [Аванесов 1947; Вопросы 1962, 8, 25 и сл.]. При его обследовании исключен дифференциальный подход к сбору материала. Соответственно вопросник должен быть *недифференциального* типа и ориентирован на то, чтобы в полном объеме зафиксировать синхронное состояние системы идиома, существующего только в устной, некоди-

фицированной форме, динамичного в своем устройстве и подверженного разнообразным влияниям.

В области ОД во второй половине XX в. выполнен ряд исследований, посвященных моделированию отдельных уровней системы одного говора (или собрания говоров) того или иного языка, а также сопоставлению результатов подобного моделирования в диалектах разных славянских языков. Так, были предложены системные описания фонетического и грамматического уровней, созданы модели, учитывающие функционирование специфических сегментных и суперсегментных единиц (слог, чередование звуковых, морфонологических и морфологических единиц, акцентологические парадигмы и др.). См., например, работы: [Калнынь 1967; Калнынь 1973; Калнынь 2001; Калнынь, Масленникова 1981; Калнынь, Масленникова 1985; Калнынь, Масленникова 1995; Калнынь, Попова 1981; Калнынь, Попова 1993; Белая 1992; Бромлей, Булатова 1972; Попова 1975; Попова 1978; Клепикова, Попова 2004] и др. В сфере лексикологии и семасиологии моделирование диалектных систем осуществлялось в работах: [Толстой 1963; Толстой 1966; Толстой 1968; также Толстой 1997; Гриценко 1982; Гриценко 1984; Выгонная 1971; Вештарт 1971; Вешторт 1969; Нефедова 1978; Нефедова 2002; Клепикова 1968; Клепикова 1977; Клепикова 1986] и др. В ряде работ материал подобных описаний использовался и для социолингвистических характеристик диалектных идиомов (см., например, исследование проблемы стабильности/вариативности в: [Калнынь, Масленникова 1995]).

В целом к настоящему времени сложилось убеждение, что интерес к диалекту, ЧДС, как объекту исследования, обусловлен его онтологическими свойствами. Для понимания специфики ОД существенны положения, отмеченные в: [Калнынь 1976].

3. Вторая половина XX в. характеризовалась не только интенсивной работой по созданию лингвистических атласов и опытами моделирования диалектных систем. Традиционный исследовательский интерес к особенностям диалектных форм языка отразился в отечественной диалектологии в многочисленных работах — монографиях, статьях, диссертациях, посвященных изучению отдельных диалектных явлений. Доклады по диалектологической тематике регулярно представлялись на всесоюзных и других конференциях. Активизации углубленного исследования отдельных черт, характеризующих восточнославянские диалекты, способствовали и работа по созданию национальных диалектологических атласов — ДАРЯ, ДАБМ, АУМ (см. выше), и специальные полевые обследования говоров¹⁵, а также

широкое использование эксцерпций из других опубликованных и архивных источников.

Важным разделом диалектологии в России стало *экспериментально-фонетическое* изучение диалектов, основы которого были заложены в Фонетической лаборатории ИРЯ; это дало возможность составить корпус сегментных и суперсегментных характеристик русской диалектной речи (см. работы С. С. Высотского, А. М. Кузнецовой, Р. Ф. Пауфошимы и др.). В последние годы наблюдается тенденция расширения использования инструментальных методов, что позволило внести значимые коррективы в прежние представления о сущности некоторых диалектных явлений, см., например, исследование Л. Л. Касаткиным явления напряженности/ненапряженности в некоторых русских говорах [Касаткин 1999, гл. 3], изучение русской диалектной просодии Р. Ф. Касаткиной и др. [Просодический 1996], работы С. Л. Николаева и его учеников о рефлексации праславянских гласных и акцентных систем ряда русских и карпатоукраинских говоров [Николаев 1988, 1989; Николаев 1995; Николаев 1996 и др.]. На основе создаваемой в ИРЯ фонотеки русских говоров¹⁶ начата работа над собранием текстов, отражающих язык современной деревни (Л. Л. Касаткин и его коллеги). Подобные фонотеки создаются и во многих других научных центрах России (в том числе и в ИСл), а также в Украине¹⁷ и Белоруссии.

Значительных успехов достигли во второй половине XX в. и восточнославянская *диалектная лексикография и лексикология*. Следствием изучения словарного состава русских говоров явилось, с одной стороны, создание обобщающего фундаментального тезауруса — «Словаря русских народных говоров», с другой — подготовка и издание большого числа региональных словарей говоров Европейской части и Востока России, например, Псковский областной словарь, Архангельский словарь, словари сибирских и дальневосточных говоров (см.: [ЭРЯ, 114—118]). Корпус белорусских диалектных словарей содержит описание лексики запада, северо-запада страны, Полесья и других областей [Плотнікаў, Антанюк 2003, 632—647; БМЭ, 189—192]. Традиционным является интерес украинских диалектологов к изучению лексики различных зон; к словарям, созданным в 1950—1960-е годы, позднее добавились словари некоторых юго-западных говоров (словарь бойковского говора М. Онышкевича, «Материалы для словаря буковинских говоров» и под.) (см.: [УМЕ]); началась работа над большим гуцульским словарем и др.; упомянем и словарь нового типа одного закарпатского говора, составленный русскими диалектологами [Николаев, Толстая 2001]. В различных диалектологических изданиях

России, Украины, Белоруссии опубликован ряд терминологических словарей, отражающих различные стороны народной материальной и духовной культуры разных регионов. Сравнительно невелико число трудов по лексикологии отдельных восточнославянских языков, ср. публикации Ф. П. Сороколетова, И. А. Оссовета, Т. С. Коготковой, О. И. Блиновой и других в русской диалектологии [ЭРЯ, 119, 137—139]; И. А. Дзэндзелевского, П. Е. Гриценко, Н. В. Никончука и др. — в украинской [УМЕ, 139]; Л. Т. Выгонной, Г. Ф. Вешторт и др. — в белорусской. Особое, *лингвокультурологическое*, направление в изучении русской лексики последних десятилетий связано с работами О. И. Блиновой и ее коллег¹⁸.

Также отметим значительный интерес, проявляемый в последние десятилетия исследователями русских диалектов к социолингвистическим проблемам. Упомянем, в частности, работы В. Е. Гольдина, изучающего «крестьянскую речевую культуру на основе принципов коммуникативной диалектологии» [Гольдин 1997].

* * *

На базе достигнутых к настоящему времени в нашей стране важных результатов в области славянской диалектологии, а также учета состояния соответствующих исследований в других странах, о чем — по необходимости кратко — говорилось выше, можно высказать некоторые соображения и предложения, касающиеся близкой и более отдаленной перспективы диалектологических штудий.

1. Несомненно, в рамках национальных диалектологий продолжится изучение отдельных диалектов (наречий и под.) в *каждом* славянском языке в различных аспектах и различными методами, будут накапливаться новые знания о диалектных явлениях различных уровней, они будут интерпретироваться в синхронно-сопоставительном и диахроническом планах.

2. Наряду с этим будет идти работа по завершению больших лингвогеографических трудов, начатых еще в XX в. (ОЛА, ЛАЕ, МДАБЯ).

3. Вместе с тем, все предшествующее развитие славянской диалектологии подводит к осознанию стоящих перед ней некоторых новых масштабных задач. Правда, ныне по ряду причин, по-видимому, практически невозможна реализация таких проектов, цель которых — подобно ОЛА — изучение диалектов *всех* славянских языков (что — соответственно — потребовало бы координации усилий славистов всех стран, на территории которых функционируют эти языки). Более реалистичны проекты, задачи ко-

торых формулируются как сравнительно-сопоставительное изучение отдельных групп славянской языковой семьи — восточной, западной, южной. Для отечественной славистики наиболее осуществимыми представляются проекты, посвященные изучению фундаментальных проблем *восточнославянской* диалектологии, поскольку можно надеяться на активное участие в них специалистов Украины и Белоруссии (имея в виду общую заинтересованность в решении вопросов восточнославянского глоттогенеза и структурной близости соответствующих языков, сходство теоретических основ диалектологической науки и опыта полевых обследований в этих странах и др.).

В качестве *первого* проекта сотрудничества русских, украинских и белорусских диалектологов можно предложить тему «*Сопоставительное синхронное описание восточнославянских диалектов, репрезентирующих основные диалектные типы в принятой классификации*». Проект планируется реализовать на материале, собранном в различных говорах по единому типу программы (для системы каждого из языковых уровней, которые подлежат моделированию, например для фонетического и/или словоизменительного) и по единому образцу синхронного описания каждой ЧДС. В качестве объекта описания предполагаются диалекты: севернорусский, южнорусский; северный, юго-восточный, юго-западный украинские; северо-восточный, юго-западный белорусские. Для обследования разных диалектов на фонетическом уровне были в свое время разработаны программы, реализованные в трудах Л. Э. Калнынь, Л. И. Масленниковой и Т. В. Поповой. Такого типа программы предполагают получение полного корпуса сведений о составе гласных и согласных, употребляющихся в идиоме, и о правилах их сочетания друг с другом и с паузой; для гласных учитывается положение относительно ударения. Каждое сочетание звуков снабжено иллюстративными словами, произношение которых проверяется при обследовании диалекта; среди них должны быть и несвойственные говору слова, с помощью которых выясняется статус незафиксированных в данном диалекте сочетаний, т. е. запрещены ли они фонетически или же допустимы, но лексически не представлены.

Проект может быть выполнен только при сотрудничестве российских, украинских и белорусских диалектологов. Труд такого типа, обладающий высокой степенью лингвистической информативности, должен стать эталоном сопоставительного синхронного описания восточнославянских диалектов. Осуществление данного проекта уменьшит существующий в

настоящее время дисбаланс между количеством работ лингвогеографического и дескриптивного характера.

Второй темой сотрудничества может быть проект «*Восточнославянские диалекты в контакте с литературной формой языка. Типология результатов контакта*». Актуальность данной темы обусловлена тем, что в последние годы в современной зарубежной диалектологии активизируется *социолингвистический* аспект изучения диалектов, уже давший интересные результаты, что, в частности, было продемонстрировано на XIII съезде славистов в Любляне¹⁹. Как известно, характеристика диалекта складывается не только из его языковых (онтологических) черт, но и из особенностей его функционирования в качестве социально маркированного идиома. Диалекты включены в конкретную языковую ситуацию и вступают в контакт с окружающей языковой средой. При этом каждая ЧДС испытывает влияние, с одной стороны, соседних диалектных систем, а с другой — системы соответствующего кодифицированного языка. В масштабах Славии соотношение взаимодействия диалекта с другими диалектами и литературным языком (ЛЯ) весьма разнообразно²⁰. Что касается специально влияния ЛЯ, то на одни диалекты оно может быть более сильным и действенным, а на другие — менее заметным, т. е. степень сопротивляемости систем разных диалектов воздействию на них ЛЯ (их устойчивость) различна и зависит от многих лингвистических и экстралингвистических факторов, например: от структурной близости ЧДС и системы ЛЯ, от характера диалектного континуума, в который входит данная ЧДС (гомогенный или неоднородный), от географического положения ЧДС, от более или менее благоприятных для ЛЯ условий его влияния на ЧДС (через школу, СМИ, общение с носителями ЛЯ), от той оценки как диалектной формы говорения, так и ЛЯ самими носителями диалекта и т. д. [Аванесов 1947; Калнынь 2004].

Важным результатом воздействия одного идиома на другой является *вариативность*, — параллельное употребление принадлежащих данному идиому слов/форм и вновь усвоенных. Например, изучение этого феномена в фонетике некоторых русских говоров, обусловленного взаимодействием ЧДС и системы ЛЯ, показало, что структура диалекта, с одной стороны, обладает потенциалом стабильности, противостоящим проникновению в говор литературных эквивалентов, а с другой — характеризуется определенной проницаемостью [Калнынь, Масленникова 1985].

Нередко высказывается мнение, что диалекты, испытывая влияние ЛЯ, нивелируются, и носители диалекта переходят на стандарт. Однако этот

тезис нуждается в серьезных дополнительных исследованиях, базирующихся на большом и конкретном материале говорюв. Применительно к русскому языку, эта проблема во второй половине XX в. рассматривалась в монографии ИРЯ РАН «Русский язык и советское общество» (под редакцией М. В. Панова) (см.: [Фонетика 1968]).

В предлагаемом проекте представляется интересным провести сопоставление восточнославянских диалектов с точки зрения их реакции на контакт с литературным языком. Такое исследование может основываться на корпусе тех же материалов, который должен быть собран для синхронного системного описания диалекта (см. предложенный выше проект — «Сопоставительное синхронное описание восточнославянских диалектов, репрезентирующих основные типы в принятой классификации»). Но при этом необходимо акцентировать внимание на вариантах, употребляющихся в диалекте, и учитывать вышеупомянутые экстралингвистические факторы, которые в конечном итоге и обуславливают социолингвистический аспект работы. Уровень исследования — фонетика и, возможно, словоизменение. Работа такого рода в масштабах Восточной Славии еще не проводилась.

Третьей темой, которая может быть предложена для сотрудничества лингвистов в области восточнославянской диалектологии, является «Проблемы восточнославянского единства. Лингвогеографический аспект». Она рассматривается нами как продолжение — на качественном ином уровне — темы «Восточнославянские изоглоссы», о которой говорилось выше. Задача проекта в общих чертах состоит в том, чтобы на новом материале углубить существующие знания о степени общности (единства) и дифференцированности восточнославянского диалектного континуума и найти дополнительные данные для решения сложной проблемы генезиса восточнославянских языков. Работа над ВСИ расширила наши представления о восточнославянском лингвистическом пространстве и истории отдельных диалектных образований. Вместе с тем стало ясно, что возможности использования материалов национальных атласов (и других источников) имеют определенные ограничения: 1) в *содержательном* плане, т. е. с точки зрения охвата корпуса диалектных явлений (поскольку вопросники атласов во многих случаях не совпадают); 2) в плане *качества* материала, характеризующего те или иные диалектные явления (поскольку ответы на вопросы программы могут не содержать необходимой информации, что не позволяет дать полную и аргументированную интерпретацию этих явлений); 3) в *территориальном* плане, поскольку русское диалектное про-

странство обследовано в ДАРЯ не полностью — лишь до 62° с. ш., в то время как исследования последних лет показали важность учета данных северных русских говоров для восточнославянской диалектологии.

Если данный проект станет темой сотрудничества диалектологов России, Украины, Белоруссии, то работу над ним, учитывая сказанное выше, следовало бы начать с внесения необходимых дополнений к уже существующим программам национальных атласов, что могло бы обеспечить сбор сопоставимого материала, достаточного для всесторонней характеристики явлений разных уровней. Например, при картографировании во ВСИ явлений из области именного и глагольного словоизменения (морфология и морфонология) возникали большие трудности из-за отсутствия в указанных атласах *полных* парадигм склонения существительных и спряжения глаголов. Обновленная программа поэтому должна обеспечить сбор всех словоизменительных форм. При картографировании явлений синтаксического уровня отмечается ущербность материала с точки зрения его полноты и — соответственно — сопоставимости в диалектах трех восточнославянских языков; этот недостаток также должен быть преодолен. При работе над ВСИ трудности возникали и из-за отсутствия тождественности диалектных материалов, иллюстрирующих одно и то же явление (ср., например, в одних случаях характеристику грамматического явления как лексически неограниченного, а в других — как лексикализованного; или использование различной лексики в сходных синтаксических конструкциях и др.). Задача уточненной программы — нацелить диалектологов на сбор сопоставимого материала. Во ВСИ слабо представлена лексика (и семантика), что отражает недостаточное внимание в национальных атласах к этой области языка. Представляется желательным существенно расширить в пополненной программе список подлежащих анкетированию единиц, поскольку новейшие исследования (ОЛА и под.) свидетельствуют о перспективности включения в исследование восточнославянского континуума дополнительных лексических данных.

По нашему мнению, указанные выше замечания не должны заметно увеличить объем нового, сводного, варианта программы по сравнению с существующими программами национальных атласов. Речь идет о том, чтобы он содержал такой круг вопросов, который позволил бы дать *системное* описание диалекта в целом или отдельных его уровней. Эта обновленная программа может быть полезна в качестве ориентира и при эксцерпции дополнительного материала из опубликованных источников в процессе ра-

боты над данной темой. Разумеется, в работе над предлагаемым проектом должен быть в полной мере использован и материал национальных атласов.

Важным вопросом работы над проектом является и определение сетки пунктов, которые должны быть обследованы по новой программе. Можно предложить, чтобы эта сетка соотносилась с сетками обследования в национальных атласах, но состояла бы из значительно меньшего количества пунктов. Отобранные говоры должны быть характерными представителями важнейших единиц диалектного членения каждого из трех языков. В целом для русской языковой территории было бы, вероятно, достаточно 30 «контрольных» («опорных») пунктов (включая пп. на Русском Севере), для Белоруссии — 15 пп., для Украины — 20 пп. Может быть также обсужден вопрос об анкетировании единичных восточнославянских говоров в Прибалтике, Польше, (Восточной) Словакии.

Вопросы, касающиеся концепций всех трех проектов, содержания их программ, сетки обследования, организации работы и др. могут быть дополнительно обсуждены на специальных совещаниях²¹.

Библиография

1. Аванесов 1947 — *Аванесов Р. И.* Вопросы фонетической системы русских говоров и литературного языка // Известия АН. Серия ОЛЯ. 1947. Т. VI. № 3.
2. Аванесов 1963 — *Аванесов Р. И.* Описательная диалектология и история языка // Славянское языкознание. V МСС. М., 1963.
3. Аванесов 1978 — *Аванесов Р. И.* Общеславянский лингвистический атлас (1958—1978). Итоги и перспективы // Славянское языкознание. VIII МСС. М., 1978.
4. Азарх 2000 — *Азарх Ю. С.* Русское именное диалектное словообразование в лингвогеографическом аспекте. М., 2000.
5. Баранникова 2000 — *Баранникова Л. И.* Атлас русских говоров Среднего и Нижнего Поволжья. Саратов, 2000.
6. Бевзенко 1980 — *Бевзенко С. П.* Українська діалектологія. Київ, 1980.
7. Белая 1992 — *Белая А. С.* Типология ритмико-просодической организации слова в диалектной речи // ОЛА МИ. М., 1992.
8. БМЭ — *Беларуская мова.* Энциклапедыя. Мінск, 1994.
9. Бромлей 1985¹ — *Бромлей С. В.* Различия в степени вокализованности сонорных и их роль в противопоставлении центральных и периферийных говоров // Диалекты русского языка. М., 1985.
10. Бромлей 1985² — *Бромлей С. В.* Восточнославянские языки как объект лингвогеографии // Восточные славяне: Языки. История. Культура. М., 1985.

11. Бромлей, Булатова 1972 — *Бромлей С. В., Булатова Л. Н.* Очерки морфологии русских говоров. М., 1972.
12. БУ — Библиографический указатель к публикациям, помещенным в сборниках отдела диалектологии и лингвогеографии ИРЯ РАН за 1947—1992 гг. и в сборниках «Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования» за 1965—1993 гг. М., 1993.
13. Вендина 1997 — *Вендина Т. И.* К проблеме центрального и маргинального ареалов Славии // Вопросы языкознания. 1997. № 2.
14. Вендина 1998 — *Вендина Т. И.* ОЛА и лингвистическая география // Славянское языкознание. XII МСС. М., 1998.
15. Вендина 2000 — *Вендина Т. И.* Лексический атлас русских народных говоров: проблемы и перспективы // Известия АН. Сер. ОЛЯ. 2000. Т. 59. № 5.
16. Вендина 2003 — *Вендина Т. И.* Лексика и семантика на картах ОЛА // Славянское языкознание. XIII МСС. М., 2003.
17. Вештарт 1971 — *Вештарт Г. Ф.* Назвы ежы // Лексика Палесся ў прасторы і часе. Мінск, 1971.
18. Вешторт 1969 — *Вешторт Г. Ф.* Названия пищи в говорах Полесья // Лексика Полесья. М., 1969.
19. Войтенко 1991 — *Войтенко А. Ф.* Лексический атлас Московской области. М., 1991.
20. Вопросы 1962 — Вопросы теории лингвистической географии. М., 1962.
21. Выгонная 1971 — *Выгонная Л. Ц.* Земляробчая тэрміналогія // Лексика Палесся ў прасторы і часе. Мінск, 1971.
22. Герман 1995—1998 — *Герман К. Ф.* Атлас українських говірок Північної Буковини. Т. 1, 2. Чернівці, 1995—1998.
23. Глуховцева 2000 — *Глуховцева К.* Лінгвістичний атлас лексики народного побуту українських східнослобожанських говірок. Луганськ, 2000.
24. Гольдин 1997 — *Гольдин В. Е.* Теоретические проблемы коммуникативной диалектологии. Саратов 1997.
25. Гриценко 1982 — *Гриценко П. Ю.* Тваринницька лексика українських західноstepових говірок. Питання організації тематичної групи // Структура українських говорів. Київ, 1982.
26. Гриценко 1984 — *Гриценко П. Ю.* Моделювання системи діалектної лексики. Київ, 1984.
27. Гриценко 1990 — *Гриценко П. Ю.* Ареальне варіювання лексики. Київ, 1990.
28. Групоўка 1968 — Лінгвістычная геаграфія і групоўка беларускіх гаворак. Мінск, 1968.

29. Дзэндзелівський 1958—1993 — *Дзэндзелівський Й. О.* Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області УРСР. Ч. I. Ужгород, 1958; Ч. II. Ужгород, 1960; Ч. III. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської області України. Ужгород, 1993.
30. Жилко 1966 — *Жилко Ф. Т.* Нариси з діалектології української мови. Київ, 1966.
31. Закревська 1976 — *Закревська Я. В.* Нариси з діалектного словотвору в ареальному аспекті. Київ, 1976.
32. Залеський 1973 — *Залеський А. М.* Вокалізм південнозахідних говорів української мови. Київ, 1973.
33. Зализняк 1988 — *Зализняк А. А.* Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднеславянского языка // *Славянское языкознание. X МСС. М., 1988.*
34. Захарова, Орлова 1970 — *Захарова К. Ф., Орлова В. Г.* Диалектное членение русского языка. М., 1970.
35. Калнынь 1967 — *Калнынь Л. Э.* Типология звуковых диалектных различий в нижнелужицком языке. М., 1967.
36. Калнынь 1973 — *Калнынь Л. Э.* Опыт моделирования системы украинского диалектного языка. М., 1973.
37. Калнынь 1976 — *Калнынь Л. Э.* Диалектологический аспект проблемы «язык и диалект» // *Известия АН. Сер. ОЛЯ. 1976. Т. 35. № 1.*
38. Калнынь 1998 — *Калнынь Л. Э.* Особенности восточнославянского диалектного континуума в свете современной лингвогеографии // *Славянское языкознание. XII МСС. М., 1998.*
39. Калнынь 2001 — *Калнынь Л. Э.* Фонетическая программа слова как пространство фонетических изменений. М., 2001.
40. Калнынь 2004 — *Калнынь Л. Э.* О некоторых особенностях результатов контакта русских диалектов с литературным языком // *Исследования по славянской диалектологии. Вып. 9. М., 2004.*
41. Калнынь, Масленникова 1981 — *Калнынь Л. Э., Масленникова Л. И.* Сопоставительная модель фонологической системы славянских диалектов. М., 1981.
42. Калнынь, Масленникова 1985 — *Калнынь Л. Э., Масленникова Л. И.* Опыт изучения слога в славянских языках. М., 1985.
43. Калнынь, Масленникова 1995 — *Калнынь Л. Э., Масленникова Л. И.* Изучение вариативности в славянских диалектах // *Исследования по славянской диалектологии. Вып. 3. М., 1995.*
44. Калнынь, Попова 1981 — *Калнынь Л. Э., Попова Т. В.* Синхронное описание одного диалекта как особый вид диалектологического исследования // *ОЛА. МИ. М., 1981.*

45. Калнынь, Попова 1993 — *Калнынь Л. Э., Попова Т. В.* Фонетика двух болгарских говоров, функционирующих в разной языковой ситуации // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 2. М., 1993.
46. Касаткин 1989 — *Касаткин Л. Л.* Русская диалектология. М., 1989.
47. Касаткин 1999 — *Касаткин Л. Л.* Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999.
48. Касаткина, Касаткин 2003 — *Касаткина Р. Ф., Касаткин Л. Л.* Прародина орегонских старообрядцев-турчан по данным их говоров // Славянское языкознание. XIII МСС. М., 2003.
49. КДА — Карпатский диалектологический атлас. М., 1967.
50. Клепикова 1968 — *Клепикова Г. П.* Из опытов картографирования славянской лексики // ОЛА. МИ. М., 1968.
51. Клепикова 1977 — *Клепикова Г. П.* Сема-ономасиологический подход при исследовании некоторых лексико-семантических групп // ОЛА. МИ. М., 1977.
52. Клепикова 1985 — *Клепикова Г. П.* К проблеме взаимоотношений языков центральной и периферийной зон Балкано-Карпатского ареала // ОЛА. МИ. М., 1985.
53. Клепикова 1986 — *Клепикова Г. П.* К проблеме изучения лексико-семантической вариативности в гомогенном и гетерогенном диалектном континууме // Славянское и балканское языкознание. М., 1986.
54. Клепикова 1998 — *Клепикова Г. П.* Изоглоссы румынских заимствований в славянских диалектах карпатского ареала — типологический аспект // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 5. 1998.
55. Клепикова 2003 — *Клепикова Г. П.* К ареальной характеристике лексико-словообразовательных вариантов на картах ОЛА // ОЛА. МИ. М., 2003.
56. Клепикова, Попова 2004 — *Клепикова Г. П., Попова Т. В.* Некоторые проблемы украинского диалектного словоизменения // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 9. М., 2004.
57. Комягина 1994 — *Комягина Л. П.* Лексический атлас Архангельской области. Архангельск, 1994.
58. Крывіцкі, Падлужны 1984 — *Крывіцкі А. А., Падлужны А. І.* Фанетыка беларускай мовы. Мінск, 1984.
59. Кузьмина 1993 — *Кузьмина И. Б.* Синтаксис русских говоров в лингвогеографическом аспекте. М., 1993.
60. Кузьмина, Немченко 1971 — *Кузьмина И. Б., Немченко Е. В.* Синтаксис причастных форм в русских говорах. М., 1971.
61. ЛАБНГ 1993—1998 — Лексічны атлас беларускіх народных гавораў. Т. 1—5. Мінск. 1993—1998.

62. Лексический атлас русских народных говоров. Пробный выпуск. СПб., 2005.
63. Лизанец 1976¹ — *Лизанец П. Н.* Венгерские заимствования в украинских говорах Закарпатья. Будапешт, 1976.
64. Лизанец 1976² — *Лизанец П. М.* Атлас лексичних мадяризмів та їх відповідників в українських говорах Закарпатської обл. УРСР. Ужгород, 1976.
65. Матвіяс 1990 — *Матвіяс І. Г.* Українська мова і її говори. Київ, 1990.
66. Мацкевіч 1959 — *Мацкевіч Ю. Ф.* Марфалогія дзеяслова ў беларускай мове. Мінск, 1959.
67. Марчук 1983 — *Марчук Н. Й.* Система дієслівної словозміни // Фонетична, морфологічна, лексична система українських говорів. Київ, 1983.
68. Мораховская 1996 — *Мораховская О. Н.* Крестьянский двор: история названий усадебных участков. М., 1996.
69. Мызников 2003 — *Мызников С. А.* Атлас субстратной и заимствованной лексики русских говоров Северо-Запада. СПб., 2003.
70. Назарова 1985 — *Назарова Т. В.* Лінгвістичний атлас Нижньої Прип'яті. Київ, 1985.
71. Нарысы 1964 — Насысы па беларускай дыялекталогіі. Мінск, 1964.
72. Нефедова 1978 — *Нефедова Е. А.* О гипонимических отношениях в группе микологической диалектной лексики // ОЛА. МИ. М., 1978.
73. Нефедова 2002 — *Нефедова Е. А.* Диалектные лексические микросистемы в ареальном аспекте // Аванесовский сборник. М., 2002.
74. Николаев 1988, 1989 — *Николаев С. Л.* Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи // Балто-славянский сборник. М., 1988; 1989.
75. Николаев 1995 — *Николаев С. Л.* Вокализм карпатоукраинских говоров. I. Покутско-буковинско-гуцульский ареал // Славяноведение. 1995. № 5, 6.
76. Николаев 1996 — *Николаев С. Л.* Вокализм карпатоукраинских говоров. 2. Закарпатский ареал // Славяноведение. 1996. № 1.
77. Николаев, Толстая 2001 — *Николаев С. Л., Толстая М. Н.* Словарь карпатоукраинского торуньского говора с грамматическим очерком и образцами текстов. М., 2001.
78. Никончук 1994 — *Никончук М. В.* Лексичний атлас Правобережного Полісся. Київ, 1994.
79. Образование 1970 — Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. М., 1970.
80. Плотнікаў, Антанюк 2003 — *Плотнікаў Б. А., Антанюк Л. А.* Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум. Мінск, 2003.
81. Пожарицкая 1997 — *Пожарицкая С. К.* Русская диалектология. М., 1997.

82. Попов, Азарх и др. 1993 — *Попов И. А., Азарх Ю. С., Вендина Т. И., Герд А. И., Моряховская О. Н., Петрова З. М.* Лексический атлас русских народных говоров в кругу славянских атласов // Славянское языкознание. XI МСС. М., 1993.
83. Попова 1975 — *Попова Т. В.* Глагольное словоизменение в болгарском языке. Глагольное словоизменение: морфонологический аспект. М., 1975.
84. Попова 1978 — *Попова Т. В.* Об одном малоизвестном типе глагольного словоизменения в болгарских диалектах // ОЛА. МИ. М., 1978.
85. Попова 1995 — *Попова Т. В.* «Восточнославянские изоглоссы»: новый тип лингвогеографического исследования // Исследования по славянской диалектологии. 4. М., 1995.
86. Попова 1997 — *Попова Т. В.* Восточнославянские изоглоссы // Вестник РГНФ. М., 1997. № 3.
87. Просодический 1996 — *Просодический* строй русской речи. М., 1996.
88. Прохорова 1991 — *Прохорова С. М.* Синтаксис переходной русско-белорусской зоны. Ареально-типологические исследования. Минск, 1991.
89. Пшеничнова 1996 — *Пшеничнова Н. Н.* Типология русских говоров. М., 1996.
90. Сабадош 1999 — *Сабадош И. В.* Атлас ботанічної лексики української мови. Ужгород, 1999.
91. Соболев 2003 — *Соболев А. Н.* Малый диалектологический атлас балканских языков. Пробный выпуск. München, 2003.
92. Сцяцко 1977 — *Сцяцко П. У.* Беларускае народнае словаўтварэнне. Мінск, 1977.
93. Толстой 1963 — *Толстой Н. И.* Из опытов типологического исследования славянского словарного состава [I] // Вопросы языкознания. 1963. № 1.
94. Толстой 1966 — *Толстой Н. И.* Из опытов типологического исследования славянского словарного состава. II // Вопросы языкознания. 1966. № 5.
95. Толстой 1968 — *Толстой Н. И.* Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии // Славянское языкознание. VI МСС. М., 1968.
96. Толстой 1977 — *Толстой Н. И.* О соотношении центрального и маргинального ареалов в современной Славии // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1977.
97. Толстой 1997 — *Толстой Н. И.* Избранные труды. I. Славянская лексикология и семасиология. М., 1997.
98. Трубачев 2002 — *Трубачев О. Н.* Из истории и лингвистической географии восточнославянского освоения // Материалы и исследования по русской диалектологии. Вып. I (VII). М., 2002.
99. УМЕ — Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2000.

100. Фонетика 1968 — Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры. М., 1968 [Русский язык и советское общество: Социолого-лингвистическое исследование / Под ред. М. В. Панова].
101. Чабярук 1977 — *Чабярук А. И.* Лічэбнік ў беларускіх гаворках. Мінск, 1977.
102. Щерба 1915 — *Щерба Л. В.* Восточнолужицкое наречие. Пг., 1915.
103. ЭРЯ — Русский язык. Энциклопедия. М., 1997.
104. Lizanec 1970 — *Lizanec P.* Magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok. Uzshorod, 1970.
105. Weinreich 1954 — *Weinreich U.* Is a structural dialectology possible? // Word. 1954. V. X. № 2—3.

Примечания

¹ Поскольку наш доклад преследовал цель рассмотрения прежде всего исследований в тех направлениях славянской диалектологии, которые были выделены участниками Совещания 1961 г. в качестве приоритетных, настоящий обзор не является (более того — не может быть) исчерпывающим. Создание полных критико-библиографических обзоров работ по диалектологии отдельных восточнославянских языков — задача прежде всего каждой национальной диалектологии.

² Материалы совещания были опубликованы, см.: Краткие сообщения Института славяноведения. Вып. 33—34. М., 1961.

³ Подробнее о разработке диалектологической проблематики в ИСл см.: *Калнынь Л. Э., Клепикова Г. П.* О некоторых итогах и перспективах исследований по славянской диалектологии // Славяноведение. 1995. № 6.

⁴ Кратко об этом см.: Русский язык. Энциклопедия. М., 1997. С. 117—119; БУС. 6—32.

⁵ ОЛА. Серия фонетико-грамматическая. Вып. 1. Рефлексы *ѣ. Белград, 1988; Вып. 2а. Рефлексы *ѣ. М., 1990; Вып. 2б. Рефлексы *ѣ. Wrocław, Warszawa—Kraków, 1990; Вып. 3. Рефлексы *ъ, *ь, *ы, *ы. Warszawa, 1994; ОЛА. Серия лексико-словообразовательная. Вып. 1. Животный мир. М., 1989; Вып. 2. Животноводство. Warszawa, 2000; Вып. 3. Растительный мир. Мінск, 2000; Вып. 8. Профессии и общественная жизнь. Warszawa, 2003.

⁶ Подробнее о целях и задачах ОКДА и этапах его реализации см.: *Бернштейн С. Б.* Общекарпатский диалектологический атлас // Прилози МАНУ. Т. XIII/1. Скопје, 1988. С. 134—135; ОКДА. Вступительный выпуск. Скопје, 1997. С. 9 и сл.; *Бернштейн С. Б., Клепикова Г. П.* ОКДА. Итоги и перспективы // Славянское языкознание. VIII. МСС. М., 1978; *Бернштейн С. Б., Видоески Б., Клепикова Г. П., Лиза-нец П. Н., Рипка И., Сятковски Я.* Проблемы дифференциации славянского диалектного ландшафта (по данным ОКДА) // *Бернштейн С. Б.* Из проблематики диалектологии и лингвогеографии. М., 2000. С. 256 и сл.

⁷ ОҚДА. Вып. 1. Кишинэу, 1989; Вып. 2. М., 1994; Вып. 3. Warszawa, 1991; Вып. 4. Львів, 1993; Вып. 5. Bratislava, 1997; Вып. 6. Budapest, 2001. Последний выпуск публикуется в Сербии и Черногории.

⁸ Диалектологический атлас русского языка. Вып. I. Фонетика. М., 1986; Вып. II. Морфология. М., 1989; Вып. III/1. Лексика (карты). Минск, 1997; Вып. III/2. Синтаксис. Лексика (карты). М., 2004; Диалектологический атлас русского языка. Вып. III (комментарии). М., 1996. Дзялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск, 1963; Атлас української мови. Т. 1. Київ, 1984; Т. 2. Київ, 1998; Т. 3. Київ, 2000.

⁹ Библиографию работ по белорусской диалектологии см.: *Плотнікаў Б. А., Антанюк Л. А.* Беларуская мова. Лінгвістычны кампендыум. Мінск, 2003. С. 626—647.

¹⁰ Восточнославянские изоглоссы. Вып. 1. М., 1995; Вып. 2. М., 1998; Вып. 3. М., 2002.

¹¹ См. также предисловия Т. В. Поповой к 1—3 выпускам ВСИ.

¹² Ср. также новый подход к изучению русских говоров в пространственном аспекте: *Баранникова Л. И.* Опыт составления таблично-числового диалекто-логического атласа русского языка на материале говоров территории позднего заселения // Аванесовский сборник. М., 2002.

¹³ См. также: *Никончук М. В.* Матеріали до лексичного атласу української мови (Правобережне Полісся). Київ, 1979; *Никончук М. В.* Сільськогосподарська лексика Правобережного Полісся. Кіпв, 1988; *Никончук М. В., Никончук О. М.* Транспортна лексика Правобережного Полісся в системі східнослов'янських мов. Кіпв, 1990 и др.

¹⁴ См. об этом: *Калнынь Л. Э.* Значение трудов Р. И. Аванесова для теории диалектологий // Аванесовский сборник. М., 2002.

¹⁵ Специально отметим, например, большой интерес к изучению разных диалектных групп, представленных в языке русских старообрядцев: *Касаткина Р. Ф., Касаткин Л. Л.* Прародина орегонских старообрядцев-турчан по данным их говоров // Славянское языкознание. XIII. МСС. М., 2003.

¹⁶ Ср. и появление в последние годы таких изданий, как: *Касаткина Р. Ф.* Русские народные говоры. Звучащая хрестоматия. Севернорусские говоры. М.—Бохум, 1999; *Она же.* Русские народные говоры. Звучащая хрестоматия. Южнорусские говоры. М., 1999 и др. Подробнее см.: *Краузе М., Саппок К.* Архивация и обработка диалектных записей: опыт славистов из Бохума // Материалы и исследования по русской диалектологии. Вып. I (VII). М., 2002.

¹⁷ Описание корпуса диалектных записей украинских говоров содержится в: *Український діалектний фонотонд* (под ред. П. Ю. Гриценко и др.). Київ, 2004.

¹⁸ Подробнее см.: *Блинова О. И.* Аспекты изучения народной речевой культуры // Аванесовский сборник. М., 2002 (там же — полная библиография соответствующих работ).

¹⁹ См., например: Калнынь Л. Э., Клепикова Г. П. Вопросы диалектологии на XIII МСС // Вопросы языкознания. № 2. 2004.

²⁰ О важности изучения взаимоотношений между ЛЯ и диалектами см. работу У. Вайнрайха, который рассматривал данную проблему в контексте общей теории билингвизма (*Weinreich U. Languages in contact. New York, 1953; Idem. On the description of fonic interference // Word. 1957. V. XIII. № 1*).

²¹ Расширенный вариант данного доклада см. в статье: Славянская диалектология: некоторые итоги и перспективы развития (к 40-летию Координационного совещания по актуальным проблемам славяноведения) // ОЛА. МИ. М., 2004.

Авторские стратегии присоединения текста к предшествующему корпусу текстов (Чеслав Милош и Ярослав Ивашкевич)

Одни из ключевых понятий эстетики постмодерна — повторение и воспроизведение лежат в основе так называемых серийных форм. В последующих воспроизведениях каждый текст превращается в копию, в иконический знак самого себя, и со временем он, как оригинал, оказывается недостижимым для интерпретатора. Возведенное в абсолют понятие интертекста отрицает авторство как таковое.

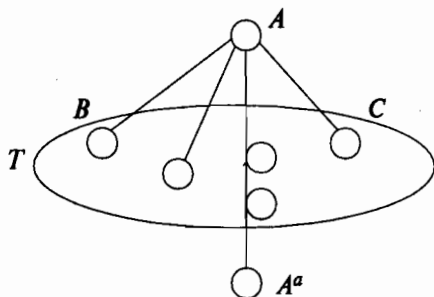
Опровержение этого положения оказывается возможным в рамках теории референции, когда возникновение любого текста-знака рассматривается как результат референциальной отсылки к тексту-пресуппозиции с последующим его интенциональным отображением. Именно этим объясняется присутствие в структуре текста «следов» других текстов. Таким образом, заявленная тема предполагает новый способ обсуждения традиционного круга вопросов, связанных с проблемами межтекстовых взаимодействий (например вопроса об авторстве в пространстве культуры).

В основе репрезентации текстом другого текста всегда лежит **авторская стратегия отражения и отображения**. В процессе создания текста совершается переход от разделительного взгляда на ситуацию, которая станет полем означивания (дизъюнкции-выбора элементов культурного пространства), к соединительному (конъюнктивному) высказыванию по поводу означаемого, т. е. к собственно репрезентации текстовой пресуппозиции. При этом следует говорить отдельно о способе корреспондентно-репрезентативного отношения текста как к каждому из означиваемых текстов, так и текстовому пространству в целом.

Репрезентация предшествующего корпуса текстов в данном всегда сопровождается процессом сжатия информации: указывая на предшествующий текст или его фрагмент как на «имя» некоторой сущности, мы трансформируем это имя в сущностный предикат, в качестве которого и функционирует знак межтекстовых взаимодействий. Путь от именованного к сущностному обозначению можно рассматривать как инвариантный для любого творческого процесса. Авторским же в процессе межтекстовой коммуникации является способ сущностного обозначения текстов-пре-

суппозиций: преимущественное указание на них (индексальность), демонстрация структурного подобия предшествующего и последующего текстов (иконичность), обозначение пресуппозиции как ее отображение (символизация). Следует заметить, что реальные условия процесса означивания затрудняют возможность строгой его категоризации: способ обозначения всегда лишь по преимуществу предстает как индексальный, иконический или символический, поскольку замещаясь, означаемое тем самым и символизируется.

С топологической точки зрения, на одном и том же субстрате культурных знаков могут быть построены по крайней мере две системы (два множества), отличающиеся характером взаимодействий своих элементов и представляющие различный (интенсивный или экстенсивный) способ передачи информации. Текст (A) может присоединяться к текстам-индивидам или к классу текстов — ко множеству индивидов или ко множеству как семантическому целому. В первом случае можно говорить об **экстенсивном способе означивания** текстового пространства (T), где A охватывает поле, ограниченное текстами B, C, \dots Во втором случае это **интенсивный способ означивания**, при котором A становится структурной частью текстовой парадигмы $A - A^a$, где все ее члены есть та или иная контекстная (историческая, личная, временная и т. д.) модификация A .



Иными словами, под **экстенсивностью** следует, исходя из внутренней формы термина, понимать степень охвата или протяженности всего поля означиваемых текстов. Под **интенсивностью** — парадигматическое («осмысляющее») погружение в текстовое пространство. Отметим, что любой акт репрезентации текстом A T -пространства рассматривается как экстенсивный или интенсивный только *по преимуществу*, поскольку за пресуппозициями B или C также могут стоять одноименные текстовые парадигмы,

в которые А, как текст, обладающий общим элементом их значений, войдет составной частью. Отсюда мы делаем заключение о невозможности выделения точной границы перехода между данными стратегиями означивания.

Экстенсивный способ означивания осуществляется, в основном, через систему индексальных указаний на предшествующие тексты. Наличие индексального указания на текст-источник формально и семантически фиксирует факт *включения* предшествующего текста в последующий, когда автор прибегает к другим текстам как к своего рода доказательной базе. Операция *включения* в текст предшествующих источников тождественна логической операции объединения множеств.

Напротив, интенсивный способ вхождения в культурное пространство предполагает, скорее, символизацию корпуса предшествующих текстов, т. е. процесс их непрямого включения в структуру данного. Этот семантический процесс тождественен операции *пересечения* множеств и свидетельствует о свершившейся освоенности текстовых пресуппозиций, об универсальном (сквозь призму множества текстов) способе мышления автора. Если «индексальная орнаментация» создает визуальную отграниченность авторского текста от текстов-источников, то семантические пересечения, напротив, незаметно для глаза стирают границы между «своим» и «чужим», делая естественным множественный способ мышления о мире. Тот факт, что в процессе семантических пересечений автор не указывает нам на тексты-источники, говорит не о плагиате, а, скорее, о глубоком внутреннем интеллектуальном родстве с «чужим» словом. Указание на источники становится невозможным по той причине, что они, в силу переработанности и освоенности, в большей степени относятся к «своему», чем к «чужому». В процессе интенсивного означивания текстовое пространство культуры выстраивается парадигматически, «по вертикали». В качестве текстов-пресуппозиций в этом процессе могут выступать и тексты самого автора.

Таким образом, процесс вхождения в культурное пространство, основанный на механизме межтекстовых взаимодействий, не отменяет, а напротив, предполагает авторскую стратегию означивания поля предшествующих текстов. Рассмотрим эти стратегии на примере стилистических манер Чеслава Милоша и Ярослава Ивашкевича. Обращаясь к практически тождественному тематическому полю означиваемых текстов культуры (мифология, польская и западноевропейская литература XVIII–XX вв., философия, музыка, живопись, архитектура, теология), Ч. Милош и Я. Ивашкевич осуществляют процесс означивания в стилистически несходной

манере. В способе вхождения в пространство культуры Милоша отличает бóльшая экстенсивность, Ивашкевич же в бóльшей степени интенсивен.

Ч. Милош, в категориях пирсовской семиотики, тяготеет к «индексальным выражениям». Имена текстов и имена их авторов, также выступающие как тексты, — это знаки прошлого и настоящего, знаки этапов человеческого опыта и познания. За именем собственным стоят непроясненные пучки качеств, позволяющие называть целый фрагмент действительности: имя всегда знак чего-то бóльшего. Имена философов, художников, музыкантов — это для Милоша способ *очертить* пространство своей мысли, дать топологическое представление об интеллектуальном контексте своей жизни. Единичные собственные имена при ближайшем рассмотрении оказываются общими, обозначающими множества свойств единичных понятий. Так, например, Орландо Лассо («Орландо, применяющий непобедимость форм?..») — это богатство хроматизмов и смелое для XVI в. соединение тональностей; в его мотетах одновременно разворачивались различные, словно возникшие независимо друг от друга мелодии.

Создавая интегрированную сеть культурных смыслов, в основе механизма которой переход от одного индексального указания к другому, поэт стоит словно *над* этой сетью, выступая как демиург сотворенного им мира. В работе «О книге» границы такого мира индексально очерчиваются прозой Конрада, стихом Хафиза, хором Фауста, Норвидом. Взгляд Милоша на пространство культуры — это не столько «охватывающие», сколько «понимающие» структурные связи этого пространства взгляд поэта, чьей волей оказывается навеки соединенной множественность разнородных составляющих мира. Индексальный по преимуществу, способ «оглянуться назад» определяет стилистическую мозаичность форм Ч. Милоша, намеренную нецелостность, парадоксальный выход за рамки им же самим устанавливаемой «доктрины целостности». Милош мыслит о целостности мира как о включении своего «я» в его пространство. Однако его «я», принадлежа системе, все же сохраняет свою в ней отдельность (границу между «я» и «не я»). Системой индексальных (по способу корреспондентного соотношения с пресуппозициями) знаков Милош как будто парит над всей вторичной (текстовой) действительностью. Его собирающий взгляд — это взгляд человека, стоящего *над* культурным пространством.

Поздний Я. Ивашкевич демонстрирует иную манеру означивания предшествующих текстов, стремясь ощутить себя структурной составляющей пространства культуры. Символизация текстовых пресуппозиций (в том числе пространств собственных текстов), а значит и соби́рание этих текс-

тов в одну представленческую парадигму — это наиболее характерная черта, отличающая Ивашкевича в способе вхождения в культурное пространство. «Интенсивность» его стиля, или, по Томасу Манну, «императив плотности», достигается через преимущественно парадигматический способ означивания пресуппозиций. Так, например, за «Рассказом с собакой» стоит парадигма неназываемых «фаустовских» текстов европейской культуры.

«Отдельность» своей стилистической манеры Ивашкевич проявляет через «естественную» включенность в вертикальную парадигму других (в том числе и своих) текстов. Ивашкевич приходит к состоянию Gestalt, находясь словно *внутри* культурного пространства. Для него границы «я — не я» оказываются более прозрачными. Знаки межтекстовых взаимодействий в структуре его текстов выступают, прежде всего, именами отношений, актуализированных в реальности предшествующих текстов. Это в большей степени знаки-символы, в семантическом пространстве которых исчезает вопрос об «авторе» их текстовых денотатов. Для стиля Я. Ивашкевича характерен прием, когда процесс символизации происходит не в пределах языка и культуры, а в более ограниченных пределах единого Текста писателя. Авторские символы мыслятся в пространстве текстовых парадигм как репрезентации сложных состояний сознания, а не предметов и событий (вербальные знаки покой, интенсивность, счастье, прекрасное, грустное и др., воспроизводимые практически в каждом тексте писателя).

Таким образом, авторские стратегии вхождения в культурное пространство сводятся а) к выбору способа корреспондентно-репрезентативного отношения авторского текста с пресуппозициями (индексальное указание, символизация, иконическое воспроизведение элементов структуры) и б) к выбору типа топологической организации множества предшествующих текстов (экстенсивного/интенсивного, по преимуществу, способа вхождения в текстовое пространство культуры).

В случае преимущественно **интенсивного** способа означивания

— наблюдается «экономия» стилистических ресурсов. Действительно, стилистическая манера Я. Ивашкевича связывается, прежде всего, с авторскими символами состояния сознания. Авторские символы выступают как в достаточной степени скрытый стилистический прием, поскольку референция совершается к пространству *собственных* текстов;

— парадигматический (по культурной вертикали) способ означивания позволяет, концентрируя смысл, создавать эффект качественного скачка в его становлении. В парадигме авторских (и не только) текстов Я. Ивашкевича на каждой новой ступени (в новом тексте) происходит интенцио-

нальное отображение инвариантных для всей парадигмы значений покой или интенсивность;

— «целостность» культуры понимается как структурная включенность своего «я» в пространство других текстов. Создаваемый автором текст не просто несет в себе следы включения других текстов, но, прежде всего, демонстрирует их «освоенную включенность». Интенсивный способ означивания текстов-предсуппозиций предполагает структурно-семантическое пересечение с их пространствами.

Еще раз отметим, что:

а) для интенсивного способа означивания характерны символические знаки межтекстовых взаимодействий, в том числе, с имплицитной формой выражения (например, не проявленные авторские символы), не предполагающие актуализированной отсылки к другому знаку, т. е. знаковой интерпретанты;

б) поскольку указание на текст-источник совершается как его символизация, т. е. в не проявлено-имплицитной форме, обнаружить следы интертекстуальных взаимодействий часто становится затруднительным.

Экстенсивный же (по преимуществу) способ вхождения в культурное пространство означает

— увеличение разнообразия используемых средств (от индексальных указаний на предшествующие тексты, использования общекультурных символов до иконических стилизаций). Передавая сообщение, автор в этом случае создает мощность сигнала через более визуальное выделение стилистического приема (например, у Милоша это преимущественно индексальное указание на различные тексты культуры);

— множественность индексальных указаний становится причиной количественного увеличения стилистического эффекта. Так, Милош очерчивает интеллектуальную границу своих текстовых миров именно через многократность индексальных указаний на соответствующие по семантике тексты-предсуппозиции. Его указание совершается более по «поверхности» культурного пространства, вовлекая в орбиту текста все новые референты. И если учитывать число текстовых референтов, такое указание является многоканальным;

— «доктрину целостности» (единства с предшествующим текстовым пространством), которая предполагает видение или охват культурного пространства «сверху», — видение, где сохраняется отдельность своего «я» от «не я», визуальная отграниченность авторского текста от текстов-предсуппозиций.

Экстенсивному способу вхождения в текстовое пространство оказываются более свойственными *индексальные* знаки межтекстовых взаимодействий с эксплицитной формой выражения. Частные случаи создания эксплицитной формы выражения предполагают наличие в тексте авторского «комментария» к таким знакам.

Авторские стратегии различаются и *наиболее часто используемым тематическим классом* знаков межтекстовых взаимодействий. Здесь можно говорить о том, что экстенсивный тип мышления будет отдавать предпочтение знакам, отсылающих к текстам литературным, пластическим искусствам, живописи. Так происходит воплощение визуального образа, который, в свою очередь, обязательно несет в себе понятие границы, очерчивающей поле текстов. Напротив, интенсивному типу мышления свойственно использовать знаки, отсылающие к текстам, создающим скорее временной, чем пространственный образ, — например, к музыкальным, текстам.

Таким образом, в основе существования и становления культурного пространства лежит механизм межтекстовых взаимодействий, основанный на референциальных отсылках возникающего текста к предшествующему полю текстов. Однако способ отображения других текстов всегда несет на себе личную «подпись» его автора: текст всегда представлен по отношению к культурному пространству как его индивидуальный парадигмальный сдвиг.

Н. А. Тупилова
(Волгоград)

Функциональная семантика глагольной лексики в культурно-историческом аспекте (к проблеме лингвистического описания русского архива Яна Сапеги 1607—1611 годов)

Исследование архивных материалов, письменных свидетельств о событиях разных эпох позволяет не только ввести в научный оборот значительный массив исторических фактов, но и расширить состав текстов, значимых при решении вопросов об источниках изучения языкового развития того или иного общества.

К документам, которые дают возможность по-новому взглянуть на проблемы культурно-исторического и культурно-языкового взаимодействия польского и русского народов, относятся скорописные памятники начала XVII в., хранящиеся в коллекциях и библиотеках России, Польши, Украины и Швеции¹.

Подготовленный коллективом исследователей Волгоградского государственного университета для опубликования на языке оригинала «русский архив» Яна Сапеги (одного из заметных деятелей Смутного времени) включает полный текст (и перевод на русский язык) «Дневника Сапеги» 1608—1611 гг., войсковые и канцелярские бумаги, переписку с Лжедмитрием II и его окружением, с Сигизмундом III и представителями московских властей, грамоты, челобитные, известия из провинций, документы земского ополчения и др. материалы 1607—1611 гг., судьба которых до последнего времени оставалась не до конца известной². Данный проект научного издания явился результатом многолетней работы по изучению и систематизации источников³. Выявленные в процессе разысканий архивные комплексы открывают возможность не только уточнить или «проиллюстрировать» уже известные сведения, содержащиеся в летописной и мемуарной литературе, но и взаимопроверить содержащиеся в них факты, внести коррективы в сложившиеся представления о рассматриваемом историческом периоде и связанными с ним процессами культурно-исторического порядка.

Научный интерес к бумагам архива Сапеги как единственного дошедшего до нас целостного собрания начала XVII в., фиксирующего деятель-

ность антиправительственного лагеря, способствовал выдвижению различных гипотез историографического и источниковедческого характера и аргументов в пользу их доказательства⁴. Специальное исследование, проведенное доктором исторических наук, профессором Волгоградского государственного университета И. О. Тюменцевым, позволило обнаружить важные свидетельства для подтверждения высказанных ранее предположений и приступить к реконструкции русского архива гетмана.

Сопоставление документов анализируемых коллекций с многочисленными упоминаниями в «Дневнике» переписке, прибытии и отправке посольств, высокопоставленных лиц и духовных иерархов, анализ сведений, отражающих суть происходивших событий, поиск новых источников, о которых было известно лишь по отдельным упоминаниям в памятниках разных жанров, дают основания для комплексного изучения архива и его фондов представителями разных наук, в том числе и языковедами. Перспективность такого сотрудничества обусловлена необходимостью осмысления уникальных исторических данных во взаимосвязи с фактами истории славянских языков и деятельностью творца — носителя данного языка как языковой личности, способной создавать и воспринимать речевые произведения различной степени структурно-языковой сложности, глубины, точности отражения действительности и определенной целевой направленности⁵.

В состав архивного комплекса входят старопольские и старорусские тексты, анализ которых помогает открыть новые грани взаимоотношений восточных и западных славян. В то же время, выступая как часть языковой культуры народов России и Польши, рассматриваемые источники отражают важнейшие тенденции развития национальных языков — расширение сферы их функционирования и усиление роли в общегосударственной жизни общества⁶.

Каждая культура, как известно, «говорит» на своем языке. Как писал В. фон Гумбольдт, язык «не является произвольным творением одного человека, а принадлежит всегда целому народу. Но языки можно считать творением народов, и в то же время они остаются творением отдельных лиц»⁷. Словарный состав языка во многом определяется архетипом языкового сознания народа. Ответ на вопросы *что* и *как* актуализируется в акте номинации дает ключ к организации ментально-культурного языкового пространства; его специфика, в свою очередь, может быть выявлена благодаря рассмотрению смысловых связей слов⁸, опосредованно отражающих восприятие человеком окружающего мира, отношение мысля-

шего субъекта к продуктам материальной и духовной жизни общества⁹. В оценке слова любого языка, по мнению В. В. Колесова, следует принимать во внимание социальную значимость словесного знака, нормативный ранг, его роль как факта, так и фактора культуры¹⁰.

Учитывая сказанное, в качестве важнейшего постулата при рассмотрении функциональной семантики языковых единиц нами признается необходимость сопряжения их семантико-стилистической характеристики с выявлением оттенков смысла, за которыми стоят представления и символы, присущие народному мышлению в его временной и географической определенности¹¹. При этом особое внимание уделяется глаголу как организующему центру высказывания, в рамках которого возможно представить изображаемый «мир реалий... многообразные пути и линии их связей, отношений, зависимостей» и весь «арсенал оценок и квалификаций» как самих реалий, лиц, так и их отношений, связей¹².

Основную базу русского архива Яна Сапеги составляют старопольские скорописные тексты, среди которых важнейшим является «Дневник Сапеги» 1608—1611 гг. Значимость данного источника для описания всего комплекса документов в их соотнесенности можно считать первостепенной. Дневниковые записи, которые почти ежедневно велись секретарями гетмана и представляют собой своеобразную «летопись» деяний командующего наемного войска в период Смуты, с одной стороны, отражают нормы делового стиля с его установкой на документальность и объективность изложения, фиксацию важнейшей информации о войсковых операциях, встречах с официальными лицами и тайными посланниками, о содержании почтовых сообщений, известий из провинций, Москвы и Речи Посполитой; с другой стороны, включают различные способы самовыражения автора, средства субъективной оценки при описании исторических фактов.

Среди важных тенденций в развитии польского языка необходимо при этом отметить следующее: несмотря на большое количество латинизмов, заметную роль в формирующейся письменной традиции играет то, что З. Клеменевич называет «*slownictwo rodzime*»¹³. В анализируемых текстах, в частности, обращает на себя внимание использование общеславянских глаголов, «польщизны», когда речь идет о военных действиях. Учитывая, что старопольский период характеризуется большим количеством заимствований военной лексики из немецкого языка, названное явление представляется чрезвычайно значимым. Так, польские глаголы обнаруживают тенденцию к устойчивому использованию в определенных значениях и сочетаниях при характеристике состояния воюющих сторон (*stali w spr-*

wie, położył się obozem, pobić na głowę), перемещения отрядов наемного и правительственного войск (pójść w imię pańskie po drugich zmienników, Jego Mość wyprawiał na czatę, Jego Mość się ruszył od Prudnik), интенсивности наступления или оборонительных действий (w tył uderzyli, zewsząd ogarnęli, następują potężnie, bronić się nie chcieli z miasta, wzać przez gwałt) и т. д. Глаголы и глагольно-именные сочетания с семантикой бытия-существования, перемещения, конкретного физического действия, приобщения объекта, местонахождения, противодействия, наличия/отсутствия и др. в составе описательных и устойчивых выражений выступают со специальными значениями «стоять в полной боевой готовности», «расположиться лагерем», «разбить наголову», «наступать (с божьей помощью)», «направить в дозор», «двинуться от...», «ударить в тыл», «окружить (со всех сторон)», «мощно наступать», «(не желать) обороняться», «взять приступом» и др., что свидетельствует о развитии семантической системы польского языка в соответствии с принципом избирательности употребления речевых средств и полифункциональности языковых единиц.

Анализ принципов отбора лексики как средства фиксации информации в «Дневнике Яна Сапеги» может привести к интересным выводам о степени исторической достоверности либо тенденциозности содержащейся в нем индивидуальной оценки происходивших событий. Перспективным в данном случае оказывается сопоставление названного источника с теми сведениями, которые отражены в старорусских памятниках письменности. Так, например, в «Сказании Авраамия Палицына» имеется несколько сходных по содержанию фрагментов с записями «Дневника», в которых исторические факты осмысливаются с иной субъективной окраской. В частности, запись «Дневника» за 20 октября 1609 г. рассказывает о том, что защитники Троице-Сергиева монастыря «учинили вылазку», «ударили по позициям пехоты» и отступили, имея большие потери. При этом очевидец со стороны сапежинского войска ничего не говорит о количестве убитых и раненых среди наемников; оценка произошедшего касается только действий осажденных: автор употребляет глагольно-именное сочетание с негативной коннотацией «sprošnie ustapili do zamku» («позорно отступили в монастырскую крепость»). В русском источнике документальное свидетельство о событиях 20 октября 1609 г. и успехах защитников крепости, не позволивших неприятелю взять монастырь приступом, сопряжено с экспрессией горечи и реализовано в образно-эмоциональной форме с использованием книжных лексем: «И от обою страну мнози пивше смертную чашу»¹⁴; выражение «(вы)пили смертную чашу» имеет высокую, скорбную

окраску, включает глагольные и именные компоненты в переносном значении; контекстуальный уточнитель «от обою страну» подчеркивает, что речь идет о больших потерях и со стороны противника.

Избирательное отношение Сапеги и его секретарей к событиям в зависимости от военных успехов или неудач войска может проявляться также и в других деталях — большей детализации описываемых действий или краткости изложения.

Анализ текстов в составе архивного комплекса дает возможность «открыть» новые страницы как с точки зрения воссоздания неизвестных ранее деталей в объективной картине происходивших событий, так и с точки зрения развития функциональных возможностей «сырой» речи (З. Клеменевич) в период расцвета «золотого века» в истории польского языка¹⁵. Так, рассматриваемые разножанровые источники свидетельствуют об активном использовании средств, свойственных непринужденному общению, иноязычных элементов в текстах делового содержания, что приводит к нарушению официальности повествования, к появлению фрагментов, отражающих субъективное отношение говорящего (пишущего). Примером такого «вкрапления» является выражение в лаконичном волеизъявлении Лжедмитрия II от 14 января 1609 г.: *Żądamy tedy, aby Uprz. W. w majętności onego i wszystkiego duchowieństwa (aby potem do nas serc swych nie tracili) żadnych excessów czynić nie dopuszczał* (OR BRAN. Ms. № 345. № 65. Л. 129—129 об.). — «Требуем, чтобы Ваша Милость в его владениях и владениях всего духовенства (чтобы они потом нам не плакались) никаких нарушений не допускал». В данном послании, нарочито сдержанном и кратком по своему стилю и форме, содержится запрещение грабить вотчины архиепископа Галактиона и других церковных иерархов; напоминая о неоднократности своих приказов наладить нормальные отношения с монастырями, автор письма употребляет фразу, которая непосредственно не имеет отношения к тексту распоряжения, — устойчивое сочетание «*do nas serc swych nie tracili*», в котором глагол социальной деятельности приобретает переносное, образное значение речевого выражения эмоций и выступает в характерологической функции для оценки поведения названной группы лиц в описываемой ситуации.

Необходимо сказать, что имеющиеся в составе исследуемого фонда новые находки значительно расширяют скупо представленные в ранее известных старопольских и старорусских источниках сведения об отношениях тушинцев с русской Православной церковью на территории московских земель.

Описание архивного комплекса дает возможность сопоставить документы, относящиеся к одной группе бумаг или части архива Сапеги. При этом лингвистические наблюдения способствуют уточнению исторической картины событий, судеб их участников. Например, по источникам, в том числе из «Дневника», известно о 8 письмах, составлявших переписку гетманов Ружинского и Сапеги, отношения между которыми складывались непросто и зависели от решения вопросов, касавшихся раздела сфер влияния на захваченных территориях. В числе 5 писем, которыми располагают исследователи (Polska brev. (SRSPB). E 8604; OR BRAN. Ms. № 345, 127, 186, 160, 161), одно из посланий Ружинского, обнаруженное в шведском архиве, подтверждает сведения о разных периодах соперничества гетманов. Первые письма Ружинского отражают ситуацию примирения. Это проявляется и в содержании писем, информирующих Сапегу о благосклонности Лжедмитрия II, и в учтивости пространного слога; в данных текстах частотны глаголы со значением готовности, желания, дружеского расположения, они могут использоваться в составе этикетных фраз самоуничижительного характера, с окраской почтения и т. п.: *Służby me zalecam łaską W. M. mego M. P.; Powtóre się zalecam do miłościwej łaski W. M.; Proszę, radź W. M.*

Последующие письма становятся короче и суше. Князь Ружинский одним или двумя предложениями сообщает о передвижении войска, употребляя вежливо-официальные фразы типа: *O wiadomość jako nprężą proszę.* В последнем известии Сапеге гетман ограничивается перечислением списка награбленного, которое требуется вернуть «нужному» человеку — одному из преданных наемникам московских бояр. Глаголы, функционирующие в тексте, имеют бытовой, конкретный смысл, что способствует подчеркнuto нейтральному тону повествования, без намека на особое расположение к адресату.

Предпринятое лингвистическое исследование архивного комплекса документов начала XVII столетия дает возможность с большей точностью охарактеризовать события периода Смутного времени, обнаружить историческую ценность сопоставляемых источников, выявить новые свидетельства в пользу сходства и различий в доминирующих процессах формирования славянских литературных языков, показать особенности проявления тенденций к единству этнического языка и его полифункциональности на основе взаимодействия различных по происхождению и функционально-семантической специфике лексических единиц и развития признака полифункциональности литературного языка.

Примечания

¹ Архив Санкт-Петербургского отделения Института российской истории РАН (АСПБОИРИ). К. 124. Оп. 1; К. 145; К. 174. Оп. 2; *Sapiega J. P. Dziennik // Hirschberg A. Polska a Moskwa w pierwszej polowie wieku XVII*. Lwów, 1901; Отдел рукописей Львовской научной библиотеки Национальной академии наук Украины (ОР ЛНБ НАНУ). Ф. 103; Oddział rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Naukowej w Krakowie (OR BRAN) N 345, 360; Stockholm. Riksarkivet. Skoklostersamlingen. Polska brev. (SRSPB). E 8604, Ryska brev. (SRSRB). E 8610.

² «Русский архив» Я. Сапеги подготовлен к изданию авторским коллективом в составе: д-р ист. наук, проф. И. О. Тюменцев, канд. филол. наук, доц. Н. Е. Тюменцева, д-р филол. наук, проф. Н. А. Тупикова (при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, грант № 00-01-00044а). В настоящее время первый том издания (Дневник Яна Сапеги) готовится к изданию в серии «Памятники истории Восточной Европы».

³ См.: *Тюменцев И. О.* Смута в России в начале XVII столетия: движение Лжедмитрия II. Волгоград, 1999; *Тупикова Н. А., Тюменцева Н. Е., Тюменцев И. О.* Донесения иноземцев о ситуации в Замосковье и Поморье в 1608—1609 годы (из русского архива Яна Сапеги) // *Россия XV—XVIII столетий: Сборник научных статей. Юбилейное издание.* СПб., Волгоград, 2001. С. 235—266; Они же. Пять писем тушинского гетмана Романа Ружинского из русского архива Яна Сапеги 1608—1610 годов // *Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения.* Волгоград, 2001. Вып. 6. С. 24—33; Они же. Письма по церковным делам из русского архива Яна Сапеги 1607—1611 годов // *Мир Православия: Сб. науч. ст.* Волгоград, 2002. Вып. 4. С. 167—180.

⁴ См.: *Флоря Б. Н.* Два письма начала XVII в. из Троице-Сергиева монастыря // *История русского языка. Исследования и тексты.* М., 1982. С. 319—325.

⁵ См.: *Караулов Ю. Н., Красильникова Е. В.* Русская языковая личность и задачи ее изучения // *Язык и личность.* М., 1989. С. 3.

⁶ См.: *Klemensiewicz Z.* Historia języka polskiego. Warszawa, 1985. Cz. II. S. 276—277; *Ларин Б. А.* Лекции по истории русского литературного языка (X — середина XVIII в.). М., 1975. С. 219—237.

⁷ *Гумбольдт В. фон.* Избранные труды по языкознанию / Под ред. Г. В. Рамишвили. М., 1984. С. 318.

⁸ *Вендина Т. И.* Языковое сознание Средневековья и возможности его реконструкции // *Славяноведение.* 2000. № 4. С. 25.

⁹ *Лопушанская С. П.* Семантическая модуляция как речемыслительный процесс // *Научные школы Волгоградского государственного университета. Русский глагол: История и современное состояние.* Волгоград, 2000. С. 20.

¹⁰ *Колесов В. В.* «Жизнь происходит от слова...» СПб., 1999. С. 182.

¹¹ См.: Там же. С. 191—205.

¹² Шведова Н. Ю. Глагол как доминанта в системе русской лексики // Филологический сборник: К 100-летию со дня рождения академика В. В. Виноградова. М., 1995. С. 410.

¹³ *Klemensiewicz Z.* Op. cit.

¹⁴ Сказание Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиева монастыря // Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI — начало XVII веков / Сост. и общ. ред. Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев. М., 1987. С. 189.

¹⁵ См.: *Lehr-Splawiński T.* Język polski. Pochodzenie — powstanie — rozwój. Warszawa, 1951.

Текстология поздних редакций церковнославянского Евангелия: постановка проблемы

В рукописную эпоху славянские библейские тексты были представлены в трех главных разновидностях: служебной, четъей и толковой (Алексеев 1999, 13). В настоящее время толковый текст как особая разновидность библейского текста не выделяется, однако в практике Русской Православной Церкви остаются противопоставленными служебный и четий типы¹. Служебный текст (далее СТ) предназначен для использования при общественном и частном богослужении², четий (ЧТ) — для келейного, «домашнего» чтения.

Печатаемый в последние столетия ЧТ восходит к Елизаветинской Библии 1751/1756 г. (которая, как известно, продолжает традицию Острожской Библии 1580/1581 г. и далее Московской Библии 1663 г.). Насколько можно судить при сопоставлении отдельных фрагментов, современные издания ЧТ отличаются друг от друга и от Елизаветинской Библии прежде всего орфографическими и пунктуационными особенностями; отличия в области морфологии довольно редки. Специальные исследования, посвященные видоизменению текста Елизаветинской Библии в последние два с половиной столетия, насколько нам известно, отсутствуют.

Что касается используемого в наши дни СТ Евангелия и Апостола, не исключено, что он представляет собой воспроизводимый с незначительными изменениями текст XVI в. Более определенные заключения можно будет сделать лишь после проведения специальных исследований.

Таким образом, исследование текстологии поздних редакций церковнославянских (цсл.) Евангелия и Апостола предполагает решение следующих задач: 1) проследить историю развития ЧТ от Елизаветинской Библии к современному тексту, выявить инвариант современного ЧТ (реализованного в изданиях конца XX — начала XXI в. и репринтах с изданий конца XIX — начала XX в.), установить значимые отклонения отдельных изданий от этого инварианта в области морфологии и — если есть — синтаксиса и лексики; 2) установить время общей стабилизации современного СТ, проследить историю его развития в последние столетия, выявить инвариант современного СТ; 3) определить момент расхождения текстоло-

гических традиций, соотносимых с современным служебным и современным четым текстами; выяснить, является ли это расхождение древним, или же обе нынешние разновидности новозаветного текста восходят к одному текстовому типу (старому служебному или же старому четьему).

Однако прежде всего необходимо уяснить различия между нынешними СТ и ЧТ. Разумеется, до выявления инвариантов обоих типов текста сопоставление отдельных изданий не может претендовать на полноту и окончательность. Вместе с тем, такое сопоставление является начальным условием для дальнейших исследований в очерченной области. Ниже представлены предварительные его результаты. СТ цитируется по изданию Евангелие 1912; ЧТ — по изданию НЗ 1910. В качестве источника греческого текста используется критическое издание Нестле—Аланда (NA 1994). Отмечаются различия в области акцентуации, морфонологии, морфологии, синтаксиса, лексики, словообразования, различия в передаче тождественного греческого текста, а также различия, обусловленные ориентацией на нетождественные греческие тексты. Орфографические расхождения не рассматриваются. На первом месте дается СТ, на втором — ЧТ.

1. Акцентуация. Различия в акцентуации количественно незначительны: *испытоваше* / *испытоваше* (Мф 2: 7); *вѣста во рыбарѣ* / *рыбарѣ* (Мк 1: 1); *талѣѣа кѣмі* / *кѣмі* (Мк 5: 41); *ѡна* / *ѡна же рѣста ѣмѣ* (Мк 10: 39); *да пропнѣтъ* / *да прѣпнѣтъ* (Мк 15: 20); *имѣтъ* / *имѣтъ* (Мк 16: 16); *стрѡпѡтнаѣ* / *стрѡпѡтнаѣ* (Лк 3: 5); *оукрашенѣ* / *оукрашенѣ* (Лк 11: 25); *хрѡмыѣ* / *хрѡмыѣ* (Лк 14: 21); *падѣ ѣмѣ на нѡгѣ* / *ногѣ* (Ин 11: 32). Отметим, что вариативность в постановке ударения свойственна и каждому из рассматриваемых текстов в отдельности: в СТ *имѣтъ* (Мк 16: 16), но при этом — как в ЧТ — *имѣтъ* (Ин 12: 35); *оукрашенѣ* (Лк 11: 25), но — как в ЧТ — *оукрашенѣ* (Мф 12: 44), в ЧТ род. дв. *ногѣ* (Ин 11: 32), но — как в СТ — *нѡгѣ* (Ин 13: 8). Ср. также: *вѣссонѣ* (Лк 16: 19, одинаково в СТ и четьем ЧТ), но в Апокалипсисе (четый текст) *вѣссонѣ* (Откр 19: 8, 14)³.

1.1. В ЧТ, в отличие от СТ, перемещение ударения может использоваться для маркирования употребления местоимения *он, она, оно* в функции указательного в отличие от личного: *ѡни* / *ѡни же тажѣтеле рѣша къ себѣ* (Мк 12: 7).

2. Морфонология. Если рассматривать всю совокупность используемых в настоящее время цсл. богослужебных текстов, то можно обнаружить немало вариантов в фонемном составе морфем и лексем: *внѣждѣ* / *внѣждѣ*, *людѣи* / *людѣи*, *ѡбщникѣ* / *ѡбщникѣ* и т. п. Однако подобные явления не

могут служить основанием для противопоставления СТ и ЧТ⁴. Более того, оба текста проявляют поразительное единство в употреблении того или иного морфонологического варианта в определенном стихе (нередко в тождественных контекстах). Так, например, и в СТ, и в ЧТ имеется *ше́дъ, покажнѣа ѱереѡви* (Мк 1: 44) и наряду с этим, в параллельном месте, — *ше́дъ, покажнѣа ѱереѡви* (Лк 5: 14). Форма им. ед. *ѡжка* (Лк 1: 36) удерживается во всех известных нам современных изданиях Евангелия, в то время как в Лк 1: 58 — буквально на соседней странице — присутствует вариант *оѡжки* (им. мн.).

3. Морфология.

3.1. Аорист и имперфект / перфект. К уровню морфологии относится наиболее характерное и последовательное различие между СТ и ЧТ, а именно: если в первом свободно используются формы 2 л. ед. ч. аориста и имперфекта (совпадающие с соответствующими формами 3 л. ед. ч.), то в последнем такие формы заменяются перфектом: *оѡмоли мѧ / оѡмолилъ мѧ еси* (Мф 18: 32); *ѡбръѣте во / ѡбръѣла во еси* (Лк 1: 30); *егда вѣѡиъ, поѡсашеся самъ, и хождѡше, ѡможе хотѡше / егда вылъ еси ѡиъ, поѡсалса еси самъ, и ходилъ еси, ѡможе хотѣлъ еси* (Ин 21:18) и др.⁵ Замена 2 л. ед. ч. аориста и имперфекта в ЧТ вполне регулярна, имеются лишь два исключения. Первое из них может быть расценено как недосмотр редактора: *чадо, что сотвори нама такъ* (Лк 2: 48); второе же показывает, что механическая замена аориста и имперфекта перфектом не всегда возможна: *равви, когда здѣ высть (υεγοναε)* (Ин 6: 25)⁶ — очевидно, что **когда здѣ вылъ еси* имело бы иной смысл.

3.2. Категория одушевленности / неодушевленности. Весьма примечательны различия в реализации категории одушевленности / неодушевленности в рассматриваемых текстах.

3.2.1. Имеются многочисленные случаи, когда в СТ данная лексема проявляет себя как неодушевленная, а в ЧТ — как одушевленная (обратное соотношение невозможно): *ѡмше дѣлателе рабы / раввѡвъ егѡ* (Мф 21: 35; см. тж. Мф 22: 6); *видѣ... дѡхъ ѡкъ голѡвъ сходяща нань / видѣ... дѡха ѡкъ голѡва, сходяща нань* (Мк 1: 10; см. также Ин 1: 32, 33); *дщи ѡмаше дѡхъ нечистъ / дѡха нечиста* (Мк 7: 25); *ѡбръѡщете младенецъ повнѣтъ, лежащъ въ ѡслехъ / ѡбръѡщете младенца повнѣта, лежаща въ ѡслехъ* (Лк 2: 12; см. также Лк 2: 16); *воззрѣвъ на всѧ / всѣхъ ѡхъ* (Лк 6: 10); *прѣѡтъ же страхъ всѧ / всѣхъ* (Лк 7: 16); *вѣсъ / вѣса ѡмать* (Лк 7: 33); *дасть дѡхъ стѣ / дѡха стѡго* (Лк 11: 13); *котѡрый же ѡ васъ, равъ ѡмѣѡ ѡрѡщъ,*

нлн пасѣщъ / рава ѿмѣла ѡрюща нлн пасѣща (Лк 17: 7); послáша... ѿерѣн ѿ левѣты / ѿерѣевъ ѿ левѣтвѣтъ (Ин 1: 19) и др. Интересен случай с двойным винительным: ѡще ѡны рече вогн / ѡще ѡныхъ рече вогвѣтъ (Ин 10: 35). Заметим, что (насколько можно судить, исходя из первичных наблюдений) для ЧТ круг лексики, трактуемой как одушевленная, шире, чем для прочих цсл. текстов, используемых в настоящее время в богослужении. Кроме того, обращает на себя внимание проявление одушевленности не только в единственном, но в отдельных случаях и во множественном числе. Для текстов Минеи, Триоди и Октоиха это нехарактерно.

Однако внутри каждого из текстов данная категория реализуется не последовательно; имеются случаи, когда одно и то же существительное буквально в соседних стихах трактуется то как одушевленное, то как неодушевленное, ср. в ЧТ: привѣдше телѣць оупитáнный заколѣте (Лк 15: 23), но при этом заклá дѣтець твой тельца оупитáнна (Лк 15: 27) и заклáлъ єсн ѣмѣ тельца питомагѣ (Лк 15: 30).

3.2.2. Различия в реализации категории одушевленности / неодушевленности могут распространяться и на субстантивированные прилагательные и причастия: соверѣтъ... творáщымъ / творáщихъ беззаконїе (Мф 13: 41); собрáша... злыя же ѿ дѣверыа, / злыхъ же ѿ дѣверыхъ (Мф 22: 10); видѣвшє нѣкїа / нѣкїихъ ѿ оученикѣ (Мк 7: 2); многн / многныхъ... ѡбратїтъ (Лк 1: 16).

3.2.3. То же относится и к прилагательным и причастиям, выполняющим предикативную функцию (в СТ при этом используется в большинстве случаев краткая форма): ѿ ѡпѣстїтн ихъ не ѡдша / ѡдшихъ не хощѣ (Мф 15: 32; см. также Мк 8: 3); прїшедъ ко оученикѣмъ, ѡверѣте ихъ спяща / спящихъ (Мф 26: 40; см. также Мф 26: 43; Мк 14: 37; Лк 22: 45); видѣша ихъ идѣща / идѣщихъ (Мк 6: 33); ѡнн же ѣмше єго внша, ѿ послáша тощъ / тща (Мк 12: 3); слышавѣ ихъ стáзáoуща / стáзáoущихъ (Мк 12: 28); ѡбращетъ вдáща / вдáщихъ (Лк 12: 37).

3.3. Краткие / полные формы прилагательных и причастий. Довольно часты случаи употребления в СТ кратких форм прилагательных и причастий, в то время как в ЧТ используются полные: видѣвѣ... фарїєн ѿ саддѣкѣн градѣща / градѣщымъ на крещенїе єгѣ (Мф 3: 7); бывши / бывшей сѣбѣвѣтъ (Мк 6: 2); ѿ многъ / ѿ многныхъ сердець (Лк 2: 35); ѡверѣтѣста... сѣдáща... ѿ послѣщающа ихъ, ѿ вопрошáюща ихъ / ѡверѣтѣста... сѣдáщаго... ѿ послѣщающаго ихъ, ѿ вопрошáющаго ихъ (Лк 2: 46); возгнѣщємъ / возгнѣщымъ... ѿ сѣдáщымъ (Лк 22: 55); вопрошáше же

ѣгò словесѹ мнѡгѹ / мнѡгѹми (Лк 23: 9); мнѡжайша / мнѡжайшыа о҃ченики творѣтъ (Ин 4: 1); ср. однако сѣдѣще ѡбѣманѣдесѣте колѣнома ꙗ҃левыма / ꙗ҃левома (Лк 22: 30).

3.4. Возвратные / невозвратные глаголы. В СТ встречаются возвратные глаголы, которым в тождественном контексте в ЧТ соответствуют формы без возвратной частицы: о҃чѣнцы же ѣгѡ възалкашасѹ / възалкаша (ἐλεῖνασαν) (Мф 12: 1) — но ср. ниже в обоих текстах что сотвори двѣдѣ, ѣгда възалка самѣ (ἐλεῖνασεν) (Мф 12: 3); ѣще впадѣтсѹ / впадѣтъ въ сѣбѣвѡты въ ѡмѡ (Мф 12: 11); не възстасѹ / възста чesѡ прѡсѣнта (Мф 20: 22; Мк 10: 38); ср. также ѣще силенѣ ѣсть срѣстисѹ... градѣщѣагѡ / срѣсти... градѣщѣаго (Лк 14: 31).

3.5. Вариативные флексии. Различия в употреблении именных флексий не выходят за рамки внутренней вариативности: дѣнь ѡпрѣсноуѡкъ / ѡпрѣсноуѡкъвѣ (Лк 22: 7), стажнѣ дѡшѹ / дѡшы ваша (Лк 21: 19) — ср. при этом вмѣтающа мрежи (Мк 1: 16) и стрѡща мрежа / стрѡща мрежа (Мк 1: 19); в каждом из стихов формы в СТ и ЧТ идентичны (в последнем примере — с точностью до орфографии), но каждый из двух текстов отражает вариативность флексии.

4. Синтаксис. Расхождения в области синтаксиса разнообразны и многочисленны. Отметим наиболее регулярные.

4.1. Глагольное управление.

4.1.1. Винительный / родительный: ѡцѣщѣн дѡшѹ / дѡшѹ ѡтрѡчѣте (Мф 2: 20); ѡцѣщѣ двѡрыа вѣсеры / двѡрыхъ вѣсерей (Мф 13: 45); ѡспытайте писанѣа / писанѣи (Ин 5: 39); когѡ / когѡ ѡцѣте (Ин 18: 4) (но при этом что ѡцѣте живѡагѡ / живѡаго съ мѣртвыми; — Лк 24: 5); чesѡ прошѣ; ... главѣ / главы ѡѡнна крѣтитѣла (Мк 6: 24); вопрошѣ вы ѡ ѡзѡ слѡво ѣдино / словесѣ ѣдинагѡ (Мк 11: 29); прѡси тѣло ꙗ҃сово / тѣлесѣ ꙗ҃сова (Мк 15: 43; Лк 23: 25).

4.1.2. Дательный / родительный: ко ѣже вождѣлѣти ѣи / ѣа (Мф 5: 28); никтѡже... хѡцѣтъ нѡвомѹ / нѡвагѡ (Лк 5: 39), но ср. при этом да ѡзѡвѣнтѣ нынѣ ѣгѡ, ѣще хѡцѣтъ ѣмѹ (Мф 27: 43, одинаково в СТ и ЧТ).

4.1.3. Винительный / дательный: прахѹ, прилѣпѣши нась / намѣ (Лк 10: 11) — в ЧТ очевидно приближение к норме русского литературного языка; но при этом доколѣ терпѣю васѣ / вамѣ (Мф 17: 17).

4.1.4. Винительный / творительный: напоитѣ вы чашѹ / чашею воды (Мк 9: 41; см. также Мф 10: 42).

4.2. Винительный / родительный при отрицании: не оубоитеса... дѹшѹ / дѹши же не могѹщихъ оубити (Мф 10: 28); не сотвори тѣ силы мнѹги / силѹ многихъ (Мф 13: 58); творатъ въ сѹбботѹ, ѣже / егѹже не достѹнтъ (Мк 2: 24); какъ не имате вѣрѹ / вѣры (Мк 14: 40); не носите влагалница, ни пиры, ни сапоги / ни сапѹтъ (Лк 10: 4); вѣрѹ / вѣры не ѣмете (Ин 5: 38); ѡже / ѡже имъ никтоже сотвори (Ин 15: 24); ср. также ненавидѹ дѹшѹ своѹ / дѹши своѹ (Ин 12: 25) — в ЧТ частица не-, уже неотделимая от глагола, тем не менее воспринимается, по всей видимости, как полноценное отрицание.

4.3. Отсутствие предлога / наличие предлога:

подобаѣтъ емѹ третїй дѣнь / въ третїй дѣнь востати (Мф 16: 21); ѡвѣрѣте єдинаго клеветѣ / ѡ клеветѣ своихъ (Мф 18: 24); да не вѹдетъ вѣгство ваше зимѣ / въ зимѣ (Мф 24: 20); пристѹпиша... їисѹви / ко їисѹ (Мф 26: 17); припадѣ рѣка храмниѣ / ко храмниѣ (Лк 6: 48); идѣтъ къ немѹ полѹнощи / въ полѹнощи (Лк 11: 5); призвавъ єдинаго когѹждо длѹжникъ / ѡ должникъ (Лк 16: 5).

4.4. Причастия и личные формы. В СТ личные глагольные формы и причастия нередко употребляются как однородные члены, соединенные союзом и. С другой стороны, две личные формы могут не разделяться союзом и, что в принципе нехарактерно для евангельского текста. Наконец, имеются случаи, когда бессоюзной связью соединены две причастные формы, личная же форма в предложении отсутствует. В ЧТ в соответствии с указанными конструкциями мы обнаруживаем либо причастие с личной формой, либо две личные формы, соединенные союзом и. Примеры см. ниже.

4.4.1. Причастие и личная форма / причастие, личная форма: и вставъ взѣмъ ѡдръ своѹ, и иде въ дѹмъ своѹ / и вставъ, [взѣмъ ѡдръ своѹ], иде въ дѹмъ своѹ (Мф 9: 7); тѹи възглашъ, и рече / тѹи възглашъ рече (Лк 16: 24); столъ, и не хотѹше / столъ, не хотѹше (Лк 18: 13).

4.4.2. Причастие и личная форма / личная форма и личная форма: слышавъ же... и недоѹмѣвашеса / слыша же... и недоѹмѣвашеса (Лк 9: 6); ѡвѣщавъ же їисѹ, и рече имъ / ѡвѣща же їисѹ и рече имъ (Лк 5: 19); возведъ ѡчи горѣ, и рече / возведѣ ѡчи горѣ и рече (Ин 11: 41); вставъ съ вѣчери, и положи рѹзы / воста ѡ вѣчери, и положи рѹзы (Ин 13: 4).

4.4.3. Личная форма, личная форма / причастие, личная форма: приближиса, идѹше / приближиса идѹше (Лк 24: 15); сотвори вичъ ѡ вѣрвїи, всѹ изгна из цѣркве / сотворивъ вичъ ѡ вѣрвїи, всѹ изгна из цѣркве (Ин 2: 15).

4.4.4. Причастие, причастие / причастие, личная форма: Тогда шéдше фарисее, совѣтъ пріёмше, ѿкъ да ѡвольстáтъ егò слóвомъ / Тогда шéдше фарисее, совѣтъ воспріаша, ѿкъ да ѡвольстáтъ егò слóвомъ (Мф 22: 15).

5. Словообразование.

5.1. Отсутствие / наличие приставки: сотвори чреждѣніе / оучреждѣніе (Лк 5: 29); вѣдѣтъ вси оучѣни бгѣ / научѣни бгомъ (Ин 6: 45); гласн / пригласн гнса (Ин 18: 33).

5.1.1. В отдельных случаях, когда в СТ в значении будущего времени используется форма настоящего времени от бесприставочного глагола несовершенного вида, в ЧТ фигурирует глагол с приставкой, исключаящий двойственность интерпретации: какъ... разѡмѣете / оуразѡмѣете (Мк 4: 13; см. тж. Лк 12: 2, Ин 8: 32); какъ ѿще рекѡ вамъ нѣнаа, вѣрѡете / оуверѡете (Ин 3: 12); мѡръ ктомѡ не виднтѣ / оувиднтѣ мене, вы же виднте / оувиднте мѡ (Ин 14: 19); прїидеть чась, да всѡкъ, ѿже оувѣеть вы, мнитѣ / возмнитѣ слѡжвѡ приносити бгѣ (Ин 16: 2).

5.2. Различная префиксация. Нередко СТ и ЧТ обнаруживают присоединение к глаголам различных приставок: потрѣвнтѣ гѣмно / ѡтрѣвнтѣ гѣмно (Мф 3: 12; Лк 3: 17); протѣшетѣ / растѣшетѣ егò полма (Мф 24: 51; см. также Лк 12: 46); искаше подобна / оудобна времени (Мф 26: 16; см. также Мк 14: 11); ѡтщегнтѣ / ѡтщегнтѣ дѡшѡ свою (Мк 8: 36); ѡ зачала / начала же созданїа (Мк 10: 6) (но ср. Мк 1: 1 в обоих текстах: зачало ѣлїа); послаша тѡщѣ / ѡтослаша тѡца (Мк 12: 3); прїимъ же пѡтъ хлѣвъ и ѡбѣ рѡвѣ... сломн / преломн (Лк 9: 16); приложнте / положнте оубв на сердцахъ вашнхъ (Лк 21: 14); показавъ оубв / наказавъ оубо егò ѡпѡщѣ (Лк 23: 16); сотвори / претвори водѡ въ вїно (Ин 4: 46); пощете / взыщете мене, н не ѡвращете (Ин 7: 34); бахѡ же нѣцын ѣлани ѡ вшѣдшнхъ / прншѣдшнхъ, да поклѡнатса въ праздникъ (Ин 12: 20). Как видим, ЧТ оказывается ближе к русскому литературному языку; ср. однако: въ той дѣнь мене не вѡпрѡсите / воспрѡсите ничесѡже ничесѡже (Ин 16: 23; см. тж. Ин. 16: 26).

5.3. Различная суффиксация: звѣзды спаднѣтъ съ нѣсе / спадѣтъ (Мф 24: 29); не оу ли чѡете / чѡствѣете (Мк 8: 17); бѣжество / бѣгство (Мк 13: 18); прнвѣдше телець оупнтѣнный / оупнтанный, заколите (Лк 15: 23); ѡдождн камы горѡща / камыкъ горѡщѣ (Лк 17: 29).

Сравни внутреннюю вариативность: рава (Лк 1: 38), но равына (Мк 14: 66); вдова (Лк 2: 37), но вдовица (Лк 4: 25); безѡміе (Лк 6: 11), но безѡмство (Мк 7: 22) — в обоих текстах.

5.3.1. Имеются случаи, когда дополнительная суффиксация глагольной основы подчеркивает несовершенный вид глагола, например: *травѹ... бѣгъ тѣмъ ѡдѣетъ / ѡдѣваетъ* (Лк 12: 28); ср. 5.1.1.

6. Лексика. Под расхождениями в области лексики мы понимаем такую ситуацию, когда одному греческому слову⁷ соответствуют различные цсл. лексемы в двух рассматриваемых текстах: *пони́мъ съ сово́ю па́ки / е́ще е́динаго нѣи двѣ* (Мф 18: 16); *въ воскрешѣнїе* (но ср. Мф 22: 30) / *въ воскрѣнїе* (Мф 22: 28); *ко́е* (но ср. Мф 23: 19) / *что́ во бо́лѣе е́сть* (Мф 23: 17); *совираеши, ю́дѹ же / нѣдѣ же не расточи́лъ еси́* (Мф 25: 24); *е́нѣ же / оубѣ ѡчлѣвѣ́скїи́ и́детъ* (Мф 26: 24); *вѣ́щше нѣи / нѣ же двана́десѣте легѣ́ѡна ѡ́ггѣ* (Мф 26: 53); *ѡ́коже* (Мф 28: 8) / *е́гда же и́дѣстѣ* (Мф 28: 9); *да и́ тѣ / тѣмъ проповѣ́мъ* (Мк 1: 38); *дѹхъ во / оубѣ во́дрѣ, плѣть же немощна́* (Мк 14: 38); *трѣтїи́ сеи́ дѣнь и́мать / е́сть днѣсь* (Лк 24: 21).

На различия между СТ и ЧТ накладывается внутренняя вариативность: *въ нача́лѣ* (Ин 1: 1), но *и́скони́* (Ин 1: 2) (греч. *ἐν ἀρχῆ*); *въ напа́сть* (Мф 6: 13), но *во и́скѹше́нїе* (Лк 11: 4) (*εἰς πειρασμόν*); *ѡ́ лѹка́ѡѡ* (Мф 6: 13), но *ѡ́ неприя́зни* (Ин 17: 15) (*ἀπὸ / ἐκ τοῦ πονηροῦ*) и т. п. — все эти варианты присутствуют в обоих текстах.

6.1. Фаска / пасха. Отметим чрезвычайно примечательную лексему *фѣ́ска*, которая встречается лишь в СТ, только в Евангелии от Иоанна и всего три раза: *вѣ́ же вѣнѣ́тъ фѣ́ска / па́сха, пра́здникъ жи́дѡвскїи́* (Ин 6: 4); *вѣ́ же вѣнѣ́тъ фѣ́ска / па́сха и́удѣ́йска: и́ въздо́ша мно́зи во и́ерлї́мѣ ѡ́ страна́ прѣ́жде па́схи, да ѡ́чи́стѣ́тсѣ* (Ин 11: 55); *да не ѡ́сквернѣ́тсѣ, но да ѡ́дѣ́тсѣ фѣ́ска / па́сха* (Ин 18: 28). Как видно из примеров, в СТ фаска используется наряду с *па́сха*, причем установить какие-то различия в семантике этих лексем не представляется возможным. Употребление лексемы *фѣ́ска* не отмечено в аппарате издания «Евангелие от Иоанна в славянской традиции» (СПб., 1998). Таким образом, следует допустить довольно позднее возникновение этого варианта.

6.2. Следует отметить также примечательный случай лексической замены, который может быть интерпретирован как стилистическая правка (с позиций русского языка). Речь идет о глаголе *вѣ́зти* 'войти', который свободно используется и в СТ, и в ЧТ, в том числе по отношению к Иисусу. Однако в Мк 16: 5, где СТ дает *вѣ́зше во грѣ́бѣ*, в ЧТ имеем *вше́дша*⁸ *во грѣ́бѣ*.

7. Варианты перевода.

7.1. Варианты перевода тождественного греческого текста: прнстѣплъше оѹчнцы ѿснови єдиноу / ко ѿсноу на єдинѣ (Мф 17: 19); пришедше же първыи мнѡхѹ вѡцше прїати / мнѡхѹ, ѡкв вѡцше прїмѹтъ (Мф 20: 10); на ѿма єгѡ ѡзыцы оѹповѡють / оѹповѡти ѿмѹтъ (Мф 12: 21).

7.2. Варианты, обусловленные ориентацией на разные греческие тексты: глаголю вамъ: такъ оѹдобѣе єсть... пронтї / глаголю вамъ: оѹдобѣе єсть... пронтї (Мф 19: 24); Тѣрліме... познѡмай пѡсланныа къ немѹ / тебѣ (Мф 23: 37); глагола ѿмѹ тѹ / сѹщымъ тамѹ (Мф 26: 71); шедше наѹчнїте / шедше оѹво наѹчнїте (Мф 28: 19); ѡваннѹ крестѡи / крѣтнїтель ѡ мѣртвѹхъ востѡ (Мк 6: 14); ѡкв ѡще попросншн / ѡкв, єгѡже ѡще попросншн (Мк 6: 23); ѿ єлїка сотворнша, ѿ наѹчнїша / ѿ єлїка сотворнша, ѿ єлїка наѹчнїша (Мк 6: 30); сѹ ковнннн (метѡ тѡѡ стѡснстѡтѡѡ) / со скѡвнннн (метѡ тѡѡ стѡснстѡснстѡѡѡ) (Мк 15: 7); ѡрѡмовѹ, ѡврѡмовѹ, єсрѡмовѹ / ѡрѡмовѹ, єсрѡмовѹ (Лк 3: 33); сѡ же подѡвѡше сотворнїти / сѡ подѡвѡше сотворнїти (Лк 11: 42); вѣдѡше во ѿсконї ѿсноу, ктѡ єсть предѡи єгѡ / вѣдѡше во ѿсконї ѿсноу, кн сѹтъ невѣрѡющн, ѿ ктѡ єсть предѡи єгѡ (Ин 6: 64) и др.; кроме того, в СТ стих Мф 23: 14, отсутствующий у NA, вставлен после 12 (соответственно, 13-й по NA назван 14-м), в ЧТ же даны все три стиха (включая 12-й) в том же порядке, что и у NA.

7.3. В отдельных случаях в СТ присутствуют чтения, соответствия которым не обнаруживаются в греческой традиции Нового Завета (по крайней мере, как она представлена в NA); ЧТ при этом согласуется с греческим текстом: добрый рабе, влагїи и вѣрнн / добрѣ, рабе влагїи ѿ вѣрнн (Мф 25: 21, 23); какъ же оѹво сѡдѡтсѡ пнсанїѡ / какъ оѹво сѡдѡтсѡ пнсанїѡ (Мф 26: 54); ѿз сонннща ѿсходѡще / ѿшѣдше (Мк 1: 29).

Выводы. Сопоставление современных ЧТ и СТ показывает, что СТ в целом более архаичен в сравнении с ЧТ. Это проявляется, во-первых, в употреблении форм 2 л. ед. ч. аориста и имперфекта (см. 3.1), несвойственном большинству ныне используемых цсл. богослужебных текстов; во-вторых, в использовании лексики, которая на фоне остальных текстов выглядит архаичной (например *юдѹже*, *чреждѣнїе* и др.). Напротив, ЧТ отмечен большей близостью к русскому литературному языку, что выражается в более последовательной и широкой реализации категории одушевленности / неодушевленности, более ограниченном использовании кратких форм прилагательных и причастий, в устранении несвойственной русскому литературному языку лексики, в синтаксических особенностях употребления причастий и др.

На различия между СТ и ЧТ накладывается внутренняя вариативность каждого из текстов. Вместе с тем, для ЧТ характерны большая регулярность; стремление к устранению вариативности, причем в качестве предпочтительного — вопреки общей тенденции — нередко выбирается вариант, более далекий от русского языка (см., например, глагольное управление — 4.1.1); имеются также отдельные случаи, не поддающиеся классификации, когда чтение СТ более соответствует норме русского языка, нежели ЧТ, например: *нѣсть оученикъ надъ оучителемъ своимъ / надъ оучителѣмъ своего* (Лк 6: 40).

Различия в передаче греческого текста свидетельствуют о большем учете контекста в ЧТ в сравнении с СТ. Между тем, в обоих текстах сохраняются *крещеніѣ чваномъ ѿ стклѣницѣмъ* (Мк 7: 8). В собственно текстологическом отношении СТ обнаруживает чтения, греческий источник которых неясен, в то время как для ЧТ характерна ориентация на *Textus receptus*.

Еще раз подчеркнем, что выше были изложены лишь предварительные результаты сопоставительного анализа функционирующих в настоящее время в Русской Православной Церкви служебного и четьего вариантов евангельского текста. Полагаем, что дальнейшие исследования в данном направлении позволят заполнить лакуны в наших представлениях о поздних этапах славянской библейской традиции.

Библиография

1. Алексеев 1999 — Алексеев А. А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999.
2. Евангелие 1912 — Святое Евангелие. М., 1912. (Репр. б. м. и г.)
3. Евангелие 1996 — Евангелие. М., 1996. (Репр. с изд. начала XX в.)
4. НЗ 1910 — Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа на славянском и русском языках... СПб., 1910. (Репр.: Монреаль, 1990).
5. NA 1994 — Nestle — Aland (ed.). *Novum Testamentum Graece et Latine*. 27 ed. DBG, 1994.

Примечания

¹ При этом апракос как специфический тип организации служебного текста давно отошел в историю: современный служебный текст по своей структуре практически ничем не отличается от четьего; лекционная разметка наложена поверх основного текста.

² Отметим, что СТ может печататься и в изданиях для мирян (например, Евангелие 1996).

³ Ср. также в четвѣм тексте *вѣссѣ* (Откр 18:12, 16).

⁴ Немногочисленные претенденты — например, *внѣтрѣюдѣ* / *внѣтрѣздѣ* (Мф 23: 25, 27, 28) — имеют, по всей видимости, орфографическое происхождение. Что касается формы *пѣтѣль* в СТ (Мф 26: 74, 75; Мк 14: 30, 72; Лк 22: 34, 60, 61; Ин 18: 27; в ЧТ *пѣтѣль*), то она представляет собой орфографическую фиксацию отвердения конечного согласного в им. ед. Поскольку других форм данной лексемы в евангельском тексте не встречается, морфонологическая интерпретация этого случая затруднительна.

⁵ См. также Мф 25: 26; 26: 25, 64, 69; Мк 11: 21; 12: 32; 14: 37, 67; Лк 7: 44, 45, 46; 10: 28; 14: 22; 15: 30; 19: 22, 44; 24: 18; Ин 4: 17; 17: 8, 25; 20: 13, 29.

⁶ Под страницей дан вариант чтения: *когда сѣмѣи пришѣлъ ѣси*.

⁷ О расхождении в переводе более пространных фрагментов см. 7.1.

⁸ В отношении наличия / отсутствия особой формы действительных причастий им. мн. ж. р., отличной от формы м. р., издания ЧТ разнятся между собой.

О значимости использования метода системно-функционального сопоставления при изучении проблем словообразования и социолингвистики*

Сопоставление является универсальным приемом, изначально присущим человеческому мышлению. Человек воспринимает окружающий его мир не как хаотическое скопление изолированных явлений, он исподволь осуществляет их систематизацию, ориентируясь при этом не столько на внешнее, но прежде всего на функциональное сходство. Не случайно сопоставительный метод широко используется в самых различных науках. Как отмечал Гринберг, «любая наука, если она хочет ясно осмыслить потенциальные возможности своего научного метода, заключается в том, чтобы, не ограничиваясь простым описанием изучаемых объектов, перейти к их сравнению и классификации» (Гринберг 1963, 60).

В языкознании данный метод может с успехом использоваться в отношении языков различной генетической, типологической, ареальной принадлежности, включая и формы их существования. Сопоставление может проводиться как в рамках идентичных синхронных срезов разных языков — синхронное межъязыковое сопоставление, так и различных синхронных срезов в истории одного и того же языка — внутриязыковое диахронное сопоставление (см. по этому поводу: (Нецименко 1983); Сопоставительное изучение словообразования (Москва, 1987)). Важно, однако, иметь в виду, что использование приема сопоставления является не самоцелью, а способом углубленного познания системно-функциональных закономерностей языков, выявления сходств и различий между ними, а также общеязыковых универсалий.

Как показывают результаты проведенных исследований, сопоставительный метод наиболее эффективен при изучении близкородственных языков, поскольку в этом случае устанавливаются не поверхностные, порой случайные соответствия, а глубинные системно-функциональные

* В работе учитывались результаты исследований, выполняемых при финансовой поддержке РФФИ (грант № 01-06-80043а), а также РГНФ (грант № 02-04-00274а).

закономерности. Более очевидной становится и направленность диахронной и синхронной языковой динамики. Заметим, что изучение последней относится к числу весьма сложных и трудоемких задач. Что касается сопоставления неродственных языков, то, как правило, оно менее информативно — существующие сходства и различия легко обнаруживаются уже в поверхностном уровне (по принципу «да — нет»).

Некоторые лингвисты считают, что типологическая близость родственных языков (в нашем случае славянских) предопределяет развитие в них преимущественно конвергентных тенденций, в результате чего наблюдаемая языковая картина становится однообразной, лишенной внутреннего конфликта. С этим утверждением, впрочем, трудно согласиться, поскольку наряду с конвергентными в них имеются и дивергентные тенденции. Мало того, как следует из наблюдений, неравномерность темпа протекания языковых процессов, разная степень воздействия на них экстралингвистических факторов и прочее может «разводить» по времени, варьировать результаты этих процессов. Поэтому при сопоставлении близкородственных языков исследователь получает уникальную возможность наблюдать в одном и том же синхронном пространстве разные фазы языковой динамики, т. е. речь идет о проявлении диахронии в синхронии. Кстати говоря, данное обстоятельство усиливает прогностический аспект сопоставительных лингвистических исследований.

Иными словами, помимо универсальности, преимущество метода системно-функционального сопоставления заключается в научной значимости получаемых результатов.

Исходные принципы сопоставительного системно-функционального изучения языков (метод аналитического сравнения) были разработаны в трудах ученых Пражского лингвистического кружка, в который входили видные представители различных национальных лингвистических школ, в том числе и русской. Тем самым был создан своего рода трамплин для дальнейшего совершенствования теоретико-методологической базы, а также практического применения данного научного метода. Последнее, кстати, далеко не всегда проходило гладко.

Дело в том, что длительное время сопоставительная лингвистика развивалась неравномерно, скорее вширь, чем вглубь. Подтверждением этого является возникновение целого потока работ поверхностно-описательного характера. Их авторы, соблазнившись кажущейся легкостью и доступностью данного вида исследований, по сути занимались формаль-

ным, проводимым на случайных основаниях сравнением инвентаря языковых средств без учета их системно-функциональной эквивалентности, без глубокого осознания специфики и целевой установки сопоставления, его «сверхзадачи». Информативность подобных исследований была невелика, итоговые выводы — иллюзорны, поверхностны, а порой и просто ошибочны. Все это не могло не вести к дискредитации исследовательского метода.

Возможно, поэтому столь скептической была оценка состояния сопоставительных исследований в середине XX в.: «В отношении сравнительного изучения славянских литературных языков можно по праву сказать, что оно до сих пор не существует» (Navránek 1958, 153) или же: «Словообразовательные системы славянских языков имеют весьма сложную структуру и, если у нас до сих пор нет единой процедуры, позволяющей описать подобную структуру, то тем более нет разработанной методологии сравнения столь сложных структур друг с другом» (Dokulil 1963, 86). Нельзя не отметить, что в «высокой» науке сопоставительное изучение близкородственных языков довольно долго расценивалось как некая вспомогательная дисциплина сугубо прикладного характера, назначением которой являлась лишь эмпирическая каталогизация сходств и различий, т. е. возможность выхода на теоретические обобщения практически не принималась во внимание. Между тем в действительности сопоставительное изучение именно близкородственных языков принадлежит к числу не только наиболее трудоемких, но и результативных исследовательских жанров. Оно предполагает наличие мощного теоретико-методологического фундамента, тщательную предварительную проработанность языкового материала, высокий уровень профессионализма исследователя, отточенность и согласованность методики, используемой как при анализе, так и синтезе языкового материала, корректное соблюдение единой программы описания сопоставляемых фактов, единого понятийно-терминологического аппарата. Важнейшее значение имеет отбор системных признаков, используемых в качестве основания для сравнения (*tertium comparationis*). Без соблюдения всех этих предпосылок уникальные возможности метода системно-функционального сопоставления не могут быть реализованы. Характеризуя современное состояние сопоставительного славянского языкознания, можно утверждать, что оно стало одним из магистральных научных направлений, становление которого обусловлено эволюцией и дальнейшим совершенствованием методологии лингвистических исследо-

ваний. Сам же метод системно-функционального сопоставления является, по нашему убеждению, новым витком в развитии научной методологии. Важную роль в этом сыграла значительная активизация разработки теоретико-методологических основ сопоставления, позволившая создать надежный фундамент для проведения качественных эмпирических исследований. Из обширного перечня работ назовем лишь некоторые: Leška, Kurimský 1962; Barnetová, Barnet 1962; Dokulil 1963; Barnet 1974; Filipец 1973; Широкова 1978; Барнет 1983; Нецименко 1983; Широкова 1992 и др. В данных публикациях рассматривается широкий круг вопросов, связанных со спецификой использования сопоставительного метода при изучении различных языковых явлений, а также различных уровней языковой системы.

Все это подготовило почву для проведения, главным образом, коллективных исследований, посвященных сопоставительному изучению как целых грамматических систем, так и их отдельных уровней и фрагментов. Приведем в качестве примера создание чешскими русистами двухтомной Русской грамматики (Русская грамматика 1979).

Характерной приметой современного этапа развития сопоставительного изучения славянских языков является организация масштабных коллективных исследований, осуществляемых силами международного авторского коллектива. В роли координатора таких исследований в масштабах как нашей страны, так и за рубежом выступил Институт славяноведения и балканистики АН СССР, имевший успешный опыт сопоставительного изучения славянских языков. В 1984 г. в стенах Института был проведен Международный симпозиум «Сопоставительное изучение славянского словообразования»¹, выявивший большой интерес научной общественности к рассматриваемой проблематике. Участники Симпозиума признали целесообразным дальнейшее развертывание сопоставительных исследований как одного из приоритетных направлений современной лингвистики. Тем самым было положено начало осуществления многолетней международной целевой программы, работа над которой успешно продолжается и в настоящее время. Руководителем программы в целом является Г. П. Нецименко, национальный координатор от Чехии (Институт чешского языка Чешской АН) — О. Мартинцова; от Польши (Институт славистики Польской АН) — З. Э. Рудник-Карватова). Работу над проектом координирует международная редколлегия.

Выполнение программы силами международного авторского коллектива дает возможность плодотворно использовать достижения различных

национальных научных школ. Заметим, что на каждом исследовательском цикле программы исследуемая проблематика рассматривается в новом ракурсе, выбор которого определяется как современным состоянием науки, так и актуальными потребностями общества.

В рамках этого сотрудничества были проведены не только конференции², но и издан целый ряд трудов, положительно оцененных научной общественностью. К их числу относятся: Сопоставительное изучение словообразования славянских языков (М., 1987); *Problemy teoretyczno-metodologiczne badań konfrontatywnych języków słowiańskich*. Т. 1 (Варшава, 1991); Теоретические и методологические проблемы сопоставительного изучения славянских языков. Т. 2 (М., 1994); *Konfrontační studium inovačních procesů v slovanských jazycích* (Прага, 1999); *Procesy innowacyjne w językach słowiańskich* (Прага, 2003). Вышел сборник «*Internacionalismy v nové slovní zásobě*» (Прага, 2003).

В ходе названного сотрудничества был разработан и освещен целый ряд актуальных проблем сопоставительного изучения славянских языков. На первом его этапе в поле зрения исследователей предпочтительно находились вопросы теории и методологии сопоставительного изучения — выработка рабочей модели сопоставления, использование при сопоставительном изучении различных методов лингвистического описания (системно-функционального, статистического, лингвогеографического, методов порождающей грамматики и т. п.). Особое внимание уделялось выработке методики и принципов сопоставительного изучения родственных и неродственных языков, сопоставления различных форм существования национального (этнического) языка, в частности литературного и диалектов. Отмечалась целесообразность использования сопоставительного метода как при межъязыковой, так и внутриязыковой конфронтации.

На втором этапе в замыслы авторского коллектива входило показать эффективность использования метода системно-функционального сопоставления при изучении разных уровней языковой системы: лексикологии, семантики, ономазиологии, словообразования, акцентологии, морфологии и морфонологии. В дальнейшем основной интерес исследователей был сосредоточен на сопоставительном изучении инновационных процессов в славянских языках. И, наконец, в 2003 г. на первый план выдвинулась проблема интернационализмов в словарном составе новейшего периода существования славянских языков.

Есть основания думать, что в ходе работы над целевой программой удалось не только внести важный вклад в развитие сопоставительного славянского языкознания, но и сформировать творческий коллектив единомышленников, способный решать сложнейшие теоретические и методологические проблемы.

Нельзя не отметить появления еще одного коллективного труда, посвященного сопоставительному изучению словообразования и номинации. Речь идет о большой монографии «Słowotwórstwo / Nominacja», подготовленной в качестве специального тома в рамках международного проекта «Komparacja systemów i funkcjonowania języków słowiańskich» (Ополе, 2003 г.).

Руководителем данного международного проекта является С. Гайда (директор Института польской филологии при университете в Ополе). Организатором, ответственным редактором и одним из авторов тома является И. Онгайзер (директор Института славистики университета в Инсбруке). Реализация этого проекта координируется двумя комиссиями при Международном комитете славистов: по изучению славянского словообразования и по изучению славянских литературных языков.

Развитие широкомасштабных сопоставительных исследований существенно обогатило и расширило наши знания о языковых закономерностях, позволило ввести в научный оборот новые факты и наблюдения. Есть все основания утверждать, что преимущества и перспективы сопоставительного подхода становятся все более очевидными. Сказанное отнюдь не означает, что в настоящее время уже полностью сняты все спорные вопросы теории и методологии сопоставительного изучения, что не нуждается в усовершенствовании программа и сама процедура сопоставления, его рабочая модель. По-прежнему одним из серьезных препятствий остается недостаточная сводимость результатов конкретных описаний, выполняемых под различными углами зрения, без единой программы и зачастую с разными целевыми установками. Негативно может сказываться и то, что некоторые исследователи в недостаточной степени владеют техникой словообразовательного анализа, неадекватно определяют степень деривационной продуктивности формантов и т. п. Нередко создание капитальных исследований затрудняет нехватка квалифицированных специалистов, имеющих навыки работы с материалом, относящимся к различным языкам.

Использование сопоставительного метода является весьма эффективным и при изучении проблем социолингвистики. Разработка таких фундаментальных проблем современной социолингвистики, как языковая

ситуация или же функциональная дифференциация этнического языка практически невозможны без учета различных типов языковой ситуации, имеющих в том числе и в славянском мире.

Вместе с тем нельзя не видеть огромных трудностей, на которые наталкивается исследователь, пытаясь обобщить результаты уже имеющихся социолингвистических описаний разных языков. Прежде всего это проявляется в отсутствии единообразия в интерпретации ключевых социолингвистических понятий. В какой-то мере этот понятийно-терминологический разнобой можно объяснить тем, что по сравнению, скажем, со словообразованием социолингвистика является относительно молодой дисциплиной с не вполне сформировавшейся терминологической номенклатурой. Тем не менее это не может не затруднять сопоставительный анализ региональных языковых ситуаций, выполненных разными исследователями, делая зачастую несводимыми их результаты, т. е. нарушается важнейшее правило сопоставительного анализа. И действительно, порой невозможно установить, какое содержание вкладывается в то или иное используемое понятие. Так, понятие «стандартный язык» одними учеными (Брозович 1967; Brozović 1970; Starý 1994) вслед за западной лингвистической традицией отождествляется с понятием «литературный язык». Словацкий ученый Я. Горещкий, напротив, понимает его как составную часть последнего (Horecký 1979; Horecký 1981). Неоднозначно трактуется и термин «субстандарт», который может пониматься широко, т. е. общенародная разговорная речь (именно так трактуем его мы), либо, напротив, узко — как нижний ярус феномена *obecná čeština* (концепция чешского ученого П. Сгалла — Sgall, Hronek 1991).

По-разному оценивается и характер нормы литературного языка. Чешские лингвисты единодушно квалифицируют ее как кодифицированную (ср., например, термин «кодификат», используемый Я. Корженским для обозначения литературного языка — *spisovný psanostní kodifikát, spisovný mluvenostní kodifikát* «письменный и устный литературный кодификат» — см.: Kořenský 1996). В работах по коллоквиалистике Е. А. Земской и О. А. Лаптевой утверждается возможность некодифицированного употребления литературного языка (например, Земская и кол. 1973; Земская, Китайгородская, Ширяев 1981; Лаптева 1966).

Далее, феномен «разговорная речь» Е. А. Земской квалифицируется как самостоятельная система внутри литературного языка. По мнению же

О. А. Лаптевой, это лишь разновидность литературного языка — «устно-разговорная литературная речь».

Нередко не проводится необходимое, на наш взгляд, разграничение между терминами «устный» и «разговорный», «обиходно-разговорный» и «обиходно-бытовой» и т. п. Вводит в заблуждение и методически некорректное использование понятия «языковой идиом» для обозначения как конкретной языковой реалии, так и функционального звена в системе коммуникации, что встречается иногда у ряда чешских лингвистов. Число подобных примеров легко может быть умножено. Примечательно в этой связи следующее высказывание О. А. Лаптевой: «В существующих работах, посвященных описанию и осмыслению современной повседневно-бытовой русской естественно звучащей речи, для ее обозначения употребляются термины разной онтологической ориентации, что означает разное понимание одного и того же явления. В советской русистике используются термины “разговорная речь”, “разговорный язык”, “обиходно-бытовая речь”, “речь повседневно-бытового общения”, “спонтанная речь непринужденного бытового общения в неофициальной обстановке”, “устно-разговорная речь”, “разговорный стиль”, а для обозначения соответствующей сферы литературного языка — термины “разговорный стиль”, “устная разновидность литературного языка”, “устно-разговорная разновидность литературного языка”... Еще больший разнобой наблюдается при терминологическом обозначении речи широкой интеллектуализированной тематики общественного назначения, осуществляющейся в продуцируемой устной форме. В ее названиях отражаются разные, порой диаметрально противоположные взгляды исследователей на ее природу, а также акценты на разных сторонах ее функционирования: здесь в ходу термины “кодифицированный литературный язык”, “устная публичная речь”, “официальная речь”, “периферия устно-разговорной разновидности современного русского литературного языка”, “спонтанная речь публичного общения”...» (Лаптева 1983, 194).

Большой разброс оценок характерен и для польской социолингвистики. Это отражает, в частности, интерпретация ключевых идиомов типа *język ogólny*, *język potoczny*, *język literacki* и пр. в словарных статьях «Энциклопедии науки о польском языке» (*Encyklopedia* 1978), написанных разными авторами. О наличии терминологической вариативности упоминает И. Байерова в «Энциклопедии польской культуры» (*Encyklopedia* 1993); ср.: «Язык общепольский (*Język ogólnopolski*. — Г. Н.), называемый также

польским общим языком, культурным диалектом, ранее также языком литературным» (Encyklopedia 1993, 27). Сказанное, разумеется, отнюдь не ставит под сомнение значимости вклада польских лингвистов в разработку интересующей нас проблемы.

Сложности создает и наличие в социолингвистических описаниях устойчивых, вжившихся концептуальных стереотипов, делающих предвзятой оценку реальных процессов, происходящих в сфере вербальной коммуникации.

И тем не менее, невзирая на упомянутые трудности, значимость привлечения результатов сопоставительного анализа при решении широкого спектра актуальных социолингвистических проблем исключительно велика. Так, в частности, очень ценным является учет специфики чешской языковой ситуации, позволяющий выявить уязвимость общепринятой в социолингвистике, в том числе и русской, стратификационной концепции членения этнического языка. Касается это и основополагающей аксиомы данной концепции о доминирующем положении литературного языка в системе этнической коммуникации в целом (подробнее см.: Нешименко 1999; Нешименко 2003). Использование сопоставительного подхода наводит на мысль о необходимости поиска иного подхода к решению сложнейшей проблемы дифференциации этнического языка.

Нельзя не отметить, что параллельно с исследованиями по сопоставительному изучению славянских языков Институт славяноведения РАН координирует и исследования по социолингвистике и лингвокультурологии. Конкретно речь идет о реализации долгосрочной международной целевой программы (руководитель — Г. П. Нешименко), предполагающей систематическое, комплексное, многоаспектное, интердисциплинарное изучение приоритетных остроактуальных вопросов большого теоретического и практического значения. Имеется в виду, в частности, поэтапное рассмотрение феноменов «язык», «культура», «этнос», взаимоотношений между ними, межэтнических культурно-языковых контактов, взаимодействия различных типов культур и форм существования языка внутри этноса, проблематики языковой ситуации.

В рамках этой программы уделяется также внимание выработке научно обоснованных рекомендаций по предупреждению реальных и потенциальных конфликтов в области межэтнических, межкультурных и межъязыковых отношений, по направленности проводимой социально-культурной и этноязыковой политики.

Работа над данной целевой международной программой ведется с конца 1980-х годов на основе интердисциплинарного, комплексного подхода к исследуемым феноменам, с использованием как частных методов отдельных научных дисциплин, так и универсальных научных методов, в том числе и метода системно-функционального сопоставления.

Так же как и в целевой программе по сопоставительному изучению, рассмотренной нами выше, исследования осуществляются силами международного авторского коллектива. Учитывая, однако, интердисциплинарный характер разрабатываемой проблематики, в его составе представлены ученые различной специализации (лингвисты, социо-, психоллингвисты, литературоведы, историки, театроведы, социологи, этнографы и т. д.). В их числе имеются специалисты из ведущих научно-исследовательских и научно-педагогических центров России, Чехии, Словакии, Белоруссии, Польши, Германии и т. д. Основным зарубежным партнером Института славяноведения РАН является Институт чешского языка Чешской АН (национальный координатор от Чехии — Я. Корженский).

За время работы над программой были подготовлены и опубликованы три коллективные монографии: «Язык — Культура — Этнос» (Москва, 1994), «Язык как средство трансляции культуры» (Москва, 2000), «Встречи этнических культур в зеркале языка (в сопоставительном лингвокультурном аспекте)» (Москва, 2002).

В первой монографии акцент делается на разработке теоретических и методологических вопросов изучения феноменов «язык» и «культура», их функциональном взаимодействии в ходе исторической эволюции этноса, роли языка как фактора этносоциального развития, его функционировании в разных этносоциальных и социокоммуникативных ситуациях. Особое значение придается анализу языковой ситуации полиэтнических государств, а также возможных путей решения этноязыковых конфликтов, определению направленности стратегии и тактики в области языковой и этнокультурной политики. Рассматриваемая проблематика чрезвычайно актуальна, особенно для первой половины 1990-х годов.

Во второй монографии исследуются вопросы, касающиеся роли языка как средства распространения культуры при диахронической (межгенерационной) и синхронной трансляции духовных ценностей, осуществляемой как внутри социума, так и за его пределами. В обеих монографиях уделяется внимание значимости языка как средства этнической самоидентификации.

В третьей монографии рассматривается широкий спектр вопросов, приобретающих ныне особую остроту. В их числе находятся теоретико-методологические вопросы взаимодействия культур и языков, различные аспекты диалога культур. Речь идет о межэтнических культурно-языковых контактах, о взаимодействии различных типов культур и форм существования языка внутри этноса. Предметом изучения являются чешско-словацкие, чешско-немецкие, словацко-венгерские, русско-польские культурные взаимосвязи. Важное место занимает и исследование межэтнических культурных взаимосвязей внутри России и за ее пределами. Большое внимание уделяется изучению культурно-языковой интерференции и, в частности, проблеме заимствований как проявлению межкультурных и межъязыковых контактов, их бытования и адаптации в воспринимающем языке, последствий усиленного притока заимствований из генетически неродственных языков (прежде всего англицизмов) для внутривидового развития языка-реципиента. Все эти проблемы приобретают особую значимость в условиях международной культурно-экономической интеграции, создания надгосударственных образований, выбора языка международного общения, распределения коммуникативных функций среди международных и автохтонных языков в рамках внутриэтнического языкового пространства и т. п.

В настоящее время завершается работа над очередным этапом международной программы, итогом которого станет труд «Этноязыковые и этнокультурные проблемы в контексте процессов интеграции и этнодифференциации (этнизации) современного мира», посвященный рассмотрению острейших проблем современности.

Библиография

1. Барнет 1983 — *Барнет. Вл.* К проблеме языковой эквивалентности при сравнении // Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками. М., 1988.
2. Брозович 1967 — *Брозович Д.* Славянские стандартные языки и сравнительный метод // Вопросы языкознания. № 1.
3. Гринберг 1963 — *Гринберг Д.* Квантитативный подход к морфологической типологии языков // Новое в лингвистике. М., 1963. Т. 3.
4. Земская Е. А. и кол. 1973 — *Земская Е. А. и кол.* Русская разговорная речь. М., 1973.

5. Земская, Китайгородская, Ширяев 1981 — *Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н.* Русская разговорная речь: Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981.
6. Лаптева 1966 — *Лаптева О. А.* О некодифицированных сферах современного русского литературного языка // Вопросы языкознания. 1966. № 2.
7. Лаптева 1983 — *Лаптева О. А.* О соотношении устности и разговорности в устной разновидности современного русского литературного языка // *Česko-slovenská rusistika*. 1983. N 5.
8. Нещименко 1983 — *Нещименко Г. П.* О некоторых аспектах сопоставительного изучения славянского словообразования // Сопоставительное изучение русского языка с чешским и другими славянскими языками. М., 1983.
9. Нещименко 1999 — *Нещименко Г. П.* Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации на материале сопоставительного изучения славянских языков. München, 1999.
10. Нещименко 2003 — *Нещименко Г. П.* Языковая ситуация в славянских странах: Опыт описания. Анализ концепций. М., 2003.
11. Русская грамматика 1979 — *Barnetová V., Běličová-Křížková H., Leška O., Skoumalová Z., Straková V.* Русская грамматика. D. 1—2. Praha, 1979.
12. Широкова 1978 — *Широкова А. Г.* Теоретические предпосылки сопоставительного изучения грамматического строя славянских языков // Вестник МГУ. Сер. 10. Филология. 1978. № 6.
13. Широкова 1992 — *Широкова А. Г.* Системно-функциональная и узуальная эквивалентность при сопоставительном изучении славянских языков // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1992. № 4.
14. Barnetová, Barnet 1962 — *Barnetová V., Barnet V.* O konfrontačním studiu příbuzných jazyků // *Acta Universitatis Carolinae. Slavica Pragensia*. Praha, 1962. R. IV.
15. Barnet 1974 — *Barnet V.* Konfrontace a ostatní druhy polylingválního popisu // *Slavica Slovaca*. 1974. T. 9.
16. Brozović 1970 — *Brozović D.* Standardni jezik. Zagreb, 1970.
17. Encyklopedia 1978 — *Encyklopedia wiedzy o języku polskim*. Wrocław, 1978.
18. Encyklopedia 1993 — *Encyklopedia kultury polskiej. XX w.* Wrocław—Lublin, 1978. T. 1—2.
19. Dokulil 1963 — *Dokulil M.* Ke koncepci porovnávací charakteristiky slovanských jazyků v oblasti «tvoření slov» // *Slovo a slovesnost* 1963, XXIV, № 2.
20. Filipec 1973 — *Filipec J.* Ke konfrontaci dílčích sémantických systémů v slovní zásobě dvou různých jazyků // *Československé přednášky pro VII. Mezinárodní sjezd slavistů*. Varšava, 1973.
21. Havránek 1958 — *Havránek B.* Charakter a úkoly srovnávacího studia spisovných jazyků slovanských // *Slavia*, 1958. XXVII.

22. Horecký 1979 — *Horecký J.* Vymedzenie štandardnej formy slovenčiny // Slovenská reč. 1979. R. 44.
23. Horecký 1981 — *Horecký J.* K teórii spisovného jazyka // Jazykovedný časopis. 1981. № 2.
24. Kořenský 1996 — *Kořenský J.* Komunikační úspěšnost a spisovnost v různých typech řečových vztahů // Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno, 1996.
25. Leška, Kurimský 1962 — *Leška O., Kurimský A.* O konfrontační metodě v jazykovědě // Československá rusistika. Praha, 1962. R. VII.
26. Problemy teoretyczno-metodologiczne badań konfrontatywnych języków słowiańskich 1991 — Problemy teoretyczno-metodologiczne badań konfrontatywnych języków słowiańskich // Prace Slawistyczne. Warszawa, 1991.
27. Procesy innowacyjne w językach słowiańskich 2003 — Procesy innowacyjne w językach słowiańskich // Slavica. Warszawa, 2003. R. 114.
28. Sgall, Hronek 1992 — *Sgall P., Hronek J.* Čeština bez přikras. Praha, 1992.
29. Starý 1994 — *Starý Z.* Ve jménu funkce a intervence. Praha, 1995.

Примечания

¹ В работе симпозиума приняли участие около 150 ученых, в том числе 30 зарубежных.

² Две конференции организовал Институт славистики ПАН (организатор — З. Э. Рудник-Карватова), одну — Институт чешского языка Чешской АН (организатор — О. Мартинцова).

Притяжательные прилагательные в русском и сербском языках

Об актуальности сопоставительных исследований современных славянских языков говорилось на последних славистических съездах, совещаниях. Так, Б. Станкович наметил основные проблемы подобного рода работ на ближайшее время [Станкович 2000, 17–18]. Ученый отмечает: «Суть принципа взаимности заключается в том, что слависты, поддерживающие и распространяющие славянские языки и культуры в своей среде, в большой степени способствуют распространению собственного языка и культуры за пределами их границ» [Станковић 2001, 12]. П. Пипер дал общую характеристику сопоставительных исследований русского и сербского языков [Пипер 2000, 12–18]. О необходимости сопоставительного изучения русского и сербского языков на разных языковых уровнях говорит Б. Терзич, подчеркивая следующее: «...на уровне синтаксиса и лексики можно выделить целый ряд категорий, нуждающихся в диахроническом комментировании при сопоставительном изучении двух близкородственных языков...» [Терзић 1999, 29]. Опыт сравнительного изучения грамматики русского и сербского языков представлен в двухтомной монографии Р. Мароевича [Мароевич 2001].

Объектом наших наблюдений являются притяжательные прилагательные в русском и сербском языках. Известно, что притяжательные прилагательные являются древнейшим способом выражения значения принадлежности. Их история в славянских языках различна. В современном русском литературном языке более употребителен родительный падеж принадлежности. В сербском языке большее распространение имеют притяжательные прилагательные. В этой связи Б. Дабиич отмечает следующее: «В сербохорватском языке намного более развито притяжательное прилагательное, чем в русском и немецком языках... Я это объясняю следующим образом: дело в том, что в сербохорватском языке *genitiv possessiv* можно образовать только от двучленных выражений. Поэтому получило у нас сильное развитие притяжательное прилагательное» [Дабиич 1997, 118].

Об использовании притяжательных прилагательных и родительного падежа имен существительных со значением принадлежности в родственных славянских языках говорится как в трудах русских, так и югослав-

ских исследователей: В. И. Собинниковой, П. А. Дмитриева, Т. А. Ивановой, Т. Н. Молошной и др. Непосредственно анализу притяжательных прилагательных посвящены многие труды Р. Мароевича (см., например [Маројевић 1983], где дается анализ посессивных категорий в синхронии и диахронии).

Притяжательные прилагательные были известны еще в индоевропейском языке. Некоторые из них были образованы в праславянский период, в дальнейшем они имели разную степень употребления в славянских языках [Маројевић 1983, 140—145]. Однако до настоящего времени нет единого мнения в определении лексико-грамматических разрядов имен прилагательных.

Если обратиться к авторам трудов по современному русскому литературному языку, то в основном ими выделяются три разряда прилагательных: качественные, относительные и притяжательные или же преимущественно качественные и относительные. При этом в разряде относительных выделяется особая группа притяжательных прилагательных. В свою очередь, притяжательные прилагательные разделяются на две группы: с суффиксами *-ов*, *-ев*, *-ин*, указывающие на индивидуальную принадлежность, и с суффиксом *-ий*, указывающие на родовую принадлежность.

Мы придерживаемся традиционной точки зрения, изложенной в трудах В. В. Виноградова, где дается обобщение предшествующих работ, посвященных категории притяжательности, а также понимание данной категории. В первую очередь ученый обращает внимание на содержательную сторону названной категории. Так, к разряду притяжательных он относит только прилагательные с суффиксами *-ов*, *-ев*, *-ин*. Виноградов пишет: «Притяжательные прилагательные вроде сестрин, *-а*, *-о*, отцов, *-а*, *-о*... Как в суффиксе *-ов*, так и в суффиксе *-ин* переход в членную форму (*-иный*, *-ая*, *-ое*) связан с устранением притяжательного значения. Слова на *-иный* имеют значение качественно-относительное и образуются только от названий животных: воробыный, голубиный...» [Виноградов 1986, 165, 168].

Притяжательные с суффиксами *-ий*, *-ья*, *-ье* ученый называет относительными: «В современном языке суффикс *-ий* прежде всего обозначает типичное для кого-нибудь (чаще для какого-нибудь животного) свойство. Он образует относительные имена прилагательные от основ имен существительных, обозначающих живое существо... медвежий, верблюжий...» [Виноградов 1972, 171].

Проанализировав тексты современных авторов (Ф. Абрамова, В. Белова, П. Проскурина, В. Распутина), мы увидели, что наши наблюдения не расходятся с утверждением исследователей о большей употребительности прилагательных с суффиксом *-ин* в разговорной и художественной речи. Судя по рассмотренному материалу, притяжательные прилагательные с суффиксом *-ов* используются в художественной речи реже, чем с суффиксом *-ин*. Еще реже используется суффикс *-ев*. Полагаем, что причиной утраты притяжательных прилагательных с суффиксом *-ов*, *-ев* является также необходимость разграничения форм с единым содержанием, которые связаны с образованием фамилий от имени собственного. Образование фамилий не дает ярких разграничений. Например: «...куда же матка-то с маленьким ушла? *К Петровым?* А с *Петрова крылечка* сурово и ласково глядела на эту ватагу бабка Евстоля, держа на руках самого младшего» (Бел., 48–49). Сфера употребления притяжательных прилагательных с суффиксами *-ин*, *-ов*, *-ев* преимущественно ограничена семейно-бытовой тематикой. Так, основную группу составляют имена прилагательные, образованные от имен существительных, характеризующих лицо по признаку семейно-родственных отношений, например: «На следующую весну мама выменяла *на папин костюм* мешок картошки» (Бел., 197); «...чтобы помазать *золовкин зуб*» (Бел., 410); «Всю ночь не выпускала из своих рук *бабушкину шею*» (Абр., 49); «А *горбовик отцов* где?» (Рс., 437); «...он не запомнил *отцова лица*» (Рс., 122); «Тут раньше был *баринев сад*» (Абр., 216).

Больше случаев образования притяжательных прилагательных от личных имен людей, как официальных, так и формально-домашних, например: *Катеринин брат* (Бел., 66); *Настасьина изба* (Рс., 294); *Лидиному отцу* (Абр., 227); *Павлова баба* (Бел., 33); ...зашли *на Богодулову половину* (Рс., 362).

Наряду с рассмотренными прилагательными со значением индивидуальной принадлежности могут использоваться прилагательные на *-иный*. Приведем примеры: «Положил руку *на горбатую лошадиную морду*» (Бел., 152); «...сосредоточенно глядя *на извивающееся змеиное тело*» (Прск., 358); «Он подошел к ней, поправил седёлку, погладил *печальную лошадиную морду*» (Бел., 343); «Бабка еле сняла веревочную петлю *с козлиных рогов*» (Бел., 510).

В рассматриваемых текстах мы выявили также прилагательные с суффиксом *-ий*, *-ья*, *-ье*, обозначающие индивидуальную принадлежность. На данную особенность названных прилагательных указывается в некото-

рых работах. Например, в «Очерках по исторической грамматике русского литературного языка XIX века» (М., 1964) говорится: «В конце XVIII века — начале XIX века, как и в более ранний период, индивидуальная принадлежность могла выражаться в словосочетаниях с притяжательными прилагательными на *-ов/-ев, -ин*, а также с прилагательными на *-ский, -цкий, -ий* (с. 133). Отметим несколько наиболее ярких примеров из наших текстов: «А старуха подоила Роголю, прислонилась головой *к большому коровьему брюху* и ...завыла: — Роголюшка ты моя-а-а (Бел., 107); «Митька прилепнул кучу оводов *на кобыльем боку*» (Бел., 67); «Агафья Сомова прикрутила к шести *сыновью красную рубаху*, осиротевшую с прошлой осени» (Рс., 155); «На том месте, где только что отлеживался раненый зверь, снег был в черных пятнах. Это кровь, *волчья кровь...* Зверь тяжело ранен...» (Абр., 333); «тетка Анна плачет почему-то, и ему самому мучительно хочется заплакать при виде *унылой старушечьей спины*, уткнутой в ладони головы в черном платке» (Прск., 3—4); «*Необжитый голубёвский шатер*, покрытый росой, стоял метрах в десяти от нашего» (Бел., 260). Только дополнительный контекст помогает определить значение индивидуальной принадлежности в подобных случаях.

Примеров использования родительного принадлежности в наблюдаемых текстах намного больше, чем случаев с притяжательными прилагательными, что существенно отличает современный русский литературный язык от сербского.

В современном сербском литературном языке со значением индивидуальной принадлежности используются имена прилагательные с суффиксами *-ов, -ев, -ин*, а также *-лев, -овлев, -евлев*: (син — *синов*, жеж — *жежев*, Мирослав — *Мирославлев*, брат — *братовлев*, муж — *мужевлев*, сестра — *сестрин*) [Дмитриев 1961, 49]. Аналогичную справку находим в работах сербских авторов [Станојичић, Поповић 2000, 152—153]. Употребление родительного падежа имен существительных со значением принадлежности в сербском языке ограничено определенными условиями, которые были свойственны более древнему состоянию русского языка. Наши наблюдения не расходятся в основном с отмеченными в работе Т. А. Ивановой условиями использования родительного принадлежности в сербском языке [Иванова 1974].

Приведем примеры с родительным принадлежностью из текстов современного сербского автора Милорада Павича и их переводов на русский язык*: 1) существительное, обозначающее субъекта принадлежности, уже

имеет какое-либо определение: *према рукопису мојих предака* (102) — по рукописи моих предков (104); *на уснама своје нове послодавке* (162) — на губах своей новой работодательницы (174); *на кућној халџини свог домаћина* (216) — на складки домашнего халата хозяина (232); *Кућа др. Читинског носила је* (214) — В гостиной дома д-ра Читинского было (229); *у рукама малог човека* (51) — в руках человечка (52); *на халџини своје изабранице* (19) — на платье своей избранницы (17). Интересен случай перевода конструкции с родительным падежом притяжательным прилагательным: откуда *цепни будилник мога прадеда* код мене? (19) — откуда у меня взялись прадедовы часы (18); 2) название субъекта принадлежности является именем собственным составным: *унук Неделька Михаиловића, Алекса* (120) — внук Неделько Михайловича Алекса (123); *Соба Андрије Анђала* (150) — Комната Андрия Анджала (161); *из књиге Јана Потоцког* (53) — из книги Яна Потоцкого (54); 3) требование выразить принадлежность нескольким лицам: *многа платна великих сликара* (63) — многие полотна великих художников (65); *са репродукцијама великих мајстора* (64) — с репродукциями великих художников (65); *као кљунови птица грабљивица* (29) — словно клювы хищных птиц (29). В приведенных примерах при субъекте принадлежности находится еще и определение, что также способствует употреблению конструкции с родительным падежом принадлежности.

Случаи родительного падежа, не имеющего при себе никаких определений, единичны в рассматриваемых текстах: *његове очи које су као огледала мењале боју према очима сабеседника* (14) — глаза, которые, как зеркала, принимали цвет глаз собеседника (13).

Т. А. Иванова замечает, что «наблюдения над современным письменным и разговорным языком, особенно представителей молодого поколения, показывают некоторую экспансию конструкций с родительным падежом за счет относительного уменьшения притяжательных прилагательных» [Иванова 1974, 38]. Автор объясняет это многими причинами. Одна из основных — это «условия современной общественно-политической и культурной жизни, что вызывает необходимость более точной и разносторонней характеристики лица, поэтому существительное почти всегда имеет различные определения» [Иванова 1974, 39–40].

* Примеры даются по изданию: *Лавић М.* Руски хрт. Приче. Београд, 1990, перевод — *Павич М.* Русская борзая. Рассказы. СПб., 2001. В скобках указаны страницы.

В то же время наши наблюдения не расходятся с мнением лингвистов о большей употребительности в современном сербском языке притяжательных прилагательных со значением принадлежности. Приведем несколько примеров: Пут их је водио *крај дединог стана* (121) — Дорога проходила мимо дедова дома (124); Док би се *Заранова виљушка празна* спуштала ка тањиру (126) — Когда пустая Зоранова вилка опускалась к тарелке (129); Када је *прадедова керушка* одрасла (13) — Когда прадедова борзая выросла (11); у *Кобалин стан* (44) — в квартиру Кобалы (44); *Дубину сестриних зелених очију* (45) — Глубину зеленых глаз сестры (45); *Као онај дедов будилник* (86) — Как тот дедов будильник (88); изнад дечакова кревета (32) — под кроватью мальчика (31); *на углу Зорићеве куће* (65) — в доме Зорича (66); *Снажно Навијево тело* (188) — Сильное тело Нави (202); *Јазакочићева сестра* (49) — сестра Язаковича (49); *Јазакочићева прича* (39) — рассказ Язаковича (39); *неки од Шевчикових ученика* (40) — кто-то из учеников Шевчика (40); *рођака Ленкиног* (226) — Ленкиного родственника (242).

В анализируемых контекстах выявлены случаи, когда по существующим правилам необходима конструкция с родительным падежом, но используется притяжательное прилагательное, например: и *све прадедине чизме и ципеле* (8–9) — и все прадедовы башмаки и сапоги (7); *на имању једне докторове рођаке* (46) — в имени одного родственника доктора (46).

П. А. Дмитриев отмечает, что сербохорватские притяжательные прилагательные более тесно связаны с именами существительными и по сравнению с соответствующими образованиями русского языка все еще сохраняют большую конкретность. «Будучи названными в предложении, они сразу “вводят в сознание” представление о лице, от которого образованы. Поэтому в сербохорватском литературном языке до сих пор возможны конструкции, в которых притяжательные прилагательные обладают некоторыми признаками имен существительных» [Дмитриев 1961, 56]. Автор приводит редкие случаи из художественных произведений, например: «Долази му отац. На плач и нарицање Марикино, која истрча преда њ, вели, умирава је: “Ништа, ништа није”». «Приходит его отец. На плач и причитания Марикины, которая выбежала к нему, говорит, успокаивая ее: “Ничего, ничего”» [Дмитриев 1961, 55]. Во всех случаях согласование поясняющих компонентов в роде и числе проводится с соответствующими категориями имени существительного, от которого образовано притяжательное прилагательное. Такое употребление притяжательных прилагательных

тельных архаично. Авторы грамматик сербохорватского языка подобные факты не отмечают [Дмитриев 1961, 56–57].

Таким образом, преимущественное употребление притяжательных прилагательных по сравнению с родительным падежом в современном сербохорватском языке свидетельствует о том, что сербохорватский язык в большей степени, чем русский, сохраняет особенность, свойственную всем славянским языкам в древнюю пору их существования, когда основным средством выражения значения принадлежности было притяжательное прилагательное. А. А. Потебня писал: «Язык более древнего строя, имея возможность употреблять родительный принадлежности или другой падеж объекта (мати Иоанна, угождение Христу), предпочитает ставить здесь прилагательные (мати Иоаннова, угождене Христово)... в силу стремления к наибольшей конкретности относительного подлежащего» [Потебня 1968, 409–410].

Об использовании в русском языке со значением индивидуальной принадлежности прилагательных с суффиксами -ск, -овск, -инск говорится в ряде работ (см., например [Маројевић 1989, 63]). Особенно это было характерно для более раннего периода развития русского языка. Так, «...в памятниках XVII века употребление имен прилагательных на -ськъ и -ьнъ для обозначения индивидуальной принадлежности было распространено довольно широко. Примеры, в которых выражена индивидуальная принадлежность: А дать имъ было изъ старыхъ отцовскихъ поместей и вотчинъ... Отецкой сынъ распотешился» [Ломтев 1956, 465].

По нашему мнению, имена прилагательные с указанными суффиксами начинают активно использоваться в современном русском языке, хотя и ограничены значением производящего слова. Об этом свидетельствуют и переводы с сербского языка, в которых притяжательные прилагательные сербского языка заменяются конструкциями, представленными образованием прилагательных с суффиксами -ск, -овск, -инск, например: Музыка са слика гледала ју је као некада са зидова *очеве куће* (67) — Музыка на картинах смотрела на нее, как когда-то со стен отцовского дома (68); и могла је... да отцева музику са *свих очевах слика* (65) — и могла пропеть мелодии со всех отцовских картин (66); Она је слушала откуцаје сата као *откуцаје мајчиног срца* (11) — Та принимала тиканье часов за стук материнского сердца (10). Больше всего таких образований от имен существительных *отец, родитель, дед, мать*.

Случаи использования прилагательных с суффиксом *-ск* единичны в анализируемых сербских текстах: *Сестра је на балкон ставила лонац с лијандером донетим из наше родитељске куће* (42) — Сестра ставила на балкон горшок с олеандром, привезенным из нашего родительского дома (42). Как правило, имена прилагательные получают качественное значение или указывают на коллективную принадлежность: *који су израђивали четке од људске длаке* (7) — делавшие из человеческих волос четки (5); *Струне на гудалу су од коњског репа* (36) — Волос на смычке из конского хвоста (38); *две дебље жице од упредених животињских црева* (38) — две толстых струны из скрученных кишок животных (38).

В связи с разным функционированием указанных прилагательных в русском и сербском языках при переводе наблюдаются ошибки. На это обращает внимание Р. Мароевич: «Притяжательное значение могут иметь и прилагательные с суффиксом *-ск-*, образованные от апелятивов... Переводчики часто сохраняют суффикс *-ск-* и таким образом нарушают словообразовательную семантику перевода. Андрей свалил вину на соседского Мишку (Расп., 110) — Андреј кривицу свалио на суседског Мишку (108) [Маројевић 1989, 64].

Специфичной для сербского языка является словообразовательная модель имен прилагательных, отсутствующая в современном русском литературном языке. Сербские лингвисты отмечают: «Суффикс *-овљев/-евљев/-евљи* представлен в словах типа *братовљев, синовљев, мужевљев, братовљи, синовљи, мужевљи*, выражающих значение принадлежности, в отличие от качества (свойства): *братовљева књига* — книга брата; *братова љубав* — братская любовь» [Станојић, Поповић 2000, 152]. В анализируемом тексте М. Павича мы таких примеров не обнаружили. Вероятно, в разговорной речи более удобна в таких случаях конструкция с предлогом: *братовљева књига* — *књига од брата*.

Мы выявили имена прилагательные со значением принадлежности с суффиксом *-љев* от имен собственных преимущественно в научных текстах. Приведем несколько конструкций из монографии Р. Мароевича [Маројевић 1989]: у *Гончаровљевом Обломову* (135); *У.Востоковљевом препеву* (162); *Лермонтовљеве поеме Мцири* (205). Имена прилагательные с суффиксом *-лев* были известны и русскому языку. Об истории суффикса *-лев* (сербское *-љев*) говорится в работе [Маројевић 1983, 115—117].

Сопоставительный анализ притяжательных прилагательных в русском и сербском языках показывает, что в сербском языке сохраняются

старые формы прилагательных со значением принадлежности, ранее существовавшие в русском языке и других славянских языках и впоследствии некоторыми из них утраченные. Формы принадлежности не являются застывшими, они подвержены изменениям, и в настоящее время в сербском языке наблюдается постепенное, частичное замещение притяжательных прилагательных формами родительного падежа. В заключение необходимо отметить, что материал исследования был ограничен несколькими художественными и научными текстами; тема требует дальнейшего изучения.

Библиография

1. Виноградов 1972 — *Виноградов В. В.* Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1972.
2. Дабич 1997 — *Дабич Б.* Грамматическое поведение прилагательных в русском, немецком и сербохорватском языках // IV Международный симпозиум. Сопоставительные сравнительные исследования русского и других языков. Доклады (Белград—Нови Сад, 8—10 октября 1996 г.). Белград, 1997.
3. Дмитриев 1961 — *Дмитриев П. А.* Притяжательные прилагательные сербохорватского языка (к вопросу об их месте в системе частей речи) // Уч. зап. Ленингр. гос. ун-та. № 301. Сер. Филологические науки. 1961. Вып. 60.
4. Иванова 1974 — *Иванова Т. А.* Некоторые особенности употребления родительного принадлежности в современных славянских языках // Вопросы филологии. Л., 1974.
5. Ломтев 1956 — *Ломтев Т. П.* Очерки по историческому синтаксису русского языка. М., 1956.
6. Маројевић 1983 — *Маројевић Р.* Посесивне категорије у руском језику (у своме историјском развоју и данас). Београд, 1983.
7. Маројевић 1989 — *Маројевић Р.* Лингвистика и поезика превођења. Београд, 1989.
8. Маројевић 2001 — *Маројевић Р.* Русская грамматика. Сопоставительная грамматика русского и сербского языков с историческими комментариями. М.—Белград, 2001.
9. Пипер 2000 — *Пипер П.* Общая характеристика сопоставительных исследований русского и сербского языков // Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков. V международный симпозиум. Доклады (Белград—Ниш, 30 мая—1 июня 2000 г.). Белград, 2000.
10. Потевня 1968 — *Потевня А. А.* Из записок по русской грамматике. М., 1968. Т. 3.
11. Станојчић, Поповић 2000 — *Станојчић Ж., Поповић Љ.* Грамматика српског језика. Београд, 2000.

12. Станкович 2000 — *Станкович Б.* К вопросу о состоянии и перспективах сопоставительных исследований русского и других славянских языков // Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков. V международный симпозиум. Доклады (Белград—Ниш, 30 мая—1 июня 2000 г.). Белград, 2000.

13. Станојчић 2001 — *Станојчић Б.* О будућности славистике и славистических организација // Славистика. Књига 5 (2001). Београд, 2001.

14. Терзић 1999 — *Терзић Б.* Руско-српске језичке паралеле. Београд, 1999.

Сокращения

Абр. — *Абрамов Ф.* Дела российские. М., 1987.

Бел. — *Белов В.* Повести и рассказы. М., 1984.

Прск. — *Проскурин П.* Улыбка ребенка. М., 1987.

Рс. — *Распутин В.* Уроки французского. М., 1987.

У СЕКЦИЯ

Л. А. Софронова

Прекрасная Магилена и бедная Татьяна

Исследование пьес «охотничьего», т. е. любительского, театра, который был создан самодеятельными любителями сценического искусства и предназначен для широкой публики (Старикова, 2003, 42–46), совершенно неожиданно дало материал для сопоставления одной его пьесы, «Акт, или Действие о князе Петре Златых Ключах и о прекрасной королевне Магилене Неополитанской» (Ранняя русская драматургия, 1975, 315–356), с пушкинским «Евгением Онегиным». Очевидно, что такое сопоставление ни в коей мере не приведет к раскрытию неизвестных ранее генетических связей великого произведения с любительской пьесой. Оно только продемонстрирует одну из случайностей, которыми на самом деле изобилует история культуры. Проводить предлагаемое сопоставление представляется своего рода филологическим кощунством, но тем не менее мы к нему приступим. В свое оправдание скажем, что огромные художественные различия между скромным драматическим текстом и пушкинской поэмой в данном случае не принимаются во внимание. Нас интересует только совпадение сюжетных линий, протупившее в одном эпизоде.

Прежде чем показать, как выглядит совпадение, обнаруженное нами в старинной пьесе и пушкинском произведении, обратимся к пьесе, чтобы определить ее источник. Им послужил роман под названием «История о храбром и славном рыцаре Петре-Златых Ключей и о прекрасной королевне Магилене», который проник в Россию через Польшу в конце XVII – начале XVIII в. (Кузьмина, 1964, 187–234). Он восходит к французскому роману XV в. о Петре, графе Прованском, и о прекрасной Магилоне, королевне неаполитанской. Известен он примерно в семидесяти списках. Это значит, что роман этот пользовался большой популярностью. В 1780 г. его перевели еще раз, но уже с французского, и он разошелся в большом количестве печатных изданий, что еще раз подтверждает отношение к нему читающей публики. Роман этот стал подлинно народной книгой и явно приблизился к пространству сказки. Известно, что его сюжет лег в основу многих лубочных листов (Гудзий, 1945, 375). К рубежу XVIII–XIX вв. ро-

ман о Петре и Магилене уже «опустился» в народную среду. Он входил в широкий круг чтения и других слоев населения, в том числе провинциальных помещиков, как всякие произведения о храбрых рыцарях или богатырях: «Прочти деревенскому дворянину, который не выезжал из села своего и проводил в нем все время с одними псарями и девками, прочти ему Хераскова Россияду, он многого не поймет в ней, но сражения богатырей ему понравятся, прочти ему после приключения Еруслана Лазаревича, они ему также понравятся» (цит. по: Пушкарев, 1980, 166). В XIX в. подобные произведения уже назывались «романами нашей черни» (И. Снегирев).

Роман о Петре и Магилене адаптировался для сцены не только в России. Приспосабливался он для театра и на немецких сценах. «Во Франции в XVII столетии была лишь попытка поставить на придворной сцене “Историю прекрасной Магелоны” как пышный балетный дивертисмент, весьма далекий, судя по его либретто, от текста старинного бургундского романа», — утверждает историк литературы и театра (Кузьмина, 1975, 625). Пьеса, к анализу которой мы приступаем, была не первой попыткой вывести на сцену Петра и Магилену. Уже на театре царевны Натальи Алексеевны ставилась «Комедия Петра Златых Ключей». Сохранилась она только в отрывках. Судя по ним, пьеса следовала повести в большей степени, чем интересующий нас «Акт или комедия». Состояла она из двадцати одного явления. Вслед за упомянутой попыткой инсценизации состоялась другая. Театральные «охотники» переложили известный сюжет для сцены, естественно, никак не соотносясь с пьесой из театра Натальи Алексеевны. «Акт, или Действие о князе Петре Златых Ключах» играли в тридцатые—сороковые годы XVIII вв. в Москве. Это одна из самых интересных во всех отношениях пьес, поставленных в те годы. Обратим внимание на ее центральную тему.

Акт о Петре и Магилене — это пьеса о любви, которая глубоко уязвляет сердце человеческое. По словам Купидона, открывающего антипролог, с того момента, как человеком овладевают чувства, «вся мысль пременится, / храбрость, мужество, слава к любви обратится» (Ранняя русская драматургия, 1975, 315). Купидону вторит Венера: «Знаешь, какую я силу амурну имею? / Кое исполнить сердце любви не умею? / Распушу горящи пламень, при ветре великом, / разсыплется оной огонь во свете толиком» (Там же, 316). «Сила амурна» сближает главных героев пьесы, Петра и Магилену. Они преодолевают все несчастья и в конце концов соединя-

ются. Линия их любовных отношений построена довольно сложно. Петр влюбляется в Магилену по портрету, еще будучи во Франции. Он взирает на него и видит перед собой солнце, надеясь, что «озарится» им по приезде в Неаполь: «Ах, когда бы божи дали мне им обладати, / щастливым бы себя мог в свете нарицати» (Там же, 323). Прибыв в Неаполь и узнав, что скоро состоится турнир, на котором кавалеры будут биться за ее красоту, Петр отправляется «на учрежденное к бою место, где многих кавалеров побил» (Там же, 327). После турнира происходит его первая встреча с Магиленой, сразу обратившей на него благосклонное внимание. Представляясь королю в ее присутствии, Петр не называет себя и говорит только, что он «Францускаго, государь, королевства житель, / королевских дуелей охотны смотритель» (Там же, 330).

Приняв от короля знатные подарки, Петр участвует в банкете, устроенном по случаю турнира. По совету короля он направляется к Магилене — состоится их первая встреча наедине. Ремарка гласит: «Петр отходит к королевне, потом выходит королевна» (Там же, 332). Очевидно, что для создания этого эпизода, который должен происходить в ином, нежели банкет, пространстве, использовался средний занавес. (Как известно, в старинном театре было два занавеса — один закрывал всю сцену, другой отгораживал только ее часть. Он назывался средним или малым.)

Встретившись с Петром, Магилена объясняет, что король «завещал» ему быть при ее особе и восхваляет его. Петр же смущается — как ему, иноземцу, оказывают такую честь: «Я человек простородны и во всем негодны» (Там же, 338). Заметим, что свое иноземное происхождение Петр подчеркивает дважды. Затем он начинает свою лирическую партию: «Счастлив бы человек мог назватца в свете, / чтоб всегда разговаривать в вашем кабинете» (Там же, 334). Магилена не говорит ни да ни нет. Петр целует ей руку и уходит на свою квартиру.

Следующий эпизод (шестое явление) происходит в спальне Магилены. Она находится во власти нового неведомого чувства, которое сама называет «новой несносной злостью». Томления любви она переживает не в одиночестве. Рядом с ней ее верная Мамка. Появление героини с наперсницей не является изобретением автора романа или драматурга. Оно явно восходит к ситуации, устоявшейся в античной литературе. Уже Вергилий в «Энеиде» выстраивает эпизод Дидоны, доверяющей наперснице свою страсть к Энею. Наперсницей выступает ее сестра. Оттуда данный эпизод

перешел в средневековую литературу. Как пишет А. Д. Михайлов, диалог героини и наперсницы является почти что обязательным атрибутом рыцарского романа (Михайлов, 1974, 58). Эта ситуация воспроизведена и в русском переводе романа о Петре и Магилене.

Перешла она на сцену, где обычно персонажи такого статуса, как Мамка, даже не имеют права голоса. Они могут только соглашаться исполнить приказания господина и сообщать о том, что приказ выполнен. В пьесе о Петре и Магилене Мамка вступает в диалог со своей госпожой и даже приобретает, пусть слабую, но характеристику. Мамка не только выражает заботу о своей воспитаннице, вверенной ей с детства, но и возражает против ее необдуманных, как ей кажется, поступков.

Магилена испытывает странный недуг: «Отчего в моих силах так я ослабела / и тяжко весьма ныне заболела, / В трепетании сердца раздробила кости /от таковой новой несносной злости. / Трепещутся жилы, корпус каменеет, / и во гроб вселится, думаю, приспее» (Ранняя русская драматургия, 1975, 335). Так возникает тема любви-болезни, идущая от Овидия, воспринятая уже средневековым рыцарским романом (Там же, 55). Магилена описывает свою непонятную болезнь с тем же тщанием, что и отходящие в вечность государи. Вот как похоже жалуется на свою смертную, но не любовную болезнь царь Атигрин: «Болезнью тяшкою весьма обложенны, все мои уды уже раздробленны. Весь ум мой помрачен, трепещут составы, напиток знат приходит смертныя отравы» (Ранняя русская драматургия, 1976, 207). Услышав такие страшные слова от Магилены, Мамка пугается и советует ей принять лекарства (в другом списке — напитки), но Магилена отказывается. Она знает, что от ее болезни не поможет никакое снадобье. Помочь ей встать с одра можно только, узнав имя прекрасного французского кавалера, который в ее «сердце так оказался милы» (Ранняя русская драматургия, 1975, 335), что и должна сделать Мамка. Теперь Магилена прямо говорит о причине своих страданий: «Ни днем, ни нощию покоя не знаю, /Когда про него вспомню, сердцем умираю» (Там же). Ее наперсница не спешит искать загадочного кавалера и только бранит несчастную влюбленную королеву. Ведь она полюбила «иностранново», что ее недостойно. Так вновь возникает тема чужестранца, на которой настаивает и сам Петр. Мамка решительно заявляет: «Не могу я истинно сей ваш приказ зделать» (Там же). Магилена падает на постель замертво. Тут Мамка спохватывается и бежит «проведывать» Петра и ско-

ро возвращается с перстнем в руках. Это дар влюбленного рыцаря, имя которого теперь известно: «Имя же Петра оный князь имеет, / героично поступать во бранех умеет» (Там же, 336). Магилена счастлива и ждет, когда Петр «лучею» своей прекрасной персоны озарит ее. На нее вновь сыплются упреки Мамки за «неполитичное» поведение и неприличные слова. Но как только Магилена угрожающе вспоминает про гроб, в который Мамка будто бы желает ее «заключить», та окончательно сдается и обещает ей быть верной. По ее приказу Петр приходит к Магилене. Встретившись в саду, они «вечным любви обяжутся союзом» (Там же, 337). Влюбленные целуются, и Купидин «простреливает» их сердца.

Чувства влюбленных не претерпевают изменений. Они не сомневаются в них даже тогда, когда их разъединяет роковой случай. Им навсегда дано счастье взаимной любви. Оно окрашено одинаково и не приобретает дополнительных оттенков. Такой любви ничто не угрожает, ни измены, ни другие проступки. Из-за любви Петр готов лишиться жизни, а Магилена покидает радостный веселый мир и уходит в монастырь, но, конечно, не навсегда. Именно в монастыре герои встречаются и уходят навстречу своему вечному счастью. Эта пара — носители чувства неотрефлексированного и постоянного. Магилена выступает не только объектом чувств, она сама стремится к Петру и выступает инициатором их первого свидания, делает первый шаг навстречу их счастью. Она, конечно, не первая заявляет о своей любви, но с ответной страстью слушает признания Петра.

Попытаемся сравнить эту пару, переживающую великую любовь на старинной сцене, с Татьяной и Онегиным. Если чувства Петра и Магилены определены сразу как взаимные, то тема любви Татьяны и Евгения ведется по принципу зеркального канона. Татьяна, начав тему любви первая, не изменяет ей, хранит свое чувство, подобно Магилене. Евгений же, вступивший в этот канон только затем, чтобы дать отповедь Татьяне, переживает переход от равнодушия, с которым он встретил признания Татьяны, к глубокому чувству, которое она не принимает, несмотря на вновь сделанное признание. Эта любовь парит над героями, но не соединяет их. Герои Пушкина разведены с самого начала, так они и уходят со страниц романа. Праздничный и оптимистический XVIII век не знал ни на сцене, ни в литературе безответной любви, оттенков чувств, тонких или неожиданных переходов. Его герои влюблялись сразу и навсегда. Их всегда ожидало счастье, которого они непременно добивались.

Несмотря на существенные различия в ведении линии любви старинным драматургом и Пушкиным, некоторые соответствия все же здесь наблюдаются, например, в расстановке пар, в их позициях в сюжете. Активность поведения Магилены как бы предшествует отчаянному поступку Татьяны, которая первая открылась в любви к Онегину. Они обе охвачены первым чувством, не сразу понимают, что с ними происходит, пугаются своих порывов. Онегин, как и князь Петр, прибывает к месту действия издалека. Он также чужой, на что обращают внимание соседи: «Сосед наш неуч; сумасбродит; / Он фармазон; он пьет одно / Стаканом красное вино» (Пушкин, 38).

Магиленa и Петр встречаются после турнира на банкете, устроенном королем. Онегин и Татьяна — в доме Лариных. Следующая встреча обеих пар происходит в саду: «Но, наконец, она вздохнула / И встала со скамьи своей; / Пошла, но только повернула / В аллею, прямо перед ней / Блистая взорами, Евгений / Стоит» (Пушкин, 77); «Князь Петр по приказу Мамки потаенно приходит в королевской сад» (Ранняя русская драматургия, 1975, 337). Прием у Лариных соответствует банкету, устроенному королем неополитанским. Обе пары тайно встречаются в саду.

Конечно, соответствия локусов, в которых происходит действие обоих произведений, не особенно значительны, так как и в том, и в другом случае авторы в первую очередь следят за героями и изменениями их чувств. Правда, для старинного драматурга разнообразить место действия еще было довольно сложно, но тем не менее он постоянно переносит действие из одного локуса в другой. Возможно, что перед нами совпадения, обязанные своим происхождением жанру. Драматург следует за романом, Пушкин пишет роман в стихах, создавая «энциклопедию русской жизни». И Пушкин, и драматург XVIII в., возможно, избирают традиционные романские локусы.

Более знаменательны совпадения в характеристиках героинь. Прекрасная Магиленa стоит в начале ряда тех русских героинь, которые действуют вразрез с этикетом, ведут себя «неполитично». Она первая начинает тему любви, сама стремится увидеться с возлюбленным. Также поступает бедная Татьяна, всегда возвышающаяся над этим рядом. Именно тема любви объединяет два совершенно различных произведения. Их сюжеты разворачиваются по-разному. Но есть в них один эпизод, объединяющий их.

Это сцена Татьяны с няней (глава третья, XVII—XXI, XXXIV—XXXV) и Магилены с Мамкой (шестое явление).

Разговор Татьяны с няней происходит в спальне, как Магилены и Мамки. Анонимный драматург и сам Пушкин выбирают этот локус как явно соответствующий психологическому состоянию героинь. Заметим, что вновь происходит совпадение локуса, избранного обоими авторами. Также время, в которое происходят их беседы с наперсницами, сходно. Это ночь и раннее утро. Татьяна доверяется няне, и «*между тем луна сияла /И томным светом озаряла Татьяны бледные красы, /И распущенные власы, / И капли слез, и на скамейке /Пред героиней молодой, / С платком на голове седой, / Старушку в длинной телогрейке (...)* Она зари не замечает, / Сидит с поникшею главой» (Пушкин, 64, 72). Действие сходного эпизода в старинной пьесе происходит ранним утром, судя по приветствию Мамки. Кроме того, в аргументе сказано: «*В сем явлении сидит Магилена на постеле*» (Ранняя русская драматургия, 1975, 334). Татьяна же сидит у стола, заканчивая письмо к Онегину.

И Магилена, и Татьяна доверяют свои переживания служанке. Они обе ведут речь о своем возлюбленном, жалуясь на свое состояние: «*Не спится, няня: здесь так душно! /Открой окно да сядь ко мне*» (Пушкин, 62); Магилена сообщает Мамке, что «*опочивала (...)* не очень здорово» (Ранняя русская драматургия, 1975, 334). Так начинается развитие темы любовь-болезнь. В пьесе ее ведет сама Магилена. Татьяна же только жалуется, что ей тошно. Няня замечает, что она вся горит, и видно, нездорова: «*Дитя мое, ты нездорова*» (Пушкин, 63). Она хочет окропить ее святой водой, как Мамка Магилене торопится дать лекарства. Обе героини доверяют наперсницам первое чувство. Татьяна делает это гораздо скорее, чем Магилена. Она прямо объясняет свое состояние, правда, после того, как указала на свой недуг.

Таким образом, не только расстановка героев: юная влюбленная и наперсница, не только художественное пространство: спальня героини, но и тема любви-болезни делают сходными оба эпизода.

Кроме того, обе героини просят наперсницу им помочь. Магилена, как уже было сказано, посылает Мамку к Петру, а та упирается. Татьяна просит няню: «*Ах! няня, сделай одолжение — / Изволь, родная, прикажи (...)* — *Итак, пошли тихонько внука / С запиской этой*» (Пушкин, 73). Та, как и Мамка Магилены, недовольна и вроде бы не понимает смысла

слов воспитанницы. Но потом уступает ее настояниям. Татьяна в письме, которое просит передать, делает искреннее признание. Магилена же хочет узнать только имя своего героя. Между ними и их избранниками медиатором выступает няня (Мамка).

Повторим, что перед нами лишь сюжетное совпадение, хотя и в характеристиках героинь просвечивают общие черты. Пушкин, создавший образ Татьяны, никак не зависит от неизвестного драматурга или литературного источника его пьесы. Перед нами совпадение, одно из многих случающихся в пространстве культуры. Конечно, если встать на историко-литературную точку зрения, его можно объяснить приверженностью великого поэта к народной словесности, который в «Руслане и Людмиле» выказал знание народных повестей о Бове королевиче и Еруслане Лазаревиче, имеющих романную основу, о чем подробно пишет Л. Пушкарев в уже цитируемой работе.

Можно обнаружить и другие неожиданные совпадения. Напомним, что Шекспир ввел в действие «Ромео и Джульетты» Кормилицу. Между ней и юной героиней, как между нашими парами героев, происходит важный диалог. Джульетта хочет узнать у нее, «кто тот синьор», что не танцевал на празднике, и приказывает: «Поди узнай. — И если он женат, / То мне могла будет брачным ложем» (Шекспир, 1958, 37). Кормилица возвращается с вестью о том, что это Ромео Капулетти, «сын вашего врага, — один наследник» (Там же). Кормилица приходит к Ромео с предупреждением о том, что «оплести такую благородную девицу будет очень неблагородным поступком» (Шекспир, 1958, 59). Она соглашается помочь юным влюбленным соединиться в браке, т. е. имеет функцию медиатора, как Мамка Магилены и няня Татьяна. Эта функция значительно усложнена комическим началом, которое выявляется в диалогах Кормилицы с матерью Джульетты, но не прорывается при ее взаимодействии с главными героями великой пьесы.

Таким образом, возможно провести аналогии шекспировской трагедии с русской пьесой XVIII в., увидеть скрытые сходжения эпизодов Татьяны с няней и Джульетты с Кормилицей. Подобные аналогии не раскрывают их внутренних смыслов, а лишь свидетельствуют о том, что в пространстве культуры существуют универсальные мотивы, всякий раз наполняемые новыми смыслами.

В связи с Шекспиром сделаем небольшое отступление. В репертуар «охотничьего» театра входит «Комедия об Индрике и Меленде» (Ранняя русская драматургия, 1976, 499—543). Ее сюжет, как и сюжет о Петре и Магилене, построен на теме любви, но только здесь чувство юных героев встречает невероятные препятствия со стороны окружения. Меленду хочет взять замуж отец Индрика. Вместе со своими приближенными он задумывает страшный обман — перед Индриком он делает вид, что умерла Меленда, а Меленде показывает тело умершего Индрика. Эта сюжетная линия имеет некоторые сходения с сюжетом «Ромео и Джульетты». И там, и здесь вводится мотив мнимой смерти, и там, и здесь она принимается за настоящую. Но у Шекспира история любви заканчивается трагически. В русской старинной пьесе обман раскрывается, герои возвращаются к жизни, из которой на самом деле и не исчезали. Так, как всегда в «охотничьем» театре, преодолеваются препятствия на пути к соединению влюбленных.

У Шекспира брат Лоренцо готовит снадобье для Джульетты, от которого «Биенье пульса сразу прекратится, / Ни теплота, ни вздох не обличат, / Что ты жива, и розы на ланитах / и на устах подернет бледность пепла» (Шекспир, 1958, 101). В «таком подобье странной смерти» Джульетта должна пробыть сорок два часа. Если она сама желает такого страшного испытания во имя любви, то героиню старинной русской пьесы, Меленду, опаивают сонным зельем. Ее кладут в зарешеченный гроб и показывают возлюбленному Индрику, который неистово оплакивает ее. Он, кстати, сам уже пережил мнимую смерть. Перед нами устойчивый мифологический мотив, но разрешенный различно.

Говорить о знании Шекспира в Москве середины XVIII в., притом драматургами самодеятельными, не приходится. Очевидно, данный мотив в русскую пьесу пришел из романа, послужившего ее источником, и был общим для культуры средних веков, ренессанса и барокко. Назывался он «Гистория о великомочном рыцаре Гендрике, курфистре Саксонском и о приязщной Меленде, дочери Людвики, курфистра Бранденбургскаго». Был переведен с польского и известен в нескольких списках (Ранняя русская драматургия, 1976, 798). При переложении для сцены, как и в случае с романом о Петре и Магилене, он претерпел сокращения, но основная его линия была полностью сохранена. Главная героиня, Меленда, подобно Магилене, также выступает искренне любящей, способной перенести

любые лишения во имя любви. Герои этой пьесы также счастливо соединяются.

Вернувшись к неожиданному совпадению ситуаций пушкинского «Онегина» и пьесы старинного театра, еще раз скажем, что вряд ли эпизод Татьяны с няней непосредственно находится на некоей прямой линии, той, которую начал Вергилий, которая прошла через творчество Шекспира и вдруг возникла в московском «охотничком» театре. Может быть, эту линию и можно прочертить, но с большой осторожностью, зная, что «искать реминисценции не обязательно, (...) мотивы в искусстве распространяются и *помимо* (курсив мой. — Л. С.) непосредственных контактов одного произведения с другим» (Уварова, 2002, 111). Это *помимо* очень знаменательно. Действительно, реминисценции, которые порой читаются как прямые заимствования или как дань античности, или XVIII веку, имеют свои пути, не поддающиеся описанию через непосредственные контакты авторов и текстов. Пушкина при создании «Евгения Онегина» вел его собственный художественный опыт, редкая способность к погружению в память культуры. У такого поэта не могло быть скучных и однозначных отношений с искусством. За каждым художником всегда есть право интуитивно налаживать связи отдаленных эпох, в том числе, и в частностях. Интуиция — проводник Пушкина в пространство культуры. «Может быть, в ряде случаев имеет смысл предполагать скрытый и от самого поэта уровень, создающийся спонтанно и независимо» (Цивьян, 1971, 277).

Библиография

- Гудзий Н. К. История древней русской литературы. М., 1945.
- Живов В. М., Успенский Б. А. Метаморфозы античного язычества в истории русской культуры XVII—XVIII вв. // Античность в культуре и искусстве последующих веков. Материалы научной конференции. 1982. М., 1984.
- Кузьмина В. Д. Рыцарский роман на Руси. М., 1964.
- Кузьмина В. Д. Комментарии // Ранняя русская драматургия: Пьесы столичных и провинциальных театров первой половины XVIII в. М., 1975.
- Михайлов А. Д. Французский рыцарский роман. М., 1974.
- Николаева Т. М. От звука к тексту. М., 2000.
- Пушкарев Л. Н. Сказка о Еруслане Лазаревиче. М., 1980.
- Пушкин А. С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. М.—Л., 1949. Т. V.

Ранняя русская драматургия: Пьесы столичных и провинциальных театров...

Ранняя русская драматургия. Пьесы любительских театров. М., 1976.

Смирнов И. П. Место «мифопоэтического» подхода к литературному произведению среди других толкований текста (о стихотворении Маяковского «Вот так я сделался собакой» // Миф. Фольклор. Литература. Л., 1978.

Старикова Л. М. Театральная жизнь в России в эпоху Елизаветы Петровны. М., 2003.

Уварова И. П. Маски смерти (Серебряный век) // Маска и маскарад в русской культуре XVIII—XX вв. М., 2002.

Цивьян Т. В. Заметки к дешифровке «Поэмы без героя» // Ученые записки ТГУ. Вып. 284. Труды по знаковым системам, V. Тарту, 1971.

Шекспир У. Ромео и Джульетта // Шекспир У. Полн. собр. соч. В 8-ми т. М., 1958. Т. 3.

Пространство в культуре. Культура в пространстве

Категория пространства выступает в числе основных категорий, посредством которых может осознаваться культурный процесс. Как и категория времени, она принадлежит к числу универсальных, ибо пространство, если воспользоваться словами Канта, «словно схема для координации вообще всего воспринимаемого извне», оно «есть основание всякой истины в области внешних чувств». «Понятие пространства есть единичное представление, заключающее все в себе»¹. Выделение проблемы пространства в качестве самостоятельного объекта историко-культурных исследований дает возможность ощутить его как некую геокультурную и духовную реальность, восстановить первоначальную, часто забытую пространственную семантику того или иного явления. Это также позволяет выявить новые стороны культурного процесса, остававшиеся вне поля зрения при других подходах, иначе взглянуть на уже известные явления.

Для становления историко-культурного и семиотического подходов к проблеме пространства оказались важны работы Павла Флоренского «Обратная перспектива» (1922), «Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях» (1924). В них он показал, что пространство картины не следует видимой натуре, но создается «разумом, сотворчески воспроизводящим в себе картину» и не верящим «в устройство мира по Эвклиду (т. е. в изотропное, гомогенное, трехмерное пространство. — *И. С.*), как и в восприятие этого мира по Канту»². М. М. Бахтин и введенное им понятие хронотопа способствовали развитию гуманитарных исследований в направлении, синтезирующем понятия пространства и времени³. Позднее, наряду с дальнейшей «бахтинизацией» исследований, пространство как самостоятельная категория вновь заняла место в трудах ученых, плодотворно разрабатываясь как в отечественной, так и зарубежной науке (труды Р. Барта, М. Фуко), в том числе в славистических исследованиях. Это видно, в частности, в работах и тартуской, и московской семиотических школ, представители которых соединили изучение структуры текста с изучением структуры пространства⁴. Работы В. Н. Топорова, который акцентировал различия между бытовым, научным (ньютоновским) и мифопоэтическим пониманием пространства, стимулировали изучение пространства как текста (или иначе «текста пространства»). Этот ученый также исследовал связь природного и культурного начал, их

«макроконтекст», в котором встреча духовно-физического и «великих» текстов культуры порождает духовные ситуации «высокого напряжения»⁵. В книгах Г. Д. Гачева, посвященных национальным образам мира, природное пространство, отношение человека к нему предстали как фактор, существеннейшим образом влияющий на национальный склад ума, тип художественного воображения, на признаки, по которым происходит самоидентификация национальных культур. Проблематика исследований оказалась расширена также за счет обращения к проблеме художественного творчества как части культурного слоя, формирующего ноосферу⁶, к проблеме евразийского пространства⁷. Проблема пространства, в частности, категории движения, была освещена в этнолингвистических и фольклорных исследованиях⁸, в искусствоведческих работах⁹, в качестве пространственного явления рассматривались культурные взаимодействия¹⁰, пространство исследовалось как предмет индивидуального сознания¹¹. Одной из важных характеристик пространства, вслед за Бахтиным, выступила категория границы¹². Ей уделили внимание Ж. Деррида, который ввел понятие «текст без границ» как признак постмодернистских произведений, В. Подорога, М. Б. Ямпольский¹³. У историков интерес к категории пространства способствовал развитию проблемы так наз. ментальных карт, в рассмотрении которой органично вошли вопросы истории культуры¹⁴.

С точки зрения категории пространства, хотя бы частично могут быть описаны различные историко-культурные явления и процессы. Проблема «пространство и культура» сопредельна таким экзистенциальным вопросам, как человек в культуре и истории, натура и культура¹⁵. Эта проблема так или иначе вбирает различные аспекты мышления человека, в частности, такой из них как утопизм. Утопическое пространство — это пространство ментальное, лишенное конкретных координат¹⁶.

Понятие *пространство* на протяжении веков, и до сих пор, является предметом дискуссий. Неоднозначно обстоит дело и с понятием *культурное пространство*. В качестве антропологизированного оно приобрело многие свойства творящей его человеческой мысли, получило благодаря этому особые имманентные свойства, кажущиеся парадоксальными обыденному сознанию. К их числу принадлежит способность субъективизироваться, претерпевая различные метаморфозы, бесконечно расширяться в результате каждого культурного акта.

У обитателей этого пространства есть своя география и «прописка». «Интеллигентный человек духовно живет не в одной стране, а во многих

странах, не в одной эпохе, а во многих»¹⁷, — полагал Константин Вагинов, писатель близкий к Бахтину. Его герой чувствовал, что «бежит все глубже в старый двухтысячелетний круг. Он пробегает последний век гуманизма и дилеттантизма, век пасторалей и Трианона, век философии и критицизма и по итальянским садам, среди фейерверков и сладостных латино-итальянских панегириков, вбегает во дворец Лоренцо Великолепного»¹⁸. Так в культурном пространстве могут срастись время и пространство, а движение — быть обращено вспять. Это пространство способно образовать особого рода лабиринт, «который охватывал бы прошедшее, настоящее и грядущее и каким-то чудом вмещал всю Вселенную»¹⁹. Сходно мыслил Борис Пастернак, говоря, что «человек не поселенец какой-либо географической точки. Годы и столетия, вот что служит ему местностью, страной, пространством»²⁰.

Осваивая пространство, человек прочерчивал в нем векторы движения, отвечавшие направлениям культурного процесса и культурных взаимодействий разного уровня, наполнял его новыми локусами (в их качестве могли выступать не только города и деревни, но, как видно из приведенного текста Вагинова, и «сладостные панегирики», мимо которых можно бежать).

В ходе культурного процесса происходила мифологизация, сакрализация, аксиологизация признаков пространства, чему пример образование «почетных пространств» в композиционном поле произведений искусства²¹, но также их семантизация или десемантизация, стереотипизация.

В традиционной и народной культуре признак в принципе остается устойчивым, а набор признаков достаточно стабильным, ибо «через некий символический признак выражается определенная мифологическая идея, [а] данный признак приписывается всему, что по своему функционально-семантическому облику с этой идеей связано»²². В культуре же нефольклорной, «ученой», хотя первоначальные мифологические смыслы могут сохраняться²³, постоянно происходит актуализация и забывание признаков, они меняют свои содержательные характеристики, аксиологический знак, утрачивают собственно пространственную доминанту и сакральную соотнесенность с землей и небом, все больше ориентируются на структуру не космоса, а социума, получают эстетическое наполнение, из пространственных превращаются в эстетические (как в понятиях высокой и низкой культуры или высокого и низкого жанров)²⁴. Разрастаясь, признаки получали дополнительные значения, географические трансформировались в культурные. Так, восток и запад начали ассоциироваться с

определенным типом культуры. Можно проследить и изменения самого понятия Восток. Для западноевропейской средневековой культуры — это Византия, которую в эпоху Карла Великого не включали в понятие Европа. В то же историческое время для Московского княжества Востоком была Золотая орда и татарское Крымское ханство. Само же Московское государство в европейском сознании постепенно переместилось с севера на восток континента.

Пространственные признаки служили разделению сакрального и светского. Как писал П. Я. Чаадаев, «пирамидальная архитектура является чем-то священным, небесным, горизонтальная... — человеческим и земным»²⁵. Пространственные признаки свидетельствовали не только об ориентированности готики и классицизма по горизонтали или вертикали, но и о духовной ориентации той или иной эпохи в целом.

Переосмысление пространственных признаков, изменение их состава и соотношения делают возможным рассматривать их в качестве характеристики отдельных эпох, позволяют проследить функционирование смыслообразующих механизмов культуры, формирование доминантных черт культурных эпох, вскрыть взаимодействие культурных и социально-исторических явлений. «Что за классическое ораторское искусство без соответствующего классического пространства — без полиса, без *res publica*», — писал Г.-Г. Гадамер²⁶. Изменяющаяся семантика пространства, степень «заинтересованности» эпохи или индивидуума данной проблемой служат выражением внутреннего строя культуры, ее «индивидуальности» (термин А. В. Михайлова).

При рассмотрении проблемы «пространство и культура», видно, что понятие *культурное пространство* может быть осмыслено как пространство *концептуальное*, творимое в текстах культуры, в том числе художественных, и пространство *бытования* культуры, которое также можно рассматривать как текст культуры, несущий о ней информацию, но текст иного рода. В одном случае — это пространство помысленное и претворенное в мифопоэтическом и художественном образе, так или иначе экстерьеризуемом — вербально или предметно, как, например, в поэзии и в архитектуре. Другая же ипостась культурного пространства, пространство *бытования культуры* предстает как та геокультурная среда, в которой существуют и развиваются культурные явления, вступают во взаимодействие. В целом культурный процесс является процессом прирастания культурного пространства, предельной формой которого является ноосфера, сфера разума как геологический фактор.

Существуя как мысленный образ, пространство бытования культуры имеет, однако, свои реальные измерения, хотя они не носят абсолютный характер, а само пространство не имеет четко очерченных границ. Это, например, территория распространения национального языка или диалекта. В описываемом пространстве географически определены взаимоотношения центра и периферии, направления информационных потоков. В этом пространстве сосуществуют разного типа культуры, так или иначе деля его между собой, образуя переходные зоны — народная и профессиональная, классическая и поп-культура, и т. п. Здесь функционируют институты и механизмы, обеспечивающие условия для воспроизводства культуры.

Пространство культуры в своих границах и свойствах не совпадает с другими типами пространства — географическим, политическим, национальным, социальным. Оно также не является лишь ментальным или только перцептивным, т. е. чувственно воспринимаемым, или тем, что часто называется реальным, которое может пониматься совершенно различно. (Как писал М. Элиаде, «для религиозного человека [священное пространство] только и является реальным. Все остальное — бесформенное пространство»²⁷).

Пространство культуры, хотя оно имеет определенные корреляции со всеми другими типами пространства, нельзя отождествить также ни с окружающим, ни с вещным пространством, уподобить пространству виртуальному, т. е. не данному в конкретном ощущении, непредметному, возникающему как состояние сознания — здесь и сейчас²⁸.

Это пространство может быть внутренним, когда человек оперирует артефактами, хранит их в памяти; не перестав быть внутренним, оно способно соединиться с внешним. Как писал Г. Башеляр, — «часто именно безграничность внутреннего мира придает истинное значение некоторым проявлениям того мира, который разворачивается перед нашим взором»²⁹.

С точки зрения категории пространства, хотя бы частично, могут быть истолкованы различные историко-культурные явления и процессы. Собственно, любая пара антиномичных признаков, по которым изначально осознавался мир («далекий/близкий» «свой/чужой» и т. п.), а в течение уже не одного десятилетия семантически исследуется культура, содержит пространственный компонент — представление о границе. Пространственные принципы формируют поэтику художественных произведений. «*Multum in parvo*» — «Большое в малом» стало одним из принципов риторики.

Однако в результате стирания собственно пространственной семантики часто можно не обратить внимание, что та или иная характеристика является пространственной³⁰. Открытость или закрытость культуры (соответственно экстравертность или интравертность) — это также ее пространственная характеристика, говорящая об отношении к своим границам, их проницаемости или ксенофобии. Эти же признаки определяют «внешнюю» и «внутреннюю» историю культуры³¹.

Пространственным актом является каждый случай самоопределения, самоидентификации (человека, народа)³² — это момент осознания, фиксации культурных границ, хотя сами они определяются, как правило, не по собственно пространственным признакам — «чужим» (конфессионально, лингвистически) может оказаться и близкий сосед, причина чему частое несовпадение конфессиональных, языковых, национальных, государственных границ и различных границ, очерчивающих «собственническую» принадлежность пространства государству, семье и другим социальным институтам. Именно районы такого несовпадающего в своих очертаниях по названным параметрам пограничья являются зоной конфликтов и, вместе с тем, часто продуктивным пространством для развития культуры — тому блестящий, хотя и далекий от славянства пример — рейнское пограничье Германии и Франции, которое на ряду с многочисленными военно-дипломатическими конфликтами породило в XV—XVI вв. великолепный всплеск художественного творчества. Более близкий пример — искусство Московского княжества, которое формировалось в ходе завоевательного присоединения земель и вместе с тем взаимодействия архитектурных и иконописных традиций различных княжеств. Или культура восточных земель Речи Посполитой, ее так наз. кресов (*kres* в переводе *предел, граница*). Конфликтное противостояние населявших эти земли народов в политике и вере сопровождалось продуктивностью культурного процесса (что видно в художественном творчестве, возникшем на пограничье православной и католической традиций, или в судьбах такого явления, как сарматизм³³). Говоря о формировании национальных культур, можно обратить внимание, что в ходе этого процесса региональные, внутренние границы разрушаются, в противоположность чему помечаются границы внешние. Местом самоидентификации культур служит не только собственное пространство отдельных народов. Человек утверждает в своей тождественности (или теряет ее), попадая в чужое пространство, в котором обостряется его самовосприятие. Поэтому особенно четки культурные границы анклавов, существующих в инонациональной среде.

Как движение в пространстве может быть рассмотрен переход славянских культур к культуре Нового времени, формирование европейского культурного пространства, которое никогда не было тождественно географическим очертаниям Европы и представление о ней никогда не имело чисто географического содержания.

На протяжении истории понятие *европейское пространство* меняло свои географические рамки, всегда означало определенный тип цивилизации, соответствующие признаки политического, социально-экономического устройства общества, его моральных норм и ментальных особенностей. Европа лишь постепенно становилась «Европой»³⁴, постепенно осознавалась и принадлежность к ней. Как писал А. Бергсон, европейцем является тот, кто осознает себя европейцем — недостаточно находиться в ее пространстве.

Образование европейского культурного макропространства прошло несколько эпох «великой интеграции». Первая — это время римской колонизации, граница которой ощутима и в настоящее время (не только между Англией и Шотландией, где ее маркирует Адрианов вал). Римская колонизация заложила общую античную основу европейской культуры, которую актуализировал Ренессанс. Вторая значительнейшая эпоха европейской интеграции — время распространения христианства, выступившего как межконтинентальное явление еще прежде, чем оно стало общеевропейским. Начиная с Ренессанса, импульсы которого в XVII в. в формах барокко распространились по всей Европе и за ее пределами, готовилась третья великая эпоха европейской интеграции, эпоха Просвещения. Об этом свидетельствовали языковая галлизация Европы, актуализация идеи Вечного мира, рождение понятия «космополит» как «человек мира», конституирование и распространение наднационального масонства как парарелигии и параидеологии. Важнейшее значение для типологического сближения культур православного и католического ареалов имело ослабление роли конфессионального фактора. Произошло становление общеевропейской сети культурной коммуникации в результате распространения печатных, в том числе периодических изданий. Европу наполнило движение носителей разных профессиональных знаний и умений, в том числе ученых, архитекторов, художников, а также людей, жаждущих получить образование.

Периоды европейской интеграции чередовались с противоположным по знаку движением. Так, за христианизацией последовал раскол церквей, а затем Реформация; за эпохой Просвещения наступила националисти-

ческая эпоха романтизма. Современная эпоха означена сепаратизмом — глобализация не является культурной интеграцией, затрагивая прежде всего собственно цивилизационную сферу, предназначенную для лучшего обустройства бытия.

У славянских народов в связи с особенностями национального и политического развития понятие пространства, которое в реальном времени часто насильственно меняло свои границы, выступало особо значимой частью индивидуального и массового сознания. Поэтому освещение славянских культур с точки зрения категории пространства позволяет, в частности, более четко представить традиции, к которым восходят некоторые современные, в особенности политические, проблемы.

Отношение к национальному пространству окрашивало не только картину мира, но и менталитет, обостряло оппозицию свой/чужой. Если для французов национальное пространство — это «douce France», как они до сих пор любят нежно называть свою страну, а для англичанина, культивирующего традиции, — это «old England», то для поляка национальное пространство — Польша, которая в свое время была стерта с политической карты, но «nie zginęła róki my żyjemy». Тем самым образ своей земли, потерявшей независимость, у поляков, как и других славянских народов, которые были лишены независимости в тот или иной период своего существования, оказался перенесен в пространство исторической памяти, откуда его было невозможно изъять никаким путем. Хранителем этого образа стало и пространство художественных текстов, которые могли выступать компенсатором стертого с географической карты политического пространства, в художественных образах воскрешалось пространство национальное, историческое, как в произведениях Я. Матейко или С. Жеромского, гравюрах А. Олещиньского³⁵.

Представления и реальность не совпадали. Поляки никогда не ощущали Петербург своей столицей, хотя официально он выступал ею в течение века. Для них таковой оставалась Варшава, которая, в свою очередь, всегда воспринималась русскими как заграница, хотя сто лет была в составе России³⁶. Не изменило ситуации и то, что со второй половины XIX в. в Варшаве появились православные церкви русско-византийского стиля, частично изменив ее облик³⁷. В пространственном образе была осмыслена мессианистская роль Польши как «przedmurza» христианства (дословно «предстеня») христианства, ибо врага до самой стены нельзя допустить, стена сакрализована, в Hortus conclusus, «саду заключенном», она охраняет покровительницу Польши Деву Марию.

Культура обращается с пространством подобно тому, как борхесовский создатель сада относился ко времени, не веря «в единое абсолютное время. Он верил в бесчисленность временных рядов, в растущую, головокружительную сеть расходящихся, сходящихся и параллельных времен»³⁸. Так и культура творит головокружительное множество пространств, сходящихся и расходящихся или параллельных, которые предстают как текст, несущий информацию о себе и мире.

Этот текст, комплексный по своей природе, открыт изучению как для историков культуры, так и собственно историков, а также исследователей, занимающихся отдельными областями художественного творчества. Опыт подобного изучения был осуществлен в ходе реализации проекта «Культурное пространство. Славянский мир», что нашло отражение на Круглом столе «Пространство как код культурных эпох» (2001), конференции «Пространство в культуре. Культура в пространстве» (июнь 2002), книге, подготовленной по ее материалам³⁹.

Изучение проблемы пространства было продолжено по проекту «Ландшафт как объект и текст культуры. Славянский мир»⁴⁰. Его задача проследить, как природный ландшафт маркирует ментальность славянских народов, инспирирует картину мира, присущую тому или иному народу, той или иной эпохе, как символизируясь, он преобразуется в мифологическом, религиозном, фольклорном, историческом, национальном, эстетическом сознании, воплощается в художественных образах. Предметом внимания служит также ландшафт как метафорическая модель культуры. В его рельефе, ритмах, протяженности и локусах запечатлеваются следы культурных процессов с их вершинами и впадинами, разного рода потоками и течениями, что может быть интерпретировано не только метафорически. Это позволит четче прорисовать и идентифицировать черты «портрета» и «автопортрета» отдельных национальных культур, а также судить об их включенности в европейский культурный процесс соответствующей эпохи.

Проблема может быть поставлена и иначе: «пространство и история», «историческое пространство славянского мира», что включает рассмотрение вопроса о соотношении пространства национального и пространства политического, их центре и периферии, взаимодействии в них внутреннего и внешнего, своего и чужого, что актуально не только в научном плане. Структуру этого пространства формируют исторически изменяющиеся границы — национальные и ареальные, этнические и конфессиональные, социальные и политические; эта структура складывается в ре-

зультате распространения потоков культурной информации и коммуникации, с присущими им векторами, а также вследствие движения самих носителей эстетической, научной и другой информации, в том числе за пределы гомогенного национального пространства (эмиграция). Предметом внимания могут стать корреляции между геополитическим и социокультурным пространством.

Во всех случаях изучение явлений с точки зрения категории пространства представляется эвристичным. Оно приближает к раскрытию вопросов, как славянские народы творят свое историческое и культурное пространство, как оно трансформируются в историческом процессе, в свою очередь влияя на его ход.

В заключение в качестве приложения иллюстрация двух предложенных подходов к проблеме пространства⁴¹.

1. Культура в пространстве

Несколько упрощая, можно сказать, что долгое время бытовало представление, что русско-польские художественные отношения начались с приезда в 1802 г. в Петербург А. Орловского, продолжались в результате учебы поляков в Петербургской Академии, и оживились во второй половине XIX в. благодаря интересу Стасова и Репина к Матейко.

Если говорить о прямых контактных связях XVIII — первой половины XIX в., то это в большей мере справедливо, хотя, в этом плане возможны существенные добавления. Учитывая активные русско-польские отношения в различных областях культуры (наука, литература), интерес просвещенного общества XVIII в. к вопросам искусства трудно было не предположить, что и в сфере искусства происходило что-то аналогичное. Однако русско-польские связи XVIII в. не лежали на поверхности, были трудно уловимы. Материал посыпался как из рога изобилия при попытке взглянуть на отношения между Петербургом, Вильно и Варшавой как жизнь культурного пространства.

Подход с этой точки зрения, выросший как бы из самого материала, позволил привлечь к исследованию обширный материал, ранее оставшихся за пределами изучавшихся контактных или типологических связей. В поле зрения попал совсем другой круг источников, которые ранее в большинстве не воспринимались как относящиеся к теме русско-польских художественных связей.

Категория пространства дала возможность систематизировать чрезвычайно разнородный материал, выстроить его согласно определенной концепции. В процессе его изучения он уложился в представление о весьма насыщенном художественными явлениями культурном пространстве, сформировавшемся в XVIII—XIX вв. между Петербургом, Варшавой и Вильно, в котором движутся местные и иностранные художники, их заказчики и произведения, целые коллекции, распространяются актуальные эстетические идеи и модные вкусы. Вместе с тем выявилось, что контактное пространство культур выходит за пределы обозначенных городов, когда, например, русские и польские заказчики попадают в римскую мастерскую Баттони, даже если это происходит одновременно. В результате важными выступили связи прямые и опосредованные, состоявшиеся и несостоявшиеся, но возможные. Все это позволяет не только обрисовать картину русско-польских худ. отношений в большем объеме, вместе с тем углубив их историю на сто лет, но и представить их как часть процесса формирования европейского культурного пространства Нового времени.

II. Пространство в культуре

Как писал А. В. Михайлов, проблема романтизма «всегда была мучительной для истории искусства и историков культуры». Есть тому причины в самом романтизме, но и в методиках — в попытках единую душу романтизма разделить на части: на реакционный и прогрессивный романтизм, позднее на романтизм и бидермейер. Обращение к этой эпохе с точки зрения категории пространства позволяет, как представляется, получить представление о ее противоречивой целостности.

В стихотворении «Гнедичу» Пушкин писал:

Ты любишь с высоты
Скрываться в тень долины малой
Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты
Жужжанью пчел над розой алой.
Таков прямой поэт.

Соединив образ не названо присутствующей горы и малой долины, Пушкин с лаконичностью истинного поэта раскрыл отношение эпохи романтизма к пространству — сочетание большого и малого, вопреки позд-

нее ставшей традиционной чисто космической интерпретации романтического пространства.

Известно, что романтики любили панорамные виды. В частности, за них они ценили итальянские парки, которые располагались на холмах и террасными уступами спускались вниз. Как писал Ф. Р. Шатобриан, — «я не мог перестать восхищаться перспективой с высоты террасы: под вами раскинулись сады со своими платанами и кипарисами; за садами следуют остатки дома Мецената; за рекой, на горе, царит роща старых оливковых деревьев, где находятся виллы Варрона... В целом мире было бы трудно найти вид более волнующий и способный возбудить более сложные размышления»⁴². Панорамность столь нравилась в ту эпоху, что даже гоголевский Манилов хотел «иметь дом с таким высоким бельведером, что можно отсюда видеть... Москву».

Романтики любили не только панорамность, но и масштабность пространства. Романтически настроенный князь Г. Пюклер-Мускау разорился, пытаясь безгранично расширить свои пейзажные парки в Мускау и Бранице (на границе Польши и Германии)⁴³. Однако в собственно романтическом художественном пространстве природа могла предстать в больших и малых измерениях⁴⁴. Как показывает история садово-паркового искусства эпохи романтизма, разбить ли малый сад или большой парк в большинстве зависело не столько от эстетических взглядов, сколько от финансовых возможностей заказчиков.

Романтики не были богатыми людьми. Жили они в маленьких домах в окружении скромной зелени, что говорило скорее о скромном бидермейеровском уюте, чем о вселенских претензиях романтиков. Однако вслед за Шефтсбери, они полагали, что «сады и рощи внутри нас». К. Д. Фридрих считал, что «художник должен писать не то, что видит перед собой, а то, что видит в себе», в то время как В. Тик хотел описывать «не деревья и горы, а свою душу».

Пространство воображения романтиков легко вмещало любое воображаемое пространство⁴⁵. Поэтому как в своем творчестве, так и в жизни, они свободно переходили грань действительного и воображаемого. Романтик, сидя в уютном саду, мог ощущать себя частью бескрайней вселенной. В этом он выступал наследником мифопоэтической традиции, согласно которой, «между домом и миром нет принципиального противопоставления»⁴⁶. Для человека романтической эпохи, по словам Шеллинга, «каждый атом материи был столь же безграничным миром, как

весь Универсум»⁴⁷. Так эпоха романтизма отношением к пространству свидетельствовала о своей двуединой сущности, раскрыть которую позволяет изучение проблемы пространства.

Примечания

¹ Кант И. Сочинения. М., 1986. Т. 2. С. 403, 405, 406.

² Флоренский П. А. Т. 2. У водоразделов мысли. М., 1990. С. 88—90. См. также: Габричевский А. Г. Пространство и время // Вопросы философии. 1994, № 3.

³ Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.

⁴ Семиотика пространства — пространство семиотики. Ученые труды Тартуского университета. Тарту 1986; Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983; Он же. Проблемы культурного пограничья. Функция границы и образ «соседа» в становлении этнического самосознания (русско-балтийская перспектива)/Советское славяноведение. 1991, № I; Он же. О мифопоэтическом пространстве. Генова, 1994; Он же. «Геоэтнические» панорамы в аспекте связей истории и культуры // Культура и история. Славянский мир. М., 1997; Цивьян Т. В. Интерьер космоса в интерьере дома // Натура и культура. Славянский мир. М., 1997; Она же. Движение и путь в Балканской модели мира. Исследования по структуре текста. М., 1999; Николаева Т. М. Человек и город // Человек в контексте культуры. Славянский мир. М., 1995; Она же. Единицы языка и теория текста // Исследования по структуре текста. М., 1987; Она же. Три пространства Игорева похода: художественное, летописное и «реальное» // Slavica tergestina» 8. Художественный текст и его геокультурные стратификации. Trieste, 2000.

⁵ Топоров В. Н. Эней — человек судьбы. М., 2000.

⁶ Ноосфера и художественное творчество. М., 1991. см. здесь же статью: Иванов В. В. Эволюция ноосферы и художественное творчество.

⁷ Евразийское пространство. Звук и слово. М., 2000.

⁸ Концепт движения в языке и культуре. М., 1996; Логический анализ языка. Языки динамического мира. Дубна, 1999; Цивьян Т. В. Движение и путь к Балканской модели мира. Указ. соч.

⁹ Злыднева Н. В. Художественная традиция в пространстве балканской культуры. М., 1991.

¹⁰ Свирида И. И. Между Петербургом, Варшавой и Вильно. Художник в культурном пространстве. XVIII — середина XIX вв. М., 1999.

¹¹ Топоров В. Н. Об индивидуальных образах пространства («Феномен» Батенкова) // Миф. Ритуал, Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995; Софронова Л. А. Три мира Григория Сковороды. М., 2002. С. 334—344.

- ¹² Проблемы культурного пограничья / Советское славяноведение. 1991, №1; Софронова Л. А. Старинный украинский театр. М., 1996.
- ¹³ Деррида Ж. Постмодернизм и культура. Вопросы философии. 1993 №3; Подорога В. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. М., 1995; Ямпольский М. Б. Наблюдатель. М., 2000; он же О близком. М., 2001.
- ¹⁴ Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпох и Просвещения. М., 2003; Todorova M. Imagining the Balkans. New York, 1997.
- ¹⁵ Человек в контексте культуры. Славянский мир / Отв. ред. И. И. Свирида. М., 1995; Natura и культура. Славянский мир / Отв. ред. И. И. Свирида. М., 1997; Культура и история. Славянский мир. М., 1997; Сакральное и светское в славянской культуре. Отв. ред. Л. А. Софронова.
- ¹⁶ Утопия и утопизм в славянской культуре. Отв. ред. Л. А. Софронова. М., 2004.
- ¹⁷ Вагинов К. Козлиная песня. Романы. М., 1991. С. 505.
- ¹⁸ Там же.
- ¹⁹ Борхес Х. Л. Ex libris. СПб., 1992. С. 155.
- ²⁰ Пастернак Л. Собр. соч. в 5-ти т. М., 1991, Т. 4. С. 670.
- ²¹ Вдовин Г. В. Портретное изображение и общество в России XVIII в. с. 275.
- ²² Неклюдов С. Ю. Вещественные объекты и их свойства в фольклорной картине мира // Признаковое пространство культуры / Отв. ред. С. М. Толстая. М., 2002. С. 28.
- ²³ Злыднева Н. В. Белый цвет в русской культуре XX в. // Там же. С. 424—431.
- ²⁴ Свирида И. И. Признак в «ученой» культуре: естественность в топосе сада // Признаковое пространство культуры... С. 413—414.
- ²⁵ Чаадаев П. Я. Соч. и письма. М., 1914. Т. 2. С. 173.
- ²⁶ Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 192.
- ²⁷ Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. С. 22.
- ²⁸ См.: Рузавин Г. И. Виртуальность // Новая философская энциклопедия. М., 2001. Т. 1. С. 404. См. также: Носов Н. А. Психологические виртуальные реальности. М., 1994; Он же. Виртуальный человек. М., 1997.
- ²⁹ Bachelard G. La poetique de l'espace. Paris, 1957. p. 184.
- ³⁰ Как отметил Р. Барт, «алиби — пространственный термин (в переводе с латинского alibi—в другом месте), который сросся с временной характеристикой»: Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 88.
- ³¹ Софронова Л. А. Старинный украинский театр. Указ. соч. С. 3—9.
- ³² Автопортрет славянина. Ред. Л. А. Софронова, Т. И. Чепелевская. М., 1999.
- ³³ Лескинен М. В. Мифы и образы сарматизма. Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. М. 2002.
- ³⁴ Бродель Ф. Материальная цивилизация и капитализм XV- XVIII вв. Т.1. М., 1986; Mansuelle G. A. Les origines de la Civilisation europeenne. Paris;

Чубарьян А. О. Европейская идея в истории. М., 1987; Свирида И. И. Европейское культурное пространство: российская граница в восприятии современников. XVI—XVIII вв. // Миф Европы. М., 2004.

³⁵ Свирида И. И. Между Петербургом, Варшавой и Вильно, С. 274.

³⁶ Варшава глазами русских. Конец XVII — начало XX вв. // Россия — Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре. Отв. ред. В. А. Хорев. М., 2002. С. 85—99.

³⁷ *Paszkwicz P. Pod berłem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie. 1815—1915; Idem. W służbie Imperium Rosyjskiego. 1721—1917. Warszawa, 1999.*

³⁸ Борхес Х. Л. Сад расходящихся тропок // Борхес Х. Л. Ex libris. СПб., 1992. С. 160.

³⁹ Культура и пространство.

⁴⁰ Проект РГНФ (руководитель И. И. Свирида). В рамках проекта проводится семинар и подготовлена книга «Ландшафты культуры» (в печати).

⁴¹ Здесь резюмируются работы автора: Между Петербургом, Варшавой и Вильно, указ. соч., а также Естественный парк: от Просвещения к Романтизму и бидермейеру // Искусствознание. I/01. М., 2001.

⁴² *F.-R. Chateaubriand. Oeuvres romanesques et voyages. T. II, Paris, 1969, s.1489.*

⁴³ См. о нем: *Der Parkschöpfer Hermann Pückler-Muskau: das gartenkünstlerische Erbe. Weimar, 1995.*

⁴⁴ Софронова Л. А. Романтические воззрения на природу: "Генезис из духа" Юлиуша Словацкого // *Натура и культура*, с.15.

⁴⁵ Шибыльский Р. Просторы воображения // «Путь романтичный совершил...» Сб. статей памяти Б. Ф. Стахеева. Отв. ред. В. А. Хорев. М., 1996.

⁴⁶ Цивьян Т. В. Интерьер космоса в интерьере дома // *Натура и культура*. С. 49.

⁴⁷ Цит. по: *Kleßmann E. Die deutsche Romantik. Köln, 1979, S.83.*

Оппозиция *мужской* — *женский* в традиционной славянской культуре

Оппозиция *мужской* — *женский* — одна из основных в народной культуре. Она присутствует во всех сферах человеческой и природной жизни, а также в мифологических, религиозных, этических и обыденных представлениях и противопоставляет мужское и женское начало в категориях пола, грамматического рода, символики и обрядовых функций.

Понятия *мужское* и *женское* встречаются в космогонических представлениях разных народов и связываются с системой других бинарных оппозиций типа *верх* — *низ*, *свет* — *тьма*, *правый* — *левый*, *восток* — *запад* и др.

Различение *мужского* — *женского* актуально только для среднего, человеческого мира, в то время как для верхнего, божественного, или нижнего, демонического, мира характерна бесполость или обоуполость. Таковы народные представления о Боге и ангелах, персонажах низшей мифологии: с.-рус. русалку, *албасту*, традиционно женский персонаж, иногда видели в мужском образе (Новичкова 1995, 353), полешуки русалку, пугающую во ржи, называли то *Ним*, то *Нимка* (ПА, ровен.) и т. п. По народным легендам (болгарским, белорусским) первоначально и человека Бог создал двуполым, и лишь потом дьявол соблазнил женщину и оторвал ее от мужчины, и с тех пор мужчина и женщина все время ищут свою половину (СД 2, 205).

Однако человеческое сознание стремится и в другие миры внести свои категории, приписать населяющим их персонажам человеческие отношения, в частности, матримониальные, сексуальные и пр. В народных представлениях многие мифологические существа имеют пол и достаточно регулярно образуют «естественные» пары (правда, в ряде случаев однокоренные лексемы мужского и женского рода могут относиться даже к разным персонажам): *кикимора* и *кикимор*, *лихо* и *лих*, *оборотень* и *обертиха*, *шут* и *шутовка*, *шутик* и *шутиха*, *омутник* и *омутница*, *фараон* и *фараонка*, *шиш*, *шишок* и *шишига* (Новичкова 1995, 340, 447, 621), пол. *ciota* ‘ведьма’ — *ciot*, *ciat* ‘ведьмак’ (KLW, 450, 449), словац. *striga* — *strigoj* ‘то же’, болг. *св. Тодор* ‘злой дух Тодоровой недели’ — *баба Тудорица* ‘то же’, *змејове* — *змејци* (муж. и жен. невидимые духи), макед. *Сатон* и *Сатоница* (в заговоре, ЖС 3’2001, 23). Та же тенденция наблюдается и в трактовке и названиях ряженых, которые изображают эти ми-

фологические существа, например: словац. *Kurva* — *Kurvač*, *Lucka* — *Luciak*, чеш. *Mikulas* — *Mikulaska*; рус. воронеж. *кукушка* — *кукуш* (персонажи юрьевских обходов — ЖС 2'1995, 41). Родовые пары образуют также чучела и куклы, представляющие мифические существа, например, чучело Смерти, которое выносили из села во время Великого поста: морав. *Mařena* — *Mařák*, *Smrt'* — *Smrt'ak*, *Smrt'och*, словац. *Majmuriena* — *Majmurien*. Даже болезни, которые в народном мировоззрении также суть злые духи, предстают существами то мужского, то женского рода: полес. *коўтун* и *коўтуныця* 'колтун', болг. *урок* и *урочица* 'сглаз' (ЕПНК, 179), рус. свердл. *кила* — *килун* 'опухоль, нарыв', тамб. *ляд* — *ляда* 'злой дух, черт' (СРНГ 13, 205, 209; СРНГ 17, 259—262).

Попадая в сферу действия небесных сил, мог поменять пол и сам человек: сербы, македонцы, болгары, словаки и западные украинцы верили, что если кто-либо пройдет под радугой, окажется в том месте или попьет воды там, где радуга «пьет воду», то превратится из мужчины в женщину и наоборот.

Таким образом, согласно народным представлениям, граница между мужским и женским проницаема. Из этой посылки проистекают многочисленные обрядовые действия и запреты, цель которых — утвердить и подтвердить пол человека, не дать ему измениться. Весь жизненный путь человека от рождения до смерти протекает под знаком своего пола: родившегося мальчика окружали «мужскими» предметами (топор, сверло — словац.), заворачивали в пеленки из старых отцовских рубах, при крещении его держал на руках крестный отец. Соответственно девочке клали в колыбель иглу, нитки, ножницы, молитвенник (словац.) и т. п. К такой социальной адаптации человека относились очень серьезно. Словаки, например, верили, что если по ошибке окрестить девочку как мальчика, то у несчастной будут расти усы.

Позже следовала дифференциация в одежде, работе, поведении. При этом внешность, одежда, занятия, частично еда человека, с одной стороны, были обусловлены полом, а с другой — сами являлись знаками различий по полу, поддерживались и манифестировались во всех ситуациях. Наличие усов и бороды считалось признаком мужественности, взрослости мужчины; считали, что у мужчины, заглянувшего в хлебную дежу, в наказание за немужественное поведение не будут расти усы и борода (Полесье). Обычаем запрещалось и ношение одежды противоположного пола: мужчина, надевший женский головной убор, будет бояться волка (укр., бел. витеб.), женщину, надевшую мужскую шапку, будет бояться скотина (витеб.).

К несчастьям приводило выполнение работ, традиционно закрепленных за противоположным полом. Например, по мнению сербов, женщине стыдно доить скот, это должен делать мужчина; у болгар и сербов женщине запрещалось резать животных. Свадебный обряд практически весь проходил в противопоставлении мужской партии жениха и женской партии невесты, вплоть до того, что у болгар Баната родственники невесты не принимали участия в свадебном пире после проводов девушки, так что игралось две свадьбы: «женская» в доме невесты и «мужская» в доме жениха.

В похоронном обряде также старались придерживаться правила, что мужчин обмывают, одевают, выносят мужчины, а женщин — женщины; по умершему мужчине звонили три раза, по женщине — два раза (хорв., словац.); мужчине на могильный крест вешали полотенце, женщине — фартук (полес.).

Трактовка *мужского* и *женского* в традиционном мировоззрении довольно устойчива. Как правило, с мужчиной и мужским связывается идея счастья, удачи, богатства, благополучия. Поэтому, например, мужчине поручалось сеять свеклу на Страстной неделе (укр.); считалось, что приход мальчика или мужчины на праздники приносит добро и удачу; на Новый год именно хозяин должен был принести утром воду из источника (укр.) и т. п. Мужская одежда, в первую очередь штаны, наделялась положительной силой, которая могла отогнать нечистых духов, снять порчу, сглаз. Ради защиты молока от ведьм доили молозиво сквозь мужскую рубашу (укр.); обтирали скотину, которую сглазили, мужскими штанами (полес., словац.); против глаза вешали штаны умершего на брус в хлеву (полес.) и т. п. Кроме того, мужскую одежду, как заместитель самого мужчины, женщины использовали в магии, направленной на рождение мальчиков: отправляя очередную дочь в церковь на крещение, мать заворачивала ее в отцовскую рубашу (бел.); беременная тайком от всех трижды надевала одежду мужа (серб.); невеста, идя на венчание, подпоясывалась мужским поясом, на пороге дома жениха переступала мужские штаны (серб.) и т. п.

Женщина и женское оценивались двояко. С одной стороны, сильна оказалась церковная традиция восприятия женщины как существа, созданного Богом после мужчины, а поэтому подчиненного ему; идея о «греховности» женщины, виновности ее в нарушении Божьего слова (сюжет о яблоне с Древа познания и Змии) и т. п. Отсюда отрицательная оценка женщины, в первую очередь, в ситуации встречи с нею, запреты для нее на некоторые действия, особенно жертвоприношения, и т. п. По народной традиции женщинам запрещалось посещать чужие дома в опреде-

ленные праздники (главным образом, в опасные периоды года); верили, что встреча с женщиной на дороге сулила несчастье: у белорусов советовали пахарю, которому женщина перешла дорогу, бросить ей вслед какой-нибудь твердый предмет, чтобы во время работы не испортилось пашенное орудие.

С другой стороны, не менее значимой является положительная трактовка женщины как родящей и кормящей матери, продолжательницы рода. На этом основано ее сближение с землей, а в ритуальном плане актуализирована ее связь с плодородием, здоровьем, жизнью. Многие магические действия предписывалось выполнять именно женщине. Например, считалось, что мак надо сеять на Средокрестной неделе, и только девушкам и молодым женщинам (укр.); верили, что если коноплю сеет женщина, то уродится больше посконной, более качественной, конопля (словац.); в Чуминден (10 февраля) ради защиты от чумы дом кадила самая старая женщина в семье (болг.); в некоторых местах у болгар обрядовое вкушение первого овечьего молока должна была выполнить женщина, чтобы овцы котились ягнятками женского пола, и т. п. Женская одежда не менее, чем мужская, использовалась в ритуалах лечебной магии. Например, вола, впервые выводимого на работу в поле, от сглаза обтирали по переносью женской рубахой (бел. витеб.); юбку клали под порог при первом выгоне скота из хлева (житом.); лечили ею (стегали) больную корову (гомел.); от сглаза повязывали мальчику, делающему первые шаги, платок (зап.-болг.); в Великий четверг ради «очищения» посуды ее окуривали женскими волосами (рус. вологод.).

Противопоставление признаков *мужской* и *женский* в культурной традиции подчеркивалось для того, чтобы точнее определить те стороны, объединение, слияние которых обладало творческой силой, законченностью и божественностью. Соединение *мужского* и *женского* в любой сфере создает, воссоздает, продолжает жизнь, дает рост и развитие. Эта идея соединения проявляется и на символическом уровне — например, в обычае класть под квашню, чтобы тесто подходило, женскую одежду, а сверху на квашню мужскую, или наоборот — и на обрядовом: женщина, осыпаящая молодых зерном на свадьбе ради плодovitости и богатства, надевала смешную мужскую одежду, шапку и имела трубку (укр. закарпат.), муку для свадебного каравая просеивала девушка в мужской одежде (серб., Косово — СД 2, 464). В облике и поведении «пахарей» при исполнении обрядовой пахоты на масленицу у словенцев, «короля» в «королевских» обрядах на Троицу у чехов, «боенца» в болгарском одноимен-

ном летнем обряде и многих других, имеющих продуцирующий характер, различными способами подчеркивается двуполость главных персонажей. При этом существуют чисто мужские («сурвакарские» и «кукерские» игры у болгар, «королевские» игры у чехов и др.) и чисто женские (например, болгарские «лазарки» и «боенец») обряды, в которых роли противоположного пола играют ряженые-травести.

Кроме того, животные, растения, а также предметы наделяются постоянными для каждой культурной традиции родовыми признаками и таким образом выполняют функцию знака, символа соответствующего начала. Например, волк и заяц имеют яркую мужскую символику, а ласка — женскую (см. об этом подробно: Гура 1997). Растения, особенно деревья, приобретают «пол» чаще всего в соответствии с грамматическим родом своих названий в различных славянских языках, например, дуб, явор — «мужские» деревья, а береза, верба, липа — «женские». В случае с предметами (реалиями) на категорию рода «работает» внутренняя семантика пола, переносимая в систему языка с помощью мыслительных операций, сходных с языковыми, — метонимии, метафоры, сравнения. Например, в белорусском Полесье информанты рассказывали, что «горшчок будэ из вухом, а горшычыця так будэ, така круглэнька» (Вышевичи, ПА). Аналогично в южнорусских губерниях хозяйка, покупая горшок, старалась определить его родо-половую принадлежность: *горшок* это или *горшица*. В последней еда будет более вкусной, чем в горшке. Вероятно, что русские диал. *бадья* (костром., арх., уфим., перм., челяб., том., оренб.) и *бадьяк* (том.) (СРНГ 2, 41—42) также могут получить подобное объяснение.

Вопрос о соотношении рода реалий материального и понятий ментального мира с грамматическим родом слов, их обозначающих, еще недостаточно изучен. На него обратили внимание еще в XIX в., в частности, А. Н. Афанасьев. Ряд работ посвятил этому предмету Н. И. Толстой, описав в одной из них явление соответствия грамматического рода названий деревьев и дней и их имманентных, согласно народным представлениям, свойств — половой принадлежности. Более того, как показал Никита Ильич, существует и обратная связь: язык и его категории, в свою очередь, способствуют возникновению мифологического мышления и мифологических представлений, формированию семиотической системы, в рамках которой взаимодействуют языковые и надязыковые культурологические категории (Толстой 1995, 338).

Так, для обозначения, например, «женских» деревьев «мужских» пород образуются слова соответствующего рода, ср. полес. *дубиця*, волын.

яворина. В качестве символов растения особенно ярко предстают в фольклоре. Например, в сербской балладе на могилах влюбленных юноши и девушки вырастают соответственно *зелен бор* и *зелена борика* (Усачева 2000, 277–278).

В отличие от литературных названий животных, растений, предметов и лиц с фиксированным родом, в диалектах довольно широко представлены контекстуальные родовые дублеты. В Полесье, на Гомельщине, наряду с лексемой *кукушка* зафиксирована лексема *кукалек* («хлопец убиў кукушку, а кукалек остаўся»). Полесский же материал дает нам такие примеры, как *курак*, *курач* — 1. ‘курица, не несущая яиц’, 2. ‘гермафродит’, 3. ‘старая дева’, 4. ‘бездетная женщина’ (Кабакова 2001, 203). Изменение рода сущ. *кура* маркирует перемену половой отнесенности, подчеркивает появление мужских свойств, и самого значимого из них — неспособности к рождению. В сев.-русских говорах для обозначения тех же понятий используется существительное «девушка», которое, в зависимости от рода, соотносит референт с одним из двух полов: *девуля* (*деуля*) кроме значения ‘девушка’ (в пск. говоре), имеет также значение ‘гермафродит’ (арх.), *девуня* — ‘женоподобный мужчина, неженка’ (арх.). Наоборот, лексема *девун* (*деун*) (твер., яросл.) обозначает старую деву; холостяка. Ср. пары серб. *девојчица* — *девојчурак* (СД 2, 37), морав. *baba* — *babak*.

В ЛСГ названий растений имеется больше количество примеров «разнополости» особей, которая выражается через грамматический род. Например, украинцы не советуют сеять лук на III лунной четверти, иначе, как говорили, «*цыбуля* пиде в *цебуль*» — вырастет один только стебель без головки, т. е. бесплодный (Українці, 243). Иная семантическая оппозиция лежит в основе пары *колос* — *колосица*: в полесской колядке пелось: «А с колосочка буде жыта бочка, а с колосицы бочка пшеницы», из чего можно заключить, что противопоставляется не плодородность, а вид злаков: рожь считается «мужским» растением, а пшеница «женским». О причинах такой трактовки мы пока говорить не готовы, так же как и об основаниях для различения словацких диалектных названий пшеницы *jarec* (m) и *jarica* (f).

В паре *колос* — *колосина* маркированная форма ж. р. имеет значения ‘обмолоченный колос’ (новг., арх.), ‘пустой колос’ (новг.), но пока нет возможности говорить о направлении семантической трансформации из-за отсутствия дополнительного материала.

В общеславянском контексте интересен пример противопоставления родовых форм *лут* 'лыко, кора липы' (в ряз., южн., смол. говорах), 'ободранная липа, палка без коры' (ряз., смол.) — *лута* 'липа' (яросл.). Поскольку речь идет о дереве, причем очень важном в мифологическом смысле, культовом дереве у полабских славян, широко распространенном в обрядовом использовании у западных славян (на 1 мая, Троицу и Духов день, в «королевских торжествах»), то надо полагать, что грамматические различия маркируют какой-то важный для этнической культуры смысл. У чехов, словаков и моравян в описаниях обрядов специально подчеркивается, что майские деревца очищаются от коры до самой кроны и так ставятся посреди села и около домов девушек, обрядовый персонаж «король» в троицких торжествах «одет» в кору липы и т. п. В этом свете скорее всего и надо трактовать данные русских диалектов: *лута*, ж. р. — слово для обозначения живого дерева, а для коры, лыка, ободранной от коры палки избран м. р. — *лут*.

В 18 томе СРНГ (с. 140) помещено слово 1. *метлик* 'мотылек, бабочка' (зап.) и 2. *метлик* 'растение мятлик луговой' (перм.), 'растение метлица, метлика' (пск., твер.), и в другой огласовке: *метляк* 'бабочка, мотылек' (камч., сиб., перм., вологод.), 'белые мухи, появляющиеся в августе—сентябре над реками' (вологод.)'. Форма ж. р. *метлика* зафиксирована только в составе фразеологизма *с метликой, с метличкой* (владим.) 'с придурью'. Поскольку самостоятельно слово *метлика* в словаре не снабжено значением, то можно только гадать об этимологии фразеологизма. Знание этнокультурного контекста могло бы разрешить все сомнения по этому поводу. В 1984 г. вышла статья О. А. Терновской «Ведовство у славян. Бзык (мухи в голове)» (Терновская 1984), в которой автор приводила фразеологизмы типа «мухи / тараканы / комары / мотыли / пауки / вши в голове / в носу иметь / пустить / выгнать», известные во всех славянских языках и имеющие значения: 1. 'дурак, хитрец, человек с причудами', 2. 'колдун, ведьма', 3. 'отважный, смельчак, хитроумный'. Эта модель, как пишет автор, «является своего рода чистым вариантом собственно мифологической модели, а представляющие ее фразеологические обороты выглядят фрагментом текста, относящегося к мифологии высшего знания» (Терновская 1984, 125). В народных представлениях насекомые, и особенно мухи, связаны с душой, бессмертием, высшим знанием. Это дает основания для соотнесения слова *метлика* со словами *метлик, метляк* 'мотылек, бабочка, белые мухи'.

В диалектах довольно много однокоренных слов, имеющих варианты мужского и женского рода (в статье приводятся примеры в основном из русских диалектов по СРНГ). Типологически они различны. Это могут быть имена, обозначающие естественные пары лиц мужского и женского пола с использованием суффиксов: *враг* — *врагуша*, *званец* — *званка*, *вьюнец* — *вьюница*; интересен случай образования родовой пары для существительного «невеста», обычно стоящего в паре с лексемой *жених*: *невесть* 'невеста' и *невестник* 'жених' (орл. — Костромичева 1998, 130).

Вторая группа — это заимствования, которые вообще нестабильны и вариабельны в языке-реципиенте: *ганка* — *ганок* (< нем.), *блзн* — *блзнь* (< ст.-слав.).

К третьей группе отнесены дублетные отглагольные существительные: *выем* — *выемка*, *запрет* — *запрета*, *запуг* — *запуга*, *запев* — *запевка*, *засев* — *засевка*, *добор* — *доборка*, *добой* — *добилка*, *закрас* — *закраса* и т. п.

Четвертую группу образуют формы м. и ж. рода, имеющие одинаковое значение, но принадлежащие разным диалектам: *замерек* (владим.) — *замерека* (твер., пск.) 'первозимье, первый снег'; *лишка* (новорос.) — *лишок* (тул., перм.) 'лишек, избыток'; *морок* (кубан.) — *морока* (курск., смол.) 'обманщик, плут'; *мечик* (тул.) — *мечка* (курск.) 'мяч'; *мяч* (вологод.) — *мяча* (твер.); *наволоок* (симб., ряз., моск., ю.-урал., краснояр.) — *наволока* (смол., тул., ряз., твер., псков., куйбыш.) 'пасмурное небо, погода; тучи, облака, туман'; *ладыш* (зап., с.-зап.) — *ладышка* (южн.) 'крынка для молока'.

К пятой группе отнесены лексемы, различия в роде которых закрепляют дивергенцию значений некогда семантически единого слова (хотя возможно и обратное: наличие этих форм обуславливает расхождение семантики слова): *мякуш* 'мякиш хлеба' (калуж., калин., смол., кур.) — *мякуша* 'свадебный хлеб, чисто ржаной; хлеб, которым мать невесты благословляет к венцу молодых; пшеничный каравай, подаваемый с солью при большом рукобитьи' (арх.); *дрязг* 'сор, хлам; хворост, листва' (пенз., самар., том.) и *дрязга* 'песчаная жидкая грязь' (калин.), 'хворост, бурелом' (иван.); *жир* 'тук на животных, сало' и *жира* 'довольство, богатство' (вологод.); *жом* 'гнет, пресс' и *жома* 'скупец, скряга' (симб.); *западок*, в отличие от *западня*, обозначает 'ловушку на певчих птиц' (юж.); *кожух* и *кожуха* наряду с общими значениями 'скорлупа, шелуха' (*кожух* в ср.-урал. *кожуха* в ср.-урал., владим., сарат., том., свердл.), 'кожура плодов' (*кожух* в свердл., ср.-урал., *кожуха* во владим., арх., ряз., сарат., ср.-урал.) имеют и различные: *кожух* — 'кожа, шкура' (перм.), 'яйцо' (арх.),

кожуха — ‘рыбья чешуя’ (ср.-урал.), ‘кора дерева’ (ряз.); *кокор* ‘шпангоут плоскодонки’ (иркут, том.) — *кокора* ‘корень дерева’ (перм., костром., арх.), ‘коряга’ (иркут, сиб.); *колоб* ‘булочка, жареная на масле; булочка из гороховой муки’ (арх.), ‘сдобная булка из пшеничной муки, жареная на сковороде’ (твер., костром., псков., олонек., арх.) — *колоба* ‘маленькая круглая выпуклая лепешка’ (арх.); *колозень* ‘улей в дупле, борть’ — *колозня* ‘продольная выемка в долбленном улье-колоде или борти’ (воронеж., свердл.); *мыш* ‘мышь; летучая мышь; зародыш ската — мыш морской; человек небольшого роста’ (олон., карел., лен., яросл., твер., калин., тамб., владим., тул., калуж., смол., моск., владим. и далее — по Волге и в Сибири) — *мыша* ‘мышь’ (арх., воронеж., дон., орл., вологод., олон., новг.); хорв. *bol*, m ‘ощущение физического страдания’ — *bol*, f ‘чувство горя, нравственное страдание’.

В шестой группе оказались собраны будто бы «немотивированные» случаи образования родовых лексем м. и ж. рода: орл. *обряд* — *обряда* ‘наряд невесты’; *похмель* — *похмелка* ‘гульба на второй или третий день свадьбы’; *саламат, соламат* — *саламата, соломата* (арх., вят., волог. и др.); твер. *наволок* — *наволока* ‘чердак’; *батог* ‘палка; тонкая и короткая палка; длинная палка, кол’ (вологод., олон., твер., арх., новг., смол., тамб., курск., перм., урал. и др.) — *батоба* ‘палка’ (пск., арх.); *дуб* (олон., сев.-двин., моск., перм., арх., твер., том., тобол.) — *дуба* (онеж., ленингр.) в значении ‘кора некоторых пород деревьев (дуба, осины, ивы), употребляемая для дубления кож или окраски’; *дудор* (вят., Киров., перм.) — *дудора* (твер., перм., яросл., вят.) ‘хлам, рухлядь, мусор, нечто непригодное’; *гонт* — *гонта* (пск.) ‘кусок соснового или осинового дерева, годного для щепания лучин’.

К таким же «немотивированным» можно отнести и диалектные названия праздников и календарных дат (хрононимы), как имеющие в своем составе имя святого, т. е. склонные к образованию «естественных» пар, так и не имеющие его: полес. *Микола*, m и f, *Микола зимняя* и *Микола зимний*, *Микола весняная* и *Микола весняны* ‘Николин день (6.XII и 9.V)’; *Овдюшка* и *Овдокей (Овдокий)* ‘день св. Евдокии (1.III)’; *Паликоп* и *Паликопа* ‘день св. Пантелеймона (27.VII)’; *Головосек* и *Головосика* ‘день усекновения главы Иоанна Предтечи (29.VIII)’; *Покров* и *Покрова* ‘праздник Покрова Пресвятой Богородицы’; *Вербница (Вербица)* и *Вербич* ‘Вербное воскресенье’ (последнее перед Пасхой) (Толстая 1984, 191, 195; 1986, 200, 201, 209, 210, 211, 223).

Объяснение возникновения подобных родовых пар в языке, их мотивированности или немотивированности еще ждет своего часа. Но уже сейчас ясно, что приблизиться к этому пониманию невозможно, используя только лишь лингвистические методы; необходим выход за пределы собственно языковой системы и знание широкого этнокультурного и исторического контекста.

Библиография и сокращения

Афанасьев 1994 — *Афанасьев А. Н.* Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. М., 1994. Т. 1—3. (Репринт).

Валенцова М. М. Отражение категории «мужской — женский» в календарной обрядности славян // Славянские этюды. Сборник к юбилею С. М. Толстой. М., 1999. С. 116—133.

Гендерный подход в антропологических дисциплинах. СПб., 2001.

Гура 1997 — *Гура А. В.* Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.

Даль — *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989—1991. Т. 1—4.

ЕПНК-7 — Етнографски проблеми на народната духовна култура. София, 1995. Т. 7.

ЖС — Живая старина. Журнал о русском фольклоре. М.

КА — Карпатский архив Института славяноведения РАН. Москва.

Кабаква 2003 — *Кабаква Г. И.* Антропология женского тела. М., 2001.

Новичкова 1995 — Русский демонологический словарь / Автор-составитель Т. А. Новичкова. СПб., 1995.

Костромичева 1998 — *Костромичева М. В.* Словарь свадебной лексики Орловщины. Орел, 1998.

ПА — Полесский архив Института славяноведения РАН. Москва.

СД 2 — Славянские древности. Этнолингвистический словарь под общей редакцией Н. И. Толстого. М., 1999. Т. 2.

СРНГ — Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин. Л., 1965. — Вып. 1.

Терновская 1984 — *Терновская О. А.* Ведовство у славян. Бзык (мухи в голове) // Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984. С. 117—129.

Толстая 1984 — Толстая С. М. Полесский народный календарь. Материалы к этнодиалектному словарю. А—Г // Славянское и балканское языкознание. Язык в этнокультурном аспекте. М., 1984. С. 178—200.

Толстой 1995 — Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995 (Бинарные противопоставления типа *правый—левый, мужской—женский*. С. 151—166; «Мужские» и «женские» деревья и дни в славянских народных представлениях. С. 333—340).

Топорков А. Л. Из наблюдений над функциями категории рода в этнодиалектных текстах // Славянское и балканское языкознание. Структура малых фольклорных текстов. М., 1993. С. 55—59.

Традиционная культура Урала. Этноидеографический словарь. Вып. 5. Магия и знахарство. Народная мифология. Екатеринбург, 2000.

Українці — Українці: народні вірування, повір'я, демонологія. Київ, 1991.

Усачева 2000 — Усачева В. В. Мифологические представления славян о происхождении растений // Славянский и балканский фольклор. М., 2000. С. 259—302.

Этнические стереотипы мужского и женского поведения. СПб., 1991.

KLW — Kultura ludowa Wielkopolski / Pod red. J. Burszty. Poznań, 1967. Т. 3.

Магия и мифология народной медицины

Здоровье в традиционной культуре — ценность высшего порядка; естественное и искомое состояние правильно функционирующего организма, его внутренняя целостность, неповрежденность. Отсутствие внутренней порчи в человеке — главное условие его существования. В славянской обрядовой системе оно — объект профилактической магии; категория, противопоставленная болезни и смерти, основа благополучия, условие вступления в брак и продолжения рода. Это желанная цель, к которой человек стремится, и здоровье в народных представлениях — ее олицетворение. Все положительные категории — радость, счастье, удача, благополучие, богатство — важнейшие бытийные категории и ценности в народном мировоззрении, а здоровье — главная из них. Здоровье сравнивают с богатством и ставят его превыше всего остального. В Родопах говорят: «Имаш ли здраве, имаш всичко», «От идну здраве по-хубаво няма», «Здравето е най-хубавото нящо в човяка. Светът цял да е твой, нямаш ли здраве, пусто опустео». Весь мир твой, если ты здоров, если же здоровья нет — все кругом пусто.

В приведенных фразеологизмах заложен главный смысл этого понятия, отношение к здоровью у славян, его место в ценностном видении мира. В традиционном представлении утрата здоровья нарушает равновесие мира, установленный миропорядок, поэтому существует система профилактических мер, направленных на недопущение разрушения мира человека, с одной стороны, а с другой — вековые традиции накопили опыт борьбы с болезнью. Если недуг, пробив границу, все же проник в культурное пространство, человек встречает его во всеоружии. Болезнь воспринимается как враг, незваный пришелец — его непременно надо уничтожить и восстановить нарушенное равновесие. Вот почему так важно обеспечить условия постоянного присутствия здоровья, как основы жизни человека и существования социума.

Народная медицина — область традиционного знания и система лечебно-профилактических приемов, направленных на избавление человека от болезни и восстановление здоровья; древнейший вид профессиональной деятельности, сочетающей рациональный опыт врачевания с магической практикой изгнания, уничтожения или задабривания духа болезни.

Успех лечения зависит от соблюдения ряда условий: времени (день недели, пора суток, лунная фаза, календарная дата), места (преимущественно пограничные локусы), участников лечебного ритуала, необходимых средств и приемов, соответствующих характеру болезни, причине или виновнику, вызвавших заболевание.

Медицинскими знаниями и магическими способностями исцеления недугов наделялись не только знахари, но и пастухи, овчары, кузнецы и др.; каждая женщина усваивала определенный объем медицинских знаний и умела лечить простуду, детский плач, уроки, принимать роды.

Главная стратегия лечения — изгнание, удаление болезни из тела человека, для чего практиковались разнообразные способы и приемы.

От болезни избавлялись в ы б р а с ы в а н и е м ее на дорогу и «за-таптыванием». На дорогу, на перекресток, распутье, под порог выбрасывали волосы, ногти больного, предметы, бывшие с ним в соприкосновении (его полотенце, рубашка), предметы, «принявшие» на себя болезнь (яйцо, зерно, плоды, полено); нитку с завязанными на ней узлами по числу бородавок, палку с насечками по количеству приступов лихорадки; старый лапоть, веник, который рубили у больного на пояснице при болезни «утин» — чтобы идущие по дороге разнесли болезнь, унесли, забрали с собой. Согласно этимологической магии, болезнь «пройдет», как по дороге проходят люди.

Болезнь можно было «закопать»: больного закапывали по шею в землю, его разорванную рубашку зарывали под водостоком, чтобы она сгнила; закапывали колтун (срезанные с головы сбившиеся в плотный комок волосы) в землю или муравейник, под порог дома, на перекрестке дорог, за границей села, под бузиной и в других местах, где обитают злые духи; нитку с узелками или мерку больного закапывали в землю близ реки, колодца или на месте припадка эпилептика; перебрасывали через дом рубашку, снятую с больного, закапывали ее на том месте, где она упала, и притискивали камнем, чтобы болезнь не вернулась.

Широко применялась п е р е д а ч а болезни дереву, другому человеку, животному, предмету. При лечении чахотки, лихорадки, зубной боли недуг символически «переносили» на дерево. Под ним закапывали срезанный у больного колтун, заговаривали болезнь; выливали под него воду, в которой купали больного; на дерево, кустарник вешали одежду заболевшего, а нитками из его рубахи обвязывали ствол, ветви дерева; относили к дереву дар-«принос», дотрагивались головой, руками или ногами до ствола, са-

дились на свежесрубленный пенёк. У южных славян одним из способов избавления от недуга является «венчание» болезни с деревом. Чаще всего этот обряд происходил рядом с вербой: больной и знахарь трижды обходили вокруг нее со свечой, приговаривая: «Венчал свою болезнь с вербой» и оставляли на ветке зажженную свечу длиной, равной окружности головы исцеляемого (серб.). В Польше (Мазовия) страдающим малярией советовали во время приступа идти у березе, трясти ее и говорить: «Тряси меня, как я тебя, а потом перестань». Полагали, что недуг перейдет на березу. В заговорной традиции всех славян болезнь часто отсылается на дерево, на лес.

Передача болезни другому человеку осуществлялась через предмет: наносили зарубки по числу бородавок на палку (чаще всего осиную), мазали ее кровью и выбрасывали на дорогу, на перекресток, веря, что бородавки перейдут к тому, кто поднимет палку. Одним из видов передачи болезни было «забивание» ее в дерево (в естественное дупло, дырку от сука), в дверной косяк, в отверстие в стволе, просверленное на высоте роста больного — туда помещались «заместители» больного или предметы, бывшие в соприкосновении с ним (волосы, ногти, часть одежды с кровью человека), после чего отверстия забивались колышком (осиновым, березовым, боярышниковым).

Недуг можно было передать и с помощью звукоподражания: в русских деревнях больному советовали залезть на куриный насест и петь петухом, чтобы болезнь перешла на кур. Также поступали белорусы: заболевший, стоя на воротном столбе, должен был громко пропеть: «Какареку, засыпеваю, хто пачуе, то таму»¹. Этот способ известен и македонцам: полагали, что для избавления от болезни достаточно залезть на крышу и по три раза прокукарекать, пролаять, промяукать, проквакать, а затем спуститься на землю и уйти домой².

Передавали болезнь также с водой: искупав ребенка, воду якобы вместе с болезнью выливали на собаку; купали больного ребенка в одной воде с щенком, полагая, что болезнь перейдет на животное. Недуг «скармливали» животному или домашней птице: хлеб, которым облепливали колтун, больной откусывал и бросал собаке; больного ребенка на деже посыпали зерном, которое затем склевывали куры. К больному уху прикладывали трех воробьев.

Болезнь можно было передать и взглядом: для избавления от куриной слепоты советовали пристально смотреть на деготь; от желтухи рас-

считывали избавиться, долго глядя на морковь, на золотые предметы, на щуку, до тех пор, пока она не пожелтеет, т. е. не примет болезнь на себя.

Недуг можно было победить, «заперев» дыхание больного: человек дул в дупло, в дыру, проверченную в стволе дерева, «гукал» в устье печи; с помощью замка, прочитав над ним соответствующий заговор, символически «запирали» кровотечение.

В медицинской магической практике славян широко используется *пролезание* или *протаскивание* (пронимание) больного сквозь отверстие, что расценивается как его символическое перерождение: больной оставлял болезнь по ту сторону отверстия и появлялся с противоположной стороны здоровым. Недужные пролезали через дупла или под корнями деревьев, обладающих особыми признаками (вековые, одиноко стоящие в поле, растущие у источника, святые, благословенные), чаще всего выбирались бук, вяз, дуб, береза, кизил, берест; пролезали через отверстие между двумя деревьями, растущими из одного корня, через раздвоившийся ствол, через сук, верхушкой вросший в ствол дерева; через расщепленное молодое деревце, через лук, образованный побегами ежевики, согнутым деревцем, через щель в заборе, сквозь колья или прутья забора, под старым памятником на кладбище; через большой веноч, сплетенный из трав, через специально испеченный для этой цели огромный калач (использовался в тех случаях, когда больной долго не мог выздороветь); под столом или вокруг ножки стола; под межой, через специально сделанный в земле прокоп, под забором. В хорватской зоне зафиксирован редкий случай избавления от падучей: протаскивание больного или его рубашки под только что умершим человеком.

Отделение болезни от больного достигалось «смыванием» недуга, обметанием заболевшего веником на пороге, окуриванием его, перешагиванием через больного, переводением через него животного. Ребенка трижды переносили через порог дома, каждый раз сплевывая; перегоняли свиней у порога свинарника через корыто, под которым лежал больной ребенок; в дверном проеме перешагивали через заболевшего, больного падучей заставляли трижды перепрыгнуть через забор в том месте, где сходятся под углом два забора.

При лечении многих болезней (лихорадка, испуг, падучая и др.) производили манипуляции с одеждой больного: надевали сорочку пазухой назад, выворачивали наизнанку; снимали рубашку с испуганного ребенка и бросали на кол, чтобы она три зари там ночевала; разрывали рубашку

спереди на теле заболевшего, бросали ее на воду, быстро относили на перекресток, закапывали как можно глубже и притискивали камнем; на похоронах подкладывали в гроб и т. п.

Сорвав рубашку, вешали ее на распятие, на придорожный крест, на фигуру святого, стоящую на распутье, подобным образом избавлялись от туберкулеза; выбрасывали рубашку в пропасть (горные районы Польши), на вертящееся мельничное колесо, чтобы вода забрала с одеждой и болезнь. Разорванную сверху донизу рубашку больного «распинали» на стене, прибив гвоздями, бросали в огонь, разрывали на куски; при эпилепсии, чтобы болезнь не вернулась, одежду эпилептика сжигали, а пепел бросали в воду. Подобные способы «расправы» с двойником больного, которого воспринимали и как предмет, на который перешел недуг, практиковались всеми славянами.

Один из распространенных приемов народной медицины — измерение заболевшего ниткой с последующим уничтожением мерки (еще один двойник недужного человека): ее разрезали, рассекали на колоде для рубки дров, полагая, что уничтожают болезнь, а остаток завязывали в узел, чтобы «завязать» и нейтрализовать недуг; мерку целиком забивали в дырку, дупло; относили к воде или клали под камень; помещали под порог дома, чтобы входящие в дом и выходящие из него топтали ее.

Для изгнания болезни прибегали к у с т р а ш е н и ю духов болезни: накрывали больного медвежьей шкурой, на шею вешали в ладанке змеиную голову, змеиный выползок, отрубленный хвост живой собаки, сушеную летучую мышь, кость жабы, зашивали в одежду кусок шкуры волка, неожиданно стреляли над постелью больного; разбивали над больным горшок, внезапно обливали холодной водой. Ребенка клали под порогом, накрывали дежой и разбивали об нее глиняный горшок; ударяли по корыту, под которым лежал больной падучей, узлом с землей, взятой с трех меж. Устрашали не только действием, но и предметом: чаще других в роли устрашающих предметов выступали нож, серп, топор, раскаленное железо (лемех), веник, розги, палка и т. д. Применялось и физическое воздействие на болезнь: эпилептиков стегали веником, осиновыми прутьями, ветками можжевельника, травой чертополоха; выгоняли из дому лихорадку, хлеща прутьями по стенам.

Народная медицина пользовалась и вербальными средствами лечения: лекарь устрашал недуг формулами угрозы с мотивами рассекания, резания, битья, сжигания и т. п. Ср. сербский приговор: «Серпом тебя рассеку, огнем тебя выжгу, по воде тебя пушу, по быстрой воде, по зеле-

ной траве»³. В этих же целях применялись бранные обращения: болезнь называли злой, плохой, черной, лихой, врагом, предателем, уродом и т. п. Вербальные формулы могли содержать не только угрозу, но и предложение заключить «договор о ненападении» с духом болезни в обмен на здоровье. Ср. заговор: «Криксы, криксы, дарую я вас хлебом-солью... даруяца мойго дзицяци добрым здоровьем и сном»⁴. Нередко вербальная формула использовалась самостоятельно, как словесный эквивалент лечебного действия. Ср. рус. смолен. «Хади, уси хваробы, с пальчыкаў, сустаўчыкаў, и с кастей, и с мащей, и с буйнэй галавы, и с хрыбетнай касті, и ат рятывога серца!»⁵; серб. «Иди, болезнь, в лес, в воду, в высокие высоты, в глубокие глубины, где петух не поет, где курица не кудахчет»⁶; пол. «Рожа, рожа (название болезни. — В. У.), иди прочь, пойді на мертвое тело»⁷.

Действенным способом излечения считался обман болезни. Для этого больные изменяли внешний облик, измазавшись сажей, sprыскивали одежду дегтем, притворялись умершими; уходили из дома, идя задом наперед, чтобы направлением шагов обмануть «неприятеля»; прятались под корытом; писали на двери: рус. «Приходи вчера», чеш. «Такого-то нет дома, ушел в лес». Возвращались домой с места, где совершался лечебный акт (двор, перекресток, берег реки, кладбище), другой дорогой, быстро убегали, чтобы болезнь не догнала, не оглядывались, чтобы взглядом не позвать ее с собой.

В случае эпидемий совершались обходы села, молебствия, опавы и ваны села, разнообразные отгонные ритуалы. Для предупреждения проникновения болезни в село на ее пути устраивались преграды: проводилась борозда; на дороге ставилась мельничная задвижка, разводился огромный костер (преимущественно из хвойных дров, из можжевельника), приносилась общесельская жертва.

В народной медицине всех славян широко применяются лекарственные травы, отвары и настои из них, причем травы часто имеют то же название, что и болезнь: рус. *колтун* 'вид папоротника', пол. *ziele kołtunowe* используются для лечения колтуна, *лихорадочная*, *грыжная трава* — для исцеления от лихорадки, грыжи и т. п. При разных недугах носят за пазухой или за поясом зверобой; лечат детский испуг окуриванием колючими растениями (чертополохом, шиповником и др.). Растения прикладывали к ногам, рукам, к голове в качестве компрессов, накладывали свежестолченные листья к ранам, ушибам, чирьям, порезам; ставили ветки деревьев около постели больного, полагая, что растение заберет на себя температуру больного.

Кроме растений, использовались приготовленные соответствующим образом средства животного происхождения (порошок из сушеной ящерицы, лягушки, змеи, летучей мыши, из рога оленя, из белемнита и т. п.), порошок запивали водой или растворяли в ней; пили молочный отвар из лягушки; ели мясо черепахи; жиром животных, маслом муравьев растирали больные места, прикладывали к ранам⁸.

Большое значение в народной медицине придавалось предметам и субстанциям, наделявшимся магическими свойствами. К наиболее универсальным аксессуарам лечения относятся вода, земля, камни, железо, шерсть и нитки; травы, ветки, дерево; предметы утвари (веник, гребень, нож, ложка, веретено, игла, сито и др.); пища (особенно хлеб, соль, вино, жир, яйца, мука), а также вторично используемые ритуальные предметы свадебного, погребального, календарных обрядов: фата и подвенечное платье невесты, свадебный венок, обручальное кольцо; тесемки, которыми связывали ноги покойнику, мерка с могилы, кладбищенская земля; пасхальная скатерть, другие освященные предметы; зола *бадняка* (рождественское полено); сакральные предметы (блюдо со статуи Иоанна Крестителя); земля с перекрестка дорог, из-под левой пятки, из «котовины» (возле норы крота), взятая во время землетрясения из-под правой ноги, земля с трех (девяти) межей; к земле обращались с просьбами избавиться от болезней. Землю (часто взятую с могилы) прикладывали к больному месту, натирали грудь, размешивали в воде и поили больного. Лечебными свойствами наделялись также сакральные предметы инородцев (например, ритуальная одежда), «чужие» молитвенные тексты, которые использовались в качестве амулетов; у южных славян — земля с могилы мусульманского «святого».

Для большего эффекта в лечении применялась вода, пролитая сквозь отверстие раздвоенного дерева, через дверной засов, ручку двери, через три иглы от трех невесток из одной семьи; вода, зачерпнутая при слиянии двух потоков (рек, ручьев), на трех бродах, родниковая, колодезная (первая из нового колодца); освященная, наговоренная; вода, в которую положено яйцо черной курицы; вода с иконы, с мельничного колеса; «кузнечная» вода, в которой закаляли железо и т. п.

Лечебные свойства (целебные и отгонные) приписывались предметам и веществам черного цвета, обладающим неприятным запахом, вкусом, видом (деготь, экскременты, моча); их применяли для отвращения духа болезни.

Составной частью народной медицины является почитание святых-целителей, к которым в молитвах и заговорах обращаются с просьбой об избавлении от болезней. По поверьям, св. Илья исцеляет от кровотечения из ран, лихорадки, ночного детского плача; от головной боли, порчи, лихорадки, кровотечения, золотухи, родимчика у детей молились Иоанну Предтече; от зубной боли — св. Антипию, от лихорадки — св. Марою, св. Фотинии Самарянке; от падучей — св. Валентину, от грыжи — св. Артемию, от бесплодия — св. Ипатию, от родимца — св. Никите, от рожи — св. Антонию, от глазных болезней — великомученице Мине. Избавителями от многих болезней считались св. Пантелеймон, свв. Кир и Иоанн.

Кроме собственно лечебных средств, большое значение в борьбе с болезнями придавалось соблюдению многих бытовых предписаний и запретов на определенные виды работ в праздники вообще, в некоторые праздники и дни особенно. Во время тяжелых заболеваний или приступов болезни (лихорадки, эпилепсии и др.) повсеместно запрещалось окликать больного по имени, иначе от этого болезнь еще сильнее «вцепилась» бы в человека. В день Ивана Головосека боялись мыть голову, чтобы не накликать хроническую головную боль, колтун, перхоть. Чтобы не заболеть, в день св. Игнатия, считавшийся у болгар недобрый, запрещалось ткать, пряхть, стирать. У южных славян праздновались дни, посвященные болезням: день св. Афанасия, св. Харлампия, св. Варвары и св. Саввы. В эти дни матери, у которых были маленькие дети, не работали, пекли лепешки, мазали их медом и раздавали всем соседям на здоровье; в особо опасных случаях совершали жертвоприношение.

Профилактика болезней. Почти все действия и приемы, характерные для лечебной магии, использовались и в профилактических целях. Защитными мерами служат умиловивление болезни (через словесные формулы, употребление эвфемизмов), обрядовая встреча болезни, совершаемая дома, в селе, с хлебом, с медом, с вином, службой и жертвоприношением; принесение дара (пища, корыто, мыло, теплая вода, шерсть); обращение с просьбой и молитвой; отправление, выпроваживание, устрашение болезни. Одним из архаических профилактических обрядов является опахивание села при поселении на новом месте и при угрозе эпидемии. Для отвращения болезни в землю закапывали в качестве жертвы ворону, петуха, обходили село и мазали все ворота дегтем. Обрядово-магические действия профилактического характера приурочивались к канунам больших христианских праздников (Рождество, Богоявление, Чистый Четверг,

Страстная Пятница, Пасха, Вознесение и др.). В русской традиции в Васильев день (первый день Нового года) совершался обряд «смыwania лихоманок»: знахарки обмывали во всех домах притолоки водой, в которую подмешивали золу из семи печей и четверговую соль, что, как считалось, защищало дом на весь год от вторжения лихорадки. В южной Славии девятый вторник после Рождества при угрозе эпидемии или для охраны здоровья все жители села пролезали под корнями деревьев. В день св. Юрия кусок железа закапывали под порог, чтобы у всех, переступивших его, были здоровые ноги; с этой же целью в Сочельник, на Новый год, в Чистый Четверг утром вставляли на железо (лемех, цепь).

В качестве профилактического средства от всех болезней использовали юрьевскую росу: ею умывались, по ней катались, раздевшись донага. Особенно популярным у славян было купание в воде — зимой (на Богоявление), весной (на Благовещение, в Великий Четверг, в Страстную пятницу, в Юрьев день), летом (в день Иоанна Крестителя, т. е. на Ивана Купалу); первой водой из нового колодца мыли детей, чтобы они не болели.

Некоторые специальные действия производились для предупреждения определенной болезни. Так, для предупреждения испуга мать, раздевшись донага, перешагивала три раза через люльку спящего ребенка, в колыбель втыкала булавку, иголку; над головами детей разламывали две спекшиеся буханки, надевали рубашку задом наперед или вывернув наизнанку; от бессонницы детям клали под голову нож в черных ножнах (серб.), шкурку зайца; чтобы не случилось падучей, мать обходила ребенка с мотовилом в руках. Во время первого грома прикладывали к голове железо или камень, чтобы не страдать от головной боли целый год. Женщины, отправляясь на зажинки, проползали под забором, касаясь спиной верхней перекладины, чтобы не болела поясница при жатве. С этой же целью после уборки урожая кувыркались через голову на новой стерне.

Для предупреждения болезней прибегали к помощи растений-апотропеев (с сильным запахом, острым вкусом, колючие, жгучие): чеснок, лук ели в больших количествах, носили в одежде, вешали у постели детей, над входом в дом; затыкали по границам «своего» пространства, втыкали в ворота, в двери ветки шиповника, тиса, боярышника, можжевельника; у входа в дом прикрепляли венки, сплетенные из девяти, двенадцати трав, освященных в праздники Божьего Тела, Успения Богородицы; освященный базилик держали в комнате на столе. Дымом этих растений окуривали помещение, чтобы не допустить болезнь в дом.

К области народной медицины относятся также разнообразные гадания об исходе болезни: обливали водой образ св. Пантелеймона (если часть воды оставалась на иконе, считалось, что больной умрет); гадали по зелени и цветам (увядшие цветы и листья сулили смерть); прогнозировали исход болезни по направлению дыма (поднимающийся вверх дым означал выздоровление).

Народная медицина испытала на себе влияние книжной традиции: рукописные, а позже и печатные, лечебники, травники, гадательные и другие книги получили широкое распространение в народе и использовались как руководство в лечебной практике.

Примечания

¹ *Federowski M.* Lud Białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877—1905. Kraków, 1897. T. 1. Wiara, wierzenia i przesady ludu z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy i Sokółki. S. 392.

² *Simić S.* Narodna medicina u Kratovu // Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Zagreb, 1964. Knj. 42. S. 408.

³ *Раденковић S.* Народне басме и бајања. Ниш; Приштина; Крагујевац, 1982. С. 100.

⁴ *Романов Е.* Белорусский сборник. Витебск, 1891. Вып. 5. Заговоры, апокрифы и духовные стихи. С. 32.

⁵ *Добровольский В. Н.* Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914. С. 198.

⁶ *Милићевић М.* Живот Срба селјака. Београд, 1984. С. 300.

⁷ *Varanowski B.* W kręgu uroigów i wilkołaków. Łódź, 1981. S. 266.

⁸ См. соответствующие разделы монографии А. В. Гуры «Символика животных в славянской народной традиции» (М., 1997).

Библиография

1. *Богоявленский Н. А.* Древнерусское врачевание в XI—XVII вв. М., 1960.
2. *Болтарович З. Е.* Народне лікування українців Карпат кінця XIX — початку XX століття. Київ, 1980.
3. *Болтарович З.* Українська народна медицина. Історія і практика. Київ, 1994.
4. Българска народна медицина. Енциклопедия / Ред. М. Георгиев. София, 1999.
5. *Георгиев М.* Традиционната медицина в предметната област на етнологията // Етнографски проблеми на народната култура. София, 1996. Т. 4. С. 9—29.
6. *Дмитриева С. И.* Традиционная народно-медицинская практика // Русские / Отв. ред. В. А. Александров, И. В. Власова, Н. С. Полищук. М., 1997.

7. За здраље. Из историје народне медицине и здравствене културе. Зајечар, [1999].
8. *Змеев Л. Ф.* Русские врачевники. СПб., 1896.
9. *Минько Л. И.* Народная медицина Белоруссии. Минск, 1969.
10. Народна здравствена култура у СР Србији. Београд, 1976—1980. Св. 1—4.
11. *Попов Г.* Русская народно-бытовая медицина. По материалам Этнографического бюро князя В. Н. Тенишева. СПб., 1903.
12. *Попов Р.* За светите лецителите по българските земи // ЕПНК 2000/6:54-70.
13. *Adámek K. V.* O lecení lidovém. Praha, 1903.
14. *Biegeleisen H.* Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i praktykach ludu polskiego. Lwów, 1927.
15. *Möderndorfer V.* Ljudska medicina pri Slovencih. Ljubljana, 1964.
16. *Szychowska-Boebel B.* Lecznictwo ludowe na Kujawach. Materiały i rozwiązania. Toruń, 1972.
17. *Tylkowa D.* Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat polskich. Wrocław; Warszawa; Kraków. 1989.

«История будущего» Адама Мицкевича как романтическая антиутопия

Обращение к такому явлению культуры, как утопия позволяет историку культуры под новым углом зрения увидеть исторические представления эпохи романтизма. Очевидно, что польской романтической историософии, ярким выражением которой стало учение об избранности и великой исторической миссии польской нации, присуще много утопических черт. Утопия мессианизма у романтиков всегда обращена в будущее, причем будущее Польши всегда мыслится неотъемлемым от судеб других европейских народов. Так, в историософии А. Мицкевича тема будущего — одна из центральных. Предметом прогнозов романтического поэта-пророка и философа-мессианиста являются перемены, которые должны произойти в социально-политическом и духовном облике Европы и всего человечества.

Среди высказываний Мицкевича на эту тему его «История будущего» (она должна была стать художественным воплощением образа будущего) занимает особое место. Замыслы произведения под таким названием вынашивались поэтом долго, на протяжении более чем десяти лет. Как свидетельствуют литературоведы, существовало несколько его вариантов, созданных в разные годы. К некоторым из них Мицкевич потом возвращался, однако в результате «История будущего» так и не была завершена¹. Цель настоящей статьи — рассмотреть принципы моделирования будущего, которые объединяют разные версии данной утопии, в контексте исторических взглядов Мицкевича. На наш взгляд, в моделях будущего, предложенных польским романтиком, отчетливо просматриваются черты антиутопии.

Первый вариант «Истории будущего», относимый к 1829 г., был написан во время пребывания поэта в России и известен лишь в изложении А. Э. Одынца². Уже в нем Мицкевич избирает жанр своего сочинения и его философскую направленность — им он останется верен и в дальнейшем. Это жанр «воображаемой истории» (*imaginary history*), за образец в нем взята классическая античная историография. (Впоследствии он будет использован Г. Уэллсом, которого часто считают его родоначальником³.) Эта ранняя научно-фантастическая версия «Истории будущего» уже является по сути антиутопией: техническая утопия сочетается здесь с неблагоприятными социальными прогнозами.

А. Одынец сообщает, что повествование начиналось с 2000 г. и должно было охватить два следующих столетия. Мицкевич подробно описывал технические достижения далекого будущего. По словам Одынца, это был «мир из Тысячи и одной ночи». Там фигурировала не только мощная сеть железных дорог и пароходы, которыми переправляются целые города, но и «флотилии крылатых воздушных шаров, летающих по воздуху как журавли или гуси»; «зеркала Архимеда, установленные на огромных расстояниях так, что огненные буквы, отраженные в первом, в мгновение ока отражаются в последнем», «телескопы, через которые с воздушного шара можно обозреть всю землю, а с земли видно, что делается на ее спутниках» и «акустические устройства, с помощью которых, спокойно сидя у камина... можно слушать концерты из города или публичные лекции». Как рассказывает Одынец, все это было описано «так просто, так естественно, как будто в этом нет ничего необычного. И Адам всерьез утверждает, что все это когда-нибудь будет и быть должно»⁴.

Однако одновременно Мицкевич акцентирует внимание на нравственных последствиях культа разума и материализма, приведшего к небывалым техническим достижениям. По свидетельству Одынца, он хочет «показать предполагаемые последствия материального эгоизма и эгоистического рационализма, которым поклоняется современный мир»⁵. Улучшение материальных условий жизни предвещает, по мнению Мицкевича, развитие себялюбия, равнодушия, пассивности, — Европа будущего оказывается беззащитной перед напором народа, который еще не утратил силы и динамизма. По сюжету таким народом оказываются китайцы. Они вторгаются в Европу: так Мицкевич пророчит глобальную европейскую катастрофу — столкновение Европы и Азии. Спасает западноевропейскую культуру от уничтожения Польша. Историческую битву на Висле выигрывает героиня будущего — полька, которая ведет в бой других женщин и двадцатилетних юношей, т. е. тех, кто еще не потерял способности к высоким чувствам, самоотверженности и героизму.

Вообще женщинам Мицкевич отводит в своей утопии большую роль. Это не просто наиболее нравственно здоровая часть общества, в будущем они получают гражданские и политические права. Женщины являются членами парламента, причем мужчины заседают в его верхней палате, а женщины — в нижней. Там они составляют оппозицию «абсолютному господству того, что верхняя, т. е. мужская палата зовет «чистым разумом», осуждая какие бы то ни было чувства»⁶. Так польский романтик подчеркивал, что женское начало в истории воплощает стихийную

силу «чувства и веры». Иначе говоря, в сюжете первой версии утопии Мицкевича было заложено противопоставление чувства и разума как движущих сил прогресса.

На оппозиции разума и чувства как действующих начал истории построены и фрагменты дошедшего до нас более позднего варианта «Истории будущего». Как выяснили С. Пигонь и С. Скварчиньская, сохранившаяся рукопись 1835 г. с двумя фрагментами «Истории будущего» — это набросок нового произведения Мицкевича, основой которого должны были послужить два более ранних варианта, написанных соответственно в 1831 и 1832—1833 гг. Представляется чрезвычайно существенным, что Мицкевич хотел объединить в одно произведение оба эти, на первый взгляд не связанные по содержанию отрывки: таким образом он как бы подразумевает возможность самых разных путей развития истории.

Жанр нового произведения остался прежним. Перед читателем якобы фрагменты исторического сочинения из будущего, написанного уже по образцу не античной, а более современной «научной» историографии. Фрагментарность свидетельствует не только о незавершенности этого произведения, но и о художественном приеме, свойственном романтической поэтике. В выборе романтического фрагмента как жанра также выразилось представление о том, что создать законченный, подчиненный строгим законам утопии образ будущего невозможно. Подобно тому как руина — случайно сохранившийся фрагмент прошлого, это — случайно, наугад открывшиеся страницы книги будущего, которую нам не дано прочесть целиком.

Жанр «воображаемой истории» позволяет Мицкевичу конструировать сразу два среза времени — тот, в котором происходят описываемые события, и другой, в котором якобы живет историк. Если второй отстоит от современности на несколько столетий, то первый — это самое ближайшее будущее, в котором разрешатся актуальные проблемы Европы 30-х годов XIX в. В центре внимания писателя — грядущие судьбы европейских государств, прежде всего Франции. Они представлены в двух противоположных вариантах.

В первом — это общеевропейская революция и война федерации свободных народов против монархов. Предыстория данных событий неизвестна: быть может, это победа польского восстания 1831 г., сокрушившего Россию и Австрию, и Июльской революции во Франции, завершившейся установлением республиканского строя. Так или иначе освобожденные народы объединились в федерацию; имена ее вождей —

Schinder, Didko, Wizat — говорят соответственно об их немецком, украинском и венгерском происхождении. Среди революционных сил упоминаются также чешская и казацкая кавалерия и «крестьяне, вооруженные косами и топорами»⁷ (97). Федеративная армия победоносно шествует по Европе, чтобы «нанести последний удар старому режиму, только после этого наступит время подумать о национальных конституциях и местных делах» (89). В отрывке подробно описывается разгром армии монархистов в Пруссии и казнь прусского короля — «первого монарха, окончившего жизнь на виселице» (99). Он умирает «в мундире российского генерала и с орденской лентой Священного Союза». Из всех монархов помилован был лишь саксонский правитель, который «не был замешан в заговорах против свободы народов» (99). Бегло намечен и дальнейший ход событий: нидерландская армия убивает своих командующих и присоединяется к революционным силам. Заняв Нидерланды, часть объединенной армии высаживается в Англии, а часть занимает Италию. И все это, подобно действию стихии, совершается очень быстро — меньше, чем за шесть месяцев.

Европа будущего, таким образом, целиком обновляется. Такая перспектива в полной мере отражает исторические предчувствия Мицкевича в начале 1830-х годов. Не только «История будущего», но и «Книги польского народа и польского пилигримства», и публицистика того времени свидетельствуют, что он рассматривал тогдашнюю ситуацию в Европе как переломную для будущности всего мира. По словам Мицкевича, это «печальная и удивительная эпоха исторического финала» для всего западного общества. В современном мире, по его мнению, нет общественных ценностей, которые следует сохранить. В программе задуманного поэтом издания говорилось, что «следует считать это положение временным, проходящим, недостойным мысли и пера поляков, занятых великими проблемами будущности народов»⁸. Настоящее Мицкевича не интересовало, ибо грядущее, в его представлении, будет основано на полном разрыве с традицией. Измениться, обновиться должно все — политические и экономические отношения, институты, наконец, сами люди. Он готов был к тому, что в любую минуту может грянуть революционная буря, низвергающая троны, разрушающая ложные ориентиры европейской политики — «политическое равновесие», эгоистические интересы государств, власть, выгоду, торговлю, наживу и т. п.

В то же время по бесстрастному наукообразному тексту «Истории будущего» трудно догадаться, что ее автор в начале 1830-х годов выступал как апологет революции во имя свободы народов. Ведь масштабы пред-

вещаемого Мицкевичем кровопролития могут вселить ужас. На самом деле в «Истории будущего» сильны эсхатологические мотивы. Представления о революции как о вселенской катастрофе, за которой последует обновление человечества, христианизация политической жизни, были характерны для исторической мысли романтизма, в особенности для французских мыслителей, оказавших влияние на Мицкевича, — Ж. де Местра, П. Леру, К. Сен-Симона. К примеру, де Местр, ожидавший «третью волну христианства», видел в революции мистическую кровавую жертву, кару Провидения, необходимую для искупления грехов человечества.

Франция поражена «ужасами, творящимися в Германии и Италии» (89). Битва под Берлином грандиозна по числу жертв. «Авторы приводят разные сведения о числе убитых, — пишет Мицкевич, — одни доводят его до двухсот тысяч, другие говорят только о ста пятидесяти тысячах. В любом случае точно, что вся армия монархистов полегла на поле боя. Погибло множество немецких баронов, около тысячи графов, тридцать герцогов...» (96). «В те варварские времена, — констатирует историк, — войны были жестокими, а победители — беспощадными» (98). Так, «по всей строгости» победители поступили с прусскими чиновниками, их детьми и семьями: «Из пленников отобрали десять тысяч бывших советников, семь тысяч судей, заместителей и референдариев и всех их повесили. Та же участь постигла протестантских пасторов...» (98). Прусского короля судят по законам военного времени, «без соблюдения процессуальных норм». Символичны и имена вождей революции: они могут быть переведены как дьявол, мститель и палач⁹.

Страницы «Истории будущего» подобны картинам Страшного Суда над согрешившими против свободы монархами и правительствами, который Мицкевич пророчит также в «Книгах польского народа и польского пилигримства»: «И порушат их идолов, а идолопоклонников будут судить по закону Моисея и Иисуса Навина, Робеспьера и Сен-Жюста, истребляя всех от старого до малого...»¹⁰ Революционная этика здесь сродни ветхозаветной: она оправдывает месть, право на бунт и ненависть к сильнейшему.

Характерно, что в этом отрывке из «Истории будущего» ни слова не говорится о том, какой именно строй или форму правления собираются установить восставшие народы. Известно, что принципами устройства будущего общества Мицкевич сознательно не интересовался и вообще рефлексии на данную тему считал вредными. Политическую революцию он представлял себе как стихийную эманацию народного духа. Стихии,

по его мнению, следовало подчиниться, а вся политика должна была заключаться в том, чтобы вникнуть в народный инстинкт, уметь слиться с чувствами и стремлениями народа. В одной из статей «Пилигрима» он пишет по поводу дискуссии о современных системах правления: «Смешной спор: централизовать или децентрализовать будущую власть! Довольно знать, какова нынешняя. Если плохая, свергнуть ее, если хорошая — усилить, насколько возможно. Вот и вся загадка»¹¹.

Доктрины, теории — все, что сформулировано, — в представлении Мицкевича является мертвым. «Законы тогда умещаются на бумаге, когда уже начинают улетучиваться из сердца и памяти. Они... как расчеты, которые мы записываем только тогда, когда боимся их забыть»¹². Народ должен действовать, руководствуясь лишь сердцем и инстинктом.

Антиутопической критикой попыток создать идеальное общество рациональным путем является описание пролетарской революции во Франции. В утопии Мицкевича одновременно с общеевропейской революцией во Франции идет гражданская война между республиканским правительством и восставшими пролетариями. В то время как вся политическая карта Европы стремительно меняется, французские пролетарии «остаются на своих позициях, не двигаясь ни назад, ни вперед» (101). Они непрерывно «вырабатывают принципы идеального общественного устройства» (101) и после года дискуссий так и не могут прийти к согласию по поводу основ будущей конституции. Едва ли не самым важным для них представляется вопрос о самоназвании. Оно должно полностью уравнивать всех, нанеся последний удар по индивидуализму. Партии, на которые разбились пролетарии, спорят, как называться отныне жителям Франции — «гражданами», «пролетариями» или просто «людьми». В качестве самой радикальной меры предлагается заменить имена цифрами.

Несомненно, что Мицкевич был знаком с теориями утопического социализма, появившимися в конце 1820 — 1830-е годы — в первую очередь, с работами Сен-Симона и Фурье¹³. В начале 30-х годов XIX в. утопический социализм был популярен, в нем существовали разные течения, особенно много приверженцев было у сен-симонизма. Отношение Мицкевича к учениям подобного типа хорошо видно в том, как он изображает французских революционеров. Пролетарии, увлекшись теоретическими спорами, погрязли в распрях и доктринерстве. Одна из партий — «реалисты» — проповедует «единственный догмат»: уравнивание всех в имуществе путем аграрной реформы. Ее противники выступают за более подробный и продуманный план общественных преобразований: «Разве

перед тем как приступить к социальной реформе, не обязательно обрисовать ее план и обсудить все его детали? ...Чтобы построить общество, нужно начать с фундамента, нужно четко определить идею века, сформулировать социальное учение» (92). В результате Франция, в которой было создано столько «теорий рационального правления» (102), оказывается исторически несостоятельной, неспособной не только возглавить мировую революцию, но и завершить ее у себя без вмешательства объединенных сил революционной Европы.

Бесплодным дискуссиям противопоставлена «безошибочность инстинкта», которым народ предугадывает великие события еще до того, как они произойдут (94). Подобные, романтические представления Мицкевича о социальной революции, высвобождающей творческий потенциал народа, будут четко сформулированы позднее, в его публицистике в «Трибуне народов». В 1849 г. Мицкевич станет приветствовать новую идею эпохи — социализм как «порыв духа к лучшему бытию, не индивидуальному, а всеобщему и солидарному»¹⁴. Он будет рассматривать социализм не как экономическую теорию, но как «религиозное и патриотическое чувство», как «новое стремление» и «новую страсть». Именно в спонтанном эмоциональном порыве, способном объединить людей и народы, заключается, по его мнению, потенциал социалистической идеи, ибо «общество погребает себя в догматах и аксиомах, оно возрождается в стремлениях и проблемах»¹⁵.

Во втором фрагменте предложен иной ход истории. В Европе по-прежнему царит и даже усиливается деспотизм монархов. В ней доминирует Россия, которая в первом варианте вообще исчезла с политической карты. Можно предполагать, что это результат неудачи Ноябрьского восстания¹⁶. Польша сливается с Россией, поляков насильственно переселяют в глубь российских земель. Европейские державы, в том числе правящие круги Франции, склонились перед «северным колоссом». Принципы легитимизма восторжествовали окончательно, «применительно ко всем странам и народам»: речь идет о том, чтобы вернуть российскому императору якобы «взбунтовавшуюся Финляндию», а турецкому султану — Грецию и Египет. Второй крупнейшей державой Европы становится Пруссия. Она занята «уничтожением остатков Польши», чему также не препятствуют западные правительства (104—105).

В центре внимания историка находятся события во Франции. Там Июльская революция 1830 г. завершилась монархией Луи Филиппа Орлеанского. И опять «теории разумного правления, глубоко продуманные и

давно обсуждаемые» (102), по словам Мицкевича, в этой стране, не в состоянии помочь ей. В ней властвует хаос. Изжило себя все: общественные институты, которые «уже давно существуют только напоказ и не имеют под собой никакой опоры», религия, «не отвечающая более потребностям цивилизованных людей», королевская власть, «пришедшая в негодность и бесполезная в мирное время» (102). Единственной реальной силой среди этого «морального беспорядка» оказывается армия. Но обновления не приносит и военный переворот, установивший республику. Французский народ «чувствует, что призван воздействовать на Европу, но не знает, как» (104). Ни одна из партий не в состоянии повести его за собой. Легитимисты, «злобные и завистливые как все теоретики» (104), полностью утратили способность действовать. Ими руководит лишь страх перед революцией и один-единственный догмат — «власть Бурбонов». Республиканцы пользуются репутацией «напыщенных, но бессильных риториков» (105). Неожиданно «знаменем надежды» становится имя национального героя — Наполеона, повторяемое в «парламенте, в театрах, в крестьянских избах». Лишь оно способно воздействовать на народ и объединить его. Имя одного из потомков Наполеона «как громом поражает Францию именно тогда, когда в этой большой стране нет ни одного славного или, по крайней мере, уважаемого имени» (105). Героем будущего таким образом должен стать некий представитель династии Наполеонидов, которая сохранила ореол былой славы. (Впоследствии Мицкевич ссылался на свою «Историю будущего» как на пророческое предсказание прихода к власти императора Наполеона III.)

Так поэт противопоставляет политической утопии «утопию антропоцентрическую» (А. Витковская)¹⁷. Человек как носитель идеи воплощает в ней стихию, действие. В историософии Мицкевича именно личность способна придать истории динамику, разрушить установившийся порядок вещей, основанный на институтах, законах, системах. «Доктрина, как только ее сформулируют, уже мертва. Тем, что нельзя сформулировать, что есть, что живет и действует, является сам человек, воплощенное слово»¹⁸, — утверждает поэт. Примером такой личности казался ему Наполеон, культ которого приобрел в историософии Мицкевича мистическое звучание. В 1849 г. он так объяснит успех бонапартистской партии во Франции: «Наполеон — это революция, ставшая законной властью. Это социальная идея, ставшая правительством. Наполеон — это тысяча других деяний, которые народ совершит, а нас заставит ему разъяснить»¹⁹.

События, описанные в обоих фрагментах «Истории будущего», довольно точно локализованы во времени — они должны произойти в самое ближайшее время и искусно вписаны в политические реалии середины XIX в. Это соответствует тенденции к историзму, свойственной антиутопии. По словам Г. Морсона, она, в отличие от утопии, «которая стремится быть вневременной», «не представляет себе радикального разрыва во времени и рассматривает все решения как обусловленные определенными обстоятельствами»²⁰.

Что же касается далекого будущего, то образ его намечен лишь штрихами. Очевидно только, что оно никак не связано с настоящим, основано на полном разрыве с традицией и все нынешние обычаи спустя несколько веков будут казаться варварскими. Вероятно, осуществится идея равенства, изменятся «всеобщие представления», не останется ничего, связанного с индивидуализмом: у людей не будет ни христианских имен (само христианство будет упразднено), ни родовых фамилий — пережитков феодализма. Варварским обычаем прошлого людям третьего тысячелетия будут казаться войны. (То, что человек будущего не будет знаком с войнами, Мицкевич предсказывает и в «Книгах польского народа и польского пилигримства». Согласно его идее, войны — это результат «идолопоклонства» европейских монархов, циничной политики правительств во имя власти и наживы. Как только политическое устройство Европы будет обновлено, и осуществится идеал братства и равенства народов (воплощением этого, по Мицкевичу, должно стать восстановление польского государства), необходимость в войнах отпадет: «Как после воскресения Христа на всей земле прекратятся кровавые жертвы, так с воскресением польского народа в христианстве прекратятся войны»²¹.) В целом же будущее остается загадочным и неясным.

«История будущего» Мицкевича представляет собой яркий образец романтической антиутопии. Как пишет Г. Морсон, «если антиутопия утверждает существование универсалий в человеческой природе, то это оказывается универсальность человеческой потребности к росту, творчеству и изменению»²². Так и у Мицкевича история предстает не в статике, а в динамике. Ее движение — в духе романтизма — обусловлено действием стихии, чувства, народного инстинкта, реализацией творческого потенциала человека. Антиутопизм как тип мышления оказывается здесь как нельзя более созвучен романтическим представлениям об истории.

Примечания

¹ *Skwarczyńska S.* Mickiewicza «Historia przyszłości» i jej realizacje literackie. Łódź, 1964.

² О влиянии на замысел Мицкевича русской утопической литературы см.: *Aleksejew M.* «Historia przyszłości» Mickiewicza a myśl utopijna w Rosji // *Polonistyka radziecka. Literaturoznawstwo.* Warszawa, 1985. S. 234—245.

³ *Skwarczyńska S.* Op. cit. S. 61.

⁴ *Odyniec A. E.* Listy z podróży. Warszawa, 1961. T. 1. S. 42—43.

⁵ *Ibid.* S. 41—42.

⁶ *Ibid.* S. 42.

⁷ Здесь и далее ссылки на «Историю будущего» даются по изданию: *Mickiewicz A.* Dzieła wszystkie. Warszawa, 1936. T. VII. Cz. 1. Цифры в круглых скобках указывают страницы.

⁸ Цит. по: *Witkowska A.* Mickiewicz: słowo i czyn. Warszawa, 1975. S. 133.

⁹ *Skwarczyńska S.* Op. cit. S. 88.

¹⁰ *Mickiewicz A.* Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego // *Mickiewicz A.* Dzieła. Warszawa, 1955. T. VI. S. 47.

¹¹ Цит. по: *Witkowska A.* Op. cit. S. 133.

¹² *Witkowska A.* Op. cit. S. 134.

¹³ *Skwarczyńska S.* Op. cit. S. 48—49.

¹⁴ *Мицкевич А.* Собр. соч. М., 1954. Т. 5. С. 142.

¹⁵ Там же. 143.

¹⁶ *Skwarczyńska S.* Op. cit. S. 115.

¹⁷ *Witkowska A.* Op. cit. S. 253.

¹⁸ *Mickiewicz A.* Dzieła. Warszawa, 1955. T. X. S. 394.

¹⁹ *Мицкевич А.* Бонапартизм и наполеоновская идея // *Мицкевич А.* Собр. соч. Т. 5. С. 128.

²⁰ *Морсон Г.* Границы жанра // Утопия и утопическое мышление. Антология зарубежной литературы / Сост. В. А. Чаликова. М., 1991. С. 241.

²¹ *Mickiewicz A.* Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego. S. 17.

²² *Морсон Г.* Указ. соч. С. 241.

С. А. Кабатов
(Кострома)

Источнико-историографическая база изучения материальной культуры сельского населения Костромского Поволжья XIII—XVII веков

В основу исследования материальной культуры сельского населения Костромского Поволжья положено шесть основных групп археологических источников: селище, постройка (со всеми структурными элементами), элементы одежды, керамический комплекс, бытовой и ремесленный инвентарь, а также группа письменных источников (акты землевладения, различный делопроизводственный материал).

История изучения материальной культуры сельского населения начинается лишь с 30-х годов XX столетия. Именно с этого времени выкристаллизовывается направление исследований социально-экономического положения деревни, определения ее места в феодальных отношениях, категорий крестьянства Северо-Восточной Руси и их положения. Имеются в виду работы Н. П. Павлова-Сильванского (Павлов-Сильванский, 1923), Н. Н. Воронина (Воронин, 1951), С. Б. Веселовского (Веселовский, 1936), Е. Э. Бломквиста (Бломквист, 1956), Б. Д. Грекова (Греков, 1952), Б. А. Романова (Романов, 1960), А. Д. Горского (Горский, 1960), Б. Н. Харлашова (Харлашов, 1990), Ю. А. Кизилова (Кизилев, 1984), С. З. Чернова (Чернов, 1996), В. А. Кучкина (Кучкин, 1984), Н. А. Горской (Горская, 1997), М. М. Громыко (Громыко, 1986), (Археология Костромского края, 1997).

Второй этап начинается с археологических раскопок селищ и интерпретации материалов. Назовем труды А. В. Успенской и М. В. Фехнер (Успенская, Фехнер, 1956), М. В. Витова (Витов, 1953, 1958, 1962), В. В. Седова (Седов, 1957—1958, 1960, 1960 а-б, 1986), О. А. Ганцкой и Е. Э. Бломквиста (Ганцкая, Бломквист, 1967), В. А. Липинской (Липинская, 1975), Т. Н. Никольской (Никольская, 1977), А. А. Юшко (Юшко, 1991), В. А. Булова (Булов, 1993), Г. Н. Чагина (Чагин, 1976), Л. Н. Чижиковой (Чижикова, 1997), Е. А. Рябиной (Рябинин, 1986), А. Е. Леонтьева (Леонтьев, 1989), М. Г. Милославского (Милославский, 1956), ряда авторов, изучающих материал и новгородской археологической экспедиции (Засурцев, 1959, 1963; Медведев, 1959; Арциховский, Колчин, 1953, 1959, 1963; Смирнова, 1956, 1997;

Кириянов, 1959; Седова, 1959, 1981; Гайдуков, 1992; Поварнин, 1912, 1923; Лебедева, 1960; Волков, 1966; Тазихина, 1972; Маслова, 1984; Крестьянская одежда..., 1971), И. В. Маковецкого (Маковецкий, 1962), Э. К. Донцова, Г. И. Караськова, П. П. Щербинина (Донцов, Караськов, Щербинин, 1991), Б. А. Рыбакова (Рыбаков, 1948), Е. И. Горюновой (Горюнова, 1961), Г. Г. Громова (Громов, 1965). Особняком стоят исследования И. Е. Забелина (Забелин, 1991) и Д. К. Зеленина (Зеленин, 1991), а также работы, связанные с культурой костромских курганов, — Г. М. Девочкина (Архив ИИМК, 1894), С. Дмитриева и Н. М. Бекаревича (Бекаревич, 1890, 1901), Ф. Д. Нефедова и Д. Н. Сизова (Нефедов, 1907) и Е. А. Рябинина (Рябинин, 1981 а, 1986). На этом этапе археологические исследования стали проводиться и на сельских поселениях, но территория Костромского Поволжья пока не попадает в зону исследований.

Начиная с 1993 г. в Костромской области ведутся более или менее систематические разведочные исследования и инвентаризационные работы, археологические раскопки и обобщения выявленного материала. Это исследования археологической экспедиции Национального музея Республики Марий Эл ТОО «АИТА» (Ильин, 1993; Свечников, 1994); Марийского государственного университета (Сидоров, 1993; Кабатов, 1996 а-б, 1998, 1998 а-б; Румянцев, 1997); отряда археологических исследований НПЦ Костромской области (Алексеев, 1995 б, 1998, 1999 а, 1999 б; Инягин, 1995; Новиков, 1999; Тоцкий, 1999, 2000); В. В. Ставицкого (Ставицкий, 1995); Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова (Кабатов, 1999 а-б; 2000, 2001 в, 2003 а-б).

Библиография

1. Акты служилых землевладельцев XV—XVII вв. / Сост. А. В. Антонов. М.: Изд-во «Памятники исторической мысли», 1998.
2. Алексеев С. И. История формирования городских территорий Костромы // Памятники истории и архитектуры Европейской России (исследование, реставрация, охрана). Нижний Новгород, 1995 б.
3. Алексеев С. И. Отчет об археологических исследованиях в г. Костроме в 1998 г. (раскоп Спас-Подвязный). Архив Института археологии (далее — ИА) РАН.
4. Алексеев С. И. Отчет об археологических исследованиях в г. Костроме в 1999 г. (раскоп Кооперативный). Архив ИА РАН.

5. *Алексеев С. И.* Археологические источники в контексте формирования территории г. Костромы в XII—XVIII вв. // Вестник Костромск. гос. ун.—та им. Н. А. Некрасова. 1999 б, № 2.
6. *Алексеев С. И., Кабатов С. А.* Водоотводная (дренажная) система селища Вёжи // Вестник Костромской археологической экспедиции. Кострома: Изд-во НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры, 2001. Вып. 1. С. 137—150.
7. *Алексеев С. И.* Отчет об археологических раскопках селища Вёжи Костромского района Костромской области в 2001 г. б — Архив ИА РАН.
8. *Алексеев С. И.* Итоги археологических исследований в г. Костроме и Костромской области (1989—2000 гг.) // Вестник Костромской археологической экспедиции. Кострома: Изд-во НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры, 2001 в. Вып. 1. С. 29—37.
9. *Антонов Д. А.* Предметы вооружения из раскопок древнерусского селища Ближнее Константиново-1 // Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Сб. научных и методических трудов. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородский гуманитарный центр, 2000. С. 19—25.
10. *Арциховский А. В.* Раскопки на Славнее в Новгороде // МИА. 1949. № 11.
11. Археология Костромского края / Под ред. А. Е. Леонтьева. Кострома: Изд-во ГНПЦ по сохранению историко-культурного наследия Костромской области, 1997.
12. *Бекаревич Н. М.* Раскопки в Костромском уезде // Костромская старина. Кострома, 1890. Вып. 1.
13. *Бекаревич Н. М.* Дневники раскопок курганов, произведенных членами комиссии в 1895—1899 гг. // Костромская старина. Кострома, 1901. Вып. 5.
14. *Бекаревич Н. М.* Материалы для археологической карты Костромской губернии. Костромской уезд (Из Трудов Тверского областного археологического съезда). Тверь: Типография губернского правления, 1905.
15. *Бломквист Е. Э.* Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов // Восточнославянский этнографический сборник. М., 1956.
16. *Бломквист Е. Э., Ганцкая О. А.* Типы русского крестьянского жилища середины XIX — начала XX вв. // Русские: Историко-этнографический атлас. М., 1967.
17. *Буров В. А.* Рец. на кн.: Московская земля в IX—XIII вв. // СА, 1993.
18. *Веселовский С. Б.* Село и деревня в Северо-Восточной Руси XIV—XVI вв. М.—Л., 1936.
19. *Витов М. В.* О классификации поселений // СЭ, 1953. № 3.
20. *Витов М. В.* Вопросы этнографической систематики восточнославянского народного жилища. Классификация построек // Вестник МГУ. 1958. № 4.
21. *Витов М. В.* Историко-географический очерк Заонежья XVI—XVII вв.: Из истории сельских поселений. М., 1962.

22. *Воронин Н. Н.* К истории сельского поселения феодальной Руси. ИГАИМК. Л., 1935. Вып. 138.
23. *Воронин Н. Н.* Поселение // История культуры древней Руси. М.—Л., 1951. Т. 1.
24. *Волков М. Я.* Купеческое кожевенное предпринимательство // История СССР. 1966. № 1.
25. Временные жилища крестьян Костромской и частью Владимирской губерний // Костромское научное общество по изучению местного края. Кострома, 1920. Вып. 15.
26. *Гайдуков П. Г.* Славенский конец Средневекового Новгорода. Нутный раскоп. М. 1992.
27. *Горская Н. А.* Монастырские крестьяне Центральной России в XVII в.: о сущности и формах феодально-крепостных отношений. М.: Изд-во «Наука», 1977.
28. *Горский Б. Д.* Очерки экономического положения крестьян Северо-Восточной Руси XIV—XV вв. М., 1960.
29. *Горюнова Е. И.* Этническая история Волго-Окского междуречья // Материалы и исследования по археологии СССР. 1961. № 94.
30. *Греков Б. Д.* Крестьяне на Руси. М., 1952.
31. *Громов Г. Г.* Русское крестьянское жилище XV—XVII веков по письменным источникам // Вестник МГУ. 1956. Серия IX.
32. *Громыко М. М.* Мир русской деревни. М., 1986.
33. *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1995.
34. *Девочкин Г. М.* Отчет Костромского научного общества — Архив ИИМК, 1894.
35. *Донцов Э. К., Караськов Г. И., Щербинин П. П.* Костромская резьба. Ярославль: Изд-во Верхне-Волжского книжного издательства, 1991.
36. *Дрюбок Е.* Леса, лесное хозяйство и лесная промышленность Костромской губернии // Труды Костромского Научного Общества. Кострома, 1918. Вып. 10.
37. *Еремин Г.* Географический очерк Костромской области. Кострома, 1947.
38. *Забелин И. Е.* Домашний быт русских царей в XVI—XVII столетиях. М., 1990.
39. *Засурцев П. И.* Постройки Древнего Новгорода // Материалы и исследования по археологии СССР. № 65. Труды новгородской археологической экспедиции. М.: Изд-во АН СССР, 1959. Т. II. С. 262—298.
40. *Засурцев П. И.* Усадьбы и постройки Древнего Новгорода // Материалы и исследования по археологии СССР. № 123. Труды новгородской археологической экспедиции. М.: Изд-во АН СССР, 1963. Т. IV. С. 5—165.
41. *Зеленин Д. К.* Восточнославянская этнография. М., 1991.
42. *Зимин М. М.* Из жизни костромских сапожников. Кострома, 1924.

43. *Изомова С. А.* К истории кожевенного и сапожного ремесел Новгорода Великого // *Материалы и исследования по археологии СССР. № 65. Труды новгородской археологической экспедиции. Т. II. С. 192—222.*
44. *Ильин М. Е.* Отчет о разведочных работах археологической экспедиции Национального музея Республики Марий Эл в Макарьевском районе Костромской области в 1994 г. — Архив ИА РАН.
45. *Инягин П. Г.* Разведочные работы в Нерехтском районе Костромской области в 1996 г. — Архив ИА РАН.
46. *История русского искусства. М., 1953. Т. 1.*
47. *Кабатов С. А.* Отчет об археологических исследованиях Буйского района в 1996 г. — Архив ИА РАН.
48. *Кабатов С. А.* Археологические исследования бассейна р. Костромы в Буйском районе // *Археологические открытия. М., 1996 б.*
49. *Кабатов С. А.* Поселения и жилища Костромского Поволжья в XIII—XVII вв. // *Интеграция археологических и этнографических исследований. Омск: Изд-во ОмГУ, 1998 а. Ч. 1*
50. *Кабатов С. А.* Типы сельских поселений Костромского Поволжья XIII—XVII вв. // *Исследования П.Д. Степанова и этнокультурные процессы древности и современности. Саранск, 1998 б.*
51. *Кабатов С. А.* Отчет об археологических исследованиях Чухломского района в 1998 г. — Архив ИА РАН.
52. *Кабатов С. А.* Сельские поселения и жилища Костромского Поволжья XIII—XV вв. // *Вестник Костромск. гос. ун-та им. Н.А. Некрасова. Кострома, 1999 а. № 3.*
53. *Кабатов С. А.* Отчет об археологических раскопках селища Вёжи Костромского района Костромской области в 1999 г. б — Архив ИА РАН.
54. *Кабатов С. А.* Отчет об археологических исследованиях в Красносельском районе Костромской области в 1999 г. в — Архив ИА РАН.
55. *Кабатов С. А.* Инвентаризация Красносельского района Костромской области в 1999 г. б // *Археологические открытия. М., 1999.*
56. *Кабатов С. А.* Микрорегионы Костромского Поволжья XIII—XVII вв. // *Российская провинция как социокультурный феномен. Кострома: Изд-во КГУ им. Н. А. Некрасова, 2000.*
57. *Кабатов С. А.* Обряды круга жизни сельского населения Костромского Поволжья золотоордынского периода по этнографическим данным // *Zbornik Historica. Slovenske pedagogicke navladatelstvo. Bratislava, 2001 а.*
58. *Кабатов С. А.* Duchovna kultura obyvateľstva stredovekej dediny na Kostromskom posredí // *Acta Historica Posoniensia I. Studie z dejín baníctva a banskeho podnikania. Zborník k životnému jubileu M. Skladaneho. Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava, 2001 б.*

59. *Кабатов С. А.* Печи селища Вёжи // Археология Урала и Поволжья: итоги и перспективы участия молодых исследователей в решении фундаментальных проблем ранней истории народов региона. Материалы XXXV Урало-Поволжской археологической студенческой конференции, посвященной 450-летию вхождения марийского края в состав России. Йошкар-Ола, 2003 а. С. 97—99.
60. *Кабатов С. А.* Кожевенное ремесло Костромского Поволжья XIII—XVII вв. // Вестник Костромской археологической экспедиции. Кострома: Изд-во ОГУ «Наследие», 2003 б. Вып. 2.
61. *Кизилов Ю. А.* Земли и народы России в XIII—XV вв. М.: Изд-во «Высшая школа», 1984.
62. *Кирьянов А. В.* История земледелия новгородской земли X—XV вв. (по археологическим материалам) // Материалы и исследования по археологии СССР. № 55. Труды новгородской археологической экспедиции. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. I. С. 306—361.
63. *Колчин Б. А.* Черная металлургия и металлообработка в древней Руси // МИА. 1953. № 32.
64. *Колчин Б. А.* Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого // Материалы и исследования по археологии СССР. № 65. Труды новгородской археологической экспедиции. Т. II. С. 7—119.
65. *Комаров К. И., Жилин М. Г.* Отчет о работе Костромского отряда Верхневолжской экспедиции в 1979 г. // Археологические открытия. М., 1979.
66. Крестьянская одежда населения европейской России (XIX—XX вв.). М., 1971.
67. *Кучкин В. А.* Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X—XIV вв. М., 1984.
68. *Лебедева Н. И.* Одежда // Материалы и исследования по этнографии русского населения Европейской части СССР. М., 1960.
69. *Леонтьев А. Е.* Отчет о работах Волго-Окской новостроечной экспедиции ИА АН СССР за 1978 год // Археологические открытия. М., 1978.
70. *Леонтьев А. Е.* Рец. на кн.: Е. А. Рябинин. Костромское Поволжье в эпоху средневековья. Л., 1986 // СА. 1989.
71. *Липинская В. А.* Типы застройки усадьбы русского населения Западной Сибири // СЭ. 1975. № 5.
72. *Маковецкий И. В.* Архитектура русского народного жилища: Север и Верхнее Поволжье. М., 1962.
73. *Маслова Г. С.* Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX—XX вв. М.: Изд-во «Наука», 1984.
74. *Медведев А. Ф.* Оружие Новгорода Великого // Материалы и исследования по археологии СССР. № 65. Труды новгородской археологической экспедиции. Т. II. С. 121—191.

75. *Медведев А. Ф.* Водоотводные сооружения и их значение в благоустройстве Древнего Новгорода // *Материалы и исследования по археологии СССР. № 55. Труды новгородской археологической экспедиции. Т. I. С. 208—226.*
76. *Милославский М. Г.* Деревянное зодчество на Руси в XVI—XVIII вв. // *ТРИИЕТ. М., 1956. Т. VII.*
77. *Нефедов Ф. Д.* Раскопки курганов в Костромской губернии, произведенные летом 1895 и 1896 года // *МАВГР. М., 1899. Т. 3.*
78. *Нефедов Ф. Д.* Отчет о деятельности КГУАК, 1907 // *Архив ИИМК, 1907.*
79. *Никитина Т. Б.* Марийцы в XVI—XVIII вв. Йошкар-Ола, 1986.
80. *Никольская Т. Н.* Сельские поселения земли вятичей // *КСИА. 1977. Вып. 150.*
81. *Новиков А. В.* Отчет о разведке в Вохомском и Шарьинском районах Костромской области в 1999 г. — Архив ИА РАН.
82. *Новиков А. В.* Отчет о разведке Буйском и Кологривском районах Костромской области в 2000 г. — Архив ИА РАН.
83. *Павлов-Сильванский Н. П.* Феодализм в древней Руси. М.—Пг., 1923.
84. *Поварнин Г.* Очерки мелкого кожевенного производства в России // *История и техника производства. СПб, 1912. Ч. 1.*
85. *Поварнин Г.* Дубильное корье и его сбор. М., 1923.
86. *Романов Б. А.* Изыскания о русском сельском поселении эпохи феодализма (по поводу работ Н. Н. Воронина и С. Б. Веселовского) // *Вопросы экономики и классовых отношений в Русском государстве XII—XVII вв. М.; Л., 1960.*
87. *Румянцев Г. Г.* Отчет о проведении археологической разведки в Галичском районе Костромской области в 1997 г. — Архив ИА РАН.
88. *Рыбаков Б. А.* Древние элементы в русском народном творчестве // *СЭ. 1948. № 1.*
89. *Рябинин Е. А.* Отчет о работах Заволжской экспедиции ленинградского отделения ИА АН СССР в 1978 году // *Археологические открытия. М., 1978.*
90. *Рябинин Е. А.* Отчет о работе археологической группы ЛСИА в Костромской и Ивановской областях в 1979 г. — Архив ИА РАН.
91. *Рябинин Е. А.* Костромское Поволжье в эпоху средневековья. Л.: Изд-во «Наука». Ленинградское отделение, 1986.
92. *Рябинин Е. А.* Зооморфные украшения Древней Руси X—XIV вв. // *Вып. Е1-60. Л., 1981. САИ.*
93. *Свечников Д. Г.* Отчет о разведочных работах, проведенных отрядом археологической экспедиции Национального музея Республики Марий Эл в Мантуровском районе Костромской области в 1994 г. — Архив ИА РАН.
94. *Седов В. В.* Первые результаты археологического изучения древнерусской деревни Смоленской земли // *Материалы по изучению Смоленской области. Смоленск, 1957. Вып. 2.*

95. *Седов В. В.* Рец. на кн.: Очерки по истории русской деревни X—XIII вв. // СА. 1958. № 1.
96. *Седов В. В.* Древнерусские сельские поселения Смоленской земли (по материалам экспедиций 1956—1957 гг.) // КСИИМК. 1960. Вып. 79.
97. *Седов В. В.* Сельские поселения центральных районов Смоленской земли // МИА. 1960 а. № 92.
98. *Седов В. В.* Сельские поселения центральных районов Смоленской земли (XIII—XV вв.) // Материалы и исследования по археологии СССР. № 92. М.: Изд-во АН СССР, 1960 б.
99. *Седов В. В.* Город, замок, село // Археология СССР. М., 1985.
100. *Седова М. В.* Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X—XV вв.) // Материалы и исследования по археологии СССР. № 65 Труды новгородской археологической экспедиции. Т. II. С. 223—261.
101. *Седова М. В.* Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X—XV вв.). М., 1981.
102. *Сидоров В. В.* Отчет о разведке в Костромской области в 1980 г. — Архив ИА РАН.
103. *Сидоров О. А.* Разведка в Красносельском районе Костромской области в 1993 г. — Архив ИА РАН.
104. *Смирнов В. И.* Отчет Костромского научного общества за 1927 г. // Труды КНО. Кострома, 1927.
105. *Смирнова Г. П.* Опыт классификации керамики древнего Новгорода (по материалам раскопок 1951—1954 гг.) // Материалы и исследования по археологии СССР. № 55. Труды новгородской археологической экспедиции. Т. I. С. 228—248.
106. *Смирнова Л. И.* К вопросу о верхней границе бытования односторонних составных гребней в Новгороде // Новгород и новгородская земля. История и археология. Новгород, 1997. С. 176—185.
107. *Ставицкий В. В.* Отчет об исследованиях в Чухломском районе Костромской области в 1995 г. — Архив ИА РАН.
108. *Тазихина Л. В.* Север Европейской части РСФСР // Крестьянская одежда населения Европейской России конца XIX — начала XX в. Определитель. М., 1972.
109. *Тоцкий Е. С.* Отчет об археологическом обследовании Кадынского района Костромской области в 1999 г.; *Тоцкий Е. С.* Отчет об археологическом обследовании Солигаличского района Костромской области в 2000 г. — Архив ИА РАН.
110. *Урбан Ю. Н.* Отчет о разведке в 1981 г. в Костромской области — Архив ИА РАН.
111. *Урбан Ю. Н.* Отчет о разведках в Костромской области в 1982 г. — Архив ИА РАН.

112. Успенская А. В., Фехнер М. В. Поселения Древней Руси // Труды ГИМ. 1956. Вып. 32.
113. Харлашов Б. Н. Исследования Борохновского городища и его окрестностей // Археология и история Пскова и псковской земли. Псков, 1984. С. 35—37.
114. Харлашов Б. Р. Формирование погостской системы на Псковщине // Российская археология. 1990. № 2.
115. Чагин Г. Н. Усадьбы русского населения Северного Прикамья (XVII — начала XX в.) // СЭ. 1976. № 6. С. 87—96.
116. Чернов С. З. Сельские монастыри XIV—XV вв. на северо-востоке Московского княжества по археологическим данным // Российская археология. 1996. № 1.
117. Чижикова Л. Н. Традиционные жилища восточных славян и нескорых других народов России. М., 1997.
118. Юшко А. А. Московская земля IX—XIV вв. М., 1991.
119. Якунина Л. И. Новгородская обувь XII—XIV вв. // КСИИМК. 1947. Вып. XVII.

Русский бунт в зеркале перевернутого мира смеховой культуры (по материалам Пугачевского восстания)

Заявленная в названии тема звучит несколько непривычно. Иначе говоря, в статье впервые предпринимается попытка рассмотреть русский бунт на примере Пугачевщины в рамках концепции смеховой культуры, принципиальные положения которой были разработаны в трудах М. М. Бахтина, В. П. Даркевича, Д. С. Лихачева, А. М. Панченко, Б. А. Успенского и других исследователей.

Задача-минимум — познакомить читателей с результатами изысканий автора данной работы. Задача-максимум — убедить в репрезентативности и верифицируемости предлагаемой интерпретации.

Исходные методологические установки определяются следующим образом:

— смех на глубинном уровне связан со смертью и миром мертвых, миром хаоса; — смеховой мир — это мир изнаночный, перевернутый, основанный на культурных оппозициях, для него характерно антиповедение; — смех агрессивен, является откликом на какую-либо отрицательную ценность; — смех — это своеобразное психотерапевтическое средство, дающее возможность выплеснуть агрессивные эмоции по отношению к источнику зла, следовательно, смех выполняет компенсаторную функцию.

В определенных случаях, например, в ситуации социокультурного кризиса, привычная психотерапия не срабатывает. Тогда смех из средства снятия напряженности превращается в психосоциальный катализатор разрыва связей с традиционным авторитетом. Как отмечалось в литературе, «бунт против порядков этого мира естественно стимулирует и санкционирует анти-поведение». Поэтому при определенных обстоятельствах «смех мог перерасти в бунт» [7, с. 460].

В свете исходных методологических установок попытаемся рассмотреть феномен Пугачевского бунта, который вспыхнул на исходе переходной эпохи от традиционного общества к индустриальному, явно обозначая свое тяготение к прошлому. Необходимо заметить, что весь российский XVIII век прошел под знаком кризиса традиционной идентичности, который обнаруживал себя в ускоренном перестраивании общества, много-

численных дворцовых переворотах с не прекращавшейся чехардой лиц у власти, почти непрерывным царством женщин и младенцев, в разгосударствлении дворянской службы и многом другом. Кризис традиционной идентичности был верным симптомом начавшейся еще в XVII столетии модернизации. В XVIII в. этот процесс резко ускорился, темпы движения к индустриальному обществу значительно возросли.

Все это разрушало эмоциональную гармонию российского простеца, вело к распаду привычной повседневности. Поэтому уже петровские преобразования воспринимались массовым сознанием как экспансия смехового, кромешного, сатанинского мира, как наступление последних времен. Если прежде противные стороны еще понимали язык (а значит, смысл поведения) друг друга, то после Петра пути окончательно разошлись. Результатом символически-кошунственных нововведений Петра I стала оценка мира господ, как мира смехового, т. е. перевернутого.

В дальнейшем такая оценка могла лишь усиливаться, чему в немалой степени способствовал социально-психологический фон эпохи дворцовых переворотов. Нарочитая антисвятость, балаганность отмечается в поведении правящих кругов на протяжении всего столетия. Действия господ шокировали народ своей святотатственной откровенностью. Элитарная культура, утверждавшая себя через антиповедение, несомненно, должна была рассматриваться народом сквозь призму смеха, который в народной культуре всегда предполагает мотив переворачивания. Поэтому социальные низы ожидали наступление царства Антихристового, о котором неоднократно предупреждали многие расколоучители.

С воцарением Екатерины II, ее деятельность также осмысливается в категориях антиповедения. Само вступление императрицы на престол, сопровождавшееся, как известно, загадочными, таинственными обстоятельствами, не признавалось массами законным. Это провоцировало появление слухов о чудесно спасшемся императоре — «истинном» царе. Поэтому порядки, создаваемые императрицей, могли восприниматься как перевернутое изображение «настоящих», «правильных» порядков. В глазах народа Екатерина II, по удачному выражению историков, оказывалась «самозванцем на троне». Все это сигнализировало о несомненном кризисе традиционной идентичности. Разрушая авторитет, названные выше ситуации способствовали нарастанию агрессивного страха по отношению к власти, он смешивался с осмеянием, предвещавшим возможность бунта. Пугачевщина стала народной реакцией на построенный господами мир «навыорот». Рассмотрим сказанное на нескольких примерах.

Указ Екатерины II от 22 августа 1767 г. запрещал крестьянам подавать челобитные непосредственно в руки государя. Но в контексте традиционной картины мира это считалось неотъемлемым правом народа. Следовательно, екатерининское законодательство, отменявшее традицию, должно было казаться неправильным, «перевернутым». Поэтому в повстанческом лагере мы наблюдаем прямо противоположную картину — имеются в виду знаменитые суды Пугачева-Петра III над помещиками по жалобам крестьян, т. е. поведение самозванного императора, в отличие от действий Екатерины, соответствует традиционному диалогу власти и социальных низов.

Характерная черта антиповедения господ — непомерный рост народных повинностей (за XVIII в. — в 12 раз). Дело было не только в размерах податей. Более важным оказался социально-психологический фактор. Для народа значимым было осознание окружающей реальности в качестве легитимной. Поэтому если увеличение повинностей считалось законным, оно не вызывало ропота. В условиях же наступившего царства Антихристово рост податного обложения казался закономерным, но несправедливым. Так стимулировался социальный протест. В то же время «истинный» царь Пугачев-Петр III освобождал народ от всех государственных податей, т. е. действовал вопреки (наоборот) Екатерине II.

Отмена обязательной дворянской службы нарушала привычную для людей социальную гармонию, когда дворяне служат, а крестьяне обеспечивают материальную возможность этой службы. Поэтому односторонность дворянской эмансипации должна была восприниматься как очевидная перевернутость, как минус-поведение. Пугачев же в образе Петра III неоднократно заявлял о намерении восстановить обязательную службу, а крестьянскую крепость — ликвидировать, так он опять действует наперекор екатерининской политике, стремясь реанимировать гармоничные, «правильные» социальные взаимоотношения.

Место дворян в социально-государственной иерархии должны были занять казаки — прочный оплот старины. Однако в рамках господствовавшего тогда мифологического мышления простой перестановки социального верха и низа было недостаточно. Необходима была перемена знаков, ряд семиотических операций. Пугачевцы проводят серию символических переименований: Берда — Москва, Яик — Петербург, Зарубин — граф Чернышев, Овчинников — граф Панин, Шигаев — граф Воронцов. Отныне Пугачев не сомневался, что новая «этикетка» в массовом сознании прочно прилепится к ее сущностному смыслу.

Рассматривая события 1773—1775 гг., можно убедиться в том, что кризис традиционной идентичности обнаруживал себя в культурном расколе XVIII столетия, когда порядки, создаваемые в ходе модернизации, воспринимались социальными низами как утверждение перевернутого мира, как торжество крошечных сил. Соответственно, встав на защиту традиции, повстанцы пытались всем своим действиям придать противоположную смысловую окраску.

Иначе говоря, в глазах пугачевцев мир господ выступал как мир смеховой, карнавалыный. Однако, «смешным» нередко выглядел и сам их бунт. Напряженно переживаемое низами изменение традиционного порядка сублимировалось в элементы действия, оно театрализовалось. Народный монархизм связывался с игровым миром традиционной культуры, имеется в виду так называемая игра в царя.

Й. Хёйзинга заметил, что внутри «игрового пространства господствует присущий только ему совершенный порядок», что «игра устанавливает порядок», что «малейшее отклонение от него мешает игре, вторгается в ее самобытный характер, лишает ее собственной ценности» [8, с. 29]. То есть игра имеет место только тогда, когда все участники соблюдают ее правила. Этим, как представляется, можно объяснить тот факт, что «большинство самозванцев почти не оставили следа в истории» и только те из них, «кто “докричался” до народа... вошли в историю навечно» [1, с. 110]. Иначе говоря, «одни самозванцы лучше играли свою роль», в то время как «другие... не соблюдали общепринятых “правил игры” или же чаще их нарушали» [5, с. 54].

Многие реминисценции «игры в царя» можно обнаружить, например, в истории появления среди яицких казаков «императора Петра III». Они срастаются с реальностью. «Выбрав» себе «государя», они, по свидетельству Пугачева, стали оказывать ему царские знаки внимания. В такой интерпретации самозванец выступал как бы в своеобразной роли ряженого, дополняя ряд других «переряживаний».

Важным компонентом «игры» являлось принесение пугачевцами присяги, что подразумевало разрыв контактов с официальным миром господ. Так ритуализировались их отношения в мире, созданном ими. Клятва вассальной верности дублировалась также своеобразным «постригом» — по-казацки. Тождество внешнего облика повстанцев символизировало принадлежность к «братству» избранных, «играющих» на одной стороне. Так костюм и внешний облик объединял их.

В затеянную казаками «игру в царя» втягиваются представители господствующего и других сословий. Однако игра может продолжаться лишь до тех пор, пока ее участники придерживаются общепринятых правил. Нарушение игрового стереотипа табуируется культурными установками, оно подрывает веру в подлинность нарушителя, что приводит к печальной развязке. Наступает эпилог. Поэтому недостойное, на первый взгляд, поведение П. И. Панина, публично и демонстративно таскавшего Пугачева за бороду, становится понятным в категориях смехового разоблачения. В контексте смеховой культуры брань и побои всегда развенчивают царя.

XVIII век прошел под знаком кризиса традиционной идентичности. В такой ситуации очевидный крах привычных моделей способствовал поискам «истинного царя». Попытки идентичности атрибутируются в образе царя традиционного, благочестивого, справедливого и законного. Надежды на скорое пришествие «избавителя» охватили самые широкие слои населения. В условиях всеобщего ожидания Пугачев воспринимается как царь патриархальный, народный «царь-батюшка». Специфическая самозванческая идентичность основывается также на мифологическом отождествлении. В психологически напряженной обстановке «потенциальный самозванец, обнаружив на своем теле “царский знак” и памятуя о том, что народ ждет “царя-избавителя” под именем, к примеру, Петра III, неминуемо начнет идентифицировать себя не просто как царя, но как “императора Петра III”. Сменив имя, он поменяет и прошлое... Следующим шагом должно стать внутреннее и внешнее перевоплощение самозванца, его вживание в конкретный образ “царя-избавителя”. Между самозванцем и теми, кто его поддерживает, устанавливаются отношения подданства, и только в системе этих отношений претендент на царский трон чувствует себя психологически комфортно, полностью забывая о своем самозванстве» [6, с. 70].

Игровой образ выбранного «царя» предполагал поведение, соответствующее знаковой смене статуса. «Царь» должен был обрушиваться на «подданных» свою «грозу». А те, в свою очередь, — молить его: «Государь, пощади». Поистине «игровыми» нередко выглядели опалы самозванного императора. Повстанческий смех, перерастающий в реальную угрозу смерти, нередко прорывался и в многочисленных казнях пугачевцами своих противников. Подобное можно проследить по материалам и других русских бунтов, неоднократно сотрясавших страну.

Идентифицировав себя с «истинным царем» Петром III и получив безусловную поддержку восставших, Пугачев действительно должен был

воспринимать порядки екатерининской России как «королевство кривых зеркал». Но и облаченные в «немецкий» камзол господ, не забыв еще языка традиционной культуры, нередко осмысливали Пугачевский бунт в категориях изнаночного мира.

Господствующим сословием Пугачев воспринимался иронически, «со смехом», в «перевернутом» изображении. Это проявилось, например, в именовании его «маркизом», «чучелой», «которою воры Яицкие казаки играют». Или же «извергом рода человеческого», «лютым и всеядовитым зверем», «другом бесов и наперсников сатанинских».

Е. Н. Марасинова пишет о «страшных проклятиях» дворян по отношению к восставшим, «близких по форме к озлобленной брани» [3, с. 225—226]. Не слышится ли здесь пресловутая площадная брань, прорвавшаяся в критический момент сквозь наносной лоск европейской цивилизованности?

Народный бунт воспринимался дворянами как самое большое зло, как абсолютное разрушение сложившейся системы отношений. Оказавшись на краю пропасти, дворяне пытаются говорить на понятном народу языке. Разоблачая самозваного императора, они интуитивно апеллируют к «карнавальному» образу Пугачева-Петра III. Его интерпретируют как «царя»-самозванца, т. е. представителя колдовского, вывороченного мира. К «всенародно избирают, его затем всенародно же осмеивают, ругают и бьют, когда время его царствования пройдет...» [2, с. 220]. Подобным же унижениям и уничтожениям подвергался и повстанческий предводитель.

Стремление к карнавальному развенчанию мнимого монарха побуждало следователей в ходе допросов получать признания, что теперь они считают своего вождя самозванцем Пугачевым. В самозванстве публично и неоднократно заставляют признаваться и самого повстанческого вождя. Под нажимом следователей Пугачев уже в Яицком городке «кричал во все горло, что он — Зимовейской станицы донской казак, не умеющей грамоте, и их обманывал» [4, с. 39]. Сказанное дает основание полагать, что, анализируя Пугачевский бунт в контексте мироощущения дворян, мы вновь оказываемся в мире перевернутых, смеховых отношений.

Шутовской балаган мира господ XVIII столетия наряду с последовательным разрушением традиционной гармонии должны были восприниматься социальными низами как победа изнаночного мира. Этот мир агрессивно и кошунственно проявлял себя в антиповедении. Поэтому столь велико противостояние высокой культуры российской элиты низовой. Народное осуждение порядков и организации верховной власти — характерная черта XVIII в.

В то же время необходимо отметить амбивалентность повстанческого смеха. С одной стороны, перевернутый мир узнается восставшими в порядках екатерининской России. С другой — элементы смеховой культуры обнаруживаются и в поведении самих пугачевцев. Это сложное переплетение дает возможность по-новому взглянуть на Пугачевское восстание, увидеть в нем многомерное явление расколотого общества времени перехода от одного типа культуры к другому. Для всякого перехода характерен кризис традиционной идентичности. Исследование смеховой природы Пугачевщины позволяет лучше понять русский бунт как глобальный социокультурный феномен. Поэтому представляется, что на современном уровне развития исторической науки игнорировать смеховой дискурс русского бунта уже невозможно.

Библиография

1. *Андреев И. Л.* Анатомия самозванства // Наука и жизнь. 1999. № 10.
2. *Бахтин М. М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.
3. *Марасинова Е. Н.* Психология элиты российского дворянства последней трети XVIII века (По материалам переписки). М., 1999.
4. *Овчинников Р. В.* Следствие и суд над Е. И. Пугачевым и его сподвижниками (Источниковедческое исследование). М., 1995.
5. *Усенко О. Г.* Самозванчество на Руси: норма или патология? // Родина. 1995. № 1.
6. *Усенко О. Г.* Указ. соч. // Родина. 1995. № 2.
7. *Успенский Б. А.* Анти-поведение в культуре Древней Руси // *Успенский Б. А.* Избранные труды. М., 1996. Т. 1.
8. *Хейзинга Й.* Homo Ludens: Статьи по истории культуры. М., 1997.

Содержание

<i>В. К. Волков.</i> Славянская идея и русское национальное самосознание	3
<i>А. М. Молдован.</i> XIII Международный съезд славистов	14

I СЕКЦИЯ

<i>Т. В. Волокитина.</i> Сталинизм в Восточной Европе в 40-е годы XX века: к проблеме изучения (Дискуссионные аспекты)	32
<i>З. В. Клименко.</i> Постюгославское пространство: проблемы и вызовы	45
<i>А. И. Филимонова.</i> Стратегия и тактика католической церкви в процессе создания югославянского государства в начале XX века ..	49
<i>М. Л. Ямбаев.</i> Деятельность российского консула А. А. Ростовского в Македонии. 1900-е годы	72
<i>И. В. Ануфриева.</i> Проблемы исследования массового движения в Хорватии в 1960—1970-х годах XX века	82
<i>Е. Ю. Гуськова.</i> Уроки балканского кризиса для Европы и России ..	89
<i>А. П. Сальков.</i> Словенская Каринтия в югославско-австрийском территориальном споре 40-х годов XX века	99

II СЕКЦИЯ

<i>Б. Н. Флоря.</i> Пути развития славянского мира в Средние века и раннее Новое время	108
<i>Л. Е. Горизонтов.</i> Славянские народы и империи в долгом XIX веке. Размышления о векторах исследований	115
<i>Л. Р. Козлов (Минск).</i> Материалы российской военной топографии XIX века — важный источник по истории Белоруссии	130
<i>В. Н. Виноградов.</i> Южные славяне: от статуса турецкой райи к возрождению государственности	136
<i>И. В. Чуркина.</i> Некоторые особенности славянского возрождения ..	151
<i>О. Н. Исаева (Саратов).</i> Основная проблема македонистики	165
<i>О. В. Лощакова (Ярославль).</i> О месте и роли курса «История южных и западных славян» в структуре учебного плана исторических факультетов	177

III СЕКЦИЯ

<i>Л. Н. Будагова.</i> Новые подходы к изучению славянских литератур ..	186
<i>В. А. Хорев.</i> Имагологический аспект изучения литературных связей ..	196

<i>Е. З. Цыбенко.</i> Значение изучения взаимосвязей литератур для характеристики литературного процесса и творчества отдельных писателей (на материале польско-русских литературных связей в XIX—XX вв.)	204
<i>А. В. Липатов.</i> Теоретические проблемы общей истории славянских литератур (Цивилизационная общность как диалектическое единство универсального и национального)	216
<i>Г. Я. Ильина.</i> Некоторые аспекты формирования литературного контекста югославян	223
<i>Н. Н. Старикова.</i> Литература словенской эмиграции и зарубежья во второй половине XX века	231
<i>Н. Н. Пономарева.</i> Болгарская литература на рубеже нового столетия	237
<i>В. Я. Тихомирова.</i> О новых подходах к исследованию современной польской литературы	245
<i>Л. Мальцев (Калининград).</i> Ф. М. Достоевский и Г. Херлинг-Грудзинский: публицистический дневник-хроника	252
<i>Д. Боснак (Нижний Новгород).</i> Жанровое своеобразие романа Ф. Сологуба как романа модернистского	258
<i>С. Мусиенко (Гродно).</i> Война в мемуарах Василя Быкова «Долгая дорога домой» (Война, которой мы не знали)	272
<i>Н. Григораш, Н. Копыстьянская (Львов).</i> Свое/чужое время, пространство, ритм	285

IV СЕКЦИЯ

<i>А. В. Опарина (Тольятти).</i> Авторская модальность как средство выражения антропоцентричности текста на примере «Повести временных лет»	290
<i>А. Д. Черенкова (Воронеж).</i> Воронежские диалекты: русско-славянские параллели в способах выражения делиберативного объекта	296
<i>Ю. Н. Федорова (Пермь).</i> К вопросу о функциональной эквивалентности отглагольного имени в русском и польском языках	305
<i>С. А. Рылов (Нижний Новгород).</i> Синтаксическая организация речи в новгородской первой летописи старшего извода: структурно-функциональный аспект	310
<i>С. М. Поздеева (Пермь).</i> Лексика, характеризующая болезни и болезненные состояния, как культурно-семиотическая система (на материале пермских говоров)	320

<i>Л. В. Савельева</i> (Петрозаводск). Оппозиция «сакральное — светское» в истории азбуки и проблемы современной графики	329
<i>В. П. Коровушкин</i> (Петрозаводск). Представления о лексической номинации в русско-славянском языкознании конца IX — начала XVIII века (в доломоносовских грамматических сочинениях)	338
<i>С. А. Дружинина</i> (Пермь). К проблеме описания терминологии старообрядческой культуры Прикамья	347
<i>Л. П. Дронова</i> (Томск). История становления общеоценочной оппозиции в русском языке как факт межкультурного взаимодействия	354
<i>Л. Э. Калынь, Г. П. Клепикова, Т. В. Попова</i> . Исследования по славянской диалектологии: итоги и перспективы	364
<i>Е. Е. Бразговская</i> (Пермь). Авторские стратегии присоединения текста к предшествующему корпусу текстов (Чеслав и Ярослав Ивашкевич)	386
<i>Н. А. Тупикова</i> (Волгоград). Функциональная семантика глагольной лексики в культурно-историческом аспекте (к проблеме лингвистического описания русского архива Яна Сапеги 1607—1611 годов)	393
<i>Ф. Б. Людоговский</i> . Текстология поздних редакций церковнославянского Евангелия: постановка проблемы.	401
<i>Г. П. Нецименко</i> . О значимости использования метода системно-функционального сопоставления при изучении проблем словообразования и социолингвистики.	412
<i>А. П. Ушакова</i> (Тюмень). Притяжательные прилагательные в русском и сербском языках	425

У СЕКЦИЯ

<i>Л. А. Софронова</i> . Прекрасная Магилена и бедная Татьяна	435
<i>И. И. Свирида</i> . Пространство в культуре. Культура в пространстве	446
<i>М. М. Валенцова</i> . Оппозиция мужской — женский в традиционной славянской культуре	461
<i>В. В. Усачева</i> . Магия и мифология народной медицины	472
<i>Н. М. Филатова</i> . «История будущего» Адама Мицкевича как романтическая антиутопия	483
<i>С. А. Кабатов</i> (Кострома). Источнико-историографическая база изучения материальной культуры сельского населения Костромского Поволжья XIII—XVII веков	493
<i>В. Я. Мауль</i> (Нижевартовск). Русский бунт в зеркале перевернутого мира смеховой культуры.	502

Научное издание

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛАВИСТОВ

**Российское славяноведение в начале XXI века:
задачи и перспективы развития**

Материалы Всероссийского совещания славистов
(23—24 октября 2003 г.)

Ответственный редактор *В. К. Волков*

Сборник подготовлен к печати
в отделе редакционной подготовки рукописей
Института славяноведения РАН

Подписано в печать 14.12.2004 г.
Тираж 250 экз. Заказ № 22

Объем 32,0 печ.л.
Цена договорная

ООО «Стратегия» г. Москва.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛАВИСТОВ